



1

Илья эренбург

ИЛЛЯ  
ЭРЕНБУРГ

том первый

государственное  
издательство  
художественной  
литературы  
москва 1962

собрание  
сочинений  
в девяти  
томах



ИМЛЯ

государственное  
издательство  
художественной  
литературы  
москва 1962

ТОМ ПЕРВЫЙ

# ЭРЕНЬУРГ

хулио хуренито

трест д. ө.

тринадцать трубок

**Комментарии**  
**А. УШАКОВА**

**Художник**  
**Ф. ЗВАРСКИЙ**





Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно.

...Люблю я «Хулио Хуренито» потому, что эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережита, это действительно моя книга.

...Разумеется, в этой книге немало вздорных суждений и наивных парадоксов; я все время пытался разглядеть будущее; одно увидел, в другом ошибся. Но в целом это книга, от которой я не отказываюсь.

В «Хуренито» я клеймил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих «гуманные способы истребления человечества», лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. В 1960 году я подписываюсь под этими мыслями; и если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожусь силы, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой.

В «Хуренито» я показывал ханжество мира денег, ложную свободу, которую регулирует чековая книжка мистера Куля и социальная иерархия мосье Дэле, установившего шестнадцать классов даже для погребения. За двенадцать лет до прихода к власти Гитлера я вывел герра Шмидта, который «может быть одновременно и националистом и социалистом», который говорит французам и русским: «нам необходимо вас организовать», «колонизировать Россию,



*разрушить как можно основательнее Францию и Англию... Мы оставим голую землю... Убить для блага человеческого одного умалишенного или десять миллионов — различие арифметическое. А убить необходимо...»*

*Если бы я не писал этого в 1921 году, то в 1940 году не сумел бы написать «Падение Парижа».*

*Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, изд. «Советский писатель», М. 1961.

необычайные похождения  
хулио хуренито  
и его учеников:

мосье Дэле,  
Карла Шмидта,  
мистера Куля,  
Алексея Тишина,  
Эрколе Бамбучи,  
Ильи Эренбурга  
и негра Айши,  
в дни мира, войны и революции,  
в Париже, в Мексике,  
в Риме, в Сенегале,  
в Кинешме, в Москве  
и в других местах,  
а также различные суждения

УЧИТЕЛЯ

о трубках,  
о смерти,  
о любви,  
о свободе,  
об игре в шахматы,  
о еврейском племени,  
о конструкции  
и о многом ином



## ВСТУПЛЕНИЕ

С величайшим волнением приступаю я к труду, в котором вижу цель и оправдание своей убогой жизни, к описанию дней и дум Учителя Хулио Хуренито. Подавленная калейдоскопическим избытком событий, моя память преждевременно одряхла; этому способствовало также недостаточное питание, главным образом отсутствие сахара. Со страхом я думаю о том, что многие повествования и суждения Учителя навеки утеряны для меня и мира. Но образ его ярок и жив. Он стоит предо мной, худой и неистовый, в оранжевом жилете, в незабвенном галстуке с зелеными крапинками, и тихо усмехается. Учитель, я не предам тебя!

Я иногда еще пишу по инерции стихи среднего достоинства и на вопрос о профессии бесстыдно отвечаю: «Литератор». Но все это относится к быту: по существу, я давно разлюбил и покинул столь непроизводительный образ времяпрепровождения. Мне было бы весьма обидно, если бы кто-нибудь воспринял настоящую книгу как роман, более или менее занимательный. Это означало бы, что я не сумел выполнить задачу, данную мне в тягостный день 12 марта 1921 года, день смерти Учителя. Да будут мои слова теплыми, как его волосатые руки, жилистыми, домашними, как его пропахший табаком и потом жилет, на котором любил плакать маленький Айша, трепещущими от боли и гнева, как его верхняя губа во время припадков тика!

Я называю Хулио Хуренито просто, почти фамильярно «Учителем», хотя он никогда никого ничему не учил; у него не было ни религиозных канонов, ни этических заповедей, у него не было даже простенькой, захудалой философской системы. Скажу больше: нищий и великий, он не обладал жалкой рентой обыкновенного обывателя — он был человеком без убеждений. Я знаю, что по сравнению с ним любой депутатик покажется образцом стойкости идей, любой интендант — олицетворением честности. Нарушая запреты всех существующих ныне кодексов этики и права, Хулио Хуренито не оправдывал этого какой-либо новой религией или новым миропознанием. Пред всеми судилищами мира, включая революционный трибунал

РСФСР и жреца-марабута Центральной Африки, Учитель предстал бы как предатель, лжец и зачинщик неисчислимых преступлений. Ибо кому, как не судьям, быть добрыми псами, ограждающими строй и лепоту сего мира?

Хулио Хуренито учил ненавидеть настоящее, и, чтобы эта ненависть была крепка и горяча, он приоткрыл пред нами, трижды изумленными, дверь, ведущую в великое и неминуемое завтра. Узнав о его делах, многие скажут, что он был лишь провокатором. Так называли его при жизни мудрые философы и веселые журналисты. Но Учитель, не отвергая почтенного прозвища, говорил им: «Провокатор — это великая повитуха истории. Если вы не примете меня, провокатора с мирной улыбкой и с вечной ручкой в кармане, придет другой для кесарева сечения, и худо будет земле».

Но современники не хотят, не могут принять этого праведника без религии, мудреца, не обучавшегося на философском факультете, подвижника в уголовном халате. Для чего же Учитель приказал мне написать книгу его жизни? Я долго томился сомнениями, глядя на честных интеллигентов, старая мудрость которых выдерживается, подобно французскому сыру, в уюте кабинетов с Толстым над столом, на этих мыслимых читателях моей книги. Но коварная память на сей раз выручила меня. Я вспомнил, как Учитель, указав на семя клена, сказал мне: «Твое вернее, оно летит не только в пространство, но и во время». Итак, не для духовных вершин, не для избранных ныне, бесплодных и обреченных, пишу я, а для грядущих низовий, для перепаханной не этим плугом земли, на которой будут кувыркаться в блаженном идиотизме его дети, мои братья.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

моя встреча с Хулио Хуренито.—  
черт и голландская трубка

26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас перед чашкой давно выпитого кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому официанту шесть су. Подобный способ прокормления был открыт мной еще зимою и блестяще себя оправдал. Действительно, почти всегда за четверть часа до закрытия кафе появлялся какой-либо нечаянный освободитель — французская поэтесса, стихи которой я перевел на русский язык, скульптор-аргентинец, почему-то надеявшийся через меня продать свои произведения «одному из принцев Щукиных», шулер неизвестной национальности, выигравший у моего дядюшки в Сан-Себастьяне изрядную сумму и почувствовавший, очевидно, угрызения совести, наконец, моя старая нянюшка, приехавшая с господами в Париж и попавшая, вероятно по рассеянности полицейского, не разглядевшего адрес, вместо русской церкви, что на улице Дарю, в кафе, где сидели русские обороты. Эта последняя, кроме канонических шести су, подарила мне большую булку и, растрогавшись, трижды поцеловала мой нос.

Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием других обстоятельств, как-то: хронического голода, чтения книжек Леона Блуа и различных любовных неурядиц, я был настроен весьма мистически и узревал в самых убогих явлениях некие знаки свыше. Соседние лавки — колониальная и зеленая — казались мне кругами ада, а усатая булочница с высоким шиньоном, добродетельная женщина лет шестидесяти, — бесстыдным эфебом. Я детально разрабатывал приглашение в Париж трех тысяч инквизиторов для публичного сожжения на площадях всех потребляющих аперитивы. Потом выпивал стакан абсента и, охмелев, декламировал стихи святой Терезы, доказывал ко всему привыкшему кабатчику, что еще Нострадамус предугадал в «Ротонде» питомник смертоносных сколопендр, а в полночь тщетно стучался в чугунные ворота церкви Сен-Жермен-де-Пре. Дни мои

заканчивались обыкновенно у любовницы, французенки, с приличным стажем, но доброй католички, от которой я требовал в самые неподходящие минуты объяснения, чем разнятся семь «смертных» грехов от семи «основных». Так проходило мало-помалу время.

В памятный вечер я сидел в темном углу кафе, трезвый и отменно смирный. Рядом со мной пыхтел жирный испанец, совершенно голый, а на его коленях щebetала безгрудая костистая девушка, также нагишом, но в широкой пляпе, закрывавшей лицо, и в золоченых туфельках. Кругом различные более или менее раздетые люди пили мар и кальвадос. Объяснялось это зрелище, довольно обычное для «Ротонды», костюмированным вечером в «нео-скандинавской академии». Но мне, разумеется, все это казалось решительной мобилизацией вельзевулова воинства, направленной против меня. Я делал различные телодвижения, как будто плавая, чтобы оградиться от потного испанца и в особенности от наставленных на меня тяжелых бедер натурщицы. Тщетно искал я в кафе булочницу или кого-либо, кто бы мог ее заменить, то есть главного маршала и вдохновителя этого чудовищного действия.

Дверь кафе раскрылась, и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером резиновом плаще. В «Ротонду» приходили исключительно иностранцы, художники и просто бродяги, люди непотребной наружности. Поэтому ни индеец с куриными перьями на голове, ни мой приятель, барабанщик мюзик-холла в песочном цилиндре, ни маленькая натурщица, мулатка в ярком кепи мужского покроя, не привлекали внимания посетителей. Но господин в котелке был такой диковиной, что вся «Ротонда» дрогнула, на минуту замолкла, а потом разразилась шепотом удивления и тревоги. Только я сразу все постиг. Действительно, стоило внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определенное назначение и загадочного котелка, и широкого серого плаща. Выше висков под кудрями ясно выступали крутые рожки, а плащ тщетно старался прикрыть острый, воинственно приподнятый хвост.

Я знал, что борьба беспредельна, и приготовился к концу. Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далекие воспоминания — смолистая дача под Москвой, я в детской ванне, розовый и беззащитный, прогулки с гимназисткой На-

дей по Зубовскому бульвару, вечера в Сиене над обрывом, пахнущие миртой. Но эти сладостные видения отгонял от меня державный, необоримый хвост.

Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть традиционных когтей, а может, проще, повелительного приглашения следовать с ним в такси. Но мучитель проявлял редкую выдержку. Он сел за соседний столик и, не глядя на меня, развернул вечернюю газету. Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво как-то, он подзвал официанта: «Стакан пива!» — и через минуту на его столике пенился узкий бокал. Черт пьет пиво! Этого пережить я не мог и вежливо, но в то же время взволнованно, сказал ему: «Вы напрасно ждете. Я готов. К вашим услугам. Вот мой паспорт, книжка со стихами, две фотографии, тело и душа. Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле?..» Повторяю, я старался говорить спокойно и деловито, как будто речь шла не о моем конце, ибо сразу отметил, что мой черт темперамента флегматического.

Теперь, вспоминая этот далекий вечер, бывший для меня путем в Дамаск, я преклоняюсь перед яснозоркостью Учителя. В ответ на мои маловнятные речи Хулио Хуренито не растерялся, не позвал официанта, не ушел, — нет, тихо, глядя мне в глаза, он промолвил: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». Слова эти, не слишком отличавшиеся от обычных наставлений лечившего меня доктора по нервным болезням, тем не менее показали мне откровением — дивным и гнусным. Все мое стройное здание рушилось, ибо вне черта были немыслимы и «Ротонда», и я, и существовавшее где-то добро. Я почувствовал, что погибаю, и схватился за последний спасательный круг. «Но хвост, хвост?..» Хуренито усмехнулся: «И хвоста нет, — ни карамазовски-датского, ни остренького, никакого. Постарайтесь жить без хвоста. Вот вы, как я, любите трубки. У меня великолепная коллекция: английские из старого вереска «три-би», венгерские черешневые, турецкие из красной глины Леванта с жасминовыми чубуками, голландские...» Я не мог вынести и тихо застонал, глядя с последней надеждой на подобранный влево хвост. Тогда Хуренито, растегнув плащ, вытащил из бокового кармана брюк длинную голландскую трубку, хорошо обкуренную. Больше надеяться



было не на что, ибо хвоста сразу не стало. Кроме того, Хуренито снял котелок, и воображаемые рога оказались жесткими, густыми завитками волос, как у негра. В томлении и ужасе глядел я на невольного обманщика, а Хуренито спокойно раскуривал свою трубку.

Я отнюдь не радовался тому, что врага нет, что он лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе с чертом исчезал весь уют, пусть ада, но все же жилого, понятного, ощутимого. Я чувствовал себя в пустыне и, желая обрести какую-либо опору среди летучих песков, спросил Хуренито: «Хорошо, предположим, что его нет. Но хоть что-нибудь существует?..» Хулио снова усмехнулся, показав зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилась реклама в трамваях «Употребляйте только пасту Дентоль», и вежливо, почти виновато ответил: «Нет». Это «нет» звучало так, как если бы я попросил у него спички или спросил бы его — читал ли он последний номер газеты «Комедиа».

«Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?..» — «Испанец этот родился лет тридцать тому назад. Был голеньким, потом оброс волосами. Выдает себя за декоратора, на самом деле спекулирует на бирже. Сегодня заработал сорок луи. Доволен. Желудок работает исправно. Прочие органы тоже. Сейчас поужинал (три франка, включая вино), взял девицу (пять франков). Потом потеряет на бирже двадцать луи. Потом заболит подагрой и будет пить вонючую воду. Потом умрет, сгниет, и вырастет на могиле травка «петух или курица». Разумеется, вам предоставлено бесплатно удовольствие находить в этом тайную цель и сокровенный смысл.— «Нет,— я не мог удержаться, я кричал,— этого не может быть! Вы без хвоста, но вы — он самый! Есть добро, понимаете? — вечное, абсолютное!» Хуренито не смутился, даже не повысил голоса: «Право же, я не черт. Вы слишком льстите мне. Притом этих очаровательных созданий, увы, нет! Можете спать спокойно, даже брома не требуется. Но и добра тоже нет. И того, другого, с большой буквы. Придумали. Со скуки нарисовали. Какой же без черта бог? «Добро», говорите? А вот поглядите на эту девочку. Она сегодня не обедала. Вроде вас. Есть хочется, сосет под ложечкой, а попросить нельзя — надо пить сладкий, тягучий ликер. Тошнит. И от испанца ее тоже тошнит, руки у него холодные, мокренькие, ползают, шарят. У нее мальчик —

отдала бабке в деревню, надо платить сто франков в месяц. Сегодня получила открытку — мальчишка заболел, доктор, лекарство и так далее. Прирабатывай. Еще будь веселенькой, на бад, пожалуйста, да и не девица Марго, а карфагенка Саламбо, целуй испанца в губы, похожие на скользкие улитки, быстро, отрывисто целуй, будто сама с ума сходишь от страсти, — может, еще двадцать су накинёт. Словом, быт, ерунда, хроника. А вот от такой ерунды все ваши святые и мистики летят вверх тормашками. Все, конечно, по графам распределено: сие добро, сие зло. А только крохотная ошибка вышла, недоразуменьице. Справедливость? Что же вы хозяина не выдумали получше, чтобы у него на ферме таких безобразий не было? Или, может, верите, зло — «испытание», «искупление»? Так это же младенческое оправдание совсем не младенческих дел. Это он девицу-то так испытует? Ай да многолюбящий! Только почему же он испанца не испытует? Весы у него без гирек. На том свете? Да, да! А свет этот где? На какой карте? Пока что «душа» — абстракция, а ручки-ножки — умрешь — попахивают, потом косточки, потом пыль».

Я сидел молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленного вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, черненькая; я быстро вскарабкался на нее. «Пусть так, нет ни творца, ни смысла, ни добра, ни справедливости. Но есть ничто. А раз есть ничто, то значит, есть реальность, есть смысл, есть дух и творец». — «Мой друг, вы неисправимы. Ведь у вашего «ничто» тоже нет хвостика. А вот трубка здесь, и я здесь, и испанец. В том-то и вся хитрость, что все существует и ничего за этим нет. Сейчас помирает Жан-старичок, пищит в первый раз маленький Жанчик. Дождь шел давеча, теперь подсохло. Вертится, кружится, вот и все...»

«Но ведь так же нельзя жить, это гнусно, стыдно, наконец просто ненужно!» — «Что делать — не вы выбрали! Вас поставили перед совершившимся фактом. Дом мебелированный. Одним очень нравится — уютно, другие возмущаются и пока что мирно перевешивают картинки с одной стенки на другую...»

В эту минуту великолепная и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от Хуренито и была его первым откровением мне. Не обращая внимания на посетителей и официантов, я вскочил, откинул стул и закричал:

«Но ведь можно уничтожить дом?» Хулио кивнул головой и попросил меня сесть. «Вполне законное желание. Давайте-ка, займемся этим». Он, наверное, анархист, в Испании много анархистов, подумал я и шепотом спросил: «Бомба? Адская машина?» — «Вы — прелестное дитя, — ответил Хуренито, — бомбой можно покалечить пару толстеньких жандармов, самое большее какого-нибудь короля, который коллекционирует китайских болванчиков и увлекается игрой в теннис. Нет, мы займемся иным». Я понял, что спрашивать непристойно, и только, церемонно поклонившись, сказал: «Я буду вашим учеником, верным и старательным. Но дайте мне реальность, не то сегодня ночью или завтра утром я могу сойти с ума». Он вынул из кармана маленькую пенковую трубку и протянул ее мне. «Набейте добрым «капралом» и курите — это реальность».

Мы поужинали, и, спросив после сыра две рюмочки «Кло-Вужо», Хуренито снова подтвердил мне, что это, то есть «Кло-Вужо», — истина, а не сон. Под утро, в «нео-скандинавской академии», познакомив меня с пухленькой шведкой, одетой в прозрачную тунику и похожей на свежую булочку с деревенским слезящимся маслом, он сказал: «Это на самом деле, это вам не добро». И дружески хлопнул меня по плечу: «А теперь спокойной ночи! До завтра!»

глава вторая

## ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

В настоящей главе я хочу поделиться с читателем немногочисленными и отрывистыми сведениями о жизни Хулио Хуренито до памятного вечера в «Ротонде», когда я его встретил. Иногда Учитель рассказывал мне отдельные эпизоды своих отроческих лет, и я попытаюсь их восстановить, чтобы все уверовали, что Хуренито не миф, не сказочный герой, а сын сахарозаводчика из Гуанахуаты Педро-Луиса Хуренито.

О происхождении Учителя ходили всякие вздорные легенды. Наиболее часто мне приходилось слышать рассказ о том,

как Будда воплотился в этого высокого, худого человека с глазами, полными движения, но обладавшими непостижимой силой останавливать время. Поводом к этой легенде послужило следующее, само по себе незначительное, событие. В марте месяце 1888 года, в городе Аллахабаде, в Средней Индии, из храма исчезла ценная статуя Будды, которую ученые относили к третьему или четвертому веку нашей эры. Очевидно, это произошло вследствие сонливости сторожа и пристрастия некоторых британских чиновников к древностям Востока. Двадцать пять лет спустя в теософских кругах упорно говорили о том, что Будда, покинув былую плоть, перевоплотился в мексиканца Хуренито, и благодаря этому изображение его прежней личины перестало быть зримым. Легенда пользовалась таким успехом, что, когда Учитель как-то ночевал в мастерской одного русского поэта-теософа, разыгралась курьезная сцена. Ночью поэт в рубахе прокрался к спящему Учителю и начал щупать его лицо. Застигнутый и слегка заподозренный в дурных намерениях, он объяснил, что искал на лбу Хуренито бородавку — третий глаз, форменное отличие воплощений Будды. Эти и подобные им басни, разумеется, не заслуживают никакого доверия.

Учитель родился 25 марта 1888 года в Мексике, в небольшом городе Гуанахуате, известном золотыми приисками. Он был крещен по обряду католической религии и получил имена Хулио-Мария-Диего-Пабло-Анхелина. Я полагаю, что он был ребенком пытливым и неудобным. Так, мне известно, что мальчиком пяти лет он отпилил пилой для хлеба голову котенка, желая познать отличие смерти от жизни. Два года спустя, усомнившись в богоматери и во многом ином, он прокрался в церковь, выпотрошил статую мадонны, сделанную из парчи на каркасе, и остался вполне удовлетворен опытом.

В шестнадцать лет он влюбился, стал смотреть на звезды и думать о вечности. Но, испытав кой-какие временные улады, о звездах и вечности забыл, от девицы спешно удалился и раз навсегда потерял вкус к тому, что люди зовут «любовью». К счастью, девушка вскоре утешилась и вышла замуж за подрядчика из Веракруса. Узнав об этом, Хуренито послал единственной отмеченной им в жизни женщине свадебный подарок — мельхиоровый сервиз на двенадцать персон.

После сего он отправился искать золото в Эль-Оро, но, желая тратить времени на работу в приисках, выпил кувшин

крепкой «пульки», вытащил солидный нож и перед толпой возвращавшихся с работы шахтеров провел им по земле, сказав: «На сегодня здесь территория Гуанахуаты, и никто из вас не перейдет этой границы, не заплатив мне выкупа. Выгаскивайте золото!» В Эль-Оро люди были жадны, но трусливы, и при одном имени разбойной Гуанахуаты готовы были отдать все на свете, лишь бы спасти жизнь. Через час Хуренито пробирался по лесистым горам с мешком золота. У индейцев он купил лошадь и благополучно достиг границы Соединенных Штатов. Об этом происшествии я слышал от друга Хуренито и моего — художника Диего Риверы, который был в Эль-Оро в памятный день, видел черту на песке, испуганных рабочих и куски золота в широкой шапке с кожаным ремнем Хуренито.

В одном из южных штатов Учитель продал золото за восемь тысяч долларов и приступил к трате денег, для чего поил джином всех встречных негров, скупал редкие почтовые марки и заказывал в наиболее независимых газетах хвалебные статьи о себе, с приложением портретов каких-то подозрительных юношей из Дамаска. Так, усиленно работая, он успел истратить шесть тысяч долларов, не осилив двух. Тогда он созвал богатых, но скупых коммерсантов города на парадный обед, после которого, угостив их отменными сигарами «Ля-Корона», зажег скрученные стодолларовые ассигнации, чтобы все могли таким образом, не чиркая спичками, закурить. Коммерсанты ерзали на коленках, собирая легкий серебряный пепел. Их пищеварение было безусловно нарушено, зато Хуренито избавился от надоевшего ему занятия — тратить деньги.

Хуренито вернулся снова в Мексику и решил заняться революцией. Это были бурные годы молодой республики. Из всех партий Хуренито предпочел Сапату и его простодушных мятежников, ненавидевших городскую культуру, машины сахарных заводов, паровозы, людей, несущих смерть, деньги и сифилис. Карранса, убив предательски Сапату, заманил Хуренито. Хулио случайно спасся. В часы ожидания смерти он испытывал, вместо описываемой поэтами торжественности, сильную скуку и сонливость и после этого эксперимента уже просто и буднично убивал других. Он командовал индейцами в знаменитой битве при Селая, где была разбита наголову прекрасная

армия Вилби. Его отвагой, находчивостью, способностями был восхищен президент Мексиканской республики Обрегон. Но свергать власть, расстреливать и гоняться за врагами оказалось тоже делом однообразным, скучным. После седьмой революции Хуренито купил микроскоп, готовальню, четыре ящика книг и занялся различными научными изысканиями. Вскоре после этого он посетил Лиму и Буэнос-Айрес, поселился же в Нью-Йорке.

Хуренито изучил математику, философию, токарное ремесло, электротехнику, гидрологию, египтологию, игру на окарине, шахматную игру, политическую экономию, стихосложение и ряд других наук, ремесел, искусств, игр. Он с исключительной легкостью овладевал языками. Вот на каких он говорил совершенно безукоризненно: испанский, английский, французский, немецкий, русский, итальянский, арабский, ацтекский, китайский. Десятки других языков и наречий он знал вполне корректно.

Одновременно с этим Хуренито занимался искусством. Труды его в этой области я опишу в одной из последующих глав.

Все эти занятия не удовлетворяли Хуренито, и, после длительных раздумий, он решил (это было 17 сентября 1912 года), что культура — зло, и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Сапаты, а ею же вырабатываемым оружием. Надо не нападать на нее, но всячески холить язвы, расползающиеся и готовые пожрать ее полусгнившее тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуренито своей миссии — быть великим Провокатором.

Начало его деятельности ознаменовалось неудачей. Хуренито был слишком молод, жизненно неопытен и одинок. Он вздумал действовать наивным путем убеждения и организовал с помощью специальных аппаратов световые плакаты на ночном небе Нью-Йорка. Жители этого города хорошо помнят оригинальное начинание. Стирая звезды, горели величавым блеском письма: «Голодные — есть еще филе из бекасов. Прославьте дары цивилизации!» — и т. п. Все решили, что это рекламы большого гастрономического магазина. Но один бродяга-ирландец почему-то в первый же вечер кинул бомбу в роскошный ресторан «Бристоль». Ирландца посадили на электрический

стул, а Хуренито, не желая предаваться подобным захоластным идиллиям, сел на пароход «Рекс» и отправился в Европу, где почва для его деятельности была более благодарной, нежели в слишком Новом и недостаточно обжитом Свете. Через несколько месяцев после приезда Хуренито в Европу я встретился с ним и стал его первым учеником.

Вот все, что я знаю о первых двадцати пяти годах жизни Учителя. Мне хочется кончить эту главу словами любви к земле, родившей великого человека. Две страны будут чтить далекое потомство: родину Учителя Мексику и Россию, где он закончил свои дни и труды. Два города будут вечно манить к себе паломников: маленький грязный Конотоп и далекая Гуанахуата.

Россия и моя родина. Я никогда не был в Мексике, но я глубоко люблю этот, священный для меня, край. Я люблю городок на холме, с домами, встающими уступами, суровый и голый, испещренный лишь кактусами и черными пятнами «квебраплатос». На долю этого города выпала честь быть колыбелью Учителя. С глубоким уважением я повторяю имена людей, которых Хуренито знал в дни своей юности: президента Обрегона, выдающегося инженера Паники, художника Диего Риверу, поэта Моралеса и философа Вескуселоса. Если эта книга дойдет до них, пусть они с доверием примут слова уважения и признательности. И если кто-либо из прочитавших мою книгу познает счастье увидеть наяву Гаунахуату, пусть он за меня поцелует ее угрюмую, раскаленную, благословенную землю.

глава третья  
**доллары и библия.—  
три дня мистера куля**

Несколько дней спустя, рано утром, ко мне пришел Хуренито и сразу, даже не здороваясь, протянул номер «Пти паризиен» с отчеркнутым объявлением. В отделе «Разные», между рекламой нового слабительного для кур, больных дифтеритом, и пись-

мечом какого-то Поля к напрасно ревнующей его «кошечке», которой он верен до гроба, было напечатано нижеследующее:

**АКЦИОНЕРНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ БИБЛЕЙСКОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ ТУЗЕМЦЕВ ЕВРОПЫ**

(САН-ФРАНЦИСКО — ЧИКАГО — НЬЮ-ЙОРК)

**ИЩЕТ**

деятельных миссионеров в различные страны, а также агентов  
по продаже патентованных аппаратов.

*Являться в «Отель де ля круа»*

к мистеру Кулю

«Ты понимаешь, как это кстати», — сказал Хуренито (в первый же вечер после ужина он стал говорить мне «ты», дружески и вместе с тем повелительно). Через полчаса мы уже сидели в кабинете мистера Куля. Лицо его, широкое, плоское, упитанное, ничего особенного не выражало. Зато у него были необычайные ноги, в носатых рыжих ботинках, они лежали на двух вращающихся пюпитрах, несколько выше уровня головы. Он одновременно читал библию, диктовал стенографистке письмо министру изящных искусств Чили, слушал по телефону цены на скот в Чикаго, беседовал с нами, курил толстую сигару, ел яйцо всмятку и разглядывал фотографию какой-то полногрудой актрисы. Для этого к его креслу, напоминавшему зубо-врачебное, были приделаны станки, трубки, автоматические держатели в форме дамских пальчиков и целая клавиатура непонятных мне кнопок. Подобное времяпрепровождение, естественно, налагало свой отпечаток на мистера Куля. Так, впоследствии я заметил, что приемы разговора по телефону он применяет и в обычной беседе. Как-то вечером, сидя один в ресторане и скучая, он отрывисто гаркнул проходившей мимо актрисе: «Алло! Женщина? Это я — мистер Куль. Свободны? Хотите со мной? Алло! Представьте смету. Даю ужин и десять долларов». Иногда он чувствовал необходимость нажимать кнопки, и эта вполне понятная привычка неприятно отражалась на окружающих его. Но в общем это был человек скорее воспитанный, и он любезно принял нас, посвятив тотчас Хуренито в сущность своих намерений.



Прожив достаточное число лет в Америке, из рассказов приезжавших и газетных статей мистер Куль узнал, что Европа лишена нравственности и организации. Два могучих рычага цивилизации — библия и доллар не идут в ней рука об руку. Мистер Куль понял, что Америка должна отплатить благодарностью за тот великий момент, когда матрос Хуан Лунс, известный в двух Кастилиях разбойник, прежде нежели зарезать первого индейца, пробормотал молитву, побрызгал его морской водицей и, таким образом, положил начало торжеству креста. Ныне пришла очередь Америке спасти обезумевшую Европу. Для проведения этого в жизнь мистер Куль организовал акционерное общество с весьма солидным капиталом и, приехав в Европу, начал разрабатывать план деятельности. Сообщив это Учителю, он стал нажимать наиболее мелкие кнопки и, вынимая из выскакивающих папок различные проекты, читал их нам. Некоторые из них мне запомнились, и я приведу их здесь, к сожалению, без деталей, цифровых данных и чертежей.

1. Необходимо прекратить воровство не только репрессивными мерами. Для этого надо оградить нестойкие души бедняков от соблазнов города, напоминая им о вечных благах, доступных всем. Акционерное общество изготавливает различные дидактические рекламы: над булочными вывешиваются огненные круги с надписью: «не единым хлебом сыт человек», над пивными: «блаженны алчущие», над магазинами готового платья: «царство божие внутри нас» и т. д.

2. Обязать всех содержательниц публичных домов поставить в заведениях автоматы с необходимыми для гигиены принадлежностями. На пакетах должно быть напечатано: «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте». Эти аппараты, по словам мистера Куля, были делом весьма доходным, ибо, обходясь в триста франков, они приносили в среднем в месяц до тысячи франков чистой прибыли.

3. Докладная записка министру юстиции Французской республики. Побывав несколько раз у тюрьмы Санте во время казней, мистер Куль с радостью констатирует большое стечение публики и остро развитое чувство справедливости, выражающееся в нескрываемом энтузиазме при зрелище наставительной церемонии. Он отмечает предприимчивость мелких торговцев, устанавливающих вокруг тюрьмы на время казни бараки со сладостями, прохладительными напитками и даже с игруш-

ками для ребят, которых приводят умные и энергичные матери. Но мистер Куль удивляется, почему такого рода празднества не использованы для нравственной пропаганды, и, вполне понимая некоторые особенности французской светской власти, предлагает предоставить это его Акционерному обществу. Вокруг гильотины — передвижные поместительные трибуны, с платой, доступной даже трудящимся. Магазины, в которых, кроме обычных товаров, фотографии преступников до и после акта правосудия, духовные и моральные книги, наконец, прокат биноклей. После окончания официальной части празднества — кинематографический сеанс: детство преступника и порядочного человека; первый шалит, потом крадет, потом насилует, потом убивает, потом голова его в руках уважаемого мосье Деблера; второй — мальчик-пай, копит су, данные на конфеты, женится, книжка сберегательной кассы, рента, тенистая могила и памятник «в вечную собственность». Засим короткая проповедь, которая может удовлетворить стремления светской части общества: преступник забыл о школе, о своих обязанностях как избирателя, о высшем существе — «Отечестве». Для разезда — «Молитва девушки за душу злодея» и «Марсельеза».

4. Предвидя после конфликта в Марокко возможность войн, мистер Куль опасался осквернения миллионов христиан и потому предлагал всем европейским государствам, имеющим колонии в Африке, озаботиться созданием черных войск. Насильственное вылавливание взрослых из деревень он находил жестоким и, главное, непрактичным. Опыт устриц, страусов и различных видов зверей подсказывает идею питомников. Отбираются самки наиболее плодовых племен; через двадцать лет любое государство имеет свое войско, совершенно готовое к употреблению, не нарушая при этом ни нравственных чувств, ни экономических интересов собственного населения.

Ознакомив нас с этими оригинальными и смелыми проектами, мистер Куль пожаловался Учителю на косность Европы. Министр юстиции не ответил ему. Во многих публичных домах поставлены его аппараты, но правоучительные надписи тщательно замазаны сажей. Выставленные в Лондоне световые рекламы против кражи были ночью разбиты какими-то злоумышленниками, вероятно русскими анархистами. Наконец, вместо «черных питомников» Европа увлекается мирными конгрессами.

Поэтому он и решил с помощью газетных объявлений подыскать энергичных, опытных агентов.

Хуренито, высказав свой восторг перед активностью и революционностью идей мистера Куля, скромно, но не без достоинства, указал на стаж в Мексике и предложил свои услуги. Его краткая речь произвела на мистера Куля столь сильное впечатление, что он, отбросив яйцо и не дослушав цен на баранов, воскликнул: «Вы тоже великий человек! Алло? Вы будете моим гидом по Европе. Издержки и прочее. Алло? Представьте смету». Откланявшись, мы вышли.

Глубокая пропасть лежала между сегодняшним днем и вчерашним. Все утерявший, я уже не принял мистера Куля за черта, несмотря на его подозрительные ноги, кнопки и проекты. Все же он показался мне отвратительным и куда более опасным, нежели булочница или голый испанец. Я сказал об этом Учителю. Хуренито со мной согласился: «Конечно, он отменно гнусен, но я руковожствуюсь при выборе учеников не реакцией на них моего раздражительного пищевода, а степенью их полезности для дела. Чтобы ты понял, какая сила скрыта в этом человеке, мы проведем с ним три ближайших дня. Смотри и учись. Это гораздо поучительнее, чем все видения ада твоих добродетельных постников».

Учитель, как всегда, ты был прав! Что все костры святого Игнация, что весь духовный огонь Зосимы по сравнению с этими тремя днями, где главные роли играли часовая стрелка и маленькая синяя книжка в боковом кармане мистера Куля? Они прошли, быстрые и неумолимые, воспоминания о них напоминают фильм.

Вторник. После завтрака, в час дня, мистер Куль едет на выставку. Среди других его внимание останавливают кубистические натюрморты молодого художника Доро: две чашки, огурец и кочан, разложенные на плоскости. Хуренито объясняет. Мистер Куль возмущен. «Это грубый материализм! Алло? Безнравственность! Падение духа! Я понимаю огурец в руках Мадонны. Одухотворенный огурец. Но вы говорите «форма»? Алло! Растление! Покупаю». Вынимает чековую книжку. Скупает у содержателя галереи все полотно Доро. 3 часа дня. Сияющий художник привозит мистеру Кулю свои картины. Двадцать восемь штук. Снова чек. Засим немедленно на глазах у Доро два грума-негра режут картины на мелкие кусочки. «Алло, молодой человек, вы должны оставить искусство. Вот это

прекрасно и нравственно. (Показывает на шесть белесоватых дев под кипарисами.) Это не Доро, а как его?..» Хуренито подсказывает: «Морис Дени». «На деньги, полученные от меня, купите небольшой посудный магазин или займитесь продажей моих патентованных автоматов. Алло? Возражения бесполезны. Все, что вы будете делать, я буду скупать через моих агентов и немедленно уничтожать. Протестовать? Но это моя собственность. Куплено. Что хочу, то делаю. Доллар, мой друг, высшая сила. Доллар и библия». 5 часов дня. Сенсационное сообщение в «Энтрансижан»: Молодой художник Доро повесился. Причины неизвестны. В 6 часов Хуренито по поручению мистера Куля заказывает надгробный венок с надписью: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

В среду мистер Куль решает заняться политикой. Из утренней газеты он узнает, что в Медоне под Парижем рабочие обойной фабрики дружно бастуют уже две недели, требуя уменьшения на один час рабочего дня. Заботы низших слоев населения о своих грубо материальных интересах и пренебрежение к миру духовному всегда возмущали мистера Куля. В 11 часов утра у него агенты частного сыска с исчерпывающими данными о четырех членах стачечного комитета. Получив указания, они приступают к работе. Пьера Гранье, алкоголика, незнакомцы приглашают в бар. К пяти часам, после дюжины пиконов, он валяется мертвецки пьяный в кладовой. У Бидо дочка больна чахоткой, это любимица семьи. Предложение ехать на юг. Четверть часа испытания, и чек из той же синенькой книжки. Поездом в 8 часов 20 минут Бидо уезжает в Ниццу. Старичка Бедье запугивают фотографиями тюрьмы, какими-то перехваченными приказами и нарочно на сей предмет нацепленными орденами одного из агентов конторы. Он убегает в Париж к своему племяннику. Остается Лиз — не пьет, денег не берет, орденов не боится. В три часа долгое совещание в кабинете у мистера Куля. Агенты требуют двойной оплаты. Снова книжка. В семь часов собрание забастовщиков. Выясняется, что три главаря бежали, четвертый, Лиз, в тюрьме; под его тюфяком нашли тысячу долларов, происхождение которых он объяснить не мог. «Вор!», «Подкупили!», «Долой!» Представитель хозяйна, старый приказчик, услужливо объясняет: «Станьте на работу, никакого наказания не будет». Общее ликование. Стачка кончена. Мистер Куль заказывает мемориальную дощечку, но

колеблется в выборе текста, запрашивает по радио своего друга пастора Бонса в Чикаго, можно ли, ввиду смены феодального строя капиталистическим, произвести небольшое исправление в тексте Писания. Удовлетворительный ответ. На воротах фабрики будет значиться: «Богу — боже, хозяину — хозяйское».

Четверг. Весна. Мистер Куль настроен игриво, он отдыхает. «Любовь, любовь, пьянишь ты кровь!» Прелестная девушка. Алло! Кто это? Младшая продавщица перчаточного отделения магазина «Лувр». Пригласить вчерашних агентов. Полдень. У мадемуазель Люси оказывается жених, мосье Поль, он служит в «Лионском кредите». Узнайте слабости. В 5 часов дня мосье Поль проигрывает тысячу восемьсот франков в баккара. В шесть он заходит за Люси. У дверей магазина они расстаются, девушка плачет. В восемь ей приносят письмо с предложением явиться в «Кафе рояль», кабинет № 8, там она получит немедленно тысячу восемьсот франков. Мы едем с мистером Кулем в ресторан. У входа какой-то нищий просит су. Я снова поражаюсь энергией нашего нового друга. Поворачиваясь к просящему, он поднимает руку к небу: «Крепись, мой друг, там последние будут первыми». В кафе я с Хуренито в общем зале. Час спустя к нам выходит на минуту мистер Куль, как всегда жизнерадостный, выписывает в книжечке мадемуазель тысячу восемьсот франков... Минуту подумав, пишет на оборотной стороне чека: «Любовь покрывает все» (Коринф. 13, 5).

Так прошли три дня деятельности мистера Куля. Выходя ночью с Учителем из кафе, я смутился. Пахло теплым дождем, бухли почки каштанов, и мое сердце поддавалось радости бытия. Я вспомнил Доро, посиневшего, с высунутым языком, Лиза, которого жандармы подбодряли пинками, наконец маленькую Люси, тщетно пытавшуюся в вестибюле кафе, под насмешливыми взорами официантов прикрыть пудрой заплаканный красный нос, и не выдержал: «Скажите, как вы не убили Куля?» Хуренито рассмеялся: «Друг мой, кто же, идя на войну, взрывает пушку? Вспомните, мы хотим все разрушить. А Куль — это великолепное тяжелое орудие».

Так мистер Куль, сам того не ведая (он считал Хуренито своим гидом и аккуратно выплачивал ему сто долларов в месяц), стал вторым учеником великого Учителя.

## симпатичные боги айши.— различные суждения учителя о религии

Утром в гостинице «Мажестик», написав более двадцати деловых писем, Хулио Хуренито позвонил груму, чтобы отправить их на почту. Спеша, он хотел быстрее наклеить марки и приказал мальчишке-негру высунуть язык. Этот способ наклеивания удовлетворил обоих, и на следующий день грум явился уже без зова, стал у стола и предупредительно высунул свой острый шершавый язык. Когда процедура была закончена, он с гордостью сказал Хуренито: «Гихрэ тоже может это делать». На наши недоуменные вопросы он доверчиво попросил нас следовать за ним. Мы прошли в тесную каморку под черной лестницей, где жил грум. На полу мы увидели маленького негритянского божка, только что выдолбленного из скорлупы кокосового ореха. Он сидел скрестивши ноги, и на его высунутом языке была наклеена почтовая марка. Айша (так звали грума) с материнской нежностью глядел на идола, приговаривая: «Гихрэ очень умный, все умеет». Далее мы увидели еще двух божков: один из них чистил ботинки, другой стоял перед дверью со вставленным в нее осколком зеркала. Оказалось, что Ширик и Гмэхо (так звали двух братьев Гихрэ) тоже всемогущи и способны делать вещи непостижимые, Учитель был обрадован, даже взволнован. «Вы видите,— сказал он мистеру Кулю и мне,— здесь, в отеле «Мажестик», творится великолепная мифология. Через сотни лет Ширик будет отряхать земной прах с блуждающих душ, Гмэхо впускать их в святые врата, а милый Гихрэ с почтовой маркой в два су служить вечным вестником, соединяющим наш мир с трансцендентальным. Или вы позабыли послеобеденные анекдоты мудрых эллинов и бесплатных гурий бедного погонщика верблюдов? Ты, еврей,— сказал он мне,— помнишь, как Иегова обиделся на твоих девушек, как он боролся с Иаковом, ревновал Израиль ко всякому вавилонскому идолищу и торговался насчет захудалого Содома? А вы, мистер Куль, не присвоили ли вы богу всех человеческих ремесел от рождения до смерти, обставив их только некоторы-

ми отступлениями от физиологии? Бедненькая жена Рафаэля, весьма, кстати, добродетельно исполнявшая свои супружеские обязанности, — сколько благочестивых слез безнадежно старых дев Германии она вызвала в своем дрезденском продлении! Разве придумали люди для своего разнорасового Олимпа другие порядки, нежели для Китайской империи или для республики Сан-Марино? (Монархия Иудеи, олигархия Индии, наконец плутократия тысячи нажившихся на святости подвижников доброго католика.) Одни смягчают тиранию справедливости конституционным вмешательством милосердия, другие, наоборот, торжественно восстанавливают самодержавие господя бога. Небесные министерства — военное с различными званиями серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, юстиции — суд, прокурор и защитник, смягчающие обстоятельства, весы лавочника, каторга срочная и бессрочная, просвещения — пророки, пропаганда, даже световые рекламы на стенах вавилонского дворца. Вы, дети мои, пережевываете жвачку, прошедшую через все четыре законных желудка, а Айша готовит новую для Клоделей или Булгаковых тридцатого века.

Айша слушал Учителя очарованный, снова раскрыв рот, но теперь уже безо всяких практических намерений. Изобилие таинственных слов и дивных имен так поразило его, что он, упав на колени, поцеловал носик ботинка Хуренито. Учитель сказал ему: «Ты теперь будешь следовать всюду за мной». — «Жаль, что я не знал, я предложил бы вам лучшего груга», — заметил мистер Куль. Я же спросил Учителя, почему его выбор остановился на маленьком негре. «Он верит, — ответил Хуренито, — а это столь же редко в вашей Европе, как красивая девственница или честный министр. Ваша вера труслива, от нее ложится тень сомнения, иронии, мальчишеского любопытства и расчетливости торгаша, боящегося прогадать на товаре. Какой аббат не смотрит тихонько в школьном учебнике естественной истории, велика ли глотка кита, и не пытается объяснить непорочное зачатие сложным символизмом модного философа? Ваше безверие не храбрее вашей веры, за ним плетется суеверие, обращения за полчаса до смерти, книжки Штейнера, вечное кланчание у дверей страхового общества. Ваши атеисты, выпив стаканчик вермута, храбрятся и ругаются, а потом, припомнив запашок кладбища в летний полдень, держат на всякий случай под рукой евангелие, рассуждают о неуловимом духе (неопределенный жест пальцами) и

не спят всю ночь, если жена разбила туалетное зеркало. Я беру Айшу, ибо в нем жива голая, бесстыдная, всеободряющая вера, и это будет крепким оружием в моих руках. Другие увидят во мне учителя или авантюриста, мудреца или прощельгу, а для него я буду богом, который умеет клеить марки и говорить необычайные слова, которого он будет рисовать, лепить, вырезать из дерева и которому останется верен до последнего издыхания».

Так говорил Учитель. Мистер Куль, увлеченный этими мыслями, тщетно пытался возмутиться и наконец, чтобы оправдать себя, свою улыбку сочувствия столь безнравственным суждениям, сказал: «Мой друг, я знаю, что вы шутите. Вы, безусловно, хороший христианин и, кроме того, отменный гид», — и ласково толкнул Хуренито толстым пальцем в бок.

Впоследствии Учитель неоднократно возвращался к вопросам веры, верований и религии. Он говорил об этом, как, впрочем, и о других так называемых «важных проблемах», шутя и балагурия. Учитель утверждал, что серьезно, академически, проникновенным голосом или приводя библиографию, можно говорить лишь о способах обкуривания трубок, о различных манерах плевать, со свистом или без свиста, о построении ног неповторимого Чаплина. Во всех других случаях он предпочитал молитве усмешку, многотомному исследованию веселый фельетон. «Когда весь сад давно обследован, — говорил он, — тщетно ходить по дорожкам с глубокомысленным видом и ботаническим атласом. Только резвясь, прыгая без толку по клумбам, думая о недополученном поцелуе или о сливочном креме, можно случайно наткнуться на еще неизвестный цветок».

Стремясь передать здесь различные суждения Хулио Хуренито о вере, я боюсь, что, по причине моего характера, угрюмого и неповоротливого, придам им ложную, нарочитую серьезность. Эти мысли были легки и невинны, как щебет шестнадцатилетней девушки о различных системах пропорционального представительства.

Как-то, перетаскивая из конуры «Мажестика» в свою мастерскую братьев Гихрэ — Гмэхо и Ширика, Учитель сказал: «Им будет уютно между кастильским Христом в юбочке и бронзовым Буддой, глядящим пальцем живот. Боги прекрасны, равны и достойны друг друга. Но тщетно вы хотите подражать Айше. Он бога только что сделал, как молоденький поэт,



написавший первое стихотворение, волнуясь бегаёт с ним, пуговина ещё болтается. А вы даёте в коленкоровый переплет (кожаные углы, инициалы) книги гения, сгнившего пятьсот лет тому назад — тысяча, две тысячи — гимназистик зубрит, вы читаете, но не интересуетесь; только редко, редко, в приёмной дантиста, очень скучая, благоговейно раскрываете двести сорок шестое издание. Для вас бог не хлеб, не жизнь, даже не предмет роскоши, а какая-то баночка с мазью (ну, кто кому её прописал? рецепт давно утерян) на полке в ванной комнате, которую вы не выкидываете только потому, что она так давно стоит, что вы её перестали замечать».

«Конечно, эксперименты с Иовом, — однажды заметил Учитель, — были несколько рискованными. Пожалуй, теперь «общество борьбы с вивисекцией» привлекло бы обоих спорщиков к ответственности. Но по крайней мере за убытки, за болезнь, падеж жены, детей, скота Иову было выдано хорошее вознаграждение. Не додумавшись до воскрешения, привели новую супругу, к тому же весьма плодовитую. Возможно, что Иов был даже в выигрыше, во всяком случае добродетель восторжествовала. Но что сказать о Берке, о старом меховщике Берке, который был праведнее самого Иова, славил справедливость господню днём и ночью и умер с распоротым животом на помойной яме Балты? Дети будут счастливы? Внуки? Да, да, что-то до двадцатого колена... Но ведь порют живот, пожалуй, уже у тридцатого колена, порют аккуратно, без заминки. Опять вседержитель пари держит? Но почему же миллионы Берков должны издыхать от такого необузданного азарта? Нет, здесь дело явно нечистое. Даже младенец знает о том, что Иван — честный, работающий, добренький и все прочее — умрет, вспухнув с голоду, на задворках у Ивана — вора, лжеца, злодея, а тот даже не сморгнет, и никаких раскаяний, ползаний на четвереньках и удовлетворяющего общественное мнение смертного пота, — ровно ничего! Нет, до последней минуты все обследовано и ничего утешительного не замечено.

Тогда приступают к тому, что обследовать труднее. Земля как земля, а что под землей? Справедливость, воздаяние. Разумеется, возможно, что прах да пар, а если нет? Кто знает? Живёт, живёт человек, кругом холера, крушение поездов, японцы, а он все живёт, потом ест карася в сметане, маленькой косточкой давится — и конец. Кто знает, не слыше ли? Случай, а может быть, этот случай умненький, кончил богословский

факультет и сдал экзамен на звание «провидения»? Стоит бабка в церкви, молится своей «Заступнице усердной» — Буренушка стельная, дай, мать божья, телочку! (за грехи — теленка). Вместо бабки святая Женевьева, вместо теленка готы, и готова фреска Пювис-де-Шаваня. Это о земном, а о над... — еще сомнительнее. Только неуверенность — о двух концах палка. Всякому приятнее отправить такое письмо, да еще при таких порядках на почте — заказным, а не простым. Книжки тоже пишут, школы... Идет безверье, то есть валюта страны небесной обесценена до крайности. Кассир расплывается, тонет в туманах, его же создавших».

В другой раз Учитель говорил нам о влиянии пола на религию: «Бешеного быка закалывают. Если кобыле вовремя дают жеребца, она заболевает. Нет котов, влюбленных в сук, и ни один самый испорченный фокстерьер не волочится за овцой. У нас иначе. Так как вершина есть и начало спуска, а чувственное предвкушение длительнее и сластнее судорог страсти, многие ищут наслаждения в безбрачии. На постели образ тускнеет, даже при минутном удовлетворении, на стенке он цел. Хрупкая девица на брачном ложе (когда подруги говорили — все выглядело лучше) — быстро, чересчур вятно и не по вкусу. Кроме того, он сопит. А тот, другой, с золотыми кудрями, смертельно грустный, недоступный... Ах, скорее стройте беленькие бегинажи с медными подсвечниками и накрахмаленными занавесками! Господа кюре за шторками, вы услышите в исповедальнях миллионы вздохов и признаний, о которых тщетно мечтают агрономы и пивовары. Ничего, если иногда будет маленький подлог и некоторое возвращение к матери-природе. А они, сопящие и несопящие, сначала распяемые запахом подмышников, потом чувствующие приступ тошноты, разве они не сочиняли стихов о небесной красоте той, иной, немислимой, которой не нужно подмышников, не рисовали ее на клочке холста? Я видел в Ганахо, под Бургосом пастуха, тупого парня лет двадцати, который царственным жестом оскончил себя в деревенской церквушке пред ее изображением и час спустя умер, обливаясь кровью. Он — «выродок», ведь другие обливаются только слюной сладострастия или чернилами умиления. А тайные секты блудников, а преступные целовальники икон, а старые монахини, вечером смахивающие пыль со статуй, а дряхлый Верлен, пробиравшийся от морщинистой грязной бабы к каменной девушке с розой в руке...»

Будучи в Лондоне, мы зашли с Учителем в протестантскую кирку. На голых стенах висели лишь копилки и расписание занятий в воскресной школе. Пастор весьма красноречиво говорил о благонравственности Спасителя и о вреде спиртных напитков. Учитель сказал нам: «Бедные люди, они еще раз повторили жест ребенка, который срывает с игрушки ленты и бубенцы, чтобы найти внутри клок пакли. Им дали великолепную куклу Рима. Они не поняли, что ее глубочайший смысл в этих кружевах обрядов, в нашивках догм, шелесте месс, в рюмянах и золоте венчика. Они начали сдирать одежды, срывать ризы, боясь, что живая плоть станет ризами, и не подумав, что под поцелуями человеческих губ ризы стали живыми и теплыми и что вне этого плоти не было. Ободрав с кочана лист за листом, они церемонно водрузили пред собой кочерыжку, копилку и господина пастора, который не одобряет (кстати сказать, великолепного) «Шидама».

Когда в Париже в 1913 году организовалось «Общество рациональной постановки мелкой торговли», Хуренито в качестве владельца магазина коралловых бус явился на учредительное собрание и внес предложение поставить общество под высокое покровительство «апостольской церкви». «Нигде,— говорил он,— я не видел такого бережного, трогательного и вместе с тем рационального отношения к мелкой торговле, как в стенах церкви. Как есть большие и мелкие грехи, есть дорогие и дешевые искупления. Церковь вытравила из памяти дорогое бездельникам и тунеядцам, ненавистное нам понятие «даром». Какой-нибудь мелкий афинский философишка уверял, что добро можно делать ради добра. Церковь сказала: «Нет. Ничего даром. За всякое добро — билет (отвечают всем достоянием неба). За грехи платите. Поклон, сто поклонов, свеча в два су, в сорок су, постройка часовни, путешествие в Лурд, в Сантьяго, в Рим». Мы будем торговать под святой сенью Петра, у которого столь дорогие нашему сердцу приходо-расходные книги, весы и крепкие ключи к американским замкам». Речь Хуренито была покрыта аплодисментами, но предложение не голосовалось вследствие протеста владельца магазина резиновых изделий, стоявшего на точке зрения абсолютной светскости «Общества».

Поучая учеников, Хулио Хуренпто любил нам показывать различные экземпляры той или иной человеческой породы. Меня всегда изумляло неисчислимое количество людей, с ко-

торыми он поддерживал приятельские, деловые, а чаще всего неопределенные и с виду бесцельные, отношения. Так, в Генте он познакомил нас с неким Зютом, фламандцем, занимавшимся игрой на тромбоне, обкуриванием длинных глиняных трубок, выжиданием кофе перед сложными машинками — «фильтрами». Этот Зют, кроме вышеупомянутых достоинств, был, по моим догадкам, родственником писателя Метерлинка. Я сужу об этом по многим признакам. Так, например, когда мы на минуту замолкали и в комнате становилось тихо, Зют многозначительно вздыхал, а затем пояснял: «В комнате кто-то присутствовал». Вообще молчал он не просто, а торжественно. Любимыми его словами были: «кто-то», «что-то» и «странный». Изъяснялся он примерно так: «мне грустно — по саду кто-то прошел», «сейчас с какой-то девушкой что-то случилось, поэтому у меня тяжелеют веки», «вы слышите, как странно бьют часы, они что-то предвещают». За утренним кофе он был полон воспоминаниями приснившихся снов, за обедом смутными ощущениями иных миров, за ужином предчувствием неведомых встреч (что, впрочем, не мешало ему есть с аппетитом). Во всем он видел тайну — в форме облака, в залетевшей в комнату птичке, даже в суповой миске, которую разбила его прислуга, неповоротливая фламандка. Просидев с ним два часа, я заподозрил его не только в родстве с Метерлинком, но и в нервном заболевании. Я поделился моими соображениями с Учителем, но он возразил: «Увы! Зют вполне здоров, и я не думаю даже, что он родственник Метерлинка, вернее, таких родственников у достопочтенного поэта наберется не одна тысяча. На домике Зюта громоотвод, а в передней барометр; когда он заболевает, то зовет лучшего доктора и не может вымолвить от волнения ни единого слова, пока врач не положит трубку в карман и не пробубнит наконец название болезни по-латыни. Зют очень любит повторять слово «провидение», но прививал себе, между прочим, оспу, дифтерит, тиф. Конечно, если ты его обо всем этом спросишь, он не смутится и скажет что-нибудь вроде того, что «не надо искушать господ бога». Но на нем ты можешь наблюдать человека, который не способен жить без тайны. Ты скажешь, что на свете еще много неясного. Разумеется. Но из длинной анфилады запечатанных комнат несколько дверей взломано, и там обнаружена самая обыкновенная обстановка средней руки. Это расхолаживает Зютов, заставляет их приделывать печати. Далее идет косметика, штопка

драных штанов и различные способы старой потаскухи выдавать себя за невинную девственницу».

Возвращаясь к тому же вопросу о тайне, он свел меня с одним немецким теософом Вольфом.

В жизни Вольф был обыкновенным немцем, имел нечто вроде жены, то есть худосочную девицу Матильду, выполнявшую в доме самые различные обязанности. Но иногда, скушав изрядное количество свинины, выпив пива тоже вдоволь, выкурив сигару и не зная, что ему дальше делать, то есть в часы, когда прочие смертные читают статьи о министерском кризисе, ловят мух или просто очищают многими способами нос, уши и прочее, Вольф вдруг становился важным, заперал в кухне подобие жены, чтобы она ему не мешала звяканьем посуды, объявлял, что у него высшее состояние духа, так как из мира астрального, в котором пребывал ранее (со свининой и Матильдой), он переселяется в «будхе», что теперь он решительно сосредоточивается и видит все. Далее шло вовсе неподобное — оказывалось, что Вольф был прежде не Вольфом, а жаворонком, вождем племени адтеков и любовницей Людовика XV. Кроме этого, он знал не только названия всех городов Атлантиды, но даже расписание трамваев ее столицы. Он показывал своим сослуживцам какой-то стертый польский грош, уверяя, что это один из сребреников, полученных Иудой. Родимое пятно на его теле ниже спины являлось знаком предназначенной ему звезды Кассиопей. Уезжая летом на месяц отдохнуть, он направлялся в Дорнах к своему наставнику Штейнеру и там таскал камни, строя какое-то капище. О нем Учитель говорил как об очаровательном хитреце: «Вольф знает все, но ему скучно утомлять свой разум математическими проблемами или социальными трактатами. Кроме того, ему слишком много преподносили слабительное Реформации, чтобы он мог вернуться к милой мистике средневекового мясника. Поэтому он предпочитает выдумывать забавную тайну и потом остроумным способом разоблачать ее. Это ничуть не хуже головоломок в воскресных номерах газет. Это вполне корректный и практичный спорт, а засим — разве тебе еще не ясен путь от Айши до Вольфа?..»

Путешествуя по Италии, мы часто заходили в различные церкви. Обыкновенно в них бывало уютно, но грязно, мало кто считался с плакатом: «Просят из уважения к месту не плеваться». Часто, кроме старых бабок, шамкающих сплетни, и детей,

играющих в прятки, мы находили в церквях кошек, собак, даже кур. Мы видали немало любопытных церемоний. В Сетиньяно хоронили Христа ряженые всадники, люди в масках с крохотными дырочками для глаз, вдовы в трауре, девушки в подвенечных платьях. Действие происходило ночью при свете вздыбленных факелов, под барабанный грохот и вой монахов. Во Флоренции к собору подвозили белого быка, на котором восседал некий субъект, в панцире, лицом к хвосту. Заканчивалось все это ракетой в форме птицы, влетающей в церковь и зажигающей огни. В Риме, в подземной церкви, монах, иступленно крича, водил за собой прихожан от алтаря к алтарю, стегал свое тело веревками и потом ложился в гроб. Наконец, в Неаполе, при свете сотен костров, при треске шутих и пистонов закипала кровь на статуе святого Януария. Сначала кровь от чего-то кипеть не хотела, и толпа награждала святого особыми итальянскими выражениями, состоящими из сочетания слов возвышенных и бранных. Потом кровь закипала, все хлопало в ладоши, кричали святому «браво», и дело кончалось танцами. Наблюдая все это, Учитель говорил: «Бедный ватиканский узник, как подобает его чину, он дремлет с повернутой назад головой. Ему снится враг Вольтер, и он даже не подозревает о существовании киноактера Макса Линдера. В течение многих веков религия честно исполняла свою роль разрядителя человеческих эмоций. Для этого она вырастила искусство и теперь умирает от конкуренции собственного детеныша. Вместо размышлений отцов церкви — популярная лекция народного университета, вместо декалога — неуязвимая мораль спевшихся лавочников. Что же заменит великолепные страсти, шепот и блеск, фиолетовые ясы и рык органов? Гримасы Чаплина, мертвые петли летчика Пегу и миллионы огней грядущих карнавалов.

В ту же эпоху Учитель представил папе Пию X докладную записку, которая нигде не была напечатана, но вызвала возмущение почти всей римской прессы. Газета «Обсерваторе романо» даже давала понять, что это — интриги некоей великой державы. Копии записки у меня не сохранилось, но я считаю необходимым передать ее содержание. Хулио Хуренито не мог выносить тупые анахронизмы, даже когда они его непосредственно не затрагивали. Его равно возмущали ничтожность распространения электричества в Париже, часовой в парике перед дворцом английского короля и я, целующий руку дамы. Он

предлагал папе некоторые меры для успешного привлечения клиентов. Совершенно недостаточно двум профессорам духовной академии написать вкуче шесть страничек о прагматизме или решиться осветить церковь электрическими лампочками. Надо выяснить, где и при каких условиях легче всего поймать душу, так же тщательно, как изучает коммерсант способ рекламы. У человека былых времен чувство, именуемое «религиозным», исходило от созерцания природы. Выражалось оно в стремлении к примитивной гармонии, миру, лепоте. Поэтому церкви, часовни, распятия строились в местах уединенных, тихих, были очагами покоя. Теперь покой — полчаса после обеда — пищеварение, лень и одна-две игривых мысли. Природа — несколько раз в год, с субботы до понедельника — спешное восхождение «о, как это прекрасно!», прогулка, обед и открытки с видами. Но «религиозное чувство» или, точнее, чувство восторга, которое религия может использовать, подымается у современного человека при ощущении быстроты движения: поезд, автомобиль, самолет, скачки, музыка, цирк и прочее. Поэтому надо соорудить передвижные часовенки в экспрессах и в автомобилях, а все службы реорганизовать из медлительных и благолепных в исступленные, перенеся их на арены с ошеломляющими прыжками, скачками, гиканьем бичей и стартованием самолетов. Таковы были основные мысли записки. Ответа на нее не последовало.

Приводя суждения Учителя о религии, я не могу не упомянуть о том, как он возвратил апостольской церкви заблудшую овцу, а именно мэра Гириека мосье Тика. Этот мэр был ненавидим всеми кюре окрестности, и в корреспонденциях парижской газеты «Ля круа» выяснялось, каким именно наказанием он будет подвергнут в аду. Тик в одной из церквей устроил зал для танцев, обучения фехтованию и других «разумных развлечений», а проходя мимо другой, выполнявшей прежние функции, останавливался и три раза плевал. Он вычеркнул из всех школьных хрестоматий слово «бог», заменив его «идолом», и приказал писать письма не в город Сен-Назер, но просто в Назер. Я не стану приводить длинной беседы и первоначальных плоских доводов мосье Тика: как кит мог проглотить Иону, как может быть бебе без содействия мужчины и тому подобных. Отстранив эти теологические проблемы, Хуренито перешел к существу вопроса. Фундамент нашего социального быта построен на небе. Не ведая того, мосье Тик выры-

вает камни из-под собственного дома, он — анархист. Этого мэр не мог вынести, в волнении прошелся по залу, поглядел, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, и обмотал живот трехцветной лентой. Почему египетский раб строил пирамиду? Не потому ли, что ее возглавлял, — да простит мосье Тик выражение... бог? (Мэр пожаловался на головную боль.) Земная иерархия держится на сознании небесной. Если нет бога, то почему у мосье Тика хороший дом? Почему его не может отобрать поденщик Лото? Ах, мосье Тик так неосторожен! (Мэр начал просить прощения — занят, заседание и что-то еще.)

Неделю спустя в «Ля круа» было напечатано следующее: «Еще один Савл. Известный своими гонениями на церковь мэр Гириекка мосье Тик явился на днях к настоятелю церкви Сан-Антуан и рассказал, что у ручья Фью ему явилась Святая Дева и промолвила: «Покайся, пока не поздно!» В начале июня первый специальный поезд богомольцев направляется в Гириек к ручью Фью. Запись — в редакции».

Мы были с Учителем в катакомбах близ Рима на Аппиевой дороге. Поглядев на черные скользкие проходы, надышавшись смрадом, вдоволь налюбовавшись на старика монаха, продававшего за сходную цену двум баварским крестьянкам тепленькое ребро какого-то мученика, мы вышли наверх. Было просторно, свежо и безлюдно. Я осмелился спросить Учителя, что думает он о судьбах религии? Хуренито сказал: «Наконец-то истлеют все кости и все боги. Разрушатся соборы и забудутся молитвы. Не жалея об этом. Видишь, там, на солнце, откидывая ноги, прыгает по степи маленький жеребенок. Разве не передает он беспредельного восторга бытия? А здесь, у лачуги, задрав морду к небу и опустив хвост, воеет собака — не вся ли скорбь земли в ней? Им будут подобны грядущие люди, и не станут они замыкать свои чувства в тысяченудовые облачения».

Чаще гляди на детей. Я люблю в них не только воспоминание о легких днях человечества, нет, в них я вижу прообраз грядущего мира. Я люблю младенца, который еще ни о чем не ведает, который царственным жестом тянется сорвать — что? — брошку на груди матери? яблоко в саду? звезду с неба? Потом его научат, как надевать лифчик, как целовать руку отца, как шалить и как молиться. Пока он дик, пуст и



прекрасен. Если ты хочешь научиться по-настоящему ненавидеть людей, люби, крепко люби детей! Оскорбляй святыни, преступай заповеди, смейся, громче смейся, когда нельзя смеяться, смехом, мукой, огнем расчищай место для него, грядущего, чтобы было для пустого — пустое».

глава пятая

## алексей спиридонович ищет человека

На следующий день после нашей встречи с Айшой мы все вместе отправились на неделю-другую в Голландию, где у Хулио Хуренито был ряд дел: заседание пайщиков «Общества канализации острова Явы», доклад в гаагском «Трибунале мира», закупка большой партии картин мастеров семнадцатого века, кофе и ножей людоедов, с прелестной резьбой по рисункам немецкого экспрессиониста Отто. По пути мы остановились в Антверпене и вечером направились в порт. Длинный ряд кабачков соблазнял нас медными бананами, качающимися попугаями и неграми с воткнутыми в жестяные губы трубками из тыквы. Мы вопли в один кабачок, как будто наиболее спокойный (мистер Куль высказывал всяческие опасения касательно библии и долларов). На столах и под столами сидели люди различных цветов: белесые скандинавы, подрумяненные фламандцы, хорошо прожаренные солнцем итальянцы, пережаренные арабы и уже окончательно черные сомалийцы. Люди под столом неистово кричали, и мистер Куль, схватившись за доллары, мысленно цитировал библию, убежденный, что сейчас начнется свалка с ножами, а возможно, и с револьверами. Но Учитель успокоил его, объяснив, что это кастильцы вполне дружески говорят о достоинстве икр дочери хозяина кабачка. Мрачный англичанин сидел один, на птичьей клетке, каждые пять минут выплевывая «виски!», потом оживился, показал сам себе какой-то детский фокус, состоящий в таинственном появлении монеты в шляпе, и, показав его, сам же долго, простосердечно смеялся. Французы пили мало, много шумели, хвастались = один тем, что он в Марокко заколол в

течение дня двенадцать разбойников, другой тем, что у себя в Ниме он в течение одной ночи доставил ряд различных удовольствий такому же количеству девушек. Оба они, когда мимо куля с перцем проходила служанка, уродливая баба лет пятидесяти, хватали ее за руку, выше локтя, с возгласами «э-э! красotka!», что, очевидно, являлось необходимым ритуалом.

Вдруг в дальнем углу кто-то застал по-русски: «Друг мой, брат мой, скажи мне, человек я или нет?» Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента, с жидкой, как будто в год неурожая взошедшей, бородкой, в пенсне с одним выбитым стеклом, в широкой фетровой шляпе, на которой, безусловно, сидели и лежали различные посетители различных кабачков.

Он настойчиво тряс одного из негров, который никак не мог ответить на столь глубокомысленный вопрос, тем более предлагаемый на языке непонятном, но от волнения и усилия понять высунул кончик языка и качал во все стороны головой. Зрелище это было столь живописно и трогательно, что мы перекочевали за столик русского, который необузданно обрадовался, увидав соотечественника, и предложил мне тотчас решить проблему, не выясненную бедным сомалийцем. Засим он очень внушительно объявил, разбив при этом кувшин и четыре стакана, что «все фикция!». Это понравилось Учителю, и он показал русскому философу небольшие, но любопытные опыты, или, выражаясь языком более патетическим, «чудеса», подтверждающие отсутствие пространства и времени. Русский был настолько этим потрясен, что пощупал свои карманы, нос негра, а потом долго и глубокомысленно сидел, приложив свою руку с браслетом к уху и, очевидно, проверяя, идут ли его часы. Убедившись, что у негра есть нос, что часы не испорчены и что вместе с тем ни времени, ни пространства не существует, не зная, как это все согласовать, русский икнул, спросил еще литр водки и гордо объявил: «Все фикция, но существует человек!» На ласковую усмешку Учителя он обиделся, хотел уйти, не ушел, но счел нужным представиться: «Свободный человек, то есть Алексей Спиридонович Тишин». Непосредственно за этим он высказал острое желание рассказать Хуренито свою жизнь и спросил, не можем ли мы пойти на вокзал и сесть в пустой вагон. Даже я не понял его хода мысли. Тишин объяснил, что он привык рассказывать свою жизнь незнакомым людям в вагонах, и так как ему уже за

тридцать, то менять привычки тяжело, а жизнь рассказать необходимо, иначе он побьет негра, или утопится, или начнет здесь же строить баррикады. Все три возможности нам мало улыбались, но и идти на вокзал не хотелось. С присущим ему тактом Учитель убедил Алексея Спиридоновича, что кабакоч в порту то же самое, что вагон, и поэтому, рассказав здесь свою жизнь, он не отступит ни от традиций великой русской литературы, ни от своих тридцатилетних привычек.

Родился Алексей Спиридонович в городе Ельце и там же провел свое детство. Мать его вскоре после рождения Алеши убежала с французом Жоржем, парикмахером местного предводителя дворянства. В Москве Жорж, получив от нее «сувениры без цены», то есть ларец с фамильными бриллиантами, счел свою миссию в стране дикарей законченной и уехал в родную Тулузу. Мать Алеши попробовала существовать, писала какие-то письма, ходила к родственникам и, провалявшись два года, умерла. Мальчик рос с отцом — генералом в отставке и большим самодуром. Наблюдали за ним различные гувернантки, довольно быстро сменявшие одна другую, которые свои досуги посвящали уходу за генералом. После ночей в кабинете отца они били Алешу, щипали его с вывертом и при этом смеялись: «Ну-ка, попробуй, пойдя пожалуйста отцу!» Зато, когда судьба заставляла их проводить долгие недели в детской, предчувствуя немилость, они дарили Алеше трубочки со сливками, пришептывая: «Ты хороший мальчик, пойдя скажи папе, что я тебя очень люблю и его тоже. Только смотри не говори, что это я тебе сказала». Генерал пил запоем. Порой он хватал хлыстик, висевший над турецким диваном, хлестал им по спине Алешу и приговаривал: «Шлюхино отродье, вот тебе! И черт тебя знает, чей ты! Цирюльник поганый! Иди мыль морду!» А потом ночью будил мальчика, и тот в ужасе видел старика на четвереньках перед кроваткой с сеткой, который завывал: «Ангел мой чистый! Солнышко мое! Недостоин я тебя, гад, блудодей! Раздави меня! Плюнь, ну, плюнь в отца!» Он не успокаивался, пока Алеша не делал вида, что плюет в него. Иногда после этого генерал смиренно уползал на четвереньках, как пес к себе в конуру, но порой вдруг вскакивал, рычал: «В отца плюешь, пащенок?» — хватал хлыст, и все начиналось сызнова.

Особенно запомнилась Алексею Спиридоновичу одна ночь. Генерал как-то привез к ним на двор молоденького медвежонка,

который стал закадычным приятелем Алеши, участником всех игр. Звали медвежонок Бумбой, был он растяпым, падким на сласти и очень ласковым.

Ночью генерал будит Алешу, закутывает бережно в одеяло и несет в садик. Там, привязанный к беседке, на задних лапах стоит Бумба. Генерал размахивает наганом, хохочет: «Убиение святого Себастиана, картина, достойная кисти Айвазовского, хи, хи, хи! Мишка, тащи сюда бутылочку зубровки — за переход души раба божьего Бумбы!» Медвежонок, думая, что с ним играют, облизывается и урчит. Генерал стреляет, спяна мимо, только прострелил лапу. Бумба отчаянно визжит, как щенок, которому наступили на хвост. Наконец кончено. Алешу несут вверх в забыты. Жар, горячка. Ничего — отлежался.

Еще рассказывал Алексей Спиридонович о своих детских играх. Больше всего он любил ловить на окошке мух и отрывать им лапы, крылышки. Но потом ему было их жалко и скучно. Тогда он устраивал «мушиный лазарет» — в одной спичечной коробке помещались мухи без крылышек, в другой однокрылые, в третьей безногие и так далее. Иногда он молился перед иконой богородицы, чтоб она устроила в раю его, Бумбу и маму (о которой он слышал от старушки ключницы), но потом, раздраженный тем, что у него, только у него нет мамы, что Бумбу пристрелил отец, вынимал из шляпы очередной гувернантки большую булавку и начинал колоть глаза богородице: «Вот тебе, вот тебе!»

Когда Алеша был в шестом классе гимназии, генерал, перепив зубровки и схватив простуду во время поездки на богомолье к Тихону Задонскому, куда он возил с собой девочку Любку и фрейлейн Шарлотту, умер; он оставил сыну некоторую сумму и жуликоватых опекунов. Вскоре после этого Алеша впервые познал тяготы плоти. До сего, прочитав тайком в «Ниве» «Воскресение», он тщетно старался претворить горничную Лену в Катюшу, неожиданно, как бы невзначай, прощмыгивая пальцами по ее телу и заставляя ее нещадно бить посуду. После волнений, колебаний и страхов Алеша отправился с «камчадалом», усатым Пукловым, в заведение Ангелины Карповны и там за три рубля получил от дородной, но расторопной Стеши некоторое элементарное воспитание. Когда Алеша вышел из каморки в салон Ангелины Карповны, Пуклов, глотая мутное пиво, спросил восторженно: «Ну, что скажешь, брат? Здорово? Это мое открытие, в некотором роде

Колумб!..» Но Алеша, закрыв лицо руками, бубнил: «Что я сделал?» И, получив «размазню», выбежал на улицу. Дома он брезгливо мылся, вспоминал мать и хныкал. А на следующий день, решив начать новую жизнь, пошел в библиотеку, записался по второму разряду и взял книги Мережковского и Бердяева.

Все это, конечно, не помешало ему вскоре отправиться снова, правда, не к Стеше, но к Маруне, черной и потной молдаванке, похожей на истекшую соком маслину. Читать книжки о грехе и об антихристе он, однако, не перестал. Завел альбом и, разделив его на отделы: «любовь», «бог», «природа» и другие,—выписывал туда наиболее потрясавшие его мысли. Так, в отделе «человек» значилось: «Человек создан для счастья, как птица для полета» — В. Короленко, «Человек — это звучит гордо» — М. Горький и так далее.

Засим он влюбился в голубоглазую Нюру, дочь почтового чиновника, отличительными чертами которой были четыре локона в виде колбасок, медальон с изображением котенка и страстная любовь к шоколаду с фисташковой начинкой. Влюбившись, он ходил, вздыхал и наконец долгими разговорами о своем одиночестве, подсаживаясь поближе на узкой кушетке добился основательного поцелуя. Тогда его охватили сомнения. Как ни была возвышенна и заманчива любовь в произведениях всех лучших писателей, как ни были сладки пухлые губы Нюры, многое заставляло его призадуматься. Нюра не Стеша и не Маруня, у нее отец и прочее, значит, придется жениться. Но Нюра и не Беатриче, в ней нет жажды божественного. Значит — служба, пеленки. Разве можно читать Ницше или Шопенгауэра, когда рядом пиццит младенец? Конечно, дети не всегда бывают, говорят даже, что есть кое-что. Но ведь «кое-что» — это не бирюзовое колечко, его не поднесешь невесте. И такое загрязнение идеалов!.. Он открыл свой альбом, отдел «любовь», и прочел: «Только утро любви хорошо» — С. Надсон. Это окончательно толкнуло его на определенное решение, и он послал Нюре письмо на шестнадцати страницах о «великом конфликте между разумом и сердцем» и о «непостижимых путях провидения». Полгода спустя, узнав, что Нюра выходит замуж за товарища прокурора, он вознегодовал: «Вот вечная любовь! Идеал! А впрочем, я незлобив и желаю ей счастья».

Лет двадцати Алексей Спиридонович начал заниматься политикой, то есть составлять конспект по «Политической эко-

номии» Богданова и размышлять: грех или не грех убить губернатора? Как-то Пуклов, его приятель с детских лет, ставший членом подпольной организации, привел к Алексею Спиридоновичу рыжего детину в косоворотке и пробасил: «За ним слежка, все ночевки провалены, так что он у тебя переночует». Алексей Спиридонович согласился и весь вечер пытался добиться у гостя, что тот думает о революции, о насилии и об искуплении. Но парень оказался молчаливым и сочувственно реагировал лишь на бутерброды с языком, да еще на альбом с видами итальянской Ривьеры. Все последующие дни Алексей Спиридонович томился сомнениями: «Быть может, он убил или убьет. Я приютил его, спас. Значит, я покрываю убийство. Я — убийца. Конечно, «не мир, но меч», а как понять тогда «поднявший меч — от меча падет»?» Словом, Алексей Спиридонович был глубоко удручен и подавлен совершившимся. Ко всему, когда он ходил в библиотеку, за ним всю дорогу волочился какой-то подозрительный субъект. Ясно — за ним следят. Прежние духовные терзания сменились житейскими. Он видел себя в тюрьме, бритым, в кандалах, иногда даже идущим на виселицу. Это улучшило его моральное состояние, ибо он почувствовал себя героем, но все же не давало возможности спокойно жить. После мучительной недели он решил убежать за границу, но, не зная, как это делается, в отчаянье подал прошение орловскому губернатору. Три дня он ждал ареста и был бесконечно удивлен, когда ему принесли заграничный паспорт. «Я перехитрил их», — думал он, мчась в спальном вагоне в Берлин.

За границей его убеждение еще более укрепилось, и Алексей Спиридонович искренне считал себя политическим эмигрантом. Заказывая модные костюмы у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах, скупая сотни поражающих его вещей, как-то: специальный набор мазей и щеток для чистки мундштуков, электрические щипчики для усов и тому подобное, Алексей Спиридонович любил высказывать свое преклонение перед «сермяжной Русью», противопоставлять тупой и сытой Европе ее «смирненную наготу». Ничем он не занимался и в анкетах гостиниц в рубрике «профессия» гордо ставил — «интеллигент», чем немало смущал швейцаров. Иногда он впадал в уныние и решал, что необходимо трудиться для «грядущей России». В одну из таких минут он записался в версальскую школу садоводства, — считал, что

грубый материализм чужд славянству и что родине нужны будут цветы. Но, прослушав первую лекцию об удобрении, сбежал в Париж и мертвецки напился. Другой раз он почувствовал необходимость войти в организацию и долго колебался в выборе между «группой содействия партии социалистов-революционеров» и «обществом улучшения церковного хора», считая социализацию земли и возрождение церкви равно важными. Он беседовал с неким мрачным эсером, занимавшимся предпочтительно игрой в шашки и набиванием папирос, на разные отвлеченные темы, а от него шел в кафе с садиком, где рябой псаломщик любил обыгрывать в кегли французов, и начинал приставать к нему с теми же вопросами. В конце концов он записался в обе организации, внес членские взносы, но ни на одно собрание не пошел, — наступила летняя жара и было куда приятнее, завесив окно мокрой простыней, в одних кальсонах пить настоящий русский чай Высоцкого.

Европа не испортила Алексея Спиридоновича, и он по-прежнему боялся греха. Познакомившись в кабаке с веселой французенкой по кличке «Юю», он направился к ней и готов был уже совершить все, что в таких случаях полагается, когда заметил, что она не проявляет к нему никакого внимания, раздумал и начал одеваться. На недоуменные вопросы он деликатно ответил, что может предаваться земной радости без духовного общения, ибо это было и в Элладе, но не без взаимной страсти, и ушел, получив вдогонку груды ругательств, а также какой-то, неподходящий для метания, предмет, который оказался у Юю под рукой.

А между тем шли годы, деньги тоже уходили, немало этому способствовали и бывшие опекуны, теперь доверенные. Присылки становились все скуднее. Алексей Спиридонович переселился на мансарду, и вместо «Кафе де Монако» посещал различные притоны в районе рынков и вокзалов. Но, как прежде, выпив полбутылки, он начинал бить стаканы, устраивать трагический массаж лба, кидая неизвестно кому горькие истины: «все фикция, но есть человек!..», «что мир? — ничто, а человек — это дух!..» — и прочее.

За таким занятием в кабачке Антверпена, куда он попал, объезжая со скуки старые города Бельгии, мы и застали его. Приблизительно таковой была его биография, рассказанная нам, хоть, видно, и не впервые, но с пафосом, слезами и глубоким волнением. Закончив рассказ, он закричал: «Пусть я

скот, жалкий слизняк, но есть человек!» Учитель мягко возразил: «Друг мой, ваше интересное и поучительное повествование только еще убедительнее показывает, что то, о чем вы мечтаете, так же иллюзорно, как и все на свете». Тишин возмутился, и так как мы уже заметили, что сильные душевные движения у него связаны с битьем посуды, то поспешили увести его прочь из кабака.

Алексей Спиридонович объявил, что он немедленно едет на пароходе «Реджина» в Рио-де-Жанейро, чтобы искать человека. Учитель сказал ему, что если человек существует, то область его нахождения распространяется на два полушария, и ему незачем ехать в Бразилию. Он, Хуренито, и мистер Куль охотно предоставит господину Тишину необходимые средства. Будет основано «Общество для изыскания Человека». Если же эта работа ни к чему не приведет и человек окажется несуществующим, — Алексей Спиридонович должен будет признать правду Хуренито и в дальнейшем следовать за ним. «Я буду очень рад, если возле меня окажется коренной русский. Каждый раз, когда я говорю со славянином, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у вас тоже имеются поэты, биржи, кажется даже парламент! Но все, что так крепко и основательно на Западе, у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного вздоха, чтобы бесследно исчезнуть. Я не наивен, я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать, знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела, знаю, что не вам сокрушить эти спаянные кровью многих сотен поколений, насиженные города. Но вы велики, и такой пустыни не выдержит дряхлый мир — голова закружится. Вы никого не свергнете, но, падая, многих потащите за собой. За это я вас люблю, и я верю, что вы, господин Тишин, будете со мной». Алексей Спиридонович согласился и торжественно подал Хуренито руку. Это было на рассвете в пустынном порту, среди дремавших на узлах эмигрантов — евреев из Галиции и каких-то бродяг в кепках, ругавшихся из-за большого кашне. Картина была немного оперная, и Хуренито, усмехнувшись, зашел: «Где же цыпочка? Где Маргариточка?» — на что Алексей Спиридонович почему-то обиделся.

Я не стану подробно описывать деятельность «Общества изыскания Человека» ввиду ее чрезмерно сложного и разнообразного характера. К тому же труды академической секции



общества собраны датским психологом Фальсом и должны вскоре появиться в свет. Как и следовало предполагать, они дали крайне неблагоприятные для Алексея Спиридоновича результаты, доказав отсутствие специальных, им предначертанных, схем и обнаружив полное тождество обследованных экземпляров с выродочными (дегенеративными) особями, уже ранее известными зоопсихологам. Что касается практической деятельности общества, то есть непосредственных розысков Человека, то она привела лишь к ряду более или менее живописных анекдотов. Вначале агенты общества, соблазненные огромными премиями, рыскали повсюду с анкетами, составленными Алексеем Спиридоновичем и состоящими из тридцати восьми вопросов, ища тех, кто удовлетворит предъявленным требованиям. Они привозили в правление Общества на рю де-ля-Босси самых неожиданных кандидатов на звание «Человека»: престарелых богомолок, зобастых идиотов из Альп, докторов философии из Гейдельберга, молоденьких евреев-«бундовцев». Но вскоре, разочарованные строгостью Алексея Спиридоновича, они перешли на службу к мистеру Кулю и занялись продажей его неподражаемых автоматов.

Во всяком случае, искать «Человека» стало модным, и возможно, что некоторые читатели этой книги помнят конкурс, объявленный парижской газетой «Матэн» непосредственно вслед за конкурсом лучших танцев и наиболее остроумных определений обманутой любви. Газета поместила фотографию молоденькой женщины в лохмотьях с грудным младенцем. Подпись: «Эта женщина утверждает, что она три дня ничего не ела и что ей негде спать. Что должен сделать настоящий «Человек», увидев ее?» Ответы были весьма разнообразны и всесторонни: «Озаботиться нравственным воспитанием молоденьких девушек», «Очистить наши улицы от бродяг», «Подвергнуть ее медицинскому освидетельствованию», «Испытать, сколько она еще сможет прожить при подобных условиях», «Свергнуть кабинет министров», «Передать миру в стихах или, в случае неумения, в прозе, ее муки». Премью получил наиболее распространенный (13 426) ответ: «Сказать ей: стыдитесь! Вы молодая женщина и должны работать». Как курьез, газета отмечала получившее всего один голос пожелание: «Свести ее в ясли и на государственный счет один раз накормить»,

Отчаявшись в работе общества, Тишин пробовал сам предпринять розыски, но был трижды обокраден, раздет, избит каким-то консьержем и, наконец, попал в тюрьму, откуда Учитель должен был его освободить.

Хуренито наконец решился спросить упряма, признает ли он себя побежденным? «О нет,— закричал Алексей Спиридонович,— пойми меня! (Надо сказать, что он был очень фамильярен и на следующий день после знакомства с Хуренито потребовал выпить с ним на брудершафт и облизал щеки Учителя, после чего тот, брезгливо морщась, направился к умывальнику.) Пусть я не нашел истинного человека, но он существует! Не веришь? Вот тебе доказательство — я Человек! Ты усмехаешься? Да, я животное! низкое! подлое! грязное! Но я люблю Наташу, и я Человек, я бог! Слышишь?» Далее многоречиво и патетично он рассказал о своей любви к какой-то курсистке Орловой, изучающей в Париже французский язык. По вечерам она играет ему «Песню без слов» Чайковского, и Алексей Спиридонович чувствует, что он Человек. «Все это прелестно, в том числе и Чайковский,— возразил Учитель,— но чем, собственно, твое чувство (вполне законное, скажу кстати) отличается от некоторых эмоций моего кота Джо? Тем, что кошка не берет напрокат пианино, а удовлетворяется природными музыкальными данными?» Алексей Спиридонович впал в ярость, крича, что «его любовь — любовь Человека», ибо ей «ничего не нужно», и «она навек». «Что ж, посмотрим...— сказал Учитель,— отложим разрешение нашего спора на несколько месяцев».

Предсказанию Хуренито суждено было скоро осуществиться, увы, при довольно трагических обстоятельствах. В мае месяце, пять недель спустя после описанного мной разговора, Наташа Орлова умерла. Будучи нрава необузданного и хаотического, Алексей Спиридонович, как-то выпив, посмел обвинить Учителя в смерти своей возлюбленной. Это было явной нелепостью: Наташа скончалась после неудачной операции аппендицита, произведенной одним из лучших хирургов Франции. Учитель в крайне мягкой форме ответил, что, ведя большую игру, он не нуждается в мелких взятках и, чтобы доказать ему свою правоту, скорее заставил бы мадемуазель Орлову дожить до ста лет, ибо смерть способна лишь замедлить неминуемое. Действительно, вначале Алексей Спиридонович был безутешен. В дождливую ночь, обманув бдительность привратника

кладбища, он приполз на могилу Наташи и, уткнувшись лицом в землю, лежал, пока его не заметили и не увезли. Мало-помалу он начал возвращаться к жизни, продолжая постоянно говорить о своей любимой, о том, как она любила пармские фиалки и музыку, какие у нее были маленькие ручки (перчатки  $5\frac{1}{2}$ ) и как он ее любил. Как-то раз он сказал: «Я думаю, что для нее лучше, что она умерла, она не узнала всего горя жизни». Учитель шепнул мне: «Начинается! Он уже ищет утешения». Потом Алексей Спиридонович стал интересоваться обычными житейскими делами, читать газеты, играть в шахматы. Вспоминая о Наташе, он внезапно замолкал и как бы отходил в сторону. Но это бывало все реже и реже. Как-то раз, когда Айша, подарив ему букетик фиалок, сказала: «Это любила твоя госпожа», — он рассердился, и Хуренито заметил: «Дальнейшая фаза — он ищет забвения». Потом, в течение довольно долгого времени, Алексей Спиридонович о Наташе не упоминал вовсе, был весел, спокоен и ровен. После этого перерыва, в одной из бесед со мной, он заговорил о ней безо всякого волнения, я сказал бы «эпически», как говорят о воспоминаниях детских лет, о бабушке или о семейном гардеробе. Это было в октябре, а в ноябре он познакомился с французской мадемуазель Виль, художницей, вбалмошной и весьма очаровательной. Началось все по порядку: вздохи, одиночество, но на сей раз без неудобного отца и без аппендицита. Он пришел к нам и заявил, что «в судьбе — высшая мудрость. Наташа была слишком тихой и задумчивой, она бы с ним мучилась, ей теперь лучше, и мадемуазель Виль тоже. Ну да и ему...» Встретив насмешливый взгляд Учителя, он смутился, как бы сразу вспомнив все, закричал, что Хуренито прав, что он, Алексей Спиридонович, «не человек, а скот», но что «жизнь, несмотря на это, прекрасна».

Через месяц мадемуазель Виль, которой, видимо, наскучили лирические вздохи и философия Тишина, заменила его аргентинцем-жокеем, а Алексей Спиридонович припелся к Учителю с причитаниями о «жизни — фикции»; с тех пор он следовал за ним повсюду. Будучи человеком неорганизованным и беспорядочным, цели Хуренито он не усвоил и часто сбивался с пути, увлеченный различными, как он сам говорил, «фикциями», но любил Учителя елико мог. Таким был четвертый ученик Хулио Хуренито.

различные суждения  
учителя о любви

В настоящей главе я приведу некоторые суждения Учителя о любви. Злая молва утверждала, будто Хуренито развратник, растлеивает девочек и возит с собой в специальном сундуке-шкафу какое-то чудовище, полуженщину, найденную им на вершине Анд, для удовлетворения своей нечеловеческой похоти. Все это — низкая ложь. О жизни Учителя я рассказываю, глава за главой, не утаивая ничего. О плотской любви и о страсти Учитель говорил всегда спокойно, чисто и легко, без смущения, хихикания, пауз и слюнявых словечек. С равным вниманием глядел он на гимназистку пятого класса, у которой под передником только начинают тесниться груди, стыдливо просящую у него автографа в альбом, и на грандиозное зрелище случки кровавоглазых бешеных быков.

Однажды, проходя мимо быка, в ярости и муке оседлавшего телку, Учитель снял шляпу и на недоуменный вопрос мистера Куля ответил: «Я повторяю ваш скучный и условный жест. Снимите и вы котелок, мистер Куль. Если обнажать голову (а это, кроме всего, гигиенично), то не перед выцветшими красавицами с золотыми венчиками, не перед трупом, начинающим пахнуть, — нет, здесь, перед этим жестом пахаря, вспахивающего жесткую землю, перед этим, в муке извергаемым семенем, перед потом, кровью, жизнью».

Мистер Куль, безусловно, считал Учителя человеком глубоко безнравственным и развратным, что, впрочем, по его мнению, не мешало Хуренито быть хорошим гидом. Но порой американец начинал надоедать Учителю сомнительными наставлениями.

Помню, как утром, встретив в саду нашего миссионера, Хуренито сказал: «Мистер Куль, вчера вечером на моем ночном столике я нашел грязную и низкую брошюру. Я соблюдаю в своей комнате чистоту, сплю всегда с открытым окном, ибо люблю свежий воздух, и не могу допустить подобных явлений. Будьте добры перенести вашу деятельность за пределы моей спальни». — «Вы шутите? — я занес вам высоко

талантливый и безусловно нравственный труд нашего молодого проповедника Хэля «О супружеской жизни, согласно наставлениям апостола Павла». — «Вот именно об этой скабрёзной литературе я говорю. Были тычинки и пестик, козел и коза, юноша и девушка. Пришли ваши апостолы и пророки, отцы церкви и кастраты, объявили великое — стыдным, достойное — едва терпимым, расплодили кары и гнусный шепоток в углу, сюсюканье перед чистотой, то есть перед малокровным, худосочным бессилием, вырождающимся извращением. Вместо первого человека, весной буйно кидавшего женщину на траву, поставили где-то рядом с уборной кровать, на которой человеку разрешается, по его человеческой, следовательно низменной, жалкой слабости спать с законной супругой. «Конечно, лучше не женитесь», — советовал ваш любимый апостол. Подумали ли вы над этим? «Лучше не рожайте». Установили культ матери, окружили ее грудь ангельским светом, повели ее в храм, но путь к этому храму завалили грязью, заплевали брезгливыми плевочками монахов. Конечно, не смогли оскопить человечества, — пороху не хватило, — а посему были «терпимыми». Что ж, не удивляйтесь, если мир превратился в огромный «дом терпимости». Вы сказали: «плотское плохо», а миллионы уверовали. Одни надели вериги и занялись бесплодным делом, днем и ночью думают, как бы удержать пробку в бутылке газированной воды. Где, в каком блудилище столько думают о похоти, как в келье аскета или в каморке старой девы? Думают, не ведая о том, думают телом, истомой, мечтами о Вечной Деве или Небесном Женихе. Другие — большинство — решили: скверно, так скверно. То, что могло стать священным, стало свалкой нечистот. Вместо дивного мифа — портсигары с двойной крышечкой: на первой — пейзаж или незабудочки, а на второй, тайной, для приятелей, — нечто нехорошее. Этот портсигар, то есть, простите, вашу духовную книжицу, мистер Куль, я, заботясь о чистоте и гигиене, был вынужден из моей комнаты со всей поспешностью выкинуть».

Учитель ненавидел институт нашего брака, ставя значительно выше даже современную проституцию. На этой почве ему пришлось столкнуться с косностью и враждой общества. Так, раз к нам явился знакомый Хуренито виконт Ленидо, сильно возбужденный и размахивая тростью. История этого юноши из весьма знатного рода была такова. Проиграв в казино Биаррица последние крохи наследства, наделав мыслимые

и немислимые долги, он познакомился со старой американкой мисс Хопс, которая жаждала любви, нежных признаний и герба на визитной карточке. Дальнейшее понятно, надо только добавить, что мисс Хопс была на редкость уродливой, так что ее лицо казалось чем-то на лицо отнюдь не похожим и бесстыдно обнаженным, и не менее страстной, требуя, безо всякого стеснения, на пляже, чтобы жених то обнял бы ее за талию, то коснулся бы ее груди. Получив извещение о свадьбе, Учитель был озабочен тяжелым будущим этой четы. На свадьбу он не пошел, но послал, в виде подарка, большой платок мексиканской выделки и извлечение из «Календаря сельского хозяина» о приемах спаривания жеребца с ослицею. Жеребцу в таких случаях показывают раньше кобылу, а потом завязывают наглухо глаза. Хуренито, прилагая платок, предлагал воспользоваться этим методом для взаимного супружеского счастья. Как я уже сказал, виконт явился к Учителю на следующий день после свадьбы с весьма недвусмысленной тростью. Но Учитель сам признал свою ошибку: «Это было непростительно с моей стороны, я послал вам все, кроме... кобылы. Но я думал, что у вас здесь обширные знакомства. Я понимаю ваше негодование, простите меня великодушно. Знаете ли вы мадемуазель Тонетту?..» Виконт опустил палку, рассмеялся и ушел, захватив несколько адресов.

Другой раз, в кафе, где мы сидели, явился мосье Бок, мелкий журналистик, целый день жадно выискивавший сенсацию строк на двадцать и принужденный довольствоваться трехстрочными известиями о кражах, которые ему давал чиновник префектуры, получавший за это право на не регулированные ничем визиты к мадам Бок. Журналист начал приставать к Хуренито, прося какой-нибудь, хоть небольшой, сенсации, ну что-нибудь о революции в Мексике или о новых изобретениях мистера Куля. Учитель вначале отнекивался, но потом, будучи очень отзывчивым, продиктовал Боку совершенно необычайную по предстоящему успеху заметку: «Исключительное злодеяние. Вчера вечером, в людном месте Парижа на rue Сан-Онорэ, известный парижский адвокат мосье Трик, вице-председатель «Лиги борьбы с уличной безнравственностью», совершил гнусное насилие над молоденькой девушкой Люси З., шестнадцати лет. Самое ужасное в преступлении то, что оно было совершено с ведома родителей девушки, владельцев большого мыловаренного завода, которые находились в это время

в той же квартире». Мосье Бок убежал в состоянии беспредельного энтузиазма. Заметка была напечатана, а через несколько дней журналист явился к Хуренито с забинтованной головой. «Вы меня подвели. Все оказалось выдумкой. Этот негодяй Трик просто женился на Люси З., и они поселились у ее родителей на рю Сан-Онорэ. Меня уже три раза били и собираются еще бить. Я не ночую дома, не бываю больше в редакции. Кроме всего, я получил повестку из суда. Вы сделали меня самым несчастным человеком на свете...» Учитель возразил: «Друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастьях, но я не погрешил против истины. Шестнадцатилетняя Люси не могла дать никакого согласия на все над ней совершенное, ее ведь воспитывали в чистоте и неведении. Она не знала даже, почему люди целуются. Жениха своего она видела только два раза и сильно его боялась. Родители ее, разумеется, ведали о преступлении...» Бок застонал: «Но ведь, поймите же, они повенчались!» — «Только чтобы избавить вас от еще больших неприятностей, я не упомянул в заметке о том, что в преступление были замешаны и представители государства, то есть мэр, скрепивший брачный договор». Эти доводы не убедили Бока, и он ушел расстроенным, захватив с собой все содержимое кошелька Хуренито, дружески ему предложенное. Учитель был очень обрадован, узнав неделю спустя, что мосье Трак, конкурент и ярый враг мосье Трика, разыскав бедного журналиста, предложил ему наградные и возмещение за диффамацию.

Учитель говорил: «Когда два человека основывают вместе коммерческое дело, они интересуются капиталом и соответствующими способностями друг друга, а не любовью к поэзии или умением играть в футбол. Когда хотят посадить в саду дерево, то не занимаются рассуждениями, что такое земля — прах или святыня, не любят ее, как пейзажем, и не оценивают ее у соседнего перекупщика, но смотрят, подходит ли она для такого-то дерева. Когда заходят покупать рубашку, то, как бы ни была красива окраска и низка цена, никто не возьмет слишком большой или слишком маленький номер. Когда же людей сводят для супружества, то исследуют все, кроме того, для чего, по существу, их сводят. Узнают, каково приданое невесты и много ли у нее серебряных ложек, сколько получает жених и есть ли шансы на увеличение его оклада, любит ли он играть в бридж или нет, умеет ли она готовить

паштет из печени, добрые ли у них сердца, здоровые ли легкие, знают ли они иностранные языки и прочее. Узнав, ведут не в контору, не в благотворительное учреждение, не на экзамен филологии, а к широкому уютному ложу, стыдливо потупив глаза, и потом очень удивляются статистике «несчастливых браков». О, лицемеры, отцы, мужья, вселенские матримониалы, волочащие земную радость по захватанным папкам нотариуса, маклера пломбированных товаров, и вы, пришептывающие при сделках всяческие возвышенные словечки, патеры, пасторы, попы и раввины — какой притон не покраснеет от вашего присутствия?»

Учитель познакомил нас в Севре с четой Нольво. Оба были энтомологами, то есть предпочитали всему на свете обследование гусениц. Помимо этого, они были молоды, не уродливы, милы, жили в уютной квартире, где среди стеклянных банок с червями стояли фарфоровые статуэтки и вазы с цветами, — словом, имели всю видимость людей счастливых. Мы жили в это время по соседству, часто встречались с Нольво и по какой-то особенной горечи мелких словечек, почти неумовимых движений заметили, что не все обстоит благополучно в этом очаровательном домике. Действительно, вскоре Нольво-муж сделал Учителю соответствующие признания. Оказалось, что супруги друг друга нежно любят и чувствуют истинную взаимную близость и понимание, сидя по целым дням над распоротыми червями или вечером для отдыха читая трогательные элегии графини Ноай. «Наши души созданы одна для другой, — сказал Нольво, — но...» И далее он смутно коснулся того, о чем современные моралисты и ханжи разрешают говорить лишь в кабинете психиатра или на судебном процессе, — о роковой дисгармонии их тел. Это убивает радость, это превращает страсть в оброк, выполняемый двумя каторжниками. Выслушав эти жалобы, Учитель познакомил бедного ученого с мадемуазель Виль, которая к тому времени совершенно износила своего аргентинца, а нам предложил чаще встречаться с госпожой Нольво. Очевидно, страдания супругов были длительны и чрезмерны, ибо дело пошло быстрым темпом.

Через две недели, возвращаясь из Парижа после свиданий с Виль, Нольво не мог скрыть улыбки полного удовлетворения. Госпожа Нольво, как это ни покажется странным, остановила свой выбор на Айше и тоже, судя по рассказам нашего наивного брата, не жалела об этом. Казалось, должно было



наступить совершенное счастье. Но супруги, вместо того чтобы в свободное от мадемуазель Виль и Айши время продолжать рассматривать гусениц и читать стихи, предались раздумьям о любви духовной и недуховной. Засим Нольво-он повез Виль коллекцию особенно интересных червей, найденных им в различных породах сыров, требуя, чтобы она разделила с ним все его восторги перед желудками этих существ, и был своей любовницей изгнан решительно и навсегда. Нольво-она решила читать Айше сонеты о любви греческих нимф, и когда тот, убаюканный ее голосом, уснул, начала громко рыдать: «Ты не понимаешь духовной красоты...» Все это протекало, более или менее, на наших глазах, так как ни господин Нольво, ни Айша скрытностью не отличались.

«Вот вам еще один пример издыхания Эроса,— сказал нам Учитель.— Нольво обязательно хочет поцелуев, духовного общения и вытаскивает из кармана червей. Он ведь обращен на понимании своей плоти как чего-то низменного — не зал, а передняя. И он предаст свое тело, свой восторг, свою любовь, вернется к госпоже Нольво, будет ласкать ее без страсти, без воли, без радости, только потому, что, проспав с нею ночь, он утром найдет духовное общение, два микроскопа и книжечку стихов в парчовом переплете».

Другой раз семейное счастье было нарушено нами в Милане, где мы часто бывали у депутата Стрекотини. Он был плюгав и щупл, но мнил себя безумным революционером, непонятым пролагателем новых путей,— словом, чем-то вроде Бранда, ставшего марксистом. Сдирая воротничок, потея и не успевая стирать пот, стуча кулаком по изящному столику «ампир», он любил поносить «собственнические инстинкты» и «мещанский уклад» современного буржуа. Жена его, итальянка в теле, слушала эти речи с чуть заметной усмешкой, как будто она знала к ним какие-то достаточно веселые примечания. Слушая, она все чаще и все нежнее поглядывала на Алексея Спиридоновича, в то время переживавшего очередное разочарование жизнью. Один из таких многообещающих взглядов был перехвачен товарищем Стрекотини, который, оборвав обличение «проклятой собственности» на самом патетическом месте, отослал супругу якобы по делу в редакцию и стал выразительно ждать, когда же мы уйдем.

Вечером Алексей Спиридонович получил письмо: «Гражданин, я счел вас за честного человека, за русского социалиста

и пустил вас в свой дом. Вы нарушили все святые обычаи и посмели быть назойливым по отношению к моей жене. Будучи врагом мещанских предрассудков, я не вызываю вас на дуэль, но прошу больше ко мне не показываться. С социалистическим приветом. Стрекотини».

Из этого письма Алексей Спиридонович узнал о чувствах супруги депутата к нему, и поэтому, когда на следующий день увидал в «Аванти» объявление: «Мой ангел. Не обращай внимания на тирана. Я твоя. Приходи в три часа в галерею!» (быстрота появления и экономия места указывали на практический опыт госпожи Стрекотини), понял, к кому оно относится, бросил пессимизм и пошел бриться.

Учителя очень развеселило это небольшое происшествие. «Что ты наделал, Алексей Спиридонович? Ты забыл, что у врага собственности есть не только собственная квартира с изящной мебелью, но и собственная жена. А ведь жена или муж, это как вещь, — мое, твое, чужое. Покушение на них — наказуемая по закону кража. Мужа можно взять, как добрый деревянный шкаф, бывший уже в употреблении, но, конечно, чтобы потом никто им не пользовался, ключик в шкапулке. Жена же вообще, как кровать, должна быть новая, неподержанная и служить только своему хозяину. Ты пренебрег этим, разбойник, ты не гражданин, а преступник, нарушитель священных прав величайшего революционера мира».

Учитель повел нас в воскресенье в лондонский Гайд-парк. «Глядите на тех, которые могут, но которым не разрешено». В траве сидели молоденькие парочки. Это женихи и невесты, принужденные долгие годы ждать свадьбы, пока молодой человек не «станет на ноги», то есть не станет более или менее старым. Они могут видиться в комнатах только при посторонних или по праздникам в парке, где и стараются, при всей невозможности этого, насытить накопляемую страсть. У них под глазами круги, глаза мутны от желания. Как преступники они ерзают по траве, проводя мучительные часы в полуобъятиях и касаниях, распляемые беглыми поцелуями. Пройдет лет пять, может даже десять, им, усталым, развращенным всеми этими ухищрениями, больным от невольных пороков, родители, которые сами свою юность и радость растеряли в притоптанной траве, милостиво разрешат — «теперь сколько угодно».

Эти парочки припомнил Хуренито в другой раз, входя с нами в гнусное заведение в Париже на рю Пигаль: «Здесь вы увидите тех, которым разрешено, но которые не могут». В зале за кружками пива мирно, чинно и сонно сидели хорошие буржуа. Я запомнил лицо одного, с красной ленточкой в петлице. Потом, в отделение, отгороженное от зала решеткой, вошли голые мужчина и женщина, прodelьывавшие обстоятельно все, что мнилось бедным дикарям прошлого священным, и получавшие по десяти франков за сеанс. Мало-помалу, разбуженные зрелищем, хорошие буржуа зашевелились, иные хихикали, другие слюняво возмущались— «о, какой бык!..» Из соседней комнаты выбежали девицы и быстро расхватили гостей. Господин с ленточкой в петлице долее всех проявлял безразличие и под конец потребовал, чтобы с ним отпустили особу, участвовавшую в представлении.

В начале 1914 года в Лондоне вышла книга «Энциклопедия механической любви», нечто вроде современной «Кама-Сутры». По недосмотру типографии эта книга попала в склад какого-то «Евангелического общества», которое, воспользовавшись суматохой первых недель войны, уничтожило все издание. Уцелело лишь шесть экземпляров, один из которых, насколько мне известно, находится в «аду» парижской «Национальной библиотеки». Эта книга была составлена одиннадцатью старейшими проститутками Парижа. Как известно, в Париже женщины указанного ремесла в молодости не ценятся, оставаясь в дешевых кафе левого берега на положении учениц. Только к сорока годам, потеряв молодость и красоту, но приобретя искусство, они становятся модными, ценными и могущественными. Женщины с большим стажем составили «Энциклопедию», и Хуренито охотно согласился написать к ней предисловие. Вот как оно заканчивалось: «Вы сделали жизнь искусством, трудной наукой, сложной машиной, великолепной организацией. Не удивляйтесь же и в любви встрече с тем же феноменом: искусство сменяет наивную непосредственность, разнообразные механизированные ласки — жалкие кустарные поцелуи. Вы приехали на семнадцать минут к вашей возлюбленной, вы смотрите на секундную стрелку, чтобы не опоздать. У подъезда вас ждет автомобиль. Вы приехали с биржи, где продали банкиру в Мельбурне акции хлопковых плантаций Бухары, и едете сейчас на аэродром, чтобы посмотреть международные состязания. Не ждите, что вас встретит Суламифь. Нет, вы

найдете перед собой прекрасную, усовершенствованную, согласно последнему слову техники, машину, которая даст вам в течение семнадцати минут, по вашему выбору, любые из 13 806 доселе открытых развлечений, не уступая вашему радиоприемнику, великолепному фьорду и электрической ванне».

Хулио Хуренито рассказывал нам, что он организовал в Мексике «Кружок проституток для оказания помощи дамам общества». Проститутки, видя, с какой завистью рассматривают их в кафе «порядочные» женщины, и желая отплатить добром за различные филантропические начинания светских дам, обратились к ним, при содействии Хуренито, со следующим воззванием: «Дорогие коллеги, наша сходная работа одинаково тяжела и требует солидарности. Если мы страдаем от разнообразия, то вы, отданные в вечное пользование зачастую отвратительным вам мужьям, выполняете не менее тяжкую работу. Поэтому мы решили прийти вам на помощь. Тем из вас, которым нравятся ласки мужа, мы предлагаем подать соответствующие заявления в нашу «секцию охраны брака». Мы ограничим право посещения наших заведений такими мужчинами одним разом в месяц, обязав их, кроме того, формальной распиской отдавать женам не менее тридцати шести вечеров в год. Но есть среди вас другие, тщетно тоскующие о радостях плоти. Мы среди тысяч находим одного, двух, трех, тапера, сутенера, случайного гостя, они же обречены на муки тюрьмы. Мы устраиваем для них особые тайные «вторники», обещаю соблюдение секрета, и проверенное на опыте общество наиболее одаренных из наших гостей». Хуренито говорил, что «кружок» пользовался неслыханным успехом, но через полгода был обнаружен «полицией нравов» и председательницу его арестовали.

Приведу также речь Учителя на «Интернациональном конгрессе борьбы с проституцией», происходившем в 1911 году в Филадельфии: «Милостивые государи, я знаю, что мои слова вызовут протесты, быть может, негодование, но я считаю необходимым выполнить свой гражданский долг и выступить здесь решительно в защиту проституции. Наше общество покоится на великом принципе свободы торговли, и я не могу допустить, чтобы вы покушались на эту священную основу цивилизации. Я, конечно, всячески уважаю ваше стремление оградить человеческое тело, но никто здесь не будет отрицать личности

разума и духа. Почему же, запрещая проституцию, вы не совершаете дальнейших безумий — не восстаете против права журналиста продавать себя еженощно за построчный гонорар? Почему не жаждете сразить депутатов, раздающих избирателям различные земные блага, и миссионеров, награждающих неофитов отнюдь не небесной манной? Священно право обладания своим телом и право продавать его за золото или за ассигнации. Проституция является одним из наиболее ярких выражений нашей культуры, и я предлагаю не только не бороться с ней, но поставить ее под охрану международных законов, отнести ее к числу самых чтимых учреждений наравне с сенатом, биржей и Академией искусств. Прошу немедленно поставить на голосование мое предложение, переименовать конгресс в «Международное общество насаждения проституции». При содействии полицейских Хулио Хуренито был удален из зала заседаний.

Учитель часто говорил нам о земной любви грядущего человека. Он как бы рассекал тяжелые туманы веков, и мы, изумленные, трепетали перед неописуемым величием человеческих тел, радостно сопряженных, не тех тел, дряблых и бесформенных, что мы привыкли наблюдать в общих банях, но новых, суровых, как сталь, и все же вольных. Он говорил нам, что путь к этим празднествам длинен и труден. Через отрицание любви, поношение тела, через скрытые тканями тела и совокупления по разверстке идет он. Будет час, когда мужчина вместо поцелуя даст женщине аптекарскую пробирку. Но затем он или его правнук объединит смутные атавистические воспоминания и жажду созидания лучшего из миров в одно блаженное, никогда доселе не бывшее, объятие.

глава седьмая

## эроле бамбучи

Из Голландии мы направились в Италию и там, кроме описанных мною назидательных прогулок по монастырям и соборам, занимались также обследованием различных вин — киянти, барбера, джензанно, в грязных траториях, сбором пожертвований на памятник д'Аннунцио из каррарского мрамора

и золота 56-й пробы (для этого Айша обходил с кружкой кондитерские и шляпные магазины, ударяя в кастрюлю и выкрикивая «Эввива!»), наконец, совместными с футуристами выступлениями, которые, впрочем, были однообразны и состояли в выявлении бурных восторгов перед поломанным мотоциклетом, брошенным американским туристом за ненадобностью. Так шли дни легкие и беспечальные. Приближалось время отъезда, все церкви были осмотрены и все вина испробованы, в кружке Айши бренчали уже четыре лиры, одиннадцать солиди и кольцо из американского золота, великодушно снятое с пальца некоей маркизой Нукапруги, а футуристы и мотоциклетка нам окончательно надоели.

В жаркое летнее утро мы решили направиться в любимый квартал Рима Транстевере, не зная точно зачем — не то поглядеть мозаики святой Параскевы, не то выпить из глиняных кувшинов невинное фраскати, не то просто проститься с милым нашим сердцам городом. Поехали мы в экипаже и скоро, вступив в узенькие улочки Транстевере, услышали дивный запах оливкового масла, сохнувших на перетянутых через улицу веревках пеленок, церковного ладана, насквозь просаленных домов,— незабываемый запах «Вечного города». Вскоре извозчик остановил лошадей, и мы недоуменно стали поглядывать то на колеса, которые как будто все были на месте, то на конец улочки, откуда мог идти навстречу очередной крестный ход и откуда никто не шел. А извозчик пылко и красноречиво ругался с каким-то человеком, лежащим поперек дороги и явно не желавшим очистить путь. Извозчик приводил свои доводы: он везет иностранцев, к святой Параскеве проехать иначе нельзя, на улице лежать не полагается, а ездить можно; человек возлежащий — свои: сегодня жарко, уже два раза ему пришлось вставать, и встать в третий раз ему гораздо труднее, нежели извозчику объехать кругом. Спор этот продолжался долго, потерял свой первоначальный практический смысл и превратился в поединок красноречия, достойный древнего римского Сената. Мы вылезли из коляски и тоже, правда робко, как дилетанты, подавали свои реплики. Мистер Куль пробовал соблазнить ленивца лирой, но итальянец, ловко ногой подобрав брошенную в сторону монету, не двинулся с места. Тогда извозчик, впавши в предельный пафос, начал грозить бродяге святой Параскевой, путь к которой он преграждает и которая найдет на него язвы, понос и комаров,

карабинерами, которые артистически изобьют его мокрыми полотенцами, связанными в жгуты, а потом посадят в тюрьму, палкой мистера Куля, своим хлыстом, лошадиными копытами. Так как все это выходило из рамок абстрактной дискуссии, итальянец не считал возможным возражать, но, сладко потянувшись, зевнул, почесал пуп и плюнул высоко в соседний дом, попав прямо в вывеску повивальной бабки над вторым этажом. Этот жест окончательно покорил Учителя, выявившего все время признаки умиления; он подошел к итальянцу и, дружески ткнув его ногой в живот, сказал: «Хочешь поехать в экипаже и вообще жить со мной?» Итальянец задумался, после, видно, думать устал, снова плюнул в ту же злополучную вывеску, не говоря ни слова, подошел к коляске и сел на самое удобное место мистера Куля. Потом он дружески сказал Учителю: «Мне очень жарко, но вы мне нравитесь... Садитесь-ка рядом!» — и, сам о том не думая, вообще вследствие высокой температуры и благородной лени не думая ни о чем, с этой минуты стал пятым учеником Хуренито.

По дороге Учитель заметил, что его новый питомец одет чрезвычайно своеобразно, а именно обмотан различным тряпьем, которое, в зависимости от местонахождения, важно именовалось «рубашкой» или «штанами». Хуренито предложил ему заехать в магазин и выбрать одежду по своему вкусу. Итальянец оказался очень скромным, он решительно отказался от костюма, но взял высокий лакированный цилиндр, несмотря на жару, зимнюю куртку для шофера с козым мехом наружу и, наконец, кальсоны «зефир» лососинного цвета в изумрудную полоску, которыми немедленно заменил тряпицы, исполнявшие роль штанов. Облаченный в такой своеобразный наряд, он вдвойне почувствовал симпатию к Учителю и даже какие-то угрызения совести, ибо воскликнул: «Синьор, я ваш гид!» А на углу, возле трехэтажного дома, недавно обгоревшего, схватил Хуренито за рукав — «глядите, это развалины Рима!», после чего в изнеможении откинулся назад и попросил лиру на кувшин вина.

В гостинице «Звезда Италии» предупредительный портье, сдержав свое изумление при виде живописного туриста, подбежал к нам с листком, прося его заполнить. Но странный посетитель презрительно заявил ему, что он «слава Мадонне; писать не умеет и учиться этому скучному делу даже за вторую пару таких же прекрасных штанов не станет. Имя? Эрколе

Бамбучи. Откуда приехал? Он лежит всегда днем на виа Паскудини, а ночью под железнодорожным мостом, что близ церкви святого Франциска. Род занятий? Он на мгновение смутился, поглядел себе на ноги, оглянулся, как будто потерял что-то, но потом гордо закричал: «Никакой!»

Мистер Куль, Алексей Спиридонович, даже Айша очень заинтересовались выбором Учителя и начали всячески интересоваться Эрколе, который разлежся на софе курительного салона. Мистер Куль интересовался, главным образом, отношением Бамбучи к библии и к доллару. Но итальянец проявил и к тому и к другому величайшее равнодушие. Впрочем, узнав, что доллары — это нечто вроде лир и даже лучше, заявил, что он от них не отказывается, но полагает, что не Бамбучи должен добывать лиры, а, приблизительно, наоборот. Он часто думал, что какой-нибудь «английский осел» найдет его на виа Паскудини и даст ему тысячу лир. За что? За то, что он настоящий римлянин, за то, что он — Эрколе, и вообще... у этих ослов (жест в сторону Хуренито) нет Рима, но есть уйма денег. Кроме того, у него были другие планы, — например, жениться на богатой американке. «Вы американец? Правда? Может быть, у вас есть дочка, которая захочет выйти за благородного и красивого римлянина, за Эрколе Бамбучи? Нет? Жаль! Скажите, а ваши родители не выходцы ли из Кави-ди-Лаванья? Видите ли, оттуда многие уехали в Америку, и это не плохой способ найти дядюшку. Нет? Ну что ж, и без этого тоже хорошо. Дайте мне десять солиди. На два солиди можно съесть у стойки макарон, на два — живых полипов, на четыре — литр вина, на остаток — половину «тосканы», это хорошая сигара, длинная, как собачий хвост. Или на все шесть вина, а возле Колизея подобрать с дюжину великолепных окурков, — «эти ослы» бросают не докуренные до конца сигареты. Засим — под мост, и уверяю вас, что жизнь превосходная штука, а ваши доллары ерунда». Произнеся такую длинную сентенцию, Эрколе предался своему любимому занятию, то есть начал плевать, решив окружить сложным узором ботинки мистера Куля. Американец почувствовал крайнее неудобство и хотел было уйти, но Эрколе остановил его: «Не бойтесь! Я не буду Эрколе Бамбучи, если я задену кончик вашего башмака!»

Но отдаться вполне этому мирному занятию помешал Эрколе Алексей Спиридонович, проникновенным голосом начавший



допытываться: «Скажите, у вас бывают муки, терзания?» — «О да, в особенности осенью, когда много дынь и фиг; бывает, что я не могу уснуть от колик». — «Нет, духовные муки! Как объяснить вам это?.. Чувствуете ли вы иногда потребность все уничтожить, сжечь старый хлам, переродиться?» — «Еще бы, он — Эрколе — обожает праздники, когда из домов вытаскивают старье, тюфяки с ключьями сена, одноногие столы, провалившиеся ящики, складывают все в костры и зажигают. Шутихи — бум! бум! Это все в честь святой Марии». — «Вот вы говорите «святой», значит, вы чувствуете, что есть нечто над нами, провидение...» — «Ну конечно! А банкотто? Никто, слышите, никто, даже сам король не знает, какие выйдут номера!» Эрколе очень любит играть в банкотто, один раз в складчину он выиграл четыре лиры. А почему все так устроено — вчера выиграл, сегодня встретил богатого осла, завтра, может быть, умру — об этом думать не стоит. Думать вообще очень трудно и скучно, тем более в такую жару. Лучше будет, если Алексей Спиридонович принесет две «тосканы», ляжет рядом, закурит и будет плевать вокруг второго ботинка этого бездарного американца, у которого нет дочери, который не дядюшка, а так — что-то с долларами.

Айша сказал: «Вы не знаете, почему господин взял его с собой, а я знаю. Он, наверное, как я, делает богов. Скажи, Эрколе, ты умеешь сделать бога?» Итальянец вознегодовал: «Ну, кто этим теперь занимается! У нас их столько понаделали! На каждого римлянина два бога, трое святых и еще одна великомученица. Ты не думай, что я в бога не верю (Эрколе даже перекрестился), но я вообще не хочу ничем заниматься, а уж тем паче таким скучным ремеслом. Если бы я делал что-нибудь, то только подтяжки. Это удивительная вещь (Эрколе оживился). Я их никогда не носил, но видал на Джузеппе Крапапучи и даже пытался ночью стащить, только он проснулся. Когда мне приходится вставать, я не могу разговаривать, потому что, если я начну разговаривать, я должен махать руками, а если я буду махать руками, мои штаны останутся на мостовой. Когда я не лежу, я должен их держать — это очень утомительно. Иногда я отпускаю их, вроде как на честное слово, но у них нет ни чести, ни совести, — лезут вниз. Нет, лучше подтяжек ничего не придумаешь. Знаешь, если тебе не жарко и ты хочешь обязательно что-нибудь

делать, то брось своих богов и займись изготовлением подтяжек, только пунцовых или голубых».

Из бесед в последующие дни я узнал отдельные страницы биографии Эрколе. Выяснилось, что три события наиболее потрясли Бамбучи — как он утащил косточку святой Плаксиды, как его били из-за художницы карабинеры и как он устраивал революцию. Косточку он стащил совсем маленькую, меньше мизинца, помолвившись предварительно и отдав ее толстой Розалии, «такой, такой богомольной, вроде святой Плаксиды», которая косточку завернула в шелковый платок и положила рядом с пальмовой веткой, освященной самим папой. Он, Эрколе, за это получил большой кусок жареной свинины и фляжку вина. С художницей было хуже. Она вздумала рисовать Эрколе, «англичанка какая-то... ослица», и нарисовала скучно, скучно — все, как на самом деле, даже вывеску повивальной бабки. Эрколе потребовал, чтобы она, во-первых, нарисовала б его в цилиндре, о котором он давно мечтал, во-вторых, рядом с домом приделала бы пальму и птицу, в-третьих, пеленки на веревке заменила бы красивыми флагами. Англичанка отказалась и вместо этого предложила Эрколе лиру. Эрколе лиру взял, но подошел к картине и, вежливо отстранив художницу, сам принялся за дело. Англичанка стала визжать, как будто Эрколе ее душил, и он не успел покрыть грязного серого дома прекрасной лазурной краской, как пришли два карабинера и начали его больно бить. А вот делать революцию было совсем не больно и очень весело. За границей, кажется в Испании, кого-то застрелили, вот и устроили революцию — повалили скамейки, омнибусы, фонари, зажгли фонтаны газа и пели, кричали, стреляли до самой ночи. Это лучше праздника, жаль только, что скоро кончается...

Как-то мы катались втроем — Учитель, Эрколе и я — по Риму. Эрколе попросил извозчика поехать в Транстевере. На виа Паскудини он слез, снял куртку и цилиндр, отдав их на попечение мне, а сам в полосатых кальсонах лег на прежнее место и занялся своей излюбленной вывеской, попросив нас оставить его хотя бы на один час. «Они удивляются, — сказал мне Учитель, — почему я вожу с собой этого босяка. Но что мне любить, если не динамит? Эрколе не Айша, он все видел и все сделал. В его руках перебивали все аксессуары мира: скипетр и крест, лира и резец, свод законов и палитра. Он строил дворцы и арки, храмы с полногрудыми богинями Эллады, с

тощими Христами готики, с порхающими святыми барокко. Посмотри на него — его жесты будет копировать примадонна Мюнхена, а его красноречию позавидует лучший адвокат Петербурга. Он с детства все знает и все может, но между прочим предпочитает плевать, потому что ненавидит крепко и страстно всякую должность и всякую организацию. Он все делает наоборот. Скажешь, клоунада? Может быть, но не на рыжем ли горят последние отсветы свободы? Получив цилиндр, он его вежливо отдает тебе. В этом жесте грядущее возрождение мира. На великой фабрике цилиндров, не забудь об этом, Эрколе будет с нами, как хаотическая любовь к свободе, как баночка с взрывчатым веществом в саквояже, рядом с бриллиантином и с духами Коти!»

Эрколе, лежа, одним ухом слушал нашу беседу и, хитро подмигнув, сказал: «Я знаю — вы хотите устроить революцию, вроде той, из-за испанца!.. Что же, я не прочь — это ведь так весело!.. Но вообще я — ваш гид, синьор, и десять сольди на сигареты!»

глава восьмая

## различные суждения учителя об искусстве

Учитель не любил беседовать пространно об искусстве. Относясь одобрительно к разговорам деловым, как-то: о достоинстве красок, о корнях слова, о различных строительных материалах, — он не выносил lamentаций об искусстве в плане метафизическом, полагая, что этим приличествует заниматься лишь землемерам, подрядчикам и художественным критикам. Но так как организующие и разрушительные силы искусства были ему хорошо известны, он должен был при различных обстоятельствах выявлять свое к нему отношение, тем более что среди двадцати трех ремесел, изученных Хуренито в течение жизни, были поэзия и архитектура. Я разыскиваю теперь рукопись его поэмы, озаглавленной «Трепфэрт № 1717», написанной в дни юности. По отрывкам, которые мне на память читал Учитель, я могу судить о достоинствах этой единственной

эпической поэмы современности, посвященной культу акций, рекламе грузовиков системы «Норт» и грандиозной борьбе рас и классов. Если рукопись не погибла, я издам ее как в оригинале (она написана по-испански), так и в переводах на другие языки. В области архитектуры я видел два проекта сооружений, сделанных Учителем. Первый — огромные грузоподъемники из стали, со стеклянными корзинами, вращающиеся и переносящие по воздуху тысячи людей с одного конца Нью-Йорка на другой. Они возвышались над городом, как гигантские железные цветы с блистающими чашками. Другой проект представлял собой подземные писсуары, рассчитанные на тысячи посетителей. Увы! Папка с работами погибла в день трагической смерти Учителя.

Я указал на труды Хуренито, чтобы всем было ясно, что в его лице мы имеем дело не с дилетантом, но с человеком больших знаний и опыта. Большинство из суждений Учителя стало за последние годы достоянием общества. Различные бахрахтающиеся в лапах старого «новаторы» ходили по пятам за Учителем, подхватывая его краткие замечания. По своему природному тупоумию, обкорнав мысли Хуренито, они выдавали их за свои. Так, редактор одного «ужасно передового» парижского журнала, который выдает себя за поэта, а в действительности пикирует на скрипке, пишет туманные статьи о живописи, существовал исключительно тем, что на вернисажах поджидал у входа Учителя и записывал его реплики. Хуренито, не зная, что такое тщеславие, и заботясь лишь о распространении своих идей, не боролся с подобными явлениями и даже мне завещал никогда никого в плагиате не обвинять, а также не писать никаких писем в редакцию с «необходимыми опровержениями». Я не буду здесь восстанавливать различные суждения Хуренито об искусстве, которые известны хотя бы в искаженном виде, но укажу лишь на некоторые практические выступления, им предпринятые.

Для того чтобы эти выступления стали понятными, надо напомнить о великом пренебрежении Учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого бургундского расчувствовался и заявил Хуренито, что больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту, Учитель чистосердечно ему признался: «А я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком». Учитель говорил, что смысл существования искусства в том, что оно,

как и всяческие другие рычаги культуры, способствует организации людей. Так было во все эпохи истории человечества. Искусство спаивало отдельных индивидуумов в тесные соты национальные, религиозные, социальные для совместной любви или ненависти, для труда или для борьбы,— словом, для жизни. Не только пирамида или готический собор, но и заунывная песня или богоматерь какого-нибудь тречентиста — все это лишь цемент грандиозного сооружения, топливо для поддержания быта. «Какой же неостроумной шуткой, каким жалким харакири является гордый разрыв искусства с жизнью! Искусство торжественно меняет свое назначение: одна лошадь выпрягается из колесницы и пробует нелепыми прыжками замедлить ее ход. Искусство больше не хочет организовывать жизнь, наоборот, оно якобы стремится человека из жизни увести. Но так как выше положенного, будь то гений, все равно не подпрыгнешь, то все эти судорожные прыжки остаются в пределах самой жизни, являясь лишь ее посильной дезорганизацией. Так началась, так проходит борьба искусства с жизнью. Жизнь применяет сотни других организующих средств. А искусство? Искусство обращается в бирюльки, в спорт немногих посвященных, в различные фазы душевного заболевания, в послеобеденную прихоть мистера Куля, менее необходимую, нежели рюмка кордиаль-медока или мягкая подушка. Искусство, трижды презренное, издыхает, по профессиональному навыку изображая победителя жизни, издыхает с романтическим кинжалом в руке, издыхает в отдельном кабинете, где хозяин для наиболее просвещенных Кулей повесил «Танцоров» Матисса, куда он пригласил актеров, завывающих стихи Дюамеля, и музыкантов, исполняющих Стравинского. А так как я верен древней мудрости, гласящей, что живая собака лучше дохлого льва, то я не плачу, а честно восхваляю свиные котлеты с горошком или даже без него».

В 1913 году журнал «Мерккюр де Франс» устроил большую литературную анкету о достижениях и возможностях современной поэзии. Хулио Хуренито, получив опросный лист, тотчас же послал ответ, который почему-то не был напечатан. Копия его сохранилась, и я ее воспроизвожу: «Получив ваши вопросы, я находился в сильном затруднении, не зная точно, что называется в современности словом «поэзия». Правда, мне попадаются среди статей в журналах, а порой даже в виде

отдельных книг, напечатанные особой типографской манерой рассуждения о политике, о любви, о святости троицы и о кофейном сервисе, с созвучными окончаниями строк или без них. Если вы называете именно эти странные упражнения поэзией, то я ответить на ваш вопрос не могу. Я также не имею никакого суждения о многих других бессмысленных занятиях — раскладывании пасьянсов или чесании спины с помощью китайских ручек. Впрочем, я охотно допускаю, что такое времяпрепровождение нравится отдельным индивидуумам, и не вижу в этом ничего предосудительного. Я полагаю, что в подобных случаях надо проявлять полную терпимость, руководясь изречением, вырезанным на ошейнике собаки Диогена, попавшей в собачий рай: «Здесь каждый развлекается, как может». В давние эпохи под словом «поэзия» подразумевались занятия, непохожие на вышеуказанные, но весьма осмысленные и полезные. Слово являлось действием, и поэтому поэзия, как мудрое сочетание слов, способствовала тем или иным жизненным актам. Мне известна высокая поэзия знахаря, умевшего сочетанием слов добиться того, что бодливая корова давала себя доить. Но как я могу применить то же возвышенное слово к головоломкам Малларме, которые тридцать три бездельника разгадывают в течение тридцати трех лет? Слово некогда могло убить или излечить, заставить полюбить или возненавидеть. Поэтому заговоры или заклинания были поэзией. Поэты являлись ремесленниками, работавшими, как все люди. Кузнец ковал доспехи, а поэт слагал героические песни, которые вели к победе. Плотник тесал колыбель или гроб, а поэт писал колыбельную песнь или причитания. Женщины пряли и за пряжей пели песни, делавшие их руки быстрыми и уверенными, работу легкой. Я читал как-то стихи, которые вы печатаете в вашем уважаемом журнале, и спрашивал: кого они могут пробудить или повести на бой, чьей работе могут помочь? Единственное их назначение, не вытекающее, впрочем, из задания авторов, убаюкать человека, уже подготовленного ко сну статьей о количестве гласных и согласных в стихе Расина. Итак, повторяю, вспоминая бывшее прекрасное ремесло и сравнивая его с неопытным мне занятием, я не знал, как ответить на ваш, в виду простой, вопрос. Но мой юный друг Э., русский, с которым я посоветовался, сообщил мне о факте исключительном и в известной степени уничтожавшем мои сомнения. Оказывается, в России живет поэт (фамилию его я, к со-

жалению, не запомнил), который написал следующее стихотворение:

Хочу быть дерзким! Хочу быть смелым!  
Хочу одежды с тебя сорвать!  
Хочу упитаться роскошным телом,  
Хочу из грудей венки свивать!

Э. утверждает, что, когда в городе Царицыне какой-то военный писарь продекламировал это четверостишие горничной, бывшей к роману с ним отнюдь не подготовленной, оно возымело столь решающее действие, что горничная сама начала поспешно расстегивать платье. Это важное сообщение показывает, что для поэзии в современности есть некоторые возможности, и я могу закончить мой ответ не панихидными вздохами, а словами надежды».

На банкете в честь очередного «принца поэтов», состоявшемся в Париже в январе 1914 года, Хулио Хуренито выступил со следующей речью:

«Я пью за здоровье одного из мучеников современной цивилизации. Положение поэта в нашем обществе напоминает мне бессмысленного пса, честную дворняжку, которую поместили в зоологический сад с торжественной надписью не «Барбос», не «Жучка», но «канис вульгарис». Посетители, после львов и гиен, подходят к клетке пса, читают непонятную латынь и, вместо того чтобы дружески потрепать его по морде, как тысячи других «канис вульгарис», просто блуждающих по улицам, раскрывают рты, с опаской тычут в него кончиками зонтиков, принимают его веселый лай за грозный рык, а жалобное тьяканье за боевой сигнал хищника. Потом уходят.

Бедный пес! Бедный поэт! Ты мог бы честно делать свое дело, мирно писать стихи! Но от тебя ждут всего, кроме работы! Во-первых, ты «пророк», во-вторых, «безумец», в-третьих, «непонятый вождь». «Канис вульгарис»! Когда хирург режет живот, когда портной кроит жилет, когда математик изучает законы — они работают. А когда ты потеешь над листком бумаги, в сотый раз перечеркивая слово, сбивая крепкий стих, — ты «творишь»! И кретины вокруг клетки изучают твои внутренности: куда именно ангел вставил «пылающий уголь», какая «муза» вчера спала с тобой, и сошло ли на тебя по этому случаю «вдохновение» или не сошло. Единственное, что тебе остается, — принять игру всерьез, раскрыть пасть и старательно

подражать льву. «Падите ниц перед пророком! На меня нисходит вдохновение! Тсс!..» И бедный, грустный, обиженный пес, работая под тигра, сквозь прутья решетки хватает зубами нос зазевавшегося парикмахера. Bravo! За ваше здоровье, мосье бенгальский тигр!»

Учитель, к ужасу мистера Куля, любил часто проводить вечера в обществе поэтов, художников и актеров. Он говорил, что человек, столь преданный грядущему, как он, может позволить себе слабость любить две-три старинных безделушки и веселое племя цыган, бурно доживающее свой век на площадях городов Европы. «Я люблю их за бесцельность, за обреченность, сам не знаю за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив, все вместе они дряхлее средневековых соборов. Они страстно любят современность, и это почти патологическое чувство восторга присужденного к казни пред эшафотом. Бедные кустари, они бредят машиной, тщатся передать ее формы в пластике, ее лязг и грохот в поэзии, не желая думать о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машина требует не придворных портретистов, не поэтов-куртизанов, но превращения живой плоти в колеса, гайки, винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ, во имя механизации всей жизни. Радуйтесь, мистер Куль, эти великие обормоты умрут вместе с любовью, бунтом и многим другим. Впрочем, как вам известно из вашей любимой книжки (нет, не той, не в синей обложке, а в сафьяновом переплете), умирающее снова воскресает. Но никогда уж эти цыгане не будут живописной сектой, маленькой мятежной кастой, им суждено, расплывшись, возродиться в далекие дни обесцеленного и освобожденного человечества».

Как-то Хуренито обратился с нижеследующим письмом к министру просвещения и изящных искусств Италии:

«Господин министр! На днях я посетил трогательную и уютную выставку моих друзей — футуристов. Я ознакомился также с современной поэзией и театром. Во мне вызывает величайшую жалость преклонение молодых итальянских художников перед сломанной американской мотоциклеткой, дурной немецкой зубной пастой и прошлогодними парижскими модами. Хотя область гигиены находится вне пределов вашего ведомства, я осмелюсь напомнить вам, господин министр, о необходимости своевременно отлучать младенца от груди, в интересах не только матери, но и ребенка. Отдельные наблюдавшиеся



случаи кормления трех- и даже пятилетних детей грудью заканчивались, насколько мне известно, слабоумием. Лично я мог убедиться в этом на примере моего котенка, который, будучи вдвое больше своей матери, продолжал ее сосать и, оставшись неприспособленным к другим способам пропитания, когда кошка наконец-то освободилась от него, начал худеть и вскоре издох. Я полагаю, что бессилие и худосочие современного искусства является виной тех, кто не только не отлучил его вовремя от материнской груди, но, наоборот, поощрял и продолжает поощрять жалкое высасывание последних капель уже вредоносного молока. В итоге мы получили обширные, откормленные стада импотентов, в тысячный раз копирующих художников Возрождения или Дантовы терцины, а рядом с ними отдельных исхудалых, одичавших «новаторов», о которых я уже упоминал выше. Будучи иностранцем, но искренне любя вашу прекрасную страну, я осмелюсь предложить вам, господин министр, необходимые на мой взгляд меры для того, чтобы спасти от гибели последующие поколения. Надо решительно отучить детей от соски, а для этого обратить внимание на опасные очаги эпидемии сосания — на старые города, на музеи и на издания так называемых «классиков». Хотя применяемый вами по отношению к ним метод искусственного продления жизни крайне негигиеничен, ибо никакие бальзамирования не предохраняют от разложения, а следовательно, и от заражения, хотя ваши муниципалитеты все чаще склоняются к замене тлетворных кладбищ практичными крематориями, я не решаюсь предложить вам радикальный способ сожжения всех образцов мертвого искусства, — я вынужден считаться с чувством привязанности многих к привычным вещам, а также с соображениями бюджетного порядка. Но я хочу обратить ваше внимание, господин министр, на ряд вполне осуществимых мер, хотя паллиативных, но действительных.

1. Объявляется ко всеобщему сведению, что существуют Микеланджело, Рафаэль, Тициан (если вы найдете это необходимым, можно прибавить и Гвидо Рени), Данте, Торквато Тассо, Леонардо, соборы св. Петра, Миланский и прочее, по усмотрению. Этим дается полное удовлетворение законным чувствам любви к предкам и национальной гордости.

2. Посещение музеев, старых церквей и чтение так называемых классиков разрешается лицам, к искусству никакого

отношения не имеющим, ни как созидающие, ни как воспринимающие элементы, а именно: скотопромышленникам, историкам искусства и туристам англосаксонской расы.

3. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонта. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской Кампанье и поездки поэтов в венецианских гондолах. Я убежден, господин министр, что эти разумные мероприятия вызовут подлинный расцвет итальянского искусства. Примите и пр.».

Отправив письмо, Учитель ожидал приглашения от министра для выяснения различных деталей, но этого не последовало. Впоследствии Учитель поделился со мной опасением — не пропало ли его письмо, хотя отправлено заказным, вследствие преданности итальянской почты священным традициям.

Таковы некоторые суждения Учителя об искусстве. Впоследствии я расскажу, как он пытался претворить их в жизнь в годы российской революции.

## глава девятая

### мосье дэле, или новое во- площение будды

Вернувшись в Париж, мы испытывали некоторые финансовые затруднения, вызванные сложными опытами Учителя, отъездом мистера Куля в Чикаго и необузданными тратами Алексея Спиридоновича, в этот период особенно пессимистически настроенного. Желая выйти с достоинством из затруднительного положения, Учитель направился в знакомую контору по поиску капиталов и вернулся оттуда вполне удовлетворенный, с адресом некоего рантье мосье Гастона Дэле; проживающего под Парижем в Масси-Верьер и желающего вложить в солидное дело сорокатысячный капитал. «Я предложу ему устроить фешенебельный кабак или большой родильный приют», — сказал Хулио Хуренито, отправляясь к мосье Дэле.

На следующий вечер Учитель познакомил меня в отдельном кабинете «Кафе де ля бурс» с низким жирненьким господином.

У него имелись тощие, тщательно закрученные усики на розовом, опрятном лице и в петлице неизбежная ленточка Почетного легиона. Сначала мы решили выпить аперитив, и мосье Дэле, хлопнув себя по коленям, закричал: «Официант, пиконситрон! — и пояснил нам: — Это удивительно хорошо для пиццеварения». Потом он молчал, говорил Учитель, который несколько смутил меня, ибо, не упоминая ни о кабаке, ни о родильном приюте, обстоятельно, с карандашом в руке, доказывал небывалые выгоды какого-то акционерного общества «Универсальный Некрополь». Сердце мосье Дэле явно откликалось на эти речи, но нули цифр его смущали. «Почему так кругло — триста тысяч, может быть больше или меньше?» И Хуренито пояснил: «Вы правы, триста тысяч сто четырнадцать франков восемьдесят сантимов». Ничего не понимая в коммерческих предприятиях, я скучал. Зато я был вознагражден не только прекрасным обедом, но и совершенно изумительным рассказом мосье Дэле. Неожиданно он объявил, что так как мы оба отныне его компаньоны по крупному делу, то он должен познакомить нас со своей особой и со своими идеями: «Дело — не любовная интрижка, и, пожалуйста, все карты на стол!»

Это была совершенно необычайная автобиография, прерываемая восхвалениями блюд и выбором напитков. Я попытаюсь здесь восстановить ее моим, увы, притупленным годами пером.

— Официант, вы можете подавать!

«Мой друг, я рекомендую вам тунца, это самая нежная рыба и, потом, исключительно легко переваривается. Вы удивляетесь, что я весел? Да, я всегда весел, находчив, остроумен! Что вы хотите? Галльский ум! Вы, иностранцы, должны быть счастливы, что вы находитесь в такой стране. Страна разума и свободы! Я сам никогда не поехал бы за границу — зачем? Хочу моря — Бретань! Хочу гор — Савойя! Хочу солнца — Ницца! Хочу лес — Фонтенебло! Хочу удовольствий — хи-хи! — Париж! Вы, конечно, другое дело. У вас... Впрочем, не будем говорить о печальных вещах.

Я часто скорблю — столько еще мрачного на свете! Вы русский, так ведь?.. У вас чертовски холодно! Но зато большая страна, и потом вы наши союзники! И еще у вас писатель... О, как они трудны, эти славянские имена!.. Вспомнил! «Толстой» — это вроде нашего Дюма. Прекрасный салат! Скажите,

мой друг, а не выгоднее ли вместо этих акций купить русскую ренту? Вы уверены? С рентой как-то спокойней. Чик, и готово! Я вам не советую ростбифа — зачем вечером утомлять желудок? Вы, русские, — мистики! А вы мексиканец? Это ведь в Америке? да? да! Дядя Сам! Ну, я спокоен, — вы люди деловые! Итак, о себе. Я уже ребенком был гениален. Покойный отец, основатель нашего бюро похоронных процессов, говорил всем: «Смотрите на Гастона, он будет депутатом!» Но я не люблю политики. Это мешает наслаждаться жизнью.

— Официант, бутылочку нюи, но смотрите, слегка подогрейте!

Я говорю вам, что я был гениален. Из наук я признавал только арифметику. Я не выношу выдумок. Дайте мне светлое, ясное! В пять лет я уже знал, что Поля, сына прачки, можно поколотить, а Виктора, сына мэра, нельзя. Хи-хи, наука жизни! И я уже умел бить так, чтобы не оставалось синяков. Как бьют полицейские. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец дал мне луи и сказал: «Гастон, будь во всем умерен». Великие слова! Бедный отец! Они здесь удивительно готовят кончики спаржи! Увы, я был молод. Хи-хи! Я забыл слова отца. Я потерял чувство меры! О, вы не знаете, что такое чувство меры! Это разумная политика, это красота, это полный кошелек, необремененный желудок, приятная дрожь при виде хорошенькой женщины. Это все! Друг мой (это — Учителю), вы еще молоды, вы мне нравитесь, скажу больше, — вы похожи на француза, вы почти француз — помните — мера! мера! Я был жестоко наказан. У меня сделался катар желудка. С тех пор я должен быть осторожен, очень осторожен. Я принимаю пилюли «пинк» — отличное средство! Я повторяю, я был молод, кровь шумела. Святой Антоний!.. Хи-хи! И вот — к двадцати пяти годам я уже ослабел. Иду по бульварам, солнце греет, столько хорошеньких курочек, а я спокоен. Мне нужна диета. У меня была миленькая подруга Минэт. У вас такой никогда не было. А что она знала! Хи-хи! Она повторяла мне: «Бедный Гастон, ты помнишь, уже Дантон говорил: «Смелость, смелость и еще раз смелость!» (Это на памятник, возле метро «Одеон».) Я купил на выставке картину за шестьдесят франков — охотник спасает утопающую в ручье девушку. Повесил ее в спальне Минэт. Она мне придавала бодрость. Что? Порыв! Хи-хи!

— Официант, камембер хороший? А течет ли?

Но вы не думайте, что я только насчет любви. Я занялся делами. Я взял «Похоронное бюро», я вознес его, распирил, сделал величайшим делом всего квартала Монруж. Что такое смерть? Конец! Ни поцелуев, ни вина, ничего! Дырка! Понюхайте камембер — изумительно пахнет. Я в глупости не верю. Я свободный человек, без предрассудков. Обо мне говорили даже в палате депутатов, то есть не обо мне, но это все равно, — я там был... Я поехал к дядюшке в Перпиньян. Там мэр — человек широкий, философ, настоящий Вольтер. Он приказал вынести из собора плиты со всякими епископами, святыми — одним словом, клерикалами — и вымостил ими общественную уборную. И я присутствовал на торжественном открытии. Довольно они нас морочили! А клерикал Баррес внес запрос в парламент. Я готов был пострадать за идею. Но ничего, — обошлось: теперь не времена инквизиции! Итак, смерть — крышка... Ждать после смерти нечего! Но надо, чтобы похороны были приличными, как вся жизнь. И вот я внес в «Бюро похоронных процессий» глубочайшую философию. До меня было пятнадцать классов, я прибавил еще два — один высший, «вне классов», — для сумасшедших, для дураков, которые кидают деньги в окошко. Грех не подымать. Но похороны прекрасные, художественные. Дамам раздадут надушенные кружевные платочки. Потом для бедняков — шестнадцатый класс. Я человек добрый и, потом, я люблю справедливость. Надо, чтобы все имели право быть похороненными. Зачем озлоблять бедных? Это только на руку преступникам, социалистам. Конечно, нужно, чтобы бедные знали свое место — просто, честно — на три года. Полежал, и хватит, пусти другого. Начиная с шестого класса — в вечную собственность. Люди солидные — заслужили спокойствие. Это, друзья мои, целая система, лестница мира, глубина! Я хотел бы, чтобы меня похоронили по третьему или по четвертому разряду — мило, прилично; не кричу «я такой-то, вне классов», — нет, вежливо говорю «я, Дале, честно жил, заработал честно, умер — и вот покой, отдых, сон». Правда? Ну, довольно о смерти. В сорок один год я женился. Выбрал молоденькую, свеженькую мадемуазель Бое — не слышали? Дочь фабриканта санитарных приборов. Еще двадцать тысяч. Хи-хи! Что дальше?.. Догадайтесь сами!.. Я был счастлив, утром кофе, вечером газета, а рядышком Мари. Увы! Судьба решила иначе. Несчастные роды. Сын жив. Мари умерла. Бедная Мари!

— Официант, кофе и кальвадос. А вы? Это нектар! — три кальвадоса!

Сын! — смотрите карточку. Молодец! Гений! Четыре года, а как считает! Я отвез его к сестре. И вот — один. Живу тихонько. После всего пережитого я продал «Бюро». Мари я еще сам похоронил. Я достаточно наработался. Купил хорошенькую виллу. Развожу фасоль и душистый горошек. Как прекрасна природа! У меня экономочка. Хи-хи! Зизи! Буточник! Вот он видел!.. Что? Хочется?.. Я еще бодр, свеж, живу. Теперь решил поместить мои капиталы. Хотел купить русскую ренту, а он убедил по моей же части — «Некрополь». Что ж, хоронить так хоронить! Я отдохнул за три года. Могу теперь поработать... Главное — заранее точно высчитать. А будут доходы — будут и кальвадос, и Зизи, и горошек. Только в меру, тогда жизнь прекрасна!..»

Мосье Дэле как-то сразу, видимо, устал. Прежде чем проглотить кальвадос, он пополоскал им рот, потом откинулся на спинку дивана, расстегнул нижнюю пуговицу жилета и задремал.

Тогда Учитель сказал мне: «Мосье Дэле будет моим шестым учеником». На минуту мосье Дэле как бы очнулся и пробормотал: «Учеником? Нет! Мы будем двумя равными компаньонами... Он расцветет — наш «Универсальный Некрополь»! Но сейчас же вновь погрузился в безразличие.

«Он поспел, он готов, он течет, как этот прекрасный камембер! Дитя, если в душу твою закрадутся сомнения, взгляни тотчас на мосье Дэле, и ты поймешь, что близок конец. Может быть, во всем мире сейчас нет человека, столь далеко зашедшего вперед по дороге к грядущему, как он, — утро рождается из поздней ночи». Учитель встал и мне приказал встать: «Гляди еще! Гляди хорошенько на него!»

Мосье Дэле сидел, уставив вдаль неморгающие, совершенные в своей бессмысленности глаза, с погасшим окурком, прилипшим к нижней губе, одной рукой давя лежащий на столе букетик фиалок, другой чуть играя на животе брелоками «Вера — Надежда — Любовь». «Гляди, это уже не мосье Дэле, это Будда, последний покой! К нирване есть два пути — через полный отказ, предельное отрицание, путь аскета или мятежника, и через эту сладость бытия, через наслаждение. Гляди, мосье Дэле уже не на пути к концу. Он сам — конец, предел,

ничто!» И, говоря это, Учитель, а за ним и я, благоговейно преклонились перед мосье Дэле. Едва скосив на нас глаза, мосье Дэле в истоме лениво прошептал: «Да, да, я знаю! Это варварские обычаи ваших стран! Но теперь вы во Франции, вы свободные люди. Дайте лучше мне стакан воды, я должен принять пилюли. Не то — желудок, желудок, мой бедный желудок!..»

глава десятая

## Германия.— штраф в шесть марок и организационные способности шмидта

В начале 1914 года в характере и в образе жизни Учителя произошла резкая перемена. Ни успехи мистера Куля, после возвращения из Америки обратившего на путь истины одного Ротшильда (настоящего), двух радикальных журналистов, захворавших подагрой, и более двадцати папуасов, привезенных на международную выставку животноводства, ни драмы Алексея Спиридоновича, который вздумал, ввиду отсутствия бога и легкомысленного поведения своей новой невесты, покончить с собой, для чего ежедневно принимал на глазах у этой, впрочем далеко не пугливой, особы английскую соль, выдавая ее за цианистый калий, ни новый бог Айши Флик-Флик, созданный по подобию полицейского, стоявшего напротив нашего дома и особенно поразившего моего черного брата, гордый, жестокий, указующий судьбы своей державной палочкой,— ничто уж не занимало Учителя. Он стал серьезен, почти мрачен. Часто он уходил от нас, и я встречал его в обществе самых различных людей: сербских студентов, германских коммивояжеров, до крайности подозрительных, и французских финансистов. Как-то я застал его даже с русским монахом, любимцем аристократок, кутивших в Париже, который кричал на Хуренито: «Плюю, лягушка, в мурло твое! Рассышься, антихрист, бисером свиным!» А потом шептал: «Накнийте, батюшка,

сто катенек — проведу без заминки!» Учитель не объяснял нам, зачем ему нужны эти люди. Ночи напролет он сидел над скучными изысканиями, как-то: статистикой германского или английского экспорта, продукцией различных угольных бассейнов и прочим. На стенах теперь вместо картин Пикассо и Леже висели карты африканских колоний и сложные диаграммы.

В марте месяце Учитель объявил, что ему необходимо на несколько недель съездить в Германию, и предложил всем нам сопровождать его, так как эта поездка будет весьма назидательной. Мосье Дэле вначале заупрямился, говоря, что ему вообще противно ехать за границу, а тем паче к пруссакам. Но Учитель легко и быстро убедил его. Меня всегда поражала находчивость Хуренито и разнообразие его приемов дрессировки несхожих между собой людей. Действительно, как мог он заставить скупого и расчетливого рантье мосье Дэле отдать ему деньги, заработанные на всех мертвецах? Как мог Хуренито убедить этого толстяка, до сорока пяти лет просидевшего у себя в бюро или в кафе на углу своей улочки, бросить горошек и Зизи, чтобы следовать на край света за каким-то проходимцем? О, конечно, Учитель соблазнил мосье Дэле не обновлением человечества, — нет, с безукоризненной точностью он доказывал французу, что только «Универсальный Некрополь» ведет к богатству, к счастью, к сладости жизни. Действительность как будто опровергала эти доводы, сорок тысяч франков исчезли, а доходов не предвиделось, зато безукоризненность исчислений оставалась, и когда мосье Дэле слабел духом, неизменно появлялся Учитель с карандашиком в руке, вышучивающий мелкие затруднения и прозревающий за ними куцирая. Так было и на сей раз. Учитель доказал Дэле, что немцы более других заинтересованы в «Универсальном Некрополе» и что, презрев все предрассудки, они наконец-то поставят дело на ноги. «Ничего не поделаешь — дела, дела!..» — сказал мосье Дэле, садясь в вагон и давая последние наставления мадемуазель Зизи, как поливать грядку с любимой им каротелью.

Итак, мы попали в Германию и, надо признаться, чувствовали себя там не слишком хорошо. Больше всех страдал Эрколе, и его страдания становились уязвимым местом нашего бюджета. Не по злой воле, а исключительно вследствие своей детской непосредственности он делал все наоборот, нам приходилось до пяти раз в день выплачивать различные штрафы. Он запаливал свой любимый «собачий хвост» в купе для



некурящих, кидал корки бананов под ноги шущмана, ходил именно по тем аллеям, по которым ходить запрещалось, садился, чтобы отдохнуть, на спины мраморных дев, которые, как назло, оказывались аллегориями, окружающими памятник Бисмарку, и совершал тому подобные проступки. Особенно дорого обошлась ему невинная страсть плевать: арестованный полицейским во Франкфурте и приведенный для допроса, он в кабинете разок плюнул — как он утверждает — очень ловко поверх папок с бумагами, между головой чиновника и бюстом кайзера, в плевательницу, стоявшую в углу, за что и попал в тюрьму, откуда Хуренито освободил его, уплатив солидную сумму и представив медицинское свидетельство о нервном заболевании Бамбучи.

Дэле сильно грустил, потерял свою бодрость и «порыв». Он говорил, что если бы у всех женщин были такие толстые икры и во всех ресторанах мира давали бы вареную картошку, то жить явно не стоило бы. «Понятно, почему немцев интересует наш «Некрополь». Что же делать в этой стране, если не умирать?..»

Алексей Спиридонович, хандря, изловил наконец магистра философии из Галле и решил отвести с ним душу, высказав все свои сомнения по части существования логики вообще и иллюстрируя это, в иксов раз, историей своей жизни. Но магистр проявил непонятное равнодушие. В начале беседы он снабдил Алексея Спиридоновича обстоятельной библиографией по интересовавшему его вопросу, но потом список книг вежливо отобрал и вместо него дал адрес водолечебницы с усовершенствованными душами. Алексей Спиридонович с горя ту же историю жизни вечером изложил кельерше Клерхен, белокурой и пухлой, которая, искренне прослезившись, предложила ему немедленно свои услуги, «как любящая сестра», и за все попросила только десять марок, потому что копила сумму, достаточную, чтобы выйти замуж за Отто, приказчика сигарного магазина.

Айша просто и тихо мерз, кутаясь в клетчатый плед Учителя.

Я тосковал по парижским кабачкам и тщетно пытался заменить «Ротонду» кондитерскими с клетчатыми скатертями на столах и с подавальщицами в гофрированных чепчиках.

Только мистер Куль не выявлял никаких признаков неудовольствия, он любил путешествовать и считал Хуренито способным гидом. В любом городе он немедленно осведомлялся о

том, каков курс доллара, сколько церквей и школ, а также много ли учреждений, где можно поставить свои автоматы.

Учитель, по утрам уходя на какие-то деловые свидания, после обеда осматривал с нами города, которые мы проезжали. Все останавливало его внимание, и все явно приводило его в хорошее настроение. В особенности он любил показывать нам университеты, казармы и пивные; это были, по его словам, «личинки нового общества». Изрубленные наподобие котлеток, во время периодических дуэлей, «бурши», как послушные дети, положив кончики пальцев на пюпитр, постигали великолепное построение вселенной в пафосе Канта или в остроте Гегеля, готовясь к честной карьере дрессировщиков крестьянских детей или чиновников государственного акциза. На военных занятиях Учитель восторгался равномерно выпяченными грудями, подобранными животами, потерявшими всякий индивидуальный смысл лицами и криком «направо!», «налево!», мгновенно передвигавшим сотни великолепных игрушек. Когда унтер ударял по щеке какого-нибудь Фрица, скосившего свою, еще недисциплинированную голову, все, в том числе и Фриц, выявляли полное удовлетворение, ибо суть дела была не в выбитом зубе Фрица, а в исправлении дивного механизма. Далее, мы шли в одну из пятиэтажных пивных, где регулярно две тысячи посетителей пропускали через свои желудки от десяти до пятнадцати тысяч литров пива. Все сидели за одинаковыми столами: мужчины, женщины, дети. Кельнерши, подбегая к кранам, вделанным в стены, ежеминутно наполняли пивом десятки монументальных кружек. Сотня посетителей дружно подымалась и переходила в соседнее обширное помещение для того, чтобы, облегчив себя, потом снова возобновить прерванную работу. Впрочем, это называлось развлечением, оркестр играл военные марши, некоторые папаши читали юмористические журналы и гулко хохотали, другие тупо смотрели на стены, где были развешаны пословицы и мудрые изречения: «Пей спокойно! Бог бережет этот дом!» — и тому подобные.

«Смотрите,» — говорил после таких прогулок Учитель, — везде люди просто живут для тихого благополучия, для радости, говорят, что любят, болеют, мучаются, потом умирают. Здесь же люди, стиснув зубы, с утра до ночи, и в школах, и на военных плацах, и в этих «биргалле», куют великие цепи себе и другим, цепи, а может быть, нежнейшие пеленки из железа, для крепко любимых деток».

Когда во время одной из таких прогулок по Штутгарту мы проходили мимо прекрасных цветников городского сада, случилось нечто для Германии необыкновенное и приведшее в экстатическое состояние нашего Эрколе. По пустынной дорожке навстречу нам шли бедная женщина с грудным младенцем и какой-то молоденький студентик в клеенчатом картузе, вида кроткого и мечтательного. Студент вежливо поздоровался с женщиной и, проговорив с нею минуты две-три, задумчиво отошел в сторону. Далее последовало невообразимое. Студент совершенно спокойно переступил через решетку клумбы и начал усердно топтать первые мартовские гиацинты. «Вот это жест! — закричал в упоении Эрколе. — Сейчас его схватят, как меня тогда!..» Но кругом никого не было. Постояв немного, студент пошел к воротам и, отыскав полицейского, начал с ним объясняться. Это было окончательно любопытно, и мы последовали за ним. Вот что студент заявил шутцману:

«Меня зовут Карл Шмидт, я студент техникума. Только что в парке я вытоптал клумбу, протестуя против плохой организации государства!» Полицейский равнодушно выслушал его и вынул квитанционную книжку: «Вам придется уплатить штраф: шесть марок!» — «У меня всего две марки восемнадцать пфеннигов». — «Тогда будьте любезны следовать за мной!» Мы также отправились с ними и зашли в городскую полицию, оставив на улице лишь Эрколе и Айшу, чтобы не вводить чинов полиции в излишние соблазны.

«Объясните ваш поступок», — сказал Шмидту дежурный чин. «Я протестовал против дикой системы общественного хозяйства. В саду я встретил ффрау Мюллер, вдову рабочего-каменотеса. В прошлом году она стирала мне белье по дешевому тарифу. Она спросила меня — не знаю ли я, где она может найти работу, так как после смерти мужа ей приходится очень туго. У ффрау Мюллер грудной ребенок, и она не может найти себе места. Она сказала мне также, что ей пришлось заложить одеяло и что у нее, вследствие недостаточного питания, пропадает молоко. После этого я поглядел на цветники общественного сада. На их содержание уходят большие суммы, а сын ффрау Мюллер, член общества, будущий избиратель рейхстага, может умереть из-за отсутствия материнского молока. Мне отнюдь не жаль ффрау Мюллер, хотя она вполне порядочная женщина. Я готов одобрить уничтожение тысячи младенцев для

блага общества, но я не могу вынести бессмысленности. Я втоптал цветы, которые я к тому же вообще ненавижу, как вещь явно ненужную, для того, чтобы обратить внимание общества, прессы и правительства на эти позорные противоречия!»

Полицейский, не говоря ни единого слова, записал показания, а засим осведомился о шести марках. «Штраф может быть заменен арестом!» Тут в дело вмешался Учитель. Дружески предложил он Шмидту недостающие три марки восемьдесят два пфеннига, говоря, что человек с подобным умом не может терять время в тюрьме.

Засим все мы, захватив Айшу и Эрколе, отправились к Шмидту. Он жил на чердаке, столь тесном, что мы были вынуждены все время стоять не двигаясь, как на площадке трамвая, но отменно опрятном. На стене висели портреты различных особ: кайзера Вильгельма, Карла Маркса, философа Канта, герра Ашингера, владельца двухсот семидесяти ресторанов в Берлине, организаторским талантом которого Шмидт немало восхищался, и большая разграфленная «Система распределения будничных и праздничных дней студента техникума Карла Шмидта». Все время, с семи часов утра, когда Шмидт просыпался, и до одиннадцати вечера, когда он засыпал, было строго разделено на различные занятия. По субботам с 10 до 11 часов вечера Шмидт предавался любви. Он объяснил нам, что любовь его мало интересует, что он собирался даже остаться девственником, но это требовало бы напряжения воли, необходимого для более серьезных дел. Тогда, посоветовавшись со знакомым студентом-медиком, он остановился на решении пожертвовать одним часом в неделю и подыскал скромное, но гигиеническое заведение фрау Хазе.

Придя домой, Шмидт из экономии (проживал он всего шестьдесят марок в месяц) снял костюм, положил его бережно в сундук, ибо другой мебели в комнате не было, сам же остался в нижнем белье. Из бесед с ним мы узнали немало живописных фактов, подтверждавших его страсть к порядку и системе. Оказалось, что, кроме расписания запятей, существует еще другое, посвященное шестидесяти маркам и объемлющее все расходы от стирки носков до суббот у фрау Хазе. Пять месяцев тому назад Шмидт получил от матери дополнительно три марки «на развлечения». Он долго думал, как их разумно истратить, не нарушая воли матери. Ему хотелось купить новую готвальню, но она стоила четыре марки. Он решил было в день

рождения тетки Берты устроить праздник, то есть пойти в кафе «Метрополь», выпить кофе и съесть вишневый пирог со взбитыми сливками, но это обошлось бы всего шестьдесят пфеннигов и остающуюся сумму было бы еще труднее истратить. Три марки продолжали лежать в сундуке, и Шмидт объяснил, что не может, что глубоко свою мать, отдать их Хуренито.

Засим, разговор перешел на общие темы. Шмидт очень интересовался всеми нами. Существование Айши его смущало, и он признался: он не может вынести мысли, что огромная Африка продолжает пребывать в первобытном состоянии хаоса. Но он оптимист и верит в лучшее будущее. Главное, организовать весь мир, как свою жизнь. Он убежден, что в своей кохуре на шестьдесят марок он живет разумнее и прекраснее всех миллиардеров. Он может быть одновременно и националистом, поклонником кайзера и социалистом — по существу это одно и то же. И Вильгельм и любой социалист, оба понимают, что мир неорганизован и что организовать его надо силой. Наш враг — анархизм, все равно, будь то герр Бамбучи, революционер с бомбой, или герр Дэле, который станет завтра министром, но останется рантье, признающим лишь удовольствия. (Служа за переводчика, я перевел эту фразу мосье Дэле, и он очень обиделся, главным образом сравнением с Эрколе, одно присутствие которого его всегда стесняло.) Он, Шмидт, много работает в различных областях и механики, и химии, и политической экономии. У него есть множество планов, — к сожалению, при существующем беспорядке их трудно осуществить. Например, окончательное отделение сложных половых проблем от коренного вопроса увеличения народонаселения. Он настаивает на осуществимости искусственного оплодотворения. К сожалению, он не может произвести необходимых опытов. Он убежден в успехе. А в таком случае, им разработан закон об обязательном деторождении. Далее, не менее важный вопрос — замена первобытного питания химическим: устранение голода, нищеты, выигрыш миллиардов рабочих часов. Но когда же он сможет приступить к практической деятельности? Кайзер увлекается пацифизмом, а социалисты с каждым годом домифицируются. Откуда ждать спасения?

Все эти рассуждения, много переведенные, вызвали взрыв возмущения. Мосье Дэле старался быть спокойным и даже, считаясь с местом, логичным. «Хорошо! Пусть все эти басни могут стать действительностью. И что же? Вместо эскалопа

а-ля жардиньер — пилюли (мало мне «пинка!»), вместо Зизи... О, какой ужас! Ни природы, ни красоты, ни любви, ни аппетита — расписание! Но спросите, спросите его, — зачем тогда жить?» Эрколе просто сказал, что, будь это не в проклятой Германии, где за все, абсолютно за все берут штраф, а у себя дома, в Италии, он бы немедленно прирезал этого мерзавца. Какой негодяй! А он еще думал, тогда в саду, что это порядочный человек! Алексей Спиридонович ничего не мог вымолвить: Прижатый мистером Кулем к двери, он вдруг жалобно расплакался и начал шептать: «Чур-чур! Господи! Господи! Господи помилуй!» Я же испытывал перед Шмидтом смущение и даже страх, как на фабрике перед непонятной машиной в ходу, готовой оторвать голову зазевавшемуся рабочему.

Несмотря на протесты и даже слезы мосье Дэле, Учитель, протиснувшись к Шмидту, сказал: «Я сразу оценил вас. Вы будете моим седьмым, и последним, учеником. Вашим надеждам суждено сбыться скорее, нежели вы думаете, и верьте, я помогу вам в этом. А вы, господа, смотрите — вот один из тех, которым суждено надолго стать у руля человечества!»

Шмидт стоял, добродушно улыбаясь, с кудряшками на голове, в больших очках, в старой заплатанной рубашке. Выслушав Учителя, он кратко ему ответил: «Хорошо, герр Хуренито!»

глава одиннадцатая

## пророчество учителя о судьбах еврейского племени

В чудный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской Учителя, на седьмом этаже одного из новых домов квартала Гренелль. Долго стояли мы у больших окон, любуясь любимым городом с его единственными, как бы невесомыми, сумерками. С нами был и Шмидт, но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рощиц готических церквей, свинцового отсвета медленной Сены, каштанов в цвету, первых огней вдали и трогательной песни какого-то

охрипшего старика под окном. Он сказал мне, что все это прекрасный музей, а музейев он не выносит с детских лет, но что есть нечто чарующее и его, а именно — Эйфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная, железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера.

Так, мирно беседуя, поджидали мы Учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и, спрятав в маленький сейф пачку документов, измятых в кармане, весело сказал нам:

«Сегодня я хорошо потрудился. Дело идет на лад. Теперь можно немного отдохнуть и поболтать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию «Унион».

Пять минут спустя он показал нам следующее:

*В недалеком будущем состоятся  
торжественные сеансы*

уничтожения еврейского племени  
в Будапеште, Кieve, Яффе, Алжире  
и во многих иных местах.

*В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой  
публикой традиционных погромов, реставрированные в духе  
эпохи: сожжение евреев, закапывание их живьем в землю,  
опрыскивание полей еврейской кровью, а также новые  
приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных  
элементов» и пр., пр.*

*П р и г л а ш а ю т с я*

*кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды,  
румынские бояре, русские либералы, французские  
журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки  
без различия звания и все желающие.  
О месте и времени будет объявлено особо.*

Вход бесплатный.

«Учитель! — воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович. — Это немыслимо! Двадцатый век, и такая гнусность! Как я могу отнести это в «Унион», — я, читавший Мережковского?»

«Напрасно ты думаешь, что это несовместимо. Очень скоро, может через два года, может через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомыс-

ленным веком, безо всяких моральных предрассудков, а читатели Мережковского — страстными посетителями намеченных сеансов! Видишь ли, болезни человечества не детская корь, а старые закоренелые приступы подагры, и у него имеются некоторые привычки по части лечения... Где уж на старости лет отвыкать!

Когда в Египте Нил бастовал и начиналась засуха, мудрецы вспоминали о существовании евреев, приглашали их, резали и кропили землю свеженькой еврейской кровью. «Да минует нас глад!» Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же это давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрений гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, полезно, но землю окроплять их кровью не следует, потому что это ядовитая кровь и даст вместо хлеба белену.

В Испании, когда начинались болезни — чума или насморк, — святые отцы вспоминали о «врагах Христа и человечества» и, обливаясь слезами, впрочем не столь обильными, чтобы погасить костры, сжигали несколько тысяч евреев. «Да минует нас мор!» Гуманисты, опасаясь огня и пепла, который ветер разносит всюду, осторожно, на ушко, чтобы какой-нибудь заблудившийся инквизитор не услышал, шептали: «Лучше бы их просто уморить!..»

В южной Италии, при землетрясениях, сначала убежали на север, потом осторожно, гуськом, шли назад поглядеть — трясется ли еще земля. Евреи тоже убежали и тоже возвращались домой, позади всех. Разумеется, земля тряслась или потому, что евреи захотели этого, или потому, что земля не захотела евреев. В обоих случаях полезно было отдельных представителей этого племени закопать живьем, что и проделывалось. Что говорили люди передовые?.. Ах да, они очень боялись, что закопанные окончательно растрясут землю.

Вот, друзья мои, краткий экскурс в историю. А так как человечеству предстоит и глад, и мор, и вполне приличное землетрясение, я только проявляю понятную предусмотрительность, печатая эти приглашения».

«Учитель, — возразил Алексей Спиридонович, — разве евреи не такие же люди, как и мы?»

(Пока Хуренито делал свой «экскурс», Тишин протяжно вздыхал, вытирал платком глаза, но на всякий случай отсел от меня подальше.)



«Конечно, нет! Разве мяч футбола и бомба одно и то же? Или, по-твоему, могут быть братьями дерево и топор? Евреев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя и дело их не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе вразумительнее. Вечер тих, не жарко, за стаканом этого легкого вуврэ я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно «да» или «нет», остальное упразднив,— какое бы вы предпочли? Начнем со старших. Вы, мистер Куль?»

«Конечно «да», в нем утверждение. Я не люблю «нет», оно безнравственно и преступно. Даже рассчитанному рабочему, который молит меня принять его снова, я никогда не говорю этого ожесточающего сердце «нет», но «друг мой, обожди немного, на том свете ты будешь вознагражден за муки». Когда я показываю доллары, все мне говорят «да». Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте доллары и маленькое «да»,— и я берусь оздоровить человечество!»

«По-моему, и «да» и «нет» крайности,— сказал мосье Дэле,— а я люблю во всем меру, нечто среднее. Но что же, если надо выбирать, то я говорю «да»! «Да» — это радость, порыв, что еще?.. Все! Мадам, ваш бедный супруг скончался. По четвертому классу — не правда ли? Да! Официант, стаканчик дюбонне! Да! Зизи, ты готова? Да, да!»

Алексей Спиридонович, еще потрясенный предшествующим, не мог собраться с мыслями, мычал, вскакивал, садился и наконец завопил:

«Да! Верую, господи! Причастье! «Да»! Священное «да» чистой тургеневской девушки! О Лиза! Гряди, голубица!»

Кратко и деловито, находя всю эту игру нелепой, Шмидт сказал, что словарь действительно надо пересмотреть, выкинув ряд ненужных архаизмов, как-то: «роза», «святыня», «ангел» и прочие, «нет» же и «да» необходимо оставить, как слова серьезные, но все же, если бы ему пришлось выбирать, он предпочел бы «да», как нечто организующее.

«Да! Си! — ответил Эрколе,— во всех приятных случаях жизни говорят «да», и только когда гонят в шею, кричат «нет»!»

Айша тоже предпочитал «да!». Когда он просит Крупто (нового бога) быть добрым, Крупто говорит «да»! Когда он

просит у Учителя два су на шоколад, Учитель говорит «да» и дает.

«Что же ты молчишь?» — спросил меня Учитель. Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей. «Учитель, я не солгу вам — я оставил бы «нет». Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я люблю мистера Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары, так просто потерял, как пуговицу, все до единого. Или, если бы клиенты мосье Дале перепутали бы классы. Встал бы из гроба тот, что по шестнадцатому классу на три года, и закричал бы: «Вынимай надушенные платочки — хочу вне классов!» Когда чистейшая девушка, которая, подбирая юбочки, носится со своей чистотой по загаженному миру, нападает в загородной роще на решительного бродягу, — тоже неплохо. И когда официант, поскользнувшись, роняет бутылку дюбоннэ, очень хорошо! Конечно, как сказал мой прапрапрадед, умник Соломон: «Время собирать камни и время их бросать». Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два. Собирать, вероятно, кому-нибудь придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь не из оригинальничанья, а по чистой совести, должен сказать: «Уничтожь «да», уничтожь на свете все, и тогда само собой останется одно «нет»!»

Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:

«Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш еврей остался в одиночестве. Можно уничтожить все гетто, стереть все «черты оседлости», срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы все Робинзоны, или, если хотите, каторжники, дальше дело характера. Один приручает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку — шишка, снова бух, — снова шишка, и так далее; что крепче — голова или стена? Пришли греки, осмотрелись — может, квартиры бывают и лучше, без болезней, без смерти, без муки, например Олимп. Но ничего не поделаешь — надо устраиваться в этой. А чтобы быть в хорошем настроении, лучше всего объявить различные неудобства — включая смерть (которых все равно не изменишь) — величайшими благами. Евреи пришли — и сразу в стенку бух! «Почему так устроено? Вот два человека, быть бы им равными. Так нет:

Иаков в фаворе, а Исав на задворках. Начинаются подкопы земли и неба, Иеговы и царей, Вавилона и Рима. Оборванцы, ноچующие на ступеньках храма,— ессеи трудятся: как в котлах взрывчатое вещество, замешивают новую религию справедливости и нищеты. Теперь-то полетит несокрушимый Рим! И против благолепия, против мудрости античного мира выходят нищие, невежественные, тупые сектанты. Дрожит Рим. Еврей Павел победил Марка Аврелия! Но люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту уютный домик, начинают обживать новую веру, устраиваться в этом голом шалаше похорошему, по-домашнему. Христианство уже не стенобитная машина, а новая крепость; страшная, голая, разрушающая справедливость подменена человеческим, удобным, гуттаперчевым милосердием. Рим и мир устояли. Но, увидав это, еврейское племя отреклось от своего детеныша и начало снова вести подкопы. Даже, где-нибудь в Мельбурне, сейчас сидит один и тихо в помыслах подкапывается. И снова что-то месят в котлах, и снова готовят новую веру, новую истину. И вот сорок лет тому назад сады Версаля пробирают первые приступы лихорадки, точь-в-точь как сады Адриана. И чванится Рим мудростью, пишут книги Сенеки, готовы храбрые когорты. Он снова дрожит, «несокрушимый Рим»!

Евреи выносили нового младенца. Вы увидите его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки. Родив, евреи готовы умереть. Героический жест — «нет больше народов, нет больше нас, но все мы!» О, наивные, неисправимые сектанты! Вашего ребенка возьмут, вымоют, приоденут — и будет он совсем как Шмидт. Снова скажут — «справедливость», но подменят ее целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать «доколе»?

Отвечу,— до дней безумия вашего и нашего, до дней младенчества, до далеких дней. А пока будет это племя обливаться кровью роженицы на площадях Европы, рожая еще одно дитя, которое его предаст.

Но как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется еврейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости, но по древним нашептываниям она горше отравит землю. Великое лекарство мира!..»

И, подойдя ко мне, Учитель поцеловал меня в лоб.

## ТАИНСТВЕННЫЕ РАЗЪЕЗДЫ УЧИТЕЛЯ И ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧЕНИКОВ

Стояли дни исключительно яркие, как бы заливая серые улицы голубой эмалью и жидким золотом. Я видал немало весен, южных и северных, нежных и жестких, но это было не время года, не очередной миф, а нечто буйное и праздничное и в то же время расточавшее все сладости осеннего предсмертья, напоминавшее в начале о конце, единственное... Весна поздняя и незаметно, без грома, без слез, перешедшая в смутное душное лето.

Впервые, после памятного вечера в «Ротонде», я почувствовал себя одиноким, слабым, потерянным. Учитель беспрерывно уезжал из Парижа то в Германию, то в Вену, то в Лондон. Он категорически отказался рассказать что-либо об этих поездках: я так и не узнал, зачем он спешил на свиданье с каким-то крупным заводчиком в Берлине и что делал в течение двух недель в милой, веселой Вене. В своем дорожном широком плаще, с неизменным портфелем, перекочевывающий из одного международного экспресса в другой, он казался мне то охотником, который рыщет по столицам Европы, выгоняя зверя из укромной норы, то просто моей тетушкой Марией Борисовной, суетившейся на именинах перед гостями и перебежавшей каждую минуту из кухни в зал для танцев.

«Что делает Учитель?» — в муке думал я, сидя в «Ротонде», которую еще более оценил, как место моего обращения. Создает ли он новую религию? Или хочет взорвать дворец какого-нибудь раджи? Я рисовал себе картины дикие и великопепные: экспедиции в Центральную Африку, проповеди нового Савонароллы на площади Опера, экстаза, охватившего палату лордов, которые в невинном порыве срывают с себя облачения и предаются трогательной чехарде. Но все эти образы исчезали, как только я вспоминал страшные диаграммы, висевшие в мастерской Учителя и напоминавшие мне почему-то Шмидта, который большими порывевшими башмаками долго и

основательно приминал розовые завитки распускавшихся гиацинтов.

Я начал много пить и по доброму совету моего друга, молодого скульптора, время от времени, в жажде осмыслить события, глотал два-три зернышка гашиша. Но, увы, реальность все более и более исчезала. В «Ротонде» я чувствовал себя то ихтиозавром и топтал в доисторическом гневе шляпки натурщиц, то раджей, дворец которого хочет взорвать Учитель, писал письма в страховые общества, требовал от хозяина кафе ритуальных преклонений и плакал горькими слезами. Впрочем, это никого не удивляло — волна безумья в ту весну залила и маленькое кафе Монпарнаса. Я все время находился в обществе полосатой зебры, умолявшей перекрасить ее кожу в квадратики, толстяка художника, утверждавшего, что он на седьмом месяце, родить же должен пророка-обезьяну в шляпе со страховыми перьями, но что перья эти немилосердно его щекочут, и мулатки, сбежавшей из мюзик-холла, которая клялась, что философ Бергсон поручил ей завоевать Полинезию, а пока почему-то хлестала меня по щекам украденными со стойки ломтиками ростбифа. Я красил чернилами зебру, давал дружеские советы художнику, а избитый мулаткой, плакал, отчего она такая злая? Отчего мой дворец не застрахован? Отчего был потоп? Отчего я один, покинутый Учителем, должен страдать здесь? Да полно, подлинно я ли это? И я щупал под рубашкой свою потную, волосатую грудь, а убедившись, что это именно я — Илья Эренбург, Илюша, поэт, «Эрайнбург», — еще горше роптал и томился.

В один из своих кратких наездов в Париж Учитель нашел меня под скамейкой в «Ротонде», чудесные зернышки отобрал, накормил яичницей и повел к нашим друзьям. Уехав в тот же день в Англию, он дал нам наставление не разлучаться, и буде если мы обязательно захотим сходить с ума, продельвать это совместно. Я увидел, что с моими друзьями также происходит нечто неладное, правда без гашиша и зебры. Все были подавлены отсутствием Учителя. Мосье Дэле жаловался, что «Универсальный Некрополь» чахнет, мистер Куль скучал, Шмидт не мог работать вследствие общего дезорганизирующего характера парижской весны, об остальных и говорить нечего. Осознав кое-как свое состояние, я предложил, ввиду общего томления и отсутствия Учителя, заняться делами неподобными, так как сердце мое чувствует, что нельзя пропускать okazji этой неповто-

римой весны. Мосье Дэле начал говорить что-то об умеренности и о своем возрасте, но не очень энергично: за неимением «порыва», он любил смотреть, как развлекаются другие и, не смотря на скудость, даже порой оплачивал ужин своего конторщика Лебэна за право оставаться все время в отдельном кабинете ресторана.

Итак, мистер Куль оторвал еще один листок из своей книжки (вспомнив при этом жест «претворившего воду в вино»), и мы начали кутить. Постепенно к нам прирастали различные посторонние люди. С иными из них мы проводили целые недели, не зная ни их имени, ни даже национальности. Но двоих я хорошо запомнил. Первого, польского поэта Озаревского, приволок к нам Эрколе непосредственно из комиссариата, где они оба провели ночь: итальянец за то, что, страдая от сильной жары, полез купаться в один из фонтанов Тюльери, поэт же по настоянию старой добродетельной консьержки, к которой он, выпив предварительно бутылку мадеры, приставал, требуя, чтобы она немедленно превратилась в вакханку и вместе с ним кричала в подъезде «звое!». Озаревский был весьма горд, носил черные волосы до плеч, земли почти не касался, из пренебрежения к ней, то есть, несмотря на свои сорок лет, подпрыгивал на цыпочках и вообще все грубое, материальное презирал. Производил себя то от испанских грандов, то непосредственно от Озириса, изъяснялся напыщенно, требовал, чтобы все ему поклонялись, почему и обижался на счета в ресторанах («поэт пьет влагу златопенную, дарит за это песни звонко-струнные») и при самых неподходящих обстоятельствах сочинял стихи. Кроме того, говоря языком грубым, был он большой руки бабником и не мог пропустить ни единой юбки, не интересуясь даже возрастом ее обладательницы, без того, чтобы не испробовать счастья. Везло ему главным образом с очень наивными девушками-польками, приезжавшими учиться в Сорбонну, знавшими наизусть его стихи о «любви небоподобной» и считавшими за особенную милость providения быть отмеченными «чернокудрым гением». За свою «небоподобную любовь» Озаревский был уже неоднократно бит, как-то раз даже до потери сознания мокрыми калошами, но в уныние не впадал. Он очень развлекал нас, храбро подсаживался к старым американкам, к девочкам, играющим в Люксембургском саду, к певичкам, занятым уже другими кавалерами, повторяя всем примерно одно и то же, то есть: «огонь — бог — Озирис —

приходите сегодня вечером». Как-то, когда мы заканчивали трехдневную попойку в Версале, он увидел аппетитную молочницу и, вернувшись в Париж, тотчас послал ей телеграмму: «Вы — лотос. Жду 11 вечера «Отель Шеваль Блан», комната 16. Последний трубадур».

Второй — обанкротившийся банкир из Венесуэлы, сеньор Мадурос, был давнишним приятелем Учителя. Где бы и с кем бы он ни был — на стуле, на коленях, на уличной скамье немедленно появлялась карточная колода. Играл он в любые игры и на любые суммы. Рассказывали, что настоящая его фамилия — Капандзэ, Мадуросом же он стал после того, как в Монте-Карло, сговорившись с крупье и с двумя служащими казино, совершил до начала сеанса маленькую операцию над рулеткой, а именно: отогнул задерживающие перегородки, после чего, выиграв сто восемьдесят тысяч франков, сбежал не только от полиции, но и от своих компаньонов по работе, а выигранные деньги в течение трех дней благополучно проиграл в Сан-Себастьяно. Был он весьма элегантным брюнетом, но брился нечисто, присыпая черную щетину пудрой, благодаря чему казался голубым, — считал это особенным шиком. Пока мы пьянствовали, Мадурос играл со всеми: с посетителями кабачка, с музыкантами, с официантами, однажды даже с полицейским, а когда никого кругом не оказывалось — резался в дурачки с Айшой на апельсин или на сигарету. Он проиграл на наших глазах тысяч триста, дом в Венесуэле, виллу в Остенде и жену (надо сказать, что Мадурос был нищ и гол, одалживая на обед два франка у мистера Куля, а также холост), выиграл же, если не считать фантастических цифр, которые цифрами и остались, около пятидесяти франков, чью-то любовницу и большого охотничьего пса, с тех пор нас не покидавшего и требовавшего от нашей общей матери-кормилицы, дорогого мистера Куля, костей на обед.

Когда зажигались на бульварах бледные огни, мы собирались в небольшом кафе на рю Фобур-Монмартр и вскоре шли дальше шумным табуном. Огромные, зеленые и алые пауки с электрическими лапами бегали по стенам, требуя, чтобы мы шли куантро. Стройные отроки и библейские старцы в красных цилиндрах кричали нам: «Опомнитесь, если вы хотите счастья — идите в «Рояль!» И безумный автомобиль, рыча и сверкая желтыми глазищами, как конь архангела, кидался к нам, заклиная курить сигареты «Нэви».

Мы шли покорно в «Рояль», пили куантро, курили «Нэви». Сотни официантов, важных, лысых и мудрых, как римские стойки, неслись, обгоняя друг друга, жонглируя бутылками, на лету выхлестывая что-то в рюмки, звеня монетами. О, эти пирамиды бутылок, длинных, как кегли, круглых, как шары, с таинственными печатями или с севильскими красотками, желтых, зеленых, красных, белых, всех мыслимых мастей! За стойкой алхимикки, в белых фартуках, готовили различные смеси, сменив лишь латынь на английский. Румыны, цыгане, негры выли в трубы, в ожесточении рвали струны, хрипели и рычали. Потом выбегали женщины — таинственное племя, почти без лиц, с опущенными на глаза челками, с ярко намалеванной мишенью для поцелуев, с открытыми грудями, с откормленными бедрами, сверкающими блестками стекляруса, отливами шелка, камнями, лентами. Они налетали, как саранча, вереща, вспрыгивая на столы, танцуя меж бутылками, падая на колени гостей, судорожно извиваясь, снова взлетая наверх и замирая где-то в углах, на глубоких диванах. И мужчины вскакивали, с залитыми вином манишками, с продавленными цилиндрами, кружились, шуршали кредитками и убегали, схватив двух, трех или десять женщин.

Мы шли по улицам, и нас обгоняли страстные скопища, завитые то кадрильными парами, то густой спиралью. Мы заходили в маленькие бары, и те же бутылки поспешно наклонялись, брякали су, краснотубые девицы кидались, носиком туфли ударяли цинковый прилавок, прижимались и тащили к себе. На каждом шагу ухмылялись гостиницы, как бы выволакивая на улицу огромные, грязные, продавленные кровати. Париж пах пудрой, спиртом, потом.

Мы уходили на рынок и глядели, до тошноты, на громадные туши, горы яиц и сыров, глыбы масла и на цветы, сдавленные в огромные пудовые тюки.

Потом выбегала на улицы дневная смена. Полчища автомобилей оглушали воем и гулом, дышали бензином, жаром, пылью. Вокруг магазинов, громадных, как города, на широких тротуарах, в кучах ярких материй, в залежах шелков, в свалках лент и кружев рылись ожесточенные толпы женщин, потных, жадных и опьяненных шелестом, шорохом, шуршаньем, нежным треском материй. В полдень все застилал чад тысяч кухонь, запах сала, рыбы, лука. На террасах ресторанов люди с багровыми затылками равномерно, упорно жевали, щелкали



зубами, чавкали, отрыгивали. Потом мы шли спать и, просыпаясь вечером, видели то же безумие.

Это было мерзостью избытка, отчаянием изобилия, тяжелым сном полнокровья. Слишком много и тряпок, и поэтов, и женщин, и цветов, и бутылок, и людей! Слишком много всего! Казалось, еще день — и не апокалиптический гром, нет, просто апоплексический удар хватит обьевший, опившийся, заспавшийся на своем пуховике город.

В один из таких июльских вечеров Учитель, вернувшись наконец в Париж, пошел с нами в ночной кабак. По дороге, рассказывая ему несвязно обо всем — о рекламах, о подвигах Озаревского и о моем ужасе перед Парижем, — я осмелился спросить его, что он делает, не забыл ли он обо мне, о всех нас и что будет дальше?.. Он не рассердился, но кротко ответил: «Дело клеится. А ты мне лучше расскажи еще про этого поэта!» Учитель очень изменился за три месяца, осунулся, сгорбился, на висках его ясно обозначалась седина. Он не шутил с Эрколе, не дразнил мистера Куля, даже не поцеловал Айшу. В кабачке, заказывая каждые четверть часа стакан виски, он то угрюмо молчал, то требовал от нас каких-то странных поступков. Он заставил мосье Дэле и Шмидта выпить на брудершафт и при этом неестественно смеялся. Айша, кроткий, нежный Айша, должен был показать, как бы он зарезал столовым ножиком Алексея Спиридоновича. Потом он предложил нам застрелить бродячую кошку, но тут мы все решительно запротестовали, и мистер Куль торжественно заявил, что «никто из нас крови, даже скотской, проливать не станет!». Это почему-то страшно развеселило Учителя, он кричал «браво», бил в ладоши и велел Алексею Спиридоновичу записать на карточке вин слова мистера Куля. Всем этим Учитель окончательно смутил и встревожил меня.

На следующее утро, вдвоем с Хуренито, шли мы по тихой улочке нашего квартала. Навстречу женщина везла в коляске ребенка. Младенец весело и бессмысленно улыбался, а поравнявшись с нами, протянул свои руки к Учителю, прельщенный блестящим набалдашником его палки. Хуренито отступил к стене и беспомощно, будто он сам был ребенком, забормотал: «Этого я не могу!.. Взрослые... Но дети, почему дети?.. Может, не нужно?.. Бросить!.. Убежать!.. Пулю в лоб!..» Никогда, ни до этого, ни после я не видал нашего непреклонного, сурового Учителя в таком состоянии, Испугавшись, я закричал: «Ска-

жите, скажите мне, что с вами? Что бросить?..» Но Хуренито, сразу оправившись, вытер лоб платком и уже вполне спокойно ответил: «Глупости. Не обращай внимания. Я переутомился, и потом эта жара!..»

А вечером, когда мы сидели под платанами, на веранде беспечного кафе, пробежал мальчик, дико завывая «Ля Пресс». Мистер Куль подозвал его, желая узнать результаты бегов. но через минуту, ткнув мне в лицо листок, остро пахнущий краской, пробасил: «Австрийского эрцгерцога убили! Каково!» Учитель переспросил и спокойно просмотрел газету. Он долго сидел молча. Мы уже забыли о по существу совершенно безразличной для нас сенсации, а мистер Куль восторгался победой кобылы «Ирида», когда Учитель равнодушно объявил: «Итак, будет война». Это показалось нам столь смешным и нелепым, что мы все запротестовали, лучше всех наши общие чувства выразил мосье Дэле: «Война может быть где-нибудь у дикарей, например на Балканах или в Мексике, но не у нас! Вы забыли, друг мой, что это Европа!» Мистер Куль доказывал, что человечество все же слишком нравственно для войны и что притом война очень невыгодное предприятие. Эрколе уверял, что раз его не могли заставить встать с мостовой, то какой же черт его заставит воевать. Алексей Спиридонович говорил, как всегда туманно, о «духе». Мне просто слова Учителя показались продолжением его утреннего бреда, и я спросил — хорошо ли он себя чувствует. Только Шмидт и Айша не спорили. Шмидт пробурчал: «Что-то не очень верится мне. опять вмешаются дипломаты, а впрочем, посмотрим!» Айша же объявил, что дома, то есть в Сенегале, ему говорили о войне и что это совсем не плохая вещь. Учитель не спорил, но, пробыв еще немного с нами, сказал, что чувствует усталость, и один пошел домой.

Мы же, забыв про войну, просидели вместе за полночь в беседах о вещах весьма мирных: о совместной поездке на Корсику, о достоинствах различных сыров и о последнем увлечении Эрколе некоей венгеркой из цирка, подымающей двадцатипудовые гири. Напомнил нам о словах Учителя лишь Айша, которому, видимо, понравилась придуманная Хуренито забава: смеясь, крича и прыгая, он вдруг снова начал показывать, как он может хорошо зарезать Алексея Спиридоновича или застенчивого, тихого Шмидта,

## бурное расставание.— я всячески переживаю войну

Скоро мы поняли, что Учитель не шутил. Я не стану описывать дней ожидания, они слишком памятливы всем. То, что чувствовали мы, от одного выпуска газеты до другого, от надежды до тушого отчаяния, переживали в те дни сотни миллионов разноязычных людей. Наконец настало роковое 30 июля. Сомнения исчезли, все поняли, что случилось непоправимое и, больше ни о чем не думая, кинулись в водоворот.

Вечером, не сговорившись, но движимые одним и тем же чувством, мы собрались у Хуренито, чтобы расстаться надолго, может быть, навсегда. Я испугался, увидев мосье Дэле; он был совершенно невменяем, кричал, что убьет Шмидта, если тот посмеет показаться, пел «Марсельезу» и требовал, чтобы Хуренито немедленно отправился сражаться за цивилизацию. Шмидт пришел абсолютно спокойный, даже пробормотал что-то о жаре (28 градусов в тени), и мосье Дэле не убил его. Зато началось нечто невообразимое, и мастерская Хуренито преобразилась не то в австрийский рейхсрат, не то в наш базар, где у бабки стацили пирожок с лотка. Все кричали, ругались, пели и наперебой обвиняли друг друга. Эрколе вопил, что война прекрасна и что он будет стрелять из самой большой пушки. В кого? Это он посмотрит, но стрелять будет обязательно, «Эввива!»

Под влиянием криков Айша обезумел, схватил нож для разрезывания книг и потребовал, чтобы ему тотчас сказали, кого именно он должен резать — мистера Куля или меня. Мосье Дэле внушительно объяснил ему, что он — Айша французский и поэтому должен резать Шмидта. Увлеченный такой перспективой, Айша решил приступить к делу незамедлительно и настолько серьезно, что Учителю пришлось его запретить в маленький чуланчик.

Охватив голову руками, Алексей Спиридонович голосил: «Ныне пришло светлое искупление! Русь! Мессия! На святой Софии крест! Братья славяне!» Он кинулся к Шмидту и,

хлыча, обнял немца: «Враг мой! Брат! Я люблю тебя, и оттого что так люблю — должен убить тебя! Понимаешь? Не убью, но, убивая, жертвенно умру! Мы победим Германию! Христос воскрес!» И он облобызал Шмидта, но тот, вежливо отстранившись, вытер лицо платком и маленьким гребешком оправил волосы.

Мистер Куль, всем этим растроганный, дружески сказал: «Я нейтрален! Но я тоже начинаю понимать, что война не так безнравственна, да и не так невыгодна, как мы думали раньше».

Я сидел совершенно подавленный совершившимся. Я вдруг понял, что все страшные призраки, преследовавшие меня в течение долгих лет, кажутся будничной петитной хроникой по сравнению с этой реальностью. А осознав это, я перестал вообще думать, чувствовать, жить отдельной жизнью и надолго потерял себя.

Когда все, утомленные, несколько затихли, Шмидт заговорил: «Дорогие друзья, ни к кому из вас я не чувствую никакой ненависти, хотя вы — мои враги. Но дело обстоит весьма просто. Нам необходимо вас организовать». Он подошел к висевшей на стене карте Европы и как бы отрезал пальцем четверть Франции, восьмушку России, а по дороге прихватил еще кое-что из мелких стран, «пока лишь это мы непосредственно присоединим, а на остальное будем оказывать систематическое воздействие. Это, конечно, не слишком галантная операция, но ничего не поделаешь, по доброй воле вы никогда не сорганизуетесь. Засим до свидания! Надеюсь встретиться с вами в одной из новых провинций Германской империи». Сказав это, он пожал руку Учителю, поклонился всем и вышел.

Снова начался дикий гам. Мосье Дэле освободил Айшу и требовал, чтобы тот, защищая цивилизацию, нагнал бы Шмидта и зарезал его, но Айша, в уединении успокоившись, предпочел на диване разбивать мексиканским идиолом грецкие орехи.

На этот раз порядок навел Хуренито, ласково сказавший нам, что все происходящее ему вполне понятно и он рад быть в такие минуты с друзьями, но, к сожалению, через час отходит его поезд, и он должен будет проститься с нами, возможно надолго. «Случилось неизбежное и необходимое. Не думайте, что это на неделю, а потом снова «Рояль». Нет, этот знойный день — грань. Оглянитесь, пока не поздно, еще раз!.. Проститесь со всем, что знали: это не банки, а вскрытая артерия.

Вам странны мои слова, но разве вчера вы могли поверить в сегодня? Что же сказать вам о завтрашнем дне? Кричат знакомые, заветные, уютные слова: «родина», «честь», «победа», «во имя».., Что им имя?.. Работают на безликого, нерожденного, но в утробе — жесточайшего. Работайте и вы! Ступайте, куда поведет вас необходимость! Грозитесь, стреляйте, пейте вино, плачьте, делайте все, что должны делать! Я ухожу, но мы еще встретимся. Когда? Не знаю. Прощайте, друзья!»

Взяв небольшой дорожный чемоданчик, наполненный, главным образом, бумагами, Учитель вышел, попросил на вокзал его не сопровождать. За ним все разошлись. Я остался вдвоем с Айшой в комнатах, еще как бы таивших дыхание Учителя. Всю ночь я смотрел на его страшные карты, на каменных божков, на забытую им короткую прожженную трубку, с оттиском крепких зубов. Айша же, свернувшись у моих ног клубочком, все грыз и грыз орехи, время от времени испуская протяжный вздох: «Ай! Господин ушел на войну! Ай, Айша!..» А под окном до утра не смолкали песни, крики газетчиков, барабанный бой, топот проходивших к вокзалам солдат и чей-то пронзительный плач: «Жан! Жан! Жан!..»

Настало утро. Увы, дневной свет не помог понять, осмыслить, начать хоть как-нибудь, но все-таки жить. Открылось долгое существование, подобное неделям тифозного на койке лазарета. Кругом я видел те же горячечные глаза и слушал тот же бред, под конец ставший повседневной речью. Когда теперь, оглядываясь на свое прошлое, я дохожу до этих месяцев, предо мной яма, и я, не вспоминая поступков, мыслей, слов, стою и дивлюсь, как мог я из нее выкарабкаться.

Все мои друзья разъехались. Мистер Куль, увлеченный какими-то грандиозными заказами, отбыл в Нью-Йорк, обещав, впрочем, скоро вернуться. Мосье Дэле призвали и послали куда-то на юг сторожить железнодорожный мост. Он написал мне, что его перевели в Авиньон, он — начальник военного кладбища, кроме того, горя энтузиазмом и не имея возможности, по своему возрасту, сражаться, он занялся журналистикой и помещает статьи в «Заре Авиньона», а также устраивает различные патриотические собрания. Эрколе, оставшись без средств, пробовал лечь на парижскую мостовую, но был быстро отправлен на родину. Айшу мобилизовали и, поучив немного в южном городишке обращению с оружием, иным, нежели столовый нож, отправили на фронт,

Пришел черед Алексея Спиридоновича и мой. В Россию вернуться мы не могли и в зимнее утро отправились вместе во «Дворец инвалидов», записываться добровольцами во французскую армию. Тишин шел, в восторге твердя о мученическом подвиге, о мече не то Христа, не то Мережковского, о Царьграде и еще о чем-то. По дороге он забегал в бары, выпивал по рюмочке и пытался целовать кабатчиков: «Союзники! Братья!» Я шел молча, скорее понуро, ничего не чувствуя, кроме нестерпимой жары и самоуничтожения, шел, потому что это было самым легким выходом. Подставить свой живот под чей-нибудь штык или проткнуть штыком чужой живот казалось мне значительно более простым, нежели утром, проснувшись, купить «Матэн», читать о распоротых животах и пить при этом кофе с бриошами.

На площади толпились тысячи людей с флагами различных стран. Они все вместе пели свои гимны, и от солнца, от пестрых лоскутьев, от дикой разноголосицы кружилась голова. Мы отыскали русских — они уже воевали между собой, размахивая всякими флагами — трехцветными, красными просто, красными с надписями, объясняющими красноту, французскими и, наконец, вовсе непонятными. Они тоже, по примеру других, пытались петь, но только начинали какую-нибудь песню, как она тонула в гуле протестов. Потом перестали спорить и начали одновременно исполнять: «Боже царя храни», «Марсельезу», «Интернационал», «Из страны, страны далекой» и даже «Не жури меня». Впечатление было сильное, напоминавшее несколько негритянскую музыку и как нельзя лучше гармонирующее с пестрой разноплеменной толпой.

Впрочем, вскоре эта неразбериха сменилась картиной бани. Придерживая кальсоны, я направился к столу, где меряли, щупали и выступывали различные героические тела. Приславив трубку к моим ребрам, врач быстро гаркнул: «Не годится! Следующий!» — и я остался со своим героизмом, вольный читать «Матэн» и кушать сдобные булочки. Трогательно простился я с Алексеем Спиридоновичем, который на следующее утро был отправлен со «Святой Софией» и с компанией подозрительных испанцев для обучения в Турень. На вокзале он неожиданно объявил мне, что Хуренито — изменник, ибо «он душой нейтрален, а нейтральные — это скрытые германофилы», и попросил меня вернуть ему старый устав «Общества изыскания

Человека», а также меню «Рояля», на котором он записал памятный афоризм мистера Куля.

Но, увы! Хулио Хуренито бесследно исчез. Уезжая, он не оставил адреса, и никто от него не получал писем. Его мастерская стояла пустая, неприбранная, со смятыми газетами и раскрытым сундуком. Первое время я часто заходил туда, чтобы предаться сладостным воспоминаниям о стольких вечерах, проведенных в этом унылом сарае. Но вскоре мне пришлось прекратить эти посещения. В то время в Париже свирепствовала эпидемия шпиономании. Германских агентов находили в кафе, в канцеляриях, в детских садах, даже у себя дома, в гардеробе жены. Неожиданно оказывались предателями профессора-гинеколога, кормилицы, кладбищенские сторожа, двоюродные братья и многие другие. Когда наконец у старика, учителя географии, нашли исчерченную карандашом карту двух полушарий, а у старьевщика на Маршэ-де-Пюс подержанный компас немецкого происхождения, подозрительность достигла высшего предела. Консьержка, недолюбливая Хуренито, то есть, главным образом, не его, а Эрколе, относившегося с недостаточным уважением к чистоте ее лестницы, донесла, что Учитель вел образ жизни подозрительный, у него бывали странные люди и говорили часто меж собой на иностранном языке, вероятно по-немецки. Явилась полиция, и мне пришлось расстаться с милой опустевшей храниной.

Осенью и зимой я страстно ждал Учителя, озирался, блуждая по улице, прислушивался к шагам на лестнице, караулил приход почтальона. Где он? Быть может, на фронте, командует какой-нибудь дивизией? Арестован? Утонул при переезде к себе на родину? Расстрелян? Убит в бою? Но зачем он оставил нас гореть на этом вечном огне? Зачем я живу? Я роптал, требовал, ждал, но ответа не было...

Передо мной встают теперь бурные ночи, когда все ветра трепали мою слабую ладью. Стреляли, кричали, что немцы возьмут Париж. Убегали с бархатными портьерами, с канарейками, с ночными горшками. По ночам мне казалось, что в мою комнату входит Шмидт и начинает меня организовывать: «Герр Эренбург Эльяс! Встаньте! Подберите живот! Направо! Налево! Фрау Хазе, ложитесь!» И я вскакивал, бежал вниз к консьержке, чтобы убедиться в том, что Шмидта нет.

Потом я стал реально, физически ощущать убийство. Кругом занимались исключительно этим, раньше запретным, делом.

Я читал: «три, пятьсот, десять тысяч убитых», «мы перекололи», «разорван», «заколот», «удушен», «засыпан», «потоплен», «убит, убит, убит!» Визжали мальчики на бульварах: «Все переколоты»; официант «Ротонды» отвечал: «Семьдесят пять. Меткая стрельба»; басила лавочница: «Окружили, разбили, перебили!» Напротив меня жил тихий старичок, целый день он читал газеты, а поздно вечером звал меня в гости и начинал колотить старой поломанной кочергой специально для этого повешенную открытку с каким-то усатым немцем. Другой сосед, мосье Инн, настройщик роялей, требовал, чтобы я показал ему, как работают пиками казаки. Я не мог, я не знал, не хотел, но он говорил, говорил: «Режут, колют, протыкают», — и раз, ночью, в белье, я вбежал к нему с маленькой тросточкой, крича «урра!» и начал сверлить ею его мягкий, растекавшийся живот.

Потом я начал сомневаться — не немец ли я? Сначала я, со всеми другими, принялся искать вокруг меня все немецкое. Разгромили молочные «Магги», а я там несколько раз покупал творог. Я выкинул мою бритву с подозрительной надписью. Я оборвал все пуговицы брюк, явно вражеские. Я готов был даже порвать брюки, но мосье Инн отговорил меня. Еще кто-то смел играть в соседнем доме Баха. Что это? Я бежал, узнавал, мне показывали статью в газете — Бах не немец, Бах почти француз. В отчаянии я не хотел верить. Произошло самое ужасное — я усомнился в себе. Это началось после того, как барышня в почтовом отделении, где я получал письма до востребования, дружески мне посоветовала: «У вас нехорошая фамилия, перемените окончание». Я был бы рад, но я не знал, как это делается, и почему-то послал прошение в Москву мировому судье Хамовнического участка. Но что фамилия — было нечто посерьезнее. Случайно я попал на провинциальную газету «Пти нисуа», и там, в передовой статье, определенно говорилось, что немцев можно узнать по особому, исключительно им присущему запаху, по какому, точно не объяснялось: ясно, всякий почувствует. Прочитав это, я стал нюхать себя, но свой собственный запах трудно различить, я слышал лишь запах табака да скверного одеколona, так как в то утро побрился. Но я не слышу — другие услышат... Я не мог терпеть: вернувшись поздно, я разбудил консьержку и очень вежливо попросил: «Понюхайте меня». Мне пришлось переменить комнату, а то, чем я пахну, продолжало для меня оставаться тайной.



В неизвестности дожил я до весны. Денег у меня не было, я стойко голодал, продал все, оставшись в одних подозрительных брюках и в высокой широкополой шляпе. Я должен был ходить на ночную работу, на вокзал Иври — подвозить вагонетки с ящиками. На ящиках была надпись «осторожно!», и товарищи говорили, что это фарфор, но я был убежден, что в ящиках снаряды, и, приходя утром домой, сладко потягиваясь, кричал: «Недолет! перелет! бум! трах! шестьдесят три разорвано». Работа была трудная, тем более что мой вид, особенно шляпа, смешил рабочих, и они по душевной доброте поили меня в складчину дешевым ромом. Я, выбиваясь из сил, уже не руками, а животом толкал тележку. От спирта рельсы прыгали, ящики вываливались и огромные чугунные гады разрывались. Я падал.

В предместье Парижа, куда я перебрался, привезли раненых, с обмотанными марлей лицами, слепых, прыгающих на костылях. Еще кто-то прилетал и кидал бомбы, не те, что я возил, другие, немецкие. Я видел девочку в голубеньком платьице с оторванными выше колен ногами. А хриплые мальчики все кричали: «Убиты! погубли! взорваны!» Я задыхался от запахов крови, йодоформа, типографской краски. Я больше ничего не ждал. Я забыл, что встретил человека, которого звал Учителем,

глава четырнадцатая

## миссия лабардана.— 155-миллиметровые орудия

В майское утро, когда, вернувшись с работы, я беспокойно спал в грязной каморке пригородной гостиницы, меня разбудила встревоженная хозяйка: «Вас спрашивает господин, — он приехал в автомобиле!» Я не успел опомниться, как в комнату вошел чрезвычайно элегантный человек, с лицом невыносимо знакомым:

— Не узнал? Это я, Хулио! Я вчера приехал в Париж и едва разыскал тебя.

Да, да, это был Учитель! Он поправился, сильно загорел и отпустил небольшие усики. Я молча глядел на него, глядел жадно и восторженно, с каждой минутой я исцелялся от безумия. Мне даже показалось, что ничего не произошло и Хуренито зашел, чтобы пойти со мной во флорентийскую церковь или в таверну Амстердама.

— Учитель, ведь правда, вас не было? Где же вы пропадали так долго? На фронте?

— Нет, я главным образом удил рыбу, а также ел виноград и фиги на Балеарских островах. Тридцатого июля я уехал прямо из Парижа на Майорку. Мне нечего было делать в Европе. Все делалось само собой. Я не мог быть полководцем и не хотел быть пацифистом. Разум мог лишь беспомощно барахтаться в этом хаосе. И потом... Потом там удивительный виноград, крупный, душистый, вроде «изабеллы», но лучше. А в речке — форели. Закинешь удочку... Я девять месяцев не читал газет. Теперь — другое дело, теперь хаос принимает формы, сумасшествие становится бытом. Сидеть у речки я больше не могу. Одевайся-ка, милый, мы сразу приступим к работе. Видишь ли, я теперь полномочный представитель Лабарданской республики, а ты мой секретарь.

И Учитель вынул из портфеля огромные листы с красными печатями, оказавшиеся дипломатическими паспортами и напугавшие меня так, что я залез под одеяло. Спорить все же я не посмел и только показал на свои брюки. Хуренито сказал:

— Это не страшно, мы сейчас заедем к портному и в магазины. Гораздо хуже то, что ты любишь говорить о своих переживаниях. Если ты не можешь вообще перестать переживать, то, во всяком случае, молчи. Говорить буду я, а если тебя спросят — отвечай что-нибудь невинное, например «мерси».

На следующий день мы подъехали ко дворцу, где помещалось министерство. В книге, между мистером Уйльдом, американцем-пароходоладельцем, и представителями португальской прессы значилось: «Миссия Лабардана». С трепетом оглядел я лакеев в малиновых фраках и одному, особенно важному, безо всякой нужды, исключительно из стеснения, сказал «мерси!». Министр, наоборот, оказался совсем не страшным, но очень любезным. Учитель торжественно сказал ему, что Лабардан хочет присоединиться к союзникам и просит поэтому точно формулировать преследуемые ими цели. «Они известны всему миру, — ответил министр, — мы боремся за право всех, даже

малых народов, самим определить свою судьбу, за демократию, за свободу». Учитель был видимо взволнован этим заявлением и не скрыл своего восторга. Я же раньше читал об этом в газетах и объяснил себе волнение Учителя тем, что на острове он газет, наверно, не читал. Я скромно сказал «мерси», и мы откланялись.

Вечером Учитель составил соответствующую декларацию и велел мне разослать ее во все крупные газеты мира. Вот текст: «Правительство республики Лабардана не может оставаться нейтральным в великой борьбе между варварством и цивилизацией. При переговорах с представителями союзных держав Лабарданское правительство окончательно выяснило высокие цели защитников права. Всем народам, даже самым малым, будет предоставлена свобода распоряжаться своей судьбой. Поляки, эльзасцы, грузины, финны, ирландцы, египтяне, индусы и десятки других народов освободятся от ига. Кончатся угнетение народов иных рас, больше не будет колоний. Наконец, в деспотической России при победе союзников будет введена свобода. Правительство и народ Лабардана не могут более колебаться, и они гордо вступают в ряды борцов за истинное право!»

Ни одна французская газета нашей декларации не напечатала, все ограничились краткими заметками о разрыве дипломатических отношений между Лабарданом и Германией. Посланные же в заграничные органы телеграммы были возвращены с пометкой «не пропущено военной цензурой». В гостиницу «Люкс», где мы поселились, неоднократно приходили различные чины префектуры, интересуясь нами, явно не только с намерением высказать добрые чувства к представителям дружественной державы. Я спросил Учителя, почему разумное толкование слов министра ведет к неприятным результатам, но он посоветовал мне не утруждать себя абстрактными рассуждениями, а лучше принести ему утренние газеты. Час спустя на его столе лежали отчеркнутые красным карандашом различные статьи и заметки, как-то: «Константинополь — России», «Германские колонии и японцы», «Рейн — французская река», «Исторические права Италии на Далмацию» и прочие. Учитель сказал мне:

«Я сам виноват. Я проявил непростительную вульгарность, толкуя, как простак, буквально возвышенные образы господина министра. Когда-то в Америке я проштудировал «Краткое руководство для начинающих дипломатов», но одновременно я

изучал электротехнику, персидский язык и стенографию, так что, очевидно, был рассеян и не затвердил даже основ этого ремесла. Ничего не поделаешь, надо поскорее исправить ошибку, едем в министерство!»

На этот раз нас принял не министр, а чиновник и, судя по его чрезмерной важности, не крупный. Хуренито любезно, но вместе с тем непреклонно изложил условия, на которых Лабардан может примкнуть к союзникам:

1. В городе Нюрнберге, как это точно исследовано историками, в XVII столетии проживал часовщик, гражданин Лабардана. Поэтому Нюрнберг со всеми прилегающими к нему землями, включая Мюнхен, должен перейти к Лабардану.

2. Жизненные интересы Лабардана требуют колоний. Наиболее подходящим для колонизации является Гамбург.

3. Хотя Лабардан не имеет общей границы с Германией, опасность новой войны будет угрожать ему, если не будут произведены некоторые стратегические изменения в Европе. Уступка Смирны, парка Пратера в Вене и Баден-Бадена обеспечат спокойствие Лабардана.

Чиновник внимательно выслушал это, предложил нам пока отправиться на фронт вместе с другими почетными гостями, подарил дюжину открытых писем с видами разрушенных немцами городов и обещал о дальнейшем довести до сведения господина министра.

На следующий день мы поехали с каким-то фабрикантом из Барселоны, с журналистом-перуанцем и с весьма вежливым лейтенантом на фронт. Лейтенант долго выбирал то место фронта, где не было бы ничего напоминающего войну. Но даже туда мы не доехали. Как только перуанец услышал далекие отзвуки канонады, он начал жаловаться на сильные рези в желудке, говорил, что поездкой вполне удовлетворен и теперь спешит назад, чтоб отправить телеграмму в свою газету. У нас было два автомобиля, в одном из них перуанец поехал назад. Фабрикант был, наоборот, очень храбр и все время доказывал лейтенанту, что, будь на месте французов испанцы, Берлин был бы давно взят. Отъехав немного дальше, мы позавтракали у очень милого генерала. Потом у другого генерала пили чай. У третьего обедали. Всюду были тосты, среди других «за нового друга — Лабардан!». На следующий день мы еще немного продвинулись по направлению к фронту и наконец увидели батарею. Узнав, что сюда долетают тяжелые снаряды, фабрикант немедленно

переменился, потребовал каску, дал мне адрес своей семьи и наотрез отказался ехать дальше. Он даже не вышел из автомобиля, и лейтенант напрасно пытался развлечь его беседой о превосходстве французской стрельбы над немецкой. «Но ведь все-таки немцы тоже стреляют», — стонал испанец и потребовал лист бумаги, чтобы написать жене последнее письмо.

Мы отошли в сторону. Было тихо и весьма мирно. Учитель разговаривал с офицером, командовавшим батареей, и тот предложил, чтобы ознакомить нас с ходом артиллерийской дуэли, открыть стрельбу. Обыкновенно она начиналась на два часа позже. Выстроенные в ряд, стояли огромные длинноногие чудовища. Крохотные гномы суетились вокруг них, подкатывали снаряды, дергали веревку, отбегали. Чудовища наклонялись, высоко выплевывали нечто черное, на одно мгновение зримое, изнеможенные откидывались назад. В ответ несся грохот экспресса, влетающего в стеклянные своды вокзала. Это были немецкие снаряды.

Учитель долго, почтительно глядел на разъяренное, горячее, полное воли и огня чудовище. «Можешь смеяться над господом и над поэзией, над родиной и над свободой, — сказал он мне, — но перед орудиями благоговейно преклонись. Из их глотки вылетает не только смерть сотни-другой людей, но черное, неизбежное будущее». И потом он сказал еще: «Кстати о свободе. Ты заметил — о ней забыли все, кроме разве профессиональных журналистов. Как эти люди подчинили свои чувства, думы, дни разумным машинам, так вся Европа предана сейчас железному, единому закону. О свободе, самой простой, не той торжественной, что в конституциях «слова, совести, передвижения» и прочая, прочая, нет, о свободе жить, думать, ходить в гости, бить полотенцем мух, писать стихи, вешаться от любви на галстук, о человеческой свободе забыли. Свобода стала анахронизмом». И потом он добавил: «Кстати, ее и не было, этой свободы, был подлог, кукла, игрушка. Ее и не могло быть, пока была подделка. Конечно, война уже убила сотни тысяч людей, но она уничтожила также одним железным дуновением, одним вот таким снарядом-плевком мерзостную восковую краску в витрине универсального магазина, свободу в корсете и в игристом декольте (конечно, не ниже столких-то сантиметров...)».

В это время раздался душераздирающий крик испанца, пережившего все муки ожидания смерти и дошедшего до агонии. Делать было нечего, мы повернули к Парижу.

Дома нас ждали неприятные новости. Оказывается, наши телеграммы с декларацией и претензии на аннексии различных территорий вместо министерства иностранных дел попали в префектуру полиции. Кроме того, выдающийся географ, член Академии, проделав различные изыскания, пришел к выводу, крайне изумившему как его, так и нас, что республика Лабардан якобы вовсе не существует, есть остров Лабрадор и еще Лапландия, но она не республика. Это сообщение было напечатано в воскресном номере «Фигаро» и также, очевидно, по известной всем любви французов к географии, попало в префектуру.

К Хуренито явился полицейский и начал с ним беседу отнюдь не дипломатическую. Мне он также сказал нечто неприятное, но я, вспомнив лист с красной печатью и наставления Учителя, в последний раз промолвил «мерси» дипломата. Мы оказались в трагическом положении, но, благодаря находчивости и такту Учителя, все закончилось несколькими неприятными минутами и визитной карточкой одного симпатичного депутата.

глава пятнадцатая

## «ЧЕМПИОН ЦИВИЛИЗАЦИИ» И ОЖЕРЕЛЬЕ АЙШИ

Благодаря горячим симпатиям к делу союзников, красноречию и организаторским способностям, Хулио Хуренито вскоре завоевал всеобщее уважение. Он был лучшим устроителем различных патриотических утренников, благотворительных базаров, концертов. Прекрасная виконтесса де Буран, получив за гвоздику сто франков «на разумные развлечения для наших бедных солдатиков», долго возбуждала зависть своих подруг рассказами об удивительном мексиканце. Он помог открыть невиданный по размерам «тир в голубей», где дамы, полные священного порыва, а также молодые люди из хорошего общества с неизлечимыми пороками сердец, могли стрелять если не в кровожадных «бошей», то в раскормленных и разучившихся летать голубей. Плата за вход шла в пользу раненых воинов. Хуренито не забыл также о несчастных беженцах: для них в

особняке маркизы де Жибье он устроил интимный бал-маскарад. Зал, стараниями модного художника Гапаранды, был преобразован в поле битвы, гости одеты солдатами, широкоштантными зуавами, индийцами в тюрбанах, матросами, тюркосами и сестрами милосердия. Сенегальцы сервировали в бокалах, имевших форму гранат, простой солдатский ром. Шампанское было заморожено в ведерках, напоминавших снаряды. Различные уютные уголки были ограждены колючей проволокой. В саду пускали беспрерывно ракеты. Чистый сбор в пользу беженцев достиг восьмидесяти франков. Вдохновитель, верный помощник дам, не выносящих светского безделья, Хуренито способствовал организации многих полезных учреждений: в одном — «Возвращенный очаг» — жительницам разоренных войной мест за какие-нибудь десять часов неумелой работы давали чистую койку и питательный обед, состоящий из супа и вареной чечевицы, в другом — «Кусочек сахара» — всем младенцам, отцы которых были ранены не менее трех раз, выдавали совершенно бесплатно раз в неделю кусок сахара.

Но больше всего Хуренито любил организовывать делегации к различным памятникам. Это были великолепные паломничества ко всем конным и пешим статуям парижских площадей. Не удовлетворенный Парижем, он выезжал на гастроли в провинцию. Так им были отмечены четырнадцать Республик, девять Свобод, четыре Гамбетты, одиннадцать Жан д'Арк, маршал Ней, аббаты, открывшие хинин, неизвестная голая женщина (по всей вероятности, также Свобода), Альфред Мюссе и бронзовый солдат в Пуатье. В это время облик Учителя стал известен всему цивилизованному миру, так как ежедневно в тысячах кинематографах, после бебе, примиряющих неверных супругов, и похитителя сапфиров Индостана, обнаруженного сыщиком, на экране появлялся высокий патетический господин, возлагавший, под бравурные звуки «Марсельезы», к ногам очередного героя большой венок с лентами.

Особенно удачно прошла последняя манифестация. Это было в начале октября. Учитель в унынии рыскал по городу, ища хотя бы одну еще не использованную им статую, но все было тщетно. Две тысячи восьмьсот шесть паломничеств истощили Столицу Мира. Хуренито начал уже подумывать о заграничных поездках — там была девственная целина: полки

британских адмиралов с невнятными именами, Витторио-Эмануиллы, Скобелевы, все, что угодно, и в любом количестве. Но совсем неожиданно, проходя по узкой улочке Мутон-Дюверне, недалеко от кладбища Монпарнас, Учитель вздрогнул и замер: перед ним в грязном дворе, рядом с мастерской цинковых ванн, стояла статуя, пусть поврежденная, в пыли, без пьедестала, но настоящая неизвестная статуя. Это был некто мужского пола, в одной руке державший как будто бы книгу, в другой, поднятой к небу, остатки весов.

Началось серьезное научное расследование. Сотрудник «Ля Круа», аббат-археолог, заявил, что это архангел Михаил, измеряющий грехи Франции и возвещающий ее спасение. Относительно костюма архангела (статуя была в куртке) он сделал доклад: «Религиозные предчувствия и ясновидения наших гениев средневековья». Другой археолог утверждал, что найденная статуя изображает древнего галла, в руках его не книга и весы, а лук и шкура дикого медведя; статуя происхождения крайне раннего, но сюртук приделан при реставрации, в середине прошлого столетия.

Совершенно особого мнения придерживалась консьержка, во дворе которой статуя была обнаружена. В ее напвном и вульгарном представлении эту статую, лет десять тому назад, заказала мастеру надгробных памятников мосье Бэку вдова мосье Краба, владельца большого колониального магазина на рю Фруадево. По настоянию вдовы мастер изобразил покойного лавочника с любимыми весами и прихода-расходной книгой. Но когда статуя была готова, легкомысленная вдова внезапно вышла замуж за содержателя бродячего цирка, уехала с ним в турне и заказа не взяла. Мосье Бэк четыре года тому назад бросил мастерскую (ту самую, где теперь делают ванны), не заплатив консьержке денег и оставив ей вместо этого изображение мосье Краба и старого, лысого кота. Кот издох, а статуя осталась. Такова была версия консьержки, достойная быть отмеченной как образец младенческого невежества.

Но Учитель не удовлетворился и соображениями двух археологов. Он выставил свою гипотезу. Статуя — это Чемпион Цивилизации, он держит «Декларацию прав человека и гражданина», а также символ вечного правосудия — весы. Хулио Хуренито объявил, что 28 октября состоится торжественное паломничество к статуе Чемпиона Цивилизации. Приглашались



различные научные и спортивные общества, а также академические делегации союзных и нейтральных стран.

Был прекрасный, солнечный день. Двор пристыженной консьержки был заполнен важными делегациями. Академия наук, «Кружок молодых пловцов через Сену», военный атташе Черногории, «Общество патриотов непризывного возраста», артистки театра «Сан-Прежюдис» и другие с приветственными речами возложили венки. Неожиданным и трогательным было выступление консьержки: «Простите меня, господин Краб, то есть Чемпион Цивилизации! Я вас видела каждый день за прилавком и здесь у себя во дворе. Но я не знала, что ваши весы — символ правосудия, и я никогда не заглядывала в вашу книгу на конторке. Теперь, когда к вам пришло столько почтенных господ, я поняла все! Примите же и этот скромный дар!» — и она в экстазе бросила к ногам статуи свою метлу.

Последним выступил Хуренито. Я удивился, увидав, что он не принес венка. Как это могло случиться? Ведь Учитель готовился к торжеству. Говорил он выразительно и с глубоким чувством: «Дорогой Чемпион Цивилизации! Я не буду после стольких прекрасных речей напоминать о твоих былых подвигах. В переживаемые нами трагические дни твой образ светит миру. Здесь, на этом скромном дворе, зажжен неугасающий маяк. Ты создал божественную декларацию и, чтобы написанное не осталось мертвой буквой, взял бесстрашно весы, каждому отвесив по заслугам. Но вот дикие варвары, готы, современные Аттилы, каннибалы, деспоты посягнули на цивилизацию, на священные права человека и гражданина. Ты не уступил, сгрудив вокруг себя другие, младшие народы, ты поднял знамя борьбы за человечность, за гуманность, за любовь к слабым. Я не принес тебе венка. Какие цветы достойны лежать у твоих ног? Не эти, мирных садов и теплиц, но выросшие там — на поле брани. И я верю, что один из миллионов героев принесет тебе высший дар — победные трофеи, взятые у поверженного варвара!..»

Учитель не закончил своей проникновенной речи. Растолкав толпу и повалив какого-то чрезмерно маститого академика, к нему подбежал негр в солдатской форме, с болтавшимся рукавом шинели вместо правой руки. Мне трудно теперь передать изумление и радость, охватившие меня, когда я его разглядел — это был наш дорогой маленький Айша. Он целовал руки и жилет Учителя. Наконец, отдышавшись, он сказал:

«Господин! Добрый господин — Айша нашел тебя! Ты хорошо говорил, и бог твой хороший бог!

Если б у Айши была рука, Айша бы сделал тоже такого бога, но у Айши нет руки. Айша был на войне! Страшно! Сначала Айша был глупый! Не хотел идти! Господин капрал, добрый господин, хотел убить Айшу. Айша очень боялся. Пушки у-у-у! Потом Айша выскочил, бросил винтовку, вынул ножик, кричал, бежал. Помнишь, господин, ты спросил Айшу, как он режет ножиком? Айша прибежал. Немец, два, пять, десять, много немцев, он всем головы отрезал. Потом француз поймал пять немцев и не знал, что с ними делать, глупый француз, он говорит Айша: «Веди их к генералу». Айша не дурак. Добрый капрал учил Айшу — немец враг, немца надо убить. Айша зарезал всех. Потом пушки снова бум-бум! Айша понял — злой бог, хитрый бог, надо себя спасать, надо взять на сердце «гри-гри». Айша вырвал зубы у всех убитых немцев, сделал «гри-гри» и положил на сердце. Потом пуля ударила прямо в Айшу, злая пуля. На сердце был «гри-гри», Айша не умер, только руку отрезали Айше. Очень больно, господин! Айша носит всегда свой «гри-гри»! Айша любит «гри-гри». Но господин говорит, что это хороший бог. Господин не знает, что подарить своему богу, Айша любит господина! Айша дает свой «гри-гри!»

Айша вынул из-за пазухи большое ожерелье из пожелтевших человеческих зубов, искусно просверленных и нанизанных на голубенький шнурочек. Учитель, повернувшись к статуе, торжественно сказал: «Великий Чемпион, я даю тебе героическое приношение твоего брата — скромного, неизвестного борца за святое дело мировой цивилизации. Я кладу этот наивный и прекрасный дар на чашу весов, колеблющихся на повороте истории, да ляжет он всей тяжестью любви, жертвы и гуманности!» И действительно, на остов весов Учитель повесил ожерелье Айши.

Это была незабываемая минута. Многие, даже мужчины, даже военный атташе Черногории, растроганные, плакали навзрыд.

На следующий день описание церемонии и подарка Айши было напечатано во всех приличных газетах, а неделю спустя Айша, который снова поселился в квартире Учителя, получил телеграмму с извещением о том, что университет Лиссабона, восхищенный его беззаветным героизмом в деле защиты цивили-

лизации, постановил присудить ему, Айше, звание доктора «гонорис кауза». Но Айша отнюдь не возгордился этими почестями. По-прежнему, скаля зубы, он тихонько просил у Учителя мелкую монету, чтобы купить шоколад с начинкой. Его очень смущал не наполненный ничем рукав. Тогда Хуренито купил ему особенную механическую руку американской фирмы «Ультима». Искусственной рукой Айша чрезвычайно гордился и даже говорил, что, не будь это так больно, он бы отрезал другую, обыкновенную руку, чтобы получить «Ультиму». Единственное, чего он не мог делать с «Ультимой», — это заниматься изготовлением богов. Учитель посоветовал ему вместо этого, беря с него пример, ходить в гости к чужим богам, то есть к различным парижским статуям, что Айша и делал с величайшим рвением. Богов он толковал по-своему, достаточно неожиданно: «Республика» была, по его мнению, богиней плодородия — «в животе дитя, молоко есть», «Свобода» — богиней танцев, «веселая, сейчас полетит «чик-чик», Дантон — «хороший бог, голову отрезал, очень доволен», «Мыслитель» Родэна — «плохой бог, сидит, живот у него болит» и так далее. Впрочем, всех их без различия он часто навещал и носил им пуговицы, старые перья, даже серебряную бумагу от шоколада, которую сам страстно любил.

Иногда, по вечерам, в эти годы величайшей катастрофы, сидя в уютной столовой за круглым столом, под лампой с Учителем и Айшой, я забывал обо всем испытанном и чувствовал себя в тесной неразлучной семье.

глава шестнадцатая

## ХОЗЯЙСТВО МИСТЕРА КУЛЯ

Не удовлетворенный деятельностью идеологической и филантропической, Учитель решил приступить к практической работе. Прежде всего, он вернулся к своим химическим изысканиям; с исключительным терпением и настойчивостью он стремился найти различные, доселе неиспользованные способы умерщвления людей. Уже удушающие газы и насосы с пылающей жидкостью, о которых он писал в 1913 году, казались ему

детской забавой. Он возлагал все свои надежды на известные эффекты лучей и на радий. Были забыты виконтессы и маркизы, по целым дням он не выходил из своего кабинета. Он жаловался мне на недостаток средств — ему не хватало каких-нибудь трехсот тысяч долларов, чтобы купить необходимое для опытов количество редкого металла. Еще большие затруднения вызывало отсутствие материала для проверки, — ни кролики, ни собаки не могли заменить человека. Хуренито обратился к властям с просьбой предоставить ему для важных опытов партию военнопленных, но из-за предрассудков ему было в этом отказано.

Однажды Учитель вышел ко мне веселый и оживленный; несмотря на все затруднения, он нашел средство, которое значительно облегчит и ускорит дело уничтожения человечества. Он объяснил мне основы сделанного открытия, но по моей врожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил, кроме того, что можно в течение одного часа на стоверстном фронте убить не менее пятидесяти тысяч человек. «Если б здесь был мистер Куль, он помог бы мне осуществить это изобретение!» — горестно воскликнул Учитель, понимая, что ни я, ни Айша не можем ссудить его нужными средствами для изготовления довольно сложных аппаратов. Обратиться же непосредственно к правительству, после полученного отказа, он не хотел.

Мы пробовали разыскивать мистера Куля в церквах, в публичных домах, в клубах. Справлялись о нем в библейском обществе, в банках, но никто не знал его адреса. Как-то, совсем отчаявшись, после безрезультатных розысков, мы сидели в маленьком баре у Северного вокзала и пили дрянное вино, когда к нам подсел солдатик, только что приехавший с фронта. Он был на участке, смежном с англичанами, и рассказывал о них много забавного: «Какие они чистые и глупенькие! Во-первых, моются каждый день! Да не лицо, а все тело! Ну, что вы скажете? Потом ходят в церковь и там все поют, да так весело, как будто это трактир. Есть такие, что ходят не в штанах, а в юбках. Я раньше думал, что у них снизу все-таки как-никак, а штаны. Даже поспорил с кухаркой английского генерала. Так та на лестнице подсмотрела. Ничего! Каково? Потом, как приезжают, сейчас: «Где французское вино?» Одному дали уксус, он выпил, не сморгнул. «Иес!» А как уезжают к себе — в парфюмерный магазин: женам подарки.

В Амьене каждый день хвост. И чего им только не подсовывают! Вместо духов — клопиную жидкость, вместо маникюра — приборы для выпиливания. Чудаки! Или еще, — английские летчики сбрасывают стрелы, а на стрелах надписи, гимн, что ли! Вот посмотрите, я одну везу в подарок сыночку!» Солдат показал нам стрелу, на ней по-английски значилось: «Брат, войди в царство небесное!» Увидав это, Учитель, в величайшем волнении, закричал: «Это мистер Куль, не иначе!» И побежал в английское консульство, чтобы завизировать наши паспорта.

В течение нескольких недель мы искали следы мистера Куля в военном министерстве и в различных департаментах снабжения. Нельзя сказать, чтоб это занятие пришлось нам по вкусу. В нас заподозрили немецких шпионов, арестовали, тщательно допрашивали, интересуясь, чем занимался в 1898 году двоюродный дядя Хуренито, живший в Мексике, и есть ли у моей двоюродной сестры в Новгород-Северском недвижимая собственность. Потом нас заставили широко раскрыть рты, ища в них чего-то, кроме зубов и языка, терли вонючей жидкостью, от которой на теле должны были выступить предполагаемые записи, и наконец, после энергичного вмешательства мексиканского посла, выпустили. Зато именно в день ареста мы узнали адрес завода в штате Миссури, отливающего стрелы для авиации.

Мы послали немедленно каблогранму по указанному адресу, причем Учитель был настолько уверен, что эти стрелы изготавлиются при участии нашего друга, что депешу адресовал непосредственно на его имя. Ответа не было, и мы решили ехать в Америку. За два часа до отхода нашего парохода Учитель получил телеграмму из Кале: «Жду. Отель Британик. Куль».

Мы застали мистера Куля в разгаре работы. Приветствуя нас возгласом «э!» и энергичным движением ноги, лежавшей на письменном столе, он попросил у нас разрешения закончить самые неотложные дела. Мы сели, слушали его беседы с различными людьми, — приходившими, или по телефону, но я никак не мог понять, чем именно занимается предприимчивый американец. Зато я узнал, что в Австралии бараны хворают какой-то заразной болезнью, что в автомобилях «Бэрмон» сто восемь составных частей, что испанские девушки чрезвычайно выносливы, что слезоточивые газы вещь недорогая и много других полезных сведений,

Отпустив последнего посетителя, который зачем-то принес с собой огромный круглый сыр, мистер Куль отдался дружеской беседе с нами. Прежде всего, указав рукой на восток, он мирно, даже как-то патриархально сказал: «Теперь у меня большое хозяйство, едва управляюсь. О друзья мои, какое великое дело война — это оздоровление Европы!» Потом он повесил нас в различные отрасли своего изумительного хозяйства. Он поставил все, что способны дать пять частей света. Ежедневно в Кале, в Булони, в Диеппе разгружались десятки пароходов. Из Австралии привозили замороженные туши баранов, из Америки снаряды и автомобили, из Бразилии кофе, из Китая рис, из Северной Африки низкорослых ослов. Кроме казенных подрядов, мистер Куль проявлял частную инициативу, прежде всего в своей излюбленной отрасли: в тыловых городах он поставил на широкую ногу публичные дома, обслуживавшие военных. Так как туземных ресурсов не хватало, он выписывал женщин из Ирландии, из Испании, с юга Франции. Потом он открыл фабрику дешевых бисерных венков с национальными значками. Наконец, не забывая о своей основной, глубоко нравственной цели, он устроил ряд передвижных барачных церквей, приспособленных также для кинематографических сеансов и для угощения солдат чаем, он печатал и раздавал в огромном количестве поучительные комментарии к Библии и даже на казенных стрелах ухитрился, благодаря рассеянности принимавшего их офицера, поместить обнадеживающую надпись.

Закончил свой рассказ мистер Куль словами глубокой надежды: «Война исправляет человечество. Никогда доллар и слово божье не были так тесно слиты, как теперь. В этом залог спасения!»

На следующий день мистер Куль решил показать нам свое «хозяйство». Мы получили надлежащие пропуска и отправились в автомобиле по направлению к Сан-Полю. По длинному прямому шоссе полз ряд грузовиков с дарами мистера Куля, со снарядами, тушами мяса, пулеметами, сгущенным молоком, марлей, аппаратами для отравляющих газов, а также с теми, для кого все это предназначалось, — с прибывшими из Англии солдатами. Навстречу ехали пустые грузовики, только на некоторых лежали люди отработавшие, обмотанные марлей и неподвижные. На перекрестках стояли солдаты-полицейские, совсем как на Пикадилли-стрит, и флажком направляли

движение автомобилей. Все было мудро и гениально в своей простоте. Туши варились. Солдаты ели суп. Снаряды подкатывались к орудиям. Потом, по минутной стрелке, орудия стреляли, солдаты выбегали из окопов и занимали пространство в сто шагов. Одних после этого закапывали, других перевязывали и клали на грузовики, третьим давали снова есть. Отправляли донесение в штаб. В штабе составляли сводку и посылали новый приказ. Подвозили новых солдат, снаряды, туши баранов и так далее. Это продолжалось изо дня в день, месяцы, годы, и мистер Куль, видя свой вклад в общее дело, имел все основания быть гордым.

Потом мы поехали назад к Руану и увидели другие достижения нашего друга. На огромных кладбищах, с выстроенными в шеренги крестами, мы оценили практичность и красоту его венков. В маленьком городке, где стояли английские, французские и бельгийские войска, мы восхищались изумительным публичным домом, с гигантской пропускной возможностью и с образцовым порядком. И наши сердца глубоко умилили религиозные проповеди соратников мистера Куля, обращенные к солдатам, мирно вытиравшим после законченной работы свои штывы о траву. Они говорили: «Братья! Сказано — не убий! Убивать нельзя, и за это сажают в тюрьму, но защищать свое отечество и слушаться своих начальников долг каждого христианина. Братья! будьте патриотами, истребите нечестивых врагов Христа — тевтонов. И не злоупотребляйте спиртными напитками!» Все вместе это было глубоко трогательно и напомнило мне далекие видения — бедного Франциска, беседующего с поселянами Умбрии.

Поблагодарив мистера Куля за доставленное нам удовольствие, Хуренито поделился с ним своим изобретением и своими надеждами. К моему удивлению, мистер Куль не только не обрадовался гениальному открытию Учителя, но пришел в угнетенное состояние. «Я прошу вас, дорогой друг, — сказал он Хуренито, — до поры до времени никому о вашем изобретении не рассказывать. Ведь если так просто можно убивать людей — война через две недели закончится и все мое сложное хозяйство погибнет. А моя родина только собирается воевать. Оставим это на крайний случай. Я вам дам возможность сделать ваши аппараты, если вы обещаете пока не употреблять их». Подумав немного, Учитель согласился. Он сказал, что действительно все, что он видел в последние дни, достойно

развития и поощрения. Мне известно, что аппараты он изготовил и оставил на сохранение мистеру Кулю. Когда год спустя он захотел наконец их использовать, мистер Куль начал всячески оттягивать дело, уверяя, что отвез аппараты в Америку, а поручить привезти их никому нельзя и прочее. Я полагал, что мистер Куль руководится при этом соображениями финансового характера, но как-то он признался, что немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуренито лучше оставить впрок для японцев. Впоследствии обстоятельства сложились так, что Учитель не вспоминал никогда об этом изобретении, но во всяком случае — я знаю это доподлинно, — аппараты и объяснительные записки находятся сейчас в руках мистера Куля.

Получив от Хуренито соответствующее обещание, мистер Куль снова пришел в хорошее настроение, внимательно выслушал о различных усовершенствованиях, придуманных Учителем в области военной, — о новых газах, быстроходных тапках и другом, предложил Хуренито работать впредь с ним, расширяя и модернизируя дело. Учитель высказал свое полное согласие. Тогда встал вопрос обо мне и об Айше. Оба мы ничего не понимали в военной технике и не обладали никакими организаторскими способностями. Было решено, что Айша займется продажей бисерных венков, — мистер Куль находил, что его искусственная рука, военная медаль, черная кожа и громкий титул доктора «гонорис кауза» Лиссабонского университета будут как нельзя более способствовать удачной торговле патриотическими изделиями. Мне же было предложено занять место кассира в одном из публичных домов Амьена, устроенном мистером Кулем.

Через три дня я уже сидел в передней небольшого особняка за столиком, выдавая каждому посетителю билет, в зависимости от платы, часовой или на всю ночь, и назидательную листовку «Бог есть любовь!». Я сидел вечером, ночью, глядел на нетерпеливые жесты входящих, на зевки уходящих. Слушал долетавшие из зала звуки военных маршей, смех, порой ругань, стоны. Иногда раздавались пронзительные женские крики. Раз солдат, подвыпив, начал стрелять в портрет голландской королевы, висевший почему-то в одной из комнат. Но в общем было тихо. Мимо меня проходили ежедневно сотни посетителей. Иногда я встречался с женщинами, они



утомлялись работой, но условиями были довольны. Многие заболели, их увозили, привозили других. Я просыпался часов в шесть вечера, обедал, просматривал газеты и шел на работу. Там я, тупо глядя на проходящих мимо солдат, отрывал билетки и в промежутках писал свою книгу «Стихи о Канунах», о которой потом благожелательно отозвались многие маститые критики, в том числе и В. Я. Брюсов. Но через месяц я уже не мог писать стихи и проявлял ко всему полное безразличие. Как-то зашел навестить меня Учитель. Я встрепенулся, начал жаловаться на скуку, на мерзкий запах, на тапера, на пьяную икоту гостей. «Я не могу больше так жить! Зачем все это?» — кричал я. «Мой друг, не ты ли в мирной «Ротонде» среди ряженых натурщиц мечтал о бомбе, о крохотной бомбочке, которая уничтожит все? Теперь ты служишь на огромном заводе, который ежедневно уничтожает десятки тысяч людей!»

Я не возразил, только жалостливо всхлипнул и оторвал билетик очередному посетителю,

глава семнадцатая

## благословенный сенегал.— различные толкования французского слова «пуар»

Мне кажется теперь, что я впал бы в тихое умалишение, если бы в начале 1916 года Учитель, приехав в Амьен, не спас меня. Когда он пришел ко мне в заведение, я уже выявлял такое безразличие к происходящему, что, взглянув на него, протянул ему билетик. В ответ Учитель повелительно сказал: «Сдай кассу управляющему, мы едем в Париж».

В автомобиле я нашел мистера Куля и Айшу. Выяснилось, что все страшно устали от напряженной работы и чувствуют потребность в достаточно длительном отдыхе. Куда? в Сан-Ремо? в Биарриц? в Севилью?.. Выступил Айша: «Ко мне — в Сенегал!» Это не только всех развеселило, но и понравилось. А мистер Куль там зря не потеряет времени: вопросы экспорта сырья, как человеческого, так и другого, Решено!

Брест. Пароход «Провиданс». Солнце. Айша прыгает. Айша рад, что едет к себе, он сможет похвастаться всем — рукой «Ультима», мистером Кулем, дипломом с печатью, шоколадными поросятами, которых он везет в подарок.

Трудно передать всю сладость полного и глубокого отдыха, блаженной дремоты в тени убогого шалаша, приятного холодка реки, как бы смывающей с меня пыль, чад, мразь родной Европы. Я был когда-то молод, игрив, влюблялся, ходил с букетиком на свиданье, писал стихи, краснел от восторга, когда какой-нибудь провинциальный журналистик писал «ничего себе... поэт милостью божьей», — словом, испытывал что-то приятное. Но только пять недель в жизни я был просто и всемерно счастлив, пять недель там, далеко, на берегах широкого Сенегала!..

Я забыл все — войну, искусство, родных и друзей, оставшихся в Европе. Я убежден, что если бы в негритянских деревушках были бы городовые и один из них подошел бы осведомиться о моей личности — я бы промычал что-либо, или хлопнул бы его дружески по животу, или убежал бы под скирды сухого тростника, — я не помнил своего имени. Я не разлучался с Айшой, вместе с ним купался, пил овечье молоко, ел свежие финики и жирные полусырые лепешки, а когда он в банге, то есть в зверинце для богов, близ хижины, начинал молиться — я тоже ползал на брюхе перед очаровательными уродцами, сделанными из дерева, птичьих перьев, раковин, рыбьей чешуи, и рычал «у-гу-гу». Айша быстро изменил европейскому костюму, он оставил на себе лишь белый пикейный жилет и был очень своеобразен в нем с блестящей искусственной рукой. Правда, он иногда перебрасывался несколькими словечками со своими сородичами, чего я делать не мог. Но я не завидовал и не грустил; без слов я понимал здесь больше, нежели при самых откровенных задушевных беседах с белыми.

Я спрашивал Учителя — не лучше ли и нам, по примеру Айши, скинуть штаны и остаться навсегда в этой обетованной стране? Но Учитель отвечал: «Недостойно человеку глядеть назад. Детство — блаженное время, но что ты скажешь о зрелом муже, вырывающем из рук ребенка погремушку, чтобы самому поиграть с ней? Никогда о не прошедших еще через все скверны не говори «счастливые», пожалей их. Айша снова наденет свои брюки. Не гром богов пройдет по этой стране, не трескотня мотоциклеток, пулеметов, пишущих машинок. На месте

милых бангов прозревшие наивцы выстроят публичные дома мистера Куля и иерархические кладбища мосье Дэле. И мы, отдыхающие теперь здесь, в этом доисторическом Трувиле, должны будем им помогать. Что ж, еще один потерянный рай, только начало трудно, теперь нам не привыкать!..»

Я запротестовал — зачем помогать, надо сопротивляться. Но Учитель сказал, что мы приехали сюда для отдыха, а не для споров, я очень плохо выгляжу, и самое разумное — идти купаться.

Некоторые заботы причинял нам мистер Куль. Вначале, в поселках береговой полосы, он чувствовал себя великолепно. Потом, чем выше мы подымались по реке, направляясь к родине Айши, тем более и более он высказывал недоумение, а часто и негодование. Он говорил, что Африка еще хуже Европы. Его доллары не производили на негров никакого впечатления, и о библии никто из них ничего не слышал. Мистер Куль, обиженный, потребовал наконец, чтобы мы немедленно повернули назад. Но Айше очень хотелось побывать в родных местах, и он несколько успокоил мистера Куля, объяснив ему, что вместо бумажек с портретами американских президентов здесь существуют особые ракушки, а вместо библии — амулеты. Все же мистер Куль становился каждый день в тупик. Учитель получил от одного вождя лук с резьбой по слоновой кости, при всей грубости работы оцененный мистером Кулем в три доллара, но никаких ракушек в обмен не дал. Также совершенно бесплатно Айша уходил под пальмы с черными женщинами, которые вместе с тем не являлись его законными женами. «Величайший беспорядок! — восклицал мистер Куль. — Только теперь я вижу, насколько благоустроена Европа! Нужна гигантская энергия, чтобы хоть немного просветить эту страну!» А так как энергии у мистера Куля был переизбыток, он приступил немедленно к делу и, созвав барабанным боем жителей ближайшей деревни, объяснил им с помощью Айши, что главным предметом поклонения должны являться доллары, то есть золото, то есть ракушки. Но неутомимого проповедника ожидало страшное испытание. Негры оказались последователями религии Бори, поучающей, что в людей вселяются злые духи, которых нужно всячески изгонять, и, на горе мистера Куля, не менее рьяными в исполнении своих нравственных обязанностей, нежели он сам. Услыхав поучения и поглядев на американца, важно подтверждающего кивками головы слова

Айши, они решили, что в бедного гостя вселился злой дух Алладьену, и, окружив его тесным кольцом, стали изгонять духа. Для этого они два дня и две ночи, сменяя одни других, в страшных масках, пели, плясали, кричали, били в медные гонги, ударяли в набитые на шести шкуры, стучали по деревянным пластинкам, с привешенными к ним сухими тыквами, дергали зубцы огромных металлических гребней и струны, натянутые на скорлупы кокосовых орехов, — словом, всячески пугали Алладьену. Мистер Куль пробовал вырваться, бил играющих, кричал что есть мочи, но это лишь подбодряло негров, полагавших, что дух начинает буйствовать, отходя от человека, и они еще громче пели и играли. На третье утро мистер Куль затих. По-моему, он начинал сходить с ума, ибо, сидя на земле, бессмысленно, блаженно улыбался. Тогда, убедившись, что Алладьену покинул человека, негры бросили инструменты и напоили мистера Куля пальмовым вином.

Мы двинулись дальше и наконец достигли долины, где была деревня Аларум — родина Айши. Но вместо хижин мы увидели следы недавнего пожарища. Людей не было. В окрестных полях мы нашли маленького негритенка лет пяти, который сосал вымя пасущейся мирно козы. Мальчик, увидя нас, бросился прочь, а настигнутый, ничего не смог объяснить. Айша плакал, ложась на живот, рыл землю и целовал ее комья. Но как ни велико было его горе — мы решили повернуть домой.

Вскоре в небольшом поселке напали мы на стоянку солдат «иностранный легиона», которые и рассказали нам, что во время последней охоты за рекрутами негры Аларума взбунтовались, произвели ночью злостное нападение на лагерь, убив двух солдат. Эта вспышка, вызванная, вероятно, коварными происками немцев, была быстро подавлена, преступники наказаны, а деревня сожжена.

В большой хижине помещался полевой лазарет, там лежали два солдата, один раненный во время усмирения восстания, другой больной местной лихорадкой, закутавшийся с головой в одеяло. Поговорив с первым о занимательных эпизодах боя, мы собрались уходить, когда с соседней циновки раздался порусски отчетливый крик: «Негритенок! Бедный, черный!.. С высоты моего божественного «я» утверждаю человеческое досто-

инство... Пить, пить!..» Я подбежал, отдернул одеяло: передо мной лежал Алексей Спиридонович. Он глядел на меня, ничего не видя, и продолжал бессвязно бредить.

Мы остались в деревне, ожидая выздоровления больного. Через шесть дней жар сразу спал. Алексей Спиридонович пришел в себя и по-детски бурно обрадовался, увидав нас, сидящих вокруг него. Только Айши он почему-то сначала испугался, но тот проявил к нему величайшую нежность, поцеловал кончики его волос и подарил ему большой кокосовый орех. Подкрепившись, Алексей Спиридонович сразу захотел рассказать нам всю свою жизнь и начал с первых младенческих впечатлений. Но Учитель напомнил ему, что все это мы знаем почти так же обстоятельно, как и сам он, и что лучше ограничиться последними годами.

Рассказ Алексея Спиридоновича, как всегда, был пространен, насыщен философскими отступлениями, но весьма печален. Его, вместе с другими русскими, мечтавшими о жертве, святой Софии и свободе, зачислили в иностранный легион. Сержанты и капралы всячески попрекали и унижали их: «Помните, что вы пришли сюда есть наш французский хлеб!» Никакие доводы Алексея Спиридоновича, пробовавшего доказывать, что фронт не вполне удобная столовая, на них не действовали. Вместе с русскими были и другие легионеры: француз Крик, преобразовавшийся в бельгийца, занимавшийся в течение двенадцати лет в Марселе мирной торговлей женщинами, потревоженный полицией и выработавший себе чистенький документ, немец из Дрездена Хун, убивший свою тетку, бежавший во Францию и попавший в легион. Хун клялся всем, что он не то поляк, не то эльзасец, не то голштинiec, но немцев во всяком случае будет колоть не хуже, чем другие. Испанец Хопрас презирал все существующие на свете ремесла, кроме боя быков и войны. Для боя быков он оказался непригодным, вследствие природной тучности и неповоротливости, а посему, ограбив саламанкского ювелира, остановился в выборе дальнейших занятий на иностранном легионе. Эти и им подобные воины русских звали «гуар», что по словарю Макарова означает, кроме «груши», «простофилю», и проделывали над ними различные эксперименты, пользуясь своей старой штатской практикой. Побывав в боях и просидев год в окопах, русские тихонечко попросили начальство перевести их в самый обыкновенный французский полк. Эта просьба показалась более чем

подозрительной, и решено было, для оздоровления от причуд, десяток русских расстрелять. Когда же перед смертью преступники стали кричать «вив ля Франс!», то всем стало ясно, что это дерзкий мятеж, и нерасстрелянных спешно отослали в Африку. Среди них был и Алексей Спиридонович. В Африке он исправлял дороги, чистил чьи-то сапоги, ловил негров, умирал арабов и, проделывая все это, томился над загадкой — где же жертвенность, Христос и святая Софья?

Недели три тому назад его послали с другими умирять негров. Один черный, молоденький, совсем как Айша, кинулся на него с копьем. Он выстрелил. Кажется, убил. Потом лихорадка — он ничего больше не помнит.

Услыхав об убитом негре, Айша начал визжать, прыгать и плакать: «Это Аглах, брат Айши!» Алексей Спиридонович тоже расплакался, ища у Хуренито помощи. «Скажи же мне, как это? Я хотел спасти Россию, человечество, отдать себя на муки, защитить Христа и вместо этого убил какого-то негра! За что? Я человек! Во мне божественное начало! Как же я пал так глубоко?» Но Учитель не хотел верить ни в жертвы, ни в Христа, ни в божественное начало. Он мрачно сказал: «Ты жалкий раб мистера Куля, а мистер Куль раб своей синей книжки. Книжка знает, зачем надо было убить непослушного негра. Пора тебе метафизику заменить начальной арифметикой. Проще и вернее».

Айшу он успокоил, нежно глядя его по курчавой голове: «Алексей Спиридонович не виноват. У него тоже был добрый капрал. Он хотел поставить на крышу Ай-Софии, — это дом такой, — маленький крестик. А капрал сказал: «Стреляй в Аглах!» У тебя рука «Ультима» и диплом, а у него ничего нет, и он плачет». После этих слов Айша куда-то исчез и вернулся с большой трубкой, выдолбленной из плода калабаша. Он дал ее Алексею Спиридоновичу: «Айша хотел тебе дать руку, но у тебя есть две, тебе некуда ее повесить. Это очень хорошая трубка. Айша сделал. Айша тебя любит!»

Алексей Спиридонович поправлялся медленно. Лихорадка осложнилась заболеванием печени, и Хуренито начал хлопотать о его полном увольнении. Через две недели, благодаря стараниям Хуренито, на одном пароходе с нами, Алексей Спиридонович был отправлен в госпиталь Тулона и там признан для дальнейшей службы негодным.

папа благословляет жбд.—  
фра Джузеппо

Большие разочарования ожидали мистера Куля при нашем возвращении в Европу. Его хозяйство, без любящего ока хозяина, пришло в запустение. Почти все военные заказы были перехвачены, и германские подводные лодки потопили четыре корабля с ценнейшим грузом. Какой-то француз выдумал веночки с ленточками вместо кокард, более дешевые и эффектные. Наконец, рьяные миссионеры мистера Куля с помощью властей закрыли одиннадцать публичных домов, принадлежавших ему же. «Идиоты,— с негодованием восклицал он,— они не поняли, что мои дома — это очаги нравственности, что оба предприятия не могут жить одно без другого!» Все эти несчастья произвели такое впечатление на мистера Куля, что из неистового патриота он сразу превратился в энергичного и последовательного сторонника мира. «Война портит нравы и разрушает народное хозяйство», — сказал он нам. Мы охотно с ним согласились. Алексей Спиридонович, после своих сенегальских подвигов, не мог слышать слова «победа», купил книжки Толстого и собирался стать вегетарианцем. Бедному, осиротевшему Айше тоже перестали нравиться «добрые капралы». Я же, по слабости своего характера, всегда предпочитал платоническое разрушение в стихах или в пламенных «ротондовских» беседах образцовому хозяйству мистера Куля. Итак, все четверо мы были за мир, о чем немедленно сообщили Учителю.

Хуренито, прежде всего, очень весело и чистосердечно расмеялся.

«Наивные ребята, вы думаете, что так легко кончить войну? Этого никто не может, даже те, кто ее начали: дипломаты, политики, заводчики, императоры, проходимцы, народы — никто! Мне тоже война не слишком нравится. Вначале были безумие, звериная ярость, прыжки, рев, неожиданная фамильярность смерти, крах всех земных благ — словом, прекрасный переполох. Теперь обжились, Ничего, что «смертники» — пока

что сдобные булочки. Быт! Верьте мне,— легче опрокинуть Германскую империю, легче отправить на тот свет пятнадцать миллионов людей, легче переkreить все школьные карты, нежели проветрить насиженную, загаженную, облюбованную конуру человечества. Не люди приспособились к войне, война приспособилась к людям. Из урагана она превратилась в сквозняк. Простуживаются, но все же кое-как живут. Зато уничтожить эту приспособившуюся войну нельзя. Она — медленный, осторожный микроб, но дело свое знает. Война эта на десятки, а может быть, и на сотню лет. Не смейтесь,— в промежутках будут мирные договоры и вообще всяческая буколика. Она будет менять свои формы, как ручей, порой скрываться под землей и напоминать до отвратительности трогательный мир. Больной пойдет в садик поливать резеду, пока его не скрутит новый приступ возвратного тифа. Война не будет войной, она умело рассосется по сердцам; ограда города, забор дома, порог комнаты станут фронтами. Начатая в припадке апоплексии от избытка неразумных сил, от несправедливого, хищного, краденого богатства — она кончится только когда разрушит то, во имя чего началась: лицемерную культуру и левиафана — государство!»

«При всех ваших практических способностях,— возразил мистер Куль,— вы всегда грешили склонностью к утопиям. Зачем говорить о том, что будет после нашей смерти? Давайте подумаем, как добиться хоть какого-нибудь захудалого мира. Если начавшие войну не могут ее кончить, то есть другие силы». — «Какие?» — «Прежде всего религиозные организации, хотя бы, несмотря на все его недостатки, Рим. Потом убежденные пацифисты, устраивавшие съезды и конференции. Наконец эти... (мистер Куль запнулся и долго не мог выговорить страшного слова) социалисты! Хотя они люди безнравственные и покушаются на все святое, но в данном случае они могут пригодиться».

«Ваши надежды неосновательны, мистер Куль. Как вам известно, христиане, к которым, если память мне не изменяет, принадлежите и вы, продолжают работать над различными хозяйствами, подобными вашему, увы, столь жестоко пострадавшему. Пацифисты действительно о мире говорят задушевно и трогательно, не хуже Алексея Спиридоновича, но, когда ими командуют «добрые капралы», они пропарывают животы



других пацифистов со всем рвением нашего миролюбивого Айши. Что касается социалистов, то их роль во время войны сильно напоминает недавнее, кстати сказать, очень почтенное, занятие дорогого Эренбурга, который отрывал билетки в вашем заведении и под звуки польки плакал над своей доисторической девственностью».

Мистер Куль, а за ним и Алексей Спиридонович пробовали спорить. Как это ни странно, оба они, до недавнего времени видевшие вокруг себя лишь патриотический пыл и жажду победы, после своих личных невзгод, сразу заметили нечто противоположное и уверяли Хуренито, что народы требуют мира. «Недостает лишь объединяющего центра. Мы должны его найти!»

Тогда Учитель сказал, что он не верит в целесообразность таких розысков, но всегда рад способствовать нашему просвещению и предлагает для проверки совершить ряд экскурсий в Рим, Женеву и Гаагу, тем более что эти поездки ему будут также полезны для изучения дальнейших фаз заболевания человечества.

Решение принято — мы едем в Рим. Мистер Куль не очень одобряет католиков: вместо нравственности — фантастические истории, зато он верит в силу церкви. «И все-таки они христиане». Он берет с собой новый пулемет системы ЖБД, изготовленный по чертежам Учителя: пусть папа поглядит на это орудие ада и ужаснется. (Кроме того, откровенно говоря, хорошо бы предложить это новое вооружение военному министру Италии.) Алексей Спиридонович готовит речь, для чего немилосердно черкает сочинения Соловьева и Достоевского. Айша интересуется самым существом вопроса: «Что это папа?» — «Наместник Христа». — «А что это наместник? Хорошо. Айша понял. А Христос что любит — войну или мир? Тогда и наместник любит мир!» И, утомленный столь сложными размышлениями, Айша больше ни о чем не думает. Он прыгает по купе и кричит: «Будет мир, мир, мир!» Хорошо, что нет посторонних. За это слово, теперь самое непристойное и преступное из всех человеческих слов, нам бы пришлось поплатиться. А Учитель не готовит речей, не спорит, не слушает, он снова занимается своими скучными цифрами — экономическое состояние, падение производства, неизбежный кризис, — и, на минуту отрываясь от серых столбцов газеты или от исписанного листка бумаги, чуть заметно улыбается,

Рим мы нашли после трех лет разлуки внешне мало изменившимся. Еще откровенней нищета Транстевере, еще нелепее крикливые флаги на встревоженных руинах — разница лишь количественная. Не теряя зря времени, мы сразу начали добиваться аудиенции у святого отца, но это оказалось делом чрезвычайно сложным. Учитель уже хотел прибегнуть к испытанным аршинным паспортам с красными печатями, но я запротестовал, вспомнив потерю дара речи и глубоко невыразительное «мерси». «Вы сможете лицезреть святого отца на пасху», — презрительно ответило нам важное духовное лицо. «Но я занят! — воскликнул мистер Куль. — Я не могу ждать, у меня три оружейных завода!» — «О, в таком случае вы увидите святого отца завтра же! Я не знал, с кем имею честь говорить!»

На следующее утро мы вошли в зал для приемов. По приказанию мистера Куля и несмотря на протесты швейцаров Айша храбро вкатил вслед за нами пулемет. Некто гаркнул: «Синьор Куль, владелец оружейных заводов и его компаньоны!» Мы увидали на высоком кресле очень милого морщинистого старичка, который проникновенным голосом сказал: «Мы благословляем ваш полезный труд. Мы желаем вам заслуженного вашим рвением успеха и просим не забывать о святой церкви, а также о сиротах». Сказав это, старичок ткнул туфлей по очереди в лицо каждого из нас (догадавшись, в чем дело, мы все туфлю поцеловали), а потом, очевидно по расseyанности, и в задранный нос пулемета ЖБД. Закончив обряд, мы хотели приступить к беседе, но были очень быстро и ловко, с помощью тех же швейцаров, переведены в соседний зал, где увидали уже не папу, но кардинала, объяснившего нам: «Со святым отцом нельзя говорить. Святой отец не говорит, но изрекает. Я же смогу ответить вам на все интересующие вас вопросы». Мы заинтересовались, главным образом, деятельностью святого престола в годы войны. Она оказалась крайне обширной. В канцелярии работали сотни переводчиков. Для экономии времени различные пожелания, благословения и молитвы переводились и рассылались одновременно во все воюющие государства. Представителям церкви давались инструкции, как, например, служить благодарственные молебны после побед, причем на одних листках вписывалось: «Расходясь, толпа восклицает «Вив дие! Вив Жоффри!»», а на других — «Гох готт! Гох Гинденбург!» и так далее. На случай окончательной победы или

поражения рекомендуется объяснять первое — благословением господина и молитвами «единой апостольской», второе — божьей карой за недостаточное к «единой апостольской» рвение. Повсюду католики должны поддерживать войну до победного конца. Работа очень сложная, но благодарная: дни испытаний, религиозное возрождение. «Война прекрасная вещь, надо только уметь ее понимать!»

«Но ведь сказано — не убий!» — застонал Алексей Спиридонович.

«Конечно, сын мой, и эта заповедь никем не может быть упразднена. Но Писание — священная книга, ее надо уметь понимать. Сердобольная церковь избавила от непосильного дела вас и других пасомых, взяв весь труд понимания и толкования божественной истины на свои подвижнические плечи».

«Но разве можно по-разному понимать «не убий»? — Алексей Спиридонович не хотел унывать, я же, вспомнив крах лаварданской миссии и зная, к каким неприятным последствиям приводит страсть к толкованию вещей возвышенных, дергал его за рукав и наконец оттащил в сторону.

Мистер Куль оказался лучшим дипломатом, а именно — воздав всяческие хвалы деятельности святого престола и самого кардинала, он скромно спросил, что мы можем сделать: один истинный католик, один протестант, один православный, один идолопоклонник и один иудей (но очень приличный, так что это почти не чувствуется) для водворения мира, чаемого всем человечеством?»

«Я также жажду мира, — ответил кардинал, — и я молюсь о нем утром, днем, вечером, даже ночью. Пока что я посоветовал бы вам, если ваши дела на родине идут плохо, а об этом я сужу по тому, что вы так хотите мира, подарить эту милую вещицу, то есть это адское орудие, моему другу, епископу Вены, который известен своей страстью, впрочем, вполне невинной, к коллекционированию неизвестных моделей подобных безделушек. Конечно, этот подарок даст вам возможность недурно устроиться и в спокойствии молиться о водворении общего мира!»

Но мистер Куль был, как видно из предыдущих глав, человеком идеи и поэтому вежливо отклонил заманчивое предложение. Тогда кардинал предложил нам стать коммивояжерами святого престола, поставляя в союзные страны различные полезные изделия. Хотя это не приближало мира, мистер Куль,

любя сие дело с детства, не отказался, и кардинал отослал нас к какому-то монаху доминиканцу, брату Джузеппо, который заведовал сбытом указанных изделий.

Пройдя ряд комнат и коридоров, мы вошли в большой зал, напоминавший универсальный магазин. Кроме книг, брошюр, гравюр и открытых писем, мы увидели много занятных вещей. В одном углу висели различные крестики, ладанки, медали, предохраняющие солдат от смерти или ранений. Об этом свидетельствовали многочисленные благодарственные отзывы испытывавших на себе спасительные свойства изделий, собранные в довольно пухлую брошюру. В другом углу было все необходимое для военных священников: оборудованные по последнему слову техники передвижные часовни, портативные алтари и даже пояснительные рисунки для совершения различных церемоний, как-то: окропления святой водой батарей, благословения летчиков, направляющихся скидывать бомбы, и тому подобное. В третьем — находились экс-вото, то есть различные подарки, преподносимые святой Марии, а также некоторым, наиболее чтимым святым после удачной атаки. Для оставшихся невредимыми — игрушечные солдаты в разных формах, для раненых, но выздоровевших — восковые руки и ноги на ниточке, для спасшихся от мин пассажиров — очаровательные модели суден, наконец, для правительств, выигравших войну, — прекрасные рельефные карты Европы, с различными, предусмотрительно заготовленными границами.

Мы с любовью разглядывали все эти приспособления, явно опровергающие злостные рассуждения нечестивцев, утверждающих, что церковь окаменела и больше не проявляет признаков жизни. Мы даже не заметили, как в зал вошел тот, кого мы ждали, а именно фра Джузеппо, и вздрогнули от страшного крика: «Синьор! дорогой синьор!» Мы испуганно оглянулись, и древние стены Ватикана вновь увидели столь подобающие им сцены нежных, бесхитростных, братских лобзаний. Фра Джузеппо оказался не кем иным, как нашим веселым Эрколе. Он был в рясе, повязан веревкой, держал кипарисовые четки, а на его голове блистала безупречная тонзура.

«Друг мой, ты презрел греховную жизнь и занялся спасением своей души?» — торжественно спросил мистер Куль.

«Как бы не так! — И, невзирая на древность и святость мраморных плит, Эрколе, вспомнив виа Паскудини, презри-

тельно сплюнул. — Ничего не поделаешь — война!» Так как нам было доподлинно известно, что нигде еще не объявлена мобилизация для пополнения монастырей, мы не поняли связи между войной с Австрией и костюмом нашего приятеля. Но для Эрколе эта связь была настолько очевидной, что он даже не попытался разъяснить ее нам. Вместо этого он начал упрашивать Учителя взять его снова в качестве чичероне и увезти в какую-нибудь страну, так как от окружающей святости он стал мрачен, зол и сух, как английские ослы, которые больше, увы! в Рим не ездят.

Учитель решительно попросил его раньше всего удовлетворить наше законное любопытство и объяснить все, то есть главным образом тонзуру. Эрколе оглянулся по сторонам, нет ли кого-нибудь, а потом провел нас в соседнюю комнатку, вероятно грязную. Мы сели на кровать, имевшую цвет и форму дорогой сердцу Бамбучи мостовой виа Паскудини, и начали пить принесенное Эрколе вино с вполне подходящим названием «лакрима-кристи». Пока мы пили, Эрколе рассказывал, то есть предпочтительно восклицал, ругался и клялся, что он не врёт. Сначала, когда он приехал, было очень весело. Все хотели войны, ходили по улицам с флагами, пели, кричали «Эвивива!». Разбили даже магазин негодяя австрийца, и Бамбучи достались два подсвечника и бронзовая ящерица. Потом войну объявили, и Бамбучи призвали. Это тоже было неплохо. Одна красивая дама дала ему букет цветов и десять сольди. Он заходил во все тратории и пил даром вино. А потом?.. Потом! Какое безобразие! Его надули! Сто тысяч чертей! Какая же это война? Это бойня! Не то чтобы он стрелял, в него стреляли, и еще как! Эрколе не такой идиот, чтобы сидеть и ждать, пока его убьют! Он видел раненых! Да! И убитых! Своими глазами видел!

От воспоминаний таких ужасов Эрколе ослаб, замолк, выпил два стакана вина и тогда только стал продолжать свою трагическую эпопею. Он решил убежать, то есть, нет, вовсе не убежать, а просто уйти домой на виа Паскудини. Его схватили, как будто он кого-нибудь убил, продержали три месяца в тюрьме и снова послали на то же проклятое место. Эрколе понял — надо схитрить, но как? Он попробовал посоветоваться с товарищами. Болваны! Ослы! Они предлагали черт знает что, — например, прострелить свою собственную руку. Вы слы-

шите, — руку не австрийца, не генерала, а свою! Как будто у него сто рук! Остолопы! Нет, он придумал получше. Он стал на склоне невысокого холмика и, когда раздался выстрел, съехал на своем собственном вниз, лег, начал что есть духу вопить: «Умираю! Священника!» Его подняли, отнесли в лазарет. Доктор: «Что с вами?» — «Меня задела пуля, и я скатился в бездну». — «Какая пуля, никаких следов нет!» — «Еще бы, вы хотели бы, чтобы следы были, чтобы я умер? Говорю вам — пуля, она меня задела и повалила вниз, а сама улетела дальше. Подняли меня — а я не могу ходить — хромаю». Я даже попробовал захромать на обе ноги, но из этого ничего не вышло. Доктор, хотя вообще кровопийца, он хотел моей смерти, был ничего себе, не придирался, заявил, что у меня контузия. Честное слово! И дали мне отпуск — три месяца. Ну, я не такой дурак, чтобы второй раз лезть в эту крысоловку.

Приехал в Рим, и что же! Во-первых, всюду душегубы спрашивают документы, во-вторых, ни одного английского осла и можно безо всякой пули благополучно сдохнуть с голоду. Надо устраиваться. Он мог, конечно, стать редактором газеты. Это ему сказал один почтенный господин, когда он рассказывал в остерии, каким он был героем и как все должны идти добровольцами на фронт. Потому что Эрколе не изменник, не австрийское отродье, нет, он честный патриот! И теперь тоже! «Эввива Италия!» Но редактор должен уметь писать и вообще знать всякие фокусы. Не подходит!

Возле Рима он встретился с монахом, который, влюбившись в какую-то ужасно богатую синьорину, решил с ней бежать. Дело сделано. Монах — солдат Бамбучи в законном отпуску, Эрколе — фра Джузеппо, странствующий монах доминиканского ордена. Великолешно, но кушать даже в рясе надо. Он попробовал собирать на украшение храмов в Святой земле. Безбожники, скупцы, чтобы их черти кипятили в тухлом масле! За день он не мог набрать на литр вина! И эти цены!..

Тогда он снял с себя образок и продал его одному солдату за две лиры, как спасающий от пуль. На лиру купил еще три образка, и дело пошло. Он становился у вокзала и кричал: «Внимание! Дорогие защитники отечества! Знаете ли вы, что такое пуля? Она ревет, свистит, гремит, потом впивается в тело, разрывает внутренности, пробивает сердце, печень и пуп!

Но есть верное средство — образок с изображением святой Екатерины Сиенской! Наденьте его на грудь, и никакая пуля не тронет вас! Ударившись об образок, она полетит назад к проклятым австрийцам! Глядите, вот образок со следом неповрежденной ему пули. Триста благодарственных писем лежат у меня в келье! Спешите! Это последние образки, освященные самим епископом! Простые же не стоят ни одного сольди! Скорей! Лира! Одна лира!» И все покупали.

На Эрколе обратил благосклонное внимание проезжавший как-то мимо вокзала настоятель Сан-Джиованни и послал его к епископу, а тот, в свою очередь, к кардиналу. Его таланты оценили и поручили ему заведовать этой лавочкой в Ватикане. Вот и все. Да, он забыл самое важное — тонзуру. Это было чертовски трудно. К цирюльнику зайти он боялся и, купив за десять сольди на базаре старую бритву, должен был сам скрести макушку. Отвратительное занятие! И вообще он недоволен. Как только кто-нибудь приходит в магазин, он должен перебирать четки и бормотать под нос, как будто повторяет молитву. Лежать нельзя, плевать можно тоже в исключительных случаях. Это не жизнь, а поганая схи́ма! К черту! «Скажите, синьор Хуренито, а вы теперь не собираетесь устроить какую-нибудь маленькую революцию? Все-таки это гораздо веселее, чем воевать или перебирать паскудные четки!»

«Наоборот,— ответил Учитель,— мы до крайности мирно настроены, даже приехали сюда, чтобы искать мира».

«Ну, это все равно,— закричал Эрколе,— если не революция, то по крайней мере мир, и снова виа Паскудини! Я с вами!»

Он скинул рясу, и мы глубоко удивились, увидав воочию, сколь сильны традиции в этом народе. Он сохранил наслоения различных эпох, то есть первичные тряпки, заменявшие ему в счастливые дни рубашку, полосатые кальсоны, подаренные Учителем, и военную куртку форменного покроя.

Мы доставили несколько минут радости засыпающим от скуки часовым, которых уже перестали смешить свои собственные мундиры, когда выходили из вековых ворот Ватикана, без мира, но с обретенным вновь Эрколе, в его эклектическом костюме и с сохранным пулеметом, выволакиваемым Айшой.

В тот же вечер мы выехали в Париж.

# 1713 правил гуманного убоя.— мы тонем.— необыкновенное устройство социалистической гостиницы «патрия»

Поездка в Рим и патетическое описание войны, сделанное Эрколе, еще более укрепили нас в наших миролюбивых намерениях. Особенно остро проявлялась жажда мира у Алексея Спиридоновича. Прочитав в десятый раз «Преступление и наказание» и вспомнив своего негртенка, он твердо решил пострадать, чтобы искупить вину. Пример Раскольникова указывал путь, и в одно утро Алексей Спиридонович, выйдя на площадь Опера, упал на тротуар возле входа в метро и закричал: «Вяжите меня! Судите меня! Я убил человека!» Быстро подбежавший полицейский спросил, где совершено преступление. Когда Алексей Спиридонович объяснил, что он убил негра во время восстания, полицейский, вместо того чтобы его связать, стал сразу приветлив, поднял его, хлопнул дружески по плечу и сказал: «Вы молодец и храбрый солдат, только не следует с утра много пить!» Так неудачно кончилась попытка нашего друга пойти по стопам героев русской литературы.

На церковь надежд мы больше не возлагали и решили направиться в Гаагу в комитет «Международного Общества друзей и поклонников мира».

Попавши в нейтральную страну, мы сразу почувствовали резкую перемену. Все, включая разноплеменных дезертиров, говорили о мире с большой нежностью, гордясь тем, что они не участвуют в варварской бойне, но, между прочим, ужасно боялись, что война может скоро кончиться, так как поставляли различные вещи, часто весьма непацифистские, воюющим державам. Несмотря на недостаточное знание голландского языка, мы легко их понимали, так как подобное миролюбие вдохновляло и мистера Куля до поездки в Сенегал.



Освоившись несколько с нейтральной психологией, мы отправились во «Дворец мира». К величайшему нашему удивлению, мы застали там очень интеллигентных людей, разглядывавших штывки различных образцов. Я настолько испугался, что подумал, не попали ли мы, по незнанию языка, вместо «Дворца мира» в военное министерство. Но интеллигентные господа, прекрасно изъяснявшиеся на многих языках, успокоили нас, объяснив, что исследуют штывки всех армий, нет ли среди них противных правил, выработанным, если я не ошибаюсь, в 1886 году. Засим мы узнали много занимательного: война была совсем не тем диким убийством, которым она казалась нам, но чем-то весьма облагороженным 1713 параграфами правил о гуманных способах убоя людей. «Поймите, я убил человека!» — рычал Алексей Спиридонович. «Чем?» — «То есть как это — чем? Выстрелил и убил!» — «Пуля какая?» — «Обыкновенная!» — «Если пуля не дум-дум, то вы постушили, не нарушая правил гуманности».

Мы решили, что это простые члены общества, и прошли на заседание комитета. В уютных креслах сидели шесть старичков и сосали сигары. «Мы все очень, очень любим мир, — сказал нам самый старенький, — но что делать, нас шестеро в комитете и еще семеро в обществе... Все мы граждане нейтральных стран и люди непризывного возраста. А другие почему-то очень, очень любят войну. Плохой мир лучше хорошей войны, а хорошая война лучше плохой войны. Поэтому мы отсюда и следим, чтобы все убивали друг друга честно, по-хорошему».

Мы все же спросили у старичка, не может ли он нам посоветовать предпринять что-либо для замирения Европы. «Вы можете стать действительными членами «Общества друзей и поклонников мира», тогда у нас будет девятнадцать членов. Мы вам дадим интересную и важную работу. Как вам известно, теперь на войне употребляются газы, не предусмотренные ни одним из 1713 параграфов. Отрицать их вообще значит проявить догматизм и реакционность. Вы сможете их исследовать и классифицировать. Тогда на будущей конференции, после окончания войны, можно будет вынести постановление, ограничивающее применение газов, наиболее неприятных для задыхающегося человека».

Мы обещали записаться в члены общества, но от обследования газов отказались, мотивируя это нашим стремлением

активно добиваться водворения мира. «Видите ли, — сказал другой старичок, — я тоже могу предложить вам работу, но позвольте раньше осведомиться, какого именно мира вы хотите?» — «Как какого?» — «Простите, но просто мира я не знаю, у нас есть газета, проповедующая английский мир, и другая, отстаивающая германский мир. Вы можете выбрать любую, так как обе хорошо платят, и в солидной нейтральной валюте!» Опять не подходит. Мы стали прощаться. Все старички, кроме бодрствовавшего председателя, успели задремать и со сна шептали: «Долой войну! Еще Берта Зутнер говорила... Ну, как же так можно?.. Спокойной ночи!..»

У ворот дворца, видя наши разочарованные лица, к нам подошел очень симпатичный скандинав и сказал: «Не унывайте! старайтесь, молодые люди! Пишите романы против войны, и, может быть, вы получите в тысяча девятьсот тридцатом году премию Нобеля, или займитесь пока контрабандным сбытом сыра в Германию». Среди всеобщего озверения эти нейтральные сердца сохраняли истинное человеколюбие!

Мы уехали из Голландии с бутылочкой отменного «адвоката», с трогательными воспоминаниями, но все же без мира, и наша тоска была столь остра, что, казалось, судьба имела кое-какие филантропические намерения ее пресечь. При переезде из Флиссенгена в Гуль, небольшой пароходик «Аннибал» был потоплен подводной лодкой, и мы в течение суток валандались по открытому морю в маленькой шлюпке. В эти торжественные часы все были убеждены в близкой смерти, и каждый это выражал на свой лад. Только Учитель был спокоен, я сказал бы, даже будничен. Он заботился о нас, шутил с Айшой и рассказывал, как ребенком вздумал переплыть в пивной бочке Атлантический океан, но был, увы! выброшен через несколько минут волнами на берег. Я спросил его — неужели он совсем не воспринимает неизбежной, по-видимому, смерти? Учитель пожал плечами: «Привычка! Я и на земле не чувствую себя уверенным. Мой «Аннибал» давно потоплен...»

Мистер Куль с помощью ручки «ваттерман», вырвав из чужой книжки листок, написал завещание. Он оставлял все свои капиталы «Обществу миссионеров». Потом, вспомнив папу, приписал: выдать по одному доллару всем сиротам солдат, погибших от стрел, изготовленных фирмой «Куль и К<sup>о</sup>». Кончив писать, он положил записку в бутылку из-под «адвоката»,

случайно уцелевшую в кармане Айши (ликер мы предварительно выпили), и кинул в воду. Засим, просветленный и верный установившимся среди американских миллиардеров традициям, страшно фальшивя, он стал петь псалом «Ближе к тебе, господи!..». Айша, вначале испугавшись, плакал, но Учитель успокоил, даже развеселил его; шаял, он незаметно уснул, положив голову на колени Хуренито.

Легко понять, что делал Алексей Спиридонович, — он рассказывал свою жизнь, требуя, чтобы все его особенно внимательно слушали, это ведь предсмертная исповедь. Рассказав все наиболее интересные места, даже повторив их два раза, он приветствовал смерть: «О дочь легчайшая эфира!» А потом, хныча, начал отчаянно глядеть в пустынное море — не покажется ли откуда-нибудь спасительное суденышко.

Эрколе ругал Учителя, всех нас, мадонну, немцев, англичан, войну, мир и море всеми известными ему ругательствами. Как? Проклять! Он мог бы теперь бормотать свои «аве Мария» или пить лакрима, и вместо этого — смерть! Стоило падать с диких высот! Предатели!..

Мерная зыбь немного укачивала меня, и я клевал носом. Я видел самые разнообразные вещи. Мне восемь лет, я избиваю живым котом, накрутив его хвост на руку, сестер. С трудом меня обезоруживают и запирают в сарай. Там — уголь, я раздеваюсь, катаюсь в черной пыли и, когда дверь наконец открывают, выскакиваю, пугаю нянюшку Веру Платоновну, которая, присев на корточки, в ужасе крестится, вбегаю в столовую и бросаю на пол горящую лампу. Вероятно, потушили. Жаль! Мне пятнадцать лет. Я — революционер. Митинг на фабрике красок Фарбэ в Замоскворечье. Полиция. Я бегу. Перелезаю через забор с колючками и оставляю на колючках штаны. Бух — упал в бочку с остатками красок! Городовые не хватают меня, а, как Вера Платоновна, шарахаются... «Тьфу, черт, как есть черт!..»

Давние картины проходили у меня перед глазами. Я искал смысла, точки опоры, но ее не было. Потом образы исчезли, и пошли одни лишь глаголы: сосал, пицал, бил, учился, молился, целовался, шлялся, пил, скулил, писал, жевал! От них еще сильнее качало. Вдруг я понял, что весь смысл в этой качке, в бесцельном движении, кружении, смене. Я встал, завопил «благословляю жизнь!» и начал блевать.

Вечером английская рыбацья шкуна заметила нас и подобрала, а два дня спустя мы обедали в парижском ресторане. Отдохнувши от пережитого, мы снова взялись за различные склонения слова «мир» и, после аббатов и пацифистов, решили прибегнуть к содействию людей темных, подозрительных, а именно социалистов. Для этого мы направились в Женеву.

Я видал на своем веку немало различных способов расселения людей и архитектурных причуд: небоскребы, подвалы Реймса в дни войны, датские паромы-салоны, парижские писсуары, проект памятника Татлина Третьему Интернационалу, но все это бледнеет перед своеобразным остроумием гостиницы «Патрия», специально оборудованной для социалистических делегаций. Мы шли туда с большим волнением. Мистер Куль, зачинщик нашей поездки, не мог скрыть страха. Он оделся как можно проще, а под рабочую блузу нацепил металлический панцирь от пуль. «Ведь как-никак, а это злоумышленники», — оправдывался он. Кроме того, Айша, по его приказанию, должен был нести огромный красный флаг. Так вошли мы в обширный двор «Патрии» (были два подъезда, но в них нас не впустили, требуя рекомендательных писем от министров). Мистер Куль зашел «Интернационал». Но его голос терялся среди десятков других, справа певших «Дейчланд юбер аллес» и слева отвечавших «Руль, Британия».

Высились два больших корпуса, один был украшен флагами союзных держав, другой германскими. Между ними были рвы, насыпи и проволочные заграждения, более сложные, нежели те, что я видел на фронте. В середине возвышался открытый павильон, где сидел престарелый социал-демократ из нейтральной страны, обложенный протестами и резолюциями. Видя наше беспомощное положение, он нас приветливо подозвал к себе. «Скажите, а здесь много этих злоумышленников, то есть, простите, революционеров?» — спросил мистер Куль. «В настоящее время в «Патрии» четыре министра, одиннадцать товарищей министров и девять заведующих отделами государственной пропаганды...» Мистер Куль прервал его, испуганно закричав Айше: «Разорви флаг, да скорее!» Далее старичок объяснил нам хитроумное устройство «Патрии». В двух корпусах помещаются делегации двух коалиций: чтобы не скомпрометировать себя, они не только не встречаются, но и не переписываются между собой, так как все они хорошие, честные патриоты. Но, будучи социалистами и членами Интернационала,

они стремятся обеспечить после окончания войны возобновление товарищеских взаимоотношений. Для этого в окна корпусов выставляются плакаты с резолюциями, протестами и опровержениями. Против этого никто возразить не может, ведь каждый волен в своей квартире делать, что он хочет. В павильоне помещаются представители нейтральных стран, которые переговариваются с враждующими окнами.

Все это было несколько сложно, но воистину гениально. Мы решили приступить к делу, и мистер Куль закричал: «Преступники, то есть министры, то есть товарищи, являетесь ли вы противниками войны?» Немедленно появились два плаката. Один гласил: «Да, и мы боремся против империализма союзников и их сообщников, лжесоциалистов, начавших преступную войну!» Второй: «Конечно! Долой германский империализм и его прислужников псевдосоциалистов, виновников позорной бойни!» Эти слишком сходные ответы вызвали во мне подозрение — не сносятся ли противники меж собой с помощью подземных ходов? Но нейтральный социал-демократ успокоил меня, объяснив близость врагов духовным родством и товарищеской солидарностью.

Тогда Алексей Спиридонович спросил: «Собираетесь ли вы протестовать против войны?» Плакаты ответили, что запросят по этому поводу соответствующие правительства, и через час мы прочли: «Позор поджигателям Реймского собора! Мы протестуем перед всем цивилизованным миром против германских приемов ведения войны!», «Ужасы казаков и негров вопиют к небу! Долой поругателей культуры — союзников!»

«Что нам делать для приближения мира?» — спросили мы. «Установите республику в России, в Италии, в Ирландии!» — ответили немцы. «Установите республику в Германии, в Австрии, в Турции. Докажите нейтральным рабочим необходимость присоединиться к нам», — советовали союзники.

Эрколе завопил: «Жулики! Мы за мир!» — и пустил для эффекта шутиху. Раздались испуганные возгласы «это бомба!», и тотчас показались, умилительно согласные, два плаката: «Не забывайте, что мы — социалисты! Займитесь отделкой зала в хорошей гостинице, где мы все соберемся после войны. Украсьте стены красными знаменами. Пожалуйста, не кидайте в нас бомб! Да здравствует Интер... Вы поняли?» Вскоре пришли полицейские и попросили нас не тревожить почтенных революционеров.

Оставив во дворе обрывки флага, так и не отыскавши мира, мы с горя пошли в пивную. «Удивительно приятные люди эти социалисты, притом воспитанные», — воскликнул мистер Куль и скинул панцирь, мешавший ему развалиться как следует в кресле.

«Итак, неизлечимость признана всеми, и валериановые капли больше никого не прельщают», — сказал Учитель, — мы можем вернуться домой и заняться нашим добрым, честным хозяйством».

глава двадцатая

## награждение мосье дэле орденом.— учитель о войне.— мы схвачены немцами

В Париже нас ждали различные неприятности. Прежде всего, хозяйка гостиницы, предварительно спросив нас, уж не немцы ли мы, сказала, что нами чрезвычайно интересуется некий мосье, тщательно выясняющий, куда мы ездим столь часто, что едим на завтрак и какого образа мыслей придерживаемся. Хотя наши поездки носили исключительно идиллический характер, нам не слишком понравилась любознательность незнакомца, тем более когда выяснилось, что он «очень почтенный» и с ленточкой в петлице. Впрочем, эти переживания длились недолго, на следующее утро нас вежливо пригласили явиться кое-куда. Там любезный чиновник познакомил нас с весьма поэтическим доносом: «Докладная записка о последних мероприятиях пяти германских шпионов, по донесениям штатного сотрудника «Добровольной лиги для обследования сомнительных поступков». Все было отмечено и достаточно живописно представлено: указанные шпионы занимаются сбытом пулеметов в Германию через Голландию. Они сносились с папой по поводу предложений о сепаратном мире. Потопили пароход, на котором сами ехали, но, разумеется, остались невредимы. Подкупленные германскими социалистами, лакеями Вильгельма, бросили бомбу во французских социалистов, сильно испугав одного из них, товарища министра военного снабжения. Перечислив главные

пункты обвинения, чиновник любезно пояснил, что подобный образ жизни кончается предпочтительно расстрелом. Дальше все пошло обыкновенно. Эрколе выд, мистер Куль пел псалмы и так далее. «Вот идет председатель «Лиги», — сказал чиновник, — он даст последние данные о вашем поведении, а после этого — суд и некоторые другие формальности, но уверяю вас, все будет закончено в двадцать четыре часа!» И так, всего сутки: вой, Эрколе, пойте, мистер Куль! Вот он, страшный Азраил, непостижимый вестник смерти. Но почему же так беспечен Учитель, почему он улыбается, кивает головой и вместо «аве, Цезарь», кричит «бонжур, мосье!»? Я ничего не понимаю. Я боюсь оглянуться, оглядываюсь... «Мосье Дэле, друг, дорогой! Вы живы? А Зизи? А каротелька? Нам суждено увидеть вас перед смертью!..» — «Глупости! Ведь этого негодяя «боша» нет с вами? Ну, конечно! Это мои сотрудники постарались, но вы не беспокойтесь. Господин комендант, это явное недоразумение. Перед вами мои компаньоны по торговому делу. Да, да, ручаюсь! Вы свободны, друзья мои, а теперь в «Шатле» — уж час аперитива!..» Так жалко закончилась еще одна попытка судьбы подменить мир общий, которого мы жаждали, нашим пятидушным.

Кто знает радость встречи после долгой разлуки, очарование неизменившихся привычек, сладость мелких воспоминаний, прелесть забытой близости, тот легко поймет наше состояние за стаканчиками хереса. Дорогой мосье Дэле, он был все тот же, пилюли в кармане, ясность взора, легкость ума. Правда, вместо Зизи, изменившей ему с четырьмя (ну, если б еще с одним!) арабами, в маленьком домике жила Люси; правда, больше не цвел в саду душистый горошек, во имя защиты отечества замененный простым горохом, но все это были лишь мелкие детали. Зато на розовых щечках мосье Дэле теперь минутами ясно горели отсветы вселенских пожаров, и его «порыв», милый, буйный, выпирающий пробку из бутылки, был обращен на священное дело защиты отечества и цивилизации.

Какая прекрасная «Лига»! Еще вчера было отмечено, что некто Крю гуляет — когда бы вы думали? — с двенадцати до двух часов ночи, ест на рассвете, ничем не занимается, носит бороду, бреет усы. И что же, — у него находят немецко-французский словарь, медную солдатскую пуговицу и, наконец (какая наглость!), прямо на столе пачку фотографий различных

укреплений, причем негодяй уверяет, что это снимки с картин какого-то Пикассо, тоже, вероятно, шпиона... Ясно?..

Кроме «Лиги» — бактериологическая лаборатория. Что паспорт? — бумажонка! Мосье Дэле близ площади Бастилии услышал на улице немецкий разговор; пусть его уверяют, что это еврейский жаргон, — он не дурак. А почему на вывеске лавки фамилия Зильберштейн? Не немецкая? Конечно, он человек без предрассудков и в клерикальные басни не верит. Никакого Христа не было, это уже сто раз доказано, так что Христа евреи никак не могли распять. Но ведь Франция — существует, мосье Дэле — факт, и распять его они могут. Оставьте ваш паспорт! Маленький укол мизинца, капля крови — и под микроскоп. Там сразу видно, какая она — честная или прусская. Ученые нашли способ. Мосье Дэле всех разоблачит. На днях генерал подвернулся — и что же?.. Анализ — 0,6 германских микробов! Хорошо его ночью забраться в спальню министра Мальви и тихонько его уколоть, — наверное, немец!..

Третье занятие мосье Дэле — «Национальный союз борьбы с укрывающимися от военной повинности». Удостоверения? Бросьте! «Грыжа»? Покажите, пожалуйста! На войне потеряли глаз? Выньте искусственный! Мосье Дэле не упускает из виду всех подозрительных женщин, которые стригут волосы или говорят баском. Юбка тоже не гарантия. Надо выяснить сущность...

А в свободное время мосье Дэле не отдыхает, нет, он продолжает работать — пишет статьи: «Долой шептунов! Мы взяли домик паромщика на Изере. Португальцы с нами! Сирия неплохо пахнет». Он пишет в десяти газетах: «Утро Понтуаз», «Барабанщик Клермон-Феррана», «Возрождение Байоны» и в других. Он нам верит. Мы хотим мира? Мир будет. Через год, через месяц, возможно даже через неделю, надо только добить этих преступников и проехать в Берлин. Мы должны помочь сему. А для этого лучше всего стать журналистами. Святое дело! Перо — оружие! Когда мы победим, все придет в порядок: садик, Люси. О, как прекрасно французское небо! Еще по одному стакану, и за работу!

Предложение мосье Дэле показалось нам заманчивым. Хозяинство мистера Куля, как я уже сказал, находилось в плачевном состоянии. Учитель верил в великую организующую, а поэтому и разрушительную мощь газетных листов. Алексей Спиридонович, давно не удовлетворяясь нами и случайными



встречами в вагонах, жаждал излить свою душу как-нибудь пошире. Я тоже по своей профессиональной привычке предпочитал нагонять строчки, нежели катать тележки или отрывать пресловутые билетки. Словом, мы сразу согласились.

Америку поделили между собой Учитель и мистер Куль. Первый обслуживал газеты двадцати двух республик Южной и Центральной Америки, второй — ассоциацию прессы Соединенных Штатов, объединяющую восемьсот семнадцать различных газет. Айша от исполнения обязанностей был освобожден, ввиду отсутствия в Сенегале периодической печати. Что касается Эрколе, дело обстояло сложнее: к сожалению, он был неграмотен. Но все мы нашли, что у него удивительно газетный стиль, должный размах и титанический пафос. Решено было, что записывать телеграммы для «Джорнале дель Ареццо» станет Хуренито под диктовку Эрколе. Алексей Спиридонович от телеграмм отказался, так как презирал краткость. Можно ли в одной тысяче слов выразить всю муку, сладость жертвы, ужас греха и веру в третье царствие святого духа? Он предпочел писать длиннейшие письма «За последним рубежом» в газету хотя древнюю, но сохранившую свою девственность, а именно в «Русские ведомости». Я же, как это, может быть, известно некоторым читателям, стал исправным корреспондентом не слишком взыскательной «Биржевки».

Все мы, включая мосье Дэле и при его содействии, выехали на фронт. Сначала мы решили писать только о том, что действительно видим: «Дождь. Один солдат стоит на посту, промок, обругал нас: «Что вы, жабы внуки, здесь зря шляетесь!» Слышно, как стреляют. Два других солдата играют в карты. На станции баба продала нам за десять франков пяток тухлых яиц и спросила, скоро ли будет мир. Настроение у нас приподнятое. Председатель тридцати трех патриотических обществ мосье Дэле в интервью, любезно данном нам за аперитивом, сказал, что Германия будет разбита». В ответ мы получили от редакций телеграммы с предложением — денег на подобные пустяки не тратить и ежедневно описывать дуэли гидропланов с танками, кровопролитные бои под землей, интервью с главнокомандующими, а также три раза в неделю совершать полеты в Египет и отправляться на подводных лодках в Дарданеллы. Что же, мы честно занялись всем вышеперечисленным. Пребывание на фронте становилось бесполезным, даже вредным: чистоту и цельность нашей фантазии засоряла действительность. Все же

Учитель настоял на том, чтобы мы продолжили нашу поездку до передовых позиций. Для прогноза болезни он хотел еще раз подвергнуть анализу кровь, гной и мочу человечества.

Преодолев десятки различных штабов, мы добрались до окрестностей Вердена. Там разыгралась довольно любопытная сцена, впрочем не подходящая ни под одну из указанных редакциями тем и потому не получившая огласки. Возле форта Во, на наблюдательном пункте, мы увидели трех солдат. Они были одеты весьма причудливо: поверх каски — вязаные чепцы, па плечах стеганые одеяла, ноги погружены в большие пузыри, не пропускающие воду, а чепчики, одеяла и пузыри, в свою очередь, покрыты чешуйчатой корой рыжей глины, подобной шкуре слона. К месту, где они стояли, пришлось ползти на животе по развороченному снарядами окопу, погружаясь в жидкую землю, человеческие испражнения и в залежидохлых крыс. Мосье Дэле, вытерев лицо и руки носовым платком, обратился к солдатам со следующим приветствием: «Дорогие пуалю! Европа, Америка, страна Восходящего Солнца и оба полюса смотрят сейчас на вас, на беззаветных героев, ограждающих свободу и право! Сегодня, когда я полз по этим историческим местам, я сам приобщился к вашим мукам и могу теперь, как равный, хоть я и в котелке, приветствовать вас. Мы простои́м, то есть вы простои́те здесь, а мы простои́м у прилавок, у бюро министерств, у стоек баров до того часа, когда изможденный людоед падет. Позвольте преподнести вам скромный дар — мою патристическую статью в последнем номере «Победоносная Гасконь», где я говорю — смелость, смелость и еще раз смелость (это слова моей последней любовницы, то есть еще раньше это сказал, но по другому поводу, Дантон). Будем же тверды до победного конца!»

Право, эта речь была ничуть не хуже многих других, которые мне приходилось слышать на банкетах журналистов, даже выгодно выделялась своей сжатостью и насыщенностью, и только случайностью можно объяснить себе все последовавшее. Один солдат, самый пожилой и смиренный, тихо выругавшись, сказал: «Вы бы лучше сказали, что слышно насчет мира, господин патриот». Мосье Дэле обиженно помолчал, зато обрадовался Алексей Спиридонович. «Брат мой, вы тоже за мир, за любовь! Убийство — грех, и эта винтовка оскверняет руки!..» — «Как бы не так, — запротестовал солдат, — винтовка хорошая

вещица (он даже погладил приклад), только надо уметь с нею обращаться. Вот хорошо бы перестрелять всех генералов, депутатов, военных, штатских, попов, социалистов, дам и вообще всю семейку!..» — «Но кто же тогда останется?» — спросил деловито мистер Куль. На это солдат уже вовсе бессмысленно сказал: «Наплевать», — и действительно сочно плюнул.

Другой солдат, значительно более темпераментный, с виду южанин, счел приличным ответить мосье Дэле целой речью. Приводя точный ее перевод, я прошу простить как ему, так и мне некоторую чрезмерную экспрессивность образов. «Дорогой писака, спасибо за бумагу, защитники права в ней весьма нуждаются. Кроме того, ты можешь, захватив с собой Восходящее Солнце и пять каналов, отправиться немедленно в коровий желудок. Очень приятно, что ты немного выпачкал свою гнусную харю в мое творчество, я ведь тоже творю два раза в день, как ты в твоей редакции. Желаю тебе провести всю жизнь в верблюжьем дерьме! Сто тысяч лысых тыкв! Пуп папессы! Садись в теплые тетушкины штаны, пей липовый чай и чихай кошке под хвост!»

Не успел мосье Дэле опомниться от этого странного приглашения, как третий солдат, молоденький и безусый, с возгласом «подарок за подарок» вытащил из лужи дохлую крысу и вдел ее хвост в петлицу мосье Дэле, где обычно помещалось нечто совсем другое. Хотя мы речей не говорили и никаких подношений не удостоились, увидав энергию солдат, мы быстро уползли восвосяси.

Достигнув мест, во всех отношениях более защищенных, мы начали обсуждать злоключение мосье Дэле. Эрколе все крайне понравилось, и по поводу награждения мосье Дэле своеобразным орденом он с пафосом воскликнул: «Это жест, достойный римлянина!» Алексей Спиридонович хотел «постичь душу» солдат: «Они грубы, озлоблены, но я чувствую, что они преданы миру, как я. Друзья, мы неожиданно встретились с тремя последователями нашего великого Толстого!»

«Твоя наивность, — ответил ему Учитель, — принимает форму святого анекдота. Если в России много дядь, похожих на тебя, то я удивляюсь, как ее не разобрали до последнего камешка все, кто постигать души на каждом шагу не жаждет, а обманывать стремящегося быть обманутым за грех не почитает. Эти солдаты отнюдь не пацифисты. Орден, выданный ими мосье Дэле, они с удовольствием присудили бы и римскому

папе, и гаагским гуманистам, и Ромену Роллану. Два года тому назад они очень хотели убивать, и за это время у них не совесть проснулась, у них отсырел зад. Дай им волю, возможно, что они будут убивать, только совсем не тех, кого им приказано. Возможно даже, что они устроят великолепные каникулы, с кроткими женами под боком и с мирными барашками на лугах. Но придет срок, и они снова начнут постреливать: окопы не школа человеколюбия и не питомник толстошпцов. Взять винтовку довольно легко, обучение несложное, сам знаешь — учили, но выпустить ее из рук невозможно. Можно только поставить на часок-другой в угол. Странный век начинается. В четырнадцатом году, когда они кричали: «Да здравствует война!» — эта война (которая ничего еще — здравствует) была чем-то вне их, историческим фактом, государственным делом, теперь они кричат: «Долой войну», — но она уже проросла корнями в их тела, стала их бытом, этой профессией они не разлюбят. Тебе пришлось научиться различным толкованиям слов «священная война»; теперь постарайся воспринять новый урок: «мир» означает послеобеденный сон антропофагов; дележ добычи громилами на травке, перенесение военных действий в места более привлекательные, например с этих кочек на Унтер-ден-Линден или с Пинских болот на Невский проспект, — словом, все, что угодно, кроме мира!»

Так дошли мы до мест недавних боев меж фортами Дуомои и Во. Кругом была подлинная пустыня. Ни один камень не уцелел, ни одна былинка не укрылась — все обратилось в серую жижу, покрытую — как бы гнойниками — ямами, вырытыми снарядами, с желтой водицей. Впрочем, кое-где торчали человеческие ноги распухших выползающих из-под земли трупов. «Помните, — сказал нам Учитель, — что война дала нам не только хозяйство мистера Куля, но и этот великий апофеоз!»

«Будет мир, — возразил мистер Куль, — мы учредим еще одно акционерное общество и за год, за два разведем здесь такое хозяйство, что никто не поверит бредням уцелевших солдат, видевших эту пустыню».

«Конечно, — сказал Хуренито, — это отнюдь не завершение и не очищение земли. Пока мистер Куль, пока мистеры Кули живы, будут города, притоны, пушки, доллары, святые книжицы, — словом, все, что нужно порядочному человеку, чтобы в двадцать четыре часа загадать любой кусок так называемой «божьей земли». Построят, посеют, зароят мертвых поглубже,

даже репа будет лучше расти. Но глядите! На минуту как бы прорывается пред вами пелена далеких времен. Это — предчувствие, прообраз последней огненной купели!»

На следующий день, несмотря на протесты мосье Дэле, ставшего необычайно осторожным, мы направились снова на позиции, а именно к вышке 384. Когда мы дошли до передовых окопов, германская артиллерия неожиданно открыла ураганный огонь по всей линии. Пробраться в тыл не было никакой возможности. Мы забралась в прекрасно оборудованную землянку и, слушая грохот разрывов, с особенной страстностью начали заниматься излюбленным занятием, то есть всячески проклинать войну. Мосье Дэле как будто наших воззрений не разделял, но он тактично молчал; после того, как Эрколе одобрил поведение невоспитанных солдат, он предпочитал вообще не высказываться, дружески приговаривая: «Главное, друзья мои, терпимость и широта взглядов!»

Но Учитель решительно выступил против нас и начал защищать войну: «Выйдя в дорогу, надо идти. Если очень скверно, ускорить шаг. Но не оглядываться назад, где у печки было тепло, ветер в трубе выл по-диккенсовски, а на столике лежал мармелад со щипчиками. Трусые! Вы не дети своего века, вы кринолинщики, романтики, подавившиеся слюной умиления, мусорщики вчерашнего благополучия! Вы спрашиваете, что хорошего дала война? Она хорошо ударила по башке. Это прежде всего. Потом во все «ключи вдохновения» она подсыпала щепотку стрихнина. Прошлое стало невозможным, и как ни будут стараться люди по воспоминаниям, по выцветшим фотографиям или по шамканью стариков реставрировать свои парфеноны, ничего у них не выйдет, им придется выбирать между Ноевым ковчегом или уборной двадцать первого века. Вам не нравится двадцать первый век? Что же — согласен, он не слишком привлекателен, но, во всяком случае, он будет лучше девятнадцатого, он не станет, как старый ханжа, между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена. И потом впереди — тридцатый, или пятидесятый, или сотый век — век блаженства, и все, что приближает нас хоть на шаг к нему, — благословенно!»

Вы клянете войну, а она даже не шаг, она прыжок в грядущее. Она убила все, во имя чего началась, и родила все, что должна была убить. «Война во имя свободы», и оказывается, что народы созрели для великого, откровенного ярма, она

больше не могла выносить фикции свободы, ее призрачных благ.

«Война возвысит дух, покончит с гнилым материализмом», — истошно вопили философы и просто добрые люди, по полноте тела склонные к мечтательности. Но война велась с помощью вещи, открыла всем ее смысл и мощь. Разрушая тысячи вещей, материей уничтожая материю, люди научились уважать вещь, как таковую, полюбили ее, как не умели любить в счастливейшие дни мира.

Надеясь на то, что пришел их сезон, священные особы всех культов выползли, вытащили давно забытый товар — загробные блага. Но война жестоко надула их. Чем ближе стали люди к уничтожению реальной повседневной жизни, тем сильнее она их к себе притягивала.

Война — это ненависть народа к народу, а между прочим, никакие проповедники братства, никакие книжки писателей, никакие путешествия, никакие переселения народов не могли их так сблизить, спаять, срыть рubeжи, как эти годы в окопах. Опять шутки войны, все вышло шиворот-навыворот. Оказалось, что ненавидят, восторгаются, трусят, колют, терпят в окопах, хрипят, помирая, гниют все — и французы, и немцы, и русские, и англичане — до удивительности одинаково. Посидели рядышком — заметили. Пока один играл на мандолине, а другой ходил на медведя с рогатиной, казалось что-то разное; может, и правда, медведь ближе, роднее, нежели тренькающий мандолинщик. А послали делать одно дело — сразу ясно стало, даже не близнецы, а двойники, разве что у одного бородавка под лопаткой, а другой часто икает.

Дальше: уж кто-кто на войну надеялся, это защитники старой иерархии, божественного разнообразия, неограниченной личности во всех вариантах: император — не поденщик, Ротшильд — не нищий, поэт — не фабрикант туалетной бумаги, философ — не пастух и прочее. Опять разочарование — если снять горностаевые мантии, фраки и воротнички, посадить в этикие землянки, где ни стихов о мадонне, ни туалетной бумаги, ни прагматизма, оказывается, все кошки серы, так что легко спутать. Конечно, есть погоны, штабы, грациозный тыл и прочее. Но здесь важна пока что не суть, а демонстрация. Чего стоят одни торчащие из земли неопознанные трупы. Мосье Дэле, ваши шестнадцать классов мертвецов могут смешаться. Что тогда будет?..

Все это я вижу, и когда вы клянете войну, я ее благословляю, как первый день тифозной горячки, от которой человек либо переродится, либо умрет, очистив землю для нового собачества или для победных легионов крыс, муравьев, инфузорий!»

Это поучение Хулио Хуренито я хорошо запомнил. Мы слушали его с напряженным вниманием, не думая об опасности, грозящей нам. Орудийный грохот, трескотня пулеметов, человеческий рев как будто подтверждали неумолимые слова Учителя, и мне кажется, что, если бы в эти минуты пришла к нам смерть в виде приличного осколка тяжелого снаряда, все мы, даже мосье Дэле и Эрколе, наиболее к жизни привязанные, встретили бы ее с должным спокойствием.

Когда Учитель кончил говорить, все кругом зловеще смолкло. Раздавались только несвязные ружейные выстрелы. Мы решили вылезть и попытаться пробраться назад. Но наверху ждало нас нечто более страшное, нежели все снаряды. Увидев свет, мы замерли: перед нами стояли немецкие солдаты с ручными гранатами. «Кидай!» — закричал один, но другой возразил: «Это, должно быть, важные птицы, сведем их в штаб дивизии, пристрелить всегда успеем!» Убедившись, что у нас нет оружия, солдаты погнали нас по разным коридорам и воронкам, подталкивая для убедительности прикладами. Особенно их раздражал бедный Айша. Они все время приговаривали, что с удовольствием приколют нас штыками, так как мы не солдаты, а шпионы. Надеяться было не на что, и мы, не смотря на удары, невольно замедляли шаг, понимая, что этот путь — последний.

Мы шли уже мимо германских окопов второй линии. Все, что мы видели, напоминало нам старые привычные картины: принесли в котлах суп, кто-то писал домой открытку, кучка солдат играла в карты. Я вспомнил слова Учителя о новой близости. Но вот — близкие, — они сейчас убьют нас. И такой прекрасной показалась мне жизнь! Я с завистью поглядел на усатого рыжего солдата, который сидел у костра и, сняв рубашку, искал вшей. Жить, как он, сидеть на корточках, выпить бурду из жестяной кружки, потом в грязи уснуть... Как это много и как невозможно!..

Я не знаю, что делал эти полчаса Учитель и друзья, как пережили они путь к смерти. Я опомнился лишь возле маленького крестьянского домика. Немец грубо втолкнул меня в тем-

ную узкую комнату. На столе стояла свеча. Я увидел генеральские погоны и спокойные, совершенно бесстрастные глаза. Я понял — спасения нет, и, пользуясь тем, что Учитель еще с нами, тихо поцеловал его плечо, прощаясь с самым жестоким и любимым из всего, что было в моей короткой сумбурной жизни.

глава двадцать первая

## О трудах Шмидта, о некоем крюгере и о чайной колбасе

Кто склонен верить в некий тайный, человеку непостижимый смысл житейской кутерьмы, счастливых нелепостей и отчаянных случайностей, тот, бесспорно, задумается над моей книгой. Мы почти ежемесячно переживали смертельную опасность, и всякий раз какое-нибудь «но» выручало нас, — будь то рыбачья лодка, визитная карточка депутата или добродушный смех мосье Дэле. Процент наших избавлений значительно превышает лурдские и другие чудеса; таким образом, я легко мог бы спекулировать на «провидении», особенно когда вместо растрела и пары генеральских глаз оказалась тоже пара, но шмидтовских, и бутылка скверного коньяку. Но мне несвойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск самолета или когда колеблюсь, — надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки. Возможно, что этими особенностями моего — увы! — уже окостеневшего позвоночника, объясняется мое пристрастие к вещам грубым и низменным. Немцев что-то около пятидесяти пяти миллионов. Если можно выиграть в рулетку — 1:36 шансов, то 1:55 000 000 лишь различие количественное, и отсюда до мистики далеко.

Шмидт сразу узнал нас. Он же, в остроконечной каске, возмужавший и загоревший, мало напоминал бедняцкого штутгартского студентика. Я так и не определил ни его чина, ни точного характера службы. Из его слов можно было понять,



что в первые месяцы войны он выдвинулся, преуспел и теперь играет видную роль, как в тылу так и на фронте.

Успокоив нас касательно нашей судьбы, Шмидт сказал, что в его распоряжении восемнадцать минут, которые он охотно посвятит беседе с нами. Учитель заинтересовался его очередными занятиями. «Они очень сложны, — ответил Шмидт, — война приняла несколько иной характер, нежели я предполагал раньше. Совершенно ясно, что завоевать всю Европу и привести ее в порядок нам сразу в один прием не удастся. Тогда остаются переходные задачи: колонизировать Россию, разрушить, как можно основательнее, Францию и Англию, чтобы потом легче было их организовать. Это общие положения, теперь частности. Нам придется вскоре, по стратегическим соображениям, очистить довольно изрядный кусок Пикардии; возможно, что мы туда не вернемся, и уже очевидно, что мы ее не присоединим. Поэтому я подготавливаю правильное уничтожение этой области. Очень кропотливое занятие. Надо изучить все промыслы: в Аме мыльный завод — взорвать; Шони славится грушами — срубить деревья; возле Сен-Кентэна прекрасные молочные хозяйства — скот перевести к нам и так далее. Мы оставим голую землю. Если можно было бы проделать такое вплоть до Марселя и Пиренеев, я был бы счастлив: самый безболезненный, гуманный, быстрый переход к торжеству Германии, потом к организации единого хозяйства Империи и к счастью всего человечества».

«Это варварство! — закричал Алексей Спиридонович. — Я убил одного негра, и я с тех пор самый несчастный человек на свете. А вы хотите убить миллионы невинных людей. Вы говорите о счастье человечества и топите детей на «Лузитании», разрушаете древние соборы, сжигаете города. Мы не дадим вам колонизировать Россию, мы выйдем против ваших адских машин с иконами, с молитвами. И вы падете!»

«Вы думаете, что мне, что всем нам, немцам, приятно убивать? Уверяю вас, что пить пиво или этот коньяк, пойти на концерт или даже к моей старой знакомой фразе Хазе гораздо приятнее. Убивать — это неприятная необходимость. Очень грязное занятие, без восторженных криков и без костров. Я не думаю, что хирург, залезая пальцами в живот, надутый газом и непереваренной пищей, испытывает наслаждение. Но выбора нет. Я, моя семья, мой город, родина, человечество — это ступеньки. Убить для блага человечества одного умали-

шенного или десять миллионов — различие лишь арифметическое. А убить необходимо, не то все будут продолжать глупую, бессмысленную жизнь. Вместо убитых вырастут другие. Детей я сам люблю не меньше вашего и напомним вам, что я даже вытоптал цветы в штутгартском парке, протестуя против порядка, обрекающего младенца на голод. Именно поэтому, если сейчас потребуются для выигрыша войны, то есть для блага Германии и, следовательно, всего человечества, потопить все «Лузитании» и перебить сотни тысяч людей, я не стану ни одной минуты колебаться. Стоит ли после этого говорить о городах, церквях и прочем. Жалко, разумеется...

В частности, расскажу вам, что одной из батарей, громивших Реймс, командовал профессор Шнейдер, автор замечательных изысканий по истории готического зодчества. Взглянув в бинокль на собор, который он давно мечтал увидеть, герр Шнейдер прослезился, а потом отдал приказ «огонь». Я же, как вам известно, вообще старины не терплю. Выстроит завод или казарму, не век же хныкать над бабушкиным сундуком и ходить в драном платье!

Что касается России, то я уже слышал о вашем странном обычае выходить против пулеметов с иконами, и отношу это к плохому развитию сети школ и железных дорог. Ничего, мы поправим дело! Я вас очень люблю, герр Тишин, но когда мы придем в Россию, вам придется оставить ваши вздохи и заняться серьезным делом — агрономией или птицеводством. Иконы же мы перенесем в музеи, а молитвы издадим для интересующихся фольклором.

Полагаю, что это будет скоро. Пока что вы должны будете погостить у нас в концентрационном лагере. Там вы увидите германскую организацию и германскую культуру!..

Оставались еще две минуты, и Алексей Спиридонович, сорвавший от волнения свой галстук, а также мосье Дэле хотели возразить на слова Шмидта. Но в это время в комнату вошли часовые и привели молоденького солдата. Выяснилось, что некто Крюгер, рядовой, узнав из письма, что его жена при смерти, и не надеясь получить отпуск, пытался бежать, но сразу был пойман близ штаба. «Я вполне понимаю ваши чувства, — сказал ему Шмидт, — и с удовольствием отправил бы вас немедленно к вашей супруге, но это будет способствовать усилению дезертирства и понижению боеспособности армии. Поэтому для ваших детей, а если у вас нет детей, для детей

Германии, вам придется через десять минут умереть. Вы можете передать дежурному лейтенанту ваши вещи, а также письмо супруге!» Сказав это, подписав бумагу и быстро простившись с нами, Шмидт уехал.

Нас выпустили в садик, и там мы должны были ждать прибытия партии захваченных во время боев пленных, чтобы вместе с ними направиться на восток. Через несколько минут из домика вывели Крюгера. Он шел спокойно и обыкновенно, как будто это учение или парад. Стали созывать дежурных солдат. Они ели хлеб с чайной колбасой и пили кофе. Вытерев рукой губы, унтер скомандовал: «Стройся!» Крюгера приставили к стене амбара. К нему подбежала дворовая собака, но, поджав хвост, ушла прочь. На улице денщик скреб щеткой расседланную лошадь. Все было тихо, просто, буднично. Я взглянул на Крюгера, он глядел то под ноги, то на небо, то на улицу, как будто ожидая откуда-нибудь совершенно невозможного спасения. Унтер крикнул. Первый залп был неудачен, и Крюгер, визжа, раненный в живот, подскочил. Еще один залп. Унтер подошел заботливо к трупу и ногой потрогал голову, чтобы убедиться в результате. Потом два солдата оттащили труп в сторону, и все сели к столу, за недоеденные бутерброды. Слышно было, как в комнате кто-то диктовал: «Номер 4812-й... Крюгер Ханс... 4 часа 15 минут пополудни...»

«Учитель,— шептал я,— что это? Можно ли это забыть? Он очень складно говорил, герр Шмидт, но ведь дело не в одной арифметике. Пусть признано «что», остается еще «как». Разве не лучше для своего глупого счастья, для своей любви-ницы в безумии, в гневе, в ярости убить всех людей на свете, чем ради спасения человечества, рассчитав, в четыре пополудни, у сарайчика, деловито уничтожить одного, может быть, и никому не нужного, Крюгера?»

«Запомни, все запомни,— сказал Хуренито,— эти брызги мозга на стенке и аккуратные ломтики колбасы. Пусть они встанут перед твоими глазами, если, усталый, ты протянешь руку для того, чтобы благословить срам и гнусность жизни».

Ночью, когда, запертые в тесный товарный вагон, мы ехали куда-то, я вдруг отчетливо увидел всю сцену убийства дезертира. Но сознаюсь и говорю откровенно, не ненависть испытал я тогда, а приятное мерзкое удовлетворение, что у стенки стоял не я, а кто-то другой, что я жив, чувствую теплоту надышенного, нагретого людьми воздуха, могу закурить трубку

или, прижавшись к толстенькому мистеру Кулю, задремать. Я не признался в этом Учителю, но я знал, что эта нудная слепая тяга к жизни, все равно к какой, хоть в свином хлеву, мешает мне претворить в жизнь его высокое учение. Думая об этом, я всю ночь томился, пока под утро не понял, что слабость еще не смерть, что весьма непохвальная ночь Петра у костра не помешала его достойной кончине, и, сладко пришептывая «отрекаюсь, но только временно», я уснул.

глава двадцать вторая

## порядок и культура великой империи.— революционный петроград нас приветствует

Нас привезли в лагерь Оберланштейн, близ маленькой речки Лан. В первый же день к нам пришел немолодой лейтенант. Он объявил нам, что Германия сражается за культуру, право, свободу, за дело всех малых народов мира. Это было настолько похоже на то, что мы слышали каждый день в союзных странах, что я усомнился, не собирается ли немец, повторяя вычитанные им из «Матэн» лозунги, выдать себя за сторонника союзников и вызвать нас на излишние откровенности. Но Учитель объяснил нам, что «культура», «свобода» и прочее здесь тоже очень в моде и что офицер прочитал о них, по всей вероятности, не в «Матэн», а в «Дейче дейтунг». Засим лейтенант спросил, нет ли среди нас русских — не русских (украинцев), англичан — не англичан (ирландцев) и французов — не французов (социалистов крайнего толка). Таковых не оказалось, но немец, скрыв разочарование, все же обещал нам, что в лагере мы сможем оценить культуру и порядок Великой империи.

Вслед за лейтенантом пришел унтер и приказал нам выстроиться. Живот мистера Куля, руки Эрколе, мой горб и, наконец, весь мось Дэле выпадали из ряда. Унтер остался этим очень недоволен и ткнул со всей силой мистера Куля в живот, узнав, однако, что он американец, пробормотал что-то вроде

пзвинения и дал по уху Алексею Спиридоновичу, живот и зад которого были безупречны. Я никак не мог понять потом этого вошедшего в привычку приема — как только наши хранители сердились на Учителя, мистера Куля или мосье Дэле, они наказывали Алексея Спиридоновича, Айшу или меня. После этих упражнений нам дали миску нехорошего цвета помоев.

Засим началось постепенное посвящение нас в тайны культуры и порядка Империи. Мистер Куль мог немедленно убедиться, что его доллары не потеряли своей магической силы. Он и мосье Дэле за доллар получали хорошие обеды и вскоре в лагере числились лишь фиктивно, так как переехали к жене старшего фельдфебеля, фрау Кнабе, державшей нечто вроде семейного пансиона для пленных из приличного общества. Мосье Дэле жаловался лишь на тяжеловесность блюд, заставляющих его удвоить дозу пилюль «пинк», и на немочку Энхен, которая, будучи неповоротливой, как статуя Германии, не знает ни одного, даже самого примитивного, фокуса Люси. Зато мы, получая все ту же водицу, через месяц так ослабели, что не могли ходить, и лишь для переключки вставали с земли.

Впрочем, мы могли утешиться, узнав, что подобный порядок существует и вне лагеря. Один солдат рассказал мне, что его жена так голодала в месяцы беременности, что ребенок родился без волос, без ногтей и явным кретином. А герр Левен, в том же Бибрихе, интендант, — пожирал ежедневно целую индюшку. Я не знаю, был ли осведомлен об этом Шмидт; судя по тому, что он уничтожал лишь французские сады и прославлял германскую организацию, полагаю, что история этого ребенка до него не дошла.

С культурой дело обстояло столь же грустно. Как-то Айша, по своей бесконечной наивности, рассказал солдату-немцу, что он выдирает у убитых врагов зубы, потому что «гри-гри» предохраняет от злого духа — пушки, причем посоветовал и немцу делать то же самое. Айшу нещадно избили, сломав его гордость и радость — руку «Ультима», потом хотели расстрелять и не расстреляли лишь потому, что начали фотографировать и показывать различным голландцам и шведам, как образец жестокости и варварства. Его вежливо выводили на двор, что-то объясняли господам в цилиндрах, измеряли голову, а потом, когда знатные посетители уходили, с руганью и пинками кидали в темный сарай. Мой бедный, милый Айша, ты не знал,

что в эти часы своим варварством ты должен был возвеличить культуру и гуманность твоих обидчиков! Ты даже не знал, что такое это странное слово «культура». Когда на тебя глядели, ты застенчиво улыбался, а когда били — громко, по-детски плакал.

Эрколе, сильно отоцвав, стащил несколько картошек, за что был приговорен к тюремному заключению и также избит. Алексей Спиридонович все время хворал, его болезнь печени, начавшаяся в Африке, осложнилась. Он был до крайности подавлен и колебался между тремя исходами — повеситься, стать окончательно «толстовцем», то есть простить все палачам и даже предложить унтеру избить его до смерти, или преобразоваться в Тищенко, чтобы перейти в лагерь украинцев, где условия были значительно лучше. Ни на чем остановиться он не мог и с горя свалился. Я совместно с ним скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается: «Россия — Мессия, бес — воскрес, Русь — молось, смердящий — слаще» — и написанное читал Алексею Спиридоновичу. Он хватался за голову, вопил: «Да, да! Она грядет!» — а потом, зарывшись в подушку, ночь напролет плакал. Я же, плакать не умея, либо писал еще, либо садился напротив француза, получавшего часто посылки из дому, и глядел ему с неистовством в рот до тех пор, пока он в отчаянье не отрезал мне крохотного ломтика сала.

Учитель ни внешне, ни внутренне на культуру и порядок не реагировал. Он мог бы, как гражданин Мексики, освободиться или по крайней мере переехать из лагеря к ффрау Кнабе, но не хотел оставить нас. Он изучал гимнастику, языки Гауса и Гереро, постановку свекловичных хозяйств на Украине и различные опыты государственных монополий. Я немало поражаюсь приспособляемости Хуренито к самым несовместимым условиям жизни. Он был тончайшим гастрономом, почетным членом парижского «Клуба последователей Гаргантюа», знатоком всех бургундских и бордоских вин, экспертом на аукционах старых погребов и, несмотря на это, с аппетитом хлебал лагерную бурду, пребывая бодрым, здоровым и веселым. Также не затрагивали его оскорбления, он даже относился к ним с нескрываемым интересом путешественника, изучающего нравы страны или, вернее, Брема у клетки зверинца. В общем, он, несомненно, был занят какими-то своими планами,

в которые нас не посвящал. Со мной он, правда, много беседовал, но больше о пустяках и, как признался сам, для практики русского языка.

В начале февраля начались новые муки: всех нас, в том числе мистера Куля и мосье Дэле, неожиданно отправили из лагеря на восточный фронт в окрестности Ковно и там заставили исправлять дороги. Это было до крайности тяжело, и я убежден, что, не случись многого, совершенно нами непредвиденного, через месяц-другой, мы бы все, за исключением Учителя, нашли успокоение, на этот раз отнюдь не романтическое, но верное.

Недели через три после нашего приезда, немцы, украсив штаб флагами, радостно поздравили нас: «В России революция. Царь отрекся!» Как передать переживания этого дня, слезы и объятия Алексея Спиридоновича, мое истощное пение, опасения мосье Дэле и спокойное удовлетворение Учителя?

На следующий день, когда мы кончили трамбовать безнадёжную дорогу, Хуренито собрал нас и сказал: «Друзья мои, я предлагаю вам подготовиться к нежному расставанию с прелестями великой культуры и к небольшому переселению на восток. Уверяю вас, что та же картофельная кожура будет сервирована там гораздо остроумней и занимательней. Болезнь начинает вступать во вторую фазу, мною давно предвиденную. Расплеснутая с тесных узких фронтов, война, прорывая все плотины, тщится размыть гранит и твердь мира. Верьте мне, сейчас в диком Петрограде разрушают и строят Пантеоны, Квисисаны, Акрополи и Би-ба-бо вселенной».

Мы не уловили точного смысла слов Учителя, но начали усиленно готовиться к побегу. Осуществить задуманное удалось нам лишь через месяц, и 7 апреля мы, переодетые в германскую форму (Айша же с забинтованной сплошь головой), пробирались к передовым линиям.

То, что мы увидели, совсем не напоминало войну. Никто не стрелял, а со стороны русских окопов раздавались звуки «Интернационала» и виднелись красные плакаты с надписями: «Братья, идите к нам! Да здравствует мир!» Мы совершенно свободно прошли пространство, разделявшее русские и немецкие окопы, и увидели необыкновенное зрелище. Маршировавшая в полном порядке рота немцев по команде офицеров: «Направо, целуйте русских!» — начала обнимать скуластых, бородатых пермяков и вятичей, которые кряхтели от восторга,

крестились и плакали. В это время другие немцы тщательно осматривали позиции и щелкали карманными аппаратами — «на память». После отработанных честно объятий немцы устроили на месте небольшой, по приличный базар, меняя картонные портсигары, незажигающиеся фонарики, отвратительную сивуху (впрочем, гордо именуемую «коньяком») на мыло, сало, сахар и прочие продукты дикой страны. Все вместе это называлось «братанием».

Мы были всем этим чрезмерно удивлены, особенно когда опознали среди «братающихся» нашего друга Карла Шмидта в простой солдатской шинели. Он же, увидав нас, на минуту смутился, но быстро оправился и заявил, что со службой своей он якобы прикончил, мечтает о братстве народов и, прельщенный миролюбием новой России, направляется в Петроград, чтобы там тоже «брататься». Не скрою, что я усомнился в искренности Шмидта и поделился своими соображениями с Алексеем Спиридоновичем. Но тот воскликнул: «У тебя черствое сердце! В эти дни первой весны мира лучи братства растопили даже льды Империи. Ты не понимаешь — Шмидт прозрел, Шмидт кается. Он мой брат, и я бесконечно счастлив, что он едет с нами!»

Что же — брат так брат. Я больше не возражаю. Всемером мы едем в глубь России. После десяти лет разлуки я вижу вновь эти серые дымчатые поля, маленькие полустанки, где гуляют чистые русские девушки, мечтая о Москве, о Художественном театре и о любви какого-нибудь идейного помощника присяжного поверенного, узловых станции с пожарскими котлетами, украшенными розанами, с пьяненьким штабс-капитаном, который пьет из чайника «белоголовку», с грудой солдат, баб, ребят, в свалку лежащих на захарканном перроне, дымя козьими ножками, нудно вычесывая вшей и матерно ругаясь. Россия — это ты!

Из Пскова Учитель посылает телеграмму министру иностранных дел Временного правительства: «Едут Петербург мексиканский делегат, три союзника, два политических эмигранта, один немец против аннексий, контрибуций, один освобожденный негр. Примите меры». Копия — в редакции всех газет.

Хотя в те месяцы приезд иностранной делегации был явлением будничным, нас встретили весьма трогательно, даже торжественно. На вокзале собрались представители самых разно-



образных организаций, как-то: охтенского районного Совета солдатских депутатов, «Лиги последнего спасения России», «Союза генералов-социалистов», «Объединения начальных школ» и других. Лига преподнесла мосье Дэле альбом с портретами деятелей великой французской революции: Пуанкаре, Альберта Тома и Чхеидзе. Гимназистки требовали автографов в альбом у окончательно растерявшегося Айши. Мосье Дэле фотографиями остался доволен, Чхеидзе он даже похвалил — «красивый мужчина!», но когда оркестр заиграл «Интернационал», испугался и начал шептать мистеру Кулю: «Вы слышите!.. Надо спастись! О! Даже у «бошей» было спокойнее!» Впрочем, кончив «Интернационал», музыканты принялись за «Марсельезу», и это успокоило мосье Дэле.

Больше всех встречей был обрадован Эрколе. Он рычал свое «Эввива!», вырвал у кроткого студента флейту и начал изо всех сил дуть в нее, причем публика, полагая, что это некий иностранный гимн, благоговейно обнажила головы, а Эрколе потребовал бенгальского огня или шутих и, наконец, утомленный, лег на бухарский ковер в парадных, так называемых «царских», залах вокзала и стал плевать. Никто его не вывел, наоборот, его начали фотографировать, подносили ему цветы, и он закричал нам: «Это изумительная страна! Наконец-то я нашел нечто достойное виа Паскудини, но куда мягче и удобней!..»

глава двадцать третья

## Эрколе кувыркается.— мы ликуем и мы беспокоимся

Приступив к настоящей главе, читатель, быть может, смутится легкомыслием и сбивчивостью моего рассказа. Но в свое оправдание скажу лишь, что все первые месяцы революции я был совершенно поглощен одним занятием, а именно: я ликовавал. Мое ликование облакалось в различные формы: то я ходил с другими ликующими по улицам и пытался что-то петь, то взбирался на цоколи памятников, на скамейки или на тумбы и произносил многочасовые речи, то дома перед портретами

любимых вождей начинал кричать: «Ура! Долой!» — чем немало пугал кухарку Дуняшу. При таком образе жизни трудно, разумеется, было наблюдать и запоминать не только события, но даже поступки моего Учителя.

На следующий день после нашего приезда мы были приглашены на митинг, в полночь, в цирк Чинизелли. Время и место меня несколько смутили, но знакомый эсер объяснил мне, что даже в молодом государственном органе имеются свои традиции, и я не стал выискивать их происхождения. Это был удивительный митинг. Не только я, но и все присутствовавшие, а было их никак не меньше тысячи, явно и не смущаясь сего, ликовали.

Первым выступает мосье Дэле: «Граждане, позвольте приветствовать вас от страны — матери всех революций! (Ура!) Не думайте, что это что-нибудь новое. У нас все уже было. Ничего — обошлось! Теперь у нас республика (ура!), и какая! Всюду написано: «Свобода — равенство — братство», даже на тюрьмах. (С галерки: «Долой! Требовать от Франции амнистии!») Председатель: «Порядок! Все имеют право высказаться!») Но ведь в тюрьмах сидят только злоумышленники, враги порядка. У нас, граждане, порядок. И верьте мне, жизнь прекрасна, как майская роза. У меня домик с садиком, в садике розы («Буржуй!») и маленькая Люси... (Председатель: «Мне подана записка — «Просим оратора держаться ближе к теме митинга: «Революция и вселенная».) Граждане, я буду краток. Вы сами понимаете, чего мы ждем от вас. Идите на фронт! Умрите скорее за вашу свободу! («Умрем!») И за символ вечной свободы — за Францию!» (Гром аплодисментов, крики: «Да здравствует Франция!»)

Вслед за мосье Дэле выходит Шмидт и без помощи переводчика довольно грамотно начинает говорить: «Граждане и товарищи! Мы все устали. («Правильно!») Мы все хотим мира. Я знаю наверно, что Германия протягивает дружескую руку революционной России. Английские империалисты хотят, чтобы вы защищались. («Позор!») Итак, долой войну!» (Снова буря аплодисментов.)

Алексей Спиридонович: «Братья! Пророчества исполнились! На Мессию, на жертвенного агнца обращены взоры всего мира. Если бы дожил до этого часа яснополянский мудрец! Встаньте, братья! (Все встают, сзади: «Сядьте! Мешаете слушать!») Владимир Соловьев писал — после царствий отца и сына придет

дарствие святого духа. Готовьтесь к последнему подвижничеству! Братья, на следующем митинге я расскажу вам всю мою жизнь, и вы увидите, как я прозрел от революции. Теперь, к сожалению, в моем распоряжении только две минуты. Но что время? Мы преодолеем его! Долой время! («Долой! К матери!») Есть вечность и революция духа!» («Браво! Продлить время! Еще! Довольно! Ура!»)

Выходит мастеровой. «То есть, я, товарищи, полагаю, вот как этот товарищ говорил о духе — сперва-наперво отпустить всех запасных по домам, а потом, чтобы огородников унять, то есть креста на них нет, пять рублей за картошку. («Заявить правительству!», «Товарищ, говорите о вселенной!», «Дайте высказаться представителю пролетариата!»)

Потом толстенький артист поет: «Торреадор, смелее в бой!» Курсистка по книжке с чувством читает: «Муза народного гнева». Сзади кричат: «Надули! Давайте мексиканца!»

Учитель: «Если б я видел лишь до завтрашнего дня и не умел бы приподнимать листки отрывного календаря, я бы сказал вам: вы величайшие реакционеры. Свобода, о которой вы все говорите, слава богу («Долой попов!») и войне, отправлена в архив. Но вы здесь не живете, вы бредите, и в бреду не о том вспоминаете, чего у вас не было, а прозреваете далекое будущее. Я приветствую ваше безумие, шальные крики, бессмысленные резолюции и эту арену цирка, на которой вы богомольно и вполне серьезно кувыркаетесь перед ошарашенной Европой!»

Недоумение. Молчание. Настроение как будто портится. Вылезает уж вовсе неподобная бабка, в платочке с горошком, шамкает: «Так-то я видела, батюшка, во сне, будто таракан огромный обожрался вареньем, цельную банку слопал и ползет под зад отца Михаила и как скинет его усищами. Да разве это дело? Не иначе, как кто-нибудь на престол лезет!»

Крики. Наверху уж дерутся. На беду, Эрколе, прельщенный зрелищем, хочет и себя показать. Он быстро скатывается вниз на песочек и кувыркается через голову. Отнюдь не аллегория, просто прекрасный жест, достойный «римлянина Бамбучи». Шумят. Негодуют. «Провокатор!» — «Кто провокатор?» — «Смерть провокаторам!» Задние ярусы напирают. Эрколе в опасности. Но оказывается, что провокатор не он, а какой-то господин в фетровой шляпе. Впрочем, господин тоже

товарищ министра и вообще товарищ, а провокатор, по-видимому, убежал, Успокоение. Голосуются резолюция. На грех, Эрколе не удовлетворен и пускает предусмотрительно кушленные им шутихи. «Стреляют!..» Паника. Мы еле спасаемся. Кричат: «До чего вы несознательны, товарищ, прямо наступили ребенку на голову!..»

Я был раздосадован таким окончанием нашего митинга, но тот же эсер опять сослался на традиции. Учитель, напротив, остался вполне удовлетворен бурной ночью и решил специализироваться на митингах; он устраивал их десятками, под различными названиями и для лиц любой категории.

Особенно запомнились мне три митинга: воров, проституток и министров. Митинг воров прошел очень оживленно. Представитель одного из министерств, также эсер (кстати сказать, весьма денежный господин, оцтовик, торговец кофе), доказывал ворами, что, во-первых, конечно, собственность, как сказал еще Прудон, кража, во-вторых, красть не следует, а необходимо честно работать на оборону. Вору возражали, ссылаясь на тяжесть и ответственность своего ремесла, приняли устав профессионального союза и постановили выразить протест против двойных замков на входных дверях, нарушающих принцип свободы. Кончился вечер скандалом: эсер, обнаружив исчезновение бумажника с английскими фунтами, дико вопил: «Мошенники, вору, всех в тюрьму!» — и звал милиционеров. Но пришедший к утру милиционер заявил, что должен предварительно запросить свой комитет, и эсер, впервые трогательно вспомнив городского, ушел на очередное собрание.

На митинге проституток вдоволь наговорился Алексей Спиридонович. Он вспоминал Сонечку Мармеладову и Марию Египетскую, просил прощения, сам прощал всех, рассказывал свою жизнь и, наконец, предложил собравшимся «омыться» в водах революционного Иордана и заняться питьем кальсон «для доблестных защитников родины и свободы». Многие плакали. Затем различные гражданки требовали повышения тарифов. Алексей Спиридонович снова пытался говорить, от умиления расплакался и был уведен некоей сердобольной Марией Египетской, шептавшей: «Товарищ кавалер, вы ужасный душка!»

Особенным многолюдством отличался митинг министров, так как на него приглашались бывшие, настоящие и будущие

министры. На министерском посту люди тогда не засиживались, и каждый мог рассчитывать, что не сегодня-завтра он станет министром. В цирк пришло не менее двух тысяч человек. Заседание правительства, по этому случаю, было отменено. Все министры, даже будущие, каялись и обещали, будучи министрами, министрами не быть. Говорили они поэтично — о море, закате, ржавых цепях, ключах от сердца и так далее. Вообще, я министров боюсь, но эти были совсем не страшные, и я чувствовал себя в обществе начинающих поэтов. Я даже решился выступить со следующей речью: «Граждане, за десять лет моих скитаний на чужбине я познал много нехороших занятий. Мне пришлось брить пуделей, таскать вагонетки с подозрительной посудой, служить кассиром в публичном доме моего друга мистера Куля. Но, честное слово, я никогда не был министром и не буду им. Я вообще люблю людей, и вы мне, в частности, очень симпатичны. Я вам советую заняться чем-нибудь другим. Вы все проявляете склонность к поэзии и, безусловно, можете писать рекламы для папирос Шапшала или даже описывать сельские красоты в «Русском богатстве». Да здравствует чистая поэзия!» Мне много аплодировали.

После митингов и статей в газетах заслуги Учителя были оценены всеми. Он был назначен Верховным комиссаром, чего — в точности он так и не узнал: министр, диктовавший приказ, спеша на митинг, его не додиктовал.

В середине лета я почему-то перестал ликовать и занялся другим делом, а именно начал беспокоиться. На это уходило также много времени. Я беспокоился утром, стоя в хвосте за хлебом, читая газеты, днем на заседаниях, вечером на митингах. Ночью я ходил по людному проспекту. Гуляли офицеры, матросы, проститутки, спекулянты, эсеры, обыкновенные обыватели, и все тоже беспокоилось. Каждый вечер кто-нибудь пытался взять власть, но потом раздумывал, откладывая на после, и дело кончалось небольшим боем. С вокзалов неслись тысячи бородатых солдат, опрокидывая дам, падавших, впрочем, и без того в обморок, расталкивая очаровательных земгусаров, которые уговаривали бородачей вернуться на фронт «за землю и волю». В хороших ресторанах, куда нас иногда приглашал мистер Куль, по-прежнему сгибались в пояс половые, брэнчали союзники-румыны («эй, румфронт, жарь-ка еще про девчоночку!»), в кувшинах пенился крушон, и обедавшие, поковыряв в бумажнике, широким жестом бросали трешницу на геор-

гневских кавалеров («авось помогут генералу убрать эту сволочь!»).

Друзья мои тоже беспокоились: мосье Дэле оттого, что русские не наступают, Шмидт оттого, что они все же собираются наступать, мистер Куль не мог вынести финансовой паники, Эрколе израсходовал все хлопушки Петрограда, а новых не привозили, Айшу же избили где-то на островах пьяненькие полотеры, приняв его не то за черта, не то за черносотенца, и он боялся выходить один на улицу. Больше всех волновался Алексей Спиридонович; он записался было в «батальон смерти»: «спасать родину», но почему-то в последнюю минуту раздумал. Надо было войти в какую-нибудь партию или по крайней мере голосовать при выборах в городскую думу за какой-нибудь список. Но правые эсеры были для него слишком левыми, левые же энесы слишком правыми. Он томился, вздыхал и, выпив крушона, плакался мистеру Кулю: «Двенадцатый час грядет! Россия гибнет! А я здесь пью крушон — хорош гражданин, сын отечества! Дайте мне искупление! Дайте мне муку крестную! О-о!»

Потом начали наступать немцы. Шмидт на радостях угостил Алексея Спиридоновича, уже не плачущего, но рыдающего, рижским кюммелем. Мосье Дэле грозил: «Вот возьму сложу чемоданы и уеду; посмотрим, что Россия будет делать без меня!» По Невскому еще больше бегали, пели, ругались, стреляли. Наконец было объявлено торжественное празднество в честь свободной Либерии, причем Айшу принудили вместо Сенегала родиться в этой республике. Впрочем, он не жалел об этом. Его посадили на почетное место и всячески за ним ухаживали. Какая-то дама говорила о Бичер-Стоу и советовала русским, «этим жалким взбунтовавшимся рабам», «взять пример» (с кого точно, она не указала, не то с Бичер-Стоу, не то с негров). Профессор, левый кадет, очень рекомендовал Айше применить в Либерии систему пропорционального представительства и предлагал даже свое содействие. В конце концов вышел длинноволосый юноша и завопил: «Главное — раскрепощение духа, футуризм жизни! Если ты, либериец, — прелюбодей, убийца, разбойник, я люблю тебя! Мы вымажем наши хари в сажу и будем прославлять грядущий примитив. Сегодня вечером идите все в Тенишевское училище на лекцию «Пуп и нечто» с практическими демонстрациями!»

Когда мы вышли из аудитории, где происходило это празднество, я предложил немедленно отправиться на футуристическую лекцию, но Учитель сказал: «Надоело. Вообще, друзья мои, сегодня вечером я исчезаю, конечно, на время: скоро мы увидимся.

Глядите на эти испуганные, встревоженные, отчаявшиеся улицы. Каждый камешек, каждый сопляк вопиет: «Уберите свободу, она тяжелее всякого ярма!» Разве мыслима свобода вне полной гармонии? Она быстро превращается в скрытое рабство. Я становлюсь свободным, угнетая другого. Очень быстро можно научиться не стеснять себя, но нужны железные века нового, неслыханного искусства, чтобы потерять волю теснить других. Не верьте прекрасным басням и вздохам об Элладе. История наложила свой преображающий флер на свободного мудрого философа, отхожее место которого выгребал самый обыкновенный раб. Смейтесь, когда вам говорят о божественной иерархии Индии или о свободе независимых англичан. Свободы нет, и ее еще никогда не было. Почему-то Эпиктету хотелось, несмотря на все, кушать. Заранее даны законы, и какую поэтическую галиматью ни несет Эренбург, он ходит на двух ногах, любит пообедать и не безразличен к юбкам. Тысячи различных религий, догм, философских систем, законов только констатируют существующее.

Теперь человечество идет отнюдь не к раю, а к самому суровому, черному, потогонному чистилищу. Наступают как будто полные сумерки свободы. Ассирия и Египет будут превзойдены новым неслыханным рабством. Но каторжные галеры явятся приготовительным классом, залогом свободы — не статуи на площади, не захватанной выдумки писака, а свободы творимой, непогрешимого равновесия, предельной гармонии. Вы спросите — зачем это отступление назад или в сторону, эти бесцельные сумасбродные месяцы? Хороший предметный урок! Сейчас это — ложь, сейчас это — дяди на вокзалах и земгусары, хвосты и крюшон, Пикассо у Щукина и тупое «чаво»! Но придет день, когда это будет правдой. Свобода, не вскормленная кровью, а подобранная даром, полученная на чаек, издыхает. Но помните, — это я говорю вам теперь, когда тысячи рук тянутся к палке и миллионы сладострастно готовят свои спины, — будет день, и палка станет никому не нужной. Далекий день! А пока до свиданья!»

глава двадцать четвертая  
все вверх дном.— мосье дэле  
душевно заболевает

Мы остались одни в этом вымышленном и, по совершенно точным показаниям всех русских писателей, не существующем на самом деле городе.

Я по ночам бродил плоскими, прямыми улицами. В одинаковых, низких домах жили явно подозрительные чиновники, между двумя «исходящими», без всяких мук, только с запятанными чернилами пальцами, рожающие антихриста; портные-чухонцы, а может, и немцы, изумительно аккуратные, с накрахмаленными женами, которые, выпив в праздник тминную, мерили аршином небо над Исаакием и пытали невидимого, выше Исаакия обитающего, не жмет ли у него под мышкой, церковные старосты, отставные швейцары, гробовщики, кропившие герань и фуксии какой-то дрянью, а потом приподымавшие половицы в поисках — не то дохлой крысы, не то припрятанной трешницы, не то пупа земли. Словом, всем известная петербургская, то есть Санкт-Петербургская ерунда. Неожиданно, из грязной ваты тумана, вставало огромное квадратное здание с глухими стенами, с навеки замершим меж пятым и шестым этажами лифтом и с пишущей машинкой, выстукивающей до зубной боли: «Спасите, спасите Россию!»

Смутные и осовелые толпы днями простаивали у белых экранов редакций. Было ясно, что дело пахнет Навуходонсором, но вместо «такел» и прочих нормальных слов, появлялся бред: «Новый кабинет в Испании — Чернов селянский министр — Курите папиросы «кри-кри». Я пробовал тротуар Невского, он не подавался. Адмиралтейская игла, без которой, как известно, не могут обойтись русские поэты, тоже стояла на месте.

Я шел в «Вену» и кричал: «Закуску и понимаете!.. Еще, спасайте!» И лысые официанты пришептывали: «Спасайте!» И поужинавший сытно репортер икал — «необходимо спасти», и рюмки дребезжали: «Спасай, спасай!»

В октябре стало совсем невтерпеж. Как-то проснувшись, я вспомнил, что есть Москва, обрадовался и побежал разыски-



вать наших. Вечером мы уже осаждали поезд на Николаевском вокзале. Убедившись, что, кроме Петербурга, есть земля, желтые листья, а кое-где на околице деревень веселые поросята, я успокоился и заснул.

А когда мы приехали в Москву, было сыро по-петербургски и трещали пулеметы. В зале вокзала какой-то чиновник и солдат долго и нудно старались перекричать друг друга. Один вопил «спасайте Россию!», другой — «спасайте революцию!». Потом, для двойного спасения, они подрались. Вскоре заговорили совсем близко пушки, и мы поспешили разойтись, кто куда, по разным адресам.

Как известно, бой длился неделю. Я сидел в темной каморке и проклинал свое бездарное устройство. Одно из двух: или надо было посадить мне другие глаза, или убрать ненужные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками, — нет, руками делают историю. «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Кажется, чего лучше — беги через ступеньки вниз и делай, делай ее, скорей, пока под пальцами глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца! Но я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, — косые, слепые или дальнзоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть кучую, но свою, кровную, родную?

Кругом по крайней мере охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют вседержителя. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит милая девушка Леля. «Слава тебе господи, — умиляется прислуга Лели Матреша, — большаки верх берут!» Я даже на это не способен. Если б был Учитель, он снял бы с меня непосильную свободу, сказал бы «иди», и я пошел бы. Но его нет, и я жую котлету. Запомните, господа из так называемого «потомства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург!

Потом все стихло. Леля, милая девушка (чистая, светлая, русская), брат ее Сережа, хороший, с длинными волосами, честный, идейный, тот, что с Лавровым и Михайловским, — словом, все кругом начали плакать. Я сам плакать не умею (очевидно, какие-то железы не работают), но слезливых скорее люблю. Пошла повсеместная панихида. Причем многие оплаки-

вали то, чего раньше вовсе не замечали или, замечая, не одобряли: Леля — великодержавность, Сережа (с Михайловским) — церковь, гимназист Федя (младший брат Лели) — промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием.

Я вынимал, будто луковицу, воспоминания давних лет: детскую веру, быт столовых с фикусами и закуской, миссию России по «Дневнику писателя», купола псковских церквушек, кафе «Бома» на Тверской, со сдобными булочками и с веселыми рассказами толстяка писателя о псаломщике, вмещавшем в рот бильярдные шары, — слезы не текли, но я скулил честно и длительно, как пес в непогоду.

Я родился в 1891 году, воспитывался в первой московской гимназии, будучи еще в четвертом классе, записал в календаре «Товарищ»: «Ваш любимый писатель?» — «Достоевский», «Ваш любимый герой?» — «Протопоп Аввакум». Как мог я не скулить и не горевать? У меня уже сложились свои привычки: даже за обедом я презирал низкую материю. Во мне жил самый подлинный шовинизм, так ничего, бродил по заграницам, а иногда находило: у нас, мол, все особенное, и бог особенный, и животы мы порем по-особенному... Предпочитал как будто, когда животов вообще не порют, но вот порой что-то подступало, где-нибудь в уютном кафе Копенгагена я начинал себя чувствовать скиффом, презирал жалкую, мещанскую Европу и прочее.

Все эти скучные автобиографические сведения я сообщаю для того, чтобы объяснить мое состояние осенью семнадцатого года. Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных «кафе поэтов» со средним успехом.

Так прошло два месяца. Учитель не давал о себе знать. Зато в одно морозное декабрьское утро вбежал ко мне мосье Дэле, упал в кресло и закричал: «Умираю!» Зная, что французы отличаются деликатным телосложением, так что при двух-трех градусах мороза в Париже умирают партиями, я взволновался и начал щупать его пульс. Мосье Дэле руку свою вырвал и объявил, что он действительно нездоров и страдает небывалым в его жизни запором желудка, но не в этом суть дела, а в дворнике Кузьме и вообще в России.

Надо сказать, что, будучи занят оплакиванием, я ни разу не удосужился навестить кого-либо из моих друзей и только

однажды в «кафе поэтов» встретил Алексея Спиридоновича, который, выслушав мои стихи, начал плакать и вынул из кармана два носовых платка. О жизни мосье Дэле я ничего не знал, и поэтому Кузьма был для меня личностью таинственной. Я попросил у мосье Дэле необходимых разъяснений, и он, негодуя, плача, визжа, рассказал мне о своих злоключениях.

Сначала, когда «эти апаши» захватывают власть, мосье Дэле решает из протеста не выходить на улицу. Ужасно для пищеварения, но культура выше всего! Он ждет, что к нему явится какая-нибудь делегация — переговоры, уступки. Никого! Наконец — несварение, бессонница. Ко всему, мосье Дэле успел приютить в сейфе «Лионского кредита» особо любимую пачку. Необходимо выйти. Что же? Сейфа нет! Банка нет! Ничего нет! Слышите? Только люди и скандал! На Кузнецком встречается знакомого генерала — что-то не то Пирикан, не то Пиликан, — кидается к нему: «Что делать, мон генераль?» А тот — мелкой дрожью — «не мон женераль, мол, а тсс... и все. Никаких генералов больше нет». Слышите? Да лучше пренебречь своим желудком, лучше добровольно убить себя, чем ходить по этому аду, где ничего не существует.

Но ему не хотят позволить даже умереть. Являются какие-то разбойники, которых в Париже и в тюрьму не впустили бы, и объявляют, что отныне они будут помещаться в квартире мосье Дэле, потому что они не просто шесть босяков, а вот что...

Мосье Дэле читает — «Подотдел охраны материнства и младенчества». Все это гениально, но позвольте осведомиться, где же жить самому мосье Дэле? «Это ужасно, это зверство!» Дэле визжит и прыгает по моей комнате. «Они мне предлагают тесную конуру». — «Как?» — «Здесь вполне достаточно кубических аршин!» Вместо столовой, гостиной, зала, кабинета, спальни, — кубические аршины! Мосье Дэле — француз, он любит свободу, простор, воздух, чтобы даже на картинах был «пленер», он задохнется в этих аршинах! Никакого впечатления.

Тогда мосье Дэле решается на отчаянный жест, на героический подвиг, он сам идет в гнездо этих преступников, в «Районный Совет»! И что же? Там он видит среди других мошенников — дворника, его же собственного дворника — Кузьму. Это ль не безумье? Мосье Дэле все же крепится — он француз,

иммунитет, поняли? «Нас это не интересует, мы даже трех консулов за некоторые штучки преспокойно сдавали. Ваше классовое положение?» Проблеск надежды! Знакомые слова! Незабвенные шестнадцать классов! Он гордо отвечает: «Конечно, не как вы, на три года в общей яме, шестнадцатого, я — четвертого, третьего, собственность могилы навеки, я могу быть и вне классов, вот что!»

«О, дорогой Эренбург, с вашей страной произошло самое ужасное, она перевернулась вверх дном. Все окончательно перепуталось. Я оказался внизу. Они прогнали меня, а Кузьма даже усмеялся — «вот вам, товарищ,— о! о! о! Он так и сказал! «товарищ Дэле!» — ваше вне классов!..» Друг, спасите меня! Где мой компаньон Хуренито? Где все наши? Я могу сейчас, здесь же умереть! Я изнемогаю! В первый раз в жизни я потерял аппетит, потерял порыв, я потерял все! Даже пилюли «пинк» мне больше не помогают. Дайте мне дюжину настоящих маррэнских устриц, бутылочку сабли, Люси — все равно я не двинусь с места. Вы в Петрограде все время хотели кого-то спастись, — теперь спасайте Дэле!»

Выслушав эти тронувшие меня жалобы, я сообщил по телефону в редакцию, в кафе «Трилистник» и еще одной очаровательной актрисе, что сегодня я оплакивать не смогу, и решил вместе с мосье Дэле по записанным адресам разыскать наших приятелей. Может быть, кто-нибудь поможет умирающему другу.

Раньше всего мы направились к мистеру Кулю, но по дороге мосье Дэле закатил еще две или три истерики. Прямо из подъезда он понесся к стене, на которую каждое утро наклеивали декреты, и потребовал, чтобы я ему их перевел. Он любил это занятие, находя в нем какую-то мучительную сладость. Спокойно слушал он о мобилизации агрономов и об учете швейных машин, — ни то, ни другое его не затрагивало, но после третьей бумажки громко завыл. Это была поэма молодого футуриста, озаглавленная «Декрет»; в ней языком сложным, избилующим словообразованиями, предлагалось преобразовать и украсить жизнь, выгащить картины на улицу, а на площадях бить в барабаны. Поэма кончалась грозным предостережением о том, что жалкие пассаисты, этого не исполнившие, все равно бесславно умрут! «О, проклятие! Значит, меня завтра расстреляют! Да, да — завтра, я знаю, у них все в двадцать четыре

часа! Завтра в половине одиннадцатого! Но что делать? Я с удовольствием вынес бы на Зубовскую площадь мою картину «Девушка мечтает в плодовом саду», но они ее забрали у меня,— эти прохвосты из «Материнства». Я не умею играть на барабанах! Значит, конец, смерть, и даже без бюро!..» Я еле-еле успокоил его, объяснив, что это лишь стихи. «Как? Вы называете этим прекрасным именем бред бешеной собаки? Я сам люблю стихи! Я всегда с Зизи читал: «до» — Гюго или Ростан — для порыва, а «после», отдыхая, Мюссэ или графиню де Ноай. Но это ужас, это преступление, а не стихи!..»

На улицах, по случаю какого-то праздника (с тех пор как меня выгнали из гимназии, я потерял интерес ко всяким святам, в том числе и революционным), висели плакаты футуристические, кубические, супрематические, экспрессионистические и некоторые другие. Выбрав один, наиболее ему понятный, изображавший изумрудную бабу с ногами, растущими из груди, и с четырьмя жадами в различных положениях, освещении и трактовке, мосье Дэле принялся рыдать: «Искусство! О, мой милый охотник, который давал мне порыв! О, красота! женщина! любовь! Все поругано!»

Так пришли мы к Театральной площади, где застали любопытную сцену. Некто, по фамилии Хряц, а по профессии чемпион французской борьбы и «футурист жизни», дававший советы молодым девушкам, как приобщиться к солнцу, водружал сам себе в скверике памятник. Хряц был рослый, с золоченными бронзовым порошком завитками жестких волос, с голыми ногами, невыразительным лицом и прекрасными бицепсами. Толпа опасливо молчала, полагая, что это какой-нибудь «большой большевик». Мосье Дэле всхлипывал. Потом пришел красномарец, сплонул и повалил статую на землю.

Публика разошлась, и мы направились в гостиницу, указанную мистером Кулем. Увы, там мы узнали, что американец, как «закоренелый эксплуататор», отправлен в концентрационный лагерь близ Симонова монастыря. «Это второй потоп!» — закричал мосье Дэле. Мы решили немедленно навестить бедного мистера Куля и нашли его в ужасном состоянии. Он исхудал и даже отпустил бороду. Со скуки он записывал в свою чековую книжку, потерявшую всю прелесть кладезя таинственных увеселений, несложные события тюремной жизни: «24-го выдали по два фунта сушеной воibly. 27-го на обед пшено.

29-го фабриканту Смитсу переслали фунт сахара, и он дал взаймы три кусочка». Желая утешить мистера Куля, я принес ему в подарок библию — большой том с иллюстрациями — и начал читать вслух: «Последние будут первыми». Но, очевидно, от плохой пищи мистер Куль заболел потерей памяти, — не узнавая любимых текстов, он выхватил из моих рук толстую книгу и в ярости ударил ею меня по голове. После этого он начал вопить, что мосье Дэле тоже «закоренелый» и что его необходимо также посадить в лагерь. Мы поспешили уйти.

От мистера Куля мы направились к Алексею Спиридоновичу. Уже на лестнице мы услышали причитания и стоны: это наш друг читал газету. «Срублен «Вишневый сад», — закричал он, даже не здороваясь с нами, — умерла Россия! Что сказал бы Толстой, если б он дожил до этих дней?» Потом он кинулся на грудь мосье Дэле. Я не любитель фотографий, но много дал бы, чтобы увидеть сейчас запечатленной эту сцену. Алексей Спиридонович объяснил мосье Дэле, что ко всему происходящему Россия не имеет никакого отношения, это дело двух-трех подкупленных немцами инородцев. Но скоро наступит освобождение — и он, Алексей Спиридонович, клянется мосье Дэле, что все долги, до последнего сантима, будут выплачены. Пока же он ничем помочь не может. Он болен нервным расстройством, саботирует и ждет светлого дня открытия Учредительного собрания.

Не более утешительными оказались наши дальнейшие визиты. К Шмидту, занимавшему важный пост, нас так и не пропустили. Получив после многодневного стояния в очередях семь различных пропусков, мы были под конец задержаны неким человеком, которому не понравились ни печати на пропусках, ни наши лица. Зато на улице мы встретили Эрколе. Увидев нас, он сразу принял героическую позу, одну руку выпятив вперед, а другую прижав к сердцу. «Вы не знаете — я теперь памятник, да, да, монумент, и это такое же занятие, как и всякое другое, ничем не хуже, чем перебирать четки!» Эрколе рассказал нам, что его вздумали потянуть на какие-то трудовые работы, кажется, сгребать снег, пренебрегая тем, что он, римлянин, Бамбучи, никогда не работал и работать не будет. Тогда он разыскал итальянца, торговавшего кораллами, и начался совет — что делать? Эрколе хотел вернуться к своему ватиканскому прошлому и объявить себя снова доминиканцем.

«Избави тебя мадонна, — закричал торговец кораллами, — это сейчас совсем не в почете, даже наоборот!» — «Тогда я скажу, что я убил тысячу австрийцев, что я почти генерал, подгенерал». — «Еще хуже, могут пристрелить». — «Но что же они, черти, любят?» — «Искусство — это теперь вроде монахов». Эрколе, обрадованный, вспомнив родной Рим, статуи богинь, чертей на порталах церквей и рисовавшую его англичанку, сначала решил объявить себя художником. «Но тебя могут заставить восемь часов в день рисовать картины». Раздумие. Плевок. Решение найдено — он будет не художником, а картиной, то есть не картиной, а статуей.

На следующий день, прорвав все заграждения, он проник на заседание археологической комиссии и начал изображать богов, полководцев и тритонов Рима. А домой ушел с вождленным удостоверением, гласившим, что «товарищ Эрколе Бамбучи состоит под защитой Отдела охраны памятников искусства и старины РСФСР».

Сообщив все это и добавив, что он получает довольно скверный паек, но может подарить мосье Дэле фунт крупы и четверть фунта так называемых «кондитерских изделий», Эрколе показал фонтан Нептуна, особенно значительно плюнул и ушел.

Все эти встречи ужасно отразились на мосье Дэле. За неделю, проведенную с ним, я мог убедиться в серьезности его состояния. Оставалась последняя слабая надежда: Эрколе сказал нам, как найти Айшу, добавив, что он живет очень хорошо. Мосье Дэле немного воспрянул духом, высказав предположение, что Айша, наверное, служит грумом у какого-нибудь «крупного бандита», то есть большевика, и сможет вернуть Дэле банк, сейф, книжку, а также помочь ему выбраться из этой варварской страны.

Мы пошли по указанному адресу, а именно в Комиссариат иностранных дел. В просторных залах для приема посетителей было пусто, так как в то время Россия ни в каких сношениях ни с каким государством еще не состояла. Только одна старая дама, очевидно гувернантка, устраивала бурную сцену самому комиссару по поводу незаконно у нее — швейцарской гражданки — реквизированных ночных рубашек и других вещей, которые она, будучи не большевичкой, а честной кальвинисткой, назвать не может. Мосье Дэле, не желая пропустить случая, тоже стал протестовать, говоря сразу о сейфе, о Кузьме и о

пилюлях «пинк». Комиссару это не понравилось, и, дипломатически улыбнувшись, он вышел.

Мы спросили, где Айша, и нас направили по соседству, в Коминтерн, в «Секцию народов Африки».

Хотя за время войны и революции я потерял божественное чувство удивления, рассказ Айши меня взволновал. В общем, Эрколе был недурным памятником, а мистеру Кулю, с его жаждой духовной жизни, даже шла тюремная решетка. Но Айша, милый Айша, с которым я шалил на берегах блаженного Сенегала, в роли заведующего пропагандой среди негров, — это было необычайно, изумительно и гениально в своей простоте! «Белые нас убивали, нехорошие были. Теперь мы не пустим к себе добрых капралов!» Словом, Айша чувствовал себя великолепно в этой новой роли. Зато я боялся глядеть на мосье Дэле; у него были дикие глаза, он хрипел и почему-то норовил припечатать лежавшей на письменном столе печатью волосы Айши. Кротко улыбаясь, Айша проявил хорошую память и добродушие, обратившись к мосье Дэле: «Помнишь, ты Айше сказал: «Айша мой, французский, иди, Айша, работай на войне». Теперь Айша говорит: ты мой, сенегальский, Айша тебя очень любит! Иди работать, будешь младшим делопроизводителем в моей канцелярии».

Тогда произошло нечто безумное. Мосье Дэле, вскочив на стол, тоненько, по-петушиному завопил: «Я вне классов! Жабь! Падаль из шестнадцатого! Вы хотите уципнуть меня за икры! Я вам покажу! Как они воняют! Чернь! Мертвецы! Дайте мне триста надушенных платков! Припечатываю ваш Сенегал и хороню по третьему классу! Верните сейф! Да здравствует франко-русский союз! Бригадир, вяжите Кузьму и к мосье Деблеру его! На гильотину! Чик-чирик! А потом без бюро, в яму!..»

Увы, не оставалось сомнений — бедный мосье Дэле сошел с ума. Его связали и отвезли на Канатчикову дачу. На следующий день я принялся за свои прерванные занятия и, оплакивая все, искренне плакал над судьбой дорогого мосье Дэле, который во имя химерического «Универсального Некрополя» променял душистый горошек и Люси на унылые палаты больницы для умалишенных. Его чувство порядка и гармонии, стройная иерархия мира не могли выдержать дикого хаоса или, по предсказанию Учителя, «уютенького приготовительного класса».



## хуренито пишет декреты.— спор о свободе в вчк

Ранней весной, когда даже правительство, убедившись в иллюзорности Петербурга, переехало в Москву, неожиданно появился Учитель. Он пришел ко мне, осведомился о моем образе жизни, не одобрил его, предложил мне оплакивание немедленно прекратить и ехать с ним в Кинешму, в качестве его личного секретаря. На вопрос, что, собственно, он делал в течение шести месяцев, он ответил кратко: «Крепкий быт, черт его побери! Выкорчевывал, мозоли натер!» В Кинешму он ехал в качестве комиссара.

Через три дня мы сидели на продавленной кровати кинешемской гостиницы, и Учитель, глядя в окошко на улицу, где местные охальники шупали мимоходом сонных волооких баб, развивал свою программу: «Хуже всего, если вместо сноса и стройки пойдет ремонт. Что может быть пошлее, пересадив галерку в партер, тянуть ту же идейную драму? Я попытаюсь воплотить в жизнь новые основы равенства, организации, осмысленности».

Засим в соседней комнате задорно затрещали машинки — это Хуренито диктовал декреты. Начал он с равенства. Все комиссары, советские спецы и артисты местного «кабаре имени Карла Маркса» переселялись в рабочие каморки и подвалы. Далее, для заведующих складами одежды или стоящих во главе «Комиссии по сбору излишков у буржуазии», устанавливалась форма: косоворотка, полушубок (простой), картуз, солдатские сапоги. Наконец, меню высших и низших служащих продовольственного отдела ограничивалось пшенной кашей, в просторечье именуемой «пшой». Но эти разумные меры привели к величайшему беспорядку. Деятельность различных, крайне важных учреждений (в том числе «Комиссии по сбору излишков» и «кабаре имени Карла Маркса») приостановилась. В центр были посланы многочисленные жалобы.

Хуренито, не отчаиваясь, приступил к подготовке всемирной организации и к истреблению растлевающего, по его словам, призрака личной свободы. Он опубликовал в один и тот

же день — 12 апреля — три небольших декрета, относящихся к различным областям жизни. Вот их точный текст:

I. «Ввиду недостатка кожевенного сырья и готовой обуви, а также ввиду плохого состояния тротуаров г. Кинешмы, запрещается с 15-го с. м. всем гражданам ходить по улицам в рабочие часы с 10 до 4 часов вечера, кроме направляющихся по делам службы и снабженных соответствующими удостоверениями».

II. «До выработки центральными советскими органами единого плана рождений на 1919 г., запрещается с 15-го с. м. гражданам г. Кинешмы и уезда производить зачатья».

III. «Условия настоящего момента требуют от всех честных граждан максимального напряжения сил для воссоздания промышленности и транспорта. Поэтому, в целях экономии мозгов соработников, из общественной библиотеки временно прекращается выдача книг философских и теологических».

Эти декреты вызвали подлинную бурю. Кинешемская коммунистическая организация решила, что Хуренито не марксист, и обратилась в Центральный Комитет партии.

«О, лицемеры! — негодовал Учитель.— Они призваны разрушать, но среди развалин, с ломом в руке пытаются разыгрывать археологов или, по меньшей мере, антикваров. Чем эта шикарная лестница пайков, от восьмушки хлеба до бутербродов с икрой, хуже шестнадцати классов нашего несчастного друга? Они любят свободу не меньше Гладстона, Гамбетты и членов «Общества защиты интересов мелкой торговли в южных департаментах Франции». И как джентльмены «Ольд-Энгланд», они пекутся о святости домашнего очага. Как будто заставить рожать или запретить рожать труднее, чем приказывать убивать или молиться, чем запретить думать не по-указанному или спать с некупленными и неприпечатанными объектами? Ханжи, драпировщики на кратере Везувия, великосветский бомонд, ряженный апашами, портняжки, кладущие последнюю, трагическую, вырезанную с самого неподходящего места, заплату на изношенные до последней нитки штанишки Адама!»

Враги Хуренито энергично работали для того, чтобы сместить его. В корреспонденции, посланной в петербургскую «Красную газету», Учитель был определен как «невежествен-

ный самодур», «один из примазавшихся», «позорящий своими поступками святое пролетарское дело».

Решительный бой разыгрался вскоре из-за отношения Хуренито к проблемам эстетики. Учитель полагал, что искусство, — так, как оно понималось доселе, то есть размножение совершенно бесцельных вещей, — является для нового общества ненужным и должно быть как можно скорее уничтожено. В одной из дальнейших глав я изложу подробно соображения, которыми руководствовался Учитель в своем неоиконоборстве, пока же настаиваю на выводах, а именно на его твердом намерении поступить с девятью музами так, как поступили с «закоренелым» мистером Кулем. Кинешемские большевики придерживались взглядов противоположных и искусство обожали. В городе открылось восемнадцать театров, причем играли все: члены исполкома, чекисты, заведующие статистическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные «контрреволюционеры» и даже профессиональные артисты. В театре имени Либкнехта Коммунистический Союз Молодежи ежедневно ставил пьесу «Теща в дом — все вверх дном», причем теща отнюдь не являлась мировой революцией, а просто тещей доброго старого времени. Все это, конечно, отличалось лишь количественно от прежнего кинешемского театра, который содержал купец Кутехин.

В области живописи также было сделано немало. Благодаря несознательному отношению крестьян к произведениям искусств, из усадьбы были вывезены различные шедевры, и в Кинешме торжественно открыт музей. Гордостью музея были три картины: на первой была изображенадохлая рыба, раскрывшая рот, пустая бутылка и кочан капусты, с подписью — «голландская школа», на второй, «приписываемой Андреа дель-Сарто», очень большегрудая, дородная баба кокетливо улыбалась почтальону в костюме ангела и с глазами барана, третья была испещрена различными фиолетовыми и просто грязными, как бы чернильными пятнами, долженствовавшими передавать, по мнению Врубеля, нечеловеческую страсть Демона.

Учитель, не колеблясь, приказал музей и все театры немедленно закрыть, помещения предоставить для профессионально-технических школ, художников мобилизовать для выработки моделей солидной и удобной мужской обуви и канце-

лярских стульев, а актеров, снабдив всяческими директивами, отправить в уезд уговаривать крестьян сажать побольше картофеля.

«Рабис», то есть союз работников искусства, послал в Москву отчаянную телеграмму, и вскоре был получен ответ: «Убрать вандала». Председатель коммунистической организации торжествовал: «Я говорил, что он не марксист, но буржуй, то есть вандал!» Мы же с Хуренито отправились в Москву.

Тотчас по приезде мы пошли на большой митинг в аудитории Политехнического музея. По речам первых ораторов мы могли убедиться в том, что точка зрения кинешемских актеров разделяется великими дерзателями и рулевыми. Вот что говорили ораторы: «В пролетарском государстве воскресает красота античного мира», «мы поборники вольной мысли», «ныне наступило истинное царство свободы». Учитель не мог вытерпеть этой древней жвачки, линиялых незабудочек и ста тысяч продавленных тюфяков, он закричал: «Как вам не стыдно возиться с протухшей красотой или с трухлявенькой свободой? Вы настоящие контрреволюционеры!..»

Произошло некоторое смятение, а когда мы вышли из музея и сделали шагов сто, два изящных молодых человека очень любезно предложили нам продолжить путь в автомобиле и со всеми удобствами отвезли нас в ВЧК.

Допрос Учителя был краток. «Вы отрицаете наличие красоты и свободы в коммунистическом государстве?» — «Безусловно!» — «Вы считаете выступавших на митинге контрреволюционерами?» — «Разумеется!» Я же на допросе стыдливо мычал, жаловался на боли в желудке, но в конце концов подписался под показаниями Учителя.

Вечером нам пришли объявить, что мы приговорены к высшей мере наказания. «Что это?» — спросил я. «Так как приговорить нас к бессмертию не в их власти, то, очевидно, это самый банальный смертный приговор», — ответил мне Хуренито.

Снова пережил я угрюмые часы ожидания смерти. Мне очень не хотелось умирать, во-первых, потому что я откровенно и нагло люблю жизнь, всякую, даже в камере чрезвычайки, во-вторых, из-за любопытства, чем кончится этот великолепный переполох. Я не умел тогда еще осмыслить, опознать

происходящего; слепо подчиняясь словам Учителя, я не понимал его намерений и часто в душе роптал. Иногда мне мучительно хотелось простой будничной жизни, без масштаба вселенной, без перспективы тысячелетий, жизни со слоеными пирожками и со стихами Бальмонта. Тогда я бежал к Алексею Спиридоновичу, у которого была большая карта России и который всегда точно знал, где находятся чехословаки, донцы, немцы или французы, — словом, близок ли «светлый день воскресения».

Иногда, когда я попадал в общество подрядчиков или присяжных поверенных, равно погибавших без «Русского слова» за утренним кофе, с душевными фельетонами попа-расстриги Григория Петрова, без завтраков в «Праге», без биржи, без клуба, без «свободы слова, печати, совести, передвижений», я вдруг приходил в веселое состояние и радовался их горю. Я испытывал в такие минуты глубокое нравственное удовлетворение перед торжеством справедливости, достойным хорошего английского романа, а также истинный экстаз от мирового скандала, знакомый всем поклонникам выдающегося актера Чарли Чаплина, который идеально громит посудные лавки и сбивает с ног почтенных дам.

Но бывали минуты, когда и чехословаки с булочками, и разбитые вазоны меня не удовлетворяли. Я старался постичь слова Учителя о новом железном искусстве. Я хотел взглянуть на самого себя пыльными глазами историка. Тогда я видел вещи чудесные и ужасные — небо застилалось циклопическими спиралями и кубами. По гулким, светлым и холодным площадям маршировали осмысленные табуны грядущих поколений. Природа юлила, ползала в ногах и выкидывала из-под своего форменного «таинственного покрывала» белый фляжок. А в конце мерещилось нечто вроде последней железнодорожной катастрофы, с участием комет и других посторонних тел, осколки стекла, ржавь, освобождение.

Ожидая смерти в камере ВЧК, я залпом, судорожно думал обо всем и чувствовал, как нелепо, глупо умереть, не досидев даже до конца первого акта. Ночь прошла скверно, а утром нас вызвали и повели по скользким, пропахшим капустой и кошками лестницам, по коридорчикам и глухим внутренним дворам. Учитель вел меня под руку, и это придавало мне силы. Он улыбался и шутил с солдатами, протестуя против того, что

ему не выдали утром пайка, который он успел бы еще съесть. У меня в ушах гудело, и бессмысленно мелькали перед глазами неожиданные клочья не убранной с неба синевы. Потом нас почему-то повели снова по лестницам и проходам и, вместо того чтобы просто, честно пристрелить, впустили в комнату с грязными замусоленными обоями, где на диване какой-то интеллигент пил чай вприкуску.

Посмотрев на нас близорукими, весьма добрыми глазами, он сказал, что по случаю приезда в Москву делегации, кажется, сиамских коммунистов, объявлена амнистия и нас, в частности, расстреливать не будут. Учитель выслушал это молча, я же промолвил вежливо, как меня учили в детстве, — «мерси». Но интеллигент, явно не удостаивая меня вниманием, обратился к Хуренито с вопросом: «Скажите, пожалуйста, неужели вы столь злы и слепы в своей ненависти к рабоче-крестьянской власти, что не видите очевидного всем, не хотите признать простенькой истины, а именно, что РСФСР — подлинное царство свободы?»

Учитель улыбнулся. «Товарищ, увы, я не слеп, не злобствую, говорю «увы», ибо злоба и слепота являются залогом борьбы, движения, а следовательно, жизни. К сожалению, у меня зоркие глаза, трезвый ум и уравновешенный темперамент. Но это так, между прочим. Еще менее могу я ненавидеть власть, жизнь меня научила уважению ко всем ремеслам. Революция же мне вполне по сердцу, и я полагаю, что в течение тридцати одного года своей жизни я предпочтительно занимался именно уничтожением, подрывами, подкопами и всяческими очистительными операциями. Что касается свободы, то это — абстракция, в наши дни крайне вредная. Вы уничтожаете «свободу», поэтому я вас приветствую. Вы величайшие освободители человечества, вы несете ему прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное. Будет день, когда для школьников выпускного класса свобода станет революционным кличем и от него полетят, как перья общипанной курицы, тысячи облачений ныне строящегося мира. Но сегодня «свобода» — понятие контрреволюционное, подушка, рантье, леденец в кулаке антропофага, канонизация всех помойных ям мира. Я приветствую вас — вы за год основательно вышибли из голов лежебоков, грезеров и сляктяев само понятие свободы. Но мне очень обидно видеть, что в безумном

повороте корабля повинен не руль, а волны. Короче — вы сами не сознаете, что делаете. Это, конечно, бывает часто, но это все же невесело. Если вы меня не расстреляете, я буду по мере своих сил работать с вами, то есть уничтожать красоту, свободу мыслей, чувствований и поступков во имя закономерной, единой, точной организации человечества!»

Интеллигент, который оказался революционным следователем, пришел в негодование. Отставив чашку, он даже слез с дивана, пробежался по комнате и, желая убедить Учителя, раскрыл «Коммунистическую азбуку» и начал читать о прибавочной стоимости. Прочитав страницы три, он воскликнул: «Теперь, надеюсь, вы поняли — из царства необходимости мы вступаем в царство свободы!»

«Дорогой товарищ, я ничуть не сомневаюсь, что царство свободы когда-нибудь настанет (возможно, тогда, когда будут истреблены последние люди на нашей планете). Пока что мы именно вступаем в царство откровенной необходимости, где насилие не покрывается пошлой, сладенькой маской английского лорда. Умоляю вас, не украшайте палки фиалочками! Велика и сложна ваша миссия — приучить человека настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными объятиями матери. Для этого вовсе не надо подходить осторожно, крадучись, пряча колодки за спину. Нет, нужно создать новый пафос для нового рабства. Мало соблазнять приготовишку дипломами, надо научить его радоваться восьми годам — восьми векам, а может быть, тысячелетиям. Вы, кажется, несмотря на свою интеллигентность и пристрастие к цитатам, человек дельный, энергичный. Оставьте же свободу сифилитикам из монмартрских кабаков и делайте без нее все, что вы, собственно говоря, и так делаете!»

«Вы несправимы, — сухо ответил следователь, — Я не вполне точно выяснил, благодаря вашей странной терминологии, являетесь ли вы монархистом или анархистом. Во всяком случае, вы контрреволюционер, и ваши симпатии к советской власти носят провокационный характер. Мы не враги, мы ревнители свободы. Смертная казнь по отношению к вам и к гражданину Эренбургу заменяется принудительными работами и содержанием в концентрационном лагере вплоть до окончания гражданской войны. Надеюсь, там вы осознаете свою ошибку!»

## МИСТЕР КУЛЬ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СЕМЕЙСТВЕ.— СЛЕЗЫ ПРОДКОМА.—СВЯТОЙ ГРААЛЬ

Мы попали в лагерь, где содержался мистер Куль, и таким образом наше заключение было не лишено приятности. Неутомимый миссионер успел за время своей неволи несколько освоиться с происшедшими переменами и даже с ними примириться. Конечно, он не сделался коммунистом, даже не объявил себя «сочувствующим», но все же смягчился и восстановил былое уважение к своим двум книжкам — синенькой и сафьяновой. «Я ошибался, думая, что все погибло: доллар и нравственность продолжают царить над людьми. Чем больше преследуют доллар, тем быстрее он растет, и осмеянная нравственность вновь правит ее поносителями. Верьте практической жилке мистера Куля — не так страшен коммунист, как его малюют».

Учитель вел с мистером Кулем длинные беседы на темы скорее абстрактные: «Понятие собственности у евангелистов», «Святой Павел и Ленин» и тому подобные. Я же убивал время, играя с американцем в «шестьдесят шесть» на четверку табаку за шестьдесят шесть выигранных партий. Хотя нас отправили на принудительные работы, мы, кроме упомянутых занятий, ничего не делали и делать не могли. Комендант лагеря на наши жалобы отвечал, что специальная комиссия займется вскоре изысканием наиболее производительных работ для нас. Учитель к комиссиям всегда относился с нескрываемым скептицизмом, и поэтому, томясь вынужденным бездельем, стал искать и вскоре нашел другой выход.

Оказалось, что мы можем быть освобождены на поруки двух членов коммунистической партии. Первым мог быть, конечно, Айша. Насчет второго мы колебались. До нас дошли слухи, будто Шмидт окончательно переменялся, послал к черту свою Империю и стал деятельным «спартаковцем», но это были лишь слухи.



Мы совсем было потеряли надежду найти второго коммуниста, когда несчастный случай спас нас. В нашем лагере содержался некто Брюхалов, бывший владелец трактира с садиком на Шаболовке. Времени он даром не терял, все время корпя над какими-то книжками, и часто ночью я слышал, как он тупо, но с упорством повторял: «Стокгольмский съезд, Лондонский съезд. Пресвятая богородица спаси и помилуй!..» Вот этот-то Брюхалов однажды взял полученный мною табачный паек — пятнадцать папирос — и засунул себе в карман. Я возмутился и начал даже кашлять от гнева. Но Брюхалов дружески объяснил мне, что он вообще в лагере не числится, а живет по доброй воле до получения ордера из жилищно-земельного отдела, так как вчера сдал экзамен по политической грамоте и рассчитывает войти в ячейку кандидатом. Я сразу перестал кашлять, то есть начал вежливо покашливать. Брюхалов оказался человеком добрым и незаносчивым. После недолгого, но серьезного разговора с мистером Кулем он дал свою подпись.

Мы были освобождены и немедленно все трое поступили на службу: Учитель к Айше в подотдел Южной Африки, мистер Куль в «Междуведомственную комиссию по борьбе с проституцией», я же — в детский театр Дурова, где помогал дорогому Владимиру Леонидовичу просвещать кроликов и морских свинок по части стрельбы из пушек, вздергивания флагов и прочего героизма.

Поселились мы все вместе в двух комнатах, реквизированных у спекулянта Гросмана. Там же рядом помещалась коммунистическая чета Назимовых. Мистер Куль чувствовал себя великолепно. Совместно с Гросманом он осуществлял в американском масштабе своеобразное продолжение «Мертвых душ», скупая национализированные фабрики, аннулированные акции и реквизированные ценности. Гросман ежедневно рыскал по сомнительным адресам, принося как добычу затертые облигации. Он в упоении излагал мистеру Кулю свой символ веры: «Выше всего биржа! Гоните нас — мы уйдем в катакомбы и там, в темноте, задыхаясь, будем жить шепотом цифр, шелестом бумажек. Я согласен за это умереть! Даже пред смертью я крикну: трехпроцентный растет! бедные Мальцевские! незыблем фунт! Биржа — пульс мира. Я прихожу в жалкую конуру, где ютится биржевик Чибищев, у которого «они» отняли

все. Жена, дети, печка, суп, нищета, дым, небытие! И тогда паступает сказочное, таинственное. Чибищев шепчет мне: «Доллар растет, в Париже он поднялся на два пункта!» И я вижу торжество Нового Света, статую Свободы в гавани Нью-Йорка. «Лиры падают!» Бедная Италия! Там «они» начинают работать. По жилам мира струится кровь, и я, Гросман, отрезанный от священных бирж Лондона, Парижа, Берлина, слышу здесь, в большевистской Москве, ее жар и бег». Мистер Куль, просветленный и растроганный, жал руки Гросмана.

Но как это ни покажется странным, американец подружился и с Назимовыми. Это были милые честные люди, старые партийные работники. Мистеру Кулю нравилась их глубокая нравственность. Как-то раз, когда ко мне пришла одна почитательница моего поэтического таланта и во время не ушла, товарищ Назимов поделилась с мистером Кулем своими соображениями: «Эренбург — прекрасный образец вырождающейся буржуазной культуры. Я, конечно, против церковного брака, но ведь мы установили брак гражданский. А главное, я бы не придиралась к нему за то, что он не объявил в подотделе записи гражданских актов о своих намерениях по части этого товарища женщины, если бы я чувствовала, что у них настоящая идейная близость, но, уверяю вас, этого нет! Я с моим мужем, товарищем Андреем, связана тринадцатилетней партийной работой. Только этим можно все объяснить. Представьте себе, если бы он был меньшевиком, как я могла бы?..» В комнате Назимовых висели открытки: портрет Карла Маркса, «Какой простор» Репина и Венера Милосская, — Назимовы свято чтит искусство. Когда Назимов ходил на «субботник», а именно таскать дрова на Рязанский вокзал, он по дороге все время вспоминал любимые стихи Бальмонта: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих бурь!» Назимова любила посещать Художественный театр, и когда там гудел ветер, трещали сверчки, звенели бубенчики или что-то переливалось в желудке «лишних людей», она умилялась — «это сон, мечта!..»

Жили Назимовы скромно, утром на службе, днем в комиссиях, вечером на заседаниях. Иногда, после волнующих бесед с Гросманом, мистер Куль поздно за полночь любил зайти в комнату Назимовых. Там уютно горела лампа, и товарищ Ольга читала товарищу Андрею последние «тезисы о проф-

союзах», он же прерывал ее вставками: «это синдикализм», «где же Маркс?», «опасная демагогия мартовцев» — и прочим. Мистер Куль садился и тоже слушал, не столько, собственно говоря, слушал, сколько наслаждался безупречным миром и тишиной этого семейства. «Вы не революционеры, — говорил он, — вы самые достойные квакеры. Я совсем не боюсь вас», — и он храбро касался руки товарища Андрея, который не слушал его, потрясенный «мелкобуржуазным уклоном рабочей оппозиции».

Мистер Куль привлек товарища Назимову к работе в «Комиссию по борьбе с проституцией». Как ряд других кустарных промыслов, это ремесло процветало в Москве, утратив прежний узкокастовый характер. Все, конечно, понимали его глубокие социальные корни, но, не довольствуясь диагнозом, прибегали к паллиативам. Мистер Куль предлагал натурпремирование перешедших на производительный труд, товарищ Назимова (которая вообще, как и большинство встреченных мною коммунистов, отличалась крайним идеализмом) стояла за нравственную работу, в частности за лекции, посвященные великим коммунисткам мира.

Большую роль в комиссии играл товарищ Раделов, комиссар продкома. Он приходил иногда к мистеру Кулю, и мы с ним познакомились. Человек, всецело преданный своей идее, он говорил исключительно о вагонах, грузах, пудах хлеба, сушеной рыбе и прочем. Сам он ходил в перелицованной дамской жакетке, неизвестно как к нему попавшей и совершенно изодранной, питался фунтом хлеба и мерзкой жижей, именуемой «супом из овощей для столовых категории «Б», худел, болел, но ничего, помимо ползущих по каким-то линиям таинственных вагонов, не замечал. Была у Раделова одна слабость — порой находила на него дикая, нечеловеческая страсть к женщине, не к какой-либо, — обремененный вагонами, он людей не замечал, — но к женщине вообще. Был же он уродлив до какой-то музейной исключительности, с пурпуровым лицом, глубоко изрытым оспой, с бельмом на левом глазу и с огромным кадыком, трепещущим под высоким бумажным воротничком. Никакая женщина к нему никогда ничего, кроме брезгливости, смешанной с жалостью, не испытывала. Пойти к проститутке Раделов не мог, это в корне противоречило его принципам, но порой занимался наивным самообманом, а имен-

но находил какую-нибудь горничную или белошвейку, приносил ей подарки, говорил с полчаса об идеях, а потом, теряя сознание, говорить переставал, действовал.

Как раз такую вспышку давно не удовлетворенных вожделений испытывал Раделов, когда я с ним познакомился. Минутами казалось, что вот-вот произойдет необычайное крушение его таинственных поездов.

Как-то вечером Раделов пригласил меня и Хуренито пойти с ним вместе к милой телефонистке, которую он просвещает, готовясь стать ее «крестным отцом» в торжественный день вхождения в «ячейку». Мы согласились, и Раделов захватил с собой два фунта сахару и фунт льняного масла — весь свой месячный паек. Как я сказал уже, сам он ел хлеб всухомятку, а чай (морковный) пил без сахара.

Телефонистка — товарищ Маруся — оказалась очень кротким и еще более худым существом. Я видел в Москве худых людей, — собственно говоря, только худых там я и видел, — но худоба Маруси была поразительной: скелет с плохо натянутой дряблой кожей. Увидев сахар и масло, она богомольно уставилась глазами на них и оторваться больше не могла. А Раделов принялся с особенным жаром говорить о вагонах и грузах, сколько пудов чего едет в Москву. «По карточке «А» выдадим еще сельдей и керосина. Сколько величия в этом уравнительном потреблении! Тринадцать тысяч сто два вагона! Единый хозяйственный план. Впервые трудовые элементы, освободившись от паразитических, обеспечены всем необходимым!» Маруся все продолжала глядеть на бутылочку с мутной желтой жидкостью.

Вдруг Раделова всего передернуло. Не докончив гимна в честь новой карточной системы, он подсел поближе к Марусе и пробормотал, задыхаясь: «Вы, товарищ!.. сознательная и прекрасная!..» Мы отошли в сторону и начали внимательно разглядывать висевшую на стене картинку, «Остров мертвых» Беклина.

Но неожиданно Раделов вскочил с криком: «У вас кости, слышите, кости торчат! Что ж это? Как же так?» Маруся, растерянно поправляя блузку, шептала: «Так что паек уменьшили, за прошлый месяц вовсе не выдали, жиров нет, простите, товарищ!..» Раделов громко плакал, не плакал даже, а выд. Среди рыданий пробивались отдельные слова: «Паек!.. я не

могу!.. жиры!.. как же это?.. бедная!..» Он стал еще уродливее. Распухший, красный, сидя на корточках, он все плакал и плакал.

Мы вышли. На лестнице было скользко — ступеньки обмерзли — и темно, а из квартиры доносился безумный, ни на что не похожий вой. Учитель сказал мне: «Люди смеются над каждым, кто не умеет рассчитать шага, кто, ступая, не замечает ступеньки и падает. Бедные люди — как они панихидно торжественны перед своей масляничной чепухой, как беззаботны и тупы перед обреченностью, перед невозможностью! От тринадцати тысяч ста двух вагонов до ребрышек Маруси — один шаг и бесконечность. Слезы Раделова великие, незабвенные слезы. Если б я возился с обрядами, я собрал бы их в чашу — новый святой Грааль. И когда человечество засыпало бы, прихрюкивая от удовлетворения, сочинив стишок и придумав вполне осуществимую реформу, я кропил бы этими слезами отчаянья и стыда творцов «гармонии», поборников прогресса, тучную землю, унавоженную ничтожеством мертвых и обжорством живых!»

глава двадцать седьмая

## марк аврелий и главки.— «шаксэ-ваксей»

Положение Хуренито упрочилось, и он получил в Коминтерне высокое назначение. Я же продолжал с Дуровым революционизировать кроликов, получая за это половину академического пайка. Так шли месяцы. Я ел пшеничную кашу, ночью контрабандой мечтал о жирных бифштексах, о парижских кафе, о жизни легкой и невозвратимой. Иногда мне становилось невмоготу, и я искал поддержки у Хуренито, неизменно бодрого, хотя тоже сильно похудевшего и от холода в нетопленных комнатах захворавшего ревматизмом.

Мы с ним любили ходить поздно вечером по совершенно пустым, мертвым улицам с задымленными грязными домами. Москва казалась сестрой Брюгге или Равенны, громадным мавзолеем, и только неожиданные отчаянные гудки автомобиля да

лихорадочные огни в окнах штабов или комиссариатов напоминали, что это не развалины, но дикие чащи, что мы не засыпаемые снегом плакальщики, а сумасшедшие разведчики, ушедшие далеко в необследованную ночь.

Во время одной из таких прогулок на Красной площади мы встретили Алексея Спиридоновича. Имел он вид человека окончательно затравленного и отчаявшегося. Рассказал нам, что, увы, дух духом, а помимо сего низменное брюхо. Словом, ему пришлось «сдаться в неравной борьбе» и поступить на службу. Он долго колебался, до последней минуты помышлял о самоубийстве и о бегстве на Дон, потом написал письмо потомству с оправданием своего поступка и выбрал наконец место, где паек был немного лучше (два фунта масла). Учреждение называлось «Гувузом», и он должен был курсантам, обучавшимся ведению военного хозяйства, читать лекции о русской литературе. «Но представьте себе, какой ужас! Варвары! Можно ли это пережить? И Европа все еще молчит! Я начал читать им про Чехова, про нежных задушевных земцев, мечтавших о царствии божьем на земле, явился какой-то комиссар и заявил мне, что все это никому не нужно, пора бросить буржуазное нытье и начать писать полезные рассказы о героях трудового фронта, превысивших на сто процентов задание Главка. Стихов Лермонтова об ангеле он также не одобрил и указал на какого-то Демьяна Бедного, который уговаривает крестьян менять картофель на гвозди. Что ж мне делать? Сказано — простится все, кроме хулы на духа святого!..»

Учитель остался спокойным: «Этот комиссар, видно, хороший парень, не лишенный остроумия. Пожалуйста, познакомь меня с ним. Я решительно предпочитаю коммуниста, влюбленного в гвозди, нежели коммуниста в роли Лоренцо Великолепного, который хмыкает от умиления пред «вечностью надклассового Лермонтова». Что делать, любезный, не ты выбирал себе эпоху для рождения. Несомненно, ты попал не в свой век. Мне очень жаль тебя, но ругаться и поминать историю нечего. Ей подобные коленца выкидывать не впервые. Придет денек, и главки, гвозди, прочая дрянь претворятся в изумительную мифологию, в необычайные эпопеи. Я даже смею думать, что эфирский пастух прежде согрел свою похлебку на костре, нежели его поэтический внук произвел на свет Прометея. Те-

перь время начала, то есть варварства, огульного отрицания, примитивной мощи первых шагов, которыми (в отличие от обычного) очарована не перепуганная мамаша, но сам, достаточно в себя влюбленный, младенец. Прости, немного гинекологии: чтобы младенец жил, надо отрезать пуповину. Потом его поднесут к материнским сосцам, и пойдет махровый Ренессанс. Лермонтова твоего откопают и будут вздыхать: «Как прекрасно! и этого они не понимали!..»

Алексей Спиридонович не мог согласиться: «Они варвары, но у них нет высоты духа, превосходства этики! Бога у них нет! Они не первые христиане, они просто вандалы! Я сам ждал нового откровения, я сам томился от материализма Европы, я сам готов был вот на этой Театральной площади пасть ниц перед суровым пророком. Но при чем тут святые гвозди и непогрешимые главки?..»

«Очень просто! Ты ждал пророка, похожего на себя в идеальном аспекте, то есть изучающего Соловьева и Достоевского, но не бегающего в промежутках к девочкам. А получилось нечто вовсе неожиданное. Но вспомни,— разве первые христиане показались римлянам носителями «великого откровения», а не жалкими рабами с невежеством, суевериями и примитивной моралью? Вместо высокого римского права — коммунистический лепет недорезанных евреев, вместо Гомера — убогий декалог какого-то побежденного племени. Разве Нерон презирал христиан? Он их просто боялся, а презирали христиан другие — более умные конгрэры твоего Мережковского, например Марк Аврелий, Главки — вот новый завет!

Гляди (мы проходили в это время мимо Большого театра)! На почти развалившемся доме мигают лампочки. Что это? Рекламы новых папирос? Нет, скрижали Синая — «Да здравствует электрификация!» В стране, сносившей последние портки, корчащейся от голода и сыпняка, замерзающей в дырявых избах, потому что нет гвоздей, слышишь, гвоздей, а не святителей, сумасшедший возглас: «Электрификация!» Собираются люди, слушают доклады, чертят схемы, и для них светят грошковые огоньки, озаряя далекий электрифицированный рай с танцующими молотилками, беззаботными мельницами, рощами бездымных фабрик. Ради этого пусть падет на земь последний лоскут рубахи, пусть впи съедят вспухший

от жмыха живот, пусть погибнут сотни тысяч. «Верую в огонек», — кричит он. Чем не современный пророк?»

От слов Учителя мне стало невыразимо страшно. Взяв под руку стонущего Алексея Спиридоновича, я повел его к себе. Мы погрызли корочку хлеба и начали друг друга утешать, — может, все это не так, а наоборот. Коммунисты станут другими, добрыми, душевными, позволят мне печатать стихи о Петре и Павле, а Алексею Спиридоновичу читать курсантам: «Мисюсю, где ты?..» Закрывшись моим полушубком, двумя старыми жилетами и ковриком, мы наконец уснули.

Ближайшие недели доставили мне некоторое развлечение. Учитель, командированный на Кавказ для участия в съезде народов Востока, взял меня и Айшу с собой.

Наше путешествие было живописным: желая изучить нравы и обычаи населения, Учитель отказался от купе в спальном вагоне. Мы с трудом влезли в теплушку, и то лишь благодаря применению Учителем приемов французской борьбы и воинственному реву Айши. В теплушке мы оказались в обществе веселом и разнообразном. Но, к сожалению, две недели мы должны были простоять, так как даже легкое движение рукой вызывало ропот и негодование всего вагона. Впрочем, на третий день мы освоились и научились спать стоя. Поезд шел очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали все здание, досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Когда проезжали лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья. Завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, поя глоток за глотком наше чудовище.

Кроме этих мирных занятий, долгие дни пути оживлялись военными действиями. Четыре раза нападали на нас различные люди (кто точно, мы так и не узнали, комиссар мрачно отвечал — «банды»), близ Харькова стреляли даже из пулемета. Мы тоже стреляли и кое-как улепетывали. Ехавшие на крышах вагонов мешочники являлись нашими сторожевыми постами. За всю дорогу мы потеряли всего четырех пассажиров убитыми, да еще один старик просто умер, я думаю — от старости.

Наши попутчики, предпочтительно крестьяне, в промежутках между сражениями делились с нами своими взглядами на



религию, крышу, культуру и на многое другое. Во всяком случае, им нельзя было отказать в своеобразии. Господа бога, по их словам, не имелось, и выдуман он попами для треб, но церкви оставить нужно, какое же это село без храма божьего? Еще лучше перерезать жидов. Которые против большевиков — князья и баре, их мало еще резали, снова придется. Но коммунистов тоже вырезать не мешает. Главное, сжечь все города, потому что от них все горе. Но перед этим следует добро оттуда вывезти, пригодится, крыши к примеру, да и пиджаки или пианино. Это программа. Что касается тактики, то главное, иметь в деревне дюжину пулеметов. Посторонних никого к себе не пускать, а товарообмен заменить гораздо более разумными нападениями на поезда и реквизицией багажа пассажиров.

Все это Айше весьма нравилось. Учитель также не только не спорил, но сочувственно одобрял подобные проекты, советуя лишь вместо пианино брать граммофоны — легче и занятнее. Мне же, как человеку городскому, к тому же в ранней юности не лишенному идейности, такие разговоры претили. Я упрекнул Хуренито в непоследовательности, напомнив ему московские беседы. «Неужели эти внучата дедушки Пугача и являются апостолами организации человечества?»

Учитель ответил мне: «Миленький мальчик (скажу, кстати, что я был моложе его всего на три года), ты очарователен в своей наивности. Неужели ты только сейчас заметил, что я негодяй, предатель, провокатор, ренегат и прочее, прочее? В тебе чувствуется, что ты печатал свои стихи в «Русском богатстве» и любишь (не отпирайся! знаю!) прекрасодушных народников. Ты еще, может быть, вспомнив передовую либеральной газеты, заявись мне: «кто сказал» «А», должен сказать «Б!» Ха! А я еще раз скажу «А» или возьму и прямо упраздненную ижицу вытащу за уши. Мне-то что! Это относительно последовательности. А об апостолах организации тоже отвечу. Все интеллигенты вашей страны, и проклинающие революцию, и жаждущие ее принять, все они хотят поженить овдовевшего Стеньку Разина вместо персидской княжны на мудреной Коммунии. Глушцы! Был один момент, живописный, правда, но краткий, когда пути стихии и пути жаждущих эту стихию использовать совпали — осень семнадцатого года. С тех пор прошло больше двух лет, и дух «разиновщины»,

разор, раздор, жажда еще немного порезать для власти теперь то же, что для паровоза дрова. Поленья не дают направления машине, они ее кормят, правда, порой отсыревшие, замедляют ход или, наоборот, развивают такой жар, что лопаются котлы и машинист летит вверх ногами. Коммунистическая революция сейчас не «революционна», она жаждет порядка; ее знаменем с первой же минуты был не вольный бунт, а твердая система. А эти буйствуют, томятся, хотят не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорках, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу».

Наконец кончились бои, лекции крестьян, примечания Учителя, и мы приехали. Настали вновь блаженные дни, и порой, сидя в духане с Айшой, я вспоминал далекий Сенегал. Кругом все, даже декреты и непрестанные выстрелы, носило характер беспечный, сонный, отдохновенный после монастырской Москвы. Я, признаться, совершенно перестал думать о судьбах мира. Ходил в баню, где меня облепляли вонючей грязью, после чего моя животная растительность исчезала и в бассейне отражался почти Нарцисс. Изучал в духанах дивные вина, различные напареули и тальяни, которые пил из большого рога. Слушал унылые сазандари. Словом, был почти английским туристом.

На съезд я отправился лишь один раз. В большом зале сидели кавказцы в черкесках, афганцы с чалмами, в клеенчатых халатах, бухарцы в ярких тюрбетейках, персы в фесках и многие иные. У всех были приколоты на груди портреты Карла Маркса, с его патриархальной бородой. В середине восседал товарищ просто в пиджаке и читал резолюции. Делегаты кивали головами, прикладывали руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. Я слышал, как один перс, сидевший в заднем ряду, выслушав доклад о последствиях экономического кризиса, любезно сказал молодому индийцу: «Очень приятно англичан резать», — на что тот, приложив руку к губам, шепнул: «Очень».

Вдруг за окном послышалась дикая неподобная музыка — медные тарелки и трубы. Перс, тот самый, что мечтал рядом со мною в кресле, быстро вскочил и, не доголосовав двенадцатого пункта резолюции «принимая во внимание...», выбежал на улицу. Заинтересовавшись этим, я решил последовать за

ним, тем более что даже этот достаточно живописный съезд мне казался несколько скучным.

Я был вполне вознагражден, увидав зрелище хотя и неоднократно описанное, но все же неопишное. На носилках, украшенных яркими коврами и блистающими миниатюрами, сидели завернутые в черные шелка персиянки. Вокруг бежали юноши: всадники в доспехах стегали их нагайками. За ними двигались целые стада полуголых персов, которые хлестали свои спины, густо-синие от ударов, железными цепями. Но самое изумительное предстало в конце. Мужчины — юноши, степенные отцы, немощные старцы — в белых как снег халатах, шли рядами и, раскачиваясь в такт, восклицая «Шаксэ-Ваксей!», ударяли себя саблями по лицу. Чем дальше они шли, тем крики становились пронзительнее, удары тяжелее, и светлая быстрая кровь широкими потоками текла по лицам, по халатам, на сухую рыжую землю. Некоторые падали, но никто не обращал на это внимания. Мой перс вбежал в домик и минуту спустя, уже в халате, полный экстаза, кричал: «Шаксэ-Ваксей!» — и своей кровью заверял преданность чему-то мне неизвестному и чужому.

Учитель также видел эту фантастическую церемонию, и ночью, когда мы делились с ним впечатлениями, сказал: «Вот еще дрова... Ох, не взорвут ли они всю машину? Конечно, люди Востока падки на дары культуры, они отдадут свои прекрасные кувшины за эмалированные чайники и меняют старые ковры на пакоственный бархат. Но они сохранили нечто свое, особенное: какой европеец, трижды верующий, все равно во что — в туфлю папы, в мировой прогресс или в симпатичные «совьеты», — оцарапает себя булавочкой во имя идеи? А эти, и не только те, что на улице, но и делегаты, с удовольствием устроят хороший мировой «Шаксэ-Ваксей», разумеется не только по своим лбам, но и по многим другим, сначала предпочтительно английским. А потом?.. Конечно, паровоз — вещь мудреная, и этому персу его не построить, но сломать его он может...

Спокойной ночи, Эренбург! Спи хорошо! Сегодня мы видели чудесных зверей, их выпустили по соображениям высокой стратегии. Назад путь сложнее. Может быть, отсюда придет основательная баня для организовавшегося человечества? Приятных снов!..»

## ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОБЫКНОВЕННОЙ ПАЛКИ.— СХЕМА ШМИДТА

Обратно мы поехали уже в спальном вагоне и с охраной. Нас ждало неприятное, хоть и ставшее в достаточной мере тривиальным, испытание: не доезжая Москвы, мы были арестованы сотрудниками одной из разновидностей «чеки», а именно «орточекой», то есть чекой, действующей на железной дороге.

Ни тогда, ни после мы не узнали причин нашего ареста. Я думаю, что подозрение вызвал Айша, который нацепил себе на костюм ниже груди три красных звезды, молот и серп, орден Красного Знамени и шесть медальонов с портретами. Так или иначе, нас повезли уже в вагоне, далеко не спальном, в Москву и поместили в Бутырки, где я однажды сидел, когда мне было шестнадцать лет, за прокламацию с призывом к забастовке.

Я мог констатировать, что в годы великих потрясений и перемены тюрьма проявила наибольшую устойчивость. Так же сторожа торчали у «волчков» и шарили по телу, так же мерзко пахли параша и от них не отстающая баланда в позеленевших мисках. Даже общество до странного напоминало прежнее: какой-то меньшевик защищал марксизм от ярого максималиста. Вызывали на допросы, выводили на свиданье через две решетки, иногда судили, иногда расстреливали, иногда кричали: «С вещами!» — и отпускали.

Я очень удивился этому постоянству. Учитель, наоборот, находил его естественным.

«Палка в любых руках палка, — утешал он меня, — сделаться мандолиной или японским веером ей весьма трудно. Правительство без тюрьмы — понятие извращенное и неприятное, что-то вроде кота с остриженными когтями.

Жили себе в Бутырском районе два человечка, товарищ Иван и товарищ Петр. Первый был большевиком и работал в Московском Комитете РСДРП, второй, меньшевик, состоял в Московской организации РСДРП. Жили они мирно, то есть вместе ходили на «явки», прятались по ночевкам у

сочувствующих адвокатов, вместе сживали здесь в Бутырках, ссорились до полной потери голоса, Иван был за «отрезки», а Петр за муниципализацию земли, но так как земля была не у Ивана и не у Петра, а у помещика, то скоро помирились, объединились, раскалывались, — словом, буколическое супружество, не Иван и Петр, а «Поль и Виргиния». Потом кое-что на свете изменилось — Иван стал сочинять, уже не резолюции для пяти сознательных наборщиков, а декреты, обязательные для ста пятидесяти миллионов граждан. Петр прочел декреты и не одобрил. Хотел пойти поспорить по старой привычке, но у «ворот святых Кремля» его остановил солдат: «Без пропуска нельзя!» С горя Петр собрал пять сознательных наборщиков и предложил им протестовать. Иван узнал, рассердился, и так как у Ивана была уж эта прекрасная тысячелетняя палка, он не спорил, не исключал, он позвал «кой-кого» и распорядился. А засим пошло как по маслу — Петр прятался, ночевал у адвокатов, его ловили, словили и привезли на старую квартиру.

Ты взволнован, ты негодуешь? Друг мой, напрасно! Неужели ты думаешь, что Петр поступил бы иначе? Будь даже он не Петром, а Валентином или Максимилианом, он без «кой-кого» не обошелся бы. Править без него — это все равно что сесть на табурет о трех ножках; конечно, оригинально, но больше минуты не высидишь. А все остальное быстро приходит. Сделай Эрколе итальянским королем — он не успеет даже надеть штаны, а уже начнет покрикивать: «Эй вы, которые, прочие!..» Пройдут не годы, но эпохи, времена, много раз будут выстраивать человечество для последнего парада, и столько же раз неожиданные персы будут преобразовывать парады в веселые «Шаксэ-Ваксей!», пока люди не поймут, что дело совсем не в том, кто именно сегодня держит палку, а в самой палке. Пока что давай хлебать баланду, не то она совсем протынет».

Вероятно, мы просидели бы долго, никто нами не интересовался, если бы на смену очередного несчастного случая я пришел бы тоже случай, тоже очередной, но счастливый. Обследовать тюрьму прибыла специальная комиссия Московского Совета. На нее мы никаких надежд не возлагали — уже раньше нас посещали различные инспекции и делегации. Но когда в камеру вошел Шмидт, я даже запищал от восторга. Второй раз судьба посылала его как нашего спасителя.

Все пошло просто: звонок по телефону, несколько дружеских слов, и час спустя нас со всяческими извинениями выпустили за старенькие, но все еще добротные тюремные ворота.

Доходившие до нас слухи об эволюции Шмидта оказались правильными. Путь от генерала германской имперской армии до спартаковца в заплатах и пиджаке может удивить своей длиной, но надо вспомнить, что, еще будучи студентом, Шмидт говорил, что может сделаться и ярим немецким патриотом, и крайним социалистом, ибо и те и другие преследуют дорогую ему цель организации человечества. Приехав в Россию убежденным германским националистом, он первые месяцы всячески способствовал победе Германии. Но после Октябрьской революции новые горизонты, более широкие и увлекательные, раскрылись перед ним. Он решил, что Третий Интернационал сможет вернее подчинить Европу единому плану, нежели нерешительная и уже поколебленная в своей мощи Империя. Он был прежде иступленным шовинистом, ярим монархистом, но к новому делу примкнул честно, без задней мысли, со всем упорством и прямотой, ему присущими. Во время боев с белыми он был дважды ранен. Жил он внешне убого, работал по восемнадцати часов в сутки, от казенного автомобиля, несмотря на простреленную ногу, отказался, ковыляя из одного комиссариата в другой,— словом, был во всех отношениях честным и последовательным коммунистом.

На следующий день после нашего освобождения мы отправились к нему в его рабочий кабинет. На стенах висели схемы сложные и диковинные. Шмидт был облеплен планами, сметами, чертежами. С жаром принялся он рассказывать нам о своих трудах. До сих пор люди непроездивительно тратили свои силы: все было случайным и нелепым. В Японии или Голландии задыхались от скученности, а Сибирь или Испания пустовали. В черноземной России топили в пруду хлеб, не желая продавать его за несколько грошей, тщаь в отчаянье удержать падающую цену, а кули в Пекине умирали с голоду. В Англии выделяли столько материи, что некуда было ее деть, начинался кризис и рабочие нищенствовали у остановившихся станков, а калужский дядя все еще мечтал о портках. Поэты бегали по редакциям, вымаливая напечатать стишок, хотя бы по пятаку за строчку, но не хватало агрономов.

Адвокатов было больше, чем уголовных преступников, но трудно было порой найти дельного электротехника. Хаос, бессмысленный, дикий, хозяйство сумасшедших фургонщиков или надевших сюртуки обезьян! Теперь все будет по-иному. Вот на этой карте обозначено — сколько где людей должно жить, точно, по квадратным метрам...

Другая схема показывает распределение трудящихся по ремеслам. Нужно столько-то инженеров, столько-то слесарей, столько-то поэтов. Никаких отступлений. Тула знает, что по разверстке на 1930 год она должна выпустить восемьдесят докторов, семь художников, шестьсот металлистов, триста пятьдесят текстильщиц и так далее. Ребенка с раннего возраста приучают любить предназначенное ему ремесло. Вводится для обучения производственная азбука, где все буквы обозначаются орудиями труда данной отрасли. Общее число рождений также подлежит точному учету и должно соответствовать заданиям центра. Семью следует уничтожить, нельзя оставлять детей под случайным и пагубным влиянием родителей, то есть лиц безответственных. Детские дома, школы, трудовые колонии готовят работников. Общежития, общественное питание, однородность распределения. Закончив работу, каждый имеет право пойти в распределитель развлечений того района, к которому он прикрепил свою карточку. Там определенная доза эстетических эмоций: музыка, многоголосая декламация, празднества по точному сценарию. Наконец, ограничиваются и полные излишества, над чем работает специальная комиссия врачей при Наркомздраве. Вот жизнь человека!

Шмидт показал нам на самую таинственную схему — она была похожа на корни исполинского растения. Жизнь человека!

Я вспомнил наивные лубочные картинки: мальчик играет, влюбленный юноша с цветком, отец семейства, ласкающий младенца, зрелый муж почему-то с гусиным пером в руках и дряхлый старик, ковляющийся к раскрытому гробу. Но здесь ничего подобного не было: белые квадраты расходились в зеленые пирамиды, эти передавали токи красным кругам, круги преобразались в ромбы, и так еще долго, сложно, и не было видно отдохновенного гроба, только черные треугольники поселений для трудовых инвалидов.

А Шмидт, показывая нам эти пути и переходы, выбрасывая сотни цифр и наименований организующих центров, с пафосом говорил: «Вот жизнь! Она уже не тайна, не сказка, не бред,

но трудовой процесс, в этой жалкой комнате разложенный на части и воссоединенный мощью разума!»

Мне вспомнилась каморка на чердаке, в Штутгарте, расписание на стенке, шестьдесят марок и фрау Хазе. Но стучащие машинки, секретарь, беспрестанно приносящий бумаги на подпись, очередь посетителей в приемной говорили о том, что это не детское сумасбродство, а гигантская мастерская, где строится новый мир.

Я готов был от ужаса расплакаться и неожиданно, неприлично рассмеялся — услышал доносившуюся с улицы частушку:

Наживу себе беду,  
В сортир без пропуска пойду.  
Я бы пропуск рада взять,  
Только некому давать.

Потом Шмидт переговорил с Учителем касательно его работы и предложил ему заняться организацией наиболее хаотической и трудной области, именно искусства. Учитель предложению обрадовался.

Когда мы вышли, я начал высказывать Хуренито свои соображения по поводу Шмидта и его схем: «Все это, может быть, и гениально, но при чем тут жизнь человека? Это просто вращение крохотного винтика!»

Учитель возразил: «Нет, — это новые люди, они столь же отличаются от тебя, как жители Камеруна. Ты не заметил, как появилось новое племя. У них своя психология, свои нравы, свой религиозный пафос. Люди прежде падали ниц перед непостижимым, таинственным, случайным. Каждое отступление от обычного, от постигнутого путем эмпирическим обожествлялось. Пафос новых людей в законности явлений, их трезвенный экстаз в ощущении безошибочности. Ты хорошо понимаешь первобытный восторг огнепоклонника, сидя в своей морозной каморке, на корточках, перед пылающими языками, вылетающими из печи. Теперь пойми другой восторг — механика, впервые осмыслившего ход сложной машины!»

Мы шли по моим любимым переулочкам между Пречистенкой и Арбатом. Крохотные дома с палисадниками, сирень, луковки беленькой церквушки Успенья на Могильцах — все это поддерживало меня в моем протесте.

«Учитель, новые люди, о которых вы говорите, уродливы и поэтому невозможны. В их жизни нет ничего случайного,



а следовательно, прекрасного, нет неожиданности, противоречий, романтизма. Скука-то какая!..»

«Ну, что ж, ты поскучаешь, ты ведь человек старой породы. Подрастут другие по схеме, эти будут работать, и скучать они не будут. Старое вообще отдает гнилью и нафталином, но этот запах высоко котируется под названием «романтики». Расстались с аббатами, о мадоннами, с высочествами, ничего, обошлось!.. Расстанутся и с прелестью сумасбродств американского миллиардера, с живописностью лохмотьев, с лоском роскоши, с кинематографически увлекательной борьбой за корку хлеба или за гору золота. Все, о чем ты хлопчешь — каприз, прихоть, — кончает гнить и скоро перестанет даже бить в нос. Ты можешь, разумеется, сняв комнату без соседей, плакать о прошлом до конца твоей жизни, но вряд ли от этого что-либо изменится.

Ты видал картины современных художников-кубистов? После всяких «божественных капризов» импрессионистов — точные, обдуманые конструкции форм, вполне родственные схемам Шмидта.

Ты был на войне? Что ты там видел — Наполеонов, Давидов, жест, подвиг, героического знаменосца или образцовое хозяйство мистера Куля?

Несмотря на свою безалаберность, ты любишь играть в шахматы. Гляди — как комбинационная игра уступает место позиционной. Вместо неожиданных комбинаций, благородной жертвенности гамбитов — точный, скупой, тщательно выслеженный план. Я дивлюсь, до чего ты слеп — валандаешься всюду и не замечаешь самых основных, самых неоспоримых черт современности!»

«Если все это так, — возмутился я, — для чего же, собственно говоря, жить? В частности, для чего переписывать декреты Шмидта, вместо того чтобы как-нибудь уничтожить его?»

«Если на заре ты начнешь стрелять из тысячи батарей в солнце, оно все равно взойдет. Я, может быть, не меньше тебя ненавижу этот встающий день, но для того, чтобы пришло завтра, нужно стойко встречать жестокое светило, нужно помогать людям пройти через его лучи, а не цепляться за купол церквушки, на котором вчера теплился, угасая, закат!»

глава двадцать девятая  
«СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА»,  
ИЛИ КОЗНИ  
КОНТРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

На заседание комиссии, которой было поручено организовать искусство, кроме Учителя, пришли жены крупных коммунистов, коммунисты мелкие, но честные, любящие чистую работу, актеры, больше из бывших «солистов его императорского величества», и художники, всю жизнь изображавшие маркиз в кринолинах. Председателем этой высокой комиссии был большевик, напугавший как-то стареньких профессоров до того, что они хотели было рассыпаться и не рассыпались, лишь желая спасти незабвенную «альма-матер», а на самом деле добродушный толстяк, отменный семьянин, с золотой цепочкой на жилете и с благородной страстью к искусству.

Комиссия должна была обсудить вопрос — как приспособить искусство для агитации, не уничтожая при этом творчества? Председатель долго говорил о высоком достоинстве культуры, о вершинах человеческого духа и предложил решение компромиссное — творцам, которые будут создавать агитационные произведения, выдавать паек, равный по калориям двум академическим. Всем прочим, не посягая на свободу их творчества, выдавать простой паек по трудовой карточке категории «Б».

После него выступил Хуренито, который сразу внес радикальное предложение — упразднить искусство. Вот что он сказал в защиту предлагаемой меры: «То, что вы предлагаете, является лишь новой вывеской над старой пакостью, выпрыскиванием камфары уже похолодевшему трупу. Зачем вы отстранили религию, если вам необходимо, чтобы кто-то освящал нимбами вашу дубину? Или отъевшаяся на калориях каста привилегированных жрецов официального искусства лучше крестобрюхих иереев? Что вы получите? Стихи, романы, пьесы, картины, симфонии, сделанные по предписанию, будут ниже, слабее прежних, и, сравнивая их с Пушкиным, Шекспиром или Рембрандтом, люди решат, что виноваты современность,

коммунизм. Этого нельзя допустить; уничтожая искусство, надо показать, что оно, и только оно виновато в том, что хотело пережить самого себя, заслужив пули в зад вместо честной кончины на семейном ложе.

«Вершины человеческого духа», о которых здесь говорилось, были государственными преступниками, они подрывали все основы разумного, трезвого общества. Конечно, подрывать английскую императрицу, немецких князьков или Николая I с нашей точки зрения похвально. Но вы, товарищи, ошибаетесь, думая, им важно было, что именно они подрывают. Ничуть! Будь Катания вотчиной древнего деспота или коммунистической колонией, деятельность Везувия от этого не изменится. Завтра вчерашние «вершины», которым вы ставите памятники, и сегодняшние, на которых вы не жалеете ни кондитерских изделий, ни жировых веществ, начнут подрывать наше общество. Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты, опасные бунтовщики.

Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещено изготовление спиртных напитков или ввоз опиума. Это тем легче сделать, что искусство, одряхлев, само порывается покончить свою бесславную старость самоубийством. Новое искусство тщится раствориться в жизни, и это является для нас лучшим способом ликвидировать опасную эпидемию. Действительно, иные газы, сконцентрированные в одном месте, угрожают ежеминутно взрывом, удушают, загораются, но, расклевываясь по надземной атмосфере, становятся безвредными.

Взгляните на современную живопись, — она пренебрегает образом, преследует задания исключительно конструктивные, преобразуется в лабораторию форм, вполне осуществимых в повседневной жизни. Преступление Греко, Джотто, Рембрандта в том, что их образы были неосуществимы, единственны, а по сему бесполезны и опасны. Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для самых различных целей — чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок. Надо лишь суметь направить эту тягу, запретить заниматься живописью как таковой, чтобы рама картины не соблазнила живописца вновь на сумасбродство образа, прикрепить художников к различным отраслям производства. Пластические искусства перестанут жить самостоятельно и угрожать обществу, помогут создать коммунистический быт, дома, та-

релки, брюки. Вместо всяких скрипов Пикассо — хороший конструктивный стул.

То же самое относится и к другим видам искусств. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров, сбрасывает рубашку за рубашкой — рифмы, размеры, образы, пафос, условность, наконец ритм, она остается голой, ничем не примечательной, и нужен большой профессиональный опыт, чтобы понять, почему некоторые современные стихи — это поэзия, а не передовица и не реклама «Спермина». Таким образом, дело обстоит очень просто, надо лишь запретить печатать книги с неэкономным распределением строк, по традиции былых поэм, и вычеркнуть из словаря слово «поэт», способное ввести в искушение.

Театр ломает свой панцирь — рампу, переезжает в зал или на площадь, зрителей тащит на сцену, уничтожает авторов и актеров. Он в двадцать четыре часа может быть окончательно распылен — через промежуточные стадии всяческих празднеств, процессий и прочего. Потом даже эти организованные выявления станут будничными, растворятся в жестах, позах и шутках.

Я уже пытался в Кинешме провести ликвидацию искусства, но мне помешал мещанский эстетизм многих революционеров. Я верю, что теперь вы примете мое предложение, и сегодняшний день будет датой смерти одного из величайших безумств человечества, мешавшего ему как следует устроиться на земле!»

Протесты посыпались: «Мы не варвары», — кричтел председатель. «Мы любим все прекрасное», — ворковали жены. «Кто за?» Только один голос самого Хуренито. Предложение отклонено.

Решили предоставить искусству жить и, оперируя гаммой пайков, стараться направить творчество в коммунистическое русло. Учитель усмехнулся: «Еще постановите использовать циклон для вращения ветряных мельниц!» Мне же наедине он признался: «То, что я предлагал, весьма логично и правильно, но существует одно «но» — это Эрколе в чемодане Шмидта. Мы с тобой над этим плакать не будем, но великим и малым городовым грядущего мира он доставит немало хлопот. Они решили использовать удары молний вместо дорогих шведских спичек для закуривания папирос. Я же предлагал заняться

лучше изготовлением спичек, а молнию для успокоения детей вовсе упразднить. Конечно, это не помешает ей в хороший летний полдень неожиданно упасть на лысину человека, уверенного в том, что грозы навсегда уничтожены декретом. Пока что посмотрим на результаты их деятельности!»

В ближайшие недели Москва была потрясена рядом странных и печальных происшествий, которые блестяще подтвердили грозные предостережения Учителя. Композитор Крыс, музыка которого до последнего времени была неизвестна даже профессионалам, написал симфонию «Титан потягивается». Она была исполнена пред тысячами слушателей. Но вместо воспитательного действия эта музыка пробудила самые недопустимые чувства. На следующий день советские учреждения пустовали: никто из слышавших симфонию на службу не явился. Более того, многие отказались сгребать с улиц снег, визжа, плача и нечленораздельно изъясняясь. Один совсем обезумел и, крича, что он больше не в силах сидеть в канцелярии и регистрировать ордера на калоши, вскочил на крышу, кинул ключом в милиционера, контузив его, и под конец был убит «при попытке к побегу». «Известия» писали: «Снова саботаж. Господа меньшевики работают на капиталистов». Главного же виновника — Крыса — никто не тронул, он даже получил за концерт сто тысяч рублей и двадцать пять рассыпных папирос.

Только перестали писать о саботаже, как разразилась новая каость. Молодой поэт Ершов ухитрился, перекупив у кооператора Хайлова наряд в типографию, отпечатать книгу стихов, озаглавленную «Рыжему жеребцу молитесь, куп-куп!». Это был косноязычный бред последнего мечтателя, жующего пшено в подвязанном к морде мешке, возомнившего себя жеребенком и начавшего ржать нечто вроде глоссалий. Успех книги был необычайный, издание разошлось в несколько дней. А вскоре образовалась секта, предпочтительно женщин, которые «жеребствовали», и в одно дождливое утро, вместо того чтобы шить по трудовой повинности кальсоны для красноармейцев, вышли на Тверскую со ржаньем, а спрошенные подоспевшими милиционерами, куда именно они направляются, начали лягаться. Об этом была заметка в газете: «Поповская демонстрация».

Наконец, красноармеец Кривенко, бывший семинарист, пытался взорвать старой ручной гранатой Спасские казармы, по-

вредив себе при этом мизинец. Арестованный, он объяснил сбивчиво, но с подкупающей искренностью, что на днях его водили с товарищами в музей, и он видел там необычайные картины, летящие во все стороны дома, рассеченных на кусочки фиолетовых женщин, семь чашек на одном блюде и страшные оранжевые квадраты. Там он что-то понял, что именно — объяснить он не умел. Но, вернувшись в казарму, услышав запах портянок, увидев нары, сундучки и миски с супом, он сразу решил, что эти два мира несовместимы и один из них должен погибнуть. Его объявили эсером, но, не зная, левый он или правый, для опознания отправили в соответствующее место. Там попытались связать все три факта и арестовали две тысячи подозрительных, среди них попался и Ершов, но он был немедленно освобожден, как член союза поэтов.

Казалось единственно разумным после всех этих мрачных инцидентов вспомнить совет Учителя и запретить искусство. Но вместо этого напустились на очень крохотких и никому не интересных людей, которые когда-то до социализма и до революции были социалистами-революционерами, а теперь тихо переживали тоску об Учредилке и городовом, нудную, как зубная боль.

На Хуренито стали поглядывать косо, и он нашел нелишним переменить климат. Посоветовавшись, мы решили поехать на юг, для подкрепления престижа взять с собой Айшу, а по соображениям человеколюбия Алексея Спиридоновича и мосье Дэле. Наш мученик, слава богу, поправился и был выпущен из сумасшедшего дома, зато Алексей Спиридонович, удрученный несовместимостью свободы духа с пайком, был готов занять его место. Оба, безусловно, нуждались в отдыхе.

В последнюю минуту к нам присоединился мистер Куль, который хотел пробраться на Украину, чтобы купить еще несколько мертвых душ, а именно национализированные сахарные заводы.

Так как о курортах нечего было помышлять, мы погадали по карте, заставив Айшу ткнуть куда-либо пальцем. Вышел Елизаветград. Мы не стали раздумывать и гадать, но, раздобыв пять хороших командировок, сели в делегатский вагон и не спеша поехали в неведомый санаторий.

## одиннадцать правительств.— учитель — претендент на российский престол

Кое-как доехав до Елизаветграда, мы хорошо выспались и утром решили пойти осмотреть достопримечательности города, в который судьба привела нас, как в землю обетованную. Но только мы вышли из дому, как нас задержал патруль, потребовав документы. Хуренито гордо протянул солдату солидный лист, на котором значилось, что мы командированы в город Елизаветград для обследования находящихся там музыкальных инструментов. Прочитав внимательно бумагу, солдат показал ее своему товарищу, и оба почему-то возымели твердое желание расстрелять нас. Заверения Учителя о том, что на мандате подпись «управдела», их в этом непонятном желании только укрепили.

Нас повели в штаб, и мы, убежденные, что там недоразумение выяснится, шли весело, любуясь солнцем, растекавшимся в грязи улочек, вывесками «мужеской портной», великодушными брюнетами, довольными миром, бездумными мальчишками, кидающими осколками бутылки в паршивую суку, — словом, невинными радостями маленького, но милого города.

Вдруг, подходя к штабу, я вскрикнул: «Они с погонами!» — «Что это значит?» — беззаботно спросил мосье Дэле. «Это значит, что нас на самом деле пристрелят». Увидав, что перед нами не большевики, мистер Куль оживился: «Не беспокойтесь, друзья мои! С порядочными людьми я сумею объясниться». Действительно, он стал беседовать с поручиком, объясняя, что он владелец многочисленных предприятий и бежал из проклятой Совдепии, спасая себя, душу и доллары. Мосье Дэле и Хуренито — его компаньоны, Алексей Спиридонович и я — приказчики, а Айша — лакей. Подкрепленное американским паспортом, на мой взгляд это являлось весьма убедительным, но поручик все же был склонен нас расстрелять. Мистер Куль решил тогда прибегнуть к своим двум героическим средствам. Он вынул библию и важно прочел офицеру: «Не

убий!» Поручик сказал, что он не безбожник, в господа бога верит (при этом перекрестился), но все это относится к честным людям, а не к большевикам или к жидам, которых надо убивать при всякой возможности, как бешеных собак. Гораздо сильнее оказалось действие пачки долларов, приобретенных мистером Кулем в Москве при содействии Гросмана. Поручику они сказали несравненно больше, чем наш мандат или библия, — он нас отпустил.

Курортный режим Елизаветграда оказался очень своеобразным, и мы не сразу к нему привыкли. Дело в том, что противники большевиков выгодно отличались своим разнообразием — среди них были сторонники «Единой, Неделимой», украинцы — просто, украинцы — социалисты, социалисты — просто, анархисты, поляки и не менее трех дюжин крупных «атаманов», не считая мелких, промышлявших кустарничеством, то есть ограблением поездов и убийством местечковых евреев. Все они дрались не только с большевиками, но и друг с другом, поочередно на короткое время захватывая нашу резиденцию. За три месяца мы пережили одиннадцать различных правительств. Надо было быть Учителем, с его блестящим мексиканским стажем, чтобы освоиться в этой белиберде. Выйдя утром на улицу, мы не знали, в чьих руках город, и на всякий случай во всех карманах пиджаков, жилетов и брюк держали разнообразные удостоверения на разных языках и наречиях, с орлами в короне и без короны, с серпами, с трезубцами, даже с вилами, которые имелись в гербе бабки Шило.

Впрочем, нужно сказать, что это разнообразие выявлялось почти исключительно во флагах и в гербах, на городской жизни отражалось мало. Освобождаемые еженедельно от ига обыватели даже не замечали этого, так как действия «тиранов» и «освободителей» были до удивительного сходны между собой, притом одеты все были одинаково, доносившая серые шинели царской армии. Кроме того, оказывались традиции мест: в мебелированных комнатах, где помещалась Чека, разместилась контрразведка и все десять последующих учреждений однородного характера. Тюрьма оставалась тюрьмой, хотя в нее приводили тех, кто вчера еще сам приводил в нее смутьянов, — ни консерваторией, ни детским садом она не становилась. Даже расстреливали на том же: традиционном пустыре, позади



острога. Все, приходя, издавали законы о свободе и неприкосновенности личности, вводили осадное положение и смертную казнь за малейшее выражение недовольства дарованной свободой. Засим, в течение краткой мотыльковой жизни, спешили «наладить нормальную жизнь», то есть ограбить как можно больше еврейских часовщиков и успеть расстрелять всех лиц с несимпатичными физиономиями или с неблагозвучными фамилиями.

Как-то, сидя в маленьком грязном кафе, представлявшем, благодаря подвижности хозяина-грека, отрядный остров среди этого бушующего океана, Учитель заинтересовался: «А какое у нас сегодня правительство? Украинцы, что ли?» Грек отчаянно цыкнул: «Какие вы слова говорите! Мы, то есть все,— только малороссы, а правительство у нас ростовское. Романовки во как поднялись, а за украинки дают трешку за сотню, советские и те дороже!» — «Это меня молодит,— рассмеялся Хуренито,— думал ли я, что на старости лет попаду к себе на родину!..»

Айша спросил его: «Господин, скажи Айше, Айша очень глупый, он не понимает, почему они все говорят, что друг друга не любят, а делаю одно и то же, как родные братья».

«Милый Айша, ты не глуп, ты слишком мудр, брось высоты своей африканской философии. Ты хочешь отыскать некое различие там, где его и быть не может. Это твое дикарское дело — слушать речи и глядеть на флаги; мы, люди культурные, больше интересуемся системами пулеметов. Конечно, было бы остроумней им всем объединиться для дружного грабежа и массовых расстрелов, но чувство солидарности не имеет корней в данном цехе. Я представляю себе все выгоды «Профессионального союза тружеников, пытающихся захватить власть». Какая экономия сил и времени! Каждая секция получает город на один месяц, разрежает городскую скученность, борется с роскошью, способствует поднятию производительности труда наборщиков и маляров, так как печатает новый свод законов и на всех городских вывесках вставляет мягкие знаки, уничтожает твердые или восстанавливает «яти», потом мирно, собрав все свои пожитки, как, например, знамена и свод законов, перекочевывает в другой город, уступая место товарищам-противникам. К сожалению, для такого объединения почва еще не готова, и ты должен примириться с тем, что конкуренты, кроме

законного объекта, то есть обывателей, режут бессмысленно и друг друга».

А между тем, пока мы в тихие дни (то есть без орудийной стрельбы) болтались по городу, пили у грека кофе и философствовали, мистер Куль и мосье Дэле, не теряя времени, о чем-то меж собой усиленно договаривались.

Результаты этих бесед были неожиданными, а именно: в одно утро, вполне спокойное и располагающее к идиллическим прогулкам, в комнату Алексея Спиридоновича явились наши солидные друзья, и мосье Дэле торжественно, но задушевно заявил: «Великий час пробил! Дорогой мосье Тишин, вы мобилизованы!» Алексей Спиридонович еще пребывал, мечтая, в кровати; услышав это, он вскочил и завопил: «Что вы говорите? Господи! Но кем?» Мистер Куль важно ответил ему: «Разумеется, не нами. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Для этой цели мы наняли одного отставного вахмистра, и он подписал указ. Друг мой, вы должны не горевать, а радоваться. Вы будете защищать культуру и свободу от варваров!» После этого, оставив на столе указ и два доллара на обмундирование, они ушли. Алексей Спиридонович, который уже однажды защищал культуру от варваров, упал на кровать, начал голосить, и делал это до вечера, когда Учитель и я пришли к нему.

Он рассказал нам о всех своих мучениях. Разумеется, большевики — варвары, их следует свергнуть. Но он против насилия, он почти толстовец, он знает, что святая София окончилась братом Айши. Кроме того, он не может стрелять в своих, в русских. Правда, мосье Дэле заверяет его, что красные войска состоят из всех, кроме русских, — из башкиров, киргизов, евреев, венгерцев, китайцев, латышей. «Но все может быть, — вдруг среди них затесался хотя бы один свой, русак? Господи, что мне делать?»

Но делать было нечего. Получив от мосье Дэле винтовку и трехцветный флаг, а от мистера Куля библию и еще один доллар, Алексей Спиридонович с тридцатью «добровольцами», как он, горящими жаждой сражаться, отправился брать у красных деревню Дырки.

Героической атакой, потеряв двадцать три человека, добровольцы заняли деревню и прилегающий к ней сахарный завод Кутуменко.

К величайшему недоумению и ужасу Алексея Спиридоновича, ему пришлось заколоть штыком русского, и все трупы, найденные им в Дырках, походили не на китайцев, но на тульских и калужских мужичков. Мучения его удвоились. Ко всему, в Дырки приехали мистер Куль и мосье Дэле «благодарить и приветствовать славное воинство», причем мистер Куль разъяснил, что завод Кутуменко он приобрел за гроши, а мосье Дэле напомнил «освобожденным пейзамам» о необходимости честно работать для погашения всех долгов России, к которым прибавилась стоимость тридцати винтовок, двух флагов и жалаванья вахмистру.

Все это так подействовало на Алексея Спиридоновича, что он бежал ночью из Дырок прямо на квартиру к Учителю, винтовку обменял на две бутылки самогона и в пьяном виде декламировал «Клеветникам России», причем Айша должен был изображать «клеветника», получая уничтожающие взгляды, брызги слюны и даже прикосновения рукой.

С этого дня Алексею Спиридоновичу пришлось скрываться, главным образом от вахмистра и от мосье Дэле. Он ужасно осунулся и опустился. Лежа целыми днями в кладовой Учителя, он мечтал о том, что если бы к свободе Керенского прибавить организацию Шмидта, доллары и высший дух, свойственный одному славянству, то было бы хорошо... А так — очень скверно!..

Мое положение не было лучшим. У меня губы семита и подозрительная фамилия. При этих данных я мог в любой момент закончить свой трудный земной путь у облупленной стенки елизаветградского амбара.

Как-то ночью меня на улице остановили военные. «Стой! Ты жид?» В ответ я выругался, сочно и обстоятельно, как ругаются в Дорогомилове сдавшие заказ сапожники. Это показалось убедительным, и меня отпустили.

В квартиру Учителя, где жил и я, пришел один человек в форме, завопил: «Жиды Христа распяли! Россию продали! — и сразу, без паузы спросил деловито: — Этот портсигар — серебряный?»

Даже Учитель поплатился. Однажды он вышел погулять и наткнулся на застывшего в мечтательной позе военного. «Жид, иди сюда!» — «Я мексиканец». — «В таком случае простите. Может быть, вы скажете, где мне найти хоть одного жида?» — «Поищите». — «Вот несчастье! Все попрятались — с утра зря

стою». И, сняв с Учителя его меховую шапку, несчастный охотник пошел искать редкую дичь.

В общем, Учитель тоже был скверно настроен. Уже в Москве последние месяцы я начал подмечать в нем усталость и апатию. Все же он держался и даже завел знакомство со многими белыми, дольше других остававшимися в городе.

Один из них, подпоручик Ушков, был трогательным юношей. Он был помешан на романтизме прошлого, на трубных звуках старой гвардии и победном шелесте великодержавных знамен. Идеи его были убоги, но его воодушевляла патетическая любовь к былому. В его мыслях Куликовская битва, вербная суббота, с огоньками, порхающими по московским улицам и переулкам, кремлевские соборы, бал с подругами сестры — институтками, Отечественная война, мама, елка сливались в одно цельное, отнятое злыми людьми. Учитель говорил о нем: «Вот Евгений, бедный чудац, который не ждет, пока всадник претворится в медь. Кто виноват, если Хулио Хуренито, отпихнув сценариста, выскочил на сто лет раньше положенного, а тихий Ушков на столько же опоздал, пропустив пирушку с пуншем и великолепных офицеров, умиравших на полях Бородина, сводивших с ума парижанок танцами и усами, влюбленных в родных Наташ и в заграничную масонку «Свободу»?»

В одном полку с Ушковым служил Давилов, молодой помещик, азартный игрок, но человек трезвый. Ушкова он звал «девчонкой». «Дело просто и ясно, без романтической чепухи: либо мы, либо они. Я предпочитаю погибнуть от пули, нежели тянуть ляжку «пролетария» и подделываться под мерзкий мне язык. Если мы победим — мы будем жить по-настоящему, как жилали отцы и деды, с приемами у предводителей дворянства, с кутежами в «Стрельне», с тыщами на зеленом сукне, с разгулом, удалью, бесшабашностью, присвистом; нет — погибнем, придут «товарищи» и разведут на пять веков такую скуку, что даже чистокровные русские мухи и те подохнут».

Третий приятель Хуренито, казачий хорунжий, был детина необычайного роста с гигантскими ногами, прозванный всеми «Танком». «Танк» глядел на гражданскую войну как на опасную и завлекательную охоту. Он гонялся за комиссарами, за атаманами, за всеми, кого мог нагнать, и в десятый или в

сотый раз бриллиантовые серьги купчихи Ягодицовой, как и английские фунты спекулянта Айзенштейна, переходили в новые руки. «Наш, мексиканец», — с гордостью говорил Учитель, хлопая по массивной спине «Танка», который показывал свою добычу — дутый браслет. «Ты, брат, не на сто лет опоздал, а всего на три года. В семнадцатом году ты бы вдоволь порезвился. А теперь нельзя, теперь там Шмидты такую организацию развели, пошлют тебя вагоны выгружать да предварительно все ящики пересчитают!..»

Несмотря на дружбу с описанными мною офицерами, Учителя не оставляли в покое: то контрразведка интересовалась, что именно он делал 12 июля 1915 года, то осетины приходили выяснять в сотый раз его вероисповедание, прихватывая старые брюки Хуренито или чайный сервиз квартирной хозяйки. Может быть, поэтому, а может быть, просто со скуки Учитель решил действовать и неожиданно для всех объявил себя претендентом на российский престол. Он доказал, что является родственником расстрелянного императора Мексики Максимилиана, происходившего из Габсбургов, которые связаны с датским двором, а следовательно, с Романовыми. О своем намерении вконец на опустевший трон он довел до сведения местной контрразведки, «Освага» и всех иностранных держав. Контрразведка прекратила неприятные визиты, а один из ее сотрудников притащил даже по сему случаю Учителю бутылку мартелевского коньяку, не без удовольствия нами распитую. «Осваг» вывесил портрет Хуренито в своей витрине, впрочем, о престоле дипломатично умолчал, чтобы не оскорблять деликатных чувств некоторых социалистов. Из-за границы Учитель получил телеграммы с пожеланием успеха, а также сто франков на карманные расходы. Обменяв эти деньги у мистера Куля на сто тысяч рублей, мы изумительно их пропили, причем Айше попойка и, главным образом, рахат-лукум в кофейной грека так понравились, что он возымел безумное желание объявить и себя претендентом, чтобы тоже получить сто франков.

Но сроки одиннадцатого правительства уже истекали. В городе началась обычная суматоха, к заставам потянулись телеги, груженные добром; все напоминало Москву в доброе старое время к началу летних каникул. Утомленные событиями и скомпрометированные монархическими выступлениями

Хуренито, мы тоже решили отправиться на дачу. Откуда идут враги и кто именно идет, мы не знали, а пошли куда глаза глядят и, проделав верст двадцать, ночью попали в деревню, занятую красноармейцами. Вытащив из-под подкладки пиджака старые, но почтенные советские удостоверения, мы благополучно миновали девять Особых Отделов и двинулись в Москву,

## глава тридцать первая

### немного противоречий

Путь наш до Москвы длился семь недель — часто приходилось вместо теплушки, спасая свою шкуру, брести по топким буграм бездорожья. После схем Шмидта мы увидали чудовищную топь, с восстаниями и усмирениями, подобными ознобу, глушь нищую и на все речи, возвания, декреты, манифесты отвечающую все тем же неистребимым «чаво?».

Голодные, мы бродили по деревням, тщетно выклянчивая ломоть хлеба, отдавая за кринку молока жилеты, шляпы, часы и прочее. Даже брелок мосье Дэле («Вера — Надежда — Любовь») был обменен на одно яйцо, оказавшееся тухлым. Айша нас подводил: вместо товарообмена начиналось либо патетическое бегство, либо храброе изгнание поганых арапов. Все же иногда нам удавалось преодолеть недоверие, и тогда крестьяне сердечно с нами беседовали, давали кукурузные или ячменные лепешки и за все брали какую-нибудь рубаху или кожаное портмоне.

Меня очень удивляла в голодавшей стране жирная, черная, поросшая ковылем земля. Собеседники наши, наоборот, находили это весьма естественным и даже говорили, что в будущем году еще меньше засеют — «только-только самим не околеть. На кой ляд сеять? Все одно загребут!»

«Пойми, — вразумлял меня Учитель, — от ста миллионов «чаво» требуют самоотверженного труда во имя непонятной им идеи. Кто требовал прежде смирения? Барин, купец, царь, но за всеми стоял бог, с лестницей посредников, начиная от «заступницы» и кончая сельским дячком. Бог не отбирал, он брал в долг, обещая на том свете все вернуть с лихвой. Кредито-

способность была безусловной. Все аскеты, бесребреники, схимники меняли тленные ассигнации сорока или пятидесяти лет сомнительных земных радостей на «вечное золото» неба. Теперь людям раскрыли, что дело именно в этих сорока годах, в хлебе, в марципанах, которые жрал паразит, в перинах, в бабах, в театрах — словом, в трижды дорогой и любимой земле. Очень замечательно об этом гаркнул ваш прекрасный поэт Маяковский:

Нам надоели небесные сласти,  
Хлебище дайте жрать ржаной!  
Нам надоели бумажные страсти —  
Дайте жить с живой женой!

Но вместо немедленных безмятежных часов с супругой и хорошего кусища хлеба предлагают осьмушку, сверхурочные работы, «субботники» и «воскресники», непрерывные повинности — схиму, вериги, подвижничество, причем никаких векселей на царство небесное не дают, даже наоборот, гарантируют червей в могиле. Кто-то — дети, внуки, а может быть, внуки внуков будут жить лучше!.. Идеалистический материализм оказался во сто крат выше и труднее материалистического идеализма. Как же ты можешь удивляться тому, что сто миллионов не сделались сверхсвятителями? Дивись лучше тому, что нашлись тысячи новых подвижников, великих самосжигателей, жаждущих не отлететь с дымом в небо, а своими телами немного согреть замерзающий край».

В вагоне мы разговорились с одним приказчиком из Малого Ярославца, уродливым горбуном. Он очень своеобразно напал на коммунизм: «Что я? Образина. Насекомое с человеческим паспортом. Прежде я хоть мог надежду питать — разбогатею, зашуршу катеньками, все наверстаю. Может, скажете, что за деньги нельзя было все захватить? Ошибаетесь, хоть я ей и противен, и она будет юлой юлить, горб целовать, прыщ мой превозносить! А теперь что? За паек работать? Равенство? Так пусть они раньше всех родят ровенькими. Хорошо, за восемь часов работы — полторы селедки. А за горб, спрошу я вас, за мое унижение, — кто за это заплатит? Одно мне осталось — поступлю в продотдел чеки и никто меня осудить не посмеет. Не от жадности, а во имя священного равенства».

От всей поездки у меня осталось столь тягостное впечатление, что я жаждал, более чем когда-либо, бодрых, возвышающих речей Учителя. Но он хмурился и молчал. Такие периоды

бывали у него и прежде, но тогда он работал над своими изысканиями, теперь же не скрывал усталости, безразличия, скуки. Я забеспокоился — не болен ли он? Хуренито улыбнулся. «Я не мосье Дэле, «пинком» моих дел не поправишь!»

Только раз он нас утешил и ободрил. Он купил за пять ко-сых крохотную белую булочку, мы ее честно поделили на пять ломтиков и тщательно подобрали все крохи. Учитель сказал: «Радуйтесь, друзья, вы познаете сейчас величье человеческого труда, святость созданного мозолистыми руками. Помните Париж накануне войны, задыхавшийся от избытка ненужных вещей, от труда, подобного пересыпанию гороха арестантом? Кто тогда мог понять божественную природу булки или сапога? Теперь вам возвращена первоначальная радость, и, потеряв сотни лживых идеалов, вы обрели вещи, достойные обожествления. Вы топтали благословенную землю и шарили по небесам не астрономическим, но размалеванным каждым не слишком ленивым жуликом. А под ногами у вас лежали радость, счастье, восторг, эти белые крохи, подобные лучшим из звезд. Вы презирали труд и преклонялись пред бормочущими бездельниками, выдумывающими Эдемы и Атлантиды, но неспособными пришить пуговицу к штанам. Теперь произведена полезная экспертиза, и фальшивые камни отделены от ценных».

Эти слова были единственным маяком за долгие месяцы плавания. Учитель снова замолк. Мы, встревоженные, шли по грязной платформе московского вокзала.

## глава тридцать вторая о героизме, о скуке, главным образом о нелетающем самолете

В Москву мы приехали утром, в десятом часу. Выйдя на площадь, мы увидели караваны советских служащих, направляющихся в канцелярии с кулками для пайков. Изредка проносились автомобили с ответственными товарищами и сани, в которых сидели товарищи в чине не ниже заведующего отделом наркомата.



В продовольственном распределителе 93 выдавали по 107 купону кислую капусту и фунт соли. Длинная вереница женщин, старцев, детей и чиновников, рискующих опоздать на заседания комиссий, с салазками, молча стояла у входа.

На стенах бабка расклеивала «Известия», и какой-то длинноволосый, судя по саркастической улыбке, из «оппозиции», читал очередную статью о мировой революции, замерзая и переступая с ноги на ногу. Барышня продавала три карамели, но, очевидно, все, кроме нас, вздумавших прицениться, знали, что цена им три тысячи и, отвернувшись, быстро проходили мимо. Только мальчишка не мог оторвать от них побледневших в экстазе зрачков.

Все хорошо знали, что ждет их, бывших читателей «Русских ведомостей», сегодня, завтра, послезавтра. Сейчас надо по старым тарифам ухитриться составить новую смету так, чтобы «Рабкрин» пропустил ее, отослать назад с пустыми руками сто делегатов из провинции, приехавших за книгами или за машинами, составить отчет о безделье прошлого месяца и план на безделье следующего, — словом, шагом на месте, вечным притопыванием, бормотанием создавать видимость лихорадочной работы. Потом, обед из воды и пши на первое и пши с водой на второе, потом брусничный чай с сахарином «Красная звезда», купленный на месячное жалованье, потом критика совместно с женой, вполголоса, советской власти, мечты о потерянном рае и печенье «Эйнем», наконец сон в морозной конуре, под пахнущими псиной шторами. Все это было начертано на их опротившихся лицах.

Учитель сказал нам: «Слышите, как пахнет бытом? Ничего, что быт бедненький, он подкормится. Радуйтесь, мосье Дэле, — здесь больше не ходят на голове. Ходят на обыкновенных, только сильно отощавших ногах».

Действительно, на этот раз возвращением в Москву остались наиболее довольны мистер Куль и мосье Дэле. Их объявили «гостями Советской республики», поселили в хорошей гостинице, кормили мясными котлетами и возили в литерную ложу Большого театра глядеть балет «Сильфиды». Всем этим, включая классические па обаятельных балерин, они остались вполне удовлетворены и, заважничав, стали разговаривать пренебрежительно не только с нами, но и с Учителем. Мосье Дэле как-то вынес мне в коридор половину недоеденной, по случаю плохого действия «пинка», котлетки и сказал: «Вот благородный

жест гостя республики!» Так как они удостаивали нас лишь краткими репликами, я не мог выяснить в точности, чем они занимались. Я узнал лишь, что мистер Куль играет по вечерам в бридж с важными сановниками и торгует у них крупные концессии не то в Туркестане, не то в Сибири. Мосье Дэле предложил Учителю попытаться переговорить с теми же дипломатами об «Универсальном Некрополе», но Хуренито отказался: «Надоело!»

Зато положение Эрколе пошатнулось. Он пришел к нам донельзя опечаленный: «Тысяча чертей! Как все меняется! Его открыли! Пришел какой-то контролер, и ни Юпитер, ни тритон не помогли. Ему, Эрколе Бамбучи, предложили заниматься!.. Как вы думаете — чем? Стрелять из хлопупшек? Развешивать флаги? Ничуть не бывало! «Производительным трудом!» Кровопийцы! Иезуиты! Зачем же тогда «Советы»? Чем это не Германия? Выдали какую-то трудовую книжку, вписали туда, что он получил из «Собеса» старые брюки и лакейский фрак, и хотя еще вписать, сколько часов он проработал. Но для этого — идиоты! — нужно, чтобы он работал! Капитолий провалится, а этого не будет!..»

Алексей Спиридонович, после опыта в Дырках, перестал ждать генералов и союзников. Все свои надежды он возлагал на то, что коммунисты окончательно засовестятся и после открытия бакалейных лавок разрешат выходить «Русским ведомостям». Тогда все пойдет изумительно.

Айша и я честно поступили на прежнюю службу, представленные — он к Африке, я же к кроликам, ставшим, благодаря исключительной энергии В. Л. Дурова, за время моего отсутствия гораздо более сознательными.

Но, увы, работа меня не удовлетворяла, и я томился. В маленькой комнате я подолгу занимался метафизическими рассуждениями о том, что лучше: холод или дым? Склонившись в сторону последнего, я шел на двор, тащил тихонько дрова, привезенные соседу, владельцу магазина ненормированных продуктов, то есть сахарина и мороженых яблок, колот их и кое-как разжигал печурку. Тогда замерзшие стены начинали оттаивать, и я на кровати чувствовал себя как в лодке среди Ледовитого океана. Затем в окно, куда выходила труба, дул ветер, печка тряслась и выкашливала клубы едкого дыма. Я тоже кашлял, плакал и каялся. Потом в отчаянье напяливал полушубок подозрительного происхождения и выходил на лестницу.

Может быть, пойти в Дом печати — там по одному бутерброду с кетовой икрой и диспут — «о пролетарском хоровом чтенье», или в Политехнический музей — там бутербродов нет, зато двадцать шесть молодых поэтов читают свои стихи о «паровозной обедне». Нет, буду сидеть на лестнице, дрожать от холода и мечтать о том, что все это не тщетно, что, сидя здесь на ступеньке, я готовлю далекий восход солнца Возрождения. Мечтал я и просто и в стихах, причем получились скучноватые ямбы:

Как полдень золотого века будет светел!  
Как небо воссинеет после злой грозы!  
И претворятся соки варварской лозы  
В прозрачное вино тысячелетий.

Никогда я не жил так честно, скудно, духовно и целомудренно. Вся Москва представлялась мне монастырем со строгим уставом, с вечным постом, обеднями и оброками. Даже в скуке было нечто подвижническое, и только обросшие жиром сердца не поймут трогательного величия народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае, с низведенными на землю звездами и потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол!

Учитель нигде не работал, ничего не делал, курил беспрерывно махорку и глядел прямо перед собой невидящими, остановившимися глазами. Мне он сказал: «Один поэт написал книгу «Лошадь как лошадь». Если продолжать,— можно добавить «Государство как государство». Мистер Куль — в почете. Эрколе — курьер. На рассыпных папиросах и на морковном кофе герб мятежной республики «РСФСР». Французы написали на стенах тюрем: «Свобода — Равенство — Братство», здесь на десяти тысячных ассигнациях, которыми набивают себе карманы спекулянты и подрядчики, революционный клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я не могу глядеть на этот нелетающий самолет! Скучно! Впрочем, не обращай внимания. Это можно видеть и наоборот. Я как-то увидел и даже решил у тебя хлеб отбивать, написал стишки. Слушай:

Нет, в России не бунт, нет, в России не смута!  
*Ее знамена — державный порфир,*  
И она закладывает, тысячерукая,  
Новый мир.

Пусть черна всedневная работа,  
Пусть кровью восток осквернен —  
Исполинская бабочка судорожно бьется,  
Пробивая жалкий кокон.  
Так, в бумагах скудных Совнархоза,  
Под штыком армейца, средь чернил и крови,  
В великом томленьe готова раскрыться дивная роза  
Неодолимой любви...

И так далее. Хотел послать их Шмидту в Совнархоз, но решил, что он за «скудные» обидится, и порвал Тарарабумбия! Видишь ли, в чем дело, Эренбург, мне надо умереть, потому что свои дела я закончил!»

От ужаса и тоски я не мог вымолвить слова, но, вцепившись в колено Хуренито, качал бессмысленно головой. Учитель же продолжал:

«Мне окончательно все надоело. Но умереть, как это ни странно, довольно сложное предприятие. Один болван зовет меня «гидом», второй — «компаньоном», третий — «другом», четвертый — «товарищем», пятый — «хозяином», шестой — «господином» и ты, седьмой, — «Учителем». Что скажут все семеро, узнав, что Хулио Хуренито покончил с собой, как обманутая модистка? На всю жизнь их вера в коммерцию, в дружбу, в божественность, в мудрость будет поколеблена. Я не столь жесток. Я должен умереть пристойно. Для всякого другого это легко — достаточно иметь несоответствующие убеждения. Но у меня, как ты знаешь, нет никаких убеждений, и поэтому я выходил с веселой улыбкой из всех префектур, комендатур, чрезвычайек и контрразведок. За идеи я не могу умереть, остается одна надежда — сапоги...»

Потрясенный страшными словами Учителя и непонятым упоминанием сапог, я решил, что он сошел с ума, и хотел бежать за мосье Дэле, у которого имелся соответствующий опыт. Но Учитель остановил меня и снова предложил полюбоваться высокими английскими сапогами, шнурующимися доверху, полученными им в Елизаветграде, когда он был претендентом на российский престол.

«Я могу погибнуть только из-за сапог. Беда в том, что большевики вывели в Москве всех бандитов. Мне придется поехать на юг, где нравы много проще. Ты и Айша поедете со мной. Его я люблю больше всех, тебя я совсем не люблю, но ты будешь писать мою биографию и должен поэтому сопро-

вождать меня до конца. Приготовься — мы едем завтра в Кунотоп, это, кажется, уютный городишко».

От страха и муки я совершенно обалдел. Может, надо было осмелиться отговорить Учителя или постараться, для такого случая, раз в жизни выдать из проклятых желез хоть одну слезу. Но я, ничего не соображая, пошел к знакомым и получил бумаги для Учителя и для нас. В удостоверениях значилось, что мы едем в Кунотоп «ликвидировать безграмотность».

Придя вечером домой, я не топил печки, не писал стихов, не мечтал, но, сидя в углу на корточках, до утра кричал: «Караул! Караул! Учитель хочет умереть из-за сапог!..» И пел похоронный марш,

## глава тридцать третья

### смерть учителя

Это был крестный путь. Я знал, что Учитель довершает изумительное здание своей жизни, что для потомства его смерть будет неизбежной и торжественной точкой на странице, которая не могла не быть последней. Но я любил его простой животной любовью, как способен любить лишь пес, которого подобрали на улице паршивым, слепым щенком. И, верный этому чувству, я, не думая о потомстве и не обращая внимания на смущенных пассажиров, закинув голову, долго и отчаянно выл.

Зачем я пишу теперь о моем горе, о моей слабости? Ведь не для того, чтобы поделиться своими жалкими переживаниями, я тружусь над этой книгой. Это — повесть о великом Учителе, а не о слабом, ничтожном, презренном ученике. Илья Эренбург, автор посредственных стихов, исписавшийся журналист, трус, отступник, мелкий ханжа, пакостник с идейными, задумчивыми глазами, выл на скамье вагона. Кто сможет вынести эту оскорбительную, назойливую деталь, когда рядом с ним, в том же вагоне готовился к смерти, крутя козью ножку и шутя с Айшой, наиболее достойный человек нашего века.

Я не стану говорить ни о горе Айши, ни о приезде нашем в маленький городок, ставший отныне бессмертным. Все произошло так, как предвидел Учитель. 12 марта под вечер мы сидели на скамье длинного бульвара, который идет от вокзала

к центру города. Учитель, тщательно выбритый и торжественный, повел нас гулять. Если бы не его разодранный пиджак, я чувствовал бы себя снова секретарем посла Лабардана. Мне даже на минуту показалось, что Учитель передумал и собирается не умереть, а объявить себя царем, президентом или негусом какого-нибудь государства. Но он обратился к нам со следующими словами, последними словами Учителя:

«Весьма вероятно, сегодня бандит прельстится моими сапогами. Товарищ Ольтенко сказал мне, что грабежи в городе усилились. К сожалению, потомство не узнает его имени. Я вижу ясно в 1980 году памятник, воздвигнутый этому неизвестному избавителю государств бывших, сущих и будущих от мексиканского бандита Хулио Хуренито. Жаль, что я не могу положить к его ногам венок — это очень приятное занятие. Для этого и для многого другого ты, Эрэнбург, отправляйся после моей смерти в какое-нибудь тихое место и, времени своего, никому не нужного, не жалея, но и строк бессмысленно не нагоняя (ты это любишь делать), опиши все, что знаешь о моей жизни, беседы, труды и анекдоты, анекдоты предпочтительно. Давно уже место эпопеи или проповеди занял анекдот — он ключ к сокровищнице человечества. Над этой книгой умные будут смеяться, глупые негодовать. Впрочем, и те и другие мало что поймут. Тогда не печалься над своей бездарностью. Понять меня — дело вообще трудное. В самом начале угрюмого величественного дня я говорил уже, забегая вперед, как пес, приносиваясь, прислушиваясь, о дне завтрашнем. Алексей Спиридонович как-то спросил меня, неужели я так ненавижу эту жизнь?.. Нет, не ненависть, но величайшая нелюбовь опустошила мое сердце. Стройте! Трудитесь! Растите! Я не зову вас назад, бомб не подсовываю и, снявши штаны, пасти овец по примеру Раймонда Дункана не рекомендую. Дорогой Айша, верь мне, ты самый прекрасный из всех людей, встреченных мною в жизни. Но не твоим детством спасется мир. Ты уже десять раз «защищал культуру», ты сидишь в подотделе, любишь самопишущие ручки и патефоны. Словом — порядком времен года и прочее. Чтобы спираль мира ринулась к новому счастью, должен быть описан круг столетий, круг крови, пота, железный круг.

Я вижу полдень этого встающего дня. Парфенон будет казаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских

штатов. Пред мускулами любой водокачки застыдят дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величье бетона, в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса. Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом. Ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые камни решаются скрепить своей вязкой кровью. Я это предвижу, но не радуюсь.

Мне хочется в последние мои часы прозреть иное, следующее, туманное. Вот идет человек с папкой бумаг. У него сзади в кармане браунинг. Не бойтесь, это не бандит, но честный чиновник. Утром он отстучал нечто на машинке за номером и расстрелял человека, с ним несогласного. Сейчас он пообедал и бодро идет на заседание. Видите около него кошку? По всей вероятности, она съела сегодня мышь. Позвольте мне преклониться пред кошкой, пред Айшой, пред отсутствием номеров и посмотреть вперед — неужели там не кошки, а лишь номера, номера, даже кошки за номерами? Мир замкнут для человека. Что ему не только Марс, но лошачество? О звездах он думает лишь в дни влюбленности, как о специальной небесной иллюминации. Новые миры — это снаряжение экспедиции на Южный полюс. Он отъединился, замкнулся, потерял гармонию. Человека можно заставить ходить по канату, но как только уйдут зрители, он шлепнется на мягкий песок арены. Вне гармонии нет свободы, нет любви, нет преодоления смерти. Либо мистер Куль научными средствами выводит со света, как тараканов, Айшу, либо Айша запросто, в семейном кругу, завтракает бедрышком мистера Куля. Или обоих их запрягут в одно ярмо, и они будут, ненавидя друг друга, всех и все, тащить праздничную колесницу «освобожденного человечества». Или Эрколе сам по себе чешет пуп на виа Паскудини, или вечный военный парад Шмидта. Бегут от смерти, ищут ее, но никто не засыпает просто, все дергаются и прыгают. Вместо любви приходо-расходная книга — близости, помощи, измен, отчуждений, любовь не объекта, но своего чувства, согревание по рецепту доброго царя Давида своего холода на чужом сердце. Вне гармонии нет жизни, но лишь существование людей и племен. Вот мось Дэле тоже гармонию поминал. Для него это разумная диета, средняя из всех сложенных в одно единиц. Я не об этом, конечно, говорю, но о потерянном человеческом ощущении, необходимом для прекрасной жизни, в ладе со всей вселенной.

Я не знаю, как оно будет обретено — в лабораториях, на пожарищах стихийной катастрофы или последним напряжением разумной воли. Я не знаю, когда придет этот час свободы, восторга, бездумья. Знаю, что он придет. Еще знаю, что для этого надо торопить неизбежную стрелку событий, войн, революций нашего нелюбого мне дня.

Делайте это, как умеете. А мне что-то больше не хочется. Я сыт по горло, в животе тяжесть — словом, величайшее несварение, которое потрясло бы даже нашего Дэле. Прощайте, друзья мои! Берегите свое здоровье! С трупом моим не возитесь! Еще — кушайте в Москве простоквашу, это ненормированный продукт и рекомендуется для бессмертья».

Кончив говорить, Учитель съел мороженую грушу и вытер лоб красным фуляровым платком; Айшу он поцеловал, мне же подарил обкуренный пенковый мундштучок и, приказав нам сидеть на скамейке, пошел вперед по пустынной улице. Я дрожал и хныкал.

Вскоре раздался чей-то резкий крик, свист и близкий выстрел. Айша бросился бежать, догоняя Учителя, я же свалился под скамью и там, свернувшись, замер.

Через четверть часа я выполз и решил пойти на розыски. В ста шагах от скамьи я увидел Учителя, лежавшего в канаве с окровавленным лицом. Он был мертв, сапоги сняты с сиротливых холодных ног. Я упал рядом, не выпуская из рук его ног в полосатых, заштопанных носках. Здесь было все, чем я жил!

Прибежал Айша, размахивая своим большим африканским ножом: он хотел нагнать убийцу, но тщетно.

Что делать с останками Учителя? Не звать же милиционера, подменивая величайшую мистерию гнусным протоколом. Мы понесли тело Учителя, пользуясь безлюдием и темнотой, за город, в поле и там, с помощью ножа Айши, всю ночь рыли яму.

Когда все кругом дрогнуло от подступающей зари, могила была готова, и смутная полоса рассвета как бы напомнила нам о пророчествах Учителя. Я нашел кол, вбил его и привесил мою трудовую книжку, — ничего другого у меня под рукой не оказалось, — надписав на ней: «Осторожно! Здесь погребен Учитель Человечества Хулио Хуренито, убитый 12 марта 1921 года, в 8 часов 20 минут пополудни». Наверное, теперь не осталось и следа его священной могилы.



Пока мы работали, напряжение и мелкие заботы заслоняли от меня случившееся. Но когда мы вернулись к вокзалу и я понял, что мы поедem в Москву без Учителя, что никогда я уж не услышу его ровного любимого голоса, я закричал от боли. Напрасно Айша пытался успокоить меня, говоря, что Хуренито теперь стал богом и живет в других людях. Это были жалкие и недостойные его имени бредни. Я знал — он умер, навек, навсегда. А я остался, и у меня нет сапог, а если бы и были, я бы спрятал их, скрылся, жил бы все равно...

В безумии кинулся я к какой-то торговке пирожками и, опрокинув лоток, завопил: «Поймите, Учитель умер! Умер из-за сапог! Я этого не переживу!» (Как читатель видит, последнее было лишь образом, выразившим беспредельность моей скорби.)

Меня побили, отвели в комиссариат, а вечером выпустили, и мы поехали в опустевшую Москву.

## глава тридцать четвертая и, по всей видимости, ненужная

Может быть, мне следовало бы остановиться на смерти Учителя и не начинать этой главы, тусклой и скучной, не озаренной его присутствием. Но мне кажется, что для читателя представит интерес краткий отчет о том, что случилось с людьми, сопровождавшими Учителя в его жизненном пути. Кроме того, все увиденное мною в Европе столь потрясло мое воображение, что я не считаю возможным скрыть патетическое и неуравновешенное состояние, предшествовавшее написанию этой книги. Поэтому я решил прилепить к стройному зданию неуклюжую и убогую пристройку главы тридцать четвертой, и последней.

Вернувшись в Москву, я созвал всех наших для того, чтобы сообщить им о смерти Учителя. Мы собрались в его комнате, и, казалось, ласковый, насмешливый его образ был неотступно с нами. Алексей Спиридонович горько плакал, вспоминая свои размолвки с Учителем, приступы недоверия, слабости, отступничества. «Я клятвопреступник! — кричал он. — А этот бандит

да будет заклеямен царевубийцей!» Мосье Дэле не мог спокойно слышать моего рассказа о яме со вбитым в землю колом: «Такой порядочный человек, мой компаньон, и хуже, чем по шестнадцатому классу!.. Страна варваров — вот все, что я могу сказать!»

Горюя, плача, вспоминая слова и привычки Учителя, мы мало-помалу перешли к вопросу о нашем будущем. Несмотря на различные дела и занятия, главное, что объединяло нас и прикрепляло к Москве, было присутствие Учителя. Мистер Куль, хотя и наладив кой-какие дела, был не прочь переменить котлетки «гостя республики» на устрицы и лангусты Парижа. Мосье Дэле ежеминутно поминал свою прекрасную родину: «Ля дус Франс», Зизи, Люси и душистый горошек. Эрколе тоже скучал без римского солнца, без вина, без вывески на виа Паскудини. Алексей Спиридонович ни о чем, собственно, не тосковал, плотские нужды презирал, но жаждал эмигрировать, чтобы «спасти свободу духа от растлителей и насильников». Я до его высот подняться не мог, и высшей приманкой для меня оставалась чашка скверного кофе с дешевым ромом на террасе моей незабвенной «Ротонды». Но было у меня идейное соображение, побуждавшее повернуться с вожделием к Западу: несмотря на узкий эгоизм и преобладание животных инстинктов, я понимал мой долг перед человечеством — ведь мне завещано Учителем написать историю его глубоко назидательной жизни. Писать же в Москве или вообще в России было крайне трудно — много времени поглощали если не сами кролики, то комиссии, им посвященные, получение различных пайков и раздобывание на тайных базарах четвертки табаку. Даже бумагу, потребную для такой большой работы, найти было нелегко. Кроме того, я отощал и с трудом мог сосредоточиться на возвышенных проблемах, поставленных Учителем. Наконец, атмосфера творимой истории мало благоприятствовала тихому труду летописца. Я знал, что стоит только мне попасть в «Ротонду», выпить несколько рюмочек, закричать: «Официант, бумагу, чернила!» — и тотчас быстрая рука начнет заносить на забрызганные кофе листочки священные проповеди Учителя. Что касается Айши, то, потеряв своего господина, сиротливый и беспомощный, он готов был следовать за нами, безразлично куда.

Итак, все мы, введенные Учителем в чистилище революции, жаждали вернуться в уютенький ад или, если это определение

покажется неблагоприятным, в непроветренный рай. Сделать это было не так легко, но, к счастью, Шмидт тоже собирался за границу, правда, руководясь соображениями особыми и от нас скрываемыми. С его помощью мы получили паспорта и две недели спустя в хорошем рижском ресторане пожирали жирные свиные котлеты, одну за другой, все, включая мосье Дэле, потеряв какое бы то ни было чувство меры.

Наши челюсти, а кругом десятки других, звучно, дружно, торжественно работали. Засыпающие музыканты честно играли «Пупсика». Мистер Куль, жестом подманив к себе, как собачку, скромную девицу, дал ей доллар и получил все, что за это полагалось. Мосье Дэле, разговорившись с соседями на политические темы, был весьма растроган выдачей Германией молочных коров союзникам и шептал: «Справедливость восторжествовала!» Это был вечер восторгов и примирений, широких объятий, раскрытых для встречи блудного сына. Наши общие чувства хорошо выразил мистер Куль, подняв бокал с поддельным шампанским: «Друзья, за торжествующую цивилизацию!»

От волнения я вышел на балкон проветриться. Вот она, мудрая, вечно прекрасная Европа! Нежно замирало чавканье, задорный «Пупсик» и чмокание лобзаний. Все покрывалось величавым храпом, с присвистом, бурчанием, подсаживанием. Дэле, Рига, Европа, покушавши и поерзав на брачном ложе, заработав хлеб насущный и попытавшись отнять хлеб у другого, ибо «не хлебом единым сыт человек», мирно спали. Я окончательно расчувствовался и начал петь «баю-баушки-баю», но голоса не соразмерил. Пришел официант и попросил меня занятие это прекратить, так как я беспокою клиентов в двадцати отдельных кабинетах.

Через несколько дней начались трогательные расставания, слезы, обещания присылать открытки с видами. Правда, выехать было не совсем просто, так как Европа, за время нашего отсутствия, обогатилась институтом, хоть обременительным, но безусловно разумным, а именно «визами». Действительно, давно существуют дверные цепочки, строгие швейцары и тщательно изучаемые визитные карточки. Если такую осторожность проявляет простой обыватель, каким безумием было со стороны государства впускать в свои врата чужеземцев, не проверив предварительно, симпатичные ли у них физиономии, подходящие ли убеждения и достаточно ли толстые бумажники!

Благодаря этому нововведению, мы выехали не сразу, но постепенно, подтверждая этим правоту иерархии.

В первом классе, разумеется, очутились мистер Куль и мосье Дэле, а когда все уже разъехались, Алексей Спиридонович и я долго выстаивали положенные часы в приемных консульств больших и малых держав. Но мы сами понимали правоту этого деления, и Алексей Спиридонович на вопрос о подданстве отвечал, как бы извиняясь, неопределенным жестом — «так, знаете... одна страна... на Востоке...»

Но не месть, а милосердие царили в культурных государствах, и, почтительно простояв положенное время, даже мы получили визы. Пожав руку швейцару консульства, который за месяц успел ко мне привыкнуть, я еще раз преклонился перед дивной чинарой, принявшей в свое лоно дубовый листок, и хотел даже сказать об этом швейцару, но вовремя вспомнил, что страна Ронсара не любит варварских поэтов, и тихонько вышел.

Итак, круг описан — я еду в дорогой, любимый, возвращенный мне Париж!

Вся дорога была для меня, после долгих лет войны и революции, одной непрерывной демонстрацией торжества мира, порядка, благоразумия, цивилизации.

Я пробыл неделю в гостеприимном Копенгагене, и хотя, по трезвости характера, его мистичности, воспетой Бангом, не заметил, но был потрясен богатством витрин и избытком яств. Люди, которых я встречал на улицах, были толсты, красны и веселы. После московских раздумий я чувствовал благоговейное умиление перед каждым круглым животиком, мерно раскачивающимся в уютном жилете. В кафе «Тиволи» я увидел, как официант, наливая себе чашку кофе, предварительно сполоснул ее жирными, густыми сливками. Я даже привстал от восхищения глубиной этого назидательного жеста. Где-нибудь в Вене или Петербурге сейчас умирают тысячи детей, не имея молока, а здесь оно течет, как в Аркадии, никому не нужное. Здесь не устраивали революций, не тщились переделать мир, но честно торговали, проводили законы в риксдаге и пасли коров. Какая поучительная история для детей о мальчиках пае и шалуне! Можно ли после этого не крикнуть в ярости: «Прочь герои, полководцы, поэты, революционеры, сумасброды всех мастей! Да здравствует честный коммерсант!»

В Лондоне я ходил по улицам, как в храме, — на цыпочках и сняв шляпу: я был вновь в исконной стране права, свободы,

неприкосновения личности, в стране Хабеас корпус. Какое достоинство, какая независимость на гордых лицах даже мелких клерков Сити! Я вспомнил, как английские полисмены били палками по голове батумских жителей, нарушавших опубликованные правила. Теперь в Лондоне я понял, что виноваты некультурные русские, грузины, турки, не заслужившие Хабеас корпуса и достойные глубоко воспитательной дубинки.

Мой энтузиазм достиг высшего предела, когда я наконец увидел дорогой Монпарнас и «Ротонду». Я почувствовал себя вновь в родном гнезде. Зачем было мечтать, тосковать, скитаться, чтобы вернуться вновь к круглому столику с горкой блюдец? Но здесь я ощутил с особенной силой невозвратимую потерю. Как могу я без Учителя осмыслить эту рюмку, город, жизнь? Вместо стройной картины предо мной мелькали яркие точки пуантилистов, создавая иллюзию видения.

Милый Париж был все тем же. Огни кафе и реклам реяли, как верные маяки, зажигаемые неослабевающей рукой сторожа. Текли рубиновые и изумрудные аперитивы; депутаты, героически напрягаясь, сбрасывали кабинеты министров; поэты писали безукоризненные стихи о грудях и бедрах; в маленьких журнальчиках отчаянные революционеры раз в неделю громили, впрочем, малочувствительное к этому правительство; и чиновники сберегательных касс вносили в бережно обернутые книжки новые путеводные нули.

Но появилось и много нового — мужчины щеголяли костюмами в талью, с грудями и задами, свойственными скорее другому полу, что объяснялось модой на любовь, несколько отличную от общепринятой. В кабаре и в салонах танцевали новый танец фокстрот, основанный на ассоциативных раскачиваниях. Наконец, газеты открыли неизвестный в былое время, весьма увлекательный спорт — конкурсы маршалов.

Через несколько дней после моего приезда я был совершенно ошеломлен зрелищем, воистину прекрасным. Было объявлено состязание между двумя знаменитыми боксерами — французом и англичанином. Париж, а за ним все города Европы и Америки, затаив дыхание, ждали исхода. Я отправился с Алексеем Спиридоновичем поглядеть этот великий поединок. На арену вышли два очень здоровых, больших человека. Все замерли, понимая, что сейчас решаются судьбы мира.

Сначала англичанин, раскачавшись, ударяет со всей силой француза по лицу. Он выбил зуб и окровавил его... Алексей

Спиридонович стонет: «Господи, что же они делают! Лицо! Лик! Подобье божье!.. Не могу!..» Начитавшись Толстого, бедняга перестал понимать красоту войны, государственной мощи, искусства, бокса — словом, всего, чем человек отличается от какого-нибудь барана. Я не спорю с ним, увлеченный борьбой. Удары сыплются один за другим. О каждом из них радиостанция немедленно сообщает всему миру. На площадях Лондона и Нью-Йорка пред гигантскими экранами стоят толпы, обсуждая вес и значение кулака, выбившего зуб. Заключаются пари. На пароходе «Тюрбания» в Тихом океане пассажиры толпятся у приемника, взволнованные тем, что француз получил уже второй удар в подбородок. Я знаю, что нахожусь сейчас в центре вселенной. Но вот француз, собравшись с силами, со всей силой ударяет англичанина в нос. Кровь бьет. Громадный детина падает наземь. Нокаут. «Вив ля Франс!» Я выбегаю на площадь. Какое ликование! Зажжена иллюминация. Над Парижем летают три самолета, разбрасывая бюллетени победы. Трубы трубят, женщины кидают цветы. Вот истинный праздник национального самолюбия, справедливо удовлетворенного!

Вечер бокса после всех восторгов, испытанных мною в предшествующие дни, окончательно оглушил меня. Я потерял душевное спокойствие, бредил, безумствовал, готов был каждую минуту упасть на мостовую, целуя древние, седые камни. Тогда неизвестные мне друзья решили спасти меня. Кто бы они ни были — я знаю, что чувство любви к человечеству, к русской поэзии, ко мне руководило ими, и я буду вспоминать этих таинственных благодетелей, пока человеку дано жить и помнить. Они поняли, что я слаб телом и духом, что мне нужен покой, чистый воздух, и предложили мне немедленно переехать в иные края.

Я отправился в радужную Бельгию и здесь, опомнившись от избытка впечатлений, приступил к труду, завещанному мне Учителем. Но прежде нежели описать мою жизнь в эти месяцы, я должен рассказать все, что мне известно о судьбах учеников Хулио Хуренито.

Мистер Куль продолжает торговаться с представителями России. Кроме того, он обеспечивает человечеству длительный мир. Еще по пословице древних известно, что для этого нужно готовиться к войне. Мистер Куль, как высокий гуманист нашего века, выполняет это со свойственной ему энергией. Вновь оборудованные заводы и верфи работают вдвое интенсивнее,

чем в дни войны. Пущены в ход все изобретения, сделанные Учителем в 1915—1916 годах. Но мистер Куль одновременно не забывает и чисто этических заданий — пишет трактаты о преимуществе мира и работает в Лиге наций.

Я считаю его деятельность залогом благоденствия и мирного расцвета. Не без его содействия разоружена окончательно Германия, и, конечно, ее примеру последуют и другие державы. Отчего-то в Европе происходят различные мобилизации, и какие-то полудикари еще продолжают в Силезии, в Литве, в Турции и в других местах следовать по былым путям, не понимая совершившегося поворота.

Мистер Куль пишет мне: «Я счастлив. Религия укрепляется. Доллар стоек. Мое хозяйство процветает. На снарядах, изготовляемых моими заводами, марка — олива мира. Да разнесут они когда-нибудь благую весть во все земли, острова и материки!»

Не хуже его живет мосье Дэле. Он быстро оправился от пережитых потрясений и, не возобновляя деятельности «Некрополя», стал во главе бюро, организующего экскурсии на места недавних боев, под названием: «Вени — види — вици». Многие американцы, англичане, а также французы обоих полов, несколько лет тому назад тщательно избегавшие близости фронта, теперь образумились и проявляют живейшее любопытство к полям битв. На севере Франции находится широкая полоса, совершенно разоренная боями, с остатками укреплений, с зарослями проволочных заграждений, с рощами крестов, где в жалких бараках ютятся разоренные, несчастные жители.

Дэле сразу оценил высокопатриотический и коммерческий интерес подобных экскурсий. Мужчины и дамы в комфортабельных автомобилях выезжают из Парижа. В Вердене они осматривают развалины и кладбища, а также хорошо завтракают. Потом едут дальше. На местах, где шли особенно ожесточенные бои, мосье Дэле устроил небольшие кафе; там можно выпить замороженный оранжад и отправить открытку с видом пустыни друзьям. Дальше — обед в Реймсе. Продажа сувениров из осколков снарядов и спокойное возвращение домой.

«Мой друг, — пишет он мне, — я снова нашел сладость жизни. Я делаю не только выгодное, но и возвышенное дело пропаганды героизма и подвига. Мой домик цел и требует лишь небольшого ремонта. Я взял себе в экономки совсем молоденькую девушку, мадемуазель Габриель из Аркашена. Не жалей-

те меня — я еще бодр и, несмотря на свои пять десятков, — полон порыва!.. «О, как ужасна жизнь», — восклицал царь Эдил (мадемуазель Габриель повела меня вчера по случаю своих именин во «Французскую комедию», — это серьезная особа, но она знает и остальное). Я же воскликну: «Как она прекрасна!»

Судьба была менее милостивой по отношению к Эрколе. Еще в Риге он был арестован за то, что пошел в первоклассный ресторан и хорошо там покушал, а по счету, разумеется, не заплатил, пригрозив немедленно, здесь же в ресторане устроить такой «Совьето», что столы и те побегут. Тогда его выпустили. Но недавно в газете «Джорнале д'Италия» я прочел, что в Риме на виа Паскудини во время стычки между социалистами и фашистами был задержан некто Эрколе Бамбучи, который стрелял в тех и в других, а допрошенный, заявил, что он всем сочувствует, но больше всего на свете любит беспорядок и бенгальский огонь.

О Шмидте я тоже знаю лишь по газетам — он задержан германской полицией во время последнего неудачного восстания.

Айша занимает должность несколько необычную, а именно: мадам Жоб, жена разбогатевшего во время войны подрядчика, наняла его гувернером для своей любимой собачки, брюссельского пинчера, по кличке Виктуар. Айша должен воспитывать в собачонке любовь к порядку, выводить гулять, чистить зубной щеткой зубы и купать в грязевых ваннах, ибо Виктуар страдает ишиасом.

Мадам Жоб приезжала недавно в Остенде, и я видел Айшу. Он относится к своему делу с таким же рвением, с каким работал год назад в подотделе пропаганды. В восторге он мне показал специальные собачьи калоши, которые надевают Виктуару в сырую погоду. Я вполне разделил его чувства. Можно ли после этих калош оспаривать мировой прогресс? Скептики скажут, что у детей многих безработных нет пары цельных ботинок. Суждение прямолинейное, тупое и не заслуживающее внимания. Важно не количество, а качество. Босые дети были и будут, но разве в невежественные средние века существовали собачьи калоши и гувернеры? Мы движемся вперед!

Хуже пришлось бедному Алексею Спиридоновичу. С открытым сердцем кинулся он к русским эмигрантам, но там его встретили далеко не дружелюбно. Конечно, он сам виноват во многих отношениях. Так, например, он принялся скучно рассказывать свою жизнь некоему почтенному академику, но



тот его сразу ошеломил вопросом: «Все это мелкие детали, а вот расскажите-ка лучше, как коммунисты варят щи из пальчиков младенцев?» Алексей Спиридонович ответил, что хотя большевики и варвары, ибо запретили ему читать Чехова курсантам, но насчет щей он слышит впервые и никаких данных представить не может. Академик рассердился: «А позвольте узнать, вы какого вероисповедания?» — «Православный». — «Сословие?» — «Дворянин». Это показалось совершенно неправдоподобным, и последовала длительная насмешливая гримаса, достойная лучшей из академий.

Через несколько дней в одной эмигрантской газете было напечатано, что большевик Тишин был комиссаром чрезвычайки в Самарканде и пытал с помощью сахарных щипцов местных лавочников. Алексей Спиридонович возмутился и написал тотчас «письмо в редакцию», но, очевидно, от волнения (ибо в России, из протеста, даже начертал упраздненные буквы на обоях своей комнаты) в слове «сведение» поместил из двух «ятей» лишь одно. Прочитав это письмо, редактор окончательно уверовал в свое собственное творчество.

Алексею Спиридоновичу пришлось скрываться. Несмотря на это, он жаждал общения с честными русскими эмигрантами из группы «Час близится». Наученный опытом, против щей он не протестовал, но даже излагал различные способы их изготовления. Впрочем, эмигранты, состоявшие из демократических черносотенцев и монархических социалистов, были очень заняты и не могли уделять много времени душевным беседам.

По утрам они выстаивали длинные панихиды по особам коронованным. Потом шли к симпатичным румынам или полякам и доказывали необходимость немедленно уничтожить всех большевиков, среди которых нет ни одного русского. Вечером, прочитав в газете, что японцы убили одного русского, шептали — «верно, большевика» — и умилялись. А ночью трудовлюбиво ели «кавьяр рюсс» и пили шампанское за грядущее «возрождение», за великого генерала и за скромного, но честного труженика — городского.

Алексею Спиридоновичу пришлось в этом обществе туго: панихиды он, правда, любил, но японцев смертельно боялся, а на икру денег не хватало. Денег вообще не было, даже на хлеб. Тщетно он искал себе заработка и, голодая, вспоминал даже пшу. Наконец, познакомившись на улице с агентом частного сыска, он нашел место, которое хотя и обеспечивает

его материально, но причиняет ему ужасные моральные терзания.

Он живет в квартире некоей госпожи Диркс, в темном чуланчике, причем никто, кроме названной дамы, не знает о его существовании. Этот странный образ жизни объясняется вовсе не развращенностью госпожи Диркс, но ее чрезмерной привязанностью к семейному счастью. Ее муж весьма легкомыслен, и Алексей Спиридонович должен повсюду его сопровождать, докладывая о замеченном госпоже Диркс.

Я приведу отрывок из письма моего друга, характеризующий его душевное состояние: «...Брат мой, где ты? Я погибаю! Я не буду говорить о простом страхе, что хозяин, то есть муж хозяйки, наконец обнаружит меня, заслуженно оскорбит, побьет. Но зачем я бежал от палачей человеческого духа? Неужели чтобы следить, не изменяет ли этот рыжий биржевик своей половине? Где же жизнь? где святые идеалы? Поруганы, осмеяны, убиты! О, как прав был Хуренито, доказывая мне, что ничего нет, что нет даже, страшно вымолвить, человека! Он ушел в небытие, в Лету, в нирвану, а я остался. Скажи мне, что делать, зачем жить?..»

Получив это письмо, я сам заколебался и смутился. Мои первоначальные восторги немного умерились. Я начал спрашивать себя — не предаю ли я Учителя?.. Письма друзей, тяжелые воспоминания последних лет, наконец необузданный рост культуры смущали и давили меня. Я даже подыскал в одном магазине пару сапог, похожих на те, что избавили от жизни Учителя, и написал несколько стихотворений для посмертного издания. Но быстро я собрался с силами, зная, что мне предстоит великое задание — рассказать о жизни Учителя.

Теперь я кончил эту книгу. В душе моей пустота и покой. Я вновь пережил прошедшее год за годом и восстановил побледневший было образ Учителя. Я больше не боюсь предать незабвенного Предателя. Я не убегаю трусливо от неодолимых противоречий, ими жил и дышал Хуренито. Предо мной проходят Россия, Франция, война, революция, сытость, бунт, голод, покой. Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей, разного металла и формы, но все они — цепи, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука.

Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня. Я миновал трудный перевал, и, может быть, недалеко тот час, когда я смогу больше не просыпаться, не

мыться, не обедать, не писать, даже не вспоминать. Мой долг выполнен: книга написана. Я знаю, что она оттолкнет от меня всех, кто из чрезмерной любви к литературе или по чувству сострадания еще тщился понять и оправдать меня. Какой консул теперь положит на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня за порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки? Одиночество, отверженность ждут меня. В рассказе об истинных событиях, в передаче искренних чувств безжалостные Фомы увидят гнусный пасквиль, и даже имя мое станет презренным. Да будет так! Я плохо жил, — и счастливый закат был бы лишь нелепым и оскорбительным диссонансом.

Кругом меня сейчас жизнь, тихая, ровная, как бы тысячелетняя. По утрам кто-то внизу играет гаммы. Потом звонят к обеду. Я иду и ем суп, мясо с картошкой, компот. Дамы, живущие в пансионе, показывают на меня — «странный тип». Я молчу, курю трубку, немного гуляю, немного читаю адюльтерные рассказы Рони или «Теорию относительности» Эйнштейна в популярном изложении. Наконец завожу часы, кладу на ночной столик трубку и ложусь спать.

Так живу я, нехорошо живу, но не стыжусь и не отчаиваюсь. Конечно, я умру, никогда не увидев диких полей, с плясками, рыком и младенчески бессмысленным смехом наконец-то свободных людей. Но ныне я бросаю семена далекой пустыни, мяты и зверобоя. Неминуемое придет, я верю в это, и всем, кто ждет его, всем братьям без бога, без программы, без идей, голым и презираемым, любящим только ветер и скандал, я шлю мой последний поцелуй. Ура просто! гип-гип ура! вив! живо! гох! эввива! банзай!

Т р а х - т а р а р а х !

*Июль — июль 1921 г.*

трест д. е.

история гибели  
европы





*Мой роман «Трест Д. Е.» — история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком — «Эпизоды третьей мировой войны».*

*Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой не милым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, «Люди, годы, жизнь», изд. «Советский писатель», М. 1961.



## первый завтрак мистера твайвта

Одиннадцатого апреля 1927 года в 9 часов 15 минут утра владелец крупнейшей фабрики консервов в Чикаго мистер Твайвт приступил к первому завтраку.

В отличие от других американцев, начинавших свой завтрак с яиц, мистер Твайвт всегда перед яйцами ел калифорнийские груши и сметану. В достопамятное утро, не отступая от этого обычая, он выбрал большой сочный плод и, обливая душистым соком салфетку, стал подсчитывать, выгодно ли скунить акции конкурирующего предприятия мистера Черсов. Он записал в крохотную книжицу:

Свиней в час	820	в день	8200	в год	. . . . .	2 492 800
Баранов	„	900 (× 10)	9000 (× 304)		. . . . .	2 736 000
Быков	„	460	„	4600	„ . . . . .	1 398 400

---

Консервы	. . . . .	31 000 000
Колбасы	. . . . .	2 000 000
Кровь (сахаро-рафинадному заводу Чойт)	.	700 000
Кипки (колбасы, местное употр.)	. . . . .	—
Рога (фабрика гребней «Электра»)	. . . . .	1 200 000
Пр. отбросы (приблиз.)	. . . . .	1 600 000

После этого мистер Твайвт, вполне отчетливо выражая свои сомнения, промолвил:

— Гм...

Не выпуская из правой руки карандаша, он съел чашечку сметаны и на особом листке настольного блокнота, под красным заголовком «сделать», записал:

1. Выяснить, кому сбывают Черсы желудочные пузыри и на какую сумму.

Следует отметить, что подсчетом оборотов фирмы Черсов и поглощением калифорнийской груши со сметаной не ограничи-



лись первые четверть часа первого завтрака мистера Твайвта. Он успел сделать очередное гениальное открытие.

Все ученые, работавшие над биографией выдающегося организатора лучшей в мире фабрики мясных консервов, пришли к выводу, что в лице мистера Твайвта Америка потеряла блестящего философа, обогатившего научную мысль многими выступлениями в области зоопсихологии, антропософии и евгеники. Имя это, известное лишь немногим специалистам, изучающим историю гибели Европы, в то время, то есть с середины 20-х и до конца 30-х годов XX века, было столь же популярно в США, как имена фабриканта перьев Ватермана или классического боксера Джемса. Три обстоятельства особенно способствовали славе мистера Твайвта:

I. Прочитав в газете, что человек ежегодно выделяет экскрементов:

твердых . . . . .	48,8 килогр.
жидких . . . . .	438 килогр.
стоимостью . . . . .	\$ 2,65,

которые пропадают даром, и желая подать пример разумной экономии, он вошел в соглашение с загородным огородничеством, куда отправлялся ежедневно в автомобиле около 9 часов 30 минут утра, съев грушу и яйца. Об этом мужественном поведении мистера Твайвта писали газеты всех Штатов, от Аляски до Мексики.

II. В 1926 году мистер Твайвт, принимая серную ванну, продиктовал стенографистке небольшой, но весьма содержательный этюд по евгенике: «Наш нравственный долг или размножайтесь отныне разумно». Изданный в виде брошюры с соответствующими иллюстрациями, он пользовался большим успехом. В штате Огио детям, окончившим с отличием начальную школу, выдавали в награду указанную книгу мистера Твайвта.

III. Лица, чуждавшиеся литературы, тем не менее знали имя мистера Твайвта ввиду его разносторонней деятельности. Стоило прохожему где-нибудь на 5-м Авеню, задумавшись, взглянуть на небо, как перед ним вставала фиолетовая фотография молодой нежной свињи, украшенной венком букв:

**ТРЕБУЙТЕ ФИЛЕ ТОЛЬКО ТВАЙВТА**

Итак, знаменитый мистер Твайвт, съев грушу и выяснив обороты Черсов, осчастливил мир новым открытием. А именно: вспомнив высококультурные развлечения вчерашнего дня — состязания пловцов и концерт миссис Айд, прославленного колоратурного сопрано, он записал все в тот же поместительный блокнот:

2. Доказать окончательно, что человек произошел от лягушки (открыл я.—Т.).

Несмотря на всю глубину этой мысли, не она позволяет нам назвать 11 апреля 1927 года историческим днем.

События исключительной важности произошли несколько позднее. Первый завтрак мистера Твайвта продолжался. Лакей поднес куриное яйцо средней величины, в серебряной чашечке. Аккуратно сняв с макушки яйца скорлупу, мистер Твайвт вдруг вздрогнул: среди бесцветной слизи белка явно плавало кровавое пятнышко. Мистер Твайвт взволнованно отстранил яйцо: владелец фабрики мясных консервов, на которой ежедневно убивали не менее одиннадцать тысяч свиней и семисот восьмидесяти быков, был вегетарианцем, по заповеди господней милуя скотов и питаясь предпочтительно плодами, а также молочными продуктами. Увидав красное пятнышко, он серьезно задумался над вопросом: является ли недопущение рождения убийством и может ли последовательный вегетарианец употреблять в пищу яйца? Подумав минуту и взболтнув ложечкой прозрачный белок, мистер Твайвт твердо решил чашечку отстранить, а впредь, в полное отличие от всех американцев, ни за первым завтраком, ни за вторым, ни за обедом не есть яиц.

Но и не этому трогательному решению великодушного вегетарианца обязан день 11 апреля 1927 года своей славой. Убрав несъеденное яйцо, лакей подал мистеру Твайвту утреннюю почту: свыше тридцати писем. Мистер Твайвт отделил одиннадцать конвертов с европейскими марками и, не читая, бросил их в корзину. Он ненавидел Европу, не желающую покупать мясные консервы его фабрики и разумно размножаться. Быстро просмотрел он остальные письма, лишь одно, последнее, несколько привлекло его внимание. Вот что значилось на тонком, хрустящем листе:

ТРЕСТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ЕВРОПЫ  
НЬЮ-ЙОРК

10 апреля 1927 года

Мистеру Твайвту,  
Чикаго.

Милостивый государь!

Настоящим извещаем Вас, что согласно постановления правления Треста от 4 апреля с. г., начиная с 11 апреля с. г. мы приступаем к осуществлению намеченного плана уничтожения Европы.

С совершенным почтением

директор *Енс Боот.*

— Очень хорошо, — сказал мистер Твайвт и сделал в блокноте пометку.

После этого он развернул «Чикагскую трибуну». Невольно его глаза остановились на хвосте четвертого столбца, где стояло слово «Европа»; отныне вошедшее в его дела. Лениво проволочился он глазами по дюжине каблограмм, сообщавших о различных войнах на Балканах, в Польше и в Прирейнских государствах. Запомнились три мирные депеши:

Женева. Председатель Лиги наций  
господин Баргос,

во время обеда в честь предстоящего вскоре 10-летнего юбилея этого учреждения, произнес речь, в которой указал на «блестящие успехи политики мира, гуманности и справедливости, несмотря на многочисленные осложнения». Представитель Люксембурга уклонился от участия в торжестве. Выделялось сиреневое платье г-жи Трендэди, супруги вице-президента, модели Лебэна (Париж, 2 rue де ля Пэ). Меню: закуска ассорти, суп из черепахи, соль а-ля гренадин, филе де ля пэ, спаржа соус Ламберон, пломбир фиорд.

Копенгаген. Институт высшей статистики

отмечает, что потеря живого материала за период 1924—1926 гг. превосходит итоги жертв последней общей войны

1914—1918 гг. Как известно, четырехлетняя война обошлась Европе:

Убитых . . . . .	10 200 000
Уменьшение рождаемости . . . . .	20 850 000
Увеличение смертности . . . . .	6 700 000
Итого . . . . .	36 750 000

За три года (1924—1926) отмечено:

Убитых (национ. и гражд. войны) . . . . .	9 600 000
Уменьшение рожд. (по сравн. с 1913 г.) . . . . .	18 000 000
Увеличение смертности, голод, масс. эпидемии и пр.) . . . . .	28 000 000
Итого . . . . .	55 600 000

Венеция. Опровергаются слухи о смерти Габриеля д'Аннунцио.

Маститый поэт бодр и недавно закончил новую оду в честь присоединения Македонии. В скором времени он предполагает уехать на неделю в б. Грецию. Возможно участие поэта в спортивных празднествах (катание с Олимпа на аэросалазках и пр.). «Общество памяти Данте» преподнесло ему по сему случаю зеленые замшевые бриджи и рукавицы в форме лиры.

Прочитав телеграммы, мистер Твайвт взглянул на стену, где среди различных планов и схем висела большая карта двух полушарий. Некогда прелестная дочь финикийского царя, ныне жалкая блудница, Европа принимала обычную ванну. Мистер Твайвт щелкнул ее в лоб, так что указательный палец больно ударил по Мадриду. Заключив этим свой первый завтрак, он, как и каждый день, отправился в огородничество. На столе остался блокнот.

1 апреля 1927 года сделать:

1. Выяснить, кому сбывают Черсы желудочные пузыри и на какую сумму.
2. Доказать окончательно, что человек произошел от лягушки (открыл я.— Т.).
3. Уничтожить Европу.

## другие события того же исторического дня

В то же утро такие же письма с печатью «Треста Д. Е.» и за подписью Енса Боота получили два других члена правления: мистеры Джебс и Хардайль.

Мистер Джебс вкушал свой первый завтрак, точнее яичницу с ветчиной (он не был вегетарианцем).

Мистер Хардайль, отстранив поднос с кофе,пил содовую воду (накануне он пил коктейли в чрезмерно большом количестве).

Прочитав письма, они одобрили исполнтельность Енса Боота.

Мистер Джебс от удовольствия зажмурился и погрыз толстейшую сигару, забыв даже закурить ее.

Мистер Хардайль письмом пощекотал лежавшую у его ног миловидную яваночку.

Мистер Джебс находился в Питтсбурге, а мистер Хардайль — в Бостоне.

---

Они закончили первый завтрак. Ванна, которую в это время принимала Европа, скорей может быть названа вечерней. В Берлине пыльные часы на вокзале Фридрихштрассе показывали 5 часов 58 минут. Под часами стояла седая простоволосая женщина и выкрикивала: «Бе-уер!»

Никто не покупал газеты, в которой сообщалось об юбилее Лиги наций, о шестнадцати войнах и о замшевых бриджах Габриеля д'Аннунцио. Женщина кричала все тише и тише, наконец она вовсе замолкла. Тогда к ней подбежал элегантный юноша в оранжевых перчатках с помпонами и, вырвав из ее рук газетный лист, протянул взамен мелкую стотысячную марку. Женщина не взяла ее, да и не могла взять, так как в 5 часов 59 минут она умерла, обнаружив при этом редкую выдержку. Но, вместо того чтобы преклониться перед образом

женщины, сумевшей стоя умереть, юноша спеша распластал газету и замер над отделом:

Б и р ж а

	10 апреля	11 апреля
Доллар . . . .	60 800 000	54 000 000
Франк фр. . . .	3 210 000	2 970 000
Талер . . . . .	89 000	81 000
Рубль . . . . .	450	415

— Бог ты мой! — простонал он и опустился на мостовую. Из его застекленного моноклем правого глаза, голубого, как небо юга, потекла широкая струя слез на пыльный тротуар загаженного полуразрушенного Берлина.

— Бог ты мой! — проворчал городской врач, тщетно пытаясь найти несуществующий пульс молчаливой продавщицы.— Ни углеводов, ни жиров, ни белка — сто восьмой случай за сегодняшний день.

— Бог ты мой! — пролетела подруга юноши, фрейлейн Мицци.— Сегодня «черная среда». Девяносто четыре разорились, шесть покончили самоубийством, а Отто разбил моноколь.

Все это было в порядке вещей. Не только в Берлине, но и во всей Европе не происходило ничего любопытного.

В Бергене (5 ч. 18 м.) рыбак Христенс, сняв обувь, выносил на берег склизкую камбалу. Американка наставила на него кодак и улыбнулась. Камбалу, впрочем, никто не купил.

В Париже (5 ч. 07 м.) закрывались банки. Мосье Виоль вышел из «Лионского кредита», помахал тросточкой, оправил кончик платочка в верхнем карманчике и стал ждать автобуса. Когда он садился, у него украли платочек. Мосье Виоль выругал правительство и потерял аппетит.

В Генуе (5 ч. 47 м.) причалил пароход «Цезарь». Девка Пирета показала матросу-американцу на свою юбку и на кошелек. Матрос понял и пошел с ней за угол. Пирета боялась малярии и носила от заразы на шее ожерелье из чесночных луковиц. Матросу не понравился запах, и он ничего не заплатил.

В Козлове (7 ч. 42 м.) в комиссариате Ваня Глобов допрашивал воришку, стащившего у заезжего директора «Лесного треста» черепаховую лорнетку. Глобову было скучно. Воришка каялся, а милицейский, ругаясь, время от времени прикладывался к его заду казенным сапогом. За стеной дочь комиссара разучивала революционные мелодии. Глобов вынул из кармана

фотографии Сони Зайкиной и Карла Маркса. Соня ему изменила. Маркс давно умер. Ваня зевнул и лег на диван.

Так жила в этот роковой час дряхлая Европа. Еще кого-то чествовали в Лиссабоне и расстреливали в Будапеште. Там, где не было ни речей, ни выстрелов, слышались: храп, тиканье часов, пьяная икота и урчание голодных желудков. По-обычному шумели моря — южные, со спрутами и причудливыми раковинами, западные, с профессорски важными омарами, и северные, кишевшие серебром сельдей.

В горах, там, где покоилась пята ленивицы, стоял, как всегда, столб. По предписанию местного исполкома его покрасили заново, и надпись предупредительно сообщала:

Е В Р О П А

А З И Я

На столбе сидел воробей.

Абсолютно никто не думал ни о столбе, ни о морях, ни о судьбах Европы. Только далеко, в ином полушарии, где часы показывали 9 часов 30 минут, где было утро и шла работа, директор тайного «Треста Д. Е.», Енс Боот, склонившись над картой Европы, давал решительные директивы восемнадцати тысячам шестистам семидесяти агентам треста, находившимся во всех странах Европы.

3

## корень зла, или этно- графическая любознательность принца монакского

Принц Монакский, владетель одного из самых крохотных государств Европы

(поверхность 1,5 кв. км.,  
население 24 600 душ)

по данным историков отличался редкой любознательностью. Все время, свободное от изучения рулетки, он отдавал путешествиям. Именно этим наклонностям вдумчивого монарха обязана Европа своей гибели.

Весной 1892 года принц направился в Голландию. Он провёл три дня в Гааге и, увидав картину Яна Мааса, изображавшую медный газ XVII века, прослезился от нестерпимой красоты. В Гудде он приобрел трубку, в Гаарлеме луковицу тюльпана, а в Лейдене молодого пророка. Принц вел дневник, который, к счастью, сохранился и дает яркую характеристику жизни этого края Европы в конце XIX века.

Восемнадцатого июня принц на небольшой яхте выехал из северного городка Хелдера и около двух часов пополудни причалил к плоскому берегу острова Тессела, немногочисленное население которого занималось, как удалось недавно установить мистеру Бервею, собиранием яиц морских птиц.

Проходя мимо небольшого домика, принц увидел несколько красных голов голландского сыра. Думая в это время о милой его сердцу рулетке, он кинул одну из голов, воскликнув: «Ставки принимаются», — он машинально повторил слова крупье.

Из домика вышла кротколиция голландка в крахмальном чепце, подняла укатившийся далеко сыр и, ни слова не говоря, скрылась. Принц по рассеянности пошел за ней в домик, где и оставался в течение четырех минут, в полном инкогнито, без всякой свиты. Выходя, он задумчиво повторил: «Ставки сделаны».

Даже догадливые соседки не смогли подумать ничего дурного, во-первых, принц пробыл в доме не более четырех минут; во-вторых, чепец голландки остался совершенно несмятым.

Принц записал в своем дневнике:

«18 июня. Остров Тессел (4° долготы, 53° широты). Птичьи яйца. Сыр. Население приветливое. Углы чепцов должны пребольно колоть щеки мужчин. Впрочем, ставки сделаны!..»

Догадливые соседки на этот раз все же о многом не догадались: именно 18 марта 1893 года у кротколицей голландки, снявшей по этому случаю крахмальным чепец, родился сын Енс Боот.

От августейшего отца он унаследовал высокую страсть к крупной игре, немало помогавшую ему впоследствии в деле уничтожения пятой части света. С молоком матери впитал он любовь к хорошему молоку и поэтому в годы войн и революций никогда не расставался с банкой конденсированного молока, приготовленного в Миддельбурге.



## дальнейшие последствия необдуманного поведения принца

О первых годах жизни Енса Боота ничего неизвестно, кроме того, что в 1897 году он проглотил ус лангуста, чем причинил немало забот горячо любившей его матушке.

В 1901 году мы находим талантливого мальчика в Брюсселе в соборе святой Гудулы. Он подает иерею кадильницу, серебряным херувимским голоском подпевает «аминь» и тешит взоры Саваофа белизной своих кружевных халатиков. Но страсть к прогрессу препятствует его духовной карьере. 28 марта 1902 года он появляется в алтаре в фиолетовой сутане епископа, под которой, ввиду ее чрезмерной поместительности, кроме Енса, находятся друг детства, чистильщик сапог Жако, и семь воробьев. Товарищи по играм исполняют с помощью двух кадильниц и одной сковородки торжественный марш, на много лет предвосхищая изобретение джаза.

Находчивого Енса отвезли в детский приют святого Франциска, где шесть монахинь, обливаясь слезами и повторяя молитвы святой Терезе, начали отделять розовые ушки и беленькие волосики Енса от его головы, а пришедший им на подмогу отец Бенедикт сучковатыми пальцами приступил к размягчению грешной плоти.

Отец Бенедикт поработал столь усердно, что тело Енса стало легко складываться в четыре, в восемь и даже в шестнадцать раз. Это определило его дальнейшие шаги, и в 1904 году он стал гордостью парижского цирка братьев Медрано. Но собственная исключительность в те годы не могла удовлетворить идеалистически настроенного отрока. Поэтому, 16 октября 1906 года, он попытался сложить одного из братьев Медрано, а именно — толстяка Гастона, хотя бы в два раза. Это не дало никаких положительных результатов, лишь печально отразившись на манишке Гастона, на только что скушанном им бифштексе и на самом Енсе, который два дня спустя отбыл в качестве поваренка на пароходе «Гамбетта» в дальнее плавание.

Увидев берега Америки, молодой Енс Боот, которому было тогда четырнадцать лет от роду, обрадовался: жизнь в Европе, начиная от проглоченного уса лангуста и кончая сломанной манишкой добряка Гастона, уже слегка угнетала его. Однако, будучи еще чрезвычайно молодым, он не смог принять какое-либо решение и вскоре вернулся в Европу, где в течение трех лет занимался различными делами: учился в среднеучебном заведении, служил младшим цирюльником в Бухаресте, подбирал окурки сигар и выступал в роли факира, публично глотая горящие газеты.

В 1910 году, 3 июля, мисс Жопп, сидя под большим зонтиком на набережной Канн, вдохновенной кистью передавала пену Средиземного моря, невесомую, как пух вылинявших серафимов. К ее величайшему удивлению, из пены появилась пенорожденная Андиомена, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пенорожденным, точнее — Енсом Боотом, пытавшимся скрыться от невыносимого зноя в морских глубинах. Судя по сохранившимся портретам, Енс Боот отличался редкой красотой. Не мудрено, что час спустя он совместно с мисс Жопп пил цейлонский чай, приглашенный ею на должность штатного натурщика.

Мисс Жопп было пятьдесят восемь лет. Ощущение божественной красоты совершенно лишало ее возможности спокойно водить кистью по полотну. Но это художественное бездействие не мешало работоспособности Енса. Прожив год с мисс Жопп, Енс нашел свою миссию законченной и, прекратив с помощью некоторых химических препаратов жизнь даровитой художницы, оказался владельцем виллы на Ривьере, свиней в Йоркшире и гиней в «Английском банке».

Но Енс Боот находился в это время не в Йоркшире, а в Ницце, то есть всего в восемнадцати километрах от Монте-Карло, и, оплакав мисс Жопп, он направился в это гостеприимное место.

— Восемнадцать! — закричал Енс, бросая на стол прозрачные символы виллы на Ривьере.

— Одиннадцать, — вежливо ответил крупье.

— Восемнадцать! — повторил упорно Енс, выгоняя всех свиней Йоркшира.

— Тридцать четыре, — робко возразил крупье.

— Восемнадцать! — И Енс кинул все свои гиней, предусмотрительно размененные на франки.

— Ноль, — раздался соболезнующий шепот крупье.

Енс Ботт вышел из казино нищим, но утешенным мыслью, что он подарил своему отцу, монахскому принцу, всего-навсего двести пятьдесят тысяч фунтов, в то время как получил от него неоценимый дар — жизнь.

Не унывая, Енс Ботт обрел новое ремесло. Он подрядился танцевать танго и бостон с различными дамами в возрасте свыше сорока лет. Регулярно от пяти до семи он прижимал к себе дряблые животы, обтянутые в шелк или в бархат. Дамы весили от восьмидесяти до ста килограммов каждая, и Енс, танцуя, потел, подтверждая этим достоверность божьего проклятия. Енс танцевал хорошо, и, откровенно говоря, ему часто хотелось пригласить какую-либо молодую женщину. Но это было строго запрещено синдикатом одиннадцати почтенных дам, владевшим ногами Енса.

Так продолжалось до 14 января 1914 года, когда случилось нечто катастрофическое и в сильной мере ускорившее гибель Европы.

5

## благодарю, я не танцую (о роли личности в истории)

В вульгарном представлении многих американцев или африканцев главной виновницей гибели Европы является коварная и бездушная мадемуазель Люси Фламенго. Стоит ли опровергать подобные заблуждения? Каковы бы ни были умственные и душевные способности названной особы, не они, конечно, обратили огромный материк в пустыню. До встречи с ней Енс Ботт, испытав в течение двадцати одного года своей бурной жизни многое, успел возненавидеть европейскую цивилизацию. Более того, не будь Енса Ботта, Европа все равно погибла бы. Война 1914—1918 годов, экономический и духовный развал последующего десятилетия являются яркими показателями катастрофического состояния, в котором она находилась еще до создания знаменитого треста. Но, конечно, деятельность Енса Ботта ускорила события на несколько столетий, а встреча с мадемуазель Люси Фламенго, в свою очередь, привела великого авантюриста к важнейшим решениям.

Встреча эта состоялась, как было уже сказано, 14 января 1914 года в 5 часов 30 минут пополудни, в Париже, в учреждении, именованном «Ти стар». Енс Ботт, как всегда, танцевал с одиннадцатью дамами синдиката. Но в указанный час он заметил молодую женщину необычайной красоты с рыжей челкой на матовом лице. Пренебрегая расчетом и традицией, Енс Ботт подошел к красавице, которая, окончив танцевать с молодым дипломатом, пила чай, и церемонно поклонился.

— Благодарю, я не танцую,— ответила презрительно незнакомка, чуть взмахнув рыжей челкой, и откусила острыми зубками миндальное пирожное.

Енс Ботт, проделав еще раз церемонный поклон, отошел. А красавица, оказавшаяся семнадцатилетней дочерью владельца тридцати устричных парков и шести шелкопрядильных фабрик, уже танцевала с другим. Дамы из синдиката, навалившись на Енса одиннадцатью животами, бранили его за нарушение контракта. Енс вышел. Он знал, что он влюблен. Знал также, что мадемуазель Люси Фламенго не захотела танцевать с нищим, наемным танцором.

Остановившись у витрины пароходной компании «Кунер Лайн», он взглянул на карту Европы. Окруженная многими морями, дочь финикийского царя все еще нежилась.

«Великолепный континент! — подумал Енс Ботт.— Но все здесь так устроено, что нельзя жить... Может быть, уехать в Африку?.. Там песок и небо...»

Он уже был готов приоткрыть дверь пароходной компании, но, обернувшись, машинально купил вечернюю газету и стал спокойно читать ее.

Великие идеи, чтобы созреть, нуждаются во времени.

6

## европа или мадемуазель люси фламенго?

Этот факт, то есть чтение вечерней газеты, не являлся исключительным. Напротив, Енс Ботт ежедневно покупал «Энтрансижан». Купив ее однажды, а именно 2 августа 1914 года, он узнал, что различные европейские государства объявили друг другу войну.

Надо сказать, что Енс Боот был человеком без национальности. Он полагал, что паспорт надо менять, переезжая из одной страны в другую, как костюм. Быть голландцем в Италии ему казалось столь же нелепым, как ходить по улицам Неаполя в меховой куртке. Наряду с коллекцией галстуков он возил с собой в изящном футляре из светлой свиной кожи полный комплект паспортов. Говорил он изумительно на восьми языках, а в интимных беседах, когда его спрашивали, какой он национальности, отвечал без всякой иронии — «европеец». Так как объявление войны застало его в Париже, он оказался французом и был тотчас мобилизован. В течение трех лет жизнь Енса Боота носила скучный и монотонный характер, ничем не отличаясь от жизни миллионов других европейцев того времени. Приставленный к батарее 305-миллиметровых орудий, он уничтожал незримых врагов и глотал холодный суп, поросший коркой жира.

Только раз достаточно банальное зрелище взволновало его. С верхушки холмика Енс Боот взглянул на долину реки Соммы. Перед ним была голая, обезображенная земля. Енс вздрогнул, как вздрагивают любовники, увидав лицо молодой женщины, в минуту усталости принявшее старческий характер. И так как Енс когда-то в среднеучебном заведении изучал мифологию, он с неподдельной горечью сказал своему соседу, капралу Мишо:

— Бедная финикийская царевна!..

Но Мишо не понял Енса и неопределенно хмыкнул.

Три года Енс Боот делал то же, что делали и другие, но, зная его последующие героические поступки, можно легко допустить, что голова его была заполнена далеко не банальными мыслями.

Весной 1917 года, спрятавшись в трюме транспорта, Енс Боот переплыл в Архангельск. В октябре того же года мы видим его в Москве, наводящим орудия на Кремль. Высчитывая прицел, Енс бормотал:

— Попробуем! Может быть, это еще поправимо...

Енс Боот честно и стойко пытался многое исправить. Он руководил операциями по ликвидации различных консульств в Москве, дрался с французами под Одессой, и в течение четырех лет его сердце при биении ударялось о твердую книжицу, которая была не чем иным, как партийным билетом РКП.

Но в 1921 году, узнав о начале нэпа, Енс Боот, который был не политиком, а всего-навсего честным авантюристом, освободил свое сердце, отослав билет секретарю райкома, застрелил на прощанье трех председателей трестов, четырех председателей биржевых комитетов и одного директора банка, вынул из кожаного футляра нужный документ и уехал в буржуазные страны. Енс Боот предпочел вместо новой экономической политики заняться древней спекуляцией. Он покупал и продавал различные товары: акции рудников, доллары, караты красавиц, сердца министров и даже некоторые спорные города, как-то: Фиуме, Мемель, Черновицы, Вильно и другие.

К 1925 году он невероятно разбогател, оставив далеко позади себя Ротшильдов, Стинеса, Лушера и других владельцев как индустриального, так и банковского капиталов Европы. Но богатство мало развлекало Енса Боота, обладавшего скромными привычками мелкого приказчика.

Единственным утешением меланхоличного миллиардера являлись путешествия. Руководимый неким тайным инстинктом, он не покидал Европы, но целыми месяцами колесил по ней в различных экспрессах. Он ездил от моря до моря, от яблонь Нормандии до жасмина Золотого Рога, от низкорослых елей Лапландии до апельсиновых рощ Мессины.

Сквозь запотевшее стекло спального вагона над прозрачной долиной горел закат. Да, рыжая челка была прекрасна на матовом лице похищенной финикийки! И когда ночь покрывала мир, когда в коробке купе, пролетающей от моря до моря, одиноко бился электрический месяц, Енс Боот, бывший гастролер цирка Медрано, бывший красноармеец армии Буденного, ныне миллиардер в лиловой пижаме, любил страстно и дико Европу. Да, не родину, не вселенную, но часть света, нежную беглянку, вожделенную мадемуазель Люси Фламенго!

(Следует добавить, что ночью Енс Боот никогда не глядел в зеркало сам на себя.)

Днем же он видел все: рабов в своих шахтах, депутатов, профессоров, проститутку и многое иное. Видел также в зеркале одутловатое, заспанное лицо. И днем Енс Боот Европу ненавидел, вынашивая ненависть, как младенца, глубоко под фланелью жилета. На любом вокзале мира, будь то Торнео или Палермо, высовываясь из окна, он слышал мерзкий запах гнили, как будто на него дышала старуха с черными гнилыми зубами. Это пахла Европа. И Енс Боот понимал, что Европа

стара, мерзка, что ее можно любить лишь в темноте, не раскрывая глаз и не дотрагиваясь пальцами до ее шершавой кожи. Энс Боот не был ни философом, ни политиком. Поэтому он не писал книг о закате старого мира и не заседал на конгрессах Коминтерна. Вероятно, этот человек был рожден для первобытной жизни. Его мать, несмотря на крахмальный чепчик, была мало приобщена к сокровищнице европейской культуры. На пустынном острове она собирала яйца диких птиц. От отца Энс воспринял, как уже было указано, только страсть к азартным играм. Если бы Энс Боот уехал девятнадцати лет в Африку, он нашел бы там применение своим наклонностям: собирал бы яйца страусов, которые, вопреки молве, весьма питательны, и охотился бы на царей пустыни — львов, что в общем мало чем отличается от рулетки. Но в Европе 20-х годов XX века, дряхлой и блудливой, ему нечего было делать.

Проезжая как-то мимо Эдинбурга, он вздумал жениться. Это было в мае 1926 года.

7

## честь рода лордов ХЭГОВ оскорблена!

Старый лорд Чарльз Хэг никогда не посещал палату лордов: он считал, что законы выдуманы для жалких проходимцев из палаты общин, лордов же могут интересоваться лишь традициями рода. Презирая билли, лорд Чарльз Хэг уважал скачки. На гербе лордов Хэгов имелся конский хвост: это предопределяло жизненное назначение каждого первенца в семье Хэгов.

У лорда Чарльза Хэга были великолепные конюшни. Но в 1924 году его постигли многие несчастья, напоминающие рассказ о библейском Иове: его надежда — жеребец Джимми не взял приза дерби, кобыла Виктория сломала себе ногу, ее пришлось пристрелить, Маршал и Рио погибли от сапа. Лорд Чарльз Хэг поседел, помрачнел и, ввиду соображений финансового порядка, отказался от пасхального путешествия в Севилью.

Тогда его супруга (кроме жеребцов и кобыл, у лорда Чарльза Хэга имелась супруга), сидя у камина, перебирая старинными щипцами угасающие угли и нюхая вянувший цветок гелиотропа, прошептала:

— Но у нас есть Мери!

(Это вполне соответствовало действительности, — кроме жеребцов, кобыл и супруги, у лорда Чарльза Хэга была дочь, которую звали Мери.)

Разумеется, упомянув о дочери, благородная леди отнюдь не думала, что красавица Мери может заменить на ближайших скачках усопшую кобылу Викторию. Нет, она глядела глубже в таинственную книгу судеб. На левой странице значились долги лорда Хэга, на правой — капиталы богатого иностранца, который вчера у сэра Эдуарда Карсейля танцевал с Мери кау-трот, в течение трех минут глядя прекрасными глазами истукана на восковую дочь лорда. Правая страница книги судеб столь взволновала леди, что она решилась произнести свою историческую фразу.

— Дорогая, вы забываете о чести рода Хэгов, — негодуяще ответил лорд и стал преданно глядеть на потолок, где красовался герб с конским хвостом.

Впрочем, негодование лорда длилось недолго: три дня спустя, глядя, как дочь Мери танцует фавстеп с далеко не знатным женихом, он лишь кротко вздыхал про себя:

— Чарльз, вы начинаете забывать о хвосте!..

Нам трудно разобраться в причинах, побудивших Енса Боота сделать предложение дочери лорда Хэга, с которой он лишь раз в течение трех минут танцевал кау-трот, не обмолвившись при этом ни единым словом. Вероятно, коснувшись ее теплой, незащитной руки, он почувствовал нечто, всегда глубоко волновавшее его. Это было родственным печальной матовости мадемуазель Люси Фламенго, теплоте римских фонтанов и конфузливой нежности шведских шхер, согретых северным солнцем. Европейские поэты склонны были называть подобные состояния «любовью», мы же определим их скорее как «чувство Европы».

Енс Боот сделал предложение и получил благосклонный ответ. Венчание было назначено на 12 июня и должно было состояться в родовом поместье лордов Хэгов, находившемся в двадцати милях от Эдинбурга.



В торжественный день старый замок блистал сотнями родовых хвостов. Они глядели со стен и с потолков, с тяжелых gobеленов и с тончайших стекол. В огромном зале леденели хрустальные бокалы, на которых инеем были выведены все те же хвосты. Благородная леди лично руководила приготовлением брачного ложа для молодых, и услужливо прикрытые подушки ласково мигали геральдическими хвостами. А на конюшне особый конский парикмахер Джим расчесывал хвосты жеребцов и кобыл.

Все были в сборе, не было только Енса Боота. Его ждали к одиннадцати часам утра. Часы и на башне, и на браслетке прекрасной Мери уже показывали четыре пополудни. Пастор, как нетерпеливый рысак, фыркал и переступал с ноги на ногу.

Прошло еще шесть часов, наступила ночь. Но, увы, она не стала для Мери первой ночью. Леди прикрыла наспех подушки, чтобы они не издавались над нею. Слуги убрали хрусталь, и он погребально звенел. Умело переделав свои лица из свадебных на похоронные, гости разъехались, причем сэр Эдуард Карсейль тихо сказал своей супруге:

— Не только время — деньги, но и деньги — время.

Супруга, не поняв подобного глубокомыслия, уныло вздохнула.

Замок опустел. По бледному лицу Мери пробежала длинная слезинка. В огромном зале, глядя на сотни хвостов, лорд Чарльз Хэг сказал:

— Честь рода Хэгов оскорблена!

В общем он был прав.

8

## ТЯЖЕЛОЕ РАССТАВАНЬЕ

В тот же день, часов в одиннадцать утра, перед вывеской кабачка «Улыбка кафра» остановился высокий человек в макинтоше. Так как дело было в Глазгове, на зазевавшегося прохожего падал сверху извечный серый дождик, смешанный с копотью. Человек вошел в кабачок и спросил стакан виски. Уронив голову на руки, он долго сидел в крайне неопределенном состоянии.

Кабачок «Улыбка каффа» находился в порту, и заходившие матросы, грузчики, девки с любопытством оглядывали молчаливого гостя.

Наконец чудаковатый клиент зевнул. Сделал он это столь неожиданно и громко, что хозяйка вздрогнула как от слишком пронзительной сирены. Зевок, очевидно, являлся внешним выражением какого-то решения, потому что посетитель сразу оживился и крикнул служанке:

— Еще виски! Два листа почтовой бумаги! Одну открытку с цветами!

Затем он приступил к работе.

УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ ЕНСА БООТА  
господину Альфреду Ногейну в Амстердам

*Глазгов, 12 июня 1926 года.*

Дорогой господин Ногейн!

Настоящим извещаю Вас, что я решил ликвидировать все свои дела и стать каффом.

Так как для собирания страусовых яиц и пр. не требуется никаких капиталов, я высылаю Вам одновременно с этим письмом нотариальное завещание, вскрыв которое Вы увидите, что я делаю Вас наследником всего моего состояния, включая незабвенную лиловую пижаму.

Будьте здоровы.

Искренне Вам преданный

*Енс Боот.*

Очень рекомендую Вам жениться на мисс Хэг, адрес на обороте.

ЛОРДУ ЧАРЛЬЗУ ХЭГУ

*Замок Айэн, близ Эдинбурга.*

Достопочтенный лорд!

Я прошу Вас простить меня, что я опоздал к часу торжественной церемонии. Я прошу Вас также передать Вашим высокоуважаемым супруге и дочери мои искренние извинения и соболезнования по поводу причиненных хлопот и пр. В свое оправдание скажу лишь, что с сегодняш-

него числа я утратил всякие права на мое имущество как движимое, так и недвижимое, и поэтому не мог осмелиться сделать Вашу дочь подружкой жизни злосчастливого горемыки.

Надеюсь, что Вы не откажетесь передать моей исчезающей мечте, то есть Вашей остающейся при Вас дочери, что три минуты, когда я танцевал с нею кау-трот, будут мне памятны до последнего вздоха.

Примите, дорогой лорд Хэг, мои уверения в совершенном к Вам почтении.

*Е. Боот.*

На открытку с анютиными глазками, которую служанка после долгих колебаний купила в соседней лавчонке, Енс Боот прежде всего поставил кляксу от слишком тщательного обдумывания краткого текста.

<p><i>12 6. 1926</i></p> <p><i>Я покидаю Европу. Это примерно все, что я Вам хочу сказать.</i></p> <p><i>Прекрасная финикийка, я не сумел быть ни Юпитером, ни быком.</i></p> <p><i>Я в мрачном настроении и пью виски.</i></p> <p><i>Желаю Вам и Вашему уважаемому супругу хорошей погоды и т. п.</i></p> <p><i>Кабачок «Улыбка кафра».</i></p> <p><i>Енс Боот</i></p>	<p><i>Мадам</i></p> <p><i>Люси Вланкафар</i></p> <p><i>(урожд. Фламенго)</i></p> <p><i>26, рю де Шери-Миди</i></p> <p><i>Париж</i></p>
---	--

Закончив эти литературные упражнения, Енс Боот отправился осматривать пароход. Он легко разыскал «Романик», который отбывал в Восточную Африку. Он готов был сесть на него.

Но принц Монакский, находясь в доме гостеприимной голландки, думал о крупной игре. Несмотря на тридцать два года действительной жизни и на достаточно выразительный зевок в кабачке «Улыбка кафра», Енс Боот был преисполнен сил и порывов. Причем мы уже говорили, что великие идеи бродили в нем.

«Может быть, попробовать стать Юпитером или быком?» — подумал он, улыбнулся и отошел от сходней «Романик».

Это, однако, не означало намерения поехать к мадам Люси Бланкафар на улице Шерш-Миди и произвести в ее квартире некоторый переполох. Нет, для другой игры и для другого переполоха был рожден Енс Боот!

Час спустя он уже находился среди палубных пассажиров роскошного парохода «Мавритания», который шел в Нью-Йорк.

В 10 часов вечера, когда лорд Чарльз Хэг был в огромном зале, «Мавритания» отчалила от берегов Европы.

Енс Боот стоял на корме. Среди туманов поздних июльских сумерек еще горели рыжие волосы Европы. Енс вспомнил все — и запах подмосковных лугов, и вековой лак парижской площади Конкорд.

Ему было невыносимо тяжело, и, расставаясь со своей истинной любовницей, с Европой, великий авантюрист сначала послал ей воздушный поцелуй, а потом сел на куль с перцем, поднял воротник пальто, зарылся в темноту и, по всей вероятности, заплакал.

9

## превосходная бритва за двадцать центов!

Плакал или не плакал Енс Боот, сидя в темноте на куле с перцем, установить невозможно. Во всяком случае, если он и пролил на навощенную палубу несколько горьких слез, то этим ограничилось его сентиментальное отчаяние, — изо всех человеческих занятий оплакивание было наименее свойственным Енсу Бооту.

Хорошо выспавшись, утром он восстановил в памяти события вчерашнего дня и освидетельствовал себя. Выяснилось, что он едет в Америку с билетом третьего класса, со ста сорока долларами, без багажа и без воспоминаний. Это развеселило Енса Боота, и он не стал раздумывать, зачем он променял

жизнь миллиардера на мытарства безработного эмигранта в трущобах Нью-Йорка или Чикаго и что он будет делать в Новом Свете. Енс Боот крепко верил, что философствовать могут лишь монахи, изготавливающие ликер бенедиктин, или российские интеллигенты, на привилегии которых профаны не должны посягать.

Енс Боот ел бутерброд с ростбифом и ни о чем не думал.

По заезженному древнему пути неслась огромная рыба, густо нафаршированная людьми. Кругом была, разумеется, вода. Все располагало к поэзии. Но здоровая любознательность проснулась в Енсе Бооте, и он, с отменной ловкостью умеющего складываться в шестнадцать раз, обследовал «Мавританию».

Три четверти парохода занимали почтенные американцы с семьями, ездившие в дряхлую Европу для полезной желудку меланхолии, как ездили, по преданию, европейцы XIX столетия в мертвые города, в Венецию или в Брюгге. Богатых было немного, но они любили простор, и поэтому сто сорок восемь пассажиров, обладавших капиталом в 12 000 000 000 долларов, занимали три четверти парохода. На четырех палубах они танцевали кау-трот, катались, сидя в корзиночках с парусами, аплодировали дамскому боксу и стреляли в прирученных колибри. Нижняя палуба была обращена в каток, и, несмотря на зной июльского солнца, дочери и сыновья миллионеров, в пурпуровых и изумрудных штанах, лихо носились по звонкому льду. На верхней палубе цвели сицилийские апельсины и бразильские орхидеи. В каютах играли оркестры малайцев, яванцев, либерийских негров и нижегородских балалаечников. Дипломатические лакеи разносили утренние коктейли.

Глотая ледяные смеси, миллионеры поглядывали на восток и ухмылялись. Они вспоминали некоторые аттракционы умирающей Европы: расторопность французенок, чувствительность семейных немок и мистический темперамент русских аристократок, всех равно готовых к услугам за несколько долларов, заваливавшихся в жилетном кармане.

Туда же, то есть на восток, взирали с благодарностью супруги миллионеров: они везли в поместительных кофрах смиренную дань Европы — платья, обдуманно консилиумами лучших парижских художников, фарфоровые сервизы различных низложенных династий, тяжелые ожерелья и кольца

князей, графинь и баронесс, кротко проводящих дни в очередях всех европейских ломбардов.

И, наконец, мечтательные дочери миллионеров, с шеями жирафов и со ступнями слонов, обращали студии своих глаз к исчезнувшим берегам, где имеются Венеры Милосские, римские ладзарони и прочие достопримечательности, тщательно зарисованные на страницах великолепных замшевых альбомов.

Сто сорок восемь пассажиров первого класса, нежась на утреннем солнце, невольно поворачивались к умирающей Европе.

На другом конце парохода находились пять тысяч шестьсот семьдесят пассажиров третьего класса. Им было, конечно, тесно, но ведь у пяти тысяч шестьсот семидесяти человек, взятых вместе, не было и ста тысяч долларов, а один пассажир первого класса, стальной король, мистер Джебс, заплатил за проезд в каюте, отделанной в мавританском стиле, сто пятьдесят тысяч долларов. Пять тысяч шестьсот семьдесят человек могли легко потесниться. Это были даже не граждане США, а презренные эмигранты: ирландцы, польские евреи, итальянцы, немцы, убежавшие куда глаза глядят от десяти лет голода и войны. Они давно разучились роптать или надеяться.

Пароходная компания «Синяя звезда» заботилась обо всех пассажирах, даже об этом сброде. Пять тысяч шестьсот семьдесят человек сидели чинно на чисто выкрашенных скамьях и ели питательный суп из алюминиевых чашек, цепочками прикрепленных к столам. Время от времени специальные санитары обрызгивали их из гигантских пульверизаторов карболкой и йодоформом. Пять тысяч шестьсот семьдесят человек тупо глядели на запад, где должна была родиться в зеленом мареве моря новая земля, трудная и злая, как все земли Земли. Только грудные младенцы, не понимая 116 параграфа правил, изредка начинали кричать, но им быстро зажимали рты механическими ротодержателями.

Между первым и третьим классами находилась граница — столб с надписью:

*ВХОД ПАССАЖИРАМ ТРЕТЬЕГО КЛАССА ВОСПРЕЩАЕТСЯ*

За исполнением приказа следили четыре негра в оранжевых мундирах. Но Енс Боот, гордость цирка Медрано, легко прополз ужом мимо четырех негров. Очутившись в просторных

помещениях первого класса, он не испытал никакого желания вернуться на скамью, где и без него обретались пять тысяч шестьсот шестьдесят девять человек. Дружески поговорив с заведующим ваннами и парикмахерскими, он вспомнил одно из своих былых ремесел и час спустя стал главным массажистом «Мавритании».

В 10 часов утра в нижних помещениях началась необыкновенная суматоха: стальной король, мистер Джебс, принимал ванну. Мистер Джебс ценил свое время, и поэтому в большую ванную комнату, примыкавшую к мавританской каюте, собралось пять мастеров. Мистер Джебс гордо лег на циновку. Одновременно парикмахер начал брить его, маникюрщик обрезать ногти на руках, педикюрщик — на ногах, второй парикмахер обливать голову хинной настойкой, а Енс Боот растирать круглый, тугой живот. Мистер Джебс, предоставив свое тело людям, в эти четверть часа душой, свободной от всяких житейских дел, беседовал с богом.

Позади стояли подмастерья с духами, притираниями, щипчиками, мазями, лаком и прочими материалами. Сверкали серебром десятки кранов. Нежно булькала розовая вода в мраморе ванны, и не менее розовая, не менее благоуханная душа мистера Джебса парила высоко в небесах.

Это было как бы четырехэтажным зданием. Внизу голый, густо фиолетовый мистер Джебс. Над ним лакеи, готовящие ему плотный завтрак, и скрипачи, репетирующие для него любимое попури из «Травиаты». Еще выше радиостанция «Мавритании», отправляющая телеграмму в Питтсбург супруге мистера Джебса:

«Спал хорошо. Appetit прекрасный. Европа вздор. Приеду в среду 12 часов 47 минут».

А надо всем розовая бабочка — освобожденная от плоти душа.

Мастера и подмастерья, понимая величие этого здания, богомольно молчали. Вдруг раздался скрипучий голос самого мистера Джебса:

— Милейший, а это ведь превосходная бритва?

— Все, что есть лучшего, сэр!

— А сколько она стоит?

— Куплена в Гамбурге. Если перевести на наши деньги — двадцать центов, включая пошлину и пересылку.

Здесь произошло нечто невероятное. Живот, находившийся под пальцами Енса Боота, сразу неслыханно раздулся. Весь мистер Джебс окончательно побагровел.

— Содовой! — прохрипел он.

Выпив стакан воды, мистер Джебс несколько оправился и приказал перенести его в ванну. Енс Боот взял бедного короля стали и ласково окунул его в розовую водичку.

— Двадцать центов! — шептал мистер Джебс. — А у нас четыре доллара. Ну да, понятно...

В 1920 году девяносто центов.

В 1923 году пятьдесят центов.

Теперь двадцать центов. А покупать они ничего не покупают. Сифилитики из «Травиаты»! Нет, единственный выход — уничтожить Европу!..

Да, разворачивая свиток истории человечества, мы можем воскликнуть: сколько случайностей!

1. Енс Боот легко мог бы остаться с пятью тысячами шестьюстами шестьюдесятью девятью пассажирами третьего класса и не массировать 19 июля 1926 года живота мистера Джебса.

2. Парикмахер мог бы брить мистера Джебса американской бритвой.

3. Мистер Джебс, беседуя с богом, мог бы не удостоить беседой парикмахера.

И т. д.

Но непоправимое случилось. Енс Боот теперь твердо знал, зачем он едет в Америку.

10.

## «час изобретений»

Скинув пиджак, с засученными рукавами, с огромной манильской сигарой в желтых конских зубах, мистер Джебс ходил по кабинету. Время от времени он поворачивался к двери с маленьким оконцем, в которое просовывались различные более или менее гениальные головы. Это был так называемый «час изобретений».



Раз в неделю, по четвергам, с четырех до пяти мистер Джебс выслушивал предложения всех изобретателей. Каждому желающему предоставлялась одна минута, чтобы изложить главные черты своего изобретения. Если предложение казалось королю стали полезным для его многочисленных предприятий, он отсылал изобретателя в ту или иную из своих лабораторий. Один час в неделю, уходящий на прием шестидесяти посетителей, окупался с лихвой, в среднем не менее пяти процентов предложений покупались и патентовались мистером Джебсом.

— Я номер шестнадцатый,— раздался голос сквозь оконце.— Я предлагаю магнитно-фугальные орудия. Тяжелые снаряды на расстоянии до тысячи километров. Построены на принципе электромагнитных волн. Сталь, выдерживающая молекулярное напряжение.

— С тысяча девятьсот двадцать пятого года готовится на заводе номер шесть. Опоздали. Следующий!

— Семнадцатый. Предлагаю рекламировать изделия треста с помощью дуговых ламп. Звуковые волны передаются микрофоном. В Нью-Йорке по моему плану двадцать тысяч дуговых ламп ежевечерне одновременно восхваляют вашу фирму.

— Хорошо. Обратитесь к мистеру Тайгену, заведующему отделом рекламы. Следующий.

— Номер восемнадцатый. Предлагаю использовать магнитные бури на Аляске. Я изобрел прибор, улавливающий разные потенциалы.

— Хорошо. В лабораторию сорок седьмую с трех до четырех по понедельникам. Следующий.

— Смерть паровой машине! Смерть паровой турбине! Я изобрел электрический элемент с отрицательным электродом из угля. Полная революция в индустрии!

— Вздор! Принимайте холодные души.

Мистер Джебс так был возмущен диким цинизмом сумасброда, что даже забыл произнести «следующий» и потерял две минуты исключительно на негодование и на обглаживание окурка манильской сигары. Заметив эту потерю, он позвонил, и в оконце тотчас же показалась голова двадцатого изобретателя.

— Предлагаю уничтожить Европу.

Мистер Джебс от неожиданности присел на вращающийся табурет и закурился на нем. Но номер двадцатый с отменным спокойствием продолжал:

— Организация треста. Капитал двадцать миллиардов долларов. Вы вносите треть. Я нахожу еще двух компаньонов. Я — директор. Полная гарантия тайны.

— Вы сумасшедший или анархист? — спросил его наконец мистер Джебс, остановив свой табурет.

— Отнюдь нет. Моя минута кончилась. Но если вы дадите мне еще три минуты, я посвящу вас в суть моего плана. Он вполне осуществим.

Чуть поколебавшись, мистер Джебс подошел к внутреннему телефону и сказал секретарю:

— Вызвать изобретателя номер двадцать в мой кабинет. Прием остальных, от двадцать первого до шестидеятого, перенести на следующий четверг. Ко мне не звонить.

В кабинет вошел Энс Боот. Он походил на нищего, опустившийся, грязный, давно не бритый, с клочками рубашки, вылезавшими из-под мышек, в порванных штиблетах, из которых любознательно выглядывали голые пальцы. Кто бы мог узнать в нем миллиардера, жениха дочери лорда Хэга, три месяца тому назад лучше всех танцевавшего кау-трот на парижских балах?

Костюм Эенса Боота был отнюдь не маскарадным. Приехал десять недель тому назад в Нью-Йорк со ста сорока долларами, он не пошел ни в цирк, ни в парикмахерскую. Сняв номер в небольшой гостинице, он купил себе маленькую тетрадь в клеенчатой обложке и стал покрывать ее какими-то записями, объявив хозяйке, что он лирический поэт и пишет элегии на мифологические темы, предпочтительно о любовных трансформациях богов. Услышав это, хозяйка удвоила цену на комнату, так что сто сорок долларов с редкой быстротой перекочевали в ящик ее комода. Энс Боот перебрался тогда в Ист-Сайд и, продав старьевщику-еврею свою одежду за десять долларов, приобрел у него же за два доллара живописные лохмотья, в которых ему пришлось предстать перед озадаченным мистером Джебсом. Семь недель Энс Боот бедствовал, питаясь кукурузными лепешками и ночуя на полу в бесплатных ночлежках «Армии спасения». Но он упорно не желал взяться за какую-либо работу, днем и ночью на скамейках скверов или вокзалов предаваясь все тому же таинственному занятию, которое, по его словам, являлось лирической поэзией.

Когда же прошло два месяца и клеенчатая тетрадь была исписана, Энс Боот, срезав у какого-то зазевавшегося мистера

массивные золотые часы (впрочем, оказавшиеся лишь серебряными, то есть позолоченными), купил билет до Питтсбурга и под номером двадцатым явился к мистеру Джебсу в «час изобретений».

Войдя в кабинет мистера Джебса, Енс Боот прежде всего подошел к письменному столу, взял манильскую сигару, закурил ее и сел в покойное кресло, положив ногу на ногу, ничуть не смущаясь при этом любознательностью своих пальцев, выглядывавших из штиблет.

Потом он вынул клеенчатую тетрадку и протянул ее мистеру Джебсу.

На первой странице аккуратным почерком школьника было выведено:

*План организации треста гибели Европы.*

На следующих были отнюдь не элегии, но таблицы, чертежи и сжатое резюме различных планов. Десять недель не прошли даром.

До 11 часов вечера мистер Джебс просидел в кабинете с Енсом Боотом, изучая двадцать четыре страницы тетради. А в 11 часов он кратко спросил:

— Когда?

— Начнем в двадцать седьмом. Кончим к сороковому.

— Сколько?

— Ваша треть. Всего около двадцати миллиардов долларов основного.

Мистер Джебс вынул чековую книжку. У Енса Боота не было ни одного целого кармана, чтобы спрятать чек.

На следующее утро он прежде всего поехал в универсальный магазин и приобрел комплект вещей, необходимых для делового человека, начиная от штанов и кончая электрическим аппаратом, убивающим вора, попытавшегося похитить бу-мажник.

Услужливый приказчик среди прочего предложил ему лилую пижаму. Но Енс Боот отказался.

«Пижамы осталась в Европе», — подумал он с известной долей меланхолии. Пижамы и мадам Люси Бланкафар, урожденная мадемуазель Фламенго. Впрочем, теперь они обе погибнут. Остановка еще за двумя компаньонами.

## В разумном предвидении свадебного путешествия

Две недели спустя Энс Боот зашел в нью-йоркскую контору «Кука и сына», чтобы справиться о маршруте мексиканского экспресса. Его внимание сразу привлек высокий меланхолический юноша, которого тщетно пытались оживить трое служащих.

Получив письменную справку касательно своего поезда, Энс Боот тихонько кинул листок в корзину. Дело в том, что он отнюдь не собирался ехать в Мексику, а просто заходил в самые разнообразные учреждения и места, как-то: банки, бани, кондитерские, правления трестов и пр. — с некоторыми скромными, но не совсем ясными намерениями.

Итак, выкинув справку, Энс Боот подошел к меланхолическому юноше.

— Небольшое путешествие в живописную пустыню? — как граммофон выкрикивал служащий. — Что ж, это очень легко. Вы выезжаете в среду в одиннадцать из Нью-Йорка, в понедельник в пять пополудни прибываете в Танжер, там ужинаете, в восемь часов двадцать отходит сахарский экспресс. На следующее утро, девять часов сорок, Оаз-Бэн, самый лучший курорт в пустыне. Все развлечения: катанье на верблюдах, арабские танцы, песочный спорт и прочее, комнаты по купонам «Кука и сына». Оттуда в среду десять...

— Нет, не подходит, — вздохнул юноша, и меланхоличность его глаз удвоилась. — Я хочу настоящую пустыню без людей.

Другой служащий, вытащив толстый том путеводителя, затрещал:

— Превосходно — пустыня Гоби. На самолете. Вы вылетаете в пятницу утром. Ночевка в Токио. В субботу в восемь часов вечера прилетаете в Хентшбад — в центре Гоби. Очень мало людей. Никаких частных домов или пансионатов. Пять гостиниц, все «Кука и сына». Великолепный вид. Окна на песок. Оттуда...

— Не то, — еще оглушительней вздохнул юноша и снял при этом пиджак, ибо в комнате было почти так же жарко, как

в Сахаре. Его примеру с нескрываемым сладострастием последовали три отчаявшихся служащих, причем третий, самый толстый и потный, сказал:

— Мало людей еще в горах. Советую вам Гималаи. Прекрасный климат. Прохладно. Все врачи рекомендуют при нервных заболеваниях. В зубчатой железной дороге на Эверест. Спальные вагоны. Плацкарты выдаем здесь. На верхушке наша гостиница «Шпиз земли». Шестьсот салонов с ванными. Вы уезжаете...

— Нет, вы ошибаетесь. Я именно не уезжаю. Я не стал бы беспокоиться для того, чтобы увидеть еще одну гостиницу «Кука и сына». Жизнь становится абсолютно несносной — любознательному американцу некуда ехать!

С этими словами меланхолический юноша отошел от прилавка и, надев героически пиджак, направился к двери. Его остановил Енс Боот.

— Два слова. Совершенно с вами согласен. Могу помочь. Придется только несколько отложить поездку. Например, через пять лет...

— Что ж, это не так плохо. Я решил через пять лет жениться. Свадебное путешествие. А куда?

— В среднеевропейскую пустыню.

— Вы смеетесь надо мной! Осматривать Колизей? Нет, для этого Вильямс Хардайль слишком уважает себя.

— Вы меня не поняли, дорогой мистер Хардайль. Через пять лет вы сможете поехать с молодой и очаровательной супругой в настоящую пустыню — приблизительно около пяти-сот тысяч квадратных километров, полное отсутствие гостиниц как «Кука и сына», так и других. А к тысяча девятьсот сороковому году я предложил бы вам приготовиться к большому путешествию по огромной европейской пустыне — около пятнадцати миллионов квадратных километров.

— Послушайте, — раздраженно ответил Вильямс Хардайль, — если это шутки, то вряд ли уместные. Я абсолютно не интересуюсь политикой, и ваши сатирические аллегии...

— Отнюдь не аллегии, практическое предложение, достойное стен уважаемых мистеров Кука и сына Кука.

Кратко, ввиду высокой температуры августовского дня, Енс Боот посвятил юношу в свои планы.

— Семь миллиардов, зато настоящее путешествие в пустыню.

И так как Вильямс Хардайль был сыном короля нефти, то он мог позволить себе небольшую роскошь забавного свадебного путешествия.

У Енса Боота теперь уже были не только одиннадцать карманов, но и электрический хранитель бумажника. Поэтому он без всяких затруднений взял чек нефтяного престолонаследника.

— Только постарайтесь, чтобы было попустынной, — попросил мистер Хардайль, трогательно сжимая руку остроумнейшего из всех Куков мира.

12

## НО ЧТО «НО»?

Семнадцатого октября 1926 года в небольшом, но фешенебельном клубе чикагских миллионеров-мормонов мистер Твайвт, первый завтрак которого был нами описан в начале нашей исторической работы, читал свой прославленный доклад «Размножайтесь разумно».

Так как членами клуба являлись лица не моложе пятидесяти лет, то каждому понятно, что к докладу они проявляли бескорыстный, чисто теоретический интерес.

Впрочем, среди слушателей находился один гость, которому на вид было лет тридцать, но и он, зевая, подчеркивал нечто в своем блокноте, будучи явно не склонен к размножению, хотя бы и разумному.

Доклад имел шумный и, скажем от себя, вполне заслуженный успех. Кончив читать, мистер Твайвт вытер лоб фулярным платком, попросил стакан воды и сел в темный угол, скрываясь от наглых ласк всемирной славы.

Там его нашел молодой гость, переставший к этому времени зевать. Энергично схватив мягкую руку мистера Твайвта, он закричал:

— Великолепные идеи! История не знала подобного филантропа! При жизни памятник! Семена ваших слов падут на

хорошую почву! Во всех штатах через десять — двадцать лет приступят к разумному размножению, но...

Здесь голос гостя покрылся налетом истинной скорби, в нем как бы слышались затаенные слезы.

— Но что «но»? — взволнованно спросил мистер Твайвт.

— Но вы забыли об одном большом континенте.

— Вы ошибаетесь, я обдумал план использования Африки. Строго контролируя зачатия, мы можем в течение ста лет создать несколько удачных пород ломовых лошадей: человек-грузчик, человек-возчик, человек-лакей и другие, по желанию. У грузчиков развитие грузоподъемности — десять лошадиных сил, крохотная голова, кретинизм, полное послушание, растительная пища. У лакеев особо развитые руки-крючки, атрофия языка, отсутствие половой возбудимости и т. д. Все это гораздо гуманнее роботов, о которых сообщала недавно «Чикагская трибуна», и достигает той же цели. Главное — приучить наших рабочих к христианскому смирению. Импорт ста тысяч ломовых людей окончательно уничтожит социализм.

— Воистину вы гениальны, мистер Твайвт, — взволнованно воскликнул гость. — Кроме прижизненного памятника, надо требовать от сената ста стипендий, триумфальную арку и переименования целого штата. «Штат Твайвт» — это звучит хорошо. Но... но все же, но...

— Но? Но что «но»?

— Но вы забыли об Европе.

— Да, пожалуй, вы правы, молодой человек. Молодой, сказал я, молодой, но рассудительный. Это скверная часть света. Она не покупает моих всемирно известных мясных консервов, и потом вообще...

— Вот именно, мистер Твайвт, вообще: Европа противится разумному размножению. Послушайте меня.

I. Они вообще уклоняются от всякого размножения. Возьмем хотя бы Францию.

В 1910 году рождаемость ниже смертности — 0,2

В 1925 году " " " — 4,6

II. Размножаясь хаотично и случайно, главным образом в итоге каких-то нервических состояний, по ту сторону океана именуемых «любовью», они не только не создают нужных

пород, но и выводят опасных бездельников. Достаточно сказать, что к тысяча девятьсот двадцать шестому году в Европе было:

Поэтов, художников, литераторов, артистов и прочих тупеядцев . . . . .	2°/о
Солдат . . . . .	16°/о
Рантье . . . . .	4°/о
Нищих . . . . .	6°/о
Монахов (католических и православных) . . .	0,5°/о
Монархов, свиты и пр. . . . .	0,3°/о
Итого 28,8°/о абсолютно ни на что не годных людей.	

III. Самое важное! Единственное, что европейцы разводят с известной последовательностью, это членов различных преступных сообществ, как-то: социалисты, анархисты и прочие негодяи.

В 1890 году в Европе было 3,8°/о такого рода злоумышленников.

В 1922 году в Европе было 9,01°/о такого рода злоумышленников.

В 1925 году в Европе было 18,3°/о такого рода злоумышленников.

Из любых ста европейцев восемнадцать и одна треть — революционеры, то есть бандиты, то есть люди, так или иначе отрицающие собственность. Что же вы скажете на это, любезный мистер Твайвт?

— Я скажу... я скажу...

Но мистер Твайвт ничего не мог сказать. Его младенческие глазки покрылись светлой испариной. Его сердце истекало кровью. Он патетически молчал.

Тогда его собеседник нашел нужные слова.

— Вы хотели сказать, любезный мистер Твайвт, что в таком случае необходимо уничтожить Европу.

Да, именно это мистер Твайвт хотел сказать, и вместе с тем он никак не мог сказать именно этого. Дикие цифры мелькали перед его глазами. О, шалопаи! Они не только не покупают свиного филае, они к тому же плодят бунтарей. На сто — восемнадцать и одна треть негодяев. Треть почему-то особенно возмущала мистера Твайвта. Он понимал, что надо решиться.



Наконец раздался его задушевный голос:

— Вы правы, но...

— Но что «но»?

— Но я ведь вегетарианец!

И, промолвив это, почтенный владелец лучшей в мире фабрики мясных консервов разразился ниagaraми прохладных слез, орошавших его круглый, уютный живот.

— Вы обладаете не только светлым умом и лучшей в мире фабрикой мясных консервов, но и благородным сердцем, — деликатно заметил гость клуба мормонов. — Это трижды благородное сердце должно подсказать вам решение. Ваше вегетарианство, ваши высокие гуманные идеи обязывают вас ко многому.

Европа утопает в пороках, лени и смутах. Если мы обратим ее в пустыню, это будет актом высокого человеколюбия. Триста миллионов, читая в последний раз «Отче наш», поблагодарят нас. А потом... Потом мы откроем Европу! Заселим ее колонистами, хотя бы из той же Африки, и начнем выводить новые полезные породы людей, используя благоприятный, умеренный климат.

Мистер Твайвт продолжал обливаться слезами, произнося только:

— Но, но...

Тогда настойчивый прозелит пустил в ход последний довод:

— Наконец, если мы не сделаем этого, Европа заразит Америку. Восемнадцать и одна треть процента станут через пять лет восьмьюдесятью процентами. Вспомните Россию, Германию, Австрию. Представьте себе нечто вроде СССША.

При этих словах мистер Твайвт вскочил и, вместо ниагары слез, разразился гейзером бешеной слюны.

— Да, да! — кричал он. — Я согласен! Необходимо уничтожить! Завтра! Сейчас же!..

И вдруг в изнеможении снова упал на диван.

— Уничтожить. Но...

— Но что «но»?

— Но как это сделать?

— Об этом не беспокойтесь. Семь миллиардов. Вы третий компаньон.

Енс Боот (предприимчивый гость клуба мормонов, как это понимает всякий, не мог быть не кем иным, как Енсом Боотом), выйдя на улицу, с некоторым удовлетворением пощупал бумажник, где хранился симпатичный чек.

Предварительные хлопоты были закончены. Он теперь мог приступить к работе.

Енс Боот с жадностью вдохнул апрельский воздух. Но воздух этот был особого порядка: Чикаго густо дышал на него свиной и бычьей кровью. Этот запах, приторный и неотвязный, как бы напоминал Енсу Бооту о его новой профессии.

— Что ж, устраним триста пять миллионов человек, — сказал он сам себе. — Но...

— Но что же «но»?

И он невольно вспомнил европейские весны, застенчивые и нежные, комнатные весны, растерянность колоколов, светлую зелень норвежских берез или авиньонских тополей, дымчатую тишину городов, где каждый шаг влюбленного, бредущего со свидания под газовыми звездами, твердит:

— И жаль... И жаль...

Откровенно говоря, жаль. Чего? Ста веков? Влюбленного? Ацетиленовый фонарь? Историю? Девушку, оставленную там у глухого узкого окна и сжимающую в руке все сто веков, настоящее древнее тепло Европы? Ее? То есть мадемуазель Люси Фламенго, ныне мадам Бланкафар? Кого-то безусловно жаль...

Так думал Енс Боот возле клуба мормонов, вдыхая кровяной дух Чикаго.

— Я ее уничтожу... Но все же я ее люблю! Европе!

13

## небольшое аналитическое отступление

Дойдя до этого места, любознательные школьники заерзают на партах американских или австралийских училищ. Они, наверное, спросят своих уважаемых учителей:

— Почему же Енс Боот вздумал уничтожить Европу?

Коварнейший вопрос! Услышав его, не один уважаемый учитель покраснеет, вытрет табачного цвета платком нимбообразную лысину и гаркнет:

— Глупый мальчик! Это тебя не касается.

Увы, мы не можем в нашей серьезной работе уподобиться такому талантливому педагогу и должны попытаться ответить на вопрос, который, пожалуй, родится не только в милых детских головках, но и в солидных головах уважаемых читателей «Истории Треста Д. Е.».

Попытаться ответить, разумеется, еще не значит ответить. Как бы ни была всеильна наука, но и она порой отступает перед различными, еще не разгаданными тайнами человеческого сердца. Мы предпочитаем изложить здесь ряд гипотез, выдвинутых авторами, работавшими над историей гибели Европы, от себя добавив, что все они являются лишь гипотезами, ни для кого не обязательными.

1. Профессор евгеники мистер Горль объясняет поступки Енса Боота наследственностью. Он особенно тщательно разбирает в своем известном труде «4 минуты принца Монакского» влияние настроения родителей во время зачатия на характер ребенка.

2. Маститый психолог мистер Чавтен приписывает деятельность Енса Боота особой болезни, называемой «авантюризмом», которая, по собранным им данным, носила в Европе 20-х годов XX века эпидемический характер.

3. Мисс Маргарет Оден полагает, что Енс Боот был просто неудачным влюбленным, и так как в одряхлевшей Европе половые эмоции занимали крайне видное место,— получив отказ от Люси Фламенго (впоследствии вступившей в законный брак с Бланкафаром), в приступе гнева решил уничтожить Европу.

4. Мистер Бэрдинг утверждает, что Енс Боот принадлежал к тайной секте анархистов «Туксук», историю которой он обещает опубликовать в недалеком будущем.

Мы не станем приводить доводов различных поверхностных авторов, в журнальных статьях щеголяющих хоть оригинальными, но явно вздорными теориями (так, например, некто мистер Виль недавно пытался доказать, что Енс Боот, брюккодержатели которого хранятся в историческом музее города Чикаго, вообще не существовал!). Изложив беспристрастно мнения четырех ученых, мы решимся, в свою очередь, привести и нашу гипотезу, отнюдь не претендуя на ее безошибочность.

Мы полагаем, что Енс Боот организовал «Трест Д. Е.» и принял активное участие в деле уничтожения Европы лишь потому, что он был типичным европейцем своего времени.

Достаточно вспомнить его слезы на палубе «Мавритании» или вздохи у подъезда чикагского клуба мормонов, чтобы убедиться в его искренней и глубокой любви к Европе. Именно вследствие этой любви, повинувшись темным инстинктам, он сделался директором упомянутого треста.

В Европе с конца XIX века появилось чувство особого «европейского» патриотизма. Люди различных стран, французы, датчане, немцы и даже некоторые русские, почувствовали себя детьми некоего большого отечества и полюбили его. Особенно сильно это чувство сказалось в период войны 1914—1918 годов.

В сыновнем восторге люди склонялись перед видением общего сада, увя, опадающего и полумертвого.

Это чувство не помешало европейцам сделать все зависящее от них для гибели Европы. Начиная с 1914 года войны не утихали. Европейцы тщательно истребляли друг друга. Любовавшиеся прекрасным садом трудолюбиво рубили деревья, топтали цветы, отравляли воду источников.

Европа была охвачена манией самоубийства. Не будет преувеличением, если мы скажем, что она сама себя убила. И верный ее сын, случайно явившийся на свет от рассеянности принца, гениальный Энс Боот, осуществил то, о чем помышляли миллионы европейцев 20-х и 30-х годов XX века— массовое самоубийство.

14

«Д.Е.»

Мы достаточно детально рассказали, какие усилия приложил неутомимый Энс Боот для организации «Треста Д. Е.».

Наконец 4 апреля 1927 года в отдельном кабинете перво-классного нью-йоркского ресторана «Миссури» состоялось собрание правления. Кроме Энса Боота, присутствовали мистеры Джебс, Твайвт и Хардайл. Собравшиеся беседовали о многом, главным образом о различных марках сигар.

Мистер Джебс предпочитал манильские, фабрики Лопадос, марка «Роза дель Оро», Мадуро.

Мистер Хардайл предпочитал гаванские, фабрики Ля Корона, марка «Ароматикос», Колорадо.

Мистер Твайвт предпочитал суматрские, фабрики Бэс и Ко, марка «Флор фина», Кларо.

Енс Боот предпочитал шоколадные.

Впрочем, выяснив достоинства всех сортов сигар, члены правления около четырех часов утра постановили:

*«Уполномочить Енса Боота приступить к осуществлению намеченного плана».*

Утро 11 апреля того же года было справедливо названо нами историческим: три американца завтракали, Европа дремала в ванне, а Енс Боот отдавал приказания восемнадцати тысячам семистам шестидесяти агентам треста.

Последнее было почти столь же незримым и таинственным, как управление всемогущим господом богом вселенной. Причем у Енса Боота не было даже штата служащих, способных заменить ангельское воинство. В маленькой конторе «Треста Д. Е.», помещавшейся на тридцать втором этаже небольшого небоскреба, находилось всего семь человек: секретарь Енса Боота, две стенографистки, две телефонистки, бухгалтер и грум. Разумеется, надо прибавить к ним самого Енса Боота, размахивавшего большим красно-синим карандашом, заменявшим ему дирижерский жезл Саваофа.

Контора состояла из трех комнат. На двери красовалась эмалированная дощечка:

#### *ИНЖЕНЕРНЫЙ ТРЕСТ ДЕТРОЙТА*

В первой комнате висели топографические карты Детройта, и машинистка переписывала сметы на постройку нового моста, соединяющего Детройт с Канадой.

Во второй комнате вторая машинистка выстукивала письма различным организациям, внешне не имевшим прямого отношения к постройке моста через Квебек. Телефонистки не переставая рассылали телефонограммы, смысл которых оставался им не совсем внятными. (Впрочем, эта профессия гордится скорее исполнительностью, нежели любознательностью.)

Бухгалтер явно содержался для декорации. Он кротко записывал приходы и расходы небольшого инженерного треста, основной капитал которого едва равнялся миллиону долларов. Что касается секретаря, то и он, несмотря на университетское образование, не имел никакого отношения к истинной деятельности «Треста Д. Е.». В его обязанности входили переговоры с администрацией Детройта, сводка курсов долларов

на европейских биржах и приобретение для Енса Боота сигар как шоколадных, так и настоящих. Принимая во внимание последнее обстоятельство, легко понять, что грум, не имея уже никакого применения и сидя весь день на табурете, вскоре заболел преждевременным ожирением, явно неподобающим его нежному возрасту.

В третьей комнате находился Енс Боот. Перед ним висела большая карта Европы. Подобная вещь в инженерном тресте Детройта объяснялась географической любознательностью уважаемого директора. Имелись еще таблицы, чертежи, объемистые отчеты и проекты, но все они уместались в одном несгораемом шкафу, и никто не знал об их существовании.

Енс Боот сидел и помахивал красно-синим карандашом. Помахивая, он отдавал приказания семнадцати организациям, не имевшим касательства к уничтожению Европы, но зато имевшим в своих названиях инициалы «Д. Е.».

Эти семнадцать организаций находились в различных штатах Америки. В свою очередь, они распоряжались судьбами трехсот четырнадцати учреждений, находившихся во всех государствах Европы и имевших восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят служащих. Таким образом, одно движение красно-синего карандаша управляло поступками восемнадцати тысяч семисот шестидесяти человек, среди которых были короли, президенты республик, министры, владельцы крупнейших трестов, банкиры, начальники генеральных штабов, председатели политических партий, кардиналы и даже злоумышленники.

Конечно, ни один из этих восемнадцати тысяч семисот шестидесяти агентов «Треста Д. Е.» не имел о нем никакого представления и даже не подозревал, что он осуществляет чьи-то коварные замыслы. Различные тресты, общества, партии и союзы, к которым принадлежали эти лица, преследовали как будто совсем иные, вполне благонадежные цели. Они носили самые разнообразные названия, как-то, например: «Лига демократической эмансипации Европы», «О-во друзей евангелия» и т. п., но те же буквы «Д. Е.» стояли на их печатях или бланках, на плакатах и на фасадах домов.

Для того чтобы представить себе, как хорошо была организована деятельность «Треста Д. Е.», достаточно вспомнить панику, охватившую Европу 19 мая 1927 года. В этот день красно-синий карандаш Енса Боота, недвижимый, как труп, лежал на письменном столе. Объяснялось это крохотной и скорее

приятной катастрофой: Енс Боот с какой-то незнакомого мисс подымался в лифте. Между двадцать седьмым и двадцать восьмым этажами произошла авария. Лифт остановился, электричество в нем погасло. Дом обслуживали семь лифтов, и швейцары, полагая, что в остановившемся нет людей, отнесли к событию скорее флегматично. Никто не торопился приступить к ремонту. В темноте раздосадованная мисс сказала:

— Я теряю рабочий день. Это четыре доллара. Я предъявлю иск администрации дома на десять долларов. Вы меня подержите?

Енс Боот не отложил поддержку мисс на столь долгий срок. Протянув руку, он поддержал негодующую особу и даже удержал ее.

Так как в лифте было темно, мы не можем сказать, была ли вполне счастлива американка.

Но время шло, красно-синий карандаш бездействовал, бездействовал телефон, и функционирование различных европейских органов было нарушено. На берлинской бирже доллар то падал на сто пунктов, то неслыханно рос. Датский премьер-министр заболел от нервного потрясения, так как ригсдаг в течение часа трижды проголосовал ему вотум доверия и трижды потребовал отставки кабинета. Сербские полки, сгруппированные у болгарской границы, исполняли фигуры древнего танца кадрили, проникая на вражескую территорию и снова ее очищая,— командующий армией генерал Иованович получил из Белграда шестнадцать депеш, каждая из которых отменяла все предшествующие.

Черная коробка висела между двадцать седьмым и двадцать восьмым этажами.

Енс Боот маленькой расческой опраивал волосы и думал об Европе. Правда, в эти минуты его мысли не были связаны с процветанием треста. Забыв о падающих марках, о кризисе кабинета в Копенгагене и о вторжении сербов в Болгарию, он думал о другой Европе, о нежной красавице, оплетавшей беспомощными ручками толстую шею красноглазого быка.

Мисс пахла чернилами, карболовым мылом и гарью. В Европе цвели анемоны и фиалки. Мадемуазель Люси Фламенго предпочитала всему духи Герлена. Кожа мисс — гусиная, шершавая, деловая кожа, скребла щеки Енса Боота, как наждачная бумага. Были нежны, очень нежны долины Иль-де-Франса...

Этой сравнительной этнографией занимался в темном лифте

Енс Ботт, пока рассеянные швейцары не заметили своей оплошности. В коробке вспыхнул свет. Мисс деловито взглянула на часы. Лифт подошел к тридцать второму этажу. Прощаясь, Енс Ботт сказал:

— Вы самая прекрасная женщина Нового Света. Но я археолог и во сне преследую финикийку.

Мисс спокойно ответила:

— Это меня не касается. Кроме рабочего дня, я потеряла невинность, и я предъявляю вам иск на десять тысяч долларов.

Енс Ботт, не зная официального курса на указанную добродетель, щедро вознаградил мисс. Выписав чек, он быстро прошел в свой кабинет и взял в руку красно-синий карандаш. Телефонистки повисли над аппаратами.

Час спустя марка, упав, спокойно лежала: Германию следовало разорить. Датский премьер, торжествуя, закуривал первую за весь тревожный день сигарету: он отказал безработным в пособии, — значит, его надо было поддерживать. Сербь, молодецкато заломив шапки, въезжали в пограничный болгарский городок: Енс Ботт не был пацифистом.

Так было 18 мая. Но так было и 18 апреля и 18 июня. Так продолжалось изо дня в день.

Какие-то слюнвявые философы лопотали «о роковой слепоте» европейских политиков, дельцов, дипломатов и капиталистов. Они были слепы сами, не видя за спиной этих семнадцати тысяч семисот шестидесяти якобы всемогущих людей тени семнадцати скромных американских организаций, а за спиной семнадцати организаций — красно-синего карандаша директора захудалого «Инженерного треста Детройта».

А Енс Ботт не был слеп. Он знал, что он делает. Он нагло солгал в лифте доверчивой мисс. Нет, не во сне, наяву он охотился за прекрасной финикийкой!

15

## Именины енса ботта

Двадцать четвертого июня 1928 года Енс Ботт был именинником, и в этом, конечно, не было ничего особенного. Подобные события случались регулярно раз в год. Когда Енс Ботт еще

277



жил с матерью на острове Тесселе, он получал в этот день самое большое яйцо морской птицы. Когда он был гордостью цирка братьев Медрано, старший брат, Гастон Медрано, давал ему в этот день самую звонкую пощечину. Когда он был европейским миллиардером, он покупал себе в этот день самую дорогую пижаму. Именины имеют свою историю и свои традиции, о которых здесь распространяться неуместно.

Но в 1928 году день ангела Енса Боота был отпразднован совершенно по-особому, без яиц, без оплеух и без пижам. На празднестве не было и самого именинника. Никто из присутствующих не помнил о существовании Енса Боота. Это были очень оригинальные именины.

Двадцать четвертого июня 1928 года, в 3 часа дня, на трибуну французской палаты депутатов вошел новый председатель кабинета, господин Феликс Брандево. Раскрыв свой решительный рот, он воскликнул:

— Довольно!..

И замер. Вслед за ним замерла вся палата. Не будет преувеличением сказать, что вслед за ним замерла вся Франция, более того — вся Европа, ибо, при всей категоричности премьера, его первое слово еще ничего не означало, а от второго зависела судьба сотен миллионов людей.

Пауза между первым и вторым словом длилась долго. Господин Феликс Брандево не спешил говорить. Зато он никогда не медлил с выполнением своих слов. Отнюдь не путем обычных парламентских процедур достиг он своего высокого поста. Нет, в этом фабриканте жестяных коробок для сардинок текла кровь великого Бонапарте!

Накануне именин Енса Боота, то есть 23 июня, он явился с тремя тысячами членов организованного им полутайного союза в палату депутатов. Его не хотели впустить, и он долго препирался с полицейскими. Тогда три тысячи членов союза миролюбиво показали полицейским, что, несмотря на свой политический консерватизм, они являются сторонниками прогресса и приобщены ко всем последним достижениям военной техники. Депутаты, узнав, в чем дело, спрятались в гардеробной и в буфете, воя:

— Пустите их! Ради бога, пустите их моментально!

Господин Феликс Брандево гордо вошел в зал. Председатель палаты депутатов, которого нашли в углу уборной, немедленно поговорил по телефону с президентом республики, и че-

рез полчаса господин Феликс Брандево вышел на площадь премьером. Полицейские вежливо приветствовали его. Три тысячи членов союза, мирно рассевшись в соседних кафе и ресторанах, пили горько-сладкие аперитивы.

В ночь с 23 на 24 июня депутаты спали плохо, но в часы бессонницы они много и плодотворно думали. К утру большинство из них стало горячо разделять политические воззрения господина Феликса Брандево.

На три часа было создано собрание палаты для заслушания декларации господина председателя кабинета министров.

— Довольно! — еще раз повторил господин Феликс Брандево и снова замер.

Наконец, сжался над несчастной Европой, в пульсе которой явно чувствовались выпадения и перебои, он выговорил:

— Довольно мира!

Депутаты вскочили с мест и неистово зааплодировали.

— Довольно мы щадили Германию! Эта коварная страна сознательно разрушается для того, чтобы не кормить собой нашей трижды дорогой родины. Вспомним ужасы тысяча девятьсот четырнадцатого года. Разве не немцы разрушили Реймский собор?..

Зал охватил предельный экстаз. Депутаты Реймса одновременно плакали и смеялись от глубины чувств.

— Мы сторонники мира, — продолжал премьер, — но мы добьемся своего. Мы применим санкции. В течение ближайшей недели гнездо германского сопротивления, Берлин будет уничтожен.

При этих словах палата разразилась диким ревом, еще небывалым в истории французского парламента. Этот рев был столь громок, что он проник сквозь древние стены дворца Бурбонов на улицу, дошел до площади Согласия и заставил вздрогнуть древний египетский обелиск.

Депутаты рвались в бой. Они почувствовали себя молодыми, здоровыми, полными галльской доблести и латинского ума.

Впрочем, некоторые злоумышленники, еще снабженные депутатскими полномочиями и сидевшие на левых скамьях, пробовали возражать.

— Господин Феликс Брандево идет пагубной дорогой национального эгоизма, — прокричал самый горластый.

Но палата быстро справилась с ними, не нарушая при этом святости конституции. В три минуты было принято постанов-

ление о лишении всех коммунистических депутатов полномочий, после чего преступники были препровождены в тюрьму Санте. Что касается социалистов, то им было дано четверть часа на размышление о своей дальнейшей судьбе. Социалисты с толком использовали это время и приняли две резолюции протеста: одну — против пагубной тактики правительства, другую — против пагубной тактики коммунистов.

Первую резолюцию они оставили для прочтения в семейном кругу, копию отправив в архив, вторую же огласили немедленно, причем умиленный господин Феликс Брандево поцеловал холодевшие от ужаса щеки лидера социалистической фракции.

После этого премьер прошел в буфет и скромно спросил себе стакан лимонада со льдом. Депутаты стали в хвост и по очереди жали его потную руку. Господин Феликс Брандево каждому давал свою визитную карточку с автографом. На бумажнике премьера были выдавлены золотом инициалы победившего союза «Деструкцион и Экспансион» — Д. Е.

И депутаты спешили в магазин кожаных изделий «Унион» на рю Риволи, чтобы заказать себе такие же бумажники.

Енс Боот мог быть доволен своими именинами. Но он был далеко — в Берлине — и узнал о торжественном заседании палаты депутатов лишь в 9 часов вечера, выходя из кинематографа, где смотрел комический фильм «Пики хочет стать танцором».

У входа в кинематограф стояла старушка и хрипло выкрикивала:

— Экстраблатт!! Смертный приговор Берлину!

Берлинцы читали и зевали. Это были люди, привыкшие ко всему. Прочитав о постановлении палаты депутатов, они говорили:

— Этот Пики удивительно смешной. Как он ловко падает! Если они до пятницы не уничтожат Берлина, мы пойдем на новую программу «Пики делает предложение».

Енс Боот, взяв газету, улыбнулся:

— Достойный подарок!

Действительно, это было вкуснее яйца любой морской птицы и оглушительней самой искусной пощечины. Что касается пинамы, то, как читатели знают, Енс Боот раз и навсегда отказался от этого трогательного одеяния, связанного с интимными минутами его былой жизни.

## предсмертные слова фараона ферункануна

— Последний состав час тому назад отбыл с вокзала Цоо! — методически выкрикивал контролер вокзала Фридрихштрассе, исправный седоусый чиновник. Выкрикивал до тех пор, пока его не раздавила обезумевшая толпа.

Но раздавленный контролер был прав: последний поезд отошел из Берлина 29-го в 2 часа пополудни по направлению к Бреславию. Еще до его отхода все поезда окружной городской дороги были обращены в дальние. К 5 часам дня ждали возвращения некоторых составов, и поэтому площади перед берлинскими вокзалами были запружены народом. Иные мечтатели сидели на больших узлах, из которых выглядывали пивные кружки, перины и полные собрания сочинений немецких классиков, как-то: Кернера и Лессинга. Но вскоре выяснилось, что французские летчики повредили все двадцать восемь путей, идущих от Берлина. Площади быстро опустели.

Не только автомобили, но и все телеги были с утра угнаны из города. Под вечер предприимчивый миллионер, герр Фишер, задержавшийся в Берлине по случаю родов супруги, раздобыл где-то поломанный грузовик, в котором развозили некогда рыбу. Герр Фишер с семьей влез в тесный ящик. Но возле Груневальда рабочие остановили грузовик, герра Фишера прикончили, а заодно в сумятице испортили и без того испорченную машину.

Многие решились уйти из Берлина пешком. Шли главным образом на восток и на юг.

Иные идти не могли и, задыхаясь, падали. Какая-то старушка ехала в детской коляске, запряженной козой. Коза упиралась, прыгала во все стороны и под конец забодала хозяйку. Некоторые нанимали людей, которые тащили их на плечах. Сигарный фабрикант, герр Вольф, нанял за тысячу долларов четырех носильщиков. Они должны были нести герра Вольфа с супругой, проделывая не менее шести километров в час. Жилы на шеях носильщиков выразительно прыгали. Герр

Вольф, убаюканный качкой, спал невинно, как младенец. Но, проходя мимо Шпрее, четыре носильщика тихо выпустили из рук свою теплую поклажу, и герр Вольф с супругой встревожили на минуту мутные, сонные воды.

Впрочем, на такие происшествия никто не обращал внимания. Ушедшие еще хотели жить и поэтому спешили. Большинство осталось в городе.

По приблизительному подсчету аргентинского статистика господина Робеса, к вечеру 29 июля в Берлине находилось около двух миллионов шестисот тысяч жителей. Эти люди пережили войну, три революции, голод и нищету. Они не принимали цианистого калия и не кидались в Шпрее. Но если на этом особенно настаивал какой-то господин Феликс Брандево, они были согласны умереть. Это вытекало не из вежливости, а из ограниченности человеческих сил.

Правда, некоторые оптимисты надеялись на чудотворное спасение. По городу ходили утешительные слухи. Одни говорили, что в сорока километрах на запад от Берлина заложены мины, которые взорвут танки; другие, что на окраинах установлены русские противотанковые орудия. Все это было явным вздором. Никто никаких мин не закладывал и орудий не ставил. Только сто восемь юношей образовали «Отряд самообороны», прогуливаясь по Шарлоттенбургу со старыми винтовками и ожидая врага.

В 9 часов вечера какой-то предприимчивый чудака напечатал экстренный выпуск «Дейче дейтунг», полный сенсационных сообщений:

П а р и ж. Правительство Брандево сегодня утром свергнуто. Парижский Совет рабочих и солдатских депутатов шлет привет трудящимся Берлина.

В а ш и н г т о н. Президент США ультимативно потребовал у французского правительства отмены санкций. Общественное мнение Америки против уничтожения Берлина.

Прочитав эти телеграммы, сочиненные на Лейпцигерштрассе, берлинцы ласково ухмылялись. Может быть, одну минуту они и верили в сказанное, но эта минута продолжалась не дольше, чем все минуты, и вера сменялась уверенностью, что Америке нет никакого дела до двух миллионов шестисот тысяч человек, блуждающих по обреченному городу, что господин Феликс Брандево, закручивая усики, по-прежнему повелевает

своей взбесившейся страной и что триста тяжелых танков со стороны Ганновера продвигаются к Берлину.

Под вечер еще происходили политические выступления. Сто восемь юнцов, разгуливавшие с винтовками по Шарлоттенбургу, восстановили императорскую власть. Они переменили флаги на каком-то здании. Но никакого императора в городе не оказалось, и жителям было не до флагов. Переворота никто не заметил. Час спустя выступили коммунисты. Они пытались послать радио солдатам, находившимся в танках, о солидарности пролетариата. Кто-то стал сочинять декрет: «В 24 часа сдать все имеющееся...» Но, вспомнив, что Берлину осталось жить не более трех часов, бросил перо и пошел пить киршвассер. К 10 часам вечера абсолютно все перестали интересоваться политикой. Вопрос о том, кому принадлежит в городе власть, не занимал даже закоренелых юристов.

В Берлине царило веселье. Рабочие и служащие, ремесленники и мелкие чиновники ворвались в квартиры шиберов, покинувших город. Они не искали в комодах ценных вещей и не разбивали зеркал. Но на столах появлялись давно невиданные яства, рейнвейн, светло-бежевые сигары. Некоторые женщины ударяли о клавиши роялей и плакали. Возможно, что это были радостные слезы.

На Кюрфюрстендамме какой-то фанатичный владелец кабаре, очевидно веривший в свое личное бессмертие, решил нажить уйму денег. Он вывесил огромный плакат:

<p>КАБАРЕ • АЛЬКАЗАР • ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР БЕРЛИНА <i>Спешите все!!!</i>                      <i>Еще не поздно!!!</i></p>
---

Артистов не было, они все разбежались, включая дрессированных зверей клоуна Димá. Тогда владелец, надев женскую юбочку со стеклярусом, принялся сам исполнять разные номера: он танцевал кау-трот, пел непристойные куплеты, жонглировал тарелками и даже изображал слона, причем сам себя дрессировал не без успеха. Публики было много.

Берлинцы явно хотели в этот вечер отдохнуть и развлечься. Толпа проникала в запертые кинематографы и сама налаживала сеансы. Но так как механики не были специалистами, то получались дикие ускорения или замедления движений. Поцелуй влюбленных в одном из фильмов длился не менее часа. Но это никого не удивляло. Зрители, понимая, что этот поцелуй безусловно последний, сидя в зале, целовались столь же длительно. В другом фильме прохожие неслись с невиданной быстротой, и, увидев это, все люди, смиренно сидевшие в партере, кинулись на улицу и понеслись, обгоняя друг друга: ведь им оставалось жить два, самое большее — три часа.

Все рестораны, кафе, пивные, кондитерские были полны. Лакеи сидели за столиками и пили шампанское. Посетители сами себе подавали. О деньгах никто не вспоминал. По традиции еще играли музыканты.

На улицах бродили люди, опьяненные и мечтательные. Они декламировали стихи и тихо, беззлобно ругались. Веранды кафе в темноте цвели красными и желтыми фонариками. Раздавался сухой жестяной звук поцелуев.

Какой-то безносый урод соблазнил наивную девочку миллиардом марок и плиткой шоколада. Идти было далеко, и, боясь опоздать, они легли в сквере на соседней площади. Подошла собака, обнюхала их и тоскливо завывала. Ее заглушил барабан джаза. Над барабаном плавно качался перезревший апельсин луны. Знатоки литературы уверяли, что все это напоминает Гофмана.

Время шло, настала полночь. Вдруг весь Берлин зажмурился от нестерпимо яркого света. Гигантские прожекторы въедались в город. Девочка, лежавшая в сквере, бросилась прочь. Старый немец вынес на улицу толстый фолиант — «История Фридриха Великого» — и, надев роговые очки, стал читать вслух. Собака все еще продолжала выть.

В кафе «Прагер диле», угрюмо зевая, вошел новый гость. Не было ни одного свободного столика. Тогда, вежливо поклонившись седому почтенному господину, сидевшему у окна, он спросил:

— Разрешите?

В кафе былолюдно и весело. Какие-то весельчаки принесли серпантин, и оранжевая паутина опутывала женщин. Но вновь вошедший клиент нетерпеливо глядел на часы и вел

себя, как нервный пассажир, почующий на узловой станции. Это был Енс Боот.

3000 танков находилось уже в 25 километрах от Берлина. В одном из танков, раздетые догола вследствие нестерпимой жары, стояли два друга — лейтенант Виктор Брандево, племянник премьера, и младший лейтенант Жан Бланкафар. Танк быстро полз, раздавливая роицы, пробивая стены старых церквушек, переползая через овраги.

— Жарко, — сказал Виктор Брандево. — Ужасно жарко! Чем не Ницца? А эти голые люди мне напоминают морские купанья. Гляди, мы сейчас пробили большой дом. Вот из дыры торчит детская кроватка и чей-то сапог. Это уж предместья Берлина.

Жан Бланкафар был в хорошем настроении, но сапог и детская кровать его мало интересовали. Он рассматривал мобилизацию и уничтожение Берлина как отдохновенную прогулку после ежедневных пререканий с ревнивой Люси и опостылевшей ему домашней телятины. Своими соображениями о грядущих уладах он поделился с другом:

— В Кельне за франк давали четыре миллиона марок. А говорят, что за десять миллионов в Берлине можно достать самую лучшую девочку. Завтра поработаем?

— Но ты забыл, что через час мы уничтожим Берлин вместе со всеми его жителями, — возразил Виктор Брандево.

Прожектор ярко осветил отвесные стены домов, трубы, мосты, водокачки. 3000 танков, разделившись, образовали цепь, которая должна была снести весь город. Виктор Брандево снова заговорил:

— В окне лампа. Знаешь, Жан, мне жутко! Как будто мы долго-долго ехали, не километры прошли, а тысячелетия. Бег с высунутым языком. И вот теперь пустырь, конец, разбитая лампа. Я сейчас особенно остро чувствую время. У меня в груди не сердце, а хронометр.

Но Жан Бланкафар ничего не ответил. Заметив сто восемь мальчиков со старыми винтовками, напавших на неуязвимые чудовища, он приказал пустить в ход пулеметы и расстреливать всех выбегающих на улицы, чтобы спастись.

Уже кварталы Вестенда были обращены в развалины, а в «Прагер диле» веселый чернобровый скрипач еще играл перуанский кау-трот. Почтенный господин, выпив чашку желудевого кофе, сказал Енсу Бооту:



— Я очень расстроен происходящим. Дело в том, что через четверть часа я, по всей вероятности, погибну. Я не успел никому рассказать о своих последних работах. Три года я сидел в своем кабинете. Я ни с кем не встречался. Я даже не знал, что будет еще одна война. Я расшифровывал надписи на могиле фараона Ферункануна, открытой в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Только сегодня мне окончательно удалось удостовериться в том, что последняя строка гласит: «И в конце пребывает начало».

Это — последние слова фараона Ферункануна, жившего в двенадцатом веке до рождения Христа, то есть три тысячи триста лет тому назад. Но я открыл это слишком поздно. Кажется, почта уже не действует. Я сейчас погибну, и никто не узнает о том, что сказал Ферунканун, умирая.

В это время раздался страшный грохот падающих домов. Два танка, скинув все строения Кайзералле, продвигались к Прагерплац. Кау-трот оборвался. На пол полетели стаканы. Часть посетителей, давя друг друга, кинулась к выходу. Другие, парализованные ужасом, продолжали чинно сидеть на мягких диванах.

Почтенный египтолог, сохраняя полное спокойствие, обратился к Енсу Бооту:

— Несмотря на ваши пренебрежительные отзывы о моей работе, я все же решаюсь обратиться к вам с просьбой. Если я погибну, а вы уцелеете, возьмите в моем бумажнике листок с точным переводом надписи на гробнице фараона Ферункануна и перешлите его моей дочери фрейлейн Эльзе Кригер в Нюрнберг, Мюнхенерштрассе, 11. Она сообщит о моем открытии иностранным ученым. Сделайте это ради блага человечества.

Енс Боот иронически усмехнулся, но все же кивком головы выразил согласие.

Дико кричала упавшая на пол женщина. Еще минута, и все завертелось в каменном вихре. Енс Боот и египтолог свалились.

Танк, победно шевеля усиками орудий, прошествовал дальше.

Но ни Енс Боот, ни его ученый собеседник, господин Кригер, не были убиты; оправившись от сотрясения, они встали. Енс Боот тщательно стряхнул известковую пыль с пиджака и закурил сигарету. Кругом были камни и трупы. Выбрав-

пись из-под обломков, они увидели еще несколько обезумевших людей, прыгавших с камня на камень. Среди них был содержатель кабаре «Альказар» в юбочке, сверкавшей стеклярусом.

Взяв друг друга под руки, Енс Боот и господин Кригер пытались идти. Енс Боот твердо знал, что он не умрет, ведь «Трест Д. Е.» только приступил к работе. Глядя на золотую пыль звезд, он думал о письмах, которые должен завтра переслать в Париж.

На них надвигался один из танков.

Господин Кригер сказал Енсу Бооту:

— Неужели вы не понимаете, кому нужна надпись на могиле фараона Ферункануна? Мне, вам, этому человеку в юбке, солдатам, сидящим в танке, всем, абсолютно всем! Я вижу черный длинный коридор тысячелетий. Он позади. Вы помните слова фараона: «И в конце пребывает...»

Господин Кригер не докончил утешительного афоризма фараона Ферункануна. Он упал, пробитый пулей, вылетевшей из узкой глотки пулемета. В танке стоял Виктор Брандево и пустыми стеклянными глазами глядел в черный длинный коридор тысячелетий.

17

## КОГДА ЦВЕТЕТ МИНДАЛЬ

Как явствует из предыдущего, Енсу Бооту не было никакого дела до афоризмов фараона восемнадцатой династии. Но наш герой отличался щепетильной честностью: обещанное он выполнял.

Был прекрасный летний день. По отрадным лужайкам долины Шпрее, где еще недавно берлинцы отдыхали от столичной суматохи, неслись простоволосые женщины и мужчины со взлетающими на ветру галстуками. Неслись, испуская громкие вопли, оставляя клочки платьев на колючках кустарников, приседая, падая, неслись, как несутся звери джунглей от лесного пожара. Эти несчастные были счастливыми, не размавленными танками и не убитыми пулями.

Приблизительно восемь тысяч берлинцев спаслись от первой санкции господина Феликса Брандево.

287

Среди них с небольшим потертым портфелем спокойно шагал Енс Боот. Он умел держать свое слово. Ведь он не только обещал мистерам Джебсу, Хардайлю и Твайвту уничтожить Европу, но вчера на просьбу покойного господина Кригера вручить фрейлейн Эльзе листок с известными мыслями фараона ответил кивком головы.

Конечно, кивнуть головой было много легче, нежели пробраться в Нюрнберг по охваченной ужасом Германии, но Енс Боот, как солидная фирма, не останавливался ни перед какими затратами.

Дойдя к полудню до местечка Биттерфельд, он взял прислоненную к сигарной лавке мотоциклетку, к сожалению не успев переговорить с ее владельцем, и поехал по направлению к югу.

Странное зрелище представляла в те дни Германия. Французские летчики, скидывая бомбы, уже уничтожили ряд городов, как-то: Штутгарт, Дрезден, Бреславль и другие, помимо этого, повредив железнодорожные пути, они совершенно прекратили движение поездов. Уцелевшие города, отрезанные друг от друга, жили каждый своей особой жизнью, вернее, готовились к смерти каждый на свой лад.

Когда Енс Боот попал в Лейпциг, город был охвачен гражданской войной. Хотя центральное правительство погибло в Берлине, раздавленное танком, лейпцигские социалисты все еще стояли за сохранение его власти. Лейпцигские коммунисты выступили против и требовали всегерманского съезда завкомов. Бой длился весь день. К вечеру коммунисты взяли верх. На следующее утро были назначены торжественные похороны жертв революции. Впрочем, около двух часов пополудни Лейпциг был уничтожен французами.

Из Лейпцига Енс Боот попал в Галле. Там, напротив, царил полное спокойствие. Приток беженцев из разрушенных городов оживил коммерцию. Все кондитерские были переполнены, и высочайшие баумкухены, подобные вековым дубам, поглощались в несколько минут. Городской совет обсуждал новый налог на собак. Оркестр в общественном саду исполнял попури из опер Мейербера, в 9 часов вечера горничные выводили четыре тысячи такс, платящих налог, на весьма необходимую прогулку. В нахтлокале танцевали две сорокалетние красавицы, сестры Эмили и Минна Лейзер, совершенно голые,

Они приветливо улыбались и пахли потом. Галле был тоже уничтожен в ночь с 1-го на 2 июля.

По стране бродили «дружины национальной самообороны» — инвалиды или школьники. Не находя врага, они стреляли из заржавленных винтовок образца 1914 года в небо. Испуганные женщины, падая на колени, умоляли дружинников:

— Не раздражайте его! Ведь там... ведь там... господин Феликс Брандево.

Сумасшедших женщин, бродивших по полям, было много. Мужчин тоже. Они ели репу. Некоторые читали библию, потому что газеты, конечно, не выходили.

Добравшись до Бамберга, Энс Боот обрадовался. Во-первых, ему удалось переслать несколько деловых писем в Париж, в Варшаву и в Бухарест. Во-вторых, он увидел настоящий поезд, и этот поезд шел именно туда, куда собирался идти сломавший свою мотоциклетку Энс Боот. Жители Бамберга были настроены оптимистически и уверяли, что в Нюрнберге царит идиллическое спокойствие.

Энс Боот сел в вагон-ресторан, заказал шницель и стал мечтать. Он вспоминал давние годы, когда, не думая о «Тресте Д. Е.», он ездил по Европе, изучая пейзажи и быт различных стран. У него была тогда лиловая пижама. Интересно, доволен ли г. Жан Бланкафар своей великолепной супругой?..

Так думал Энс Боот и кушал шницель по-венски. Показались готические башни нюрнбергских церквей. Энс Боот любил этот город и, несмотря на свой пост директора «Треста Д. Е.», обрадовался тому, что бамбергцы оказались правы. Французы еще не успели разрушить Нюрнберг. Он сможет пробраться по его древним улицам и передать фрейлейн Эльзе Кригер поклон от ее покойного отца.

Было свежее ясное утро. Ночью шел дождь, и поэтому с особой четкостью на голубом небе вырисовывались трубы заводов, шпицы церквей, острые фасады домов.

На платформе было совершенно пусто. Пассажиры не могли найти ни одного носильщика. На скамье сидел помощник начальника станции. Он, очевидно, так крепко спал, что не услышал даже грохота поезда. Любя порядок, Энс Боот подошел к нему, положил руку на плечо и закричал:

— Уважаемый господин помощник, проснитесь!..

Но господин помощник не мог выполнить вполне законного желания Енса Боота.

Увидав это и с минуту подумав о чем-то, все пассажиры дружно ринулись в только что покинутые вагоны. Очевидно, город Нюрнберг не имел среди них никакого успеха. Раздался торопливый свисток, и поезд двинулся назад, в Бамберг.

Но поезд ушел из Бамберга в 7 часов утра, а вернулся туда в 11. Четыре часа — немалый промежуток времени. Бамберга не оказалось. Долго поезд ходил по тому же пути, наконец он стал среди поля. Из вагона второго класса вышел толстый баварец в тирольской шляпе, съел последний бутерброд и заплакал.

Когда все пассажиры спешно уехали из Нюрнберга в Бамберг, на перроне остался один человек, если не считать помощника начальника станции (а его считать не следует). Это был Енс Боот. Ведь он обещал передать листок господина Кригера фрейлейн Эльзе.

В 9 часов вечера, накануне прибытия Енса Боота в Нюрнберг, Эльза Кригер стояла на балконе маленького домика номер одиннадцать по Мюнхенерштрассе и улыбалась. На балконе цвела герань. Над балконом горели звезды и пели сладкоголосые колокола нюрнбергских церквей. Но не поэтому улыбалась Эльза. Рядом с ней стоял приказчик игрушечного магазина, неизвестный еще миру молодой поэт Ганс Мюллер. Улыбка очень шла белокурой крутолобой Эльзе, и в такие минуты ее лицо походило на швабскую Венеру, изображенную каким-нибудь нюрнбергским мастером XV века. Эльза улыбалась Гансу, и Ганс улыбался Эльзе.

Нам трудно представить себе нравы погибшей Европы. Как могли молодые люди, вместо работы, спорта или, наконец, сна, проводить часы, бессмысленно друг другу улыбаясь, — для нас это остается загадкой. Подобные явления, очевидно, нужно отнести к упомянутому нами психическому заболеванию, называвшемуся «любовью».

Эльза сказала Гансу:

— Соседи болтали, будто Берлин уничтожен. Значит, и мы погибнем?..

— Да, Эльза. Мы тоже обязательно погибнем. Но я люблю вас, Эльза!..

И он опустил глаза. Эльза тоже опустила глаза. И они стояли молча. Звезды горели. Пели колокола.

Эльза взяла маленькую лейку и обрызгала легкой росой герань. Тогда Ганс стал читать ей свое последнее стихотворение:

...И в гуле губ такое замедление,  
Что, если пылью разлетится сталь,  
Останутся беда и дуновенье,  
Тяжелый камень, розовый миндаль...

Но он не кончил, ибо его губы очутились слишком близко от розовых губ швабской Венеры. Поцелуй был длителен... Закинув голову назад, глядя на звезды, Эльза прошептала:

— Это совсем как ваши стихи. И слышите — трещат цикады...

Действительно, все небо наполнилось легким серебряным гудением. Они еще раз поцеловались. Не выпуская Эльзу из объятий, Ганс ответил:

— Да, это южная ночь. И ты слышишь — цветет миндаль.

Это не было поэтической иллюзией. Эльза тоже услышала запах горьких миндалин.

— Эльза, ты слышишь?..

Но Эльза не ответила. Она не могла ответить. И Ганс не мог повторить вопроса.

Это было около 10 часов вечера. А в 9 часов утра Энс Боот вышел из вокзала и отправился разыскивать Мюнхенерштрассе.

Он зашел в кафе напротив вокзала. Посетители сидели в креслах, чрезмерно развалившись. Некоторые лежали на полу. Недопитые кружки пива золотились в лучах солнца. Казалось, что это утро после попойки и что кругом уснувшие пьяницы. Но Энс Боот, который недавно стоял слишком близко от господина помощника, не стал пытаться разбудить посетителей кафе. Он вышел.

На площади он нашел автомобиль и, сев рядом с неподвижным шофером, поехал. Было невыразимо благостно и тихо. Радостно сияла красная черепица домов.

Иногда Энс Боот останавливал машину и входил в дома. На фабрике игрушек, среди недоделанных кукол, отдыхали рабочие. Это была ночная смена. Один целовался с плюшевым медвежонком.

В чьей-то спальне спали супруги: муж в колпаке с кисточкой, жена в чепчике. Часы на ночном столике шли и показывали 9 часов 40 минут.

В игорном притоне девять человек сидели вокруг стола, уронив головы на зелень сукна. Пачки ассигнаций заверяли, что брюнету очень везло. Он только что девяткой сорвал банк.

Через час Енс Боот отыскал Мюнхенерштрассе. Подъехал к номеру одиннадцатому, он увидел двух влюбленных, все еще обнимавших друг друга. Они висели на решетке балкона. Но почерневшее лицо Эльзы больше не напоминало Венеру, а Ганс высывал мясистый, темно-фиолетовый язык.

Енс Боот не мог выполнить просьбы господина Кригера. Он опоздал ровно на двенадцать часов. В 10 часов вечера шестьсот французских летчиков скинули на Нюрнберг бомбы, и фрейлейн Эльза Кригер разделила участь четырехсот двадцати тысяч жителей, погибших в течение двух минут.

Город был пуст, вернее, он был набит почерневшими, скрюченными, начинающими быстро разлагаться трупами. Июльское солнце уже припекало, и от запаха у Енса Боота захватывало дух. Он поспешил выбраться из города.

Вдруг на одной из улиц он увидел живого человека. Это был не призрак, но самый обыкновенный человек, куривший трубку. Поравнявшись с Енсом Боотом, человек снял кожаный картуз и наивно поделился своими впечатлениями:

— Хорошенькая история! Вы только представьте себе. Я работал, и никаких. Я рабочий по канализации. Ремесло не из приятных. Главное — вонь. Но ничего — привыкаешь. Так вот, я работал, утром вылезая и... ни одного человека! Даже подрядчик, который должен был со мной рассчитаться, и тот умер. Глупейшее положение! Канализация теперь, очевидно, никому не нужна. Я остался без работы.

— Вы веселый человек, — ответил ему Енс Боот. — Вам зачем оставаться в Европе. Я дам вам поручение в Америку. Вы ответите письмом мистеру Твайвту в Чикаго и будете там работать по своей специальности. На дорогу вы получите тысячу долларов.

Человек снял картуз, надел его и снова снял: он был согласен.

Енс Боот писал мистеру Твайвту:

«Я посылаю вам лист с точным переводом предсмертных размышлений некоего фараона Ферункануна. Переводчик, господин Кригер, скончался 28 июня с. г. во время тяжелых инцидентов, имевших место в Берлине. Что касается фараона,

то он умер три тысячи триста лет тому назад. Я посылаю это вам как самому живому человеку нашей эпохи.

Сегодня я осматривал город Нюрнберг. Много любопытного и поучительного. Видел на балконе влюбленных, которые продолжают обнимать друг друга в мертвом виде.

Я здоров, бодр и работаю неустанно».

Месяц спустя мистер Твайвт, прочитав это письмо, подумал: фараон, умерший три тысячи триста лет тому назад, не так глуп, как это кажется. Конец одного предприятия всегда обозначает рождение другого.

Мистер Твайвт записал в своем блокноте:

Сделать:

1. *Развить мысль фараона.*
2. *Помолиться о господине Кригере.*

Потом, задумавшись слегка, приписал:

3. *Мертвых влюбленных осудить и забыть.*

18

## «даешь европу»

В номере газеты «Дейли мейль» от 31 декабря 1930 года был напечатан обзор наиболее важных событий, случившихся в истекшем году.

1. Германия окончательно перестала существовать. Из пятидесяти пяти миллионов жителей уцелели не более ста тысяч. От Рейна до Одера образовалась огромная пустыня, по которой бродят шайки бандитов.

Сообщение между Западной и Восточной Европой происходит по линии Париж — Базель — Вена — Варшава — Москва.

2. Господин Жан Бланкафар, благодаря дружбе с племянником премьера, сильно разбогател и подарил своей супруге, г-же Люси Бланкафар, урожденной Фламенго, дворец в Венеции, принадлежавший раньше маркизу Фермутино, со всем живым и мертвым инвентарем, то есть с красавцем гондольером, с мандолинистами, с картинами Веронезе и с хорошим постельным бельем.

293



3. В Цюрихе состоялся «Международный конгресс рабочих организаций для предотвращения окончательной гибели Европы». Была принята торжественная резолюция протеста. Немецкий делегат, товарищ Гринбах, предложил более энергичные меры, но предложение это было отвергнуто: английские рабочие, благодаря уничтожению Германии и расцвету английской промышленности, находились в слишком добродушном настроении, а французские, будучи поголовно мобилизованными, не могли по конституционным законам принимать какое-либо участие в политической борьбе. Что касается товарища Гринбаха, то он, к сожалению, никого не представлял, помимо себя, ибо, как уже было сказано, Германии к этому времени не существовало. Русские делегаты голосовали против предложения товарища Гринбаха, находя его недостаточно решительным. Впрочем, конгресс закончился, как всегда, пением «Интернационала».

4. Енс Боот, восхищенный деятельностью господина Феликса Брандево, подарил ему бронзовое пресс-папье, представляющее точную копию гробницы фараона Ферункануна.

5. Английский премьер, сэр Бредвай, заявил на большом банкете, данном ему «Лигой демократической эмансипации Европы», что единственной угрозой европейскому миру является Россия.

6. Улов сардинок во Франции в 1930 году сильно пал, и господин Феликс Брандево отнюдь не жалеет о том, что три года тому назад ему вздумалось зайти без особого приглашения в палату депутатов.

7. Во время рождественских праздников Варшава и Бухарест чествовали представителей «О-ва распространения французской культуры». Были даны парадные спектакли. Поляки танцевали мазурку. Румыны играли на гитарах. Французы аплодировали и ужинали.

Новогодний номер «Дейли мейль» заканчивался радостным аккордом:

«Несмотря на некоторые затруднения, Европа идет быстрыми шагами к возрождению. Итак, с Новым годом, дорогие читатели».

Новогодний номер «Дейли мейль» был аккуратно доставлен подписчикам 31 декабря 1930 года около 7 часов вечера.

В это время Енс Боот прогуливался по снежным улицам Москвы. Он был в праздничном настроении и в ответ на лю-

безное пожелание далеких редакторов «Дейли мейль» готов был закричать:

— С Новым годом! С новым счастьем!

Москва готовилась к встрече Нового года. И Москва тоже была в праздничном настроении. На это имелись свои причины. Крупные административные и финансовые перемены, осуществленные в минувшем году, способствовали развитию русской промышленности. Редкостный урожай окончательно заплата дыры прошлых лет.

Правда, гибель Германии являлась серьезным ущербом для хозяйства Республики. Но к 1930 году Россия стала все чаще оглядываться на восток.

Самой богатой и могучей частью России являлась Сибирь. Благодаря энергии сибиряков, этот край, еще двадцать лет тому назад служивший местом ссылки, как суровый и безлюдный, затмил Канаду. Иркутск и Чита могли потягаться с хорошими американскими городами. Что касается Владивостока, то уж тогда можно было с уверенностью сказать, что лет через двадцать он станет соперником Сан-Франциско. Собственно говоря, Россия начиналась с Волги.

Москва представляла собой странный пример: огромный, густо населенный центр, столица всей Республики, она вместе с тем являлась почти пограничным городом, ибо на запад от нее находились разоренные и малонаселенные области.

Но все же Москва была еще столицей. Магазины кичились товарами, школы — профессорами, рестораны — винами. Новый год сулил всем счастье и удачу.

Поговаривали даже о восстановлении разрушенных западных областей.

Только некоторые пессимисты, слишком хорошо помнившие 1920 и 1925 годы, косились на западных соседей. Эксперимент, произведенный господином Феликсом Брандево над Германией, казался им весьма поучительным. Но на то они и были пессимистами.

Население оставалось спокойным: западные границы России хорошо охранялись. К тому же совсем недавно, а именно во время приема делегации «О-ва распространения французской культуры», премьеры — польский, господин Тшетешевский, и румынский, господин Грохотеску, — заявили о своих миролюбивых намерениях.

Итак, Москва имела все основания встречать спокойно Новый год.

В правлении рыбного треста гражданин Ильин просматривал отчет и баланс. Он курил черную манильскую сигару, и его легко было бы спутать со стальным королем Америки, мистером Джебсом. К сожалению, у гражданина Ильина еще не было вращающегося табурета. Но это являлось единственным минусом. Как мистер Джебс, гражданин Ильин жил по секундной стрелке своих часов, думал исключительно цифрами — миллионами тонн рыбы или миллиардами рублей, засыпая, махал руками и ногами, ибо ему казалось, что он идет на заседание правления треста, а во сне подписывал чудовищный счет, требуя у главнеба оплаты сметы главводы на содержание трильона килограммов вяленой главрыбы. Последнее являлось, конечно, сном, в действительности же гражданин Ильин был образцом практичности.

Проглядев отчет и баланс, он удовлетворенно улыбнулся:

— Прекрасный год, а во Франции сдохли все сардинки. Наглядное сопоставление!

Вслед за этим гражданин Ильин распределил ночь: с 11 часов 30 минут до 11 часов 59 — два бифштекса и парфэ, в 12 часов — встреча, с 12 часов 01 до 12 часов 14 — тосты, с 12 часов 15 до 12 часов 30 — отдых и кофе, с 12 часов 30 до 12 часов 42 — в автомобиле Петровка — Арбат, с 12 часов 43 до часу — ласки девушки. Далее — сон.

И так как часы показывали уже 11 часов 23 минуты, гражданин Ильин скатился вниз. Какая-то старушка, семенившая мимо подъезда, испуганно перекрестилась.

— Чуть не зашиб, прости господи! Мериканец!

Гражданин Ильин вовремя прибыл в ресторан «Эксцентрик». Туда собрались заправилы всех трестов Москвы. Они деловито ели по три-четыре бифштекса каждый, пренебрегая соусами. Только в питье сказывались еще традиции дряхлой Европы — все считали своим долгом пить шампанское, фыркая и отплевываясь, потому что в душе они предпочитали хороший неразбавленный спирт.

Всех превзошел гражданин Хапьян. Он съел восемь бифштексов, выпил пять бутылок шампанского и подрядил на вывоз одиннадцать разномастных девиц.

Вставай, проклятьем заклейменный,  
Весь мир голодных и рабов.

«Интернационал» пели бунтари, мечтатели и аскеты, собравшиеся в помещении Коминтерна на товарищескую вечеринку. Делегат Германской коммунистической партии, товарищ Гекель, произнес речь:

— Безумие умирающей буржуазии и нерешительность вождей пролетариата уже погубили Германию. Но это пиррова победа империализма. Мы можем со спокойной уверенностью глядеть в грядущее. На международном конгрессе в Женеве наша резолюция получила одну шестую всех голосов. Мало-помалу пролетариат освобождается от иллюзий...

Все присутствующие подняли стаканы с пивом и чокнулись. Товарищ Лоранс, председатель Французской компартии, долго жал руку товарищу Гекелю, решительно говоря:

— Рано или поздно, но во Франции произойдет революция.

(Как читатели увидят впоследствии, он был вполне прав, и мы назвали бы его пророком, если бы не сознание, что рано или поздно все случается в жизни.)

Енса Боота не было ни на вечеринке Коминтерна, ни в ресторане «Эксцентрик».

В маленькой кооперативной чайной на Шаболовке сидел полотер Чуг, бывший красноармеец армии Буденного, и прихлебывал из чайной чашки какой-то прозрачный и достаточно призрачный напиток. К нему подошел человек в кожаной куртке и сказал:

— Не узнаешь? Вместе белых били. Давненко. Лет двенадцать тому назад.

Чуг не обладал хорошей памятью, но собутыльнику сердечно обрадовался и спросил еще самогона.

Председатель «Треста Д. Е.» решил тряхнуть стариной. В Москве он почувствовал себя юношей, наводившим орудия на Кремль и мечтавшим о том, что Европу можно спасти этими невинными снарядами.

Поэтому Новый год он встречал в чайной на Шаболовке с полотером Чугом. Выпив третью чашку, Чуг сказал:

— Так ты говоришь, с тобой денкинцев били? Так! А еще я французов бил под Одессой... А еще поляков... «Даешь Варшаву!»

Енс Боот томно вздохнул и сказал:

— Ну, а теперь как живешь?

— Теперь? Ничего — разворачиваемся.

Истинного значения этого глагола Енсу Бооту узнать не

удалось, ибо раздавшийся оглушительный грохот прервал их мирную беседу.

Не разлучаясь, они выбежали на улицу.

— Склады взорвались!

— Врешь, это салют в честь конгресса!

— Учебная стрельба!

— Батюшки, говорят, поляки прилетели!

В толпе говорили разное. Но, дойдя до Москвы-реки, Енс Боот и Чуг увидели вместо 4-й фабрики текстильного треста груды развалин. Каменный мост был также поврежден. Вся Москва, четверть часа тому назад безмятежно встречавшая Новый год, в ужасе металась по улицам. Споров больше не было: всем стало ясно, что это налет вражеских самолетов.

Раздались второй и третий взрывы. Была уничтожена электрическая станция, и город погрузился во тьму. Начальник штаба Республики спокойно отдавал приказы. Он был убежден, что через несколько минут советская авиация прогонит польские аппараты.

Взрывы продолжались. Красная Пресня перестала существовать. Из Главвозфлота сообщили, что летчикам не удалось обнаружить врага. Петровский, недоуменно щуря глаза, глядел в окошко. Взрывы раздавались теперь на юге — это гибло Замоскворечье.

Вбежавший комиссар артиллерийских курсов Лукьянов закричал:

— Это не самолеты. Это артиллерийский обстрел,

— Вы что, рехнулись? Обстрел! Откуда?

Этого никто не знал. Еще удалось запросить Смоленск и Брянск. Оттуда ответили: все спокойно, никаких банд. С Брянском говорил Петровский. Говорил в 2 часа 26 минут. Через три минуты он погиб.

Так как взрывы происходили с интервалами, большей части населения удалось выбраться из города. Все дачные местности по Казанской и Нижегородской железной дороге были полны народа.

Утром Енс Боот и Чуг, оставшиеся в беде неразлучными, грелись у костра на станции Быково. Взрывы еще продолжались, хотя Москва представляла собой огромный пустырь, заваленный камнями.

Причин катастрофы никто не знал. Старушка, чудом спасаясь, лопотала, разумеется, о чуде: Москва погибла в нака-

зание за кончину последнего иерея, последовавшую в городе Коврове.

Какой-то ученый рабфаковец вопил:

— Это нитроатомные бомбы. Радиоактивный распад. Двадцать лет тому назад об этом писал Уэллс.

Вопил он так рьяно, что старушка молила:

— Да уймите же его, голубчика. Сил нет. Хуже бомбы.

Другой, просто дурак, кратко сказал:

— Подкоп.

Чуг спросил Енса Боота:

— А ты что скажешь?

Но Енс Боот пил чай и ничего не сказал. Взрывы к вечеру возобновились. Они продвигались туда же, куда и люди, то есть к востоку. Беженцы тонули в сугробах, избегая больших дорог. Приблизительно две трети погибли, остальные добрали до Волги.

Уцелевшие члены Совнаркома перебрались в Нижний Новгород, который был объявлен временной столицей Республики. Удалось наладить связь с некоторыми городами. Выяснилось, что Петербург, Киев и Одесса погибли. Сибирь настаивала на переезде правительства в Читу. Собрался Реввоенсовет, обсуждавший меры обороны, но обороняться было невозможно, ибо не было ни войны, ни врага.

Линия взрывов быстро приближалась. 6 января был разрушен Харьков, 8-го — Рязань и Владимир.

— Черт поberi! Что делать? — прохрипел председатель Реввоенсовета.

Ему никто не ответил. Енс Боот и Чуг не спешили. Они последними покидали гибнущие места.

— Что делать? — сказал Чуг Енсу Бооту, выбираясь из мертвой Рязани.

Ответа также не последовало.

В это время председатель польского кабинета, господин Тшешевский, принимал лидеров политических фракций сейма.

— Я должен сделать вам радостное, но совершенно конфиденциальное сообщение. В сентябре месяце прошлого года мы, а также и союзное румынское правительство, получили от нашей могущественной союзницы-покровительницы Франции предложение уничтожить Россию, которая являлась единственной черной точкой на светлом европейском горизонте. Мы ответили, разумеется, согласием.

В декабре под флагом «О-ва распространения французской

культуры» к нам прибыла военная миссия. Она привезла нам двадцать восемь метательных орудий системы «Центрифуга Дивуар Эксельзиор». Эти метатели были изобретены в тысяча девятьсот двадцать восьмом году французским инженером господином Дивуаром и в честь его получили названное имя. Работы над ними совершались в абсолютной тайне, и в прошлом году военный суд города Дижона приговорил к расстрелу одного рабочего, хваставшегося, что на заводе строят необыкновенные круглые пушки. Перевоз орудий также удалось произвести незаметно. Двадцать восьмого декабря была закончена установка центрифуг в разных пунктах нашего государства и в Румынии. В час пополудни первого января мы приступили к работе.

Вы легко поймете причины, по которым я не могу вам описать детально устройства этих метательных установок.

Итак, первого января мы приступили к осуществлению нашего плана, и ныне я могу сообщить вам отрядные новости: господ, Москвы, Петербурга, Киева и других гнезд насильников больше не существует! Россия погибла.

Все лидеры патриотических фракций сейма от умиления прослезились и трижды пропели: «Еще Польша не сгинела!..»

А бывший полотер Чуг, вместо того чтобы натирать воском полы, брел по развалинам рязанских домов и спрашивал Енса Боота:

— Что ж делать?

Вдруг он увидел нечто странное и похожее на огромную чуждую чечевицу.

— Вот так штука,— недоуменно сказал Чуг и уставился на Енса Боота.

Директор «Треста Д. Е.» был сообразительным мужчиной и, тщательно оглядев чечевицу, сказал:

— Это неразорвавшийся снаряд. Вот такими штуками уничтожена Москва.

Это очень заинтересовало Чуга, и он провел над снарядом не менее часа, всячески изучая его. Изучать было, собственно говоря, нечего, кроме марки «Д. Е.», указывающей, что этот снаряд приготовлен для центрифуги «Дивуар Эксельзиор».

— «Д. Е.», а это-то что означает? — полюбопытствовал Чуг.

Как легко поймут читатели истории «Треста Д. Е.», это могло означать очень многое, и Енс Боот вместо ответа только усмехнулся.

Чуг должен был сам расшифровать странные инициалы и опознать, таким образом, коварного врага. Что ж! Он это и сделал, хитроумный полотер, не зря в свое время бывший поляков и французов.

— Ты знаешь, что здесь сказано? — крикнул он. — «Д. Е.» — даешь Европу.

— Bravo, — отозвался в восторге Енс Боот. — Тонко подмечено.

Но Чугу было не до французских комплиментов. Он бежал и кричал:

— Товарищи, ворочай оглобли. Идем бить их! мать!.. Даешь Европу!..

За ним бежал директор «Треста Д. Е.», Енс Боот, и тонким голоском, как молодой петушок, кричал:

— Даешь Европу!

Беженцы останавливались, с минуту нерешительно моргали глазами, а потом поворачивали на запад. К вечеру уже не менее трехсот тысяч человек шло навстречу незримому врагу. Слух о походе дошел до Поволжья. Оттуда снялись миллионы. Люди шли с юга и с севера.

Шестого января Совнарком объявил войну. С кем Республика воюет, официально оставалось неизвестным, в декрете значилось туманно — «с империалистическими хищниками»: Но вся Россия, которая гневной лавиной неслась на запад, хорошо знала, кто ее враг, и вся Россия, проходя по разрушенным городам, уже занесенным январским снегом, кричала:

— Эй! Эй! Да-ешь Европу!..

Шла Красная армия, и шли школьники первой ступени. Шли очкастые марксисты и татары в тюбетейках. Шли бабы, старики, ребята. У красноармейцев были пулеметы. Некоторые крестьяне тащили с собой старые винтовки. Большинство было вооружено дубинами. Общая численность этой необычайной армии достигала двадцати восьми миллионов человек.

Поляки и румыны не дремали. Над ордами людей день и ночь кружили самолеты, скидывая бомбы. Центрифуги энергично работали. Были пущены в ход и удушливые газы. Из двадцати восьми миллионов человек больше половины, а именно шестнадцать миллионов, погибло, не дойдя до границы Республики. Но уцелевшие шли вперед, и никакие центрифуги остановить их уже не могли.



Впереди всех шли полотер Чуг и Енс Боот. Они вопили:

— Даешь Европу!

Это было уже возле Брест-Литовска.

Позади всех ковыляла старушка и тихонько гнусавила:

— Даешь Европу!

Она еще не дошла до развалин Москвы.

Енс Боот был охвачен подлинным экстазом. Он даже забыл о своем «Тресте». Он кричал: «Даешь Европу». Это было трубным звуком охотника. Вместе с миллионами очумевших людей он шел выгонять из норы рыжую лисицу, прекрасную финикийку, злую Европу, незабвенную мадам Люси Бланкафар, урожденную мадемуазель Фламенго.

— Даешь Европу!

Двенадцать миллионов прорвали все преграды. Они ворвались в Польшу и Румынию. Они уничтожили центрифуги «Дивуар Эксельзиор».

1 января погибла Москва.

17 февраля была взята Варшава.

24 февраля пал Бухарест.

26 февраля господин Феликс Брандево разговаривал по прямому проводу с военным атташе, капитаном Лебазом, находившимся в Кракове.

— Русские подходят к германской пустыне, — сказал капитан Лебаз. — Они кричат нечто странное: «Даешь Европу», — и не боятся ничего, вы меня слышите, абсолютно ничего. Двадцать восемь центрифуг погибло. Они хотят пройти пустыню и ворваться во Францию.

Отойдя от аппарата, господин Феликс Брандево вызвал лучшего знатока русской литературы академика Делена.

— Как перевести «Даешь Европу»? — спросил г-н Феликс Брандево.

— Это непереводаемо, — ответил академик. — Это неблагозвучно, это невежливо и, главное, это очень неприятно. Я вам желаю, дорогой министр, никогда не услышать этих слов.

Господин Феликс Брандево пощупал сердце под манишкой. Оно билось весьма своеобразно. Справиться с Россией было значительно труднее, нежели с палатой депутатов.

— Позвать начальника седьмого секретного отдела военного министра, — прошептал он секретарю. — Позовите скорей! Не то... Не то...

## «ВОТ ТАК ПУДРА»

В старом кабачке Кракова «Приятная встреча» Енс Боот и Чуг пили совместно третью бутылку токайского. Вино было отменного качества, но Чуг со слезами вспоминал родную самогонку:

— Вот у нас в Тамбовской гнали...

Енс Боот не спорил. Енс Боот был весел, добр. Как невинный младенец, он улыбался миру. Директор «Треста Д. Е.» стал обыкновенным красноармейцем. Стал, не тая никаких задних мыслей, честно и просто. Да иначе и быть не могло. Наш герой отличался редкой впечатлительностью. Увлекаясь чем-нибудь: цирковыми трюками, революцией или игрой на бирже — безразлично, — он увлекался до конца, пренебрегая благоразумием.

Он никогда не отрекался от своей цели, ибо цель эта была сильнее его. Все дороги вели к ней. Теперь, будя средневековый, напыщенный сон Кракова диким рыком «Даешь Европу», он делал то же самое дело, что и несколько лет тому назад, сидя в своем бюро на тридцать втором этаже небольшого небоскреба.

(Взять женщину иногда не так-то просто. Однажды и всемогущему Зевсу пришлось превратиться в быка.)

Енс Боот, идя в первых рядах российской армии, хотел взять Европу. Его сердце, нетерпеливое сердце сына монашеского принца, билось согласно с двенадцатью миллионами сердец. Это были прекрасные недели. И Чуг был прекрасным товарищем. И стоило ли спорить о том, что лучше: токайское вино или тамбовская самогонка?

Друзья спросили четвертую бутылку. На следующее утро авангард гигантской армии выступил дальше: в Чехию и в германскую пустыню.

В Париже закрылись все лучшие рестораны, ибо клиенты потеряли аппетит.

Чуг сносил свои сапоги. Он обыскал все магазины Кракова. В них имелись шелковые кимоно, бухарские ковры и бокалы из богемского хрустала. Но во всем Кракове не осталось больше ни одной пары сапог. А для того чтобы дойти до Парижа и

взять Европу, полותרу Чугу, натиравшему некогда полы босиком, нужны были именно сапоги. Это поняла дочь содержателя цукерни панна Ядвига, и она подарила Чугу отцовские сапоги: кондитер ведь не собирався брать Европу. Поэтому панна Ядвига сидела в кабачке «Приятная встреча» с Чугом и Енсом Боотом. Если мы не упомянули об этом раньше, то лишь из вполне понятной стыдливости, не желая вызывать у читателей ложные подозрения.

Чуга не интересовали женщины. Чуга интересовали сапоги и Европа.

В кабачке «Приятная встреча» было тепло и уютно. Хозяйка зажгла лампу. Взглянув на Чуга, Енс Боот рассмеялся:

— Ты что ж, совсем европейцем стал? Нагудрился? Смотри, теперь все полячки с ума сойдут...

Хотя из распитых четырех бутылок на долю Чуга приходилось две, он все же сообразил нелепость этих слов и подошел к зеркалу, висевшему на стене, рядом с портретом покойного премьера господина Тшетешевского.

То, что он увидел в зеркале, еще более озадачило его: вместо рябой, румяной физиономии, к которой Чуг почти так же привык, как к своему прозвищу, на него глядело перепачканное мукой явно чужое лицо. Чуг вытер щеки рукавом, но от этого ничего не изменилось.

— Вот так пудра! — сказал он в крайнем недоумении.

Енс Боот взял со стола лампу и поднес ее к лицу Чуга. Одну минуту глядел он. Потом поставил лампу на место и заплакал.

Енс Боот сообразил, что это за пудра. Енс Боот плакал от ненависти.

Здесь мы должны сказать несколько слов в защиту давно умершего и несправедливо оклеветанного человека.

Нет злодеяния, которое не приписывалось бы Енсу Бооту. Еще в настоящее время в некоторых городах Северной Африки, где после гибели Европы поселились семьи спасшихся европейцев, старухи любят пугать непослушных детей угрозой:

— Вот Енс Боот придет — он тебя съест.

Енс Боот никогда не ел детей. Енс Боот не совершал многих иных зверств. Енс Боот только надуумил дряхлых европейцев сделать то, что они все равно сделали бы через сто лет. Он укоротил агонию Европы. Не он изобрел ядовитые газы, не он

построил центрифуги «Дивуар Эксельзиор». Он только открыл камеры сумасшедшего дома. Остальное было делом самих умалишенных. Европейцы сами придумали хитрейшие способы уничтожения друг друга. Ни автором трагедии, разыгравшейся в 1928—1940 годах, ни режиссером Енс Боот не был. Ему принадлежала скромная роль сценариста.

Увидев густо напудренное лицо Чуга, Енс Боот заплакал от ненависти. Непричастный к злодеянию, он обладал должной сообразительностью и богатым опытом, чтобы сразу понять весь ужас совершившегося.

— За эту пудру надо мстить,— сказал он вслух.

Чуг все еще продолжал, недоуменно улыбаясь, прихорашиваться у зеркала.

И, сказав это, Енс Боот вспомнил о своем почти забытом детище, «Тресте Д. Е.». Он понимал, что ставка бита и что эти двенадцать миллионов уже не получают Европы. Тогда остается безошибочный расчет.

Еще два-три года работы треста. Он отомстит. Он возьмет Европу.

И Енс Боот, вытерев глаза, кратко сказал Чугу:

— Прощай.

А Чуг все еще ничего не понимал. Думая, что Енс Боот перехватил токайского, он только проворчал:

— Уходишь? Ну-ну. А ты хозяйке за вино заплатил?

Енс Боот вышел на темную площадь и стал обдумывать план скорейшего отъезда. Смерти он после Берлина и Москвы не боялся. Но медлить не приходилось.

Енс Боот прошел на главную улицу.

Здесь царило необычайное оживление: прогуливались красноармейцы, рязанские бабы в платочках, мастеровые с гармошками, прекрасные полячки, казанские татары в ярких ермолках, польские художники с локонами до плеч, пейсатые цадики.

Был первый весенний вечер, и он пах горечью тополей.

Русские должны были завтра выступить дальше. В боковых темных улочках порой раздавался отрывистый, грустный звук последних поцелуев: люди, пришедшие с востока и кричавшие «Даешь Европу», еще не дошли до Парижа, зато они взяли немало сердец прекрасных краковянок.

Кто-то играл на гармошке. Это был очень хороший вечер.

Но когда вспыхнул золотой рой электрических фонарей, смущенный гул прошел по толпе. Все гулявшие стали тревожно всматриваться в лица своих подруг, товарищей, встречаемых. Какой страшный карнавал: сто тысяч Пьеро с белыми масками.

— Я боюсь тебя, Галя. Ты совсем белая, как смерть!..

Через пять минут главная улица опустела. Испуганные люди убегали от света в темноту переулков и дворов.

Енс Боот шел один полев. Шел он на север, к морю. По его расчету, это был единственный возможный путь. Вдруг он остановился и вздрогнул: какая-то чудовищная мысль родилась в его голове. Впрочем, эта мысль была простейшей: Енс Боот вынул из кармана маленькое зеркальце и взглянул на себя. Обычного лица, красного, обветренного всеми ветрами мира, не оказалось. Был гипсовый овал.

«Я умираю, — подумал Енс Боот. — Что будет с «Трестом»? А впрочем, все равно...»

И, сладко зевнув, пошел дальше.

Он шел до рассвета, а когда показалось солнце, остановился, присел на пень, съел оказавшийся в кармане сухарь и снова взглянул в зеркальце: даже умирая, Енс Боот не мог избавиться от любопытства. Что же! — красное, обветренное лицо кокетливо улыбалось.

(Иногда даже опытные люди могут ошибиться: Енс Боот ночью, глядя в зеркало, забыл о зеленой, огромной луне, висевшей прямо над ним.)

А в Кракове утро не принесло облегчения. Раздевшись, люди увидели, что их тела тоже белы и как будто посыпаны известкой.

Глаза болели и слезились. Першило во рту. С лица кожа начала слезать и висела лоскутами. В ужасе люди кидались к докторам, но ни один врач не мог определить болезни. Только какой-то старенький фельдшер многозначительно бормотал:

— Восточная болезнь. Еще в писании сказано...

Но это философское замечание не являлось лекарством.

К вечеру кожа начала гореть, и припухшие лица сразу покраснели. Люди металась в жару. Гнойные глаза замыкались. Люди слепли.

В кабачке «Приятная встреча» на полу лежал голый Чуг. Он скинул рубаху, ему казалось, что она из железа и давит его

тело. Багряный и распухший Чуг походил на тушу в мясной лавке. Он задыхался и, задыхаясь, еще шептал:

— Даешь... даёшь... даешь Европу!..

Рядом с ним лежала ослепшая панна Ядвига. Ах, какими странностями отличалась покойная Европа! Девушка успела полюбить Чуга и теперь, умирая, еще пыталась поцеловать его гниющую кровавую руку.

— Вы прекрасны, пан Чуг!..

Воздуха не было. Подскочив в последний раз, Чуг прохрипел:

— Вот так пудра!..

И умер. Это было на рассвете. В течение одного дня 3 марта в Кракове от неизвестной болезни умерло двадцать восемь тысяч человек, из них семнадцать тысяч русских, а одиннадцать тысяч местных жителей. 4 марта число жертв почти удвоилось.

Российская армия не выступала в поход.

Париж ликовал. Клерикальная газета «Эхо де Пари» писала:

«Бог спас любимую дочь апостольской церкви — Францию».

Свободомыслящая «Эрэ нувелль» иначе освещала вопрос:

«Даже природа стала на охрану светоча культуры и родины Великой Революции».

Читатели обеих газет почувствовали возврат аппетита. Вновь открылись рестораны. Парижане танцевали модный танец «чой», привезенный из Боливии.

Енс Боот шел на север. Подойдя к Лодзи, он услышал страшный и, увы, знакомый ему запах падали. Он не вошел в город. Он обходил предусмотрительно деревни и, видя издали человека, сворачивал в сторону. Он решительно не хотел этой странной пудры.

Все же ему пришлось еще раз увидеть мертвый город.

Узкие улицы Данцига были завалены трупами. От неизвестной болезни люди умирали мучительно, испытывая задыханье, и потому они выползали из душных комнат на улицу. Здоровых не было, уцелевшие убегали из города и бродили в лесах, скрываясь один от другого. Но некоторые, наиболее крепкие, еще боролись со смертью. Слепые, истекавшие гноем, они ползали меж трупов и, томимые жаждой, высывали изо ртов воспаленные синие языки, чтобы слизнуть с мостовой капли дождя.

В одном из портовых амбаров Енс Боот нашел лодочку. Оттолкнув ее веслом от берега, он еще раз вспомнил белое лицо Чуга под лампой кабачка «Приятная встреча» и воскликнул: — Я ее возьму!..

Эпидемия неизвестной болезни быстро распространялась. Очагами ее являлись Польша и Румыния. В течение двух месяцев эти страны опустели. Русская армия, победно вступившая в Европу, была уничтожена. Ее остатки бежали домой, разнося заразу.

В конце апреля отдельные случаи неизвестной болезни были отмечены в Казани и в Воронеже. Несмотря на энергичные меры, эпидемия вскоре приняла массовый характер, и уберечь от гибели Европейскую Россию, уже разоренную центрифугами «Дивуар Эксцельзиор» и обезлюдившую после похода на Европу, не удалось!

Но с той же быстротой болезнь захватила и южные страны. Чехословакия, Австрия, Венгрия, а также все балканские государства погибли. Она проникла и в Константинополь. Джемальпаша, приказавший стрелять в каждого, кто попытается переплыть Босфорский пролив, спас этим Анатолию.

Седьмого июля в Женеве собралась конференция западноевропейских государств для борьбы с угрозой эпидемии. Было решено установить кордон, который шел бы по линии Бремен — Кельн — Рейн (по западной окраине германской пустыни), далее вдоль государственных границ Швейцарии и Италии. Всякая возможность приближения к этой линии беглецов из охваченных эпидемией стран была устранена заградительным огнем и волнами газов.

— Это стихийное бедствие. Но Европа все же будет спасена, — сказал господин Феликс Брандево, подписывая протокол конференции.

Английский летчик Джон Бэль совершил отважную экспедицию в зачумленные страны, разумеется, не снижаясь. С высоты двух тысяч метров он снял фильм умирающей Вены. Этот фильм пользовался громадным успехом. Глядя на шикарный Ринг, заваленный трупами, любвеобильные парижанки плакали, а заплаканные лица пудрили модной пудрой «Лепрэт».

В Париже состоялся 38-й медицинский конгресс. Профессор Брие читал доклад о неизвестной болезни, уничтожившей восток и юго-восток Европы,

— К сожалению, мы располагаем весьма бедным материалом и не могли лично проследить нормального течения этой болезни. Я считаю ее неизвестной еще формой проказы, развивающейся с исключительной быстротой. Инкубационный период длится не дольше сорока восьми часов. Смерть происходит от отсутствия дыхания, благодаря воспалению покровов. Можно предположить, что болезнь эта занесена русскими с востока, вероятно, из Монголии, и в условиях европейского климата изменилась, а также получила широкое распространение. Микроб ее не найден, но наука движется вперед. Во всяком случае, я предлагаю назвать ее «скоротечной проказой».

Предложение было принято. Но профессор Брие ошибся в одном: микроб этой болезни был хорошо известен, и не кому-либо иному, как ему самому,— господин Брие работал в седьмом секретном отделе военного министерства и, культивируя в течение трех лет микробов простой проказы, вывел наконец гениального микроба, остановившего нашествие российской армии.

Господин Брие, начальник седьмого секретного отдела, и шестьдесят летчиков, которые сбросили пробирки, получили ордена Почетного легиона.

Совнарком находился в Чите.

Господин Феликс Брандево примерял шляпу Наполеона, до этого времени хранившуюся в музее Карнавалé.

Енс Боот в почтовой конторе Лондона составлял деловую телеграмму мистеру Джебсу.

20

## о тлетворности европейского климата

Господин Брие сказал: «Наука движется вперед». И он был прав. В 1932 году шведский ученый Риделлинг открыл микроба скоротечной проказы и способы предохранения от этой ужасной болезни.

Работы г-на Риделлинга представляли не только теоретический интерес. Нет, два человека воспользовались ими и привили



себе антипроказную сыворотку. Это были мистер Хардайль и его невеста мисс Кэт, которые готовились к свадебному путешествию в среднеевропейскую пустыню.

Венчание состоялось 12 мая 1932 года в 10 часов утра. Прямо из церкви молодые проехали на аэродром, где их ждал комфортабельный самолет системы «Вайл».

Был превосходный день. Внизу синел океан. Кабина самолета представляла все удобства паровой каюты или купе спального вагона. Но миссис Кэт заболела воздушной болезнью, представлявшей все неудобства болезни морской. Мистеру Хардайлю пришлось ограничиться кинематографической съемкой состязания облаков. Впрочем, это был человек терпеливый. Если он отложил на пять лет женитьбу только для того, чтобы совершить хорошее свадебное путешествие, то легко мог отложить на один день некоторые супружеские формальности.

Океан синел. Облака неслись. Кэт жевала лимон. Потом к этому прибавилась луна, желтая, как лимон Кэт.

На следующее утро показалась заспанная красавица Европа. Бледностью и томностью она напоминала миссис Кэт. Мистер Хардайль вынул из саквояжа тетрадь и, сознавая всю важность совершаемого путешествия, стал вести дневник.

Тетрадь эта сохранилась, и, приводя записи мистера Хардайля, мы хотим дать нашим читателям яркий образец героической любознательности американца средних лет. Кроме того, дневник мистера Хардайля интересен как новое доказательство тлетворности европейского климата.

#### *Путешествие*

*Мистера В. Хардайля*

*в среднеевропейскую пустыню.*

*Одиннадцать часов утра 13 мая.* Пролетели еще живые страны. Париж сверху провинциален. Кэт все еще не может оправиться от воздушной болезни. Женитьба несколько нарушает правильный ход моих мыслей. Но я думаю, что это только до первых процедур. Вероятно, в европейской пустыне мы отыщем тень дерева. Тогда я снова получу возможность логически думать.

*Два часа того же числа.* Мы пролетаем над пустыней. Развалины городов. Много костей. Дует норд-ост. Видели совершенно

пустой город — Нюрнберг. Сфотографировали. Кэт показалось, что колокола церковей звонят. Но это акустический обман (от разреженного воздуха). Я отметил много деревьев, все с тенью. Кэт ест по-прежнему лимоны.

*Пять часов того же числа.* Наконец-то мы снизились. Кругом абсолютная пустыня. Я совсем не боюсь. 16° восточной долготы, 43° широты. Деревьев не видно. Придется обождать. Решили пойти немного погулять. Кэт хочет отыскать европейские цветы, которые зовут, кажется, «незабудками», а я — тень дерева (какого — безразлично, я в ботанике слаб, только чтобы сверху не падали колючие листья).

*Восемь часов вечера того же числа.* Странные нравы! Я думаю, что Африка сто лет тому назад была безопасней. Но именно эти опасности увлекают меня. Расскажу по порядку. Гуляли. Какая-то большая река. Кажется, ее звали «Дунаем». Кэт искала незабудки. Но мы нашли только четыре черепа и миску, в которой европейцы, очевидно, ели суп. Я взял миску для этнографического музея. Потом мы наткнулись на маленький домик. Людей в нем не оказалось. Кэт сказала, что охотно прожила бы всю жизнь в таком доме. Я, конечно, не мог с ней согласиться, но быстро вспомнил, что такое примитивное здание в своей оригинальности может заменить тень отсутствующих деревьев. Мебели в доме не оказалось. На стене висела картина, изображавшая два яблока. Людей и на картине не было, а яблоки ничем не отличались от обычных плодов. Я бы не обратил внимания на эту вещь, если б не Кэт, шептавшая мне с нежностью:

— Это прекрасно!.. Возьмем это с собой!..

Должен сознаться, что капризный и экспансивный характер моей молодой супруги начинает несколько пугать меня. Но я думаю, что после упомянутых выше процедур и занятий спортом это пройдет.

Я стал расстегивать дорожное пальто Кэт. Как это ни странно, Кэт не обращала на меня никакого внимания и продолжала кушать консервированные ананасы, которые мы взяли с собой в большом количестве.

В это время раздался звук, напоминавший рык дикого зверя. Я вспомнил, что нахожусь в пустыне, а не у себя дома, и выбежал наружу, хорошо вооруженный. За мной последовала Кэт, продолжавшая, однако, кушать ананас,

Мы увидели странное существо, сходное с обезьяной крупной породы. Но, заметив на морде животного пенсне, я догадался, что это человек. Он был совершенно голый, и я попросил Кэт, еще не успевшую фактически стать моей супругой, отвернуться. Полагая, что человек, хотя бы голый, но употребляющий пенсне, должен быть грамотным, я протянул ему мой документ, где на всех языках мира было напечатано: «Это паспорт гражданина США». Но голый человек глядел не на паспорт, а на банку с ананасом.

Дико взвизгнув, он прыгнул на Кэт и вырвал из ее рук лакомство, потом он лег на землю и стал быстро поглощать содержимое банки. Я не мог допустить подобного правонарушения и носком ботинок попробовал усовестить его. Вместо раскаянья он укусил мне икру. Тогда я пустил в ход оружие, и труп этого дикого существа упал в воды Дуная. Кэт плакала. Я стал успокаивать ее, говоря, что моя рана — пустяк, но тогда она сказала:

— Мне жалко этого человека. Почему вы не дали ему спокойно доесть банку?

Да, характер Кэт тревожит меня гораздо больше, нежели ранка, которая через день-другой заживет!

Конечно, после этого происшествия нечего было думать о супружеских процедурах, и мы вернулись к нашему аппарату.

*Семь часов вечера 14 мая.* Богатый событиями день; я сказал бы: открытие следов древней цивилизации. Мы гуляли. Вдруг я увидел одиноко стоящий домик. Велико было мое удивление, когда я прочел на двери родное слово «парикмахерская».

Я гордо вошел внутрь, стараясь не выдать моего волнения. Я увидел все признаки обыкновенной парикмахерской цивилизованных народов. Буднично и просто сел я в кресло, откинул голову назад и стал ждать.

Здесь я позволю себе маленькое философское отступление. Хотя известные процедуры еще впереди и некоторая рассеянность не покидает меня, я все же хочу записать свои мысли о парикмахерских вообще. Какое вневременное и внепространственное учреждение! В Аргентине, в Австралии, в Японии то же кресло и то же зеркало. В этом жесте: сесть, откинуть голову, зажмурить глаза и, думая о вечности, предать свои щеки нежной пене — есть нечто эпическое и грандиозное.

Итак, я сел в кресло, закрыл глаза и стал ждать. Я задумался о преходящести земной материи и о нетленности духа. Я также одновременно представлял себе тень различных деревьев, виденных мной при перелете.

Я очнулся от ласкового прикосновения бритвы. О, это не был сон! Меня брил самый обыкновенный парикмахер, и, как все парикмахеры мира, он развлекал меня последними новостями:

— В первый раз за три года вижу клиента. Попрошу голову немного назад. Здесь проходят иногда люди, но они отпустили бороды и не бреются. В этом недостаток примитивной жизни. Перебиваемся. Я успел вывезти из Вены во время эпидемии много пороха. Стреляю в коз и в зайцев. Живем, откровенно говоря, мизерно. Вчера волк съел племянницу. Прикажете одеколон? Старые запасы. Очень приятно поговорить с культурным человеком. Я здесь последний представитель Европы. Храню как святыню вывеску и брюки.

Еще погруженный в раздумье, я сказал ему:

— Перемените вывеску. Напишите: «П а р и к м а х е р с к а я в о В с е л е н н о й». Это оригинальное и глубоко философское название.

Я дал ему доллар, но он отказался и попросил вместо этого банку с ананасом. Вдруг я увидел, что Кэт исчезла. Когда я сел в кресло, она находилась в парикмахерской.

— Кэт, — позвал я, сильно встревоженный.

Тогда из кустов показалась моя молодая супруга. Ее прическа была растрепана ветром. Заметив на ее щеках здоровый румянец, я благословил хорошее действие европейского климата. Побрившись, я принялся с двойной энергией за розыски тени дерева, но Кэт, сославшись на усталость, легла немедленно спать, и я сейчас охраняю ее невинный сон от волков, съевших бедную племянницу последнего представителя цивилизации.

*Девять часов 15 мая.* Хотя я нахожусь на твердой земле, мое самопишущее перо системы Ватермана дрожит. После всего происшедшего мне хочется не писать, а выть, как воют блуждающие по этой пустыне, одичавшие люди. Только чувство ответственности перед человечеством заставляет меня собраться с силами и описать события ужасного дня.

Ночью я плохо спал, мне мешали уснуть крики диких существ, а также близость Кэт, которая вследствие присутствия

летчика решительно отказалась принять кабину самолета за тень дерева. Это была короткая, но очень печальная ночь.

Проснувшись, Кэт потребовала, чтобы я пошел бриться в парикмахерскую, описанную мной накануне. Я попробовал предложить ей другой маршрут по еще не обследованным местам, указав, что побриться я могу в кабине с помощью моей безопасной бритвы.

Но Кэт настаивала. На мой вопрос, почему мы должны обязательно идти туда, где уже были вчера, Кэт ответила, что там цветут европейские цветы, называемые, кажется, незабудками, которые она хочет во что бы то ни стало сорвать. Не желая до процедур нервировать мою хрупкую супругу, я согласился.

Горе мне! Зачем я послушался Кэт? Больше у меня не будет ни процедур, ни супруги!

Итак, я брился, Кэт собирала незабудки. Я кончил бриться, Кэт не было. Я позвал ее. Никто не отозвался. Тогда я побрил голову, к величайшему удовольствию последнего парикмахера Центральной Европы, который получил за это две банки с ананасами. Я побрил голову, хотя отнюдь не собирался этого делать, ввиду ветров и возможности насморка. Кэт все еще не было. Я впал в крайнее волнение: ее могли съесть волки или даже люди. Ведь одно из этих страшных существ укусило мне икру. Бедная Кэт! Что с ней? Сидя в кресле, я плакал. А жестокосердный парикмахер, привыкший, очевидно, к подобным инцидентам, спокойно лил каскады вежеталя на мою голую голову.

Наконец, не вытерпев, я пошел разыскивать Кэт. Я не увидел европейских цветов, называемых, кажется, незабудками, но вскоре я увидел Кэт. О, если б я не увидел ее! О, если бы ее съели волки или даже люди!

Кэт лежала на траве, а на ней лежал голый туземец, в жидете, с лицом, поросшим шерстью. Я крикнул:

— Кэт!

Но ни она, ни человек-зверь не услышали моего достаточно громкого окрика, так они были увлечены своим занятием.

Увы! У меня больше не оставалось никаких сомнений: это занятие было именно тем, чем я хотел заняться с Кэт под тенью дерева. Над ними не было никаких деревьев, и полуденное солнце неистово сжигало их тела. Я стыжусь вас, перо системы Баттермана и тетрадь, описывая эту сцену! Увидев меня, Кэт мет-

нулась в сторону. Человек-зверь встал. Он походил на тощую обезьяну. Кэт спряталась за его спину. Я пробовал уговорить ее. Я напоминал ей слова пастора и законы нашего отечества, но бедная в беспамятстве плакала и не расставалась с диким существом.

Увидев, что человек-зверь тщедушен и не вооружен, я выстрелил в него. Я не мог от волнения хорошо прицелиться и попал в ногу. Раненое существо молчало. Кэт плакала.

Я вызвал парикмахера. Я сказал ему, что по законам всех цивилизованных государств Кэт принадлежит мне, и попросил его помочь увести мою супругу в кабину самолета. Хитрый цирюльник стал увильгивать, утверждая, что в пустыне никакие законы недействительны. Он потребовал двадцать пять банок с ананасами. Мне пришлось согласиться.

Мы взяли Кэт под руки. Она не сопротивлялась, но продолжала плакать. Когда моя несчастная супруга очутилась в уютной кабине, я решился заговорить с ней.

— Кэт! Что вы сделали, Кэт?

Но Кэт ответила мне сразу потоком страстных и несвязных фраз. Я записываю здесь те из них, которые мне запомнились:

— Я люблю его, Вильям!.. Будьте великодушны, пустите меня к нему!.. Я хочу остаться в пустыне... Я узнала теперь, что такое любовь... Это как воздух... Я задыхалась в Америке... Вы знаете что-нибудь про звезды?.. У вас только нефть и любовь... Он был поэтом... Он жил в Вене... Он мне говорил стихи...

Любимая — жуть. Когда любит поэт,  
Влюбляется бог неприкаянный...

Он прекрасен!.. Я не уеду отсюда!.. Вы слышите, Вильям, я не покину Европу!..

Услышав подобные речи, я понял, что моя молодая супруга душевно заболела. Прививка сыворотки господина Риделлинга предоохранила нас от проказы. Но европейский климат оказался тлетворным. Воздух здесь насыщен мельчайшими микробами, которые вызывают психическое заболевание, выражающееся в необузданных приступах любви, не имеющих ничего общего ни с нашими законными браками, ни с ночными развлечениями холостых американцев. Грозная болезнь! Возмутительный климат!

Таким образом, я не могу осудить Кэт. Я сам ее привез в этот край. Она не преступница, но больная. Мой долг увезти ее отсюда и доставить в родительский дом. Конечно, наш развод неминуем, так как моральные заповеди и гигиенические соображения делают для меня невозможным в дальнейшем какие-либо процедуры.

Я плачу. Я говорю себе: Хардайль, ты открыл европейскую пустыню, ты облагодетельствовал человечество. Но ты купил это дорогой ценой, потеряв юную супругу, так и не успевшую стать твоей супругой.

Кэт лежит в кабине и плачет. Я бодрствую. Надо мной те звезды, о которых знают что-то туземцы. Где-то в лесу воют дикие люди. Особенно страшен один голос. Я начинаю различать слова. Мне кажется, что это зверь, обесчестивший Кэт, повторяет бессмысленные и преступные фразы, которые он зовет «стихами». Зачем я не убил его? Этот вой, вероятно, мешает бедной Кэт уснуть.

Я повесил на развалины американский флаг. Отныне среднеевропейская пустыня принадлежит США. Да будет это утешением мне! Сколько звезд надо мной, я не знаю. Но на флаге столько же звезд, сколько наших штатов. Ура!

Кэт все еще не спит. Завтра утром мы улетаем в Америку.

---

На этой записи обрывается дневник несчастного мистера Хардайля, которому суждены были еще новые испытания.

Шестнадцатого мая в 8 часов утра самолет должен был стартовать. Кэт несколько раз пыталась убежать, но мистер Хардайль и пилот стерегли ее.

За несколько минут до отлета из леса выполз раненый человек-зверь. Он кричал что-то Кэт. Мистер Хардайль снова выстрелил и снова промахнулся. Не желая терять времени, огорченный супруг приказал летчику пустить мотор. Самолет плавно взлетел. Но, распахнув дверцу кабины, прекрасная Кэт закричала:

— Я остаюсь с тобой, любовь!

И ринулась вниз.

Она лежала мертвая, а над нею был раненый человек-зверь. Нельзя было понять, — это стихи последнего поэта Европы или рык чудовища.

Мистер Хардайль вытер платком глаза, надел очки и любознательно взглянул вниз.

Америка в те годы многое брала у умирающей Европы: золото и статуи, певцов и ученых. Но в этот день она принесла тяжелую дань мертвому матерiku, умевшему только любить и, любя, завывать нелепейшие стихи: молодая супруга короля нефти мистера Хардайля досталась Европе.

Мистер Хардайль оплакивал свою супругу. Но ни одной минуты он не жалел о том, что пять лет тому назад согласился на предложение Енса Боота. Пусть свадебное путешествие не удалось. Континент с таким тлетворным климатом должен быть уничтожен. Семь миллиардов долларов спасут многих Кэт.

Как читатели видят, сын короля нефти не был скуп. Он искренне любил человечество.

21

## полный переворот в этнографии

Погибшие европейцы любили порой щегольнуть парадоксами: «Рим гуси спасли», «от искры Москва сгорела» и т. п. Отнюдь не желая подражать этим легкомысленным философам, мы должны признаться, что часто незначительные события влекут за собой другие, уже весьма и весьма значительные.

(Стоит вспомнить рассеянность монахского принца и ее колоссальные последствия.)

Великобритания была могущественным государством. Ей принадлежали страны, ныне являющиеся великими державами нашей планеты, как-то: Индия, Канада, Египет, Австралия и многие иные. Еще в 1930 году Великобритания могла соперничать с США.

В феврале месяце 1930 года, приблизительно за год до гибели Восточной Европы, описанной нами в предыдущих главах, тысячи почтальонов, разносивших утреннюю почту в своих мешках, среди других писем несли десятки тысяч одинаковых желтых конвертов с маркой в одно пенни.

317



В желтых конвертах лежали печатные циркуляры «Английского стального треста», рассылаемые оптовым, а также розничным торговцам всего мира.

АНГЛИЙСКИЙ СТАЛЬНОЙ  
ТРЕСТ

*Лондон, дата почт. штемпеля*

М. Г.

Настоящим честь имеем довести до Вашего сведения, что, желая пойти навстречу запросам публики и расширить число нашей почтенной клиентуры, мы решили понизить с 1 марта сего года цены на все наши изделия на пятьдесят процентов. Смеем выразить уверенность, что Вы почтите нас Вашими заказами.

Что ж! Если гуси спасли древний Рим, а от искры сгорела дряхлая Москва, то могущественная Великобритания, повелевавшая четырьмястами пятьюдесятью миллионами человек, погибла от желтых конвертов с маркой в одно пенни.

Все последовавшее непосредственно за рассылкой исторического циркуляра никак не говорило о гибели. Понижение цен на стальные изделия было встречено обществом и прессой более чем благожелательно. Заводы треста утроили продукцию. Безработных больше не было.

Глядя тоскливо в окна, где имелись коварные враги, прокопченное насквозь небо и безукоризненный джентльмен, господь бог, конкуренты треста — директора «Стальной компании Феникс», а также владельцы фирмы «Брэй и К<sup>о</sup>» — тоже решили сбавить цены и увеличить производство.

В «Экономическом вестнике» мистер Гобс писал: «Совершенно исключительный расцвет нашей стальной индустрии носит явный характер искусственно вызванного процесса и чреват тяжелыми последствиями». Но на мистера Гобса никто не обращал внимания. Это был человек с большой печенью, осужденный на вечную диету, живущий без сои и без пикuleй, следовательно, совершенно incapable воспринять радостные события.

Прочитав в «Питтсбургских новостях» о понижении цен на стальные изделия в Англии, почтенный мистер Джебс возмутился,

— Конечно, Германия уничтожена, но Германия не Европа. Они захватят все рынки! Рельсы для балканских железных дорог. Раз. Ножи и косы — России. Два. Считать бесполезно. Что же смотрит Энс Боот? Этот дурак уничтожил несчастных немцев и успокоился. А где мои семь миллиардов? Обман! Жулье! Хррр!

От негодования мистер Джебс издавал звуки, не относящиеся ни к одному из известных нам человеческих языков. Вероятно, негодование его удвоилось бы, если бы он узнал, что Энс Боот, скупая через подставное лицо контрольный пакет акций «Английского стального треста», принимал активное участие в работе этого предприятия и что возмутительный циркуляр о понижении цен на пятьдесят процентов носит следы его гениального пера.

Ближайшие события, впрочем, показали, что литературные упражнения Енса Боота честно служили интересам близорукого мистера Джебса.

Вскоре переизбыток стальных изделий сказался с исключительной ясностью. Внутренний рынок, насыщенный донельзя, больше ничего не принимал. Американский конгресс одобрил закон, запрещающий ввоз заграничных стальных изделий. С другой стороны, вся Восточная Европа, после уничтожения Германии ввозившая стальные изделия предпочтительно из Англии, к лету 1930 года представляла собой просторное кладбище, отгороженное санитарным кордоном.

«Английский стальной трест», «Стальная компания Феникс» и фирма «Брей и К<sup>о</sup>» оказались в крайне затруднительном положении.

К 1 августа биржа труда зарегистрировала миллион шестьсот тысяч безработных в стальной промышленности. Остальные работали три дня в неделю.

Стальной кризис, американские заградительные пошлины и уничтожение восточноевропейских рынков сказались и на положении других видов промышленности. Добыча угля пала на тридцать шесть процентов. Текстильные фабрики закрывались одна за другой. К концу года вся Англия переживала неслыханный промышленный кризис. Из восьми миллионов четырехсот тысяч рабочих шесть миллионов двести тысяч значились как безработные.

Предприятия лопались. Десятки банков, связанные с индустриальными предприятиями, были накануне банкротства.

Английский Государственный банк, стараясь предотвратить катастрофу, расширял кредиты. Машины заводов, фабрик, верфей стояли. Но зато станки, печатавшие деньги, работали с исключительной продуктивностью. В Нью-Йорке за один доллар можно было приобрести четыреста семьдесят английских фунтов.

В Лондон слетелись все стервятники заатлантического мира. Они щеголяли на Пикадилли своими клетчатými брюками и сытыми физиономиями. Благодаря дикому росту цен, появление в восточном квартале Лондона, где жила беднота, краснощекого, упитанного лица являлось такой редкостью, что прохожие останавливались, ища глазами кинематографический аппарат. Несчастные полагали, что сытый и хорошо одетый человек артист, загримированный для американского фильма.

В дорогие магазины заходили ленивые аргентинцы и за несколько песо скупали все, что находилось там, от теплых кальсон из шерсти мериносов до картин Россети, изображавших анемичных особ, не лишенных, однако, приятности.

Большинство сокровищ Британского музея было приобретено США.

Лидс был разграблен безработными.

Конференция английской рабочей партии после долгих прений пришла к выводу, что единственным спасением является пролетарское правительство. Но, осудив «азиатский метод захватов», конференция постановила: ждать выборов в парламент, которые должны были состояться через полтора года, то есть в ноябре месяце 1933 года.

В палате общин уважаемый депутат, мистер Чекэн, запросил уважаемого мистера Бровэда:

— Известно ли мистеру Бровэду, что некто, парикмахер Мануэль Баргенц, приехавший семь недель тому назад из Рио-де-Жанейро, приобрел за шестьдесят мильрейсов сан лорда и теперь заседает в высокой палате.

— Нет, это мне неизвестно,— ответил мистер Бровэд.

— Известно ли мистеру Бровэду, что за май месяц в Манчестере умерло от голода одиннадцать тысяч четыреста человек? — продолжал любознательный мистер Чекэн.

— Нет, это мне также неизвестно,— повторил мистер Бровэд.

— Известно ли мистеру Бровэду, что одна из континентальных держав спешно готовится к уничтожению нашего флота?

— К сожалению, по соображениям вполне понятным, в данный момент я лишен возможности ответить на вопрос уважаемого мистера Чекэна.

Газеты сообщили, что в палате общин очередное заседание прошло вяло. Газет, однако, никто не покупал — они стоили слишком дорого: пять фунтов за крохотный листок желтой оберточной бумаги.

Все же 18 июля 1932 года многие раскошелились и купили газеты, заключавшие достаточно важное сообщение: конференция представителей Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и других государств, входивших в состав Великобритании империи, приняла решение порвать всякую связь с Англией и указанные государства объявить независимыми.

В этот день в Ливерпуле, возле городской булочной, произошел небольшой бой. Шестьсот четырнадцать человек погибли.

В Лондон прибыла американская благотворительная делегация. Американцы отобрали двадцать тысяч детей, которые при осмотре обнаружили восемьдесят восемь процентов вероятности немедленной голодной смерти. Сына вдовы Анны Айс, маленького Джо, они забраковали: у него было только восемьдесят шесть процентов. Анна Айс умоляла взять Джо:

— Я вам даю слово, что он умрет!

Анну Айс вывели.

Несмотря на все описанные нами трагические последствия циркуляра «Американского стального треста», жизнь в Лондоне сохраняла видимость прежней. Консерватизм в Англии был непобедим. По-прежнему возле дворца стояли часовые в напудренных париках, ораторы в Гайд-парке чинно доказывали преимущества анархии, а дряхлые мисс, проходя по мосту, где имелись голые фавны из бронзы, потупляли свои вылинявшие глаза.

Кроме того, жестокость нравов несколько смягчалась особенностями английского языка: человек, из-за фунта хлеба душивший другого человека, говорил ему все же «вы».

В Ньюкастле безработные нарушили постановление рабочей партии и, не дожидаясь выборов 1933 года, захватили власть. Парламент осудил их поведение, и правительство его величества короля Великобритании послало в Ньюкастль несколько верных полков, которые уничтожили недисциплинированных членов тред-юнионов.

В августе, благодаря сноскому урожаю, наступило некоторое облегчение. Но мистер Гобс, еще живой, несмотря на большую печень, написал для «Экономического вестника» прекрасную статью, в которой доказывал, что своего хлеба Англии может хватить лишь на два месяца. К счастью, «Экономический вестник» больше не выходил из-за отсутствия бумаги.

В октябре голодные бунты возобновились. Горожане направлялись в поместья и фермы, захватывали спрятанные припасы и съедали чудом уцелевший скот. В поместье Айэн лорда Хэга был съеден последний рысак. Лорд Чарльз Хэг получил лишь хвост, и он повесил эту родовую эмблему в своем пустом кабинете над письменным столом.

Сэр Эдуард Карсейль, обладатель коллекции лучших в мире бульдогов, потребовал взвод шотландских стрелков для охраны псов от нашествия голодных горожан. Требование было выполнено. Но вскоре стрелки съели бульдогов.

Положение с каждым днем становилось все тяжелее. Последние американцы уехали, увозя с собой грандиозные кофры.

Правительство вело переговоры с Канадой о закупке хлеба на остатки золотого фонда. Но канадцы держались стойко и мировых цен не сбивали.

Ежедневно тысячи людей умирали от голода.

Наступил еще один печальный день: 11 ноября. На трибуну палаты общин взшел мистер Бровэд.

— Я могу теперь ответить на вопросы, поставленные мне пять месяцев тому назад уважаемым мистером Чекэном. Сегодня утром французский флот частью потопил, частью захватил наши военные суда.

К вечеру в Лондоне слышалась пулеметная стрельба. Но это не было политической борьбой. Одни голодные люди стреляли в других голодных людей. Потом, устав стрелять, уцелевшие уснули.

Ночью король вызвал во дворец лидера рабочей партии мистера Карля. При свидании присутствовал мистер Бровэд. Король говорил мистеру Карлю и глядел при этом на мистера Бровэда, который как бы скреплял рощерками ресниц слова своего монарха.

— Мы предлагаем вам ввиду тяжелого положения нашей горячо любимой родины взять в свои руки власть, не дожи-

даясь выборов тысяча девятьсот тридцать третьего года,— вежливо сказал король.

Мистер Карль столь же вежливо поблагодарил короля и отказался. Он произнес весьма лаконичное:

— Мерси — нет!

Мистер Карль был истинным демократом. Он показал королю, что значит конституция.

Шли страшные недели. Спортсмены истребили последних галок. В портах царила богомольная тишина, как будто изо всех дней недели на долю Англии осталось только одно воскресенье; даже парусное суденышко не хотело причалить к берегам нищенствующей страны.

Люди умирали, соблюдая достоинство и чин. Стонали они тихо, чинно корчились и не забывали улыбнуться пастору. Это была достойная смерть, но все же это была смерть, и спасенья не было.

На заседании палаты любознательный депутат Чекэн, хотевший было задать министру особенно значительный вопрос, упал и начал дрыгать ногами. Спикер был возмущен поведением депутата. Он закрыл заседание. Но мистер Чекэн не был виноват — он просто умер от истощения.

Подходило рождество. Люди вспоминали былые годы, любимый праздник, диккенсовский уют, шпигованных индюшек, щebet счастливых Мери и Кэт у камина.

В сочельник густые туманы обволокли остров. Это было некоторым благодеянием судьбы. Туманы скрывали города, дома и лица прохожих. Города были пусты и мертвы, дома черны, а лица бледны.

Все же, по старой памяти, люди убирали свои опустевшие, нетопленные комнаты и даже старались улыбаться.

Старый лорд Чарльз Хэг пригласил к себе своих друзей: лорда Вильяма Джерсена и сэра Эдуарда Карсейля.

Странную картину представлял собой замок лорда Чарльза Хэга. Огромные, пустые, промерзшие комнаты. В разбитые окна врывался туман. Лорд Чарльз Хэг с фонарем вел гостей через эти зловещие ущелья, и желтый огонь бился среди облаков, как ущербная луна.

Лорд Чарльз Хэг жил один в своем замке. Супруга его умерла, съев котелок недоваренной брюквы. Дочь Мери спаслась, уехав в Канаду с каким-то пароходным поваренком. Лорд Хэг презирал и жену и дочь — обе они осквернили честь

древнего рода: брюква не должна фигурировать на столе замка Айэн, а поваренок не смеет прикоснуться к дочери лорда. Старый и несчастный лорд Хэг хранил достоинство, ел изредка дичь и глядел на конские хвосты.

(Дичью он называл ворон, которые залетали в залы замка.)

Ради рождества лорд прибрал свой кабинет. Толстые тома по-прежнему хранили изображения одиннадцати тысяч трехсот двадцати четырех гербов. Фонарь медом мазал лысины трех аристократов. Камин весело грыз одно из последних кресел. Над столом висел большой конский хвост Грея, последнего жеребца лорда Чарльза Хэга, съеденного еще летом низкой чернью.

Во всем был нежный уют, и сердца стариков понемногу оттаивали. Три ломтика хлеба, подаренные лорду Чарльзу Хэгу какой-то сердобольной старушонкой, лежали на прекрасном старинном подносе. Они казались двум лордам и одному сэру тремя традиционными плюм-пудингами.

Началась задушевная беседа. Разумеется, она носила ретроспективный характер. Лорд Чарльз Хэг вспомнил былые скачки. Волнуясь, перечислял он имена всех покойных жеребцов и кобыл — победителей дерби, начиная с 1887 года.

Сэр Эдуард Карсейль вынул красный фулярный платок: нежные виденья усопших бульдогов преследовали его. Где ты, широкогрудый Юм? Пятнистый Бэб? Друзья золотых лет? Проклятые стрелки! И от всего осталось только кольцо с изображением песьей головы — приз XXXIV выставки собаководства.

Лорд Вильям Джерсен, у которого никогда не было ни родовитых кобыл, ни талантливых кобелей, все же в умиление вытирал свои голубенькие глазки. Он умел понимать чужое горе. Для того чтобы полюбить вещи, ему не нужно было ими обладать. Для того чтобы познать мир, ему не приходилось его осматривать. Богатая фантазия и редкая восприимчивость определили образ жизни почтенного лорда. Он не посещал скачек, не разводил псов. Он сделался вице-президентом «Английского географического общества» и одним из наиболее прославленных путешественников в дикие страны, не покидая для этого своего дома, даже точнее — своего кресла у камина, где бесстрашный турист в восточном халате и в вязаных туфлях изучал все пять частей света. Впрочем, иногда он путешест-

вовал: приходилось ездить в Лондон на заседания «Английского географического общества». Переезд совершался в спальном купе и длился четыре часа. Но лорд, учитывая всякие возможности, брал с собой охотничий карабин, компас, провиант, питьевую воду на пять суток, карты обоих полушарий и библию.

В грустный рождественский вечер, видя слезы старых друзей, лорд Вильям Джерсен решил несколько развлечь их рассказами о своих путешествиях.

— Дорогие друзья, — сказал он, — в Индии, в Голубых горах, я видел людей-карликов. Они живут на деревьях. Суеверные туземцы боятся их. Конечно, не мы, не англичане.

Это хотя краткое, но весьма занимательное повествование развеселило всех. Колокол церквушки радостно зазвенел: наступало светлое рождество. Друзья степенно съели три ломтика хлеба, облив их в мыслях голубым огоньком рома. Эта, признаться, скудная трапеза вызвала в них сильнейшие приступы аппетита. Печаль готовилась снова перешагнуть порог кабинета. Но неутомимый лорд Вильям Джерсен, укрепленный успехом своего первого рассказа, решил дать ей решительный бой.

— Я многое видел, дорогие друзья. Я видел страшные вещи. По сравнению с ними горести, переживаемые нашей великой родиной, кажутся детскими. Судите сами: на берегу открытого мной озера Дайш в Центральной Африке живут доподлинные людоеды. На моих глазах один человек съел другого.

— Действительно, это ужасно, — сказал лорд Чарльз Хэг. — Я надеюсь, что эти преступники не были англичанами?

— О нет! Конечно, нет! Это были негры, то есть черные люди с черными душами.

После этого рассказа воцарилось редкое оживление. Друзья помолвились о здоровье его величества короля и поздравили друг друга с праздником. Лорд Чарльз Хэг предложил друзьям рождественские подарки.

— Вам, дорогой лорд, я дам хрустальный графин с моим гербом, обернутый в салфетку, он может вполне заменить дорожную флягу и будет вам полезен при ваших путешествиях в дикие страны. Вам же, дорогой сэр, я решил сделать скромное подношение, я предложу вам живого и даже весьма родо-



витого бульдога, которого чудом не съела чернь. Пойдемте со мной. А вы, лорд, пока отдохните.

Лорд Чарльз Хэг и сэр Эдуард Карсейль вышли из кабинета. Густой туман поглотил их. Лорд тяжело дышал.

— Я ничего не вижу. Где же ваша собака? — спросил сэр.

— Собака дальше.

Они долго шли по темным пустым залам.

— Нам надо спуститься вниз по этой лестнице, — сказал наконец лорд.

Ступени были скользкие. Сверху капало. Где-то пропищала крыса. Они были в подвале.

— Мне страшно, лорд. Где же собака?

— Видите ли, собака устала. Она лежит здесь рядом. Если вы нагнетесь, сэр, вы увидите ее.

Но сэр Эдуард Карсейль не нагибался. Тогда раздался натуральный собачий вой. Это был лорд Чарльз Хэг, который, скушав ломтик хлеба, почувствовал неслыханный аппетит. Сэр, уверовав в близость родовитого бульдога, нагнулся.

Был слышен хруст суставов и скрип зубов...

Лорд Вильям Джерсен долго ждал друзей. Наконец он решил предпринять путешествие. Он взял желтый чадный фонарь и побрел разыскивать друзей. Один пустой зал походил на другой. Лорд заблудился. Он не нашел людей. Он не мог найти и жилого кабинета. От налетевшего ветра фонарь погас. Лорд кричал, но голос тонул в густом тумане. Тогда он лег на мокрые половицы и заплакал, как младенец.

Наконец окна чуть посветлели. Это был спасительный расцвет. Лорд Вильям Джерсен встал и, дрожа, снова принялся за розыски. Вскоре он нашел дверь кабинета. Приоткрыв ее, он замер от восторга. На столе стояли миска и тарелки с родовыми гербами. Отстранив тарелку, лорд Чарльз Хэг вытирал салфеткой губы. От миски шел крепкий запах хорошего домашнего бульона.

— Ах, вот и вы, дорогой лорд! Я беспокоился о вашем здоровье. Разделите со мной мою скромную трапезу.

Лицо лорда Чарльза Хэга выражало удовлетворение ужимом, светлую радость, безмятежность, покой.

— Но где же наш общий друг сэр Эдуард Карсейль, — спросил великий путешественник, подсаживаясь к столу.

— Он уехал домой вместе с бульдогом.

Лорд Вильям Джерсен взял ложку. Бледный свет декабрьского утра сочился сквозь потные стекла. Случайно лорд заглянул в миску, тихо вскрикнул и ушел.

Любезный хозяин даже не потрудился снять с руки сэра Эдуарда Карсейля знаменитого кольца, изображавшего песью голову.

Двадцать восьмое декабря считалось будничным днем. Лондон жил своей обычной жизнью. Королевский конвой разгуливал в седых париках. Безработные стреляли из пулеметов. Голодные клерки падали замертво на улицах. Чудаки держали пари, когда умрет последний англичанин: пессимисты говорили — в январе, оптимисты — в мае.

Но англичане умирали прилично, и жизнь шла своим порядком. 28 декабря состоялся ряд заседаний различных научных и просветительных обществ, среди прочих торжественное заседание «Английского географического общества» для заслушания доклада о быте туземцев, живущих в верховьях Нила.

Заседание открылось в 3 часа. Докладчик, мистер Гау, начал:

— Как известно...

Но в это время в комнату ворвался странный субъект с дикими глазами, небритый и неприличный. Председатель с трудом узнал в нем вице-президента общества лорда Вильяма Джерсена.

— Я должен прервать докладчика, — захрипел лорд Вильям Джерсен. — Крайне важное сообщение! Переворот в этнографии! Господа!..

Голос лорда оборвался. Ему дали стакан воды.

— Господа, внимание! Джентльмен съел джентльмена!

Услыхав это, председатель сначала нахмурился, потом улыбнулся и стал подозрительно лязгать зубами. Тогда самый молодой и самый тучный из всех членов «Английского географического общества», вскормленный на добротном голландском молоке, встал и подбежал к окну. Общество помещалось во втором этаже, и осторожный человек спрыгнул вниз, не причинив себе никакого вреда.

— Надо выходить через двери, а не через окна, — сказал часовой и неодобрительно покачал седым париком.

— Как когда, как когда, — справедливо ответил ему Енс Боот, ибо находчивый турист, вскормленный на голландском молоке, был, разумеется, неутомимым Енсом.

## Это просто плохая перекись

После удачно проведенной английской компании темные слухи о каком-то всемогущем голландце начали волновать уцелевшие страны Европы. На балах Парижа красавицы бредили «летучим голландцем». Серьезные политики за бриджем любили приговаривать:

— Вот какие штуки в Европе происходят... Англия того... Это вам не Ван-Гутен!..

В «Матэн» появилась статья, полная увлекательных намеков:

«Нам сообщают, что к ряду печальных катастроф, уничтоживших три четверти Европы, причастен крупный авантюрист, некто Жан Ботта, голландец, внук известного генерала буров. Он отомстил Англии за обиды, нанесенные его деду.

По некоторым данным, Жан Ботта работал в тайном штабе германской армии и руководил нападением на наши банки в Берлине при применении известных санкций.

Жан Ботта женат на дочери американского миллиардера Х. Он был одним из руководителей «Английского стального треста».

Прокуратура принимает меры к выяснению местонахождения этого опасного типа».

Сообщение «Матэн», перепечатанное газетами всего мира, еще сильнее заинтриговало публику. Потомки генерала Ботта привлекли редактора «Матэн» к судебной ответственности за клевету. Американские журналисты, приехавшие специально в Голландию, должны были ограничиться сообщениями о живописности национальных костюмов и о похищении картины Рембрандта, ибо никаких признаков существования таинственного авантюриста им обнаружить не удалось.

Клерикальная «Идея националь» уверяла, что голландец на самом деле русский и коммунист, выполняющий программу XVIII конгресса коминтерна. Напротив, коммунистический «Пепль» клялся, что Ботта не кто иной, как исчезнувший при таинственных обстоятельствах племянник премьера, господин

Виктор Брандево, осуществляющий идею всемирной монархической диктатуры.

Красавицы не спорили о том, кто прав. Закрывая веером глаза, они ждали, что их пригласит на тур чоя летучий голландец. Красавицы были добрыми католичками и верили в чудо.

Вся Европа говорила о Жане Ботта. Но совсем о другом говорили супруги Бланкафар в высоком будуаре венецианского палаццо. Они говорили о туфлях.

— Дай мне шесть тысяч лир. Я должна купить серые замшевые туфли, — хныкала Люси.

— Кошечка, у меня нет денег. Я потерял все на фунтах. Франки и лиры падают. Может быть, завтра мы будем просить корку хлеба, — увещевал ее Жан.

— Мне нужны туфли.

— Но ведь ты неделю тому назад купила туфли.

— Это были атласные, бальные.

— У тебя сто пар туфель, кошечка.

— Ты лжешь, ты нагло лжешь! У меня всего одиннадцать пар: атласные белые, черные бальные, черные замшевые, желтые для улицы, черные для улицы, сафьяновые красные для маскарада, брюссельские с помпонами, еще одни желтые с пряжками, скромненькие и мышиные под цвет чулок. Вот и все. Остальное — полуботинки и ботинки. Теперь мне нужны серые замшевые. Шесть тысяч лир — это пустяки.

— Кошечка, у меня нет денег. Мы разорены.

— Ты прокутил. Ты потратил все на своих любовниц, — кричала окончательно рассерженная Люси. Ее рыжая челка гневно взметнулась. Желая предотвратить скандал, Жан скромно пролепетал:

— Кошечка, ты ведь знаешь, что я на это теперь не способен.

Кошечка знала это хорошо, но ревность сильнее логики, и она продолжала:

— Врешь! Дай шесть тысяч лир.

— У меня нет. Фунты больше ничего не стоят. Лира летит. Жить стало невозможно. Если завтра этот проклятый голландец возьмется за Италию, мы погибли...

— Какой голландец?

Жан обрадовался неожиданному обороту разговора.

— Ты разве не знаешь, кошечка? Вся Европа говорит — его зовут, кажется, Жан Ботта.

Люси потеряла розовыми пальчиками свой лоб, скрытый от мира рыжей челкой. У Люси был хороший лоб и хорошая память.

— Жан Ботта?.. Обожди... Да это, наверное, тот нахал, который пристал ко мне и потом прислал письмо...

Люси открыла шкаф и вынула большую шкатулку, доверху набитую различными сувенирами. Здесь были письма жениха и двадцати двух любовников, какие-то подтяжки, пачка фотографий, локон мандолиниста и даже ус прелестного гондольера. Люси Бланкафар недаром прожила на грешной земле тридцать шесть лет.

Среди этого хлама она нашла открытку с анютиными глазками. Чернила в кабачке «Улыбка кафра» не отличались высоким качеством. Буквы многозначительного послания выцвели, но подпись была ясна: «Енс Боот».

— Что ж он тебе писал, кошечка?

С тех пор как Жан утратил способность иметь любовниц, Люси перестала скрывать от него свои любовные похождения. Поэтому она с готовностью ответила на вопрос мужа:

— Он писал поэтично. Он обещал мне все. Не так, как ты, — хорош! Жалеет какие-то шесть тысяч на замшевые туфли! Заставляет меня ходить босиком!

— Но что ж он писал тебе?

— Он писал, что по первому моему слову сделает меня королевой какой-то страны, кажется, Финикии.

— Финикия?.. Нет, это не подходит. Но, может быть, вместо этого он поднимет курс лиры. Тогда мы заживем, как короли... Попробуй, кошечка, может быть, тебе это удастся.

Самолюбие присуще всем женщинам. Естественно, что Люси, в возможностях которой муж усомнился, ответила согласием. Тем более что последний ее любовник, красавец гондольер, оставив Люси левый ус, скрылся с правым неизвестно куда.

На следующий день в различных итальянских газетах было напечатано следующее объявление:

Енс, приди! Сделай меня финикиявкой!

Твоя Люси

Прыгнув своевременно со второго этажа лондонского дома, Енс Бот направился немедленно разыскивать лодку. Добравшись до Парижа и вспомнив о том, как председатель «Географического общества» лязгал зубами, он почувствовал сильный озноб и поэтому взял билет в Рим.

Пробыванием в этом древнейшем городе Енс Бот был вполне удовлетворен. Во-первых, ему удалось выполнить некоторые задания «Треста Д. Е.», в частности значительные колониальные операции, во-вторых, римляне пока что ели макароны, и прыгать из верхних этажей не приходилось.

В прекрасный вечер, когда над пьядца Спанья летали ласточки и, снижаясь, окутывали площадь свежей мглой, когда лились беспричинные слезы бронзовых нимф, Енс Бот остро заинтересовался курсом лиры и купил газету. Но велики и страшны чары весны! Тщетно пытался он развернуть газетный лист, слишком черны были ресницы цветочницы, слишком сильно пахли фиалки мифологической лужайкой и божественным мхом, слишком много было любви на тесной пьядца Спанья.

Присев на мраморную ступень, Енс Бот впал в мечтательное состояние. Над круглыми куполами, над чернью пиний, над Римом горела, умирая, рыжая челка дивной мадам Люси Бланкафар, урожденной Фламенго.

На неразвернутой газете лежал пучок фиалок. Енс Бот мечтал.

Потом он взял газету. Фиалки упали. Он не узнал курса лиры. Он бежал к вокзалу, дико вскрикивая и сбивая с ног прохожих, как бежал он несколько лет тому назад с полотером Чугом по снежной пустыне брать Европу.

Ласточки все еще летали. Нимфы плакали. Поезд в Венецию отходил в 9 часов 20 минут.

На следующий вечер, часов в восемь, супруги Бланкафар мирно ели рис с компотом. Важный лакей, достойный палатцо бывшего маркиза Фермучини, поднес Люси визитную карточку.

ЕНС БОТ

Директор «Треста Д. Е.»  
Нью-Йорк                      Европа

— Ну, что? видишь? — прошептала Люси и самодовольно тряхнула челкой.

— Я ухожу, — лопотал Жан. — Я — ухожу. До завтра. Молю тебя, кошечка, постарайся. Спокойной ночи. Главное — курс лири. Ты получишь сто пар туфель.

Но Люси уже не слушала его.

Через полчаса Енс Боот, с огрубевшим телом и с ожесточенной душой, вступил в те мифологические области, где боги становятся дикими быками, а быки принимают божественный облик. Он был в сердце Европы.

Далеко над Римом летали ласточки, принося тьму и любовь. Бронзовые нимфы плакали.

В будуаре мадам Люси Бланкафар было темно. Тусклый фонарь висел, отъединенный и мертвый, как полярное солнце. Он ничего не обозначал, но среди синей мглы горела божественная челка. Где-то в ванной капала вода.

(Люси не плакала. Но не иссякали слезы нимфы.)

Енс Боот, привыкший дышать тяжелым запахом чернил, печатной краски, химических лабораторий, крови, трупов, слышал теперь, как пахнет венецианская весна. Это началось с печального дыхания каналов, это кончилось вожделенной челкой, издававшей аромат болотных лилий и ирисов.

Так 19 марта 1933 года в 8 часов 45 минут пополудни Енс Боот сошел с ума. Взвалив на плечи непостижимую добычу, он носился по тесному будуару, опрокидывая флаконы из голубого венецианского стекла и крича:

— Я тебя нашел, финикиянка!

После сорока лет трудовой жизни, многое испытал и во многом разочаровавшись, Енс Боот познал наконец все блаженство разделенной любви.

Он ничего не говорил. Люси также молчала, только изредка испускала короткие, сладостные вздохи: Енс Боот не был Жаном Бланкафаром. Учесть количество поцелуев невозможно. Отъединенно горело полярное солнце, и педантичная нимфа в ванной вела счет секунд.

Среди ночи Енс Боот вдруг вспомнил, что он ждал мадам Люси Бланкафар, урожденную Фламенго, ровно девятнадцать лет. Это на мгновение огорчило его. Будучи простым человеком, он захотел, как и все смертные, услышать от нее слова раскаяния и любви.

— Люси, скажи: «Благодарю, я танцую».

И, задыхаясь под грузом неслыханного чувства, а также восьмидесяти семи килограммов, представлявших точный вес Енса Боота, Люси спешно повторила:

— Да, да! Благодарю, я танцую!

Что случилось потом? Катастрофа? Смерть Люси? Окончательная гибель Европы? Нет, случилось нечто более ужасное, и вместе с тем ничего не случилось: настало обыкновенное утро. Белесый туман, просачиваясь сквозь жалюзи, задушил полярное солнце. За окнами кричали: «Апельсины мессинские, апельсины»; слез нимфы больше не было слышно. Енс Боот лежал на спине с закрытыми глазами. Он все еще был счастлив. Пришла мысль послать к черту трест, уехать с Люси в Финикию, есть финики и целоваться. Он улыбнулся. Тогда Люси решилась заговорить:

— Мон пти Жан! Я так тебя люблю. Я буду всегда танцевать с тобой чой. Только с тобой. Я так ждала тебя — в душе, я сама этого не знала. О тебе говорят необыкновенные вещи: будто ты вроде короля Европы. Я тебя хочу просить об одном: устрой повышение лиры. Ну хоть на неделю. Нам это очень нужно. Устрой мне маленький сюрприз, мон пти Жан! Устрой, я тебя поцелую.

Енс Боот по-прежнему лежал на спине с закрытыми глазами. Но он больше не улыбался. Люси продолжала:

— Ты не отвечаешь? Ты не хочешь? Это возмутительно! Мы разорены. Я не могу купить простеньких туфель. Это же безобразие! Почему ты молчишь? Конечно, я тебя люблю. Но я не могу себе позволить роскошь таких ночей без сюрпризов. Теперь не те времена. Ты же был доволен...

Тогда Енс в раздумье раскрыл глаза. То, что он увидел, было воистину страшным. Енс Боот, видевший мертвых влюбленных на балконе Нюрнберга, припудренное лицо Чуга и оскал зубов председателя «Английского географического общества», от ужаса снова закрыл глаза.

Он обнаружил величайший в истории подлог: мадам Люси Бланкафар, урожденная Фламенго, оказалась не финикийской царевной, но старой толстой бабой, похожей на дешевую потаскуху Марсея или Генуи. На простыню стекали полужидкие груди и мякоть живота. Пудра с лица местами слезла, и проталины выдавали изрытую бороздами, угреватую кожу. Маленькие глазки терялись среди лавы жира.



Енс Боот был подавлен. Он долго лежал, не глядя на Люси и не слыша ее бранных восклицаний. Девятнадцать лет обмана! Мадам Люси Бланкафар недостойна визита бога.

Вдруг он вспомнил что-то и прошептал:

— Не может быть... но ведь челка... дивная челка...

Енс Боот снова раскрыл глаза и с величайшей тревогой взглянул на свое последнее упование, на великолепную зарю волос. Но судьба явно издевалась над ним: среди рыжего заката проступали грязно-зеленые волосы, похожие на струи болотного ила.

— Что это? Что это? — крикнул Енс.

— Я же тебе сказала, что мы разорены. Это просто плохая перепись.

Енс Боот вскочил с постели. Он поднял жалюзи. За окнами была мертвая Венеция, протухшая вода каналов, непрветренный чад гнилых домов, мерзость, падаль, смерть.

Рядом с ним стояла старая, наглая женщина в кружевных панталонах и, обдавая его запахом пудры, щекотавшей нос, приговаривала:

— Устрой повышение! Мон пти Жан, устрой!

Енс Боот не выдержал и чихнул так громко, что все флаконы, не разбитые им ночью, виновато зазвенели.

Затем он вышел из комнаты. Не на биржу спешил он — поднимать падающие лиры, но в ванную, где ночью жила плаксивая нимфа.

Там Енс Боот вымылся с головы до ног холодной водой и проклял ночь любви.

Потом, через важного лакея, он послал мадам Люси Бланкафар сто долларов и вышел из палаццо бывшего маркиза Фермучини.

Бедный Енс, что он испытал в гондоле, плывя по узкому каналу и слушая песни гондольера о бессмертной любви!

В вокзальном буфете Енс Боот заказал бутылку содовой и вынул записную книжку. В ней находилась маленькая карта Европы.

Крохотным красно-синим карандашиком он коснулся карты. Тело красавицы было уже почти свободно от людей.

«Теперь двадцать девятое марта тысяча девятьсот тридцать третьего года, — подумал он. — Очень хорошо. Продолжим».

И красно-синий карандаш перечеркнул голову, а также правую руку вождя царицы.

## «Я НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ»

За окнами вагона были нежные холмы Умбрии, похожие на девическое тело, и рыжий закат. Енс Боот старался не смотреть в окно.

«Проклятая память,— думал он.— Если б ничего не помнить! Если б выкинуть из головы и уроки мифологии, полученные в среднеучебном заведении, и видение в «Ти стар»: молоденькую барышню, огненную челку, плохую перекись! Если бы забыть любовь!..»

Так думал Енс. За окном зеленела весна. Поезд шел в Рим. Енс Боот слушал грохот колес, язык привычный и родной, как ход «Омеги» в кармане жилета, как ход сердца под жилетом,— меру долготы, поступь времени.

Это его тоже мало утешало. Он стал прислушиваться к беседе соседей.

— Масло снова вздорожало на триста лир,— скорбно пожаловалась молодая, красивая женщина.

— Вот приедет сюда Джиованни Ботто, хуже будет,— ответил ей кто-то.

— Говорят, что он уже приехал в Рим и привез какие-то колоссальные пушки.

В разговор вмешался почтенный пассажир с серебряными прядями волос.

— Как это показательно для гибнущей цивилизации! Расцвет суеверья. Какой-то журналистик за кружкой пива родил этого Ботто, и все, вы только подумайте, не бабки, нет,— политики, писатели, даже некоторые ученые уверовали в него.

Услыхав рассуждения почтенного пассажира, Енс Боот определенно обиделся. Его отцом являлся не журналист, а как-никак властелин хотя небольшого, но все же государства. Однако, зная злые чувства, присущие всем людям, Енс Боот предпочел сохранить свое инкогнито.

Беседа продолжалась. Элегантный господин спортивного вида поддержал почтенного пассажира.

— Да, все стали ужасно суеверны. Иногда мне кажется, что мы возвращаемся к средневековью. Вы, наверное, уже

слыхали новую басню: будто в Бриндизи и в Неаполе появилась непонятная болезнь «чикита». Я в Болонье видел одного образованного человека, директора фабрики макарон, который, услышав об этой чиките, решил бросить все и эмигрировать в Аргентину. Поголовное сумасшествие!

Дама печально вздохнула, раскрыла корзиночку и вынула коржики с маком. Один из этих коржиков достался растроганному Енсу. Как он был чувствителен к женской ласке в эти столь трагические для него часы! Съев коржик, он выразительно взглянул на прекрасную попутчицу. Но ответный взор выражал лишь материнскую заботливость.

Тогда Енс Боот решил вступить в общение с красивой дамой.

Прекрасная синьора, Лючия Джорно, умиляла его своей верностью. Синьоре Лючии было двадцать два года, и, несмотря на красоту, молодость ее прошла печально. Восемнадцати лет она вышла замуж за настройщика роялей Пьетро Джорно. Все сулило счастье молодым супругам, страстно друг друга любившим. Но через неделю после свадьбы Пьетро был мобилизован и отправлен в Триполи. Четыре года Пьетро воевал. Четыре года Лючия ждала его. Она страшно бедствовала и добывала себе хлеб тем, что вышивала подвязки для богатых дам. Семь дней счастья, четыре года разлуки — так сложилась ее жизнь. Но неделю тому назад она получила открытку из Бриндизи. Пьетро извещал Лючию, что получил отпуск и едет в Рим. Останется он в пустующей комнате брата на виа Кавур. Лючия вышивала подвязки не только семь дней, но и семь ночей, чтобы заработать деньги на билет до Рима. Но теперь она волновалась: виа Кавур, кажется, находится далеко от вокзала, у нее нет даже пятидесяти лир на трамвай. Как быть с корзинкой?

Енс Боот, разuverившийся в своей любви, умел чтить чужую. Он взволнованно вытер глаза платком и предложил синьоре Лючии довести ее до виа Кавур, где ждет супругу нетерпеливый супруг.

Оставшееся время Енс Боот провел в беседе с почтенным пассажиром. О случайности путевых встреч писалось немало. Но велико было удивление Енса, когда он узнал, что этот скромный господин с серебряными прядями волос, получивший от Лючии маковый коржик и скушавший его не без удоволь-

ствия, является Франческо Бари — выдающимся философом Европы последнего десятилетия.

Енс Боот, правда, никогда не читал книг, тем паче философских, но ему приходилось проглядывать ежедневно груды газет, и там он часто встречал это имя. Великий философ в 1931 году выпустил книгу «Прехождение и существо», в которой с гениальной прозорливостью анализировал процесс отмирания Европы и все мыслимые трансформации ее бытия.

Беседуя с Енсом Боотом, Франческо Бари невольно затронул свою любимую тему. Он начал говорить о конце Европы. Это не было ни политическим обзором, ни моральной lamentацией: философ говорил о жизни и о смерти, о черном зерне, зеленом ростке и о пышной розе. Казалось, он еще чувствовал на кончиках пальцев ее тяжелый густой аромат — полдневный зной флорентийского Возрождения. Франческо Бари никого не упрекал и ни с кем не спорил. Это являлось простой биографией, но биографией, рассказанной влюбленным: каждая родинка в ней становилась мифом.

Капля воска на плече дремлющего Эроса. В сырой синеве катакомб каменное яйцо. Протяжное «монжуа» волосатых угрюмых людей, умощавших костями великие дороги Европы. В темном кабачке, где дружно пьянствовали палач, выворачивавший на дыбе суставы, и богомольный вор, — внезапный шепот. Роза Роз, Маргаритка Маргариток. Аминь. Взрыв света. Спасайтесь, мир затоплен солнцем! Полнота и строгая печаль от готовальни, где циркуль и число, от розы, от двух костей и черепа, от мрамора, от света. Дикая птица Леонардо. Вежливая пустота и неприятности Кандида. Рык карманьолы. Парик на пике. Желтое облако пороха и прочие театральные эффекты корсиканца. Прогресс. Комфорт. Пустота, но уже без вежливости. Костыль. И последние прыжки. На Пер-Лашез, среди бисерных венков и рыжей крови: «Се ла лютт финаль...» Финал, впрочем, иной.

Обо всем этом говорил Франческо Бари. Енс Боот слушал его, явно взволнованный, ведь он слушал повесть о высоких и горьких днях своей возлюбленной.

Цветенья и смерть Европы сливались с его горем. Когда Франческо Бари сказал об эпохе Лоренцо: «Это было как бы остановкой в зените бытия. Серебряные вожжи выпали из рук возницы. Казалось, что рыжегривые кони, вскинув копыта, уже никогда их не опустят...» — Енс вздрогнул. Неужели это

было в XV веке, а не в 1914 году? Во Флоренции, а не в «Ти-стар».

Незабвенная Люси!

А когда Франческо Бари грустно усмехнулся: «И вот агония. Этакая жадность какого-то Брандево. Больше никто, даже для этикета, не твердит о «великих принципах права». Все ясно...» — Енс Боот прервал его непонятным восклицанием:

— Это перекись! Это просто плохая перекись!

Енс Боот замолк. Другие еще говорили о баснословной чиките, о Дживованни Ботто, о погоде. Енс молчал и думал:

«Почему я не в силах забыть всего? Почему я должен хранить эти нежные виденья? Мне хочется плакать. Мне не хочется жить. Мертвая любовь. Мертвая Европа. В грязном, темном вагоне никому не нужный пассажир».

Наконец показался Рим. И Енс Боот впервые понял, что этот город, столь хорошо ему знакомый, не что иное, как каменная память, страшное проклятье людей.

Эти строения были не просто строениями, но окостеневшим временем. Здесь года не расплывались в легком эфире, они оставались, чтобы мраморной или гранитной пятой давить задыхающуюся землю. В ночи стоял гигантский скелет, и каждый позвонок его напоминал о речах Франческо Бари.

Злой рок привел Енса Боота, жаждавшего забвенья, именно в Рим. Но делать было нечего: дверь купе раскрылась, и расстроенный Енс вышел на платформу, не забыв, однако, о корзине синьоры Лючии.

Попутчики расстались трогательно. Франческо Бари пригласил Енса зайти как-нибудь к нему побеседовать на досуге все о том же, то есть о диковинной судьбе Европы.

Енс Боот повез, как он обещал, синьору Лючию на виа Кавур. В большом семизэтажном доме они долго разыскивали комнату синьора Джорно. Наконец какой-то мальчик показал темную винтовую лестницу.

— Здесь, на самом верху. Третья дверь.

— Синьор Джорно? — спросил Енс Боот, когда на звонок показалось чье-то бледное, изможденное лицо.

— Я. Что угодно?

Но здесь Лючия, оттолкнув Енса, кинулась к двери.

— Пьетро! Ты! Любовь моя!

— Простите, вы ошиблись,

— Пьетро! Ты меня не узнаешь! Санта Мария! Что с тобой?

Думая, что счастливой встрече супругов препятствует темнота, Енс Боот зажег электрический фонарик, всегда предусмотрительно хранившийся в его кармане. Яркий свет облил потрясенную женщину.

— Пьетро! Теперь ты узнаешь меня? Нет? Господи, ты ослеп?

— Ослеп? Порка мадонна! Вздор какой! Я великолепно вижу вас. Но вы, вероятно, ошиблись дверью. По крайней мере я вас не знаю.

— Что с тобой, Пьетро? Я ведь не так изменилась. Ну посмотри на меня!

Со слезами бедная Лючия припала к своему супругу и стала целовать его.

— Пьетро, мальчик мой! Ну поцелуй твою бедную девочку!.. Я так ждала тебя.

Енс Боот стыдливо погасил фонарь. Пьетро ворчал:

— Какие нахальные девки пошли. Врываются в квартиру, и никаких...

— Пьетро! Я умру! Пьетро!

После минуты раздумья Пьетро сказал:

— А впрочем, ты девочка того... расторопная. Хочешь — заходи. Но я ведь солдат, в отпуску, больше пятисот не получишь.

Дверь закрылась. Енс Боот остался с корзиной. Вспомнив беседу попутчиков и большое, измученное лицо Пьетро Джорно, он стал догадываться о значении происшедшего.

Поставив корзину у двери, Енс Боот закурил сигарету и стал медленно спускаться. Когда он уже был внизу, до него донесся женский плач и грубый голос:

— Будет! Получай деньги и проваливай!

Минуту спустя что-то мелькнуло в темном пролете лестницы. На дне дома лежал труп разбившейся Лючии.

Люди перекликались:

— Что там?

— Девка вниз бросилась. Верно, спьяна.

— Уж не чикита ли?

Потом все смолкло.

Бедная синьора Лючия Джорно, вышивая подвязки, она ровно четыре года ждала этой минуты!

Енс о многом догадывался, угрюмый, он брел по темным улицам. А навстречу ему мчался дикий трамвай. Бледное лицо вагонновожатого выражало недоумение. Пассажиров и кондуктора не было, они успели спрыгнуть на ходу. Только на задней площадке стояла женщина с грудным младенцем и отчаянно вопила. Трамвай неся уже час по тихим улицам, по пустым путям. Было 2 часа ночи, и других трамваев не было.

Редкие прохожие усмехались:

— Трамвай взбесился.

— Чикита?

Женщина все еще вопила. В 3 часа ночи трамвай, подпрыгнув, замер где-то на окраине. Вагонновожатый сошел вниз и рассеянно зевнул: поздно, пора спать. Женщина молчала. Кричал теперь ребенок, тщетно чуть прорезавшимися зубками вьедаясь в холодную, мертвую грудь.

На следующее утро Енс Боот увидел странное зрелище. В центре Рима, на пьядца Венеция стоял корректный господин с ленточкой в петлице. Растерянно оглядывая близорукими глазами прохожих, он приподнимал свой котелок и спрашивал:

— Простите, синьор, будьте столь любезны, разъясните мне, где я и кто я?

Вместо ответа прохожие неслись прочь с шепотом:

— Чикита! Чикита!

Площадь мигом опустела. Два полицейских подошли, чтобы узнать в чем дело, но, услышав вопрос господина, забыли о своей службе и расплакались.

Енс Боот не убежал с пьядца Венеция. Он долго стоял рядом с корректным господином. Не милосердие удерживало его, нет, зависть.

— Если б, как он!.. Люси... Европа... проклятый Рим!..

Вокруг Колизея цвели курослепы и мяукали кошки. Навстречу Енсу неслись газетчики, выкрикивая:

— Чикита в палате депутатов!

«Сегодня при обсуждении законопроекта об учреждении консульства в Харбине и Самуме разыгрался тяжелый инцидент. Уважаемый депутат Неаполя, синьор Этторе Черпапузи, взошел на трибуну и явственно раскрыл рот, чтобы предложить поправку, но не произнес ни единого слова. По залу прошла дрожь. Некоторые депутаты кинулись к выходу. С мест для публики раздался крик «чикита!». Тогда уже все депутаты,

опрокидывая скамьи и давя друг друга, понеслись прочь. Депутаты — Турина, синьор Чезаре Плиньи, и Арконы, синьор Паоло Вальди, — скончались от полученных увечий. Палата депутатов распущена».

В этот день улицы Рима напоминали кулуары палаты депутатов.

Люди то неслись, как испуганная отара, то останавливались, тупо озираясь. Автобусы и трамваи, пренебрегая маршрутом, металась по городу и налетали друг на друга. Автомобили давили беспечно улыбающихся пешеходов. Многие магазины оставались открытыми всю ночь. Шли грабежи.

Вечером на станции «Рим» произошла грандиозная катастрофа. Дежурный растерянно тер голову кулаком — он никак не мог вспомнить расписания. Экспресс Неаполь — Париж налетел на пассажирский Рим — Болонья. Восемьсот четырнадцать человек были убиты. Дежурного арестовали. По дороге в тюрьму он улыбался и насвистывал чой.

В Риме слышалось одно слово. Прежде говорили: «макаронны с подливой», «поцелуй меня», «как сегодня лира?» — теперь все это было забыто. Макароны могли стынуть. Наивные губы напрасно ждали поцелуев. Лира катилась вниз при общем равнодушии.

В Риме больше не было ни макарон, ни поцелуев, ни лир. В Риме была чикита.

Городское врачебное управление вело статистику.

До 1 апреля значилось:

подозрительных заболеваний — 8.	
1 апреля . . . . .	23.
2 апреля . . . . .	311.
3 апреля . . . . .	619.
4 апреля . . . . .	2487.
6 апреля . . . . .	911.
7 апреля . . . . .	4317.
8 апреля . . . . .	8117.

Позднейших сведений не сохранилось, так как 8 апреля все служащие врачебного управления заболели чикитой.

Римский корреспондент «Тан», успевший своевременно перебраться в Ниццу, так описывал новую болезнь:



«Чикита безусловно является опасной формой малярии. Она занесена солдатами из Триполи. В январе с. г. в один из независимых оазисов, а именно в Хойтш, была отправлена карательная экспедиция. Все туземцы были истреблены немедленно, а туземки — после удовлетворения потребностей армии. Солдат 17-го линейного полка Николая Педри вскоре заболел лихорадкой, но быстро оправился. Однако болезнь оставила тяжкие последствия: Николая Педри абсолютно потерял память. Он даже не мог вспомнить своего собственного имени.

На транспорте «Реджина Елена», на котором возвращались в отпуск тысяча сто восемнадцать военных, в том числе и участники экспедиции в Хойтш, было замечено несколько случаев однородных заболеваний. Больных изолировали, но эта разумная мера, к сожалению, не принесла желаемых результатов. «Реджина Елена» прибыла в Бриндизи 12 марта. Через неделю, то есть 19 марта, эпидемия новой болезни свирепствовала в Бриндизи. Оттуда чикита перекочевала сначала в Неаполь, а потом, в конце марта, и в Рим.

Заразившийся чикитой испытывает сильный приступ лихорадки ( $40^{\circ}$ — $40,5^{\circ}$ ), обыкновенно ночью. Приступ длится от четырех до шести часов. Наутро больной чувствует себя здоровым, испытывая лишь некоторую усталость. Ночной жар он склонен отнести к снам-кошмарам. Как всегда, он встает, даже отправляется на работу. Но здесь-то и сказывается коварная сущность чикиты. Специфический яд, вырабатываемый ее микробом, действует на мозговые центры: больной теряет память. Иногда эта потеря носит абсолютный характер, в таком случае больной ничего не помнит и превращается в дикаря. Иногда больной забывает только лица или только имена. Отмечены случаи частичной потери памяти самого разнообразного порядка: один человек забыл все числа и знаки (к сожалению, он являлся дежурным на электрической станции), другой, известный поэт Марко Пучи, забыл свой родной итальянский язык, сохранив способность изъясняться по-французски, и т. д. Приступы пароксизма повторяются каждые двадцать четыре часа. После четырех — шести приступов больной умирает от ослабления сердечной деятельности. Случаев выздоровления до сих пор не наблюдалось.

Что касается способов распространения чикиты, то при данных условиях трудно сказать что-либо определенное. Однако профессор Римского университета, синьор Каньо, накануне

своей смерти произвел некоторые удачные опыты. Синьор Каньо пришел к убеждению, что чикита распространяется с помощью обыкновенных человеческих блох. Ни другие паразиты, ни комары ее не переносят. Если эта гипотеза верна, то легко понять, почему чикита нашла столь благодарную почву в Италии. В своей последней корреспонденции из Рима я сообщал о буквальном нашествии блох на этот город...»

Так описывал чикиту специальный корреспондент газеты «Тан». Что же, он честно зарабатывал свой хлеб, и, в общем, его статья не была столь далека от истины. Правда, в ней недоставало одного ценного указания: небольшой патриотический союз «Д. Е.» — «Декапитационе дельи эбреи», не найдя в Италии достаточного количества евреев для отрезания голов, занялся арабами. Некто Джулио Чикаретти, секретарь союза «Д. Е.», тщательно изучил особенности климата Триполи. По настоянию союза «Д. Е.», поднявшего шумную газетную кампанию, была отправлена карательная экспедиция в Хойтш.

Перечеркнув в вокзальном буфете руку и голову финикийской царевны, Енс Боот отнюдь не хвастал. Накануне своей печальной поездки в Венецию он беседовал в скромной молочной с Джулио Чикаретти.

— Стакан теплого молока,— сказал Джулио.

Выпив молоко, он добавил:

— Оазис Хойтш. Состоялось.

И Енс Боот ответил:

— Прекрасно, я плачу за ваше молоко.

Конечно, всего этого не знал, да и не мог знать специальный корреспондент «Тан». Что касается Енса Боота, то он не любил посвящать широкую публику в свои дела.

Несмотря на успех предприятия, Енс Боот был грустен. Среди людей, потерявших память, он бродил одинокий и жадвавший забвенья.

— Люси... Европа... Любовь... Как забыть вас?..

Но даже у блох есть свои вкусы. Очевидно, им не нравилось северное тело Енса.

Как-то, это было 17 апреля, чувствуя особо острый приступ меланхолии, Енс Боот решил отправиться к Франческо Бари и поговорить с ним о прошлом Европы. Что может быть слаще для несчастного любовника, нежели воспоминания о золотых днях юности?

Увы, Енсу Бооту не было суждено утешить своего отчаявшегося сердца. То, что он застал в квартире Франческо Бари, еще более огорчило его. Великий философ сидел на неком детском приспособлении в одной рубашке и напевал бессмысленную песенку:

Уно, дуо, тре. Кафе! Кафе! Кафе!  
Куатро, синке, сей, леи, леи, леи!

— Я пришел побеседовать с вами об Европе, синьор Бари, о перехождении и о существе, — вежливо сказал Енс.

Но он услышал лишь младенческий писк.

— Хочешь играть в прятки? — предложил Франческо Бари и, не дожидаясь ответа, залез под кровать. Серебряные пряди его волос подметали пол.

Енс Боот попробовал привести философа в нормальное состояние. Он напомнил ему дорогие имена.

— Монжуа... ренессанс... романтики... Лютеция...

Но Франческо Бари, беспечно улыбаясь, играл хвостиком своей рубашонки.

Вдруг что-то человеческое мелькнуло в его глазах, он ударил себя по лбу и мучительно прокричал:

— Я не помню! Я ничего не помню!

Но через минуту идиотическая улыбка затмила скорбь, и философ снова зашел:

Уно, дуо, тре. Кафе, кафе, кафе!

Енс Боот вышел. Он покинул Рим.

Кругом была прекрасная Кампанья. По ней бродили коровы. Их давно не доили, и молоко кидалось в круторогие головы. Коровы, в свою очередь, кидались на редких прохожих.

Некоторые римляне бродили по Кампанье. Среди развалин древних этрусских городов они разыскивали свои конторы и магазины.

— Где здесь находится склад подшипников «Электра»? — спросил Енса какой-то субъект.

Это были больные чикитой и потерявшие память. И этим людям завидовал Енс.

— Хоть бы заполучить чикиту! — шептал он в минуты слабости.

Но судьба, всегда покровительствовавшая авантюристу, отказала ему в этом благодеянии.

Вдруг Енс увидел в траве теплый, чуть розовевший мрамор. Он был покрыт ржавчиной многих осеней и седым пухом земли. Но мог ли Енс Боот не узнать своей возлюбленной, дивной финикиянки Европы?

Здесь люди, шедшие в порт Остию и покидавшие для берегов Азии и Африки нежную Европу, молились любовнице Юпитера.

Мраморная финикиянка две тысячи лет тому назад чувствовала тепло сладковатого дыма священных жаровен. Но никогда прежде не знала она жара, охватившего ее теперь, прошедшего по голубоватым жилкам мрамора. Это целовал Европу великий сумасброд, увы, так и не заболевший чикитой.

24

## енс боот знакомится с учением хулио хуренито

Вслед за рукой очистительной операции подверглась и голова. Чикита без особого труда переехала из Генуи в Барселону. Пиренейский полуостров, еще полгода тому назад занятый корридами и хунтами, забыл обо всем. Он был безлюден, рыж и дик. Только шайки басков, среди которых чикита протекала почему-то в более легких формах, спустившись с Пиренеев на юг, кочевали по Андалусии. Они ели фиги и пронзительно кричали, как мулы.

Чикита не перешагнула через Пиренеи, и прекрасная родина господина Феликса Брандево еще раз могла похвастаться своим бессмертием.

Енс Боот находился в Амьене. Он осматривал, обдумывал, вычислял: пятый акт не должен разочаровать почтенную публику.

Но вечерами, закончив дела, Енс по-прежнему тосковал. Характер его с каждым годом становился все мрачнее. Зрелище стольких бедствий ожесточило его некогда нежное сердце. До памятного вечера в кабачке «Приятная встреча», когда полотер Чуг глядел недоуменно в зеркальце на свое припудренное

лицо, Енсу Бооту были доступны милосердие и раскаяние. Но, взглянув на пудру господина Феликса Брандево, Енс Боот раз и навсегда окаменел. Конечно, он мог и теперь пожалеть синьору Лючию, но эта жалость не помешала бы ему выдумать дюжину новых чикит.

Он даже не опускал глаз и не отходил в сторону. Наоборот, пренебрегая опасностью, Енс Боот спешил всегда в ту страну, которая была на очереди. Хорошо осведомленный об интимной жизни министерств и генеральных штабов, он никогда не опаздывал. Это не было ни сладострастием палача, ни ревностью делового человека. Это было роком.

Два существа жили в Енсе Бооте: крупный авантюрист, преемник Наполеона, воплощение Юпитера, убийца Европы, директор «Треста Д. Е.» подготовлял, приказывал и, чуть усмехаясь, наблюдал за точностью выполнения. Это был один человек. Другой же являлся сентиментальным коммивояжером, влюбленным в какую-то французенку, выполнявшим поручения господина Кригера, носившим корзину синьоры Лючии, вздыхавшим о милой пижаме и плакавшим при всяком удобном случае.

Один человек не мешал другому. Они оба расписывались совершенно одинаково на циркулярах треста и на любовных записках: «Енс Боот».

Единственное, чего не хватало Енсу Бооту, это была идея. Собственно говоря, ее отсутствие не препятствовало Енсу осуществлять свои планы. Но люди, подобные ему, обязаны думать о грядущем. Что смог бы ответить Енс Боот американцам XXI века, которые спросили бы его: почему ты уничтожил Европу? Нельзя отделаться маловнятными признаниями о челке Люси...

Енсу Бооту не доставало идеи. Совершенно случайно он набред на нее. Это было в скучном захолустном Амьене.

В тихий вечер сентября, дописав письма, Енс, как всегда, тосковал. Разумеется, он вспоминал тяжелое разочарование, постигшее его в палатке, бывшем маркиза Фермучини. Не удостоившись чикиты, Енс Боот решил попытаться приобрести более банальное забвение. Мадам Люси Бланкафар оказалась толстой уродливой женщиной с плохой перекисью. Енс отправился в первоклассный публичный дом, принадлежащий американской фирме «Куль и К<sup>о</sup>», разыскивая стройную девушку с натуральными волосами.

Экспедиция Енса Боота закончилась относительной удачей. Он получил от мадемуазель Жюли, рыжей и вежливой особы, соответствующее утешение. Но верное и далеко не ветреное сердце Енса вскоре заныло по-прежнему. Мадемуазель Жюли уже безмятежно спала, а Енс Боот, в голубых кальсонах, в сетке на волосах (которую он всегда надевал на ночь, чтобы не испортить пробора), шагал по комнате и вздыхал:

— Люси!.. Все это не то... Где ты, финикийка?..

Финикийка была рядом с ним и в нем, она тянула свои руки к морям — к южному, полному ракушек и спрутов, к северному, кишевшему серебром сельдей, она упиралась ногами в знаменитый столб, на котором сидел воробей. Но Енс Боот не помнил об этом. Он видел «Ти стар» и острый зубок, надкусывающий миндальное печенье. Енс Боот ходил по комнате. Он не мог уснуть.

Вдруг над кроватью он увидел растрепанную книжку. На переплете было вытиснено золотом:

*ВНИМАНИЮ ГОСПОД КЛИЕНТОВ!*

*В этом высоконаучном произведении восхваляется наше гигиеническое и эстетическое заведение.*

Зная, что публичные дома фирмы «Куль и К<sup>о</sup>» пользуются всемирной репутацией и рекламируются многими учеными, Енс Боот зевнул: вероятно, нечто медицинское...

Но, раскрыв книжку, он дочитал ее до конца, стоя под тусклым фонарем над спящей невинно мадемуазель Жюли.

Это была биография великого Учителя Хулио Хуренито, убитого в 1921 году в городе Конотопе, а также его избранные суждения.

Несколько раз, отрываясь от книги, Енс Боот ругался:

— Этот слюнтяй умел только философствовать, когда надо было действовать!..

— Ну что за фантазия таскать за собой семь круглых идиотов?..

— Умереть из-за сапог! Хорош гусь! Это все равно как если бы я умер из-за пижамы...

Но эти кощунственные слова были продиктованы светлым и высоким чувством: Енс Боот свято уверовал в учение великого Провокатора. Более того, он понял, что вся его жизнь,

начиная с проглоченного уса лангуста и кончая посещением дома фирмы «Куль и К<sup>0</sup>», лишь осуществление дивной идеи Хулио Хуренито.

Теперь Енс Боот знал, зачем он уничтожает Европу.

Перед голубеющим окном, в голубых кальсонах, трепещущий и умиленный, повторял он забываемые слова покойного мексиканца:

«Нет, не ненависть—величайшая нелюбовь опустошила мое сердце... И все же он придет — час свободы, восторга, бездумья...»

— Зачем ты не дожид до наших дней, Учитель? — шептал Енс.— Но будь спокоен: в тысяча девятьсот семидесятом году не поставят памятника твоему убийце. К тысяча девятьсот семидесятому году в Европе будут лишь солнце, зверобой и щербет птиц.

И, хитро подмигнув глазом, Енс продолжал:

— Ты тоже ее любил!.. Ты оставил для нее свою Мексику... Умирая в грязном Конотопе из-за каких-то сапог, ты видел гордую поступь финикиянки... Будь спокоен, я-то ее заполучу!..

Это была великая минута.

25

## ЧТО ИНОГДА ПАДАЕТ С НЕБА

Франция была почти бессмертной. Все рантье живыми просились в Пантеон. Но такие исключительные удачи всегда отражаются на душевном равновесии, и Франция томилась, не зная, какую страну можно еще уничтожить. Как будто все страны Европы были уничтожены. Оставались жалкие орызски.

В 1935 году господин Феликс Брандево решил с горя подобрать оставшиеся крохи. Швейцария и Бельгия были присоединены к Франции в течение одиннадцати минут. Голландия не подчинилась постановлению, превращавшему ее во французский департамент «Дюн». Покопавшись в архивах, голландские журналисты написали двусмысленные статейки о затоплении страны. На что надеялись эти люди, отстаивая не-

зависимость своей родины, для нас остается тайной. Возможно, что в них жил дух великих мореплавателей прежних времен, и они рассчитывали отплыть вместе со своей страной куда-нибудь в иное полушарие. Так или иначе, узнав о сопротивлении голландцев, господин Феликс Брандево серьезно оскорбился. Он не хотел войны. Он давно стал пацифистом. Кроме того, объявить войну — это означало бы смутить покой симпатичных американцев. Господин Феликс Брандево решил ликвидировать конфликт по-семейному.

— Займитесь Голландией, — сказал он своему военному министру, генералу Легату.

— Голландия? А что там? Горы? Флот? — спросил исполнительный министр.

— Там дождь и сыр.

— Насчет сыра я профан. Но дождь, но дождь... Я займусь дождем...

— Только, пожалуйста, потише, — предупредил его господин Феликс Брандево. — Нельзя обижать американцев.

Этот разговор происходил 18 августа 1935 года. 19 августа «Журналь де Даба» писал:

«Из вполне авторитетных источников нам сообщают, что французское правительство настроено вполне миролюбиво по отношению к Голландии и не предпримет никаких военных мер. Если маленькая Голландия сама не понимает экономических и моральных преимуществ присоединения ее к Франции, мы можем только пожалеть эту страну. Войны, во всяком случае, не будет».

— Войны не будет! — кричали продавцы газет на улицах Парижа и Амстердама.

Они были правы. Войны действительно не было.

Правда, Энс Боот спешно отплыл в Голландию. Но эта поездка была исключительно вызвана вполне естественным желанием повидаться со своей матерью, Анной Боот, с которой Энс расстался ровно тридцать четыре года тому назад.

В Голландии Энс Боот увидел то, что должен был увидеть, то есть дождь и сыр.

(Господин Феликс Брандево хорошо знал географию.)

Не останавливаясь, Энс Боот проехал прямо на остров Тессел. Где-то произошли грандиозные катастрофы. Погибла почти вся Европа. Работал «Трест Д. Е.». Здесь же морские



птицы несли яйца, и мирные жители, не думая о судьбах народов, кушали вкусную яичницу.

С величайшим волнением вошел Енс в скромный домик. Анна Боот молилась. Упав на колени, долговязый Енс припал к желтым сморщенным рукам матери и покрыл их поцелуями. Когда тридцать восемь лет тому назад он проглотил ус лангуста, это было очень больно, и матушка тогда утешала его. Теперь, познав измену мадам Люси Бланкафар и гибель Европы, он крайне нуждался в материнском утешении.

Услыхав запах мыльного порошка и рыбы, исходивший от платья Анны Боот, Енс вспомнил детство. Директор «Треста Д. Е.» почувствовал себя малым ребенком.

Анна Боот выронила из рук псалтырь. Вошедший человек напомнил ей короткий, но тяжелый грех далекой молодости.

— Господи, прости и помилуй,— прошептала она.

— Матушка, я твой сын Енс!

— Неправда! Ты искуситель,— с величайшим недоверием ответила ему Анна Боот. Енсу пришлось показать матушке родимое пятно на своем животе и в придачу еще паспорт. Тогда старуха, обливаясь слезами, стала целовать угрюмое, костистое лицо Енса.

Шел дождь. Час спустя, разглядывая элегантный костюм сына, Анна Боот спросила не без тревоги:

— Чем ты занимаешься, Енс?

Директор «Треста Д. Е.» не захотел огорчить свою старую мать. Он небрежно ответил:

— Я был массажистом и охотником. Теперь у меня маленькое бюро похоронных процессий.

При этих словах глаза Енса Боота убежали в сторону. Сердце матери отличается прозорливостью. Анна Боот сказала сыну:

— Ты мне солгал, Енс. Может быть, ты стал жуликом или, господи помилуй, убийцей?

Анна Боот плакала. Шел дождь.

Енсу хотелось покаяться матери во всех грехах, лечь в детскую кроватку, съесть большое яйцо морской птицы всмятку и уснуть навеки. Но он преодолел это естественное желание.

Вечером Анна Боот, утомленная событиями дня, задремала в кресле. Енс вышел из дому. Дождь не переставал. Впрочем,

дождь в этой стране может идти, не переставая, три месяца, и не дождь удивил Енса Боота. Он увидел странную картину: весь берег был покрыт мертвыми морскими птицами. Они падали с неба на глазах у Енса, падали, как камни.

Когда Енс вернулся, его мать проснулась от скрипа двери. Енс решил поделиться с ней своими впечатлениями:

— Матушка, весь берег покрыт дохлыми птицами. Они падают с неба. Что бы это могло значить?

Анна Боот снова заплакала.

— Это значит, что ты принес несчастье в мой дом. Никогда птицы не умирали здесь. Ты не сын мой, а дьявол!

Енс Боот, директор «Треста Д. Е.», услышав слова матери, задрожал, как ребенок, которому рассказали страшную сказку. Суеверный страх овладел им. Может быть, он, проклятый всеми человек, действительно принес беду своей старой матери?..

Енс дрожал. Мать плакала. Шел дождь.

— Дай мне стакан воды,— сказала среди слез Анна Боот.— Дьявол, дай мне воды! Смотри, не обмани меня! Дай мне воды, а не дьявольского яда.

Енс вышел во двор, покрутил колесо колодца и принес матери стакан свежей, холодной воды.

— Пей, матушка,— сказал он с беспредельной нежностью. Пальцы его все еще продолжали дрожать. Анна Боот отпила полстакана. Она сидела молча в кресле. Через полчаса ужасная гримаса свела ее лицо. Стакан упал и разбился. Началась рвота.

— Ты обманул меня, Енс! Ты дал своей матери яду!..

Это были последние слова Анны Боот.

Енс бежал. Один на пустынном острове, усталом трупами птиц.

— О! о! о!

Какой-то рыбак перевез его на материк. Он не отвечал на вопросы. Он не видел людей. Перед ним были испуганные глаза матушки и стакан чистой воды.

Кругом умирали люди и звери, они умирали в городах и в деревнях. Голландия, не захотевшая присоединиться к великой Франции, умерала в корчах, с пеной на губах.

В Утрехте молодая Вильгельмина Майстрот рассказывала сказку своей дочери, прекрасной Дели:

— ... И с неба упала голубенькая звездочка...

— Мама, разве звезды падают с неба?

— Падают, детка, падают, Дели. На небе бог. С неба может все упасть...

И, кончив сказку, мама дала Дели «капли датского короля». Дели немного кашляла. Через пять минут в кровати с сеткой лежал скрюченный трупик.

С неба падал дождь. Енс Боот бежал по размытым дождем полям, падал, подымался, снова бежал, бежал и кричал:

— О! о! о!

На этот раз Енс Боот хотел явно невозможного: он пытался убежать от самого себя.

Через две недели в Голландии не было людей. Дождь все еще шел. В складах высились красные горы несъеденного сыра.

Среди бумаг господина Феликса Брандево сохранилась крохотная записка:

«Триста аппаратов... В облака при образовании... Дождь... Шесть дней».

Но читать чужие письма по меньшей мере неприлично. Войны не было. Американские пацифисты послали господину Феликсу Брандево приветствие и голубку из массивного (не дутого) золота...

26

«сто „афро“,  
и поскорей...»

Двадцать второго мая 1937 года заборы Перпиньяна украсились прекрасными трехцветными афишами:

*ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!*

**Отечество в опасности!**

Начиная с апреля 1936 года отдел записи гражданских актов не зарегистрировал в Перпиньяне ни одного рождения.

Что станет через двадцать лет с прекрасным Перпиньяном? Кто будет голосовать при выборах в парламент?

Кто будет читать уважаемую газету «Л'об де Перпиньян»? Кто будет пить отменные, не фальсифицированные аперитивы?

Граждане, опомнитесь!

Городской совет постановил выдать сто золотых франков и почетный диплом гражданину, который окажется способным стать отцом. Для торжественного акта будет предоставлен большой зал муниципалитета. Решение вынесет жюри под председательством городского врача д-ра Ликико. Кандидаты должны записаться у секретаря.

*Спешите, дорогие сограждане!*

*Спешите, пока не поздно!*

*Мы верим в ваше мужество!*

Мэр города Перпиньяна

*Альфонс Мэрдо.*

С утра до вечера у афиш толпились дорогие сограждане Мэрдо.

— Ровно через двести семьдесят дней в Перпиньяне родится не менее десяти тысяч детей, — куражился молодой и прекрасный нотариус Балье. — Я не иду записываться только потому, что не привык стоять в очереди, — там, наверное, сегодня давка.

Но мосье Балье ошибался. Секретарь мэрии весь день безнадежно глядел в окно. На площади происходила собачья свадьба. Собаки весело тьякали. Секретарь зевал. Ни один кандидат не явился.

Мы предостерегаем, однако, читателей от неверного вывода, будто Перпиньян являлся исключительно порочным и за свои грехи наказанным городом. Нет, во всей Франции можно было наблюдать однородные явления:

- 1) абсолютную безработицу среди акушерок,
- 2) тишину на улицах, вследствие полного отсутствия граждан нежного возраста,
- 3) превращение всех начальных школ в танцклассы для взрослых,
- 4) систематические самоубийства фабрикантов игрушек, и прочее.

Историк — не стыдливая отроковица. Он обязан с беспощадной настойчивостью приоткрывать завесу, отделяющую нас

от жизни общества былых времен, и не его вина, если эта жизнь мало согласуется с великими заповедями добра и приличия. Наш долг — выяснить причины, которые довели Францию до столь ненормального положения.

Первенствующую роль среди них играет, разумеется, война. В течение двадцати пяти лет, почти без перерывов, Франция воевала. Она содержала под ружьем миллионы граждан. Мальчики пятнадцати лет, мобилизованные в спешном порядке, немедленно развращались. На интендантство было возложено снабжение четырех тысяч восьмисот базовых и семнадцати тысяч шестисот летучих публичных домов для солдат. Легко себе представить, как это отражалось на санитарном состоянии населения. Уже к 1935 году статистика показывала уменьшение рождаемости на сорок восемь процентов.

Тогда появилось на сцену спасительное лекарство. Владелец большой фабрики химических изделий «Д. Е.» выпустил в продажу золоченые пилюли «Афродитин». Это лекарство представляло из себя остроумную смесь эфирных веществ и семенных вытяжек. Оно одновременно служило для трех целей: преодолевало застенчивость, препятствовало увеличению населения, то есть отягощению бюджета, и, как всякий наркотик, веселило человека. Фабрика «Д. Е.» не успевала выполнять заказы. Вскоре ее владельцы сделали самыми богатыми людьми Франции. Что касается публики, то она нежно любила «Афродитин» и даже, для удобства, звала его запросто «Аффо».

Пилюли, как мы уже сказали, были позолочены безвредным бронзовым порошком и продавались в изящной упаковке. Невесты преподносили своим женихам коробочки с пилюлями. Заботливые тещи, отправляясь утром на базар за провизией, не забывали прихватить коробочку «Аффо». В кафе предупредительные официанты, завидев парочку, кричали буфетчице:

— Два пикона-кюрасо — два! Один «Аффо» — один!

Солдаты, эти исконные носители городской цивилизации, познакомились с чарами «Аффо» и сельских жителей. В любой крохотной лавчонке, обслуживавшей рыбаков Бретани или пастухов Савойи, можно было теперь найти заветные пилюли.

Правительство господина Феликса Брандево, занятое уничтожением различных государств, а также истреблением по-

следних коммунистов, не вмешивалось в интимную жизнь граждан. Как читатели видят, это было воистину либеральное правительство.

«Афро» стал подлинным героем. О нем писали большие научные трактаты. О нем слагали непристойные куплеты. В течение 1936 года было продано четырнадцать миллионов изящных коробочек.

На годовичном собрании акционеров химической фабрики «Д.Е.» раздавалось одно только слово:

— Триумф!..

Акционеры принесли сердечную благодарность новому директору фабрики господину Енсу Бооту, который приобрел патент на дивный «Афро». Господин директор был весьма расстроган.

К этому времени с достаточной ясностью сказались новые, дотоле неизвестные свойства волшебного лекарства. После трех-четырех коробок «Афро» превращал молодого крепкого мужчину в самого исправного евнуха. Сначала афроманы испытывали слабость и сильные головные боли. Им приходилось увеличивать дозу лекарства. Многие доходили до восьми и даже до десяти пилюль. Наконец наркоз переставал вовсе действовать, и надевавшемуся на его благотворное влияние приходилось постыдно покидать поле сражения.

После того как все министры, сыновья министров, племянники министров и даже некоторые внуки министров испытали на себе разрушительное действие «Афро», правительство наконец заинтересовалось опасным фабрикатом. В Лилль, где находилась фабрика «Д.Е.», прибыл главный прокурор республики. Он узнал, что директор фабрики, господин Енс Боот, накануне отбыл неизвестно куда.

Фабрикация «Афро» была запрещена под страхом смертной казни. К сожалению, эта мера несколько запоздала. Вряд ли во всей Франции набралось бы двадцать тысяч мужчин, которые не познали бы надежд и разочарований «Афро». Огромное большинство французов примирилось со своей участью.

Этого нельзя было сказать о француженках. Среди них распространились нервные заболевания. Родильные дома были обращены в больницы для душевнобольных. Наиболее храбрые женщины убежали из дому и, добравшись до границ республики, за которыми начиналась пустыня, выжидали темноты. Сторожевым постам было приказано стрелять во всех, пытавшихся

перейти границу. Ночью отважные путешественницы переползали через глубокие рвы. Многие погибали. Достигшие цели раздевались догола и ложились на землю, ожидая дикарей. Дело в том, что по всей Франции ходила легенда о великодушных варварах, которые якобы похищают женщин. Действительно, бродившие по пустыне люди — баски, лигурийцы или швабы — порой вознаграждали французенок за их подлинный героизм. Но большинство гибло от холода или от хищных зверей, которые, обнаглев, зачастую подходили к самым границам Франции.

Таково было положение к началу 1937 года. «Аффо» вполне оправдал надежды, возлагавшиеся на него трудолюбивым директором фабрики «Д. Е.».

В палату депутатов был внесен срочный законопроект об импорте во Францию двухсот тысяч негров из колоний. Предполагалось после использования производительной энергии послушных дикарей сконцентрировать их на одной из окраин республики и уничтожить, чтобы они не вызывали излишних приступов ревности у законных белых мужей. Законопроект встретил, однако, сильное сопротивление со стороны Академии. «Бессмертные» утверждали, что новое поколение будет не чисто белого цвета, и в этом видели отступление от исконных традиций латинской расы. Напротив, прогрессивные круги приветствовали перемену окраски. В кабаре пели песенку, посвященную республике:

Марианна! Марианна!  
Ты будешь — кофе с молоком...

Законопроект был отклонен тремьями шестнадцатью голосами против ста семидесяти четырех (триста шестнадцать «традиционных» депутатов были женаты, сто семьдесят четыре являлись свободомыслящими холостяками).

Тогда вновь созданное министерство народного размножения обратилось к префектам и мэрам отдельных городов с предложением организовать соответствующие конкурсы.

Прочитав циркуляр министра, мэр города Перпиньяна Мэрдо сочинил вдохновенную афишу, текст которой был нами воспроизведен в начале настоящей главы.

Это был первый конкурс, и вся Франция затаив дыхание следила за его результатами. В Перпиньян прибыли специальные корреспонденты всех крупных парижских газет.

Представитель газеты «Пти журнал» мосье Гропэт, желая опередить своих коллег, на вокзале сочинил первую телеграмму:

«Прилив кандидатов так велик, что возле городского совета военный отряд и команда пожарных охраняют порядок. Число кандидатов перевалило за двадцать тысяч. Великолепная погода благоприятствует событиям».

После этого мосье Гропэт побрился, позавтракал и направился в здание муниципалитета. Секретарь сидел у окошка и зевал. Большой лист, приготовленный для записи кандидатов, сиял девственной чистотой.

Мосье Гропэт составил вторую телеграмму:

«Положение несколько осложнилось благодаря иностранным интригам. Арестованы читинские шпионы. Иногда по-прежнему благоприятствует. Франция победит!»

Мосье Мэрдо приказал всем своим чиновникам бросить занятия и предаться розыскам хотя бы одного мужчины, никогда не принимавшего «Афрø». Чиновники бегали, потели, вздыхали. Гропэт телеграфировал:

«Чтобы победить, нужны крепкие нервы».

Подходящего человека не было.

Наконец 29 мая старый сторож мэрии Леон привел приятного застенчивого юношу, который жил скромно со своей престарелой бабушкой, сажал картофель и бобы, верил в бога и никогда не видал золоченых пиллюль. Это было воистину нечаянной радостью. Мосье Мэрдо прижал юношу к своему животу, обязанному трехцветным шарфом, и облил его ливнем патристических слез.

— Ты Шарлемань, ты Жанна д'Арк, ты Дантон, ты господин Феликс Брандево,— шептал в умилении мосье Мэрдо скромному юноше, которого до этого времени звали Полем Пти.

Дальнейшее описание событий мы представляем поэтическому перу мосье Гропэта.

Четвертая телеграмма:

«Поль Пти прекрасен и смел. Его невеста, дочь мосье Мэрдо, самая красивая и правдивая девушка города».



Примеру Перпиньяна должны последовать другие города. Мы победим весь мир. Наблюдается приток американских туристов. Гостиницы переполнены».

Пятая телеграмма:

«Мэрия убрана флагами и электрическими вензелями. На площади радостная толпа. Устроены народные развлечения: карусели и стрельба в цель. В павильоне военный оркестр. Невеста уже в зале. Поль Пти подкрепляется ужином под наблюдением врачей».

Шестая телеграмма:

«Поль Пти скушал два яйца всмятку, шпинат и котлет де-воляй, выпил стакан минеральной воды. Оркестр исполняет туш».

Седьмая телеграмма:

«Поля Пти ведут. По вполне понятной стыдливости, он упирается».

Восьмая телеграмма:

«Поль Пти присел на ступеньку и попросил разрешения выкурить сигарету. Оркестр исполняет «Тореадор».

Девятая телеграмма:

«Поль Пти все еще сидит. Погода благоприятствует. В Перпиньяне прекрасные карусели. Задержан читинский шпион».

Десятая телеграмма:

«Восторг! Эллада! Галльский петух! Поль Пти вошел в зал. Двери опечатаны. Толпа хранит богомольное молчание. Эвоэ!»

В редакции «Пти журналъ» тщетно ждали наиболее важной одиннадцатой телеграммы. Ее не последовало. Перо изменило мосье Гропэту. Он не сумел описать финал торжественной ночи.

Ровно в 12 часов, когда оркестр исполнял «Марсельезу», в окне показалась жалкая физиономия Поля Пти. Юноша, на-

прасно пытавшийся взломать не только запечатанные, но и крепко запертые двери, решил прибегнуть к окну. Он горько плакал, а сквозь рыдания раздавались слова:

— Сто «Аффо», и поскорей!

Но уж никакой «Аффо» не мог помочь последнему герою Великой Франции.

27

## «необходимо побрить собаку»

Изо всех операций, проведенных «Трестом Д. Е.», для нас наиболее загадочной остается уничтожение народов, заселявших некогда Скандинавский полуостров. До нашего времени ни одному историку не удалось осветить этот хотя и второстепенный, но достаточно любопытный вопрос. Объясняется это не какой-либо особой сложностью скандинавской операции, а исключительно печальной случайностью. Когда в 2004 году был найден секретный архив «Треста Д. Е.», в нем не оказалось папки № 18 621, заключавшей все документы, связанные с событиями 1938 года. Архив хранился в нестограемом шкафу мистера Твайвта. Мы не можем, таким образом, заподозрить ни воров, ни мышей. Нет, единственным виновником является покойный мистер Твайвт, любивший изредка перелистывать трогательные и назидательные документы. Однажды, отправившись на свою обычную утреннюю прогулку в огородничество с папкой № 18 621, он вернулся домой без бумаг. Подобные неприятности, рождаемые рассеянностью, происходят порой и в самых лучших домах. Но, увы, благодаря наивному жесту мистера Твайвта, мы лишены возможности с должной полнотой обрисовать гибель Скандинавии.

В наших руках находятся лишь шесть документов, которые мы и приводим полностью.

I. Записная книжка Енса Боота, в черной клеенчатой обложке. На странице сорок первой запись чернильным карандашом:

«26 ноября 1936 года. Сегодня глядел «Бранда». Провинциал и дурак. Сливки и сметана + непримиримость перед законной супругой. Кстати, вспомнил: необходимо побрить собаку. NB!»

II. Телеграммы в различные американские газеты за март 1938 года из Стокгольма, Копенгагена и Христиании.

«Замечены случаи сонной болезни. Приняты меры».

«На границах Дании установлен карантин».

«В школах произведены прививки».

«По мнению специалистов, сонная болезнь в слабой форме наблюдалась и прежде. В 1922 году в Нью-Йорке и в Москве были легкие эпидемии».

«Смертность увеличивается».

«Американское правительство запретило всем судам заходить в порты Скандинавии».

«Эпидемия принимает угрожающие размеры».

«Почтовое сообщение прервано».

III. Письма датского художника Йоганна Ольсэ к госпоже Габриели Боно в Париж.

Письмо первое.

«Я пишу тебе, Габриель, из «Тиволи». На этой скамейке мы сидели с тобой. Помнишь, за маленьким киоском? Ты показывала мне рыжие перчатки, у них были кисточки, как уши пумы. Я хотел тогда тебя написать в зеленом джемпере. Кричали дети. Сейчас здесь очень тихо. На соседней скамье сидит молодой человек с ракеткой для тенниса. Он все время раскрывает рот. Но ты не думай, что он поет или кричит. Нет, это просто, просто как все в зеленом, стеклянном, водяном Копенгагене: он зеваает. Значит, через неделю санитары в масках потащат его в крематорий. Санитарам, впрочем, тоже захочется спать. Знаешь ли ты, Габриель, что такое сон? Легкий, звенящий, белесоватый, как этот город. Когда в глазах зияние и сигарета выпадает из пальцев. Ах, сон, сон!.. Моя бедная девочка, если бы ты знала, как мне хочется спать!..

Но, нет, не бойся. Я совсем здоров. Я могу бегать и плакать. Я могу любить. Еще сильнее, чем прежде. Я хожу

вдоль пустых, оловянных каналов порта. Северное море пахнет сыростью и тишиной. Я ищу твои губы, смоляные, сухие, горькие, твои южные губы, Габриель! Я решил бросить все. Я приеду к тебе. Добраться, говорят, не легко. Но это вздор. Я должен быть с тобой. Ты помнишь ночи в Эйсберге, когда выла сирена и с неба сыпался золотой горох звезд. Я уже тогда понял: не просто любовь — иное. Если не мы, то кто же?.. Человек с ракеткой сейчас уснет. Они все уснут. А мы должны продлить... Нет, я не умею писать об этом. Скажу, когда увижу, вдохну в розовую раковину твоего уха, Габриель, мы назовем его Сандро!..

Я не лягу спать сегодня. Я буду на страже. Поцелуй меня, Габриель!»

### Письмо второе.

«Габриель, я еду к тебе. Весь день я боролся с этим живым дыханием воды. Легко понять — даже море зевает. Июнь. Белые ночи. Надо щипать себя, чтобы не уснуть. Я нашел лодку. Я еду вечером. Я слышу Париж. Итальянские бульвары. Гудение стальных жуков. В кафе звон стаканов. Смех. Кафе ведь у вас открыты до утра? Лишь бы не уснуть! Твои губы, Габриель! Только не дай мне уснуть! Еще три часа, и я отчалою. Лодочник спит. Санитары в масках на грузовике. С ними пастор. Пастор тоже зевает. Ты ведь знаешь это чувство — когда приятно холодеют ноги и в голову кто-то льет густой тягучий мед. Нет, это — смерть!.. Молю тебя, разбуди!..»

### Письмо третье.

«Надо ехать. Не могу. Мама делала медовые пряники — слон с хоботом. Хобот был вкусней всего. Помнишь, когда я тебя поцеловал в плечо, ты засмеялась: «Я хочу спать». Милая, я тоже! Все спят. Поздно. Спокойной ночи. Надо мной стоит какой-то человек в маске. Мне кажется, что это...»

IV. Описание в № 316 чикагского журнала «Весь мир» сонной болезни.

«Симптомы: бледность, одутловатость. Глаза тускнеют. Движения ленивы. Внезапная сонливость. Слабый пульс.

Течение болезни: зевота. Сон до двадцати часов в сутки. В первые дни болезни больные еще пробуждаются для принятия пищи. Потом наступает полный сон без перерывов.

Микробы сонной болезни в течение четырнадцати — восемнадцати дней перерождают мышечные волокна в жир».

V. Отчет о последнем заседании норвежского стортинга 29 октября 1938 года.

Председатель. Объявляю заседание открытым.

Голоса. Нет кворума.

Председатель. Восемьдесят девять депутатов скончались. Почтим их память вставанием.

Слева. На правой сидят.

Депутат Гопсон (консерв.). Сидит только депутат Трельке. Он спит.

Перерыв. Санитары выносят депутата Трельке.

Председатель. Слово принадлежит депутату Аргену.

Депутат Арген (крайн. левый). Страна гибнет. Ожирение происходит от излишеств буржуазии. Мы больше не можем ждать. От имени партии, профсоюзов и завкомов объявляю правительство низложенным. Стортинг распускается. Власть переходит...

В зале смятение. Депутат Арген внезапно замолкает.

Председатель. Слово принадлежит вам, уважаемый депутат Арген.

Депутат Арген молчит.

Депутат Тульби (соц.-дем.). Мы умоляем вас, коллега Арген, сказать, к кому же переходит власть? Это крайне важно.

Председатель. Увы, депутат Арген не может ответить. Депутат Арген спит.

Санитары выносят депутата Аргена.

Председатель (*зевает*). Объявляю заседание закрытым. Мне хочется спать.

VI. Каблограмма мистера Ойрка, специального корреспондента «Американской свободной ассоциации прессы»,

«Крупная сенсация! В Скандинавии больше не осталось ни одного живого человека. Я совершил сегодня семь полетов. Я видел мертвый Копенгаген. Солнце играло на шпицах собора. По Дании бродят коровы. Они бодрствуют. В Стокгольме тихо, как в раю. На лицах некоторых спящих улыбка блаженства. Гибель этого народа — новое торжество чистого спиритуализма. Я лично наблюдал последние минуты последнего человека. Какая красота! Это был рыбак в фьорде Трольберга. Он выехал на утреннюю ловлю. Вода была бирюзовая, а солнце золотое. Рыбак вытащил сети. Серебряные рыбки трепетали. Он тихо вздохнул, прикрыл глаза рукой и уснул. Уснул сразу, как младенец. Сети ушли в воду. Рыбки весело разлетелись прочь. Рыбак спал под золотом солнца, над бирюзой воды. Евангелические видения! Святой рыбарь! Безусловно, скоро мы приступим к колонизации этих мест. Необходима грандиозная дезинфекция. Здесь много сырья: железо, медь, лес. Я видел смерть. Жизнь будет снова. Доброе утро, дорогие читатели!»

28

«Sore»

Тридцатого июня 1928 года, когда господин Кригер умирал среди развалин Берлина, в одном из танков стоял Виктор Брандево. Племянник премьера пустыми стеклянными глазами глядел в черный коридор столетий. То, что он видел, было воистину страшно. Солнце быстро остывало, оно висело на ледяном небе как огромный желток. Землю, покрытую кактусами и гигантскими мхами, давили мамонты, двуутробки, черепахи, исполинские пауки. Потом солнце совершенно исчезло. По лишиям поползли слепые карлики с лицами, густо поросшими рыжей колючей шерстью. Иногда они кидались один на другого с криком «чуй-чуй» и выпивали теплую, вязкую кровь. Виктор Брандево, младший лейтенант французской армии, долго глядел на этих чудовищ. Он старался понять, кто они: прадеды или правнуки?

363

Когда на рассвете танки, закончив разрушение Берлина, двинулись в обратный путь, Виктор Брандево лежал с закрытыми глазами и бредил. Его поместили в лучший госпиталь Льежа. Месяц спустя в Льеж прибыл господин Феликс Брандево, чтобы лично вручить военную медаль своему героическому племяннику. Госпиталь был роскошно декорирован, а все гостицы Льежа наполнены иностранными корреспондентами. Но обстоятельства в высшей степени загадочные омрачили торжественную церемонию. Когда премьер, закончив патетическую речь, хотел поцеловать больного воина, он нашел на койке непонятное чучело.

Виктор Брандево таинственно исчез, и этим в свое время составил счастье как сыщиков, так и журналистов всего мира. Мы уже упоминали, что газета «Пепель» уверяла, что голландский авантюрист Жан Ботта не кто иной, как пропавший при странных обстоятельствах Виктор Брандево. Вряд ли нужно доказывать нашим читателям, хорошо знакомым с биографией Енса Боота, что смешение этих двух личностей является по меньшей мере неприличным.

Нам не удалось установить, что делал Виктор Брандево в течение десяти лет. Мы знаем лишь, что в 1932 году он находился в монастыре святого Игнатия близ Саламанки, удивляя всех монахов рьяностью своих молитв и суровостью обетов. На исповеди брат Ипполит (таково было имя, принятое Виктором Брандево при пострижении) признался, что убил миллиарды людей, в том числе некоего фараона Ферункануна, содержателя кабаре «Альказар» и своего правнука, карлика, поросшего рыжей колючей шерстью.

Три года спустя мы находим Виктора Брандево в совершенно другой обстановке, а именно — среди слушателей Высшей военной академии города Томска. Он живет там под своим именем в качестве политического эмигранта, зарабатывает деньги уроками французского языка и занимается химией, а также электротехникой.

Вот все данные о жизни Виктора Брандево, которыми мы располагаем. Не желая низводить наш научный труд до уровня психологического романа, мы не пытаемся осветить душевных переживаний легкого увлекающегося юноши, позволивших ему проделать достаточно сложный путь от танка до монастыря святого Игнатия и от исповедальни до лаборатории Военной академии в самом неблагонадежном государстве. Мы не знаем

также, когда и каким путем Виктор Брандево вернулся к себе на родину. Но 12 апреля 1939 года на собрании безработных в большом зале парижской «Биржи труда» выступил худой, черный человек в кепке. Потрясая кулаками, он кричал:

— Товарищи! Французская буржуазия, погубив Европу, теперь начала наступление на нас. Наши деды сумели ответить на предательства буржуев Парижской коммуной. Товарищи, Чита нам поможет! Америка накануне социальной революции! В Японии глухое брожение! По всем данным, в европейской пустыне также сохранились живые оазисы. Эти несчастные, пережившие ужасы войн и эпидемий, помогут нам свергнуть ярмо капитализма.

Смелее! Все на улицу! Необходим единый план действий. Да здравствует великий «Рабочий синдикат восстановления Европы»!

Присутствовавшие на собрании четыре тысячи безработных неистово аплодировали страстному оратору. Может быть, монахи монастыря святого Игнатия, погибшие от чикиты, услышав эту речь, не одобрили бы ее антиморального содержания, но, без сомнения, они отдали бы должное исключительному пафосу, всегда отличавшему брата Ипполита. Что касается безработных, то их интересовало не ораторское искусство Виктора Брандево. Нет, они были очень голодны. Их ждала неминуемая смерть. Чужой человек в кепке предлагал какой-то исход. Он даже сулил помощь русских, американцев, японцев, европейских дикарей — помощь всех. Оставалось одно — свернуть шею бывшему фабриканту жестяных коробок господину Феликсу Брандево.

Когда безработные действительно решили это сделать и с пением «Интернационала» вышли на улицу, небольшой отряд полицейских, применив газы, в несколько минут разогнал их. Двести сорок человек при этом погибло. Число паразитов, сидевших на шее бедного господина Феликса Брандево, уменьшилось на двести сорок душ. Но это было малым утешением. Если погибло двести сорок, то оставалось еще три миллиона сто десять тысяч, получавших пособия от государства.

Не мудрено, что господин Феликс Брандево с каждым днем все сильнее ощущал трагическое бремя власти. Положение Великой Франции, победившей всех мыслимых врагов, было отнюдь не завидным.



Мы уже говорили о заботах, которые причиняло правительству почти абсолютное прекращение рождаемости. В 1939 году, пренебрегая резолюциями палаты депутатов и Академии наук, господин Феликс Брандево ввез наконец во Францию около ста тысяч сенегальцев для размножения. Но негры, испытывавшие минуты господства над белыми женщинами и, по всей вероятности, возбуждаемые к бунту тайными агентами читинского правительства, обнаглели. Что ни день, они нарушали спокойствие господина Феликса Брандево.

Еще хуже негров вели себя безработные. Потеряв все внешние рынки, а также лишившись ввоза сырья, французская промышленность окончательно погибла. Сан-Этьен, Лилль, Нанси и другие индустриальные центры напоминали теперь музеи античных древностей. Их даже начали посещать американские туристы. Многие рабочие напялили на себя солдатские шинели.

Страшась вторжения варваров, а также внутренних беспорядков, Франция содержала громадную армию. К 1935 году численность ее равнялась двум миллионам восьмистам тысячам штыков. Но господин Феликс Брандево был достаточно умен, чтобы не влить в армию всех безработных. Он продолжал кормить свыше трех миллионов бездельников: все же это было спокойней, нежели винтовка в руках рабочего. Таким образом, две трети солдат являлись крестьянами. Порой, в часы бессонницы, тревожась за будущее своей горячо любимой родины, гениальный премьер брал с полки «Историю подавления мятежа 1871 г.» и самодовольно приговаривал:

— В случае чего — две трети больше одной трети. Крестьяне выручат!

После таких ночей министру финансов, в свою очередь, приходилось проводить бессонные ночи, складывая невероятное количество нулей, из которых состоял государственный бюджет. Золотой фонд давно перекочевал в Америку. Налогов никто не платил. Ежедневно печатались миллиарды франков на содержание армии и безработных. Солдаты получали мясо и вино, безработные исключительно чечевичный суп, но даже килограмм чечевицы стоил двадцать тысяч франков, и министр финансов, сидя над бюджетом, тер виски «антимигреновым карандашом». Социальные противоречия достигли исключительной, мы сказали бы, чисто живописной выразительности. Буржуа спекулятивного типа, не имевший даже наследника, старался как можно скорее прожить свои трильоны. В Париже собрались все

уцелевшие кокотки Европы. Они развлекали утомленных французов танцами и различными эквилибристическими упражнениями. Рестораны круглые сутки были полны — их теперь вовсе не закрывали. Последнее поколение французской буржуазии торопилось познать тайны всех винных погребов.

Вместе со спекулянтами кутила военщина, награбившая немало добра в годы веселых военных прогулок.

Когда мистер Твайвт увидел в чикагском журнале «Весь мир» фотографию парижского ресторана «Мон пти тру», он в изумлении пролепетал:

— Но мы ведь нищие. По сравнению с этим вся Америка лачуга!..

Правящие классы Франции правильно оценивали события. Они не хотели терять драгоценное время. Рядом с ними царил неслыханный нищета. Миллионы безработных пухли с голоду, валялись в Булонском лесу или на набережных Сены и сжимали свои жалкие немощные кулаки. Эти существа мало напоминали цивилизованных людей. Они ходили в рубищах, прикрывая грязные тела тряпьем, драными мешками, старыми флагами. Их головы и лица поросли длинными волосами. Они давно перестали думать и говорить, лишь изредка изрыгая краткие ругательства. Их выселяли, гнали из города в город, и все же даже господин Феликс Брандево, этот великий муж, отличавшийся античной смелостью, боялся их уничтожить. Безработные продолжали получать суп из чечевицы. А каждый килограмм чечевицы стоил двадцать тысяч франков.

Крестьяне знали это, и крестьяне ненавидели дармоедов, получающих даром чечевицу. Крестьяне ели мясо, сало и творог. Но крестьянам приходилось отдавать настоящие луидоры за матерью, привезенную из Америки. Это их весьма обижало. Крестьяне ненавидели города.

Таким образом, Франция жила не вполне нормальной жизнью. К тяжелым экономическим условиям следует добавить нервозность, охватившую всех французам. Никто не знал в точности, что делается за пределами Франции. Ходили слухи, будто дикари, живущие в пустыне, организовались и готовятся к вторжению в восточные и южные департаменты. Ученые, напротив, основываясь на показаниях летчиков, утверждали, что последние люди в пустыне погибли и что Франция окружена зачумленными землями, по которым бродят одичавшие

животные. Так или иначе, каждый француз, думая об огромных просторах, граничащих с его родиной, испытывал ужас. Жизнь на маленьком острове, среди океана смерти, была нелегкой.

В роскошном кафе посетитель вдруг ронял на пол рюмку и кричал: он видел перед собой громадную пустоту. Это было боязнь пространства. Безработные порой рычали, как звери, и, подмигивая один другому, показывали рыжими скрюченными руками на юг или на восток.

С каждым днем ужас перед пустыней увеличивался. Господин Феликс Брандево приказал залить светом все города, чтобы изгнать из них ночную тьму. Сияли дикие искусственные луны. В кабинете премьера всю ночь не угасали ослепительные люстры. Но все же за границами Франции была непонятная и непобедимая тьма.

Негры в Ницце окончательно взбунтовались. Они перерезали две тысячи восемьсот шестнадцать законных мужей и, с согласия вдов, въехали в виллы, объявив себя при этом полноправными гражданами. В Лилле на почве недоедания началась эпидемия тифа. Третья армия, расположенная на границах бывшей Испании и соскучившаяся без очередных грабежей, требовала открытия военных действий против Марокко, который еще в 1931 году стал независимым государством. Наконец, в Париже началось явное брожение среди безработных. Митинг, на котором выступил Виктор Брандево, был первым открытым выступлением бунтовщиков. Приличные парижане растерялись — они привыкли рассматривать безработных, как нечистоплотных, но безвредных животных.

Енс Боот, наоборот, был вполне удовлетворен событиями. К этому времени директор «Треста Д. Е.» жил весьма благообразно, помещаясь в роскошном особняке на бульваре Сен-Жермен под именем Жана де Боливье, крупного чиновника военного министерства. Господин Феликс Брандево не решал ни одного существенного вопроса, не посоветовавшись предварительно с господином Жаном де Боливье.

Двенадцатого апреля 1939 года, прочитав в вечерней газете о первом митинге безработных, закончившемся неудачной демонстрацией, Енс Боот сладко потянулся и зевнул. Этот жест хорошо знаком людям, которые чувствуют приближение конца тяжелой и длительной работы. Директор «Треста Д. Е.» имел

полное право зевать. Он собирался зевнуть вторично, но ему помешал лакей, доложивший, что какой-то посетитель хочет обязательно видеть господина Жана де Боливье.

На визитной карточке значилось:

ПЬЕР КАМЭН  
*Председатель Синдиката  
безработных Франции*

В кабинет вошел высокий брюнет. Не снимая кепки, он сказал:

— Здравствуйте, Енс Боот!

Ни одно мельчайшее движение не выдало удивления господина Жана де Боливье, столь неожиданно разоблаченного странным пришельцем. Енс Боот стал внимательно вглядываться в лицо Пьера Камэна. Енс Боот умел запоминать людей. Столь же просто, даже дружески ответил он гостю:

— Ах, вот кто вы... Мы встречались, кажется, в Томске... Господин Виктор Брандево? Очень приятно. У столь гениального дяди, вероятно, не менее гениальный племянник.

— Бросьте кривляться, — сказал раздраженно Виктор Брандево. — Я пришел к вам по делу. Я знаю, кто вы и чем вы занимаетесь. Вы действительно великий человек. Но я хочу, чтобы вы взялись за более достойное дело. Давайте-ка восстановим Европу.

— А собственно говоря, зачем?

— «Зачем»?..

Этот наивный вопрос столь удивил Виктора Брандево, что он серьезно задумался, прежде чем ответить.

— Ну, хотя бы за тем, чтобы людям было где жить. Это все же вполне достойная часть света. Да, да, я знаю, что вы мне ответите! Конечно, в Европе было не мало пакости. Но теперь-то мы сделаем все иначе. Мы создадим великое рабочее государство. Мы отстроим заново города. Мы протянем руку братской Сибири. Париж — старый форт революции. Свергнув власть буржуазии, мы сможем объединить вокруг себя людей, живущих в пустыне...

— Простите, — вежливо перебил молодого энтузиаста почтенный директор «Треста Д. Е.», — по последним данным, если

в пустыне и остались люди, то число их не превышает сотен, а может быть, и десятков душ.

— Будут новые! Честное, здоровое, трудовое поколение!

— Милый юноша, разве вы в Томске ничего не слышали о моем патентованном средстве «Аффо»?

— Все равно, мы привезем людей из других частей света. Главное, установить идеальный строй, царство справедливости. Остальное приложится.

Енс Боот предложил своему гостю египетскую сигарету.

— Прошу... Я очень рад, что вы пришли ко мне. Приятно поговорить на досуге с последним мечтателем Европы. Франция, однако, должна погибнуть,— это неподметенный сор вчерашней пирушки. Раньше всего вентиляция! Что касается колонизации, то этим вопросом, вероятно, займется Америка.

— Но чем же ваша Америка лучше Европы?

— Этого я не знаю. Скажу вам больше: меня это никак не интересует. Что «лучше» и что «хуже»,— черт побери? Вас, вероятно, усердно обрабатывали в Саламанке и в Томске. Двойное воспитание. Что касается меня, то от щипков отца Франциска я спешно перебрался в цирк братьев Медрано, а находясь в России, любил драться с белыми, но регулярно засыпал на лекциях об историческом материализме. «Каждому свое»,— говорили покойные немцы. Может быть, Европа и лучше Америки — вам виднее. Я знаю одно: мертвого Наполеона зарывают в яму, чтоб он не пах, а живого котенка кормят теплым молоком. Хороните Европу по какому угодно разряду, но хороните ее скорее, хотя бы из чувства уважения к моему чувствительному носу.

— Енс Боот, вы величайший циник, но я не верю вашим словам. Почему вы уничтожили Европу, оставив в покое четыре столь же гнусных материка?

— Силы человека, как известно, ограничены. Вы можете четыре раза ударить меня, но за Европу я жду сердечной признательности.

— Почему вы выбрали Европу? Я читал политические речи мистера Джебса, дневник мистера Хардайля и евгенические трактаты мистера Твайвта, разве они не оскорбляют вашего обоняния?

Услышав этот решительный вопрос, Енс Боот покраснел, как девушка, и, потупив глаза, тихо промолвил:

— Потому что я люблю Европу, финикиянку, подлинную мадемуазель Люси Фламенго.

Здесь в беседе произошла длительная пауза. Виктор Брандево, ввиду присущей ему деликатности, принялся рассматривать альбом с видами Венеции. Енс Боот предавался различным воспоминаниям.

На улице, густо залитой светом, полуночники пели модную песенку:

Ты последняя в Европе  
Курочка, цып-цып!

В трехстах километрах от кабинета господина Жана де Боливье страшная пустыня наполнилась воем ветра и ночной мглой.

Наконец Виктор Брандево решил прервать молчание:

— Простите, если я был нескромен. Я понимаю ваши чувства. Все это так. Но зачем уничтожать?.. Надо переделать. Есть число. Есть разум. Есть, наконец, справедливость...

— Я не умею думать. Я весьма слаб в арифметике. Я считаю, что справедливость пахнет мелочной лавкой. Не удивляйтесь: директор «Треста Д. Е.» — дикий зверь, бык в манжетах. Только одно ценю я — свободу.

Бывший брат Ипполит из монастыря святого Игнатия, бывший воспитанник томской Академии товарищ Виктор Брандево вскочил с места и возмущенно начал кричать:

— Обман! Тысячелетний обман! Что такое свобода? Фикция! Но Енс Боот строго оборвал его:

— Молодой человек, о свободе не спорят. Я вам уже высказал мой основной принцип: на первом месте вентиляция! Вопрос о свободе — это вопрос о чистом воздухе. Я сплю летом и зимой с открытым окном. А за сим до свиданья.

Господин Жан де Боливье нажал кнопку звонка, и лысый лакей, подобный древнему патрицию, проводил гражданина Пьера Камэна до двери.

— Он садист! Сумасшедший! Выродок озверевшей буржуазии! — шептал у подъезда Виктор Брандево. — Но мы еще поборемся. Блузники Парижа спасут Европу.

Что касается Енса Боота, то, как только назойливый гость покинул его, он немедленно подошел к телефону и, несмотря на поздний час, вызвал господина Феликса Брандево.

Премьер был весьма встревожен утренней демонстрацией. Господин Жан де Боливье вовремя позвонил ему. Разговор длился двадцать минут.

— Никаких уступок,— говорил господин Жан де Боливье.— В наших руках армия. Настроение превосходное. Я ручаюсь за результаты. Лучший способ обороны — нападение. Необходимо сейчас же объявить всех безработных лишенными казенного пособия. Митинги и уличные выступления ликвидировать газами. Через две недели из трех миллионов вряд ли останется половина. Проявите мужество! Будьте истинным Наполеоном!

Господин Жан де Боливье знал, чем можно растрогать сердце премьера: после «Наполеона» вопрос был решен.

На следующее утро были расклеены афиши, извещавшие о важном постановлении правительства. Полицейские быстро ликвидировали беспорядки в квартале Монруж. День прошел спокойно.

Под вечер в казармы Венсен, где были размещены три полка, сформированные главным образом из безработных, пробрался неизвестный солдат, худой и черный.

— Теперь или никогда,— крикнул во дворе казармы Виктор Брандево.

Час спустя в Париже шел артиллерийский бой. Енс Бот замшей протирал стекла полевого бинокля.

Солдаты, находившиеся в Париже, перешли на сторону безработных. Ночью правительство улетело в Орлеан.

Революционный совет объявил себя центром «Рабочего синдиката восстановления Европы». Было послано радио: «Всем, всем».

«Объединяйтесь, спешите на помощь рабочему Парижу! Да здравствует Всеевропейская Коммуна».

На фасаде бывшей палаты депутатов значилось:

**S O U S**

*«Синдикат рабочих  
по реконструкции Европы»*

29

## черный коридор

Господин Феликс Брандево, благополучно прибыв в Орлеан, выпил, чтобы подкрепиться, стакан пикона и стал организовывать армию для подавления мятежа. Все войска, томившиеся на границах пустыни, были срочно вытребованы внутрь

страны. Правительство приглашало «разумных, трудолюбивых поселян Франции» усмирить «городских тунеядцев». К концу апреля вся Франция была охвачена гражданской войной. Это были отнюдь не кустарные бои былых времен, но хитроумнейшие операции двух грандиозных армий, вооруженных всеми достижениями семи секретных отделов военного министерства.

2-я и 5-я армии, состоящие главным образом из рабочих, целиком перешли на сторону «SORE». Им удалось занять север Франции от Парижа до границ бывшей Голландии. Наоборот, центр и юг находились в руках правительства господина Феликса Брандево. Впрочем, 28 апреля в Лионе произошел военный бунт, и город присоединился к «SORE». Подошедшие отряды танков уничтожили его. 1 мая при подавлении беспорядков Марсель был удушен с помощью новых газов. Восемь тысяч шестьсот самолетов, из которых две тысячи сто достались «SORE», скидывали бомбы на различные города. В мае война на некоторых фронтах приняла позиционный характер. Иль-де-Франс, Шампань, Бургундия были изрыты траншеями и вскоре обращены в пустыню. 24 мая войска «SORE» произвели прорыв и дошли до Бретани.

Война носила исключительно жестокий характер. Крестьяне безжалостно истребляли всех городских жителей. Врываясь в город, они методически, планомерно удушали газами квартал за кварталом. Рабочие ненавидели жадных тупых поселян. Занимая ферму, они сжигали постройки, срубали плодовые деревья и убивали все, что можно было убить, вплоть до кошек и скворцов. Дело быстро шло к развязке.

Последнее американское судно 14 июля оставило берега Европы. Енс Боот сложил в дорожный саквояж свои пожитки, состоявшие, кроме смены белья, из пригласительного билета в «Ти стар», фотографии незабвенной пижамы и карты Европы. Прекрасный аппарат системы «Вайл» был всегда к его услугам.

К началу июля армия «SORE» была окончательно уничтожена за исключением гарнизона, защищавшего Париж. Но и от победоносных армий господина Феликса Брандево остались лишь особые счастливицы и штабные генералы, общая численность которых едва достигала ста тысяч. Что касается так называемого «мирного населения», то оно к этому времени прекратило свое существование. Изредка среди развалин можно



было заметить ползающие или прыгающие тени. Это были спасшие свою жизнь, но потерявшие, увы, рассудок.

Границ больше не было. Великая европейская пустыня пожрала Францию. Дикие звери, ветер и тьма ворвались туда, где еще недавно сверкали луны фонарей и звенела музыка чоя.

Но среди пустыни оставался еще Париж. Он был городом, живым, настоящим городом, европейской столицей. В ста километрах от него стояла армия господина Феликса Брандево. Конечно, новый Наполеон мог бы в два-три часа разрушить Париж, но это его не устраивало. Для того чтобы жить, человеку, как известно, нужна квартира. Квартиры находятся в домах, единственные жилые дома оставались в Париже. Поэтому господин Феликс Брандево решил убить льва, не повредив его великолепной шкуры.

Второго апреля 1939 года, в 10 часов утра, радиостанция Эйфелевой башни приняла следующее послание:

*Товарищу Виктору Брандево,  
Председателю совета «SORE»*

Раскаиваясь в контрреволюционных заблуждениях, просим великодушный пролетариат Парижа простить нас и принять в свою среду. Надеемся трудом загладить свою вину, работая совместно над великим делом восстановления Европы.

*Совет Армии.*

Париж ликовал. Все улицы были убраны красными флагами. Со слезами умиления встречали парижане своих вчерашних врагов.

Отличаясь осторожностью, господин Феликс Брандево предпочел вступить в Париж не на белом коне, а пешком, в простой солдатской шинели, сбрив к тому же свои великолепные усы. Вместо Наполеона в толпе солдат имелся скромный солдатик, низкорослый и тощий. Какая-то девушка, сжалившись, подарила ему красный тюльпан. Господин Феликс Брандево, растроганный, понюхал этот хотя и прекрасный, но, увы, лишенный запаха цветок и от избытка чувств запел:

Это есть наш последний...

Всю ночь Париж, живой, светлый, людный Париж среди подступающей вплотную к его старым рвам великой пустыни,

веселился, пел, бредил грядущим — вновь вспаханними полями и отстроеными заводами. Парижане не хотели спать. Сон пугал их. Сон походил на смерть и на пустыню.

В бывшем кабинете премьера сидел председатель совета «SORE» и чертил схему восстановления Европы. Высокий и прямой, клонился он над цифрами, как бы молясь своей богине — справедливости. Около 8 часов утра, не выдержав груза многих бессонных ночей, Виктор Брандево заснул, сидя в кресле, продолжая и во сне блаженно улыбаться.

В 8 часов 15 минут утра наиболее преданные части господина Феликса Брандево приступили к очищению Парижа от зловредных элементов. У них был план города с отчеркнутыми местами, списки главарей и бесшумные револьверы, выпускавшие смертельные газы. К 10 часам утра в руках законного правительства находился весь центр Парижа, а также кварталы Пасси, Отейль и Елисейских полей.

Виктор Брандево проснулся от крика привратника:

— Мы в ловушке!..

Быстро достав из дорожного сундука сутану аббата, Виктор Брандево сложил набожно руки, залепетал «Аве Мария» и спокойно прошел мимо постов столь предательски вошедшей в город армии. Час спустя он уже отдавал приказы в районном совете квартала Гобелен:

— Орудиями — Елисейские поля. Летчиков с бомбами. Обходное движение на Монпарнас. Газы! Живей!

Бедные парижане, не спавшие всю ночь, думали отдохнуть утром. Но их надежды не оправдались. С криками неслись они по улицам. С неба падала смерть. Выход был один: под землю, в метро!

Гремели орудия. Кружились хищные самолеты. Рушились дома. Но весь Париж был уже под землей. За мирными жителями туда кинулись солдаты господина Феликса Брандево, спасаясь от обстрела. Летчики, однако, продолжали уничтожать защитников «SORE», и революционеры вскоре тоже скрылись в подземные норы.

На тесных платформах бились тысячи людей.

Здесь больше не было никаких усовершенствований семи секретных отделов военного министерства. Как древние пращурь в девственных лесах, как дикари в великой пустыне, люди здесь душили друг друга — врагов, своих, женщин, стариков, редких детей.

Электрическая станция уже давно не работала. Под землей было абсолютно темно. Люди мчались по длинным черным коридорам, по влажным трубам, над которыми текла Сена. Шли тихие бои в темноте. Единственными орудиями здесь являлись ногти и зубы.

Летчики, летавшие над Парижем, постепенно уничтожали друг друга. Внизу, среди камней, валялись обломки разбившихся аппаратов. Только один истребитель системы «Вайл» безмятежно порхал над обезумевшим городом. В нем находился Енс Боот.

Сжимая полевой бинокль, директор «Треста Д. Е.» глядел на агонию прекрасного Парижа. Убедившись в том, что последние люди скрылись под землю и что город пуст, Енс Боот снизился, вытащил из кабины аппарата костюм водолаза и поспешно надел его на себя. Он внимательно оглядел реку, под который проходили туннели метро.

А внизу, под землей, люди все еще давили, душили и грызли друг друга.

Виктор Брандево бежал по длинному коридору. Было невыносимо жарко. Густой, мыльный воздух давил его голову. Виктор Брандево вспомнил последнюю ночь Берлина, горячее нутро стального чудовища. И вновь, как тогда, его угрюмое сердце, громко ведя счет секунд, казалось ему великолепным хронометром. Не думая о близкой смерти, Виктор Брандево всем существом ощущал время. Вся так называемая «история», от предсмертных афоризмов фараона Ферункануна и до страшного конца «SORE», мнилась ему коротким днем. Подлинное время начиналось там, где стыл огромный желток солнца, где среди кактусов, двуутробок и пауков копошились карлики, поросшие рыжей колочей шерстью. У них были тела дождевых червей. Они пили вязкую кровь и кричали «чуй-чуй!» Теперь Виктор Брандево знал, кто эти существа. И сердце-хронометр четко билось, ожидая прихода ужасных внуков. Вдруг чья-то волосатая, горячая рука стиснула горло Виктора Брандево. Он почувствовал на щеке мокрое дыхание.

— Это внук, — прошептал он и нажал кнопку карманного фонарика. Брызнул короткий, жиденький свет. Зубы, острые, как резцы крысы, вцепились в шею Виктора Брандево.

Но перед ним был не внук, а всего лишь его дядя, гениальный премьер Великой Франции господин Феликс Брандево, который, потеряв рассудок, визжал:

— Чуй-чуй!

Прокусив шею Виктора Брандево, он пытался высосать из нее сгустки тяжелой крови.

Спасение пришло неожиданно, если происшедшее может быть названо спасением: обоих обняла прохладная, стремительная вода.

В черных, длинных коридорах больше не было ни защитников господина Феликса Брандево, ни сторонников «SORE», в них текла успокоенная вода небольшой реки Сены, решившая исход этой подземной борьбы за судьбу Европы.

Наверху, на набережной, возле развалин Нотр-Дам Енс Боот переоделся. В 4 часа 40 минут пополудни, оставив мертвой Европе свой костюм водолаза, а также бурав отменного качества, он на истребителе системы «Вайл» отбыл в чужую и далекую Америку, где никогда не было ни Люси, ни любви, ни черных длинных коридоров.

30

## ЭМИГРАЦИЯ, ДИВИДЕНДЫ, НОСТАЛЬГИЯ

На страстной неделе 1940 года американские мормоны во главе с мистером Твайвтом молились о грешной и наказанной богом Европе.

Весной 1940 года аисты не улетели из Египта.

Во всех других отношениях весна 1940 года в четырех уцелевших частях света ничем не отличалась от прежних весен. Это была нормальная весна, в Америке несколько дождливая.

Переплывшие океан европейцы были подвергнуты тщательной дезинфекции. Весна застала их в карантине. Но они не роптали. Они целовали землю, пахнущую углем и нефтью, шершавую кожу Америки. Они наслаждались кровавым духом Чикаго, копотью Питтсбурга, скрежетом машин, черным потом, криками янки и своей рабской жизнью на нефтяных приисках Огио или на заводах мистера Джебса. Они умиленно жевали кукурузу, ибо президент США постановил ограничить гражданские права европейских эмигрантов и, в частности,

377

кормить их не хлебом, но месивом из маиса, достаточно питательным для существ низшей породы. Все же кукуруза была лучше газов, центрифуг и чикиты, а штреки шахт уютнее черных коридоров бывшей столицы Франции. Эмигранты ели месиво и пели благодарственный псалом, состоявший только из одного слова:

«Мерси! мерси! м-е-р-р-с-и!..»

Некоторые европейцы переплыли Средиземное море. Арабы, отличавшиеся издавна гостеприимством, предоставили им свои дома и потчевали их душистым кофе, розовым шербетом. Европейцы крали серебряные ложечки, заражали арабских женщин дурными болезнями и вскоре потребовали, чтобы туземцы выбрали их в специальный парламент, а также носили на плечах. Тогда арабы, помолившись аллаху, выгнали европейцев из своих домов. Беженцы ушли в пустыню. Они обосновались в некоторых оазисах. Песок жег ноздри. От солнца болели глаза. Не было ни лимонадов, ни предохранительных очков. Но европейцы целовали раскаленный песок — неистовый лик бронзовой Африки. После орудий господина Феликса Брандево рык льва им казался музыкой чоя. Никакой самум не мог сравниться с порцией удушливых газов. Вспоминая Европу, европейцы благословляли свое новое отечество.

В горах Урала, там, где покоится пята ленивицы, стоял по-прежнему столб с надписью:

*Е В Р О П А*

*А З И Я*

К этому столбу прибегали уцелевшие европейцы и суеверно обнимали его как некий талисман. Позади была необъятная пустыня, впереди благословенное царство — Россия, Азия, мир.

Беженцев регистрировал отдел наркомтруда и посылал их на работу. Россия переживала промышленный расцвет и нуждалась в рабочих руках: европейцы работали главным образом близ Байкала, в центре тяжелой индустрии. В одном месте, а именно в Братском, было зарегистрировано свыше двухсот тысяч эмигрантов, занятых в металлургической промышленности. Некоторые доходили до Сахалина и работали в угольных шахтах. В Сибири было всего вдоволь: снега, золота, хлеба и справедливости. Беженцы не вспоминали ни о крымских теплых ночах, ни о вишенке украинских хат. Беженцы

работали, изучали начатки марксизма и, не смея благословлять упраздненного бога, славили всемирный пролетариат. Они принесли в Сибирь новую поговорку: «Кто пел «Интернационал», тот и до столба доскакал». Они были счастливы.

Даже в далекую Австралию прибыли некоторые европейцы и тотчас с блаженной улыбкой начали пасти курдючных баранов. Кажется, это были профессора Сорбонны.

Единственный европеец, испытавший страшные приступы ностальгии, находился на тридцать втором этаже небольшого небоскреба. Это был директор «Треста Д. Е.», осуществивший наконец свой грандиозный план.

Прилетев 4 июня в нью-йоркское бюро, Энс Боот тотчас вынул дорожную машинку и отстучал на ней письма мистерам Джебсу, Хардайлю и Твайвту.

*«Трест Д. Е.». Нью-Йорк, 4 июля 1940 года. № 16 814.*

### Милостивый государь!

Ввиду выполнения заданий «Треста Д. Е.», настоящим Вы приглашаетесь на ликвидационное собрание правления, которое состоится 11 июля с. г. в помещении треста.

С совершенным почтением

директор *Энс Боот*,

(Энс Боот совершенно правильно указал на выполнение задач треста, поскольку через реку Квебек было построено уже четырнадцать мостов, и дальнейшее существование «Инженерного треста Детройта» являлось бессмыслицей.)

На собрании члены правления вновь обсуждали различные марки сигар. Впрочем, деловитый мистер Твайвт сказал мимоходом:

— Следует упомянуть о тресте. Мы не станем делить дивидендов: чувство удовлетворенного правосудия не измеряется никакими суммами. Нас поблагодарит потомство, разумно выведенное согласно моим евгеническим трактатам.

— Вы вполне правы, — поддержал его мистер Джебс. — Бритва должна стоить четыре доллара. Продавать ее за двадцать центов безнравственно! Нас поблагодарит человечество.

Что касается мистера Хардайля, то он победоносно улыбался. Его улыбка была вызвана тремя обстоятельствами:

1. Из сына короля нефти он стал наконец королем нефти;
2. Опубликовав свой «Дневник», он достиг мировой славы;
3. Женившись вторично, он с успехом совершил все процедуры.

Победоносно улыбаясь, мистер Хардайль сказал:

— Работа «Треста» позволила мне совершить открытие среднеевропейской пустыни. Я вполне удовлетворен моим вкладом. Меня благодарят законные мужья всех времен и всех народов. Что касается моей второй супруги, миссис Мери, то она уж и теперь благодарит меня.

Енс Боот с любезной улыбкой выслушивал соображения уважаемых американцев: он глядел при этом в окно — на востоке ждала его прекрасная финикиянка.

— Мы должны поблагодарить нашего дорогого директора, — предложил мистер Твайвт. — Я дарю ему миллион долларов, роскошную виллу на берегу Тихого океана и банку самого лучшего филе «Твайвт».

— Я дарю ему дом в Нью-Йорке, парк в Калифорнии, салон-поезд, пять самолетов, двадцать автомобилей и лучшую на свете бритву, — откликнулся мистер Джебс.

Оригинальней всего оказался подарок мистера Хардайля.

— Позавчера, уплатив государственные долги Венесуэлы, я приобрел эту небольшую, но симпатичную страну. Я дарю ее вам, любезный мистер Боот. Там великолепная нефть и комфортабельные женщины. Кроме того, вы сможете выпустить почтовые марки со своим портретом.

— Простите, я столь растроган вашими словами, — ответил Енс Боот, — что мне необходимо выйти на свежий воздух. Ах, у меня чересчур впечатлительная натура!..

Сказав это, директор ликвидированного «Треста Д. Е.» поднялся в лифте на крышу, где ждал его прекрасный самолет системы «Вайл».

Нет, ему не были нужны ни Венесуэла с почтовыми марками, ни салон-поезд, ни доллары. Он не мог жить в разлуке. Верный любовник день и ночь взирал на восток.

Двенадцать лет оказались достаточно продолжительным сроком, чтобы уничтожить часть света, в которой жили свыше трехсот пятидесяти миллионов человек. Но они не могли истребить любовь в сердце Енса Боота. Если б не боязнь уронить наш труд в глазах некоторых почтенных ученых, мы бы за-

черкнули подзаголовок «История гибели Европы», заменив его другим, более соответствующим истинной сути событий, а именно: «История неистребимой любви».

«Там утро, — думал Энс Боот, садясь в кабину самолета. — Она протирает глаза. Она меня ждет. Над ее лбом еще бьется рыжая челка зари».

Действительно, далеко на востоке Европа нежилась под утренним солнцем, окруженная морями: южными, полными спрутов и причудливых раковин, и северными, светящимися серебром сельдей.

Среди сумерек, взлетев над дымным Нью-Йорком, Энс Боот кричал:

— К тебе!.. Скорей к тебе!.. Я твой, финикиянка!..

Три миллионера напрасно ожидали его возвращения.

31

## зевс и европа

Энс Боот больше не глядел ни на приборы, ни на карту. Как дикий зверь, он нюхал воздух, и темное чутье вело теперь усовершенствованный истребитель системы «Вайл». Наконец он снизился; это было где-то в самом сердце Европы.

Стояли ясные дни ранней осени. Гонимые легким ветром, с пригорков поднимались рыжие пряди: клен, ясень и ольха убирались перед смертью. Энс Боот срезал себе палку и побрел по золотому бездорожью. Он шел долго. Он видел все. Красная горячая земля раскрывала свои губы: она хотела пить. Падали косые стремительные дожди. По ночам все небо горело, и тогда звонкие молнии стекали на леса. Краснела захватывшая пол-Европы бузина, краснела от горя и от страсти. Днем он слушал клекот курганщика, а ночью — причитания сычей. Цвел густо-желтый зверобой, проворные жужелицы скрипели крылышками. Европа была жива, и Энс Боот, видя это, испытывал невыразимое счастье.

Он узнал своих давних знакомых. Навстречу ему кидались одичавшие свиньи, стройные и легкие, как вепри. На ветвях яхонтами горели безумные глаза древних сумасбродок —



кошек. Курицы легко взлетали ввысь и в прозрачной синеве беззаботно кудахтали. Самое древнее насекомое Европы — таракан вышел из чадных кухонь на волю, среди коры дуба он гордо шевелил своими великолепными усищами.

Свободное и темное зверье удивленно взидало на странного двуногого собрата. Но ни один зверь не причинил вреда Енсу. Как-то, среди развалин готического здания, служившего ранее судилищем, он увидел волчицу с веселым выводком волчат. Заботливо взглянула волчица на одинокого человека и с чисто материнской нежностью сухим горячим языком лизнула его плохо пахнущие щеки.

Енс Боот шел долго, дни, недели, может быть, месяцы. Лицо его обросло величественной бородой. Он скинул свой дорожный костюм, изодранный кустарником, и остался в длинной белой рубашке, весьма напоминавшей древнюю тогу. Высокий посох из ствола древнего ясеня поддерживал его. Когда он шел, ветки расступались и нежно шелестели своими рыжими листьями. Енс Боот знал, что это говорит с ним Европа. Как могла прекрасная финикийка не узнать в одержимом запретной страстью старике своего первого и единственного любовника — великого Зевса?

Так настал вечер, когда силы наконец изменили Енсу Бооту. Он находился среди развалин какого-то города. Перед порталом бывшей биржи сидел большой медведь и, глядя вдаль лазоревыми бездумными глазами, тщательно облизывал свои мозолистые, трудовые лапы. Шатаясь, Енс подошел к нему и протянул жалкую, уже тронутую утренниками травку. Медведь благосклонно принял этот странный дар и положил травинку рядом с собой на замшелую плиту. Тогда Енс Боот понял, что для него наступает торжественный час.

Перед ним лежала поломанная, заржавленная вывеска. Дрожа от волнения, Енс Боот прочел:

## ЕВРОПА

Вероятно, так называлось некогда какое-нибудь страховое общество или второразрядная гостиница. Но Енс Боот знал одно: это имя его возлюбленной. Он бежал и кричал:

— Европа! Европа!

Над ним был дикий рыжий закат. Вокруг него была великая пустыня,

Последний человек окликал гордую финикийку по имени. Енс Боот метался, полный доверху страстью и смертью, метался, как бык, метался, как бог. Наконец он упал. Теплые губы жадно прижались к земле, пахшей кислицей и полынью. Последний поцелуй! И Европа, вспомнив неистовый бег, потную волосатую шею похитившего ее быка, узнала своего возлюбленного. Она ответила на поцелуй поцелуем.

А час спустя белый лунь уже кружился над мертвым Енсом Боотом, и внезапно налетевший ветер трепал седую бороду бога.

Настала ночь. Омываемая морями, южными и северными, финикийская царевна безмятежно дремала.

---

Так умер последний человек Европы — Енс Боот.

Мормоны всего мира, помолитесь о грешной душе великого авантюриста! Девушки уцелевших четырех частей света, помяните в своих нежных мечтах неукротимого влюбленного!

*Берлин, февраль — март 1923 г.*



тринадцать  
трубок





На ней значилось: «Трубка системы доктора Петерсона». Конечно, она была сделана в Германии людьми, придумавшими кофе без кофеина и вино без алкоголя. По хитрому замыслу доктора Петерсона, табачный дым, проходя сквозь различные сложные спирали, должен был лишаться всех присущих ему свойств. Но, показывая трубку чопорному покупателю, приказчик магазина «Шик паризьен» вынул из нее внутренности и забыл их вложить назад. Это объяснялось, вероятно, тем, что приказчик был молод и, оценив достоинства молодой актрисы, покупавшей жокейскую кепку, не был склонен оценить труды доктора Петерсона.

Впрочем, Виссарион Александрович Доминантов, крупный сановник и гордость российской дипломатии, купивший трубку доктора Петерсона, оказался не менее рассеянным. Он забыл слова приказчика, установившего непосредственную связь между немецким изобретением и долговечностью людей, и пропaji не заметил. Трубку он решил приобрести после недавнего визита к первому советнику великобританского посольства сэру Гарольду Джемперу. Виссариону Александровичу казалось, что в тесном кругу друзей и приближенных трубка придаст его лицу особую дипломатичность; кроме того, в одном образе — «с трубкой в зубах» — было нечто английское, а Виссарион Александрович почитал все, шедшее с дальнего острова, от политики натравливания континентальных держав одной на другую до горького мармелада из апельсиновых корок. Трубку доктора Петерсона он приобрел, пренебрегая ее происхождением и внутренней организацией, исключительно из-за ее формы, напоминавшей подводную лодку. Точно такую же трубку курил и сэр Гарольд Джемпер.

К трубке Виссарион Александрович привык не сразу. Между ней и папиросами, специально изготовляемыми фабрикой Бостанжогло из легчайших сортов дубека, лежали вершины искусства, отделявшие жизнь дипломата от жизни простого смертного. Трубка часто гасла, горчила во рту и требовала тщательного ухода. Как все, принадлежавшее дипломату, как цвет лица его любовницы — колоратурного сопрано Кулишовой, как

хвост его рысака Джемса, как маленькая пуговка его ночной пижамы,— трубка не могла просто существовать: она должна была представлять благоустройство и мощь Российской империи. Для этого Виссарион Александрович во время докладов младшего секретаря Невашеина часто скреб трубку серебряным напильником, покрывал лаком и терпеливо натирал замшей. Трубка кокетливо блестела чернью дерева и золотом кольца.

Мало-помалу Виссарион Александрович пристрастился к трубке. Он курил ее в просторном кабинете, работая над ворохом донесений, газетных вырезок, шифрованных депеш. Курил и в маленьком будуаре Кулишовой, ожидая, пока певица скинет громоздкое концертное платье и порадует суровое сердце сановника невинной детской рубашонкой с розовыми лентами. Курил, наконец, засыпая, оглядывая прошедший день — успехи и неудачи, престиж империи и флирты Кулишовой, богатство, славу и подмеченную в зеркале обильную седину. Когда день был плохой, побеждала враждебная партия фон Штейна, ставленники Виссариона Александровича в Токио или в Белграде делали промахи, управляющий его имениями сообщал о низких ценах на хлеб, Кулишова получала слишком частые подношения от придворного вьюна Чермнова,— сановник раздраженно грыз трубку, и на нежном роговом мундштуке чуть намечался след крупного зуба.

Так настало первое потрясение в жизни молоденькой и фешенебельной трубки. С утра Виссарион Александрович был раздражен плохо проведенной ночью и скверным вкусом во рту. Не дотронувшись до завтрака, морщась брезгливо, он выпил стакан боржома. Невашеин принес несколько телеграмм и газеты. Развернув «Новое время», Виссарион Александрович замер. Его партия была против соглашения с Румынией. Когда происками фон Штейна договор все же был заключен, он надеялся на мгновенное поражение румынской армии, ибо только в этом видел залог дальнейшего укрепления своей дипломатической карьеры. И вот газета сообщила о совместной победе русских и румын. Сановник был не только расстроен, но и возмущен. Годами он жил мыслью о том, что его личные успехи и благо России — одно и то же. Если бы сейчас разбили и румын и русских — это означало бы конец фон Штейна, его, Доминантова, торжество, следовательно, счастье горячо любимой империи. Так думал сановник. Так думая, он с отвраще-

нием пообедал: бушэ а-ля рэн пахли жестью, а груша пуаримпериаль напоминала резину. После обеда он прочел письмо управляющего о том, что урожай всюду плох, что в имении Разлучево сторели все службы, а в Ивернях, где был лучший конский завод, начался сап. Совершенно расстроенный, Виссарион Александрович решил поехать в неурочный час к Кулишовой, послушать колоратурное сопрано и поглядеть на детскую рубашонку. Но в будуаре он нашел полный беспорядок и, заглянув в спальню, увидел отнюдь не детскую рубашу Чермнова. Приехав домой, сановник прилег и закурил трубку; болели виски; все ему было противно. Он ясно сознавал, что гибнет Россия, гибнет любовь, гибнет он сам, Виссарион Александрович Доминантов, седой, старый, никому не нужный. Хотелось плакать, но слез не было, и, хмыкнув, он только почувствовал во рту горький, отвратительный привкус.

«Какая невкусная трубка», — подумал он и позвонил.

Вошел Невашеин, подал вечернюю почту и, почтительно осклабясь, поздравил сановника с крупной победой на фронте.

— Идиот! — отнюдь не дипломатично крикнул Виссарион Александрович, зная, что перед ним не сэр Гарольд Джемпер, а простой чиновник, и, немного отойдя, добавил:

— Возьмите эту трубку. Я ее больше не буду курить. Подношение по случаю победы. Вы можете быть довольны — это прекрасная трубка системы доктора Петерсона.

Вещь долговечнее слова. На следующее утро Николай Иванович Невашеин уже не вспоминал нанесенной ему обиды и наслаждался неожиданным подарком. Правда, он никогда до этого не курил трубки, удовлетворяясь «Сенаторскими» папиросами (высший сорт «А» — 10 штук, 6 копеек), и, закурив впервые, испытал легкий приступ тошноты. Но все, что делал Виссарион Александрович, было для Невашеина возвышенным и вожделенным. По вечерам, подобрав в кабинете сановника старый номер английской газеты «Таймс», Невашеин шел в пивную Трехгорного завода, спрашивал бутылку портера и быстро, неуверенно поглощал моченый горох — он подсмотрел раз, как сановник, в павильоне на бегах, заказал себе портеру, но сильно сомневался в том, чтобы Доминантов стал есть низменный горох, к тому же моченый, а пить пиво, не закусывая, секретарь не мог. Затем он гордо вынимал из портфеля газету и долго ее читал, хотя по-английски понимал мало — почти исключительно названия городов и собственные имена. Иногда



к нему подсаживались учитель гимназии Виренко и частный поверенный Блюм. Тогда Невашеин снисходительно цедил сквозь зубы:

— Интересы империи... достоинство... великодержавность...

Получив трубку, он сразу понял, что это много убедительней и английской газеты и портера. Легкий след зуба сановника на роговом мундштуке умилил его почти до слез, и когда мелкий секретарский зубок попал во впадину, он увидел себя, Невашеина, богатым и всесильным — послом в Сиаме или в Абиссинии. Зная по-гимназически иностранные языки, Невашеин понимал, что быть послом в Европе он никак не может. Но в Сиаме? Ведь сиамского языка уж никто не знает!

Привыкнув к трубке, он курил ее часто: у Доминантова, разбирая почту или отдыхая после приема посетителей; в гостях у начальника канцелярии Штукина, к которому ходил исключительно ради его жены, Елены Игнатьевны; вечером у себя, на пролежанном турецком диване, гадая, пойти ли в пивную, где скверный портер, но зато дипломатическая слава, или послать старого слугу Афанасия в лавку за четвертью милой белоголовки и распить ее безо всяких стеснений, вздыхая о титуле посла в Сиаме и о воздушном бюсте Елены Прекрасной, то есть жены Штукина.

Невашеин заботился о своей внешности, мыл голову хинной водой от преждевременного полысения, обрамлял свой кадык двумя блистающими углами высочайших воротничков фасона «Лорд Грей» по восемьдесят пять копеек штука и даже припудривал веснушчатые щеки. Во-первых, он твердо решил пойти по дипломатической части и, в ожидании высокой сиамской карьеры, занять место старшего секретаря Блохина, который, при минусе несоответствующей должности фамилии, обладал двумя плюсами: знанием языков и галантной внешностью, особым умением по-секретарски, смиренно и вместе с тем независимо, сгибаться в поясице. Во-вторых, Невашеин, пудря веснушки, твердо надеялся стать Парисом, то есть, не вызывая войны, которая и без того имелась в изобилии повсюду, эмпирически познать степень и природу воздушности Елены, супруги Штукина. Поэтому и трубку Невашеин содержал в должном виде, счищая перочинным ножом нагар, вытирая дерево старым носком, оставшимся после давней стирки во вдовстве и служившим для многих посторонних целей. Трубка обкурилась, загорела, утратив эlegantность, приобрела солидность,

добротность. След зуба уже явственно обозначился. Когда сановник бранил секретаря и хвалил Блохина, когда вследствие повышения цен приходилось отказываться от фарса «Муж под душ» или от нового галстука с изумрудной искрой, когда Елена Игнатьевна, кокетничая с подпоручиком Ершовым, смеялась над кадыком и веснушками Николая Ивановича — мелкий острый зубок секретаря крепко вгрызался в роговой мундштучок.

Однажды — был понедельник, тяжелый день, — Невашеин узнал, что к празднику наградных не будет. Одной фразой зачеркнули его ботинки, жилет, новогоднюю бонбоньерку жене Штукина и многое другое, вплоть до скромной бутылки церковного вина. Никогда не следует в понедельник начинать серьезные дела. Но Невашеин, пренебрегая этой мудростью, не рассчитывая больше на придаточную силу бонбоньерки и воспользовавшись тем, что сановник отпустил его до вечера, решил наконец приступить к решительному наступлению на сердце, точнее, на бюст Елены Игнатьевны. Как он и предполагал, Штукина дома не оказалось, и все располагало к любовной неге. Дипломатически, по-доминантовски улыбаясь, стоя на коленях, он принялся подталкивать углами воротничка «Лорд Грей» руку прекрасной Елены. Нежнейшая супруга начальника канцелярии не только не оттолкнула Невашеина, но ласково пощекотала его шею и щеки. Закрыв глаза и утопая в воздушнейшем бюсте, секретарь сладостно мурлыкал. Пробуждение было не из приятных, а именно, приоткрыв глаза, Невашеин увидел мерзкую физиономию подпоручика Ершова, искаженную едва сдерживаемым смехом, а вслед за ним беззвучно, но весьма обидно, смеялась жена Штукина. Невашеин бросился к выходу и, случайно взглянув в зеркало передней, увидел, что он глумливо обезображен — на его шее, на мужественном кадыке, меж двумя углами воротничка «Лорд Грей», был нарисован углем восклицательный знак, щеки же поверх веснушек и пудры покрыты сомнительными многоточиями.

Когда Невашеин вошел в кабинет сановника, он был раздавлен мрачными событиями дня. Из полутьмы в ответ на скрип двери раздалось только одно:

— Идиот!

Это было во второй раз за все время его службы. Но год назад он позволил себе поздравить сановника, что-то сказать,

приблизиться к столу. Теперь же он был оскорблен совершенно безвинно. Потом, тогда вслед за обидой последовала трубка. Теперь Виссарион Александрович усугубил бранное слово дальнейшим:

— Убирайтесь и вызовите Блохина!

Поздно вечером Невашеин послал Афанасия за спиртом — водки давно не было. Он пил и курил трубку. Тройная горечь входила в него: сивухи, табачного дыма и злых, незабываемых обид. Как мог он — жалкий чиновник, лакей сановника, пешка — мечтать о Сиаме, о бюсте Елены, о жизни прекрасной, благоуханной, открытой для Доминантовых, для офицеров, для богатых, для красавцев, для всех, только не для того, кто в срок четыре года остается младшим секретарем с кадыком и веснушками? Он выпил еще стакан и поморщился. Мерзость! Впрочем, мерзость во всем. Чья вина? Кого уничтожить? Невашеин перебрал всех мыслимых виновников — Доминантова, Ершова, бога, царя, даже Штукина, но ничто не удовлетворяло его. Неожиданно всплыли в памяти старые слова, и стало ясным, что главный преступник у него во рту, — немец, выдумавший ранги и системы, сделавший так, что нельзя щелкнуть Доминантова по носу, нельзя схватить пакостницу Елену и разложить ее на паркете, ничего нельзя — и все из-за него, из-за доктора Петерсона!..

Вынув изо рта трубку, Невашеин отчаянно завопил:

— Бей немцев!

И когда вбежал испуганный Афанасий, он запустил в него ненавистной трубкой.

Утром Афанасий подал Николаю Ивановичу трубку, счастливо миновавшую его лоб. Но секретарь, дрожа от недомогания, буркнул:

— Можешь сам курить. Мне нельзя — доктора запретили... — И, при этом вспомнив что-то, уже влезая в шубу, добавил: — Хорошая трубочка. Доктора какого-то... Фамилию забыл — немец.

Афанасий поблагодарил. Оставшись один, он прежде всего подумал — зачем ему трубка? Он никогда ничего не курил, кроме папирос «Молодец», третий сорт; их держали в соседней лавчонке. Но вещь была господская, следовательно, хорошая, и Афанасий начал курить трубку, как он носил штiblеты Невашеина, слишком узкие, и допивал в праздник спивки приторной малаги, от которой его мутило.

Что же, он быстро приспособился к трубке, так же как приспособился к манишкам, к лести, к лифту и ко лжи, как сорок лет тому назад, приехав из родной деревни Чижово, приспособился к трудному Санкт-Петербургу. Трубки он не чистил, и, сначала кокетливая девица, потом благообразная дама, теперь она стала грязной бабой. Черная, она походила на грудь негритянки, и золоченое кольцо, покрывшись зеленью, больше не блестело. Но Афанасий любил ее и заботливо гладил теплое дерево, по вечерам раскуривая трубку на крыльце черного хода. Его желтые лошадиные зубы ласково входили в пробитую ямочку.

Но трубке предстояло еще много испытаний. Правда, Афанасий не мечтал ни о победах империи, ни о месте старшего секретаря, ни о прекрасном телосложении различных ветреных особ; для этого был он слишком стар и мудр. Но все же в его сердце жила тревога — страх потерять то, чем он обладал. Четыре года Афанасий спокойно прожил у Невашеина со своей женой Глашей, ухивившей на день помогать поварихе заводчика Петросолова в качестве приходящей судомойки. Но последние месяцы Невашеин стал нервничать, беспричинно ругать Афанасия, проверять его мелкие расходы, пить, буяннить — словом, всячески портить жизнь старого слуги. Афанасий по случайно оброненным словам понимал, что секретарь вымещает на нем свои обиды. Знал он также, что секретаря обижает его начальник — важный сановник. Думая вечером с трубкой на крыльце, он приходил к заключению, что и сановника, вероятно, обижает царь. Но кто обижает царя, он понять не мог и, оставляя высокие раздумья, снова отдавался страху, что обиженный кем-то Невашеин прогонит его с места. А Афанасий понимал, что тогда ему конец. Куда он пойдет, старый, больной, не знающий никаких ремесел, теперь, когда на каждое свободное место приходится десять лакеев, и все ученые, с дипломами? Второй тревогой Афанасия была Глаша. Хоть Афанасий и не знал, в чем ее попрекнуть, но может ли быть спокойным муж, когда жена на двадцать лет моложе его? И трубка жалобно скрипела в зубах Афанасия.

Настал неизбежный день. Николай Иванович вернулся со службы слишком рано, не сняв пальто прошел в спальню и, кинувшись на диван, завопил:

— Афанасий! Вместо меня тестя Блохина назначили, вот как!..

Афанасий понял, что это и есть роковой час, но, не зная, что ответить, только виновато улыбнулся, как будто это он уволил Невашейна ради другого, со скверной фамилией и чудесной талией. Отставленный младший секретарь, увидев улыбку слуги, пришел в ярость:

— Получай расчет и убирайся! Ты мне больше не нужен!

И в последний раз, по привычке подражая Доминантову, задрав вверх остренький подбородок, он гаркнул:

— Идиот!

Афанасий кротко поплелся к господам Петросоловым, чтобы вызвать Глашу, посоветоваться, расспросить — может, кто-нибудь из тамошней прислуги знает свободное место. Но повариха Лукерья встретила Афанасия длительным фырканьем и под конец разъяснила, что Глаша изволила отбыть со своим любовником, унтером Лилеевым, в город Самарканд, просили мужу кланяться, обещали письма писать. Сказав, она снова зафыркала, а с нею вместе новая судомойка, три горничных в чепчиках, кучер, конюх, мальчик, кошки, болонки — словом, весь мир смеялся над бедным Афанасием.

Он вышел, хотя идти было некуда. Он сел на скамеечку у чужих ворот и закурил трубку. Рядом с ним молоденький маляр красил забор охрой. Афанасий позавидовал ему — поет, работает, молодой, жены нет, жена только будет, а теперь он сам, если захочет, может чужую жену увести, вот, как унтер... Может в деревню уехать — там тихо. В Чижове братья Афанасия — у них ни штиблет, ни малаги, ни трубки, зато на душе покой. А ему — старому слуге — нет места, в большом Петербурге нет для него угла. Сорок лет чистил штиблеты, сдувал пыль, целовал руку, подбирал чаевые, и вот теперь, на скамье у чужих ворот, сидит, пока не прогонят. Жена ушла. Все ушли. И впервые почувствовал Афанасий горечь лакейской судьбы, горечь старого рогатого мужа, горечь старости, одиночества, нищеты, всей человеческой жизни, почувствовал глубоко в горле, на деснах, под языком, с такой силой почувствовал, что вынул трубку и несколько раз плюнул. Потом подошел к пареньку, красившему охрой забор, протянул ему трубку.

— Бери, милый! Кури на здоровье. А мне уж не годится — стар я. Да ты не бойся — она хорошая... немецкая...

Маляр — он же Федька Фарт, по паспорту Федот Ковылев — трубке удивился, честно и неподдельно, как будто с неба упала на его, Федькину, голову звезда. Бросив кисть, он сел

на мостовую, стал вертеть странную вещь, понюхал мундштучок, лизнул дерево, соскреб с кольца зелень, так что оно засияло, как некогда, в счастливые доминантовские дни,— словом, с трубкой играл, как дитя, забыв, что в паспорте значилось — Федоту Ковылеву от роду двадцать два года. А наигравшись, Федька, который баловался порой козьей ножкой, набрал в кармане щепотку махорки, набил трубку, закурил и от удовольствия зажмурился.

С этого часа он больше не разлучался с трубкой. Когда он не курил, он либо жевал хлеб, либо пел. Все, что он делал, он делал хорошо. Жевал вкусно, трудолюбиво, выразительно. Пел звонким задорным голоском, забираясь высоко-высоко, словами песен пренебрегая и выводя одно «и-и-и». Еще лучше красил. Красил все — стены и двери, церкви и лавочки, кабаки и беды. Красил охрой, суриком, белилами, лазурью. Больше всего любил он сурик и жалел, что никто не хочет целый дом сделать густо-красным, самое большее разрешая проложить суриком тоненькую полоску. А когда он размешивал в ведерке алую краску, ему делалось беспричинно весело, как будто он выхлестал ковш вина; стоял и пел: «и-и-и», так что прохожие оборачивались — веселый маляр! Как-то, проходя в Сестрорецке мимо дач, когда солнце садилось, Федька загляделся на небо — было оно поверх жидкой лазури, поверх облачных белил щедро покрыто царственным суриком,— и маляр не выдержал, выпустил лесенку из рук, заорал:

— Здорово работают!

Его молодые крысиные зубы прогрызли насквозь роговой мундштук, но трубка от этого не стала хуже. Никогда Федька не жаловался на нее. Он ведь не знал, что такое престиж или карьера, и, ничем в жизни, кроме самой жизни, не обладая, был спокоен, голый, молодой, подобный птице. Часто встречался он с разными девушками и в ночной темноте целовал их, но когда девушка, еще вчера целовавшая его, целовала другого, Федька не грыз злобно трубку и не жаловался на ее горький вкус. Вероятно, трубка мирно кончила бы свою бурную и тревожную жизнь, через год-другой прогорев, если бы не вмешалась в ее скромную судьбу сумасбродка — История. Павшей на дно и на дне нашедшей успокоение, ставшей уродливым обломком, уродливым, но любимым, трубке, называвшейся когда-то «трубкой доктора Петерсона», непостижимой волей

рока, который играет веками и человеческими жизнями, идеями и домашней утварью, суждено было вновь подняться на прежние высоты. Из зубов бедного маляра она опять перешла в зубы сановника, хотя курил ее по-прежнему все тот же Федька Фарт, по паспорту Федот Ковылев.

Это странное на первый взгляд обстоятельство объясняется общеизвестными событиями, происшедшими в России в 1917 году.

Федька Фарт, молодой и веселый, пуще всего любивший зазорное пение и сурик, оказался, конечно, с теми, кто хотел песнями потрясти гранитный Санкт-Петербург и суриком залить не только десяток заборов, но небо над Сестрорецком и дальше — над Индией, над Сенегалом, над двумя полюсами. Он ходил, размахивал руками, говорил бойко и громко, а когда надо было стрелять — стрелял. Как было уже сказано, все, что он делал, — он делал хорошо. Пока это относилось к жеванию хлеба, пенью или закрашиванию стен лабаза, никто способностями Федьки не интересовался. Когда же он говорил, размахивал руками и стрелял, все нашли, что он прекрасный пропагандист, одаренный организатор, и товарищ Федот — недавно последний — стал одним из первых. В горячее время митингов, демонстраций, уличных боев товарищ Федот не вынимал трубки из кармана. Там дожидалась она, как зерно в земле, своего вторичного рождения.

Когда исполнились сроки и товарищ Федот в бывшем великокняжеском дворце стал выслушивать доклады и принимать просителей, трубка вновь показалась на свет, черная, древняя, изъеденная, похожая на престарелую монахиню. Но встреча бывшего маляра с трубкой не была радостной — они как бы не узнали друг друга. Товарищ Федот больше ничего не пел, кроме гимнов на официальных церемониях, вытягиваясь при этом в струнку, хлеб жевал тихо и корректно, а вместо того чтобы заливать суриком стены, подписывал резолюции или мандаты. Может быть, поэтому трубка показалась ему горькой и невкусной. В несколько месяцев он познал то, на что Виссарион Александрович Доминантов положил долгие годы, а именно — считать свое дело общим. Правда, он никогда не говорил об империи, но если брала верх какая-либо враждебная ему партия, фракция или группа, он, откладывая трубку, кричал о гибнущем достоинстве Российской республики.

Ко всему, товарищ Федот влюбился в идейную девушку, в товарища Ольгу, влюбился идейно, а поэтому, когда товарищ Ольга после конца заседания уходила с товарищем Сергеем, он страдал, и зубы его попадали в старое знакомое место на роговом мундштуке.

В жаркий июльский день товарищ Федот получил телефонограмму, где говорилось, что на съезде победило течение товарища Вигова. Почти одновременно ему принесли письмо от товарища Ольги, которая извещала его, что, презирая институт брака, она все же, во имя сохранения этической чистоты, находит необходимым поставить в известность работников района о том, что начиная с 12 июля она является подругой Сергея. Слова и в телефонограмме, и в письме были сухие, иностранные, звучащие, как щелканье пишущей машинки: тезисы, декларация, обструкция, позиция, информация. Но слова спадали подобно одежде, и Федот видел: Вигов — умный, хитрый, схватил его за горло, душит, побеждает, отнимает силу, власть, возможность подписывать, приказывать, то есть жить по-настоящему, а рядом другой — красивый, сильный, вырывает из его рук возделенную девушку, целует, берет и ему, Федоту, не дает, да и не даст никогда. Впервые узнал он слабость, скуку, нехотение жить. И вновь трубка, умевшая быть столь сладкой в далекие дни, когда Федька красил забор белилами, лазурью и суриком, наполняла горечью человеческий рот. Он бросил ее на стол.

Вошел секретарь товарища Федота Читкес и спросил, как быть с инструкцией. Федот раздраженно взглянул на него: наверное, Читкес доволен резолюцией съезда, наверное, у него идейная жена, отдающаяся ему, и только ему, не омрачая при этом чистоты партийной этики, наверное... И даже не додумав, чем еще грешен тщедушный, чрезмерно услужливый товарищ Читкес, Федот сухо сказал:

— Дело не в инструкции, а в том, что комиссия постановила снять вас с учета и отправить на фронт.

Читкес выронил кипу бумаг и взглянул так, как глядят при подобных обстоятельствах все люди призывного возраста — товарищи, граждане, верноподданные, в империях или республиках, русские или сомалийцы.

Но товарищ Федот, с тех пор как он стал глядеть в лицо мировой Истории, перестал интересоваться человеческими лицами и, не обращая внимания на Читкеса, добавил:



— Можете идти, товарищ. Да, вот что, возьмите себе эту трубку — вам на фронте пригодится. Не смущайтесь, хорошая трубка.

Товарищ Читкес никогда не курил. Он не умел делать еще очень многое, совершенно необходимое секретарю революционного сановника товарища Федота. Самое главное, что он никак не мог научиться различать многочисленные партии, фракции, группы, ненавидевшие одна другую. От сознания своего невежества Читкес дрожал крупной дрожью, и за это Федот, герой многих боев, еще сильнее презирал своего секретаря. А так как Читкес никогда не забывал о своих недостатках, то и дрожал он всегда: когда сдавал экзамены за четыре класса, когда кондуктор спрашивал у него билет, когда проходил в былое время мимо околоточного, когда был непостижимо вовлечен в толпу, открыто разгуливавшую с красными флагами, когда получал паек, когда приоткрывал дверь кабинета товарища Федота, когда ходил, сидел и даже когда спал — видел во сне экзамены, проверку документов, участки, тюрьмы, штыки, смерть.

Выйдя из кабинета начальника, Читкес прежде всего подумал, как отгестись к предмету, названному «хорошей трубкой». Может быть, надо подарить ее какому-нибудь курящему солдату? Но Читкес вспомнил, что эту трубку курил товарищ Федот, к которому не допускают просителей и который вместо подписи ставил только одно многозначительное двухмордое Ф. Очевидно, трубка была знаком благонадежности, и Читкес, обменяв последнюю теплую фуфайку, немного согревавшую его зябкое тело, на пачку табака, закурил трубку. Засим секретарь, снятый с учета, побежал по всяким учреждениям хлопотать, чтоб его не отправляли на фронт, так как он болен сердцем, легкими, почками и печенью. Он не выпускал из трясущихся зубов знака своей революционной добропорядочности — трубку, подаренную товарищем Федотом, — и так как никогда до этого дня не подносил к губам даже легкой дамской папироски, то часто забегал по дороге в глубь дворов и блевал.

Читкесу повезло, вместо фронта он попал на должность младшего комиссара тюрьмы. Давно известно, что человек привыкает ко всему. Читкес привык к роли тюремщика и даже к трубке. Проверая утром и вечером камеры, он пытался не дрожать, но казаться величественным, как товарищ Федот, и, с трубкой в гнилых черных зубах, покрикивал на заключенных.

Он полюбил трубку, и когда она, не выдержав столь ревностной службы пяти людям и двум режимам, треснула, младший комиссар тщательно обвязал ее бечевкой.

Жизнь Читкеса отнюдь не была спокойной: по-прежнему он боялся всех и всего, а главным образом того, что тюрьма, будучи, как все люди, вещи и даже учреждения, смертной, перестанет существовать. Тогда его, Читкеса, пошлют на фронт, а фронт в представлении младшего комиссара являлся вездесущим и вечным.

Кроме того, товарищ Читкес изнывал страстью к делопроизводительнице Розочке Шип и только вследствие предельной дрожи, мешавшей ему издать сколько-нибудь человекоподобный звук, не мог поделиться с ней своими чувствами. Но каждый вечер, после проверки, с трубкой, придававшей ему бодрость, комиссар шел к Розочке и нес ей свой паечный сахар. Розочка весело грызла кусочки сахара и, жалея дрожавшего Читкеса, кутала его в свою вязаную кофту, чем укрепляла надежды, жившие где-то в глубине сердца младшего комиссара.

Гроза грянула нежданно — самая прозаическая гроза, — приехала инспекция и нашла непорядки. Начальник вызвал Читкеса и кратко объявил:

— Я подал заявление, чтобы вас сняли с учета.

Он ничего не сказал о фронте, но Читкес великолепно понял его. Он был уже готов снова бежать по учреждениям, доказывая болезни легких, сердца, почек и печени, но зашел перед этим в контору тюрьмы. Там лежали списки вновь привезенных арестантов. Читкес взглянул случайно и сразу увидел: «Розалия Шип». Он не выдержал и запищал:

— Как?.. Шип?..

Старший комиссар, чистивший свой револьвер, многозначительно ответил:

— Да. Шип.

И здесь Читкес понял, что теперь ему никто не сможет помочь. Он навеки неблагонадежен, и никакая трубка его не спасет.

А старший комиссар, усмехаясь, добавил:

— Любовница важного преступника.

Нет, этого Читкес не мог вынести: Розочка, его Розочка — любовница! Все смешалось — страх, ревность, отчаянье. Читкес бегал с трубкой по темному тюремному коридору, корчась и дрожа так, что приходилось обеими руками поддерживать

трубку. Во рту его была такая горечь, как будто там уже разлагался крохотный Читкес, младший комиссар тюрьмы, снятый с учета, заподозренный и навеки потерявший Розочку Шип.

Читкес быстро открыл дверь камеры шестьдесят второй, где сидел высокий, худой, давно не бритый арестант, которого со дня на день должны были расстрелять, и сунул ему трубку: — Берите. Ну, гражданин!..

И хотя дрожал он, Читкес, а не заключенный, комиссар все же нашел необходимым успокоить его:

— Вы не бойтесь... Это только трубка.

В камере шестьдесят второй находился бывший сановник империи Виссарион Александрович Доминантов. Он взял из рук комиссара вещь, мало напоминавшую трубку. Изгрызенный роговой мундштучок походил скорее на обглоданную собакой кость. Веревка еле держала расколовшееся дерево. Кольца вовсе не было. Прогоревшие края черной узорной бахромой окаймляли трубку. Безусловно, доктор Петерсон, увидавши эту скверную головешку, не признал бы в ней даже останков своего прекрасного изобретения, патентованного в различных странах.

Но есть великие и незаметные приметы сердца. Взяв в зубы трубку, арестант что-то вспомнил и улыбнулся. Через несколько дней, стерев толстый налет гари и пыли, отыскав на левом боку надпись, свидетельствующую о том, что это именно трубка «системы доктора Петерсона», он ничуть не удивился — в первую же минуту он опознал свою былую подругу. Вместе с ней пришли воспоминания. Мирно и беззлобно думал Виссарион Александрович о далеких днях — об империи и о колоратурном сопрано, о хитром враге фон Штейне и о счастливом сопернике Чермнове. Думал с нежной грустью о пятидесяти годах своей шумной, суетной, такой великолепной и такой жалкой жизни. Думал еще о том, что ему предстоит, — о смерти, думал без страха и без ропота. Думая, он курил трубку, и, набитая какой-то трухой, она казалась ему необычайно сладкой. Больше не было империи, престиж которой сановник Доминантов должен был ограждать. В служебной карьере оставался лишь один непройденный этап — смерть у тюремной стены. Певица Кулишова, увидев теперь эти поросшие седой мочалкой некогда холечные щеки, не соизволила бы даже уронить одну мелкую трель своего колоратурного сопрано. Уже никто не мог его обидеть, и никто не мог ему изменить. Он — арестант номер шестьдесят второй, бывшая гордость Российской империи, в конце своей

жизни так же радостно курил трубку, как курил ее когда-то маляр Федька Фарт, молодой и вольный, начинавший жить. Доминантов курил ее до того вечера, когда все небо было в огне и золоте, как будто поверх жидкой лазури, поверх облачных белил кто-то покрыл его царственным суриком, и когда в коридоре раздавался отчетливый голос:

— Номер шестьдесят второй!

Я нашел эту трубку в камере Внутренней тюрьмы, где находился осенью 1920 года. Я ее никогда не курю — тщетно пытаться в описанный круг ввести новую жизнь. Я только гляжу на следы стольких зубов и думаю, кто же был виноват в ее неизменной горечи: приказчик магазина «Шик паризьен», заглядевшийся на хорошенькую покупательницу и поэтому забывший вложить в трубку хитрые приспособления доктора Петерсона, или человеческие страсти, которые мучили непохожих друг на друга людей, бравших трубку с надеждой и откидывавших ее с отчаяньем?..

Есть много прекрасных городов — всех прекрасней Париж, в нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном асфальте просторных площадей.

Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил «июньские дни» 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок, он молча раскрывал рот и ждал, напрасно ждал, — у его отца Жана Ру не было хлеба. У него было только ружье, а ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом — он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб, больше Луи, хлеб — с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать: «Хлеба!»

Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыпятся булки, рогастики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум, и посыпались пули. Один из людей, кричавший «хлеба!», крикнул: «Больно!» — и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи — они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посередине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья, но они весело улыбались, на их шапках блестели красивые кокарды, и все называли их «гвардейцами». Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартина. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей ройлись на асфальте зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартина одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам:

— Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию...

Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, еще подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать.

Тогда женщина сказала:

— Застрелите и щенка!..

Но франт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил:

— Кто же тогда будет работать?

И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль, больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней, и Луи был там, где прокладывались новые улицы, — площадь лучистой Звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект Оперы со строениями, еще покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины — меха, кружева и ценные камни. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с Ла-Манша и в рабочих мансардах тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться, строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов — Парижа.

Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру, в бархатных штанах, припудренных известкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах, и, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи.

Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной каморке на улице Черной вдовы, в предместье Святого Антония. Каморка пахла известкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестираным бельем, а улица Черной вдовы, как все улицы предместья Святого Антония, пахла салом жаровен, на которых торговцы жарили картошку, пресным запахом мясных, с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной вдовы, а за широкие бульвары,

благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы Мира, за эти бульвары и за лучистую Звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов.

Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для «Кофейни регентства», излюбленной шахматными игроками, для «Английской кофейни», где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для «Таверны Мадрид», собиравшей в своих стенах актеров двадцати различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру, со дня смерти своего отца, не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабатчик на улице Черной вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку.

Когда же не было ни белых, ни темных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал «хлеба!», как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку.

Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился — так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре Святого Мартина, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь лежа идти. До двадцати пяти лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет и он переехал из одной мансарды улицы Черной вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя — вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой, а год спустя в тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии Полем-Марией Ру.

Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, поднимающий тяжелые камни и строящий прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась потому, что жила на улице Черной вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась еще потому, что у нее были только две рубашки и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог ей дать хотя бы одну желтую монету на новое платье.

Весной 1869 года, когда Луи Ру было двадцать восемь лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной вдовы. Она оставила мужу Полю, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтоб он не плакал, покачал неумело, — умел подымать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно, — у мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уйдя в июньское утро с вычищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала:

— Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль — открытого моря, женщина — спокойной жизни.

Вспомнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику.

Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать «хлеба!», но стал, как многие тысячи каменщиков,



плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов, Париж, от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленой лавки, госпожа Монб. Луи Ру вместе с другими блузниками, в зимнюю стужу, бо-сой, у форта Святого Винценсия подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел — в Париже был голод. Он отморозил себе ноги, — в зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт Святого Винценсия, и блузников становилось все меньше, но Луи Ру не покидал своего места возле маленькой пушки: он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров Итальянского и Капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов, и не сходила беспечная улыбка с женских лиц.

Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже Республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое «республика», но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злое бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что Республика находится не на улице Черной вдовы, а на широких проспектах лучистой Звезды, и что, когда каменщик отгонит пруссаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луи Ру знал это, но он не покидал своего места у пушки, и пруссаки не могли войти в город Париж.

Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной вдовы. Люди, которых звали «Республика» и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых пруссаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луи Ру ходил по улицам предместья Святого Антония.

Пруссаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луи Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали свои ружья — франты и беспечные женщины, которых звали «Республика», помнили июньские дни года 48-го.

Луи Ру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блузники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна.

На следующий день Луи Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях Больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотные генералы в малиновых кеши с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзгшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винценсия, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладко причесанной, шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальской заставе. И когда Луи Ру вечером пошел на площадь Оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских полей, Оперы и Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж, и аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели.

Луи Ру увидел, что «Республика» уехала в каретах и в фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее, — ему ответили: «Парижская коммуна», и Луи понял что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной вдовы.

Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома, теперь их слали не злые пруссаки, а добрые завсегдатаи кофейен «Английская» и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винценсия. Но владелица зеленой лавки, госпожа Монб, была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луи Ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Святого Винценсия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винценсия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луи Ру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами

пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов — голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду фанты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те и другие были прекрасны, но и те и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать куска хлеба. Подходя к людям, которых все называли «коммунарами» и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу. И люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю:

— Ты настоящий коммунар.

Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей — в Версале, подвозили каждый день новых солдат — сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружавшим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру защищавшим форт Святого Винченция. Каменщик теперь сам подкапывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника.

В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному Королем-Солнцем, был украшен флагами в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорока малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек,

Лейтенант национальной армии Франсуа д'Эмоньян привез своей невесте Габриель де Бонивэ букет из нежных лилий, свидетельствующий о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывезти свои драгоценности. Букет был поднесен также в ознаменование победы — Франсуа д'Эмоньян приехал на день с парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Святого Винценсия и вступят в Париж.

— Когда начнется сезон в Опере? — спросила Габриель.

После этого они предались любовному щебетанью, вполне естественному между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника трудного похода лиф Габриели цвета абрикоса, Франсуа сказал:

— Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в бинокль видел, как у форта Святого Винценсия маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку!..

— Но вы ведь их всех убьете, вместе с детьми, — прощепетала Габриель, и грудь ее сильнее заходила под рукой участника похода.

Франсуа д'Эмоньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винценсия. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа д'Эмоньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слышал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов и хотят наконец помириться с Парижской коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря трубки, ждали солдат, а маленький Поль, у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винценсия, Франсуа д'Эмоньян велел трем из них, лучшим стрелкам горной Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте.

Горцы Савойи умели стрелять, и, войдя наконец в форт Святого Винценсия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавшими возле пушки. Солдаты видали много убитых людей

и не удивились. Но, увидя на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули — одни святого Иисуса, другие — тысячу чертей.

— Ты откуда взялся, мерзкий клоп? — спросил один из са-войцев.

— Я настоящий коммунар, — улыбаясь, ответил Поль Ру.

Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа д'Эмоньян приказал доставить маленького коммунара в один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен.

— Сколько он наших убил, этакий ангелочек! — ворчали солдаты, подгалкивая Поля прикладами. А маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал, отчего это люди бранят и обижают его.

Пленника-инсургента Поля Ру, которому было четыре года от роду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая, блюзники, а в кварталах Елисейских полей, Оперы и в новом квартале лучистой Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц — май, цвели каштаны широких бульваров, а под ними, вокруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял Поля. Зато им отдавали других пленных — мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали инсургентом штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата.

Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там, перед дворцом, был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил меж ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил:

— Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар.

Но женщины, у которых остались где-то в предместье Святого Антония дети, может быть тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали.

Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые — голубые, розовые и лиловые. А так как

он не умел долго думать и так как путь из форта Святого Винченсия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки.

Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа д'Эмоньян вез свою невесту Габриель де Бонивэ в прекрасный Париж. И никогда Габриель де Бонивэ не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре Малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она беспечно улыбалась.

Въехав в город, Франсуа д'Эмоньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещается маленький пленник из форта Святого Винченсия. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриели де Бонивэ переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она пролепетала:

— Мой милый, как прекрасно жить!..

Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уведили на расстрел, встретили галуны капитана с ужасом — всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа д'Эмоньян не обратил на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидев веселое лицо Габриели, непохожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал:

— Я — настоящий коммунар.

Габриель, удовлетворенная, промолвила:

— Действительно, такой маленький!.. Я думаю, что они рождаются убийцами, надо истребить всех, даже только что родившихся...

— Теперь ты поглядела, можно его прикончить, — сказал Франсуа и подозвал солдата.

Но Габриель попросила его немного подождать. Ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что, гуляя однажды во время ярмарки в Булонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками;

некоторые из них быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки.

Хотя Габриель де Бонивэ была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной забаве, попросила жениха:

— Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача.

Франсуа д'Эмоньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте.

Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриель хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику:

— Беги же! Я буду стрелять!..

Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриель в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах.

— Моя милая, — сказал Франсуа д'Эмоньян, — вы гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Смотрите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимой.

Габриель де Бонивэ ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха.

Поль Ру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный.

Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Лотреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриелью де Бонивэ, Пьер Лотрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших

там версальцы расстреляли. Пьер Лотрек уцелел потому, что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Лотрек был сослан на пять лет, он бежал из Кайенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа Поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все, написанное мною.

Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного и еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин, Габриелью де Бонивэ, прекраснейшего из городов, Парижа,— говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном — увидев белый флаг, не опустить ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта Святого Винченция, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец.



Когда ослу говорят, что впереди ночлег, а позади овраг, осел ревет и поворачивается назад. На то он осел. А кроме ослов, никто против истин явных и вечных возражать не станет. Когда салоникский старьевщик Иошуа попросил у меня за старую трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником две лиры, — я смутился, ведь в табачной лавке такая же трубка, чистенькая, новая, без трещин, стоила всего два пиастра. Но Иошуа сказал мне:

— Конечно, лира не пиастр, но и трубка Иошуа — не новая трубка. Все, созданное для забавы глупых, старея, портится и дешевет. Все, созданное для улады мудрых, с годами растет в цене. За молодую девушку франтик платит двадцать пиастров, а старой потаскухе он не даст и чашки кофе. Но великий Маймонид в десять лет был ребенком среди других детей, а когда ему исполнилось пятьдесят лет, все ученые мужи Европы, Азии и Африки толпились в сенях его дома, ожидая, пока он выронит изо рта слово, равное полновесному червонцу. Я прошу у тебя за трубку две лиры, ибо каждый день я ее семь раз курил, кроме дня субботнего, когда не курил вовсе. И в первый раз я ее закурил после смерти моего незабвенного отца Элеазара бен Элиа, мне было тогда восемнадцать лет, а теперь мне шестьдесят восемь. Разве пятьдесят лет работы Иошуи не стоят двух лир?

Я не уподобился ослу и не стал возражать против истины. Я дал Иошуе две лиры и поблагодарил его от всей души за достойное наставление. Это так растрогало старого старьевщика, что он попросил меня зайти в дом, усадил в покойное кресло между бабушкой, давно разбитой параличом, и правнуком, восседавшим на ночном горшке, угостил сразу всей сладостью и горечью евреев, а именно — редькой в меду, и продолжил свои поучения, может быть, из природного прозелитизма, а может быть, в надежде получить и за них добрые турецкие лиры.

Я услышал много высоких абстрактных истин и мелких практических советов. Я узнал, что когда рождается кто-либо, надо радоваться, ибо жизнь лучше смерти, а когда кто-либо умирает, огорчаться тоже не следует, ибо смерть лучше

жизни. Я узнал также, что, купив меховую шапку, лучше всего побрызгать ее лавандовой настойкой, чтобы покойный бобер не испытал посмертного полысения, и что, скушав много пирожков на бараньем сале, надлежит закусить их лакричником и неоднократно мягко потереть свой живот справа налево, дабы избавиться от изжоги. Я узнал еще много иного, хотя и не вошедшего ни в талмуд, ни в агаду, но необходимого каждому еврею, желающему всесторонне воспитать своих сыновей. Со временем я, вероятно, издам эти поучения салоникского старьевщика Иошуи, пока же ограничусь изложением одной истории, тесно связанной с моим приобретением,— истории о том, как и почему юный Иошуа начал курить трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Я передам эту историю во всей ее красноречивой простоте. Мудрость древнего народа в ней сочетается с его неуемной страстностью, принесенной из знойной Ханаанской земли в степенные и умеренные страны рассеяния. Я знаю, что она покажется многим кощунственной и что, пожалуй, иные евреи станут даже оспаривать, что я действительно обрезанный еврей, несмотря на всю очевидность этого. Но в истории трубки Иошуи скрыта под грубой оболочкой благоуханная истина, а против истины, как я уже сказал, возражают лишь ослы.

Пятьдесят лет тому назад престарелый Элеазар бен Элиа заболел несварением желудка. Вероятно, за свою жизнь он съел немало пирожков на бараньем сале, и так как сыновья отцов не учат, тем паче мертвых, то и Иошуа, узнавший много позднее о целительных свойствах лакричника, в те дни никак не мог облегчить страдания отца. Почувствовав приближение конца, Элеазар бен Элиа собрал вокруг своего ложа четырех сыновей: Иегуду, Лейбу, Ицхока и Иошуу. Кроме четырех сыновей, у Элеазара бен Элиа были еще четыре дочери, но он не призвал их, во-первых, потому, что все они были замужем, во-вторых, потому, что женщине незачем присутствовать там, где один мужчина поучает другого. А именно для мудрых наставлений собрал Элеазар своих сыновей.

Прежде всего он обратился ко всем четверем с проникновенным вступлением: «Суета сует, все суета и томление духа», но так как это было отнюдь не ново и все четверо в свое время в школе за легкое искажение приведенного текста ощущали прикосновения длани учителя к пухлым детским щечкам, то,

услышав знакомые слова, они нисколько не изумились, а терпеливо стали ждать дальнейшего. Отец попытался подкрепить мысль Экклезиаста опытом своей долгой и тягостной жизни. За семьдесят пять лет он познал суетность всех желаний и заклинал сыновей отгонять от себя всяческие вожеления. Жизнь, по его словам, была подобна бабочке: прекрасная издали, пойманная, она линяет и марает пальцы человека своей жалкой пылью. Мечтать о чем-либо — значит обладать многим, получить что-либо — значит тотчас все потерять. Но и эти глубокие истины показались сыновьям похожими на нечто, много раз слышанное между библейской дланью учителя и освежающими розгами, поэтому они почтительно попросили отца перейти к сути дела. Тогда Элеазар бен Элиа поздравил к себе старшего сына Иегуду.

— Когда я был молод, как ты, я вздыхал о любви. В синагоге, вместо того чтобы честно молиться, я задираю голову вверх и глядел на женщин, напоминавших ласточек, щебечущих под крышей дома. Однажды, проходя мимо турецкой бани, я услышал звук поцелуя и нашел его более прекрасным, нежели напев молитв утренних или вечерних.

Будучи скромным и бедным евреем, сыном мудрого меховщика Элиа, я не мог пойти в кофейные или в бани, где греки и турки получали за несколько пиастров для глаз — оперенье заморских ласточек, для уха — серебряный звон поцелуев, для носа — дыханье розового масла и черных, нагретых солнцем волос, для пальцев — прикосновение кожи, более мягкой, нежели смирнские ковры, для языка — слюну, которая слаще критского вина. Все это было не для меня. Но господь снизошел к бедному Элеазару, и, протомившись в сладчайшем ожидании три года, я нашел наконец дочь Боруха, портного из Адрианополя — Ребекку, твою мать. Правда, с виду она походила на лысеющую ворону, кожа ее была жестче булыжной мостовой салоницких набережных, ее поцелуи грохотали, как удары палкой по жестяной кастрюле, запах, исходивший от нее, состоял из пота, горчичного масла и камбалы, а слюна ее напоминала рыбью желчь. Но Ребекка была честной еврейской девушкой, не погнушавшейся выйти замуж за бедного Элеазара. Сын мой, я не допущу плохого слова о твоей покойной матери, да будет земля ей легче верблюжьего пуха! Но, умирая, скажу тебе: я знал любовь до того часа, когда познал наконец, что такое любовь. Я оставляю тебе наследство — оло-

вянное кольцо, которое я некогда надел на грязный палец Ребекки,— носи его. На твоей руке оно будет счастливой любовной сетью, на женской — станет для тебя каторжной цепью.

— Отец,— возразил Иегуда,— твоя жизнь лучше твоих поучений. Если бы ты только мечтал о турецких банях или о греческих кофейнях, ни я, ни мои братья не увидели бы света.

Сказав это, он взял оловянное кольцо и вышел.

По словам Иошуи, подарок отца и его наставления помогли Иегуде счастливо прожить свой век: он стал немедленно и с редким усердием искать себе невесту, встретился вскоре с красивой и к тому же богатой дочерью купца Ханой и, умиленный, надел на ее розовый пальчик скромное отцовское кольцо.

Далее Элеазар бен Элия стал поучать второго сына, Лейбу:

— Увидав, что любовь только сон, я обратился к веселью. Я завидовал всем, кто смеялся, пел и плясал. Я смотрел издали на танцы греческих свадеб, прислушивался к песням арабов, бродил по базарам и, встречая ватагу пьяных забулдыг, восторженно ухмылялся. Мне не было весело — очень трудно, чтобы бедному еврею, у которого к тому же жена и дети, было весело, но я верил, что, если сильно захотеть, можно развеселиться. Я начал тихонько от твоей матери Ребекки прыгать, закидывать вверх ноги и мотать головой, как это делали ловкие греки. Я даже достиг искусства, подражая одной турчанке, которая плясала на базаре, двигать своим тощим вислым животом так, чтобы тело при этом оставалось неподвижным. Закончив танцы, я приступил к песням,— я изучил щебет греков, плач турок, любовные вздохи арабов и даже странные звуки, напоминавшие икоту приезжих австрийцев. Постигнув все тайны веселья, я продал свои последние штаны, купил на них бутылку вина и, выпив ее до дна, принялся веселиться, то есть танцевать, петь и смеяться. Но веселье вблизи оказалось очень скучным. Сын мой, заклинаю тебя, удовлетворишься тем, что другие веселятся, сам же ходи всегда с опущенной вниз головой — и ты будешь счастлив. Я оставляю тебе в наследство пустую бутылку. Когда жажда веселья овладеет тобой, подыми ее высоко и долго гляди на пустое доньшко.

Это поученье, казалось, должно было упасть на благодатную почву, ибо Лейба с рождения отличался редкой угрюмостью. Когда во время радостного праздника симхасторе он приходил в синагогу, дряхлые, выжившие из ума праведники, глядя на его унылое, постное лицо, думали, что они перепутали дни

календаря, и начинали петь молитвы, приуроченные ко дню разрушения храма. Выслушав слова отца, Лейба все же заинтересовался неизвестными ему дотоле вокальными и хореографическими способностями Элеазара бен Элии.

— Отец, покажи мне, как ты веселился, и я навеки познаю тщету этого занятия.

Элеазар горячо любил своих детей, и, несмотря на семьдесят пять лет, а также на несварение желудка, он привстал с ложа и принялся подпрыгивать, выставлять вперед морщинистый живот, бегать рысью, скакать галопом, икать, как сто австрийцев вместе, и чирикать, как маленькая канарейка. Труды его не пропали даром — Лейба, до этого дня никогда не улыбавшийся, громко расхохотался, он даже не смог ничего ответить отцу, гогоча и дрыгая добродетельными худыми ножками. Наконец, схватив пустую бутылку, он выбежал прочь.

Жизнь его также сложилась хорошо под светлым впечатлением отцовских заветов. Став самым веселым человеком Салоник, он открыл балаган на главном базаре и неплохо зарабатывал. Никто не умел лучше его ворочать животом, издавать низкие утробные звуки, исполнять на пустой бутылке похоронные арии, так что жирные греки со смеху катались по полу, подобные розовым небесным мячам.

Несколько смущенный сильным впечатлением, произведенным на Лейбу его мудростью, Элеазар бен Элия сказал третьему сыну, Ицхоку:

— Познав тщету веселья, я раскрыл книги и перешел к наукам. Но — бедный еврей — я должен был довольствоваться тремя книгами: молитвенником, арабским толкователем снов и руководством к взысканию процентов. Я прочел их сначала до конца так, как читают евреи, потом еще раз с конца до начала, согласно обычаю христиан, и, увы, я все понял. А знание лишь тогда заманчиво, когда кажется непостижимым. Я узнал, что, если бы я действительно был праведным и не занимался вращением своего живота, бог наградил бы меня, Элеазара, и весь мой род до двадцатого колена исключительно тучными пастбищами, также, что, если бы мне приснились когда-нибудь белые мыши, я получил бы наследство от богатого тестя, хотя никакого тестя, даже бедного, у меня давно нет, наконец, что, если бы кто-нибудь был мне должен один пиастр, я смог бы по всем правилам подсчитать, сколько процентов приросло на этот пиастр. Все это наполнило меня ску-

кой. Я уже готов был презреть науку, как презрел раньше любовь и веселье. Но новые соблазны открылись передо мной. Мать твоя, Ребекка, ненавидела мои книги и раз, воспользовавшись тем, что я, подсчитывая проценты, задремал, обратила все три тома на растопку жаровни. Она пощадила только кожаные переплеты, которые казались ей вещами безвредными и даже имеющими ценность. Плача над гибелью книг, хотя и разоблаченных мною в их лжемудрости, я сжимал переплеты, подобно одеждам дорогого покойника. Вдруг я заметил, что к коже, облачавшей молитвенник, приклеен листок с письменами на неизвестном мне языке. Я сразу догадался, что именно здесь таится непостижимое знание. Я отнес листок к мудрому Абраму бен Израель, и он сказал мне, что эти слова написаны на голландском языке, ему неизвестном. Сын мой, второй раз в жизни я продал самую необходимую вещь — штаны и купил учебник голландского языка. По ночам, когда Ребекка спала, я изучал тысячи труднейших слов, у которых, как у диковинных цветов, были труднейшие корни. Прошло три года, пока наконец я смог разобрать, что было написано на листочке; приклеенном к коже, облачавшей когда-то молитвенник. Это были советы, как лучше всего шлифовать крупные алмазы. Но никогда я не видел никакого, даже самого мелкого алмаза. Правда, на берегу моря я находил порой блестящие камешки, но они не поддавались никакой шлифовке. Я оставляю тебе этот листок как явное свидетельство тщеты знания. Удовлетворяйся приятным сознанием, что на свете много непонятных языков и непрочитанных книг. Пусть другие учатся, портят глаза и жгут зря масло.

Ицхок поблагодарил отца за листок бумаги с переводом, тщательно приписанным к нему рукой Элеазара бен Элии, и сказал:

— По-моему, ты не напрасно изучал голландский язык. Масло все равно бы сгорело, и твои глаза все равно бы испортились, потому что маслу подобает стгорать, а глазам с годами портиться. По крайней мере ты меня научил, как надо шлифовать крупные алмазы. Кто знает, может быть, я найду другой листок, где будет сказано, как разыскать эти камни, и стану самым богатым кушцом Салоник.

Иошуа рассказал мне, что Ицхок действительно разбогател. Правда, он не нашел трактата о том, как находить крупные алмазы, но, очевидно, другие прочитанные им фолианты

дополнили наследство отца, так как он открыл мастерскую фальшивых бриллиантов. Дела его идут блестяще, и совесть его чиста, ибо если в талмуде и осуждаются фальшивомонетки, то там ничего не сказано о тех, кто честно изготавливает фальшивые камни.

Отправив трех старших сыновей, довольных назиданиями и наследством, Элеазар бен Элиа остался вдвоем с младшим сыном Йошуей, который тогда был глупым юношей без определенных занятий, а теперь считается самым уважаемым старьевщиком города Салоник.

— Младший и любимый сын, — проникновенно начал Элеазар, — когда ты родился, я был уже стар и мудр. Я больше не предавался ни наукам, ни веселью, ни любви. Я даже не понимаю толком, к стати будь сказано, несмотря на свою мудрость, как это случилось, что ты родился. Я долго думал о том, чем мне теперь заняться и чем заменить шершавые бедра твоей матери Ребекки, пустую бутылку и сгоревшие на жаровне книги. Размышляя, я выходил вечером на улицу и видел, как на порогах домов турки, греки, евреи курят длинные трубки с чашечками, подобными раскрывшимся цветкам тюльпана. Я уже заметил прежде, что люди, предающиеся любви, веселью и наукам, быстро устают от своих занятий. Турок, подбирая шаровары, спешит уйти от десяти самых прекрасных жен. Грек, выпив критского вина, пропев и проплясав, ложится на мостовую и начинает корчиться от усталости, а порой и от тошноты. Самый мудрый еврей засыпает над талмудом. Очевидно, трубка была выше прочих усад, ибо никто не уставал подносить ее к вечно жаждущему рту. Дойдя до этого, сын мой, в третий и последний раз я продал штаны, незадолго перед этим сделанные Ребеккой из ее свадебного платья. На вырученные два пиастра я купил себе хорошую трубку из левантской глины, с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Но когда я принес ее домой и, распечатав пачку смирского табаку, готов был поднести уголек к тюльпановым лепесткам, голос мудрости остановил меня.

«Элеазар, — сказал я себе, — неужели ты напрасно ласкал Ребекку, вертел животом и изучал голландские корни? Зажженная трубка окажется хуже никогда не изведенной. Глупец, не дай твоему счастью уйти вместе с дымом!»

С этого дня каждый вечер я вынимал из-под кровати тщательно хранимую от ревнивых взоров Ребекки заветную трубку

и благоговейно касался губами золотого янтаря. Он напоминал мне солнце и кончики грудей прекрасных женщин в турецких банях, которых никогда не сможет увидеть наяву бедный еврей. Я вдыхал запах жасминового дерева, и ствол как бы зацветал белыми хлопьями. На нем пели соловьи лучше, чем самые искусные греки. Красная глина мне напоминала о священной земле, где покоятся кости патриархов и пророков, со всей мудростью, которая больше книг еврейских и даже голландских. Так, не курия, я был со своей трубкой счастливее всех турок, греков и евреев, на порогах домов безумно испепеляющих свое счастье. Сын мой, я оставляю тебе эту трубку, и я молю тебя — не вздумай огнем осквернять ее холодное девичье тело!..

Велико было негодование молодого Иошуа, услышавшего эти речи.

— Отец, если бы ты не плевал в трубку, подобно внуку, а курил бы ее толком, обкуренная, она стоила бы теперь по меньшей мере десять пиастров.

Иошуа был нрава буйного и горячего. Возмущенный потерей восьми пиастров, а пуще этого глупостью отца, прикидывающегося мудрым, он схватил трубку и чашечкой ее, подобной раскрытому цветку тюльпана, ударил по лбу Элеазара бен Элиа. Вопреки общепринятому мнению о том, что левантская глина отличается хрупкостью, трубка осталась целой, хотя лоб мудрого Элеазара бен Элии славился в Салониках своей крепостью, достойной мрамора. Зато Элеазар вскоре после этого закрыл навеки глаза, испорченные чтением голландских трактатов. Конечно, Иошуа и его благородное негодование тут ни при чем. Как явствует из предшествующего, старик был готов умереть от несварения желудка и, закончив наставления ввиду отсутствия пятого сына, привел свои намерения в исполнение.

Иошуа, не задумываясь в ту минуту над юридическим или медицинским объяснением непосредственных причин смерти Элеазара бен Элии, побегал в кухню, достал из жаровни уголек и быстро закурил унаследованную трубку. С тех пор в течение пятидесяти лет он не расставался с нею. Будучи человеком богомольным и праведным, он впоследствии заинтересовался своим поступком, предшествовавшим кончине отца, и, подумав, нашел его угодным богу. За почитание родителей полагается долголетие, но так как Иошуе исполнилось уже шестьдесят восемь лет и он обладал еще отменным здоровьем, то ясно, что никакого непочитания с его стороны не было.



С другой стороны, сам Элеазар перед смертью намекнул Иошуе, что причины рождения сына неясны так же, как оказались впоследствии неясны причины смерти отца. Наконец, заповеди, подобно всем законам, даны для повседневного употребления, а не для таких исключительных случаев, как унаследование сыном необкуренной трубки лжемудрого отца. Итак, Иошуа курил свою трубку до шестидесяти восьми лет и продал ее лишь потому, что, надеясь прожить еще по меньшей мере тридцать лет, решил обкурить вторую трубку, удовлетворенный первой, давшей почти две лиры чистой прибыли.

Я бережно храню трубку Иошуи, часто закуриваю ее вечером, лежа на диване, но никогда не могу докурить до конца. Это объясняется не ее вместительностью, а исключительно высокодуховными переживаниями. Каждый раз, когда я касаюсь губами янтарного наконечника, я вспоминаю жалкую жизнь Элеазара бен Элии, увенчавшуюся слишком поздним уроком Иошуи. Я принимаюсь сожалеть не о том, что было в моей жизни, а о многом, что только могло быть и чего не было. Перед моими глазами начинают рябить карты неизвестных мне стран, разномастные глаза не целовавших меня женщин, пестрые обложки не написанных мною книг. Я кидаюсь к столу или к двери. А так как нельзя ни путешествовать, ни целоваться, ни писать рассказы с огромной трубкой, напоминающей раскрытый цветок тюльпана, то она остается одна, едва согретая первым дыханием. А посмотрев новый город, где люди, как всюду, плодятся и умирают, поцеловав еще одну женщину, которая, как все, сначала читает стихи, а потом, похрапывая, спит, написав рассказ в полпечатного листа, похожий на тысячи других рассказов, — о любви или о смерти, о мудрости или о глупости, я возвращаюсь на тот же протертый диван и с сожаленьем спрашиваю себя, почему я не докурил моей трубки?

Так за две турецких лиры я приобрел вещь, которая в зубах другого явилась бы источником блаженства, а в моих напоминает Танталову чашу, пенящуюся рядом и трижды нелестную.

Тишайший луч несется тысячи лет, но короток век человека: детство с играми, любовь и труд, болезни, смерть. Есть телескопы и таблицы, есть разум и глаза, но как построить такие весы, чтобы взвесить короткую жизнь: на одну чашу положить тишайший луч, вереницы чисел, пространство, миры, а на другую прозябание зерна, которое всходит, колосится и отсыхает? Кто знает, может быть, сорок ничтожных лет перетянут?..

Была война. Когда-нибудь подберут эпитет «великая» или «малая», чтобы сразу отличить ее от других войн, бывших и будущих. Для людей, живших в тот год, была просто — война, как просто — чума, как просто — смерть.

Была война, и на крохотной точке — точке среди точек — близ груды камней, называвшихся прежде городом Ипром, лежали, сидели, ели и умирали чужие, пришлые люди. Их называли 118-м линейным полком французской армии. Полк этот, сформированный на юге, в Провансе, состоял из крестьян — виноделов или пастухов. В течение шести месяцев курчавые темные люди ели и спали в глинистых ямах, стреляли, умирали, скинув руки, один за другим, и в штабе корпуса значилось, что 118-й линейный полк защищает позиции при «Черной переправе».

Напротив, в пятистах шагах, сидели другие люди и тоже стреляли. Среди них было мало курчавых и черных. Белесые и светлоглазые, они казались крупнее, грубее виноделов, и говорили они на непохожем языке. Это были земледельцы Померании, их называли в другом штабе 87-м запасным батальоном германской армии.

Это были враги, а между врагами находилась земля, о которой и виноделы и хлебопашцы говорили «ничья». Она не принадлежала ни Германской империи, ни Французской республике, ни Бельгийскому королевству. Развороченная снарядами, изъеденная вдоль и поперек брошенными окопами, круто начиненная костями людей и ржавым металлом, она была землей мертвой и ничьей. Ни одной былинки не уцелело на ее паршивой коже, и в июльский полдень она тяжело пахла калом и кровью. Но никогда ни за какой благословенный сад с тучными

плодами и с цветами теплиц люди так не боролись, как за этот вожделенный гнилой пустырь. Каждый день кто-нибудь выползал из земель французской или немецкой на землю, называвшуюся «ничьей», и замешивал желтую глину вязкой горячей кровью.

Одни говорили, что Франция сражается за свободу, другие, что она хочет похитить уголь и железо. Но солдат 118-го линейного полка Пьер Дюбуа воевал только потому, что была война. А до войны был виноград. Когда падали слишком часто дожди или на лозы нападала филлоксера, Пьер хмурился и стегал сухой веткой собаку, чтобы она его не объедала. А в хороший год, продав выгодно виноград, он надевал крахмальную манишку и ехал в ближний городок. Там, в кабачке «Свиданье принцев», он веселился вовсю, то есть хлопал служанку по широкой гулкой спине и, бросив в заводную шарманку два су, слушал, приоткрыв рот, полурри. Один раз Пьер болел, у него сделался нарыв в ухе, и это было очень больно. Когда он был маленьким, он любил ездить верхом на козе и красть у матери сушеный инжир. У Пьера была жена Жанна, и он часто любовно сжимал ее груди, крутые и смуглые, как гроздья винограда в солнечный хороший год. Такова была жизнь Пьера Дюбуа. А потом Франция начала сражаться за свободу или добывать уголь, и он стал солдатом 118-го линейного полка.

В пятистах шагах от Пьера Дюбуа сидел Петер Дебау, и жизнь его была непохожей на жизнь Пьера, как непохожа картошка на виноград или север на юг, и она была бесконечно похожей, как похожи друг на друга все плоды земли, все страны и все жизни. Петер ни разу не ел винограда, он только видел его в окнах магазинов. Музыка он не любил, а по праздникам играл в кегли. Он хмурился, когда солнце пекло и не было дождей, потому что тогда травы желтели и коровы Петера давали мало молока. У него никогда не болело ухо. Однажды он простудился и с неделю лежал в сильном жару. Мальчиком Петер играл со старой отцовской таксой и картузом ловил солнечных зайчиков. Его жена, Иоганна, была бела, как молоко, рыхла, как вареный картофель, и Петеру это нравилось. Так жил Петер. Потом — одни говорили, что Германия сражается за свободу, другие, что она хочет похитить железо и уголь, — Петер Дебау стал солдатом 87-го запасного батальона.

На ничьей земле не было ни свободы, ни угля — только труха костей и ржавая проволока, но люди хотели во что бы

то ни стало овладеть ничьей землей. Об этом подумали в штабах и упомянули в бумагах. 24 апреля 1916 года лейтенант призвал к себе солдата Пьера Дюбуа и отдал приказ в два часа пополудни проползти по брошенному окопу, прозванному «Кошачьим коридором», вплоть до германских позиций и подглядеть, где расположены неприятельские посты.

Пьеру Дюбуа было двадцать восемь лет. Это, конечно, очень мало — тишайший луч несется сотни веков. Но Пьер, услышав приказ, подумал, что были филлоксера, губившая виноград, и болезни, губившие человека, а стала — война, человеку надо считать не годы, а часы. До двух пополудни оставалось еще три часа и пятнадцать минут. Он успел пришить пуговицу, написать Жанне, чтобы она не забыла посыпать серой молодые лозы, и, громко прихлебывая, грея руки над кружкой, выпить черный кислый кофе.

В два часа пополудни Пьер пополз по скользкой глине завоевывать ничью землю. Он долго пробирался окопом, прозванным «Кошачьим коридором», натываясь на кости и колючую проволоку. Потом коридор кончился. Направо и налево шли такие же брошенные окопы, сиротливые, как брошенные дома. Раздумывая, какой выбрать: правый или левый — оба вели к врагам, то есть к смерти, — Пьер решил передохнуть и, пользуясь укромностью места, закурил бедную солдатскую трубку, испачканную глиной. Было очень тихо — люди обыкновенно громко стреляли днем, а ночью они убивали друг друга без шума, посылая одиноких людей, ползущих змейей, как Пьер, или роя подкопы. Пьер курил трубку и глядел на густое звездное небо. Он не мерил и не гадал, не сравнивал миров со своей деревушкой в Провансе. Он только подумал: если там на юге такая же ночь — винограду хорошо и Жанне тоже, Жанна любит теплые ночи. Он лежал и курил, всей теплотой своего волосатого звериного тела радуясь тому, что здесь, на мертвой, ничьей земле, он еще жив, дышит и курит, может шевельнуть рукой или ногой.

Но Пьер не успел раскурить хорошенько трубку, как из-за угла показался человек. Кто-то полз ему навстречу. Пьер видел лицо — светлое и широкое, непохожее на лица виноделов или пастухов Прованса, чужое лицо, чужой плем, чужие пуговицы. Это был Петер Дебау, но для Пьера он был просто врагом, как просто — война или просто — смерть. Он не знал, что вечером германский лейтенант вызвал к себе солдата Петера

и отдал приказ, что Петер тоже чинил свою шинель, писал Иоганне, чтобы она не забывала стельных коров, и, чавкая, хлебал похлебку. Пьер не знал об этом, а если б и знал, все равно не понял — ведь в тот год была война. Для Пьера Петер был просто врагом, а встретив врага, приползшего навстречу, Пьер, как древний пращур в лесах, как волк, изогнулся, напрягся, готовясь вцепиться в добычу. И рядом Петер, увидев врага так близко, что он слышал, как бьется чужое сердце, как пращур, как волк, выпростал руки, подобрал ноги, размеря лучше прыжок.

Они лежали друг против друга. Каждый ждал и не хотел начинать. Руки обоих были на виду, и, не глядя на лица, оба зорко следили за вражескими руками.

А трубка Пьера курилась. Враги лежали рядом, не желая убивать, но твердо зная, что убить необходимо, лежали мирно и громко дышали друг другу в лицо. Они, как звери, приюхивались к чужой шерсти. Запах был родной и знакомый, запах солдата, промокшей шинели, пота, скверного супа, глины.

Пришедшие из дальних земель, из Прованса, из Померании, на эту землю, ничью и чужую, они знали: враг — удушить. Они не пытались разговаривать: много чужих земель и чужих языков. Но они мирно лежали рядом, и трубка Пьера курилась, и Петер, который не мог закурить своей, зная, что малейшее движение рукой — борьба и смерть, вдохнув жадно табачный дым, раскрыл рот. Он этим просил, и Пьер его понял, и еще ближе выпятил свою голову. Петер взял трубку зубами из зубов. А глаза обоих по-прежнему не отпускали выпростанных, как бы безжизненных рук. Затянувшись, Петер возвратил трубку Пьеру, и тот, в свою очередь, уж не дожидаясь просьбы, после затяжки предложил ее врагу. Так они сделали несколько раз, сладко куря солдатскую трубку, два врага на ничьей земле, которую надо было во что бы то ни стало завоевать. Они затягивались осторожно, медленно, очень, очень медленно. Тишайший луч мчится тысячи лет, а они знали, что для одного из них это последняя трубка. Случилось несчастье — трубка, не подымив до конца, погасла. Кто-то из двух задумался и вовремя не продлил проглоченным вздохом ее короткой жизни. Был ли это Пьер, вспомнивший смуглую Жанну, или Петер, прощавшийся с белесой Иоганной? Кто-то из двух... Они знали, что достать зажигалку нельзя, что малейшее движение рукой — борьба и смерть. Но кто-то первый решился, Пьер ли, защи-

щавший Французскую республику и в заднем кармане хранивший кремь с длинным шнуром, или Петер, у которого были спички и который сражался за Германскую империю? Кто-то из двух...

Они сцепились и начали душить друг друга. Трубка выпала и завязла в глине. Они душили и били один другого, душили долго, молча, катаясь по земле, обрастая комьями глины. Потом, так как никто не мог одолеть, они зубами вцепились в жесткие лохматые щеки, в жилистые шеи, издававшие родной и знакомый запах, замешивая желтую глину вязкой, горячей кровью. И снова затихли, снова мирно лежали рядом, только без трубки, мертвые, на мертвой и ничьей земле.

Вскоре перестали быть зримыми тишайшие лучи, идущие от звезд к земле; рассвело, и, как каждый день, люди, убивавшие ночью молча, ползая по глине и роя подкопы, увидев солнце, начали убивать громко, стреляя из ружей и пушек. В двух штабах занесли в списки пропавших без вести имена столь различные и сходные двух солдат, а когда снова пришла ночь, поползли на землю, называвшуюся ничьей, новые люди, чтобы сделать то, чего не сделали ни Пьер, ни Петер, ведь в тот год была война.

В деревушке Прованса смуглая Жанна, посыпая серой виноград, плакала над Пьером, а поплакав, пустила в свой дом другого мужа — Поля, потому что кто-нибудь должен был надрезать лозы и сжимать ее груди, крутые, как гроздь в урожайный год. И очень далеко от нее, но все же ближе, чем звезда от звезды, в деревушке Померании плакала белесая Иоганна, подсыпая корм стельным коровам, и так как коровы требовали много забот, а ее тело, белое, как молоко, не могло жить без ласки, на ферме появился новый муж, по имени Пауль. Узнав, что мужчины выкурили свою последнюю трубку, две женщины горевали, а потом снова радовались с другими мужьями, ведь в тот год, как и в другие годы, была жизнь.

В апреле 1916 года ничья земля, пахнувшая калом и кровью, перестала быть ничьей. В теплый ясный день на ней умерло очень много людей из разных земель, и желтая глина, замешанная кровью, сделалась чьей-то собственной, законной землей. Впервые по окопу, носившему название «Кошачьего коридора», люди, прежде ползавшие на животе, пошли спокойно, не сгибая даже голов. На повороте, там, где кончался «Кошачий коридор» и ветвились направо и налево другие

окопы, не имевшие прозвищ, они увидели два скелета, обнимавшие друг друга, как счастливые любовники, застигнутые смертью. Рядом с ними валялась маленькая трубка.

Вот она передо мной, бедная солдатская трубка, замаранная глиной и кровью, трубка, ставшая на войне «трубкой мира»! В ней еще сереет немного пепла — след двух жизней, сгоревших быстрее, чем сгорает щепотка табаку, жизней ничтожных и прекрасных. Как построить такие весы, чтобы взвесить прозябанье людского зерна, чтоб кинуть на одну чашу тысячи тысяч лет, а на другую столько, сколько может дыбиться маленькая солдатская трубка?..

Напрасно думают, что обкурить трубку так же легко, как обжить новый дом. Последнее доступно всем, за исключением разве ревматиков. Трубку же обкурить могут лишь немногие. Никакие печатные трактаты, никакие мудрые наставления табачного торговца не заменят отсутствующих способностей. Когда младенец в люльке играет с побрякушкой — его участь предрешена. Если он беспричинно кричит и смеется, бьет в ладоши, ловит муху, вываливается из колыбели — словом, если он представляет из себя клубок человеческих страстей, лучше всего его заранее оградить от соблазна стать курильщиком трубки и поднести ему по окончании колледжа дамский портсигар с крохотными надушенными сигаретами. Берущий в зубы трубку должен обладать редчайшими добродетелями: бесстрашием полководца, молчаливостью дипломата и невозмутимостью шулера.

Не удивительно, что только в одном месте нашей чересчур стремительной планеты можно увидеть хорошо обкуренные трубки; это, разумеется, остров, именуемый Великобританией, отделенный от прочих земель водою и мудростью, остров, на котором в непогрешимом уединении пребывают миллионы бриттов, подобных каждый такому же острову, с должным количеством пароходных рейсов.

Среди моих трубок одна поражает чернью дерева и тончайшим, неуловимым запахом. Она не только сделана в Англии из крепкого, но пористого корня вереска, но и обкурена истинным англичанином. Я бы осмелился даже утверждать, что моя трубка «Е. Х. 4» является уникалом, достойным украшать выставку трубок, устраиваемую ежегодно в клубе курильщиков Эдинбурга, если бы не печальный инцидент, лишивший ее многих достоинств, но зато способствовавший тому, что она вместо замшевого футляра лорда Грайтона очутилась в кармане скромного русского поэта.

Лорд Эдуард Грайтон был первым курильщиком Англии вследствие исключительной равномерности своего дыхания. Никогда за все пятьдесят два года своей благородной жизни он не испытал ни гнева, ни восторга, которые могли бы печально



отразиться на его горячо любимых трубках. Дыхание людей, подверженных страстям, неровно и подобно порывам ветра. Лорд Эдуард Грайтон размеренно вдыхал дым. Другие, куря, увлекались беседой о дерби, хорошенькой мисс, прошедшей мимо, и трубка гасла; или, наоборот, раздосадованные неудачей английской политики в Индии, болтливостью жены, произнесенной после обеда десять совершенно излишних слов, пресностью пикулевого соуса, вдували в трубку неистовый ураган своих крепких легких, и трубка, не обкуриваясь, сгорала. Но лорд Эдуард Грайтон умел ограждать себя от всяких простонародных чувств. Когда его младшего брата Бернарда, капитана королевской армии, где-то в полях Пикардии разорвал германский снаряд, лорд Эдуард Грайтон не выпустил из зубов трубки, хотя он больше всех живых существ любил брата Бернарда. Спокойно он прочитывал телеграммы, подносимые лакеем на тяжелых подносах, о смерти, свадьбах, рождениях родных и друзей, донесения управляющих о процветании и запустении своих поместий, газеты, эти многостраничные фолианты, что ни день сообщавшие о кознях ирландцев, египтян, индусов, русских, немцев, даже бушменов, жаждущих гибели прекрасного острова. Проходили буквы, слова, мысли, события, умирали тетки, рождались кузены, текли гиней, развивались колонии, гибли империи, а трубка, святая кадилница, все так же плавно источала сладкий медовый дым господу всех спокойных джентльменов, господу старой Англии.

Возможно, что эти исключительные моральные достоинства лорда Эдуарда Грайтона объяснялись некоторыми физическими недочетами его организма. Следует открыть, отнюдь не из любви к интимной жизни английских аристократов, а исключительно для понимания романтической истории моей трубки «Е.Х.4», что лорд Эдуард Грайтон, красивый и статный мужчина, непостижимой игрой природы был обречен на вечное девство. Осознав это в возрасте восемнадцати лет, он испытал некоторую меланхолию, но вскоре выкурил первую трубку, утешился и нашел себя.

Когда лорду Эдуарду Грайтону исполнилось пятьдесят лет, он почувствовал себя в зените бытия, окончательно возмужалым и полным сил. Поэтому он решил жениться. Месяц спустя прекрасная леди Мери, бледная и худая, начала разделять досуги лорда, который размышлял о гармонии природы, завернутый в шотландский плед, на умеренном сентябрьском солнце

или же у камина разглядывал фотографии бедных, еще не цинкизованных дровишей.

С бракосочетанием совпало другое важное событие, а именно — приобретение лордом Эдуардом Грайтоном новой трубки. После тщательных размышлений трубка была заказана фабрике Донхилия. Для ее изготовления был найден особенно толстый и пористый корень вереска. Трубку пометили «Е.Х.4», опоясали золотым кольцом и, снабдив особыми щипцами, дротиками, мазями и лаками, в роскошном футляре привезли в поместье Лайс к часу брачной церемонии.

Когда молодые остались одни, лорд Эдуард Грайтон прочел жене «Песнь песней», поцеловал ее прохладную восковую шею и, сев в кресло, закурил новую трубку. Выдыхая дым, в котором слышались все пряные благоухания Востока, опьянявшие некогда бедную Суламиту, лорд с нежным удовлетворением разглядывал леди Мери в розовой шелковой пижаме, все еще не засыпавшую, как бы в ожидании чего-то.

Лорд Эдуард Грайтон хотел было спросить, отчего она не спит, но раздумал — беседа помешала бы курению, а по горделивому замыслу лорда Грайтона трубка «Е.Х.4» должна была затмить славу всех ее громких предшественниц.

Обкуривание трубки успешно продвигалось вперед. Несколько более сложным являлся всесторонний уход за леди Мери. Подумав хорошенько, лорд Грайтон, всегда глубоко уважавший законы природы, пришел к выводу, что несправедливо и вредно лишать леди Мери некоторых развлечений, свойственных даже английским аристократам. Он долго колебался в выборе джентльмена, который был бы достоин прикоснуться к супруге лорда Эдуарда Грайтона. Встретившись на скачках в Оксфорде со своим молодым другом, лордом Вильямсом Риджентом, заботливый супруг уверовал в провидение, ведь на скачки он поехал случайно, а бледность леди Мери говорила о необходимости скорейшего разрешения вопроса. Лорд Вильямс Риджент был высок и молод, он напоминал фотографию лорда Эдуарда Грайтона в молодости: те же водянистые, неморгающие глаза, тот же вечно сомкнутый рот, те же длинные руки и ноги, приспособленные только для крупных и совершенно необходимых движений. Ко всему, лорд Вильямс Риджент курил также трубку Донхилия, помеченную «О.В.48». Впрочем, его страстью были не трубки, а бульдоги. Он обладал лучшей в мире коллекцией, состоявшей из восьмисот четырнадцать

дцати высококровных английских псов. Вместе с лордом Робертом Саймисоном, владельцем лучших конюшен, коллекционер трубок лорд Эдуард Грайтон и любитель бульдогов лорд Вильямс Риджент являлись истинной гордостью Великобритании.

По приглашению лорда Эдуарда Грайтона молодой лорд Вильямс Риджент приехал в Лайс, сопровождаемый псарем Джоном и десятью наиболее высококровными псами.

Великодушный супруг познакомил его с женой и, прочитав одну из телеграмм, поднесенных лакеем на тяжелом подносе, спешно уехал в Лондон.

Далее все пошло хорошо. Лорд Эдуард Грайтон обкуривал трубку, леди Мери читала сонеты Елизаветы Броунинг, переплетенные в фиолетовую замшу, и разглядывала портреты Россетти, на сходство с которыми ей указывали неоднократно истинные знатоки. Раз в месяц прибывали лорд Вильямс Риджент, псарь Джон и десять бульдогов.

Лорд Эдуард Грайтон часто видел, как его жена гуляла с молодым другом по липовой аллее, и одобрял спокойствие обоих: никогда не менялся цвет щек леди Мери, никогда не погасала трубка лорда Вильямса Риджента.

Надо думать, что трубка «Е.Х.4» была бы благополучно обкурена до конца, если бы не злополучная прогулка в одно апрельское утро лорда Эдуарда Грайтона по старинному парку Лайса. Проснувшись рано, проделав несколько простых гимнастических упражнений и откушав жидкой кашицы с молоком, лорд Эдуард Грайтон, в ожидании часа, когда выйдут к завтраку леди Мери и гостивший в Лайсе лорд Вильямс Риджент, отправился к охотничьему павильону. Утро было теплое, и, глядя на легчайшее оперение каштанов, лорд думал о величии творца, установившего ход времен года, строй и гармонию миров.

На большой поляне ожидало его несколько неделикатное зрелище, а именно: высококровные бульдоги лорда Вильямса Риджента предавались любовным утехам, причем девять кобелей, высунув языки, с выкатившимися наружу рачьими глазами, огрызаясь, скуля, лая, гонялись за одной сукой, которая после долгих колебаний и тявканий, наконец отдалась одному, с виду ничем не отличавшемуся от других. Впервые лорд Эдуард Грайтон присутствовал при подобной сцене, и хотя он неоднократно читал о способах размножения животных, все увиденное поразило, даже возмутило его невинную душу. Но

вскоре, оправившись от первого впечатления, он благословил торжество цивилизации — перед ним воочию была пропасть, отделявшая пса, хотя бы и высококровного, от английского джентльмена. Он даже подумал, глядя на свесившиеся до земли песьи языки,— как хорошо, что бульдоги не курят трубок, иначе они только портили бы эти деликатные и прекрасные вещи!

С подобными мыслями лорд Эдуард Грайтон направился дальше по тенистой липовой просеке. Дойдя до охотничьего павильона, он почувствовал некоторую усталость от новых переживаний, а также от апрельского воздуха и решил зайти внутрь, чтобы немного передохнуть. Но, приоткрыв дверь, лорд Эдуард Грайтон не переступил через порог. То, что он увидел, было действительно неправдоподобно и во много раз ужасней времяпрепровождения невоспитанных псов. На полу лежала леди Мери, в неистовстве сжимая небритую низменную голову пса Джона. На ее щеки, обычно бледные, как северная летняя ночь, сошла дикая тропическая заря. Неудержимый гнев овладел лордом Грайтоном, крепко вцепившись зубами в трубку, он вдвухал в нее вихрь возмущения и отчаяния. Но счастливые любовники не замечали страшной тени на пороге, выпускавшей грозовые тучи дыма, они продолжали шептать нечеловекоподобные слова нежности и страсти.

Лорд Эдуард Грайтон собрался с силами и, резко повернувшись, пошел вновь по липовой просеке. Первой его мыслью было: случилось нечто непоправимое, два года высокого творчества погибли, трубка, лучшая из трубок, единственная «Е.Х.4» — испорчена навеки!

После второго завтрака, за которым лорд Эдуард Грайтон был, как всегда, ровен и благодушен, а леди Мери, как всегда, тиха и бледна, супруги вышли на веранду. Взяв леди под руку, лорд нежно промолвил:

— Дорогая, сегодня вечером мы уезжаем в Каир. Это совершенно необходимо для вашего здоровья.

Леди Мери ничего не ответила, она только еще более побледнела, что при ее обычной бледности было делом далеко не легким. Из ее другой свободной руки выпал на землю томик стихов Елизаветы Броунинг, переплетенный в фиолетовую замшу.

Ровно в восемь часов вечера автомобиль увез лорда и леди на вокзал. После их отбытия лакей разыскал пса Джона, мирно спавшего рядом с десятью бульдогами у крыльца охот-

ничьего павильона, и протянул ему на тяжелом подносе трубку «Е.Х.4».

— Лорд, уезжая, приказал передать вам эту трубку в награду за ваше отменное поведение и редкие способности.

Протирая спросонок глаза, тупо поглядывая на лакея, державшего поднос со странным и ненужным подарком, Джон вдруд что-то понял и, не сдержавшись, крикнул:

— А леди?

Лакей недоуменно скосил свои глаза, давно лишившиеся права недоумевать, и процедил:

— Разумеется, леди сопровождает лорда. — Лакей ушел, оставив Джону обкуренную трубку.

Но Джон не был лордом, он был лишь простым псарем. Поэтому, рассеянно сунув трубку в карман, он начал петь какую-то весьма прискорбную песенку о бедной девушке, насильно выданной замуж. Он так жалобно пел, что все десять высококровных бульдогов не выдержали и, задрав вверх умиленные жабы морды, принялись выть.

Когда три недели спустя, направляясь в Обердин, я познакомился с Джоном, он все еще продолжал вздыхать о бедной леди. Он рассказал мне короткую и печальную повесть любви и подарил мне трубку «Е.Х.4». Зачем ему трубка? Разве псарь, который полюбил, сможет когда-нибудь ровно, размеренно дышать?

У него осталась память о леди Мери, а у меня превосходная трубка Донхилия. Но, каюсь, — я люблю ее не только за приятный вкус и благородную внешность. Нет, куря ее, я как бы вижу щеки леди, озаренные великолепным пожаром, и грозную тень лорда, в ярости сжимающего зубами черный твердый мундштук. Я люблю ее за то, что она испорчена, за то, что человеческое дыхание не поддается учету, за то, что чувства любви и гнева сильнее всех лордов и всех леди, сильнее гармонии миров, картин Россетти, сонетов в замше, конюшен, дерби, сильнее разума и сильнее воли,

Вопреки общепринятому мнению, чудеса происходят даже в такой деловой стране, как Америка. Безусловно чудом являлось подписание Джоржем Рэнди и его женой Мери, этими захудалыми актерами мюзик-холла, никогда прежде не игравшими для кинематографа, контракта с фирмой «АУС» на участие в большом фильме «Люди и волки». Чудо это объясняется (если чудеса вообще могут объясняться) рассеянностью администратора фирмы «АУС», огорченного изменой своей супруги и принявшего Джоржа Рэнди за Джона Рэнджа, неоднократно выступавшего в больших фильмах.

Впрочем, ни Джорж, ни Мери не теряли времени над размышлениями о причинах своего успеха. Условия более чем посредственные, а именно — уплата одной тысячи долларов, совершенно ошеломили их, и, получив аванс, они приступили к покупкам, связанным с путешествием, так как значительная часть фильма «Люди и волки» должна была сниматься в далекой Канаде. Друзья предупредили Мери, что в Канаде очень холодно, и она приобрела теплые вязаные штаны для себя, брюшники для мужа. Что касается Джоржа, то он искал трубку, достойную попасть в картину, которая будет демонстрироваться перед миллионами людей в Нью-Йорке и в Риме, в Токио и в Москве. После долгих поисков он набрал на трубку совершенно особого устройства, представлявшую собой закрытый шар с маленькими дырочками, дабы на сильном ветру из чашечки не вылетали искры. Приказчик, показывая трубку, сказал, что она предназначена для шоферов, летчиков и моряков. Джорж подумал, что киноактер, как солдат, должен быть готов ежеминутно кинуться в пучину вод или взлететь в воздух, и приобрел сложную трубку.

В вагоне Джорж начал изучать сценарий, и вскоре из тика дивана выполз охотник Том. Мери же оставалась по-прежнему его женой. Это очень растрогало Джоржа, и он поцеловал прядь ее волос над чуть розовеющим ухом. Но Мери покидала Тома, и Джорж, растерянный, шептал:

— Мери, ты меня покинешь? Ради голубой лисицы?

Мысль об этом была невыносима, и Джорж не мог понять, почему люди так злы, почему они обрекли Джоржа за одну тысячу долларов на подобные муки. Будучи добрым, Джорж с отвращением чистил новое охотничье ружье.

Негр-проводник, который хотел поваксить ботинки, долго не мог прийти в себя. Он три ночи подряд видел во сне господина в палевых перчатках, который сжимал ружье и кричал, что убьет похитителя, хотя в вагоне не было никого, кроме дамы, спокойно кушавшей консервы из жестянки. Негр не знал, что такое кинематограф, и, просыпаясь среди ночи, не мог понять, почему люди так злы.

Когда артисты приехали в маленький городок Айбек, Мери убедилась, что в Канаде действительно очень холодно. На вокзале их встретил режиссер, радостно объявивший, что все уже в сборе, даже волки, привезенные с утренним поездом. Джорж познакомился со своим соперником, коварным Джо. На сопернике был бежевый жилет из шерсти ламы, и он с достоинством протянул Джоржу карточку, гласившую:

ВИЛЬЯМС ПОКЭР

Киноактер

Нью-Йорк — Лос-Анжелос

Затем артисты поехали на санках, и Джорж наконец, почуввав дыхание ветра, закурил свою трубку. Ее качества вполне соответствовали словам приказчика, и ни одна искра не выскользнула из шара. В заезжем дворе комнаты были жарко натоплены. Засыпая, Джорж, решив, что не все написанное исполняется, ласково шепнул Мери:

— Ради тебя я готов убить волка. Ведь ты меня не покинешь?

На следующее утро исчезли и палевые перчатки, и бежевый жилет из шерсти ламы. Том с трудом ворочался в меховых штанах, твердых, как шкура мамонта. Лицо его закрывали огромные свисающие наушники. Мех был, конечно, не мамонтов, а заячий, но Джорж помнил, что если заяц — трус, то Том должен быть храбрым. Том и Мери пришли в маленькую хижину среди леса. Вокруг был только снег, он на солнце зеленел, от этого болели глаза, а надеть очки было невозможно, очки носят профессора, а не охотники. Вокруг хижины таились враги — индейцы и волки, но самым опасным врагом являлся белый — Джо. Против него были бессильны даже милые друзья —

ковбои. Джорж, осмотревшись, решил, что все же в хижине очень уютно. Мери варила Тому суп, и это было гораздо приятнее закусовых Нью-Йорка: можно было, отрываясь от похлебки, целовать прядь волос над чуть розовеющим ухом, и после обеда не приходилось расплачиваться с алчными официантами. Джорж прежде видел Мери в разных ярких платьях, с тысячами блесток. Но никогда она не была столь прекрасной, как теперь, в простеньком ситцевом платице, гладко причесанная и похожая на школьницу.

Том, восхищенный, шептал:

— Мери, я тебя люблю!

И Мери искренне радовалась Тому. Но Мери была женщиной, и, как всякая женщина, в небоскребах Нью-Йорка или в лесах Канады, она хотела быть еще прекрасней. А для этого ей не хватало яркого платка, нитки бус и маленького зеркальца. Джорж Рэнди подумал, что все эти вещицы можно купить в Нью-Йорке за два доллара; простой статист получает пять долларов за выход, а он за фильм «Люди и волки» получит тысячу, но все эти соображения не носили реального характера, ведь с Мери находился не Джорж, а Том, и в канадском лесу не было нью-йоркских магазинов. А Мери все грустнее и грустнее улыбалась: ей очень хотелось получить зеркальце, чтобы узнать, действительно ли она так хороша, как уверяет Том.

И Том решил во что бы то ни стало порадовать маленькую Мери. В пяти часах езды от хижины находилась лавка скупщика мехов, известного мошенника Джурса. Том запряг цугом шесть собак и поехал. Снег скрипел, дул ветер, и трубка работала исправно. У Джурса оказалось все, что надо, — и ярко-зеленый платок, и зеркальце, и крупные бусы. Но мошенник Джурс хотел за свои товары шкуру голубой лисицы, а так как у Тома не было никаких шкур, то Джурс не дал Тому ни платка, ни зеркальца, ни крупных бус. Том поехал обратно; снег скрипел, собаки лаяли, дымила трубка, и бедный артист Джорж Рэнди, который часто отходил от витрин нью-йоркских магазинов, не имея доллара, чтобы купить жене дешевую обновку, грустно думал, почему же люди так злы и Джурс не подарил Тому хотя бы зеркальца, маленького зеркальца для грустной Мери?

Вернувшись в хижину, Том поцеловал прядь волос жены над розовеющим ухом, взял ружье и на лыжах ушел в лес. В лесу было очень страшно, но Том храбро курил трубку. Он долго



шел, пока наконец не увидел желанного зверя. Том выстрелил и побежал, чтобы схватить добычу, но нашел лишь красное пятно на снегу. Не унывая, Том пошел по следам раненого зверя, и через несколько минут набрел на коварного Джо, державшего в руке голубую лисицу, а с нею зеркало, а с ним улыбку грустной Мери. Том знал, что Джо похитил его добычу, но, нахмураясь, он отвернулся и прошел мимо. Том не мог убить человека из-за лисицы, хотя бы и голубой. Он подумал, что Мери прекрасна и без бус, и, заглянув в его глаза, она убедится в этом. Но, возвращаясь в хижину, Том сбился с пути, и на него напали волки. Сначала престарелые звери, привезенные из зверинца Квебека, не хотели нападать, и режиссер злился. Потом они все же напали и даже загрызли одну из собак. Джорж слегка трусил, но Том должен был быть храбрым, и, закурив трубку, он деловито развел костер, бросая в волков пылающими головнями. Поджав хвосты, волки выли, как провинившиеся собаки. К утру, когда рассвело, Том нашел наконец дорогу, но, подойдя к хижине, он сразу заметил, что случилось что-то недоброе, — дверь была раскрыта настежь. Мери не было в хижине, и первое, что пришло в голову бедного Тома, было — «индейцы».

Но Джорж Рэнди учил когда-то в школе географию; он твердо помнил, что в этих местах никаких индейцев нет. Конечно, Мери похитил коварный Джо, впрочем, обманно называвший себя Джо, ведь Джорж знал, что наглого соперника зовут Вильямсом Покэром. Увидав пустую хижину, Джорж подумал, что теперь он, наверно, застрелит артиста Вильямса Покэра: Мери не лисица, и даром он ее не отдаст.

Снова Том мчался на шести собаках, запряженных пугом. Но случилось несчастье, столь частое при подобном способе передвижения, — собаки вывалили Тома в снег. Он долго лежал и отморозил ноги, пока его случайно не подобрал мошенник Джурс. Джурс угостил Тома виски, лукаво усмехаясь, и Том понял, что Джурс знает, где теперь находится коварный Джо. Он попытался расспросить Джурса, но мошенник отнекивался, подливая Тому виски. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Том не заметил на прилавке шкуру голубой лисицы. Тогда он так грозно ударил по столу кулаком, что бутылка виски и стаканы полетели на пол, а Джурс, умевший лукаво улыбаться, показал, что он умеет не менее выразительно дрожать. Мошенник признался, что Джо продал ему шкуру голубой лисицы и, получив деньги, уехал с какой-то женщиной в город Квебек.

Том, даже не отогревшись, помчался вдогонку за коварным Джо. Через час он был уже на станции Айбек и там увидел всех артистов в сборе. Джо, сбросив меховую куртку, снова щеголял в жилете из шерсти ламы. Он ехал с Мери в отдельном купе, и Джорж видел, как они ласково перемигивались. В других купе разместились режиссер, мелкие артисты, статисты и даже собаки, кроме одной, которую загрызли волки. Только Джорж должен был залезть под вагон и висеть на перекладине, потому что Том был беден и у Тома не было денег на билет. Джорж крепился — ради Мери он готов был висеть на перекладине, крепился и дымил своей усовершенствованной трубкой. А над ним в отдельном купе веселая Мери кокетничала с коварным Джо.

Бедный артист Джорж Рэнди с грустью покидал снежный лес, где он мог бы спокойно жить в хижине с милой Мери, если бы не коварный Джо, который, пользуясь тем, что у него шкура голубой лисицы и контракт с фирмой «АСУ» на пять фильмов, похитил Мери. Джорж с грустью покидал лес, где остались только бутафорский дом да четыре волка, с рубцами прутьев, с опаленной головнями шерстью, четыре престарелых волка, брошенных среди снега, воющих, как провинившиеся псы.

Он ехал один в ночном экспрессе. Мери и коварный Джо в это время уже отдыхали в салоне гостиницы «Александрия». Когда охотник Том в своих меховых штанах завертелся в зеркальной двери гостиницы, посетители, прохожие и даже швейцар, выдавший в жизни много английских лордов и разбогатевших бродяг из Калифорнии, — все рассмеялись. Смеялись тощие дружинистые коммерсанты, смеялись расфранченные дамы с платьями от Пакэна на обветренной, рабочей, гусиной коже Нового Света, смеялся негритенок-грум, показывая кончик малинового языка, смеялись все: уж очень был смешон бедный Том в заячьем меху, сжимавший ружье, среди зеркальных дверей, бронзы курительного салона и плакатов пароходных компаний. Смеялись все, понимая хорошо, что Мери, отдыхающая в салоне шестьдесят восемь с коварным Джо, никогда не вернется к Тому в жалкую лачугу среди леса, где нет ни грумов, ни музыкантов, но только снег и волки. И Джоржу было очень больно от того, что злые люди смеялись над его простой любовью.

Том хотел пройти наверх, чуя, что Мери в одной из комнат, в одной из трехсот комнат с одинаковыми дверьми, помеченными разными цифрами, но лакеи не хотели пустить Тома наверх. Тогда Том отшвырнул одного, особенно наглого, и с

удовольствием отметил, что этот наглый лакей был не кем иным, как известным мошенником Джурсом. Из трехсот дверей Том нашел одну, потому что у него было сердце, которое вывело его из чащи канадского леса, когда он заблудился, убив голубую лисицу, — за этой дверью коварный Джо веселился с Мери, и на ней стояли цифры: 68. Том увидел, что дверь заперта, но он умел в лесу упираться плечом в надрубленное дерево, и через минуту дверь завизжала.

Рядом с Томом стоял режиссер, и он все время просил артиста Джоржа Рэнди сохранять спокойствие, чтобы не испортить главных кадров фильма. Но Джорж не нуждался в подобных наставлениях, он был тверд как камень и, дымя своей трубкой, знал, что ему делать. Он хорошо помнил, что Мери не голубая лисица. Взломав дверь, Джорж увидел нечто ужасное, много ужаснее того, что мог предположить. Мери сидела на коленях Вильяма Покэра, и наглый актер целовал прядь волос над чуть развевающим ухом.

Джорж, на себе испытывший всю храбрость охотника Тома, не мог поколебаться. Он только крепче сжал зубами трубку и, хорошо прицелившись, чтобы не было промаха, выстрелил. Раздался сильный шум, Вильямс упал, и удовлетворенный Джорж ослабилась. Но сейчас же он увидел, что наглец, кося своими желтыми гнусными глазищами, продолжает кокетничать с Мери. Тогда Джорж отбросил негодное ружье и, как истый лесной человек, стал душить Вильяма. Но режиссер и другие люди оттащили его, они кричали, что он сошел с ума и что на него наденут смирительную рубашку. Этого Джорж Рэнди постичь не мог, — почему злые люди позволили актеру Покэру похитить его жену, даже смеялись при этом, а когда он захотел взять свою жену обратно, ведь Мери не лисица, схватили его за руки и начали ругать.

Вильямс Покэр лежал на диване. Его голова была обвязана мокрым полотенцем. Снизойдя к просьбам очаровательной Мери, он простил Джоржа Рэнди — ревнивого мужа и плохого актера. Но режиссер, крайне раздраженный, сказал Джоржу, что он переиграл, что, кроме всего прочего, дым от трубки скрыл его лицо в самые патетические минуты и что фирма «АСУ» не возобновит с ним контракта.

Когда Джорж и Мери возвращались в экспрессе домой, больше не было ни Тома, ни охотничьего ружья, и негр-проводник мог спать без страшных сновидений, Мери злилась на бездар-

ного мужа и не позволяла ему целовать прядь волос над чуть розовеющим ухом.

— Ты идиот! «АСУ» большая фирма. Что мы будем делать?

Но вместо прямого ответа Джорж предпочитал нежно шептать:

— Мери, ты меня не любишь?

И он сравнивал любовь Мери, не выдержавшую одного неудавшегося фильма, со своей, ради которой он боролся с волками, висел на перекладине вагона, падал в снег возле лавки Джурса и терпел насмешки челяди в гостинице «Александрия».

Вскоре показались отвесные скалы нью-йоркских небоскребов, и ничего не напоминало о забытых волках, завывавших где-то в лесах Канады. Даже остатки долларов, до некоторой степени связанных с их воем, исчезли. Начались обыкновенные дни безработного актера.

Часто Джорж, проходя мимо недоступных ресторанов, с вождением думал о вкусной похлебке, которую в милой хижине прелестная Мери варила охотнику Тому. А Мери становилась все злее и злее: она хотела получить платье, ожерелье и зеркальное трюмо. Последнее было совершенно необходимым, чтобы Мери могла увидеть, насколько она прекрасна даже без нового платья. Все эти вещи можно было купить в магазине, и магазинов в Нью-Йорке было очень много, но в любом из них злые люди требовали взамен доллары так же, как мошенник Джурс требовал за зеркальце и бусы шкуру голубой лисицы, и Джорж не мог подарить трюмо раздосадованной Мери. Часто теперь Мери плакала и корила Джоржа за то, что он плохой актер, не умеет отличить кинематографа от жизни и подходит к святому искусству с жалкими замашками ревнивца. Джорж понимал, что он виноват, и давал клятвы быть впредь умнее. В долгие дни безработного актера он много думал и, думая, дошел до того, что все происходящее вокруг — различные filmy хороших или плохих фирм. Джорж основательно подготовился к новой съемке, и теперь даже лучшая фирма «ВВ» могла бы подписать с ним контракт.

Но история фильма «Люди и волки» обошла все американские газеты, и когда Джорж предлагал свои услуги, над ним смеялись так же, как смеялись лакеи «Александрии» над бедным Томом, никто не понимал, что грустная Мери хочет зеркальное трюмо.

Как-то утром Мери сказала мужу, что она идет к актеру Вильямсу Покэру, который работает в фирме «ВВ», чтобы попросить его устроить ее на роли героини, а бездарного Джорджа в качестве статиста. Мери ушла утром и долго не возвращалась. Под вечер обеспокоенный Джордж отправился за ней. Покэр жил на семнадцатом этаже, и, глядя из окон приемной на отвесные скалы домов, Джордж подумал, что режиссер фирмы «ВВ» знает различные трюки и умеет ловко подделывать город.

Услышав шум, похожий на треск аппарата, Джордж решил, что происходит съемка, и прошел из передней в соседнюю комнату. Действительно, он не ошибся. Мери сидела на коленях Вильямса. Они целовались крайне натурально, обнаруживая при этом хорошую школу. Всякий профан решил бы, что они это делают взаправду, но Джордж знал все тонкости кинематографа. Любовная сцена так ему понравилась, что он не сдержался и крикнул:

— Браво! Достоин «ВВ»!

Тогда Мери, испуганно застегивая платье, спряталась за портьерами, а Вильямс Покэр, взбешенный, ударил Джорджа по щеке, ударил очень театрально, но и очень больно. Джордж подумал, какой смешной сценарий, и начал размышлять — комедия это или драма, и как ему надлежит поступить? Склонившись к мысли, что Вильямс и Мери играют драму, он также ударил своего обидчика. Вильямс Покэр тогда достал из шкафа два пистолета и один из них подал Джорджу. Было совершенно ясно, что Джордж не ошибся и что это чувствительная драма. Джордж сохранял полное спокойствие и, зная, что в кинематографе пистолеты и ружья только шумят, но никого не убивают, для вида прицелился, стараясь это сделать как можно эффективней.

Вильямс Покэр упал так же, как в гостинице «Александрия», но на этот раз он не косил своими желтыми глазами, и Мери не улыбалась, а с криками «убийца!» начала громко плакать.

Хотя Джордж понимал, что слезы Мери — кинематографические слезы, он все же смутился, он не мог видеть ее слез.

— Мери, я хорошо сыграл, и ты получишь теперь зеркальное трюмо!..

Скоре пришли статисты в полицейской форме и увели Джорджа. В доме, куда его поместили для дальнейших съемок, было много одинаковых дверей с цифрами, как в гостинице «Александрия». Но это был очень неудобный дом, и Джорджу

приходилось там очень много терпеть. Он даже жалел о перекладине вагона. Единственной подругой, утешавшей несколько его дни, была трубка. Он курил ее и любовался ею, как прекрасным научным изобретением. Правда, в доме, где он находился, совершенно не было ветра, но Джорж помнил, что он должен, как солдат на войне, быть готовым в любой момент кинуться в воду или взлететь на воздух.

Дни шли за днями, и Джорж начал тосковать. Его заставили играть в очень скучном фильме, который зрители безусловно освищут. «ВВ» неожиданно оказалась дурной фирмой.

Наконец режиссер приступил к съемке следующего действия. Вместе с Джоржем играли многие статисты в судейских колпаках. Главный из них был актер, перешедший в «ВВ» из «АСУ» и когда-то игравший мошенника Джурса и наглого лакея гостиницы «Александрия».

Увидев в зале Мери, исполнявшую второстепенную роль, Джорж крикнул:

— Мери, я из-за тебя играю! Мне очень трудно, «ВВ» придумала ужасные условия...

Но Мери ему ничего не ответила. Тщательно исполняя свою роль, она закрыла лицо платочком и отвернулась.

Джоржа отвезли обратно в плохую гостиницу, и снова потянулись однообразные дни. Не выдержав, Джорж написал режиссеру фирмы «ВВ», что долгие перерывы между съемками угнетают его и что он требует ускорения темпа работы. Режиссер согласился с ним и передал через хмурого статиста, одетого сторожем, что завтра состоится съемка последнего эпизода.

Джоржа разбудили ночью. Бедный актер Джорж Рэнди знал, что теперь он окажется на должной высоте и не переигрывает. Ему позавидует сам «король экрана», чья невозмутимая маска глядит с плакатов пяти материков, — японский мим Сако Хакаява.

Место съемки понравилось Джоржу. Он любил на экране все достижения современной техники: массивные танки и карманные телефоны, торжественные обелиски грузоподъемников и легчайшие гоночные машины. Когда его ввели в комнату, он сразу оценил величие и красоту декорации: голые стены, три электрические лампочки необычайной силы и большое кресло, напоминавшее слегка зуболюбное, но гораздо сложнее и внушительнее. Джорж понял, что фирма «ВВ» действительно не останавливается ни перед какими затратами. В сцене

участвовали, кроме Джоржа, еще два мелких актера: один играл пастора, другой, весь в черном, исполнял какую-то не совсем понятную Джоржу роль.

Присутствующий режиссер фирмы «ВВ» в высоком цилиндре предложил Джоржу сохранять спокойствие. Но актер Джорж, испытавший немало трудных съемок, не нуждался в подобных наказаниях. Он понимал, что играет для необыкновенного фильма, который будет демонстрироваться перед миллионами людей в Нью-Йорке и в Риме, в Москве и в Токио. Он сидел величественный на высоком кресле. Вдруг он вспомнил, что мелкой оплошностью едва не испортил фильма, и, с грустью отрывая от губ недокуренную трубку, сказал:

— Возьмите ее; дым может заслонить лицо.

Он сидел и думал о том, что теперь у Мери будет все, и Мери вернется снова к покинутому охотнику Тому. Они уедут далеко, в Канаду, в лес, где остались забытые престарелые волки. Джорж думал о том, что волки все же добрее людей, — у них нет таких трудных фильмов. И когда ток уже коснулся спины великого актера Джоржа Рэнди — охотник Том еще раз прошептал:

— Мери, ты ко мне вернешься?..

А трубку особой модели, предназначенную для шоферов, летчиков и моряков, взял себе на счастье мелкий актер в черном, исполнявший не совсем понятную роль. Вскоре актер уехал в Пикардию, где шла большая съемка войны. Он там играл недолго. Уцелевшая трубка досталась мне. Что касается меня, то я еще играю и, кажется, не последний эпизод. Мне часто приходится курить эту усовершенствованную трубку при полном безветрии. Но режиссер фирмы «ВВ» может быть спокоен, — я не испорчу фильма и в нужную минуту крикну:

— Уберите! Дым может скрыть лицо...

В древности люди носили на себе в качестве амулетов различные камни: от тяги к вину — холодный аметист, от приступов гнева — нежный топаз, в котором осенняя ольха, шафран и всепрощающее солнце, от самой губительной страсти, любовной, — бирюзу. Но камни — вещь дорогая и не всякому доступная. Мне же, по некоторым особенностям моей впечатлительной природы, необходим талисман от чар, которые люди, обладавшие драгоценными камнями, а также избытком фантазии, приписывали различным богиням с поэтическими именами. Счастливый случай послал мне вещь, вернее, останки вещи, прекрасно заменяющие персидскую бирюзу. Это — глиняная голландская трубка со сломанным мундштуком. Как и все голландские трубки, она отличается белизной и невинностью. Целый город — Гуда, в котором восемнадцать церквей и ни одного притона, занимается изготовлением подобных трубок. Сердечные голландки в белоснежных чепцах с голубиной кротостью лепят из голландской земли, столь богомольной, что, безусловно, на ней разыгрались бы сцены священного писания, если бы случайно не заняла ее место грязная и развратная Иудея, хорошенькие чистенькие трубки. Девственные голландцы обжигают их на огне столь возвышенном, что он пылает как нимб вокруг великомучеников и бессребреников. Засим десятки тысяч трубок, среди дюн, плотин, каналов, мельниц, одухотворяют труды и досуги отцов, сыновей, дедов, тестей, зятей, даже несчастных одиноких холостяков.

Все голландцы, как семейные так и холостые, курят свои трубки с исключительной медлительностью, памятуя, что спешит лишь тот, у кого совесть нечиста.

Полуразбитая трубка, которую я бережно храню, хотя она и мало пригодна для своего прямого назначения, принадлежала человеку с незапятнанной совестью — Мартину ван Броуту, владельцу большой фермы в окрестностях Алькмара. История о том, как она перешла в мои недостойные руки, лишившись при этом кончика своего длинного носа, связана с печальными и трогательными воспоминаниями моей ранней юности.



Мне было восемнадцать лет, я еще не курил трубки, изредка для шикю дымя папиросами «Соломка», от которых у меня ныло под ложечкой. Я также еще не знал, что в жизни мне понадобится бирюза или ее суррогат, словом, я был невинен.

Вероятно, судьба, учитывая это, привела меня, обходя грязные Италии, где расплодившиеся герои Декамерона обделяют свои темные делишки, в добродетельную Голландию.

Весной 1909 года я приехал в Алькмар, но, смущенный величием пастора, державшего громовую проповедь в церкви, где по случаю воскресного дня находился весь город, а также хеопсовыми пирамидами красных круглых сыров, я отправился вдоль по каналу и часа два спустя постучался в ворота белого крахмального домика. На стук не спеша вышли двенадцать девушек, или, вернее, двенадцать существ женского пола, ибо к младшей пятилетней девочке вряд ли подходило это определение; что касается старших, то даже тогда я не решился бы утверждать, что они являются именно девушками. Вслед за ними, ступая так, что от одного шага до другого можно было безусловно продумать все глубины Бытия и даже Паралипоменон, показался старик лет шестидесяти, еще крепкий, с бахромой седой бороды, среди которой, как маяк среди пены волн, мигал красный огонь длинной глиняной трубки. После некоторых переговоров, касавшихся одновременно и нравственных канонов и нидерландских флоринов, я получил комнату в доме фермера и мало-помалу стал «своим человеком». Я узнал, что все вышедшие мне навстречу существа действительно являются девушками и, точнее, дочерьми Мартина ван Броота, овдовевшего три года тому назад; что, кроме них и меня, на ферме живут еще восемь работников и семьдесят семь коров, составляющих основу общего благополучия: Мартин ван Броот был главным поставщиком Алькмарской фабрики сгущенного молока, и каждая корова с серебряным плеском роняла в ведра, услужливо подставляемые дочерьми фермера, не менее трех флоринов ежедневно.

Жизнь на ферме не отличалась суетным разнообразием. Коровы жевали — сначала сочную траву, потом не менее сочную жвачку и, дожевав, засыпали. Девушки доили коров, ели хлеб с маслом, стирали или гладили кокетливые передники и также засыпали. Работники же предпочтительно мыли и причесывали коров. Хозяин проверял отправленные бидоны, читал библию и курил трубку. Все эти занятия проделывались с

отменной точностью изо дня в день, за исключением воскресений. В этот день хозяин, дочери хозяина, работники и я хором пели псалмы, пели нескладно, но усердно, а семьдесят семь коров, будучи возвращенными не где-нибудь, а на праведной ферме ван Броота, забывали о жвачке и, прислушиваясь к пению, умильно мычали. Среди нашего безбожного века это напоминало мне наивную картину средневекового мастера, я даже находил, что выражение коровьих морд в такие часы являлось глубоко ретроспективным — как будто это не коровы, приносящие каждая по три флорина ежедневно, а евангельские волаы.

Должен прямо сказать, что мои душевные переживания не отличались ни буколической суровостью буден фермы, ни тихой благостью ее праздников. Среди универсальной идиллии я томился, сам не зная почему. Скорей всего, причины были глубоки и всесторонни: мой нежный возраст и здоровая молочная пища, от которой я быстро окреп и возмужал (при этом не следует забывать, что рядом со мной находились двенадцать дочерей хозяина, из которых только три младших не вызывали во мне ничего другого, кроме преждевременных отцовских чувств). Я не пробовал курить папирсы «Соломка», не читал сочинений Леонида Андреева, но, съев чашку творогу со сметаной, отправлялся в поле и, грустно оглядывая крылья мельницы, пятнистых коров, беленький домик с девятью приманчивыми передниками, декламировал:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,  
Такая пустая и глупая шутка.

Впрочем, эта «шутка» меня глубоко интересовала, и я действительно внимательно наблюдал за окружающим. Я знал, что в книгах самых различных писателей — и классиков, которых мы читали в гимназии, и новых, которых от нас всячески прятали, — изображалась предпочтительно любовь. Все фазы ее литературного развития были мною давно изучены. Я твердо помнил, что, любя, люди становятся ангелоподобными, стреляют в себя и других, идут в Сибирь или в монастырь, словом, начинают жизнь новую, действительно интересную и совсем не похожую ни на будни, ни на праздники фермы ван Броота. Но нигде вокруг себя я не мог обнаружить никаких признаков этого вожделенного события. Дочери фермера, как я уже сказал, помимо работы, еды и сна, ничем не занимались.

Никогда ни один посторонний мужчина не приближался к ферме. Девушки были похожи одна на другую и все вместе на отца — пухлые, румяные и неподвижные. Что касается работников, то и в амбаре, где они помещались, я не находил никаких следов возможной любви. По отношению к хозяйским дочерям они выявляли почтительное безразличие, и, нечаянно задевая локтем грудь девушки, работник Тео равнодушно шел дальше, в то время как я чувствовал, что никак не смог бы пережить подобную катастрофу.

Правда, иногда работники отлучались в Алкмар. Я не решился расспрашивать их, что именно они делают в городе, и удовлетворялся предположением, что городской климат более благоприятствует любви.

Увы, последнее оказалось явно ошибочным, и через месяц мои смутные томления перешли в определенное и острое желание. Неудачный выбор местожительства дал свои плоды — я рьяно влюбился в старшую дочь фермера, двадцатипятилетнюю Вильгельмину. В выборе как будто сказалась моя врожденная склонность к резко выраженным формам — все качества двенадцати сестер были всего определеннее выявлены в Вильгельмине: округлость, белизна, отсутствие окраски глаз, зато украшенных мечтательностью, особой, национальной, чей след хранили и полотна лучших живописцев в музее Гааги, и семьдесят семь коров ван Броота.

Влюбившись, я не знал, что мне делать дальше. Перебрав все литературные воспоминания, я остановился на Тургеневе, я избрал его своим наставником и поводырем. Но от этого мало что изменилось: следуя заветам Тургенева, я продолжал ходить в поле, декламировать стихи и выразительно вздыхать как во время еды творога со сметаной, так и после нее. Только однажды, в горячий июльский полдень, увидев Вильгельмину, плавно проносившую через двор облака своей божественной плоти, я не выдержал и, пренебрегая всеми литературными уроками, прилип губами к ее белой руке, трогательно пахнувшей кислым молоком. Не отняв сразу руки, как я уже после сообразил, по лени, Вильгельмина чудесной ладьей проплыла дальше в дом, а минут пять спустя оттуда выплыл большой грузный корабль — Мартин ван Броот. Усадив меня рядом с собой на приступочку и закурив трубку, он начал издали:

— Когда люди жили в раю...

С грустью упомянув о грехопадении, об искуплении перво-родного греха, о поучениях апостола Павла, он перешел к недавнему событию. Он пустил меня к себе, уверовав в мою невинность и честность, пустил волка в овчарню, где пребывают двенадцать незащитных овец. Неужели же я, ради минутной и к тому же сомнительной утехи, изберу себе уделом презрение на земле и вечный огонь в аду? Он поучает меня, как сына, оставшегося далеко на чужбине без отца, без деда, даже без дядюшки. Я должен забыть о том, что на свете существуют женщины, до того дня, когда пойду, приобретя соответствующее положение и доходы, в кирку вместе с честной невестой. Тогда, чтобы продолжить род и чтобы не впасть в гордыню, на краткий час, неустанно молясь, я смогу познать некоторые человеческие слабости.

Глубоко пристыженный, я выслушал это поучение, длившееся столь долго, что фермер трижды вытряхивал и набивал свою поместительную трубку. Когда же он кончил, я дал торжественное обещание никогда больше своего неудачного эксперимента не повторять.

Обещание я держал крепко, проходя мимо Вильгельмины, потупляя глаза и даже в мыслях не называя ее иначе, как «возлюбленной сестрой». Только по воскресеньям, когда все обитатели фермы, собравшись в столовую, пели псалмы, я решался глядеть на девушку, зная, что в этот день все помыслы людей и даже коров пронизаны божественной благодатью. Правда, в глубине меня жили и острый болезненный зуд, и смутная уверенность, что старик фермер не во всем прав, что, кроме кирки и продолжения рода, существуют высокопоэтические в своей бесцельности и даже запретности минуты, но, будучи юношей скромным и благовоспитанным, я от зуда лечился холодными обтираниями, а от посторонних мыслей — чтением книг абстрактных и малопонятных, как-то: «Влияние света на развитие плесени» и тому подобных.

В конце лета, когда я уже помышлял об отъезде, приключилось событие, сыгравшее крупную роль в моей жизни. Поздно вечером после дождя я вышел погулять, чтобы немного остудить голову, в которой начинали копошиться рубенсовские красоты Вильгельмины. Но от сырой разогретой земли подымался душный туман, и вместо желанного успокоения я почувствовал задыханье и головокружение. Белесые пары напоминали мне дочку фермера во всей ее избыточной красоте, проно-

сящую через двор ведра с молоком. От духоты я даже закашлялся, впал в минутную ярость и, неизвестно кому грозя кулаком, прокричал:

— А все-таки, милостивые государи, любовь существует!..

Это меня успокоило, и я направился к себе спать. Но, проходя мимо крайнего в доме окна Вильгельмины, я услышал странный шум, напоминавший чавканье коров в хлеву. Не размышляя долго, я заглянул в открытое маленькое оконце. В темноте я ясно различил Вильгельмину, совершенно голую, похожую на взошедшее тесто, и какого-то мужчину с красным огоньком дымившейся трубки. Я замер. Вся моя недавняя злоба, все желания исчезли. Вероятно, со стороны я походил на обычного мальчишку, подглядевшего в окошке непристойную сцену. Но я стоял перед раскрывшимися воротами алтаря и благоговейно молился: передо мной впервые разверзлось во всей своей торжественности то таинственное, что я знал прежде лишь по романам Тургенева и по похабным гимназическим картинкам, то, что меня страшило и влекло к себе.

Я не видел лиц — две глыбы, белая и черная, еще — огонек трубки. Но я не пропустил ни одного жеста, ни одного обряда этого прекрасного священнослужения. Когда все завершилось, я услышал шепот Вильгельмины, но слов различить не мог. Я представлял себе, что она говорит о чем-то необыкновенном: о высоких столпах тумана, пронизанных луной, о мириадах миров, о конце и о том, что конца нет. Хотя я знал, что Вильгельмина умеет говорить лишь по-голландски, мне казалось, что она повторяет своему любовнику сладостные слова Петрарки. Я ждал, что ответит ей тот, неизвестный, с красным огоньком, — как он объяснит ей туман, миры и узлы концов. Наконец раздался басок, — почему-то очень знакомый:

— На молоко набавили шестьдесят сентов с ведра...

Я слышал ясно эти слова, но столь же ясно чувствовал, что услышать их не мог, что это — галлюцинация слуха, и от страха я громко вскрикнул. Раздался легкий визг Вильгельмины и короткий, звонкий стук. Я отбежал в сторону и через минуту услышал раздраженное брюзжанье:

— Какой-то негодяй из работников подсматривал! Из-за него я разбил трубку!..

Вслед за этим что-то полетело из оконца в траву. Я подполз и подобрал глиняную трубку с отшибленным носом, еще горячую. Я быстро прошел к себе.

Весь остаток ночи я томился над страшными вопросами: слышались ли мне кошунственные слова о молоке и кто мог быть счастливым возлюбленным Вильгельмины? Трубка не являлась приметой, ведь все голландцы курят точно такие же белые глиняные трубки. Голос показался мне знакомым, но это сходство могло быть иллюзорным. Главное, что мешало мне уснуть,— это смущение: литургия окончилась в одевилем. Если любовник говорил после всего пережитого о сентах, значит, любовь — низость. Если же мне, после всего высокого, что я видел, померещились эти слова, значит, я человек низкий и недостойный приобщиться к таинству любви.

Следующий день был воскресным. Я встал поздно, с тяжелой головой, как после выпивки. Когда я вышел в столовую, все уже были в сборе. На медных тазах горело солнце. Белые крахмальные переднички двенадцати дочерей празднично улыбались, во всем чувствовались мир, невинность, чистота. Я робко взглянул на Вильгельмину, но ее бесцветные глаза проливали обычную меланхолическую мечтательность. Мартин ван Броот начал петь псалом о божьих голубицах. Все подхватили. За стеной семьдесят семь коров умильно мычали. Сжимая в кармане ночную находку, я забыл обо всем происшедшем и, фальшивя, славил неокрепшим баском «святую невинность».

Когда мы кончили петь, фермер, добродушно улыбаясь, оглядел всех присутствующих. В это время он обычно закуривал свою первую воскресную трубку и курил ее, пока дочери накрывали на стол. Действительно, он залез в карман, пошарил с минуту и вдруг раздраженно пробормотал:

— Черт побери, ведь я ночью разбил трубку!..

Услышав слово «черт» в столь неподходящее время, все двенадцать дочерей, восемь работников, а за ними вслед, вероятно, и семьдесят семь коров вздрогнули. Что произошло со мной? В этот миг я терял самое большое и важное, терял то, чего у меня еще в жизни и не было,— предчувствие, веру,— терял все. Но восемнадцатилетний юноша в течение нескольких секунд вырос на двадцать лет, и вместо слез, вместо румянца стыда или визгливых обличений я спокойно вынул трубку, в которой оставалась еще щепотка табаку, и закурил ее перед фермером. Мы взглянули друг на друга и с минуту простояли молча. Какая минута! Потом сразу, одновременно, мы сделали первый шаг, подошли, наши руки столкнулись и

слились в крепком пожатии. Когда же руки наконец расстались, фермер заботливо сказал:

— Если вы выйдете сейчас в Алькмар, то поспеете к дневному поезду. Вильгельмина приготовит вам бутерброды с сыром.

И со свертком бутербродов, провожаемый до ворот двенадцатью дочерьми ван Броота, я покинул гостеприимный домик. Я унес из него нечто более ценное, чем бутерброды,— трубку с отбитым носом, горькую мудрость, низость, боль.

О, я не вылечился от проклятого зуда! Я думаю, что в распоряжении богинь с поэтическими именами не мальчик-стрелок, а целый улей злобных пчел. Я не ропщу. Но когда мне становится невтерпеж, когда я, вновь и вновь отчаиваясь, хочу проверить, где же она,— из сонетов Петрарки и из похабных картинок,— неужели вот в этой, лежащей навзничь и уже готовой завести беседу о молоке и сентах, когда я слишком много хочу, рука моя нащупывает в кармане обломок трубки.

Я припадаю к ней, отравленной двойной слюной старческого сластолюбия и юношеского отчаяния, вспоминаю богомольных коров и нидерландские флорины, вспоминаю отца и дочь — и больше ничего не хочу.

В течение двенадцати лет «Мария», небольшое судно, принадлежавшее «Датской компании экспорта и импорта», совершало регулярно рейсы между Копенгагеном и Рио-де-Жанейро. Другие суда компании не отличались таким постоянством, то и дело меняя Сингапур на Веракрус. Но грузчики копенгагенского порта хорошо знали, спуская под Новый год в трюм «Марии» сепараторы, что они к благовещению будут выгаскивать из трюма кули с пахучим кофе. Появление «Марии» было привычным и неизбежным, как смена времен года. Когда вдали показывалось какое-нибудь судно, все население порта — кабатчики, рабочие, матросы, менялы, торговцы, проститутки — высыпало на набережные, чтобы узнать, откуда оно, чем гружено и куда идет. Но ни копенгагенские школьники первого отделения, ни чистильщики сапог в Рио-де-Жанейро не обращали никакого внимания на «Марию».

В течение двенадцати лет «Марию» водил из Копенгагена в Рио-де-Жанейро с сепараторами и из Рио-де-Жанейро в Копенгаген с кулями пахучего кофе капитан дальнего плавания Густав Ольсон. Другие капитаны меняли суда, но Густав Ольсон не расставался с «Марией». Никто не знает, когда он впервые показался на маленьком скромном судне, нельзя было себе представить рубку «Марии» без Густава Ольсона или Густава Ольсона без рубки «Марии». Кроме «Марии», у Густава Ольсона не было ни других Марий, ни Амалий, ни датских Иоганн, ни бразильских Марианн, ни жены, ни любовниц. Во время стоянок капитан скучал и ждал часа отплытия. Он ходил в портовые кабачки, пропахшие морской сыростью и спиртом, пил залпом виски или джин, слушал рев датских шарманок или плеск негритянских банджо, напомиавших ему голоса воли, а выпив рюмок десять, брал какую-нибудь девку, попадавшуюся под руку, — белесую дочь ютландского фермера или мулатку цвета кофейных зерен — и, не глядя на нее, быстро выпивал все поцелуи, долженствующие утолить его жажду, выпивал залпом, как рюмки джина, довольный тем, что волосы девушек издают запах соли и водорослей, потому что Густав Ольсон любил не женщин, а море, и каждый раз, покидая порт,



он находил свою возлюбленную. Он знал все черты ее лица, и дорога из Дании в Бразилию через пустой темный океан была для него старым проезжим трактом, где знаком не только каждый верстовой столб, но и каждое придорожное деревцо. В шторм, стоя на мостике, он любовался нервическим припадком своей капризной подруги. Да, если бы какая-нибудь — все равно, белесая или цвета кофейных зерен, — заинтересовалась бы, кого любит хмурый капитан, к кому он спешит, обрывая последний поцелуй, Густав Ольсон сказал бы: «Фермер любит солнце, жену и густые сливки, капитан дальнего плавания любит море». Сказав так, Густав Ольсон сказал бы правду, но он не сказал бы всей правды: у него была еще одна любовь. Ее и надлежит раскрыть.

В течение двенадцати лет маленькая черная трубка с мундштуком из слоновой кости не покидала капитана. Влажный ветер дышал в нее столь же рьяно, как Густав Ольсон, и трубка пахла морем. Она дымилась, когда «Мария» пересекала холодные оловянные воды копенгагенского порта. Она дымилась, когда показывались вдалеке белые кубы рио-де-жанейровских домов, белые на темной эмали тропического неба. Она дымилась в бурю и в штиль. Без трубки не было Густава Ольсона, без Густава Ольсона не было «Марии», и для того, чтобы бразильские плантаторы могли бы есть хлеб с маслом, и для того, чтобы датские вдовушки, перемолов пахучие зерна, могли бы пить крепкий кофе, не погасала на своем посту маленькая трубка, набитая черным едким табаком.

Двенадцать лет между Копенгагеном и Рио-де-Жанейро в голом, пустом океане дымилась труба «Марии» и трубка Густава Ольсона. А на тринадцатый произошла катастрофа, без диких бурь, без злостных рифов, без германских подводных лодок. «Мария» везла сепараторы, и «Мария» их довезла, только грузное сердце капитана Густава Ольсона село на мель, и трубка не дымилась больше в его зубах, когда вдалеке показались расположенные полукругом белые кубы на темной эмали.

Это началось в Копенгагене. Когда Густав Ольсон накануне отплытия «Марии» выходил из конторы «Датской компании экспорта и импорта», где получал жалованье и служебные инструкции, к нему подошел молодой человек, странно одетый в рабочую бархатную блузу и элегантные штаны для гольфа.

— Вы капитан судна «Мария», которое завтра отправляется в Бразилию? — спросил незнакомец на очень дурном английском языке.

Густав Ольсон кивнул головой. Тогда странный человек в бархатной куртке, назвавшись Жюлем де Росиньодем, заявил, что ему необходимо переговорить с капитаном по крайне важному и секретному делу. Густав Ольсон предполагал все равно зайти в кабак «Морское солнце» с огромной тыквой вместо вывески. Он предложил юноше следовать за ним, добавив, что в «Морском солнце» хорошее шотландское виски и укромные уголки, где можно побеседовать обо всем на свете, даже о пиратском нападении на суда «Датской компании экспорта и импорта».

В кабаке они застали сцену, очевидно, не редкую, ибо Густав Ольсон гораздо больше удивился волнению своего собутыльника, нежели происходившему, то есть драке между китайцем и датчанином из-за какой-то девки. Датчанин потерял зубы, а китаец — сознание, девка же, ничего не потеряв, весело смеялась. Это происшествие привлекло общее внимание посетителей и дало полную возможность Жюлю де Росиньолю изложить суть своего странного дела.

Ему необходимо уехать в Южную Америку. Правда, послезавтра отбывает пассажирский пароход «Луиза», а «Мария», кроме своих машин, никого на борт не берет. Но на «Луизе» Жюль де Росиньолю ехать не может, ввиду обстоятельств деликатных, а именно — ввиду некоей Занзанетты, которая сейчас находится в отеле «Бристоль» и ждет Жюля, пошедшего купить для нее коробочку пудры. Кроме Жюля де Росиньоля, на «Марии» должна уехать его жена, то есть не жена, а невеста, словом, вот эта самая Занзанетта.

Густав Ольсон очень хорошо понимал, что француз хочет в Америку и что у французца имеется соответствующая дама, сопровождающая его. Но он любопытствовал, почему они оба не могут, купив два билета и прождав еще денек в комфортабельных комнатах отеля «Бристоль», сесть на «Луизу», приспособленную для перевозки особ, начинающих при первом слабом дыхании моря, корчась, извиваться на палубе, в то время как «Мария» приспособлена только для моряков, машин и кулей с кофе. Выпив еще стакан виски, Жюль де Росиньолю мрачно ответил:

— Извольте... Я хотел Занзанетту. Занзанетта хотела изумрудное кольцо. Триста тысяч... У моего дяди, сенатора... Меня

ищут... Вы старый, черствый человек. Вы не понимаете, что такое любовь. А я люблю... С вами я говорю языком цифр. Перевезите меня и Занзанетту. Сто тысяч... Нет — прощайте... Можете звать полицию...

И долговязый человек в бархатной куртке, выпив всего-навсего два стакана виски, стал всхлипывать, как сопливый щенок.

Прежде всего Густав Ольсон приказал: «Перестаньте!» — и налил ему третий стакан. Затем, закулив трубку, он начал обдумывать необычайное предложение француза. Деньги мало его прельщали. Но и страх, что за подобных пассажиров капитан может поплатиться, его не останавливал. Два чувства боролись в сердце Густава Ольсона: жалость к юноше и отвращение к женщине. Он мог терпеть этих тварей на берегу, даже прибегать порой к их услугам, но женщина, первая женщина на борту «Марии», казалась ему оскорблением моря. Жюль де Росиньоль жадно следил за каждым колечком дыма, вылетающим из трубки Густава Ольсона, зная, что сейчас решается его судьба; поняв, что капитан колеблется, после четвертого стакана виски он вцепился в его рукав.

— Капитан! Вы ведь капитан дальнего плавания! А любовь — это шторм! Спасите меня, капитан!..

И против этого капитан ничего возразить не мог. Он пробормотал:

— Приходите с ней в два часа ночи. Я буду ждать у сходней.

Оставшись один, капитан начал тщательно обдумывать, как перевезти в Рио-де-Жанейро эту странную чету незамеченной. Придется уступить им свою каюту. И от мысли, что голая женщина будет корчиться в его милом пристанище, под шестью огромными картами океана, Густав Ольсон безглаголиво поморщился, стукнув трубкой о свой каблук. Но делать было нечего. Пройдя на «Марию», капитан позвал матроса Джо, негра, у которого бразильские пастухи вырезали язык за то, что он обругал какую-то святую «коровой». Двенадцать лет тому назад Густав Ольсон подобрал умравшего Джо и взял его на «Марию». Джо был предан капитану, как лучший из псов.

— Ты будешь прислуживать им. Но никто не должен знать об этом. Смотри, не проболтайся!

Последнее, впрочем, было излишним: бразильские пастухи навеки отбили у Джо охоту что-либо говорить.

В два часа ночи Густав Ольсон и негр Джо увидели две тени в широких плащах. Они быстро спустили их в каюту. Зажигая свет, капитан отвернулся, чтобы не видеть лица женщины, которая осквернит койку, карты, «Марию», море.

А на следующее утро — дымилась труба «Марии», дымилась трубка капитана, и судно покойно проходило мимо маленьких островков с фортами, маяками, амбарами и лебедками.

Только на третий день вечером Густав Ольсон решился пойти проведать своих пассажиров, и, собственно говоря, этот час, а именно — восемь часов пополудни 12 августа 1919 года, может быть отмечен как час крушения капитанского сердца. Все, что он застал в знакомой каюте, было необычайным. Прежде всего — запах. Казалось, что на маленькой жесткой койке расцвели тысячи чудесных цветов, непохожих на морские водоросли и неизвестных капитану. Взглянув на койку, он увидел существо божественной красоты, которое он затруднился бы назвать низким именем «женщина». Это существо, белое и неподвижное, лежало и, чуть скосив глаза, любовалось своей полуобнаженной грудью. Француз, суетясь вокруг, робко звал ее «Занзанеттой». Сняв фуражку, капитан стоял у двери. Он не знал, что ему делать, — уйти или осмелиться поцеловать ручку дамы, как это делают некоторые морские офицеры, или, подобно Жюлю де Росиньолю, завопить:

— Любовь — шторм! Спасите и меня!

Занзанетта приоткрыла крохотный рот, и Густав Ольсон, слышавший только шарманки, банджо и свое любимое море, услышал звуки сладостные, нежные, безусловно доходившие свыше.

— Она говорит, что вы очень милы, капитан, — сказал Жюль де Росиньоль, так как Густав Ольсон не понимал французского языка.

— А теперь, теперь что она говорит? — наивно спросил Густав Ольсон, слыша дивные колокольчики, все еще продолжавшие звенеть.

Жюль де Росиньоль несколько смутился.

— О, теперь она говорит о другом... Теперь она говорит, что если я умру, она тоже умрет... Так сильно она меня любит...

И как бы желая доказать капитану свое право на подобную любовь, француз начал ему рассказывать, как ради Занзанетты он пренебрег честью рода Росиньоль, покинул отчий дом, расстался с любимой Францией и едет теперь в страшную страну, где ядовитые мухи, желтая лихорадка и невыносимая жара.

Но капитан не слушал его — он глядел на Занзанетту, а Занзанетта глядела на свои полуобнаженные груди. Вдруг он заметил, что она чуть поворачивает голову, чем-то огорченная, и протягивает капитану изящный портсигар. Густав Ольсон понял, что Занзанетту обеспокоил едкий дым трубки. Впервые устыдясь своей подруги, он быстро спрятал ее в карман и, неловко сжимая в толстых пальцах крохотную сигарету, стал кашлять от приторного душистого дыма. Занзанетта удовлетворенно улыбнулась и принялась за прерванное занятие, то есть за любованье своими грудями.

Поднявшись через час на палубу, Густав Ольсон уже знал о происшедшей катастрофе. Он не стал ни плакать, ни ругать себя. Будучи капитаном дальнего плавания, он привык, видя перед собой даль, преодолевать все опасности, все преграды. Стоя на мостике с трубкой, слушая гул начинающейся бури, Густав Ольсон знал, что опасностей и преград будет много, он ведь должен достичь не Рио-де-Жанейро, а сердца Занзанетты, если только может быть сердце под холодной полуобнаженной грудью.

Две недели думал Густав Ольсон, как достичь этой цели. Одна фраза Занзанетты его смущала: «Если ты умрешь, я тоже умру...»

Но капитан верил: тот, кто может дать смерть, уж конечно, может от смерти уберечь.

«Мария» находилась в ста милях от Рио-де-Жанейро, проходя мимо длинных цепей скалистых пустынных островов, где не было ни жилья, ни деревьев, ни травы, когда Густав Ольсон понял, что настало время действовать. Спустившись в каюту, он сказал Жюль де Росиньолю:

— В Рио-де-Жанейро при высадке строгий полицейский контроль. Возможно, что о вас дана каблограмма. Лучше высадиться на этих островках — отсюда три мили до берега — и дальше проехать на лодке.

Жюль де Росиньолю не спорил — капитан знает, что говорит. Густав Ольсон добавил:

— Чтобы не привлечь внимания команды, мы спустим вас в шлюпку через час, пока еще не рассвело, и по одиночке. Сначала я отвезу вас, а потом приеду за госпожой Занзанеттой.

Услышав свое имя, женщина, занятая, как и в первый вечер, когда капитан увидел ее, разглядываньем грудей, чуть повела глазами и зевнула.

Капитан позвал Джо.

— Ты спустишь шлюпку и вместе со мной отвезешь человека.

По приказанию капитана «Мария» в четыре часа утра остановилась. Сонный младший помощник, стоявший на вахте, не заметил, как по веревке спустились в шлюпку три тени. Капитан и Джо гребли, а Жюль де Росиньоль любовался звездным небом юга.

Через десять минут они достигли скалистого островка. Джо остался в шлюпке.

— Идите за мной,— приказал Густав Ольсон.

Скользя по скалам, они достигли пещеры.

— Сюда!

— Но почему? — растерянно спросил француз. Вместо ответа он почувствовал на виске легкий холодок револьвера.

— Вы останетесь здесь. Так хочу я — я, капитан дальнего плавания, Густав Ольсон. Я люблю Занзанетту, и я возьму ее. Не пытайтесь сопротивляться. И скажу прямо, как должен говорить мужчина с женщиной,— не надейтесь на спасенье. Я взял много узлов на юго-восток, и мы теперь далеко от больших морских дорог. Вы здесь умрете.

Присев на камень, Жюль де Росиньоль не пытался ни бежать, ни кричать, ни смягчить капитанское сердце. Безнадежность как бы укрепила его. Он только попросил:

— Застрелите меня.

— Нет, выстрел могут услышать на «Марии».

Случайно в темноте задев лицо француз, Густав Ольсон почувствовал теплые капли, как будто ветер донес до него брызги южного моря. И так же, как в кабачке «Морское солнце», капитан вторично пожалел Жюля де Росиньоля.

— У меня нет виски,— сказал он,— но возьмите эту трубку и кисет. Курите ее — день, два, пока...

И капитан не дождался. Помолчав с минуту, он приступил к самому трудному:

— Наши дела ликвидированы. Теперь я хочу просить вас об этом — напишите Занзанетте, что вы кончаете жизнь самоубийством. Этим вы оградите ее от лишних неприятностей. Если она вздумает поднять тревогу, раскроется история с кражей, и ее посадят в тюрьму как вашу сообщницу. Написав то, о чем я прошу вас, вы перед смертью сделаете доброе дело.

— Хорошо,— голосом твердым и ровным ответил Жюль де Росиньоль,— но мне придется написать ей по-французски — она не понимает английского языка.

Капитан достал из кармана старую карту копенгагенского порта и самопишущее перо. Он зажег маленький карманный фонарь и увидел просветленное лицо француза, выведившего ровные бисерные строки последнего письма самоубийцы. Когда Жюль де Росиньоль дописал и фонарь погас, капитан в темноте крепко пожал его руку. Шлюпка отчалила к «Марии». Оглянувшись, капитан Густав Ольсон увидел в ночи красный огонек трубки.

Наступила минута самого страшного испытания. Спускаясь с письмом в каюту, капитан думал об одном:

«Если ты умрешь — я тоже умру...»

Занзанетта лежала все в той же позе. Вероятно, за эти полчаса, решившие судьбу ее друга, она не успела шевельнуть пальцем. Капитан протянул ей карту копенгагенского порта, на обороте которой было роковое посланье. Его рука, бесстрашно указывающая путь среди морских туманов и спокойно четверть часа тому назад пожимавшая руку своей жертвы, теперь дрожала. Прищурясь, Занзанетта читала ровные бисерные строки. Густав Ольсон ждал криков, слез, может быть, мгновенной смерти. Но, кончив читать, Занзанетта аккуратно сложила карту, сунула ее за корсаж, бесстрастно улыбнулась и рукой показала капитану свободное место, приглашая его лечь рядом. Это было непостижимо, но, чуя на своей щеке дыхание Занзанетты, Густав Ольсон не мог пытаться разгадать непостижимые вещи. Опьянев гораздо сильнее, чем от бутылки виски, он припал к ее холодной полуобнаженной груди. Привстав, Занзанетта ловко и больно ударила его тупфлей по щеке. Заслонив лицо рукой, капитан растерянно взглянул на нее. Занзанетта, коснувшись рукой его несвежевыбритых щек и своей чуть порозовевшей кожи, укоризненно покачала головой — как мог он щетиной потревожить ее божественную плоть?..

После этого она снова легла на койку и быстро уснула. Капитан сидел на полу. Так прошла первая ночь. К вечеру следующего дня показались белые кубы рио-де-жанейровских домов на темной эмали тропического неба. Капитан стоял на мостике, необычайно мрачный, и в его зубах не было трубки.

Как всегда, «Мария», сдав машины и приняв кули с зернами кофе, после недельной стоянки отплыла в Копенгаген.

В Рио-де-Жанейро капитан купил себе новую трубку, но Занзанетта выкинула ее в иллюминатор. Он покорно сидел у ног неподвижной женщины и зубрил по тетрадке французские слова — прекрасные звуки, вылетавшие из ее крохотного рта. Когда «Мария» прибыла в Копенгаген, Занзанетта объявила Густаву Ольсону, что море ей отвратительно и что она хочет в Париж. Капитан пошел в контору «Датской компании экспорта и импорта», и весь копенгагенский порт — капитаны и грузчики, кабатчики и девки — удивленно гудел, узнав, что Густав Ольсон расстается навеки с «Марией».

Вечером в купе первого класса Густав Ольсон выглянул в окошко — перед ним промелькнуло бледной полоской море и быстро скрылось. Он подумал о том, что жизнь его кончилась.

Целый год прожил Густав Ольсон с Занзанеттой на улице д'Асторг. Занзанетта весь день — белая и сонная, — раздеваясь догола или, точнее, никогда не одеваясь, лежала на шкуре антилопы у вечно пылавшего камина. В комнатах было невыносимо жарко и пахло духами из тридцати узких флаконов, которые она открывала и закрывала, когда ей надоело просто лежать. Но ее любимым занятием было разглядывание собственного тела. Подняв руку или вытянув ноги, она любовалась собой и милостиво предоставляла это также Густаву Ольсону. Она не выпускала его из дому, серебряным голосом роняя дивные звуки:

— Тебя может переехать автомобиль. А если ты умрешь — я тоже умру...

Если же Густаву Ольсону удавалось уйти на час в какой-нибудь кабачок близ вокзала Сен-Лазар, где матросы пили виски, еще храня на своих синих воротниках и обветренных шеях дыхание моря, когда он возвращался, — Занзанетта брала свою туплю и долго больно била ею щеки бывшего капитана дальнего плавания.

Густав Ольсон никак не мог привыкнуть к надушенным египетским сигаретам. Много раз он просил Занзанетту, чтобы она разрешила ему купить трубку, но всегда слышал в ответ:

— Неужели ради меня ты не можешь пожертвовать трубкой?

При этих словах Густав Ольсон вспоминал скалистый островок и красный огонек трубки в ночи.

Густав Ольсон вспоминал море и тосковал. Он уходил в переднюю, где висела его куртка, еще пахнувшая соленым



ветром, долго нюхал ее. Если бы кто-нибудь в темноте коснулся случайно его щеку, может быть, он почувствовал бы теплые капли, подобные брызгам южного моря.

В июле месяце Занзанетта заявила, что она согласна порадовать бывшего капитана и поехать к морю в Доволь. Они остановились в гостинице «Нормандия», и, подойдя к окошку, Густав Ольсон снова после долгой разлуки увидел свою возлюбленную. Была непогода. Море, задыхаясь, яростно ощерясь, кидалось на дощатые купальни, на кафе, на гостиницы, кидалось грозное и бессильное.

Густав Ольсон захотел услышать на щеке его прикосновение и открыл окно. Но тотчас же раздался дивный голос:

— Что ты делаешь? Резкий воздух может повредить моей коже!..

И на щеку Густава Ольсона опустилась туфля. Он должен был дышать ароматом тридцати узеньких флаконов, прибывших на морские купанья в специальном чемодане. Он хотел выйти на берег, но Занзанетта не пустила его. Она была занята своими планами: ей хотелось, чтобы Густав Ольсон купил браслет с бриллиантами в виде змеи, стоивший сто тысяч франков. Густав Ольсон упирался — он потратил за год все свои сбережения, и теперь у него оставались лишь сто тысяч, полученные от Жюля де Росиньоля за переезд из Копенгагена на скалистый остров. Тогда, улыбаясь, Занзанетта обронила:

— Иди и купи этот браслет. Ты не знаешь — у меня будет сын, и мне теперь нельзя волноваться.

Час спустя она любовалась своей рукой, перехваченной браслетом в виде змеи, а Густав Ольсон, потрясенный ее словами, глядя на море, белевшее за стеклом, думал о страшном крушении. Теперь у него будет сын — прекрасный, пахнущий с часа рождения чудными цветами, роняющий в пеленках дивные серебряные звуки. И этому душистому истукану он не сможет показать моря, не сможет вдунуть в его сердце своих плаваний, своих штормов, своего сердца, похожего на это грозное и бессильное море. И впервые Густав Ольсон понял, что он ненавидит Занзанетту, как он ненавидел ее в кабачке «Морское солнце», что ему отвратительны душный запах парфюмерной лавки и стеклянное дребезжанье мертвых слов, что рядом с ним — не любовь, не жизнь, а только женщина, которую можно купить на час за мильрейсы или за кроны, в кабачке Копенгагена или Рио-де-Жанейро, но нельзя брать с собой на судно.

Вечером Густав Ольсон исчез. На следующий день швейцар почтительно осведомился у Занзанетты, где ее супруг. Она, лениво зевая, ответила:

— Не знаю. Может быть, утонул...

Швейцар, не понимая — улыбнуться ли ему шутке или высказать соболезнование, на всякий случай отправился к управляющему отеля «Нормандия» Лебе. Управляющий очень боялся всяких происшествий и робко постучал в дверь комнаты Занзанетты.

— Мосье уехал? — спросил он, замирая, надеясь, что последует успокоительное «ну да, в Париж». Занзанетта, улыбаясь, вынула из шкатулки карту копенгагенского порта, перечла бисерные, ровные строки, вложила заботливо карту назад в шкатулку и спокойно ответила управляющему:

— Ну да. Он уехал далеко. Он уехал за своей трубкой.

После этого она указала управляющему на свободное место рядом с собой, и так как щеки Лебе были всегда чисто выбриты, ее туфля осталась на этот раз без употребления.

Густав Ольсон, приехав в Гавр, сел на первый пароход, шедший в Рио-де-Жанейро. Из пассажиров третьего класса мало кто обратил внимание на угрюмого, немолодого человека, все время молча сидевшего на палубе. В Рио-де-Жанейро Густав Ольсон застал «Марию», грузившуюся, как всегда, кулями кофе. Увидав издали родное судно, он испугался, что его могут опознать, и надвинул фуражку низко на лоб.

Кузив карту и компас, Густав Ольсон отправился на поиски маленького парусника.

— В такую погоду кто повезет? — сказал удивленный лодочник, показывая на высокую волну.

— Я сам, я — капитан дальнего плавания.

И, набавив лодочнику цену, Густав Ольсон отчалил. Он долго боролся с противным южным ветром и только к концу второго дня увидел цепь скалистых островков. Обладая хорошей памятью, среди многих он быстро нашел один и, соскочив на камни, прикрепил лодку. В глубине маленькой пещеры он увидел скелет и нашел трубку из черного дерева.

«Вы будете ее курить день, два, пока...»

Густав Ольсон набил трубку табаком и закурил. Вокруг было только море, и, глядя на его белые оскаленные пасти, Густав Ольсон понял, что в обмене, происшедшем здесь больше года тому назад, прогадал живой, взявший женщину со

стеклянным голосом и духами, а выиграл мертвый, получивший трубку, море и смерть.

Густав Ольсон лег рядом со скелетом. Вдруг он вспомнил, что скоро там, далеко, в жарких душных комнатах с тридцатью флакснами, закричит его сын. Капитан на клочке бумаги написал что-то, твердо и спокойно, так же, как писал на этом месте Жюль де Росиньоль, Занзанетте о своей страшной участи. Свернув записку, он вложил ее в мундштук трубки. Затем осторожно поднял скелет, перенес его на лодку, привязав к мачте и в крепко стиснутые зубы черепа вставил трубку. Подхваченная резким ветром, парусная лодка быстро понеслась к северу.

Густав Ольсон остался один. Жюль де Росиньоль, умирая, любил Занзанетту и курил трубку. Капитан никого не любил и у него не было трубки. Зато он сам выбрал себе прекраснейшую из смертей — на голой скале среди океана.

Три дня спустя матросы «Марии», шедшей, как всегда, из Рио-де-Жанейро в Копенгаген, увидели страшную картину, и даже самые храбрые из них, присмирив, стали поминать имена святых. Навстречу «Марии», быстро прорезая волны, неслась парусная лодка. На ней не было людей, а правил ею скелет с маленькой трубкой в зубах. Новый капитан «Марии», Август Нильсон, преодолевая охвативший и его суеверный страх, приказал своим людям поймать лодку. Но когда матросы стали отвязывать скелет, он рассыпался, и на «Марию» они привезли только черную трубку с мундштуком из слоновой кости.

Вся команда, любопытствуя, осматривала таинственную находку. Трубку раскрыли и в мундштуке нашли записку, адресованную госпоже Ольсон, 19, улица д'Асторг в Париже, для сына Густава Ольсона.

— Это жене нашего бывшего капитана, — закричали матросы и принялись гадать, кто мог погибнуть, привязанный к мачте, и почему в его трубке очутилось письмо сыну бывшего капитана «Марии», по слухам мирно проживавшего в Париже. Только Джо что-то знал, но бразильские пастухи навсегда отбили у него охоту разговаривать.

Трубка с запиской была доставлена в пароходную контору, а оттуда в Париж по указанному адресу. Но оказалось, что никакой госпожи Ольсон больше не существует. Занзанетта жила с управляющим отелем «Нормандия» господином Лебе, и на запрос, имеется ли при ней сын Густава Ольсона, оскорбленно

ответила, что никаких детей у нее нет и не может быть, ввиду того, что дети плохо отражаются на формах тела.

Трубка со вложенной назад запиской валялась несколько месяцев в конторе «Датской компании экспорта и импорта», пока сторож не продал ее старьевщику за пятьдесят эрэ. А за крону я приобрел ее и, не зная о существовании записки, тщетно пытался ее закурить. Наконец я увидел тоненький полустлевший листок и, плохо владея датским языком, долго бился, пока не расшифровал его.

Вот что писал капитан дальнего плавания Густав Ольсон, посылая трубку своему неродившемуся сыну:

«Кури ее и гляди на море, никогда не гляди на женщин, проходя мимо, отворачивайся. Слушай море и, услышав, как сладко говорит женщина, заткни уши. Дыши морем и беги от запаха женщины».

Благоговейно, как сын, я прочел эти наставления и закурил черную трубку. Но я не отворачиваюсь, проходя мимо женщин, не затыкаю ушей, слыша их голоса, не бегу от них прочь. Я курю трубку и вбираю соленый воздух моря. Я знаю, что корабли могут плавать и могут тонуть. Я знаю, что ничего не помогло бедному Густаву Ольсону, что непреложен путь от капитанского мостика к груди Занзанетты и от груди Занзанетты к пустынной скале и мертвым костям. Я знаю, что любовь — шторм, и я не пытаюсь спастись. А почему дует ветер и почему гибнет сердце — этого я не знаю.

Осенью 1920 года бельгийский миллионер Ван Эстерпэд поехал в Конго, не ради каких-либо коммерческих или научных целей, а исключительно для приведения в порядок своей нервной системы, сильно утомленной раутами, бриджем, ежедневной едой и еженощным сном. Выбор места не должен казаться удивительным: каждый совершает поездку согласно своим средствам. Если владельцы десятков тысяч фунтов едут в Остенде или в Спа, а обладающие сотнями тысяч франков доплывают до Греции и Египта, то воровавшему многими миллионами Ван Эстерпэду не подобало выбрать для своих каникул страну более близкую, нежели Конго. Длительность путешествия его не смущала, так как он должен был ехать на прекрасно оборудованном пароходе, где, кроме обычных удобств, имелись площадка для стрельбы в голубей и джаз-банд, в отменной компании, состоящей из четырех почтенных миллионеров и трех услужливых молодых людей, подававших надежды стать миллионерами в самом ближайшем будущем.

Во время плаванья Ван Эстерпэду не удалось отдохнуть, так как он ежедневно ел и еженощно спал, играл в бридж, слушал джаз-банд и за две недели только раз удосужился съездить в лифте на верхнюю палубу, что скорее напоминало воскресную поездку в Остенде, нежели путешествие в Конго. Прибыв в Альбертвиль, пять миллионеров и три кандидата в миллионеры, — с чековыми книжками и с поместительными чемоданами, хранящими предметы первой необходимости от блестящих цилиндров для премьер туземных театров до электрических клизм, — переехали в гостиницу «Брюссель», где продолжали свои повседневные труды, прерванные пятиминутным переездом в прекрасных лимузинах.

Путешественники уже собирались возвращаться в Бельгию, когда одному из молодых кандидатов в миллионеры, который вследствие своего пристрастия к чрезмерно широким штанам слыл спортсменом, пришла счастливая идея дополнить осмотр страны небольшим путешествием вверх по реке Конго в очаровательной яхте «Бельжик». Разумеется, будучи счастливой, эта идея была всеми одобрена, и миллионеры, кандидаты в

миллионеры, чековые книжки и поместительные чемоданы перебрались в уютно обставленные каюты яхты «Бельжик». Отдыхая от стрельбы в голубей и от джаза, они честно продолжали выполнять прочие обязанности: на яхте были — лучший повар гостиницы «Брюссель», фаршировавший крохотные омары спаржей, ананасами и очень молодыми, еще не оперившимися рябчиками, лучший тенор миланского оперного театра, не позволявший ленивцам забыть о требовательных музах, и лакей, взбивавший до легкости белков горы перин из пуха юных гагар. Единственное, от чего путники были освобождены, это трудные оброки, возлагаемые на миллионеров, как и на прочих смертных, безответственными представительницами иного пола. Это было вызвано категорическими пожеланиями консилиума брюссельских профессоров, нежно заботившихся о восстановлении нервной системы Ван Эстерпэда и других утомленных тружеников.

Яхта «Бельжик» плыла вверх по реке три дня и находилась уже на значительном расстоянии от устья. В конце третьего дня, когда путники, закусывая рокфором рябчиков, слушали миланского тенора и думали о своем возвращении в Брюссель, то есть в различные будуары с пеньюарами, приключился инцидент, печальный, но, увы, не редкий в столь диких странах, как Конго.

Яхта «Бельжик» накренилась от резкого толчка, за ним последовали второй и третий. Тенор, разумеется, умолк, а миллионеры принялись визжать. Затем произошло нечто непонятное, в чем Ван Эстерпэд никак не мог дать себе отчета. Он помнил лишь, что сначала увидел каких-то животных, похожих на огромных черных свиней, и удивился туземным людям, позволяющим свиньям свободно гулять повсюду, а также туземным свиньям, находящим удовольствие в купании поздно вечером, когда вода в реке, несомненно, ниже 27°. Далее он почувствовал, что кругом все мокро, и сообразил, что он попал в положение туземной свиньи. Наконец он очутился на берегу, чему способствовали толчки тех же странных животных. Он был доволен сухостью земли, но опечален толчками, которые болезненно отразились на некоторых частях его нежного тела. Почесывая на берегу свой зад, он мог наблюдать картину редкую по живописности, за которую любой кинематограф дал бы дюжину крушений поездов и даже авиационных катастроф: 28 октября 1920 года по европейскому летосчислению стадо

бегемотов (ибо странные животные были именно бегемотами, о чем Ван Эстерпэд догадался, вспомнив свое детство и посещения зоологического сада), резвясь и невинно играя, опрокинуло яхту «Бельжик», причем молодые бегемоты, почувствовав сильный аппетит и пренебрегая советами старых бегемотов, съели не только четырех миллионеров, трех кандидатов в миллионеры, скрипача, повара, лакея, но и поместительные чемоданы с цилиндрами, с электрическими клизмами, за что поплатились трехмесячным запором и изжогой.

Указанные болезненные явления испытывали бегемоты. Что касается Ван Эстерпэда, то, увидев гибель своих друзей, он не на шутку испугался и поспешил удалиться от берега в лежавший неподалеку пальмовый лес. Был тихий теплый вечер. Присев под пальмой на мягкий мох, Ван Эстерпэд почувствовал себя в зимнем саду ресторана «Рен Мари». Какая-то тропическая полуденная птица вполне удовлетворительно заменяла солиста миланской оперы. Прерванное столь неприятно пищеварение возобновилось, и Ван Эстерпэд спокойно уснул.

Проснувшись, он начал искать кнопку звонка, но прижал какого-то огромного жука, сильно ущемившего его палец. Он позвал лакея Гастона, но в ответ с пальм посыпались большие орехи, кидаемые рассерженными обезьянами. Раздумывая, стоит ли тереть вспухшим пальцем шишки на лбу, Ван Эстерпэд мало-помалу очнулся и вспомнил происшедшее. Меланхолично вздохнув, но отнюдь не теряя присутствия духа, он побрел по лесу, разыскивая местное почтовое отделение, чтобы телеграфно выписать из Брюсселя пароход, врача и чемодан со всеми предметами первой необходимости.

Ему повезло — через несколько часов он увидел перед собой если не почтовое отделение, то все же крохотного, черного, совершенно голого человечка. Ван Эстерпэд сразу понял, что это грум какой-нибудь местной гостиницы, и, будучи утомленным, потребовал, чтобы черный человечек повез его на плечах, ввиду отсутствия автомобиля или хотя бы экипажа. Но грум, слушая миллионера, нагло улыбался и, вместо того чтобы присесть, как это делают дрессированные верблюды, начал фамильярно щекотать живот Ван Эстерпэда, срывая с цепочки один из брелочков. Раздосадованный Ван Эстерпэд решил пожаловаться гостиничной администрации, а пока что, проявив хорошие способности, хотя никогда до этого времени не садился ни на человека, ни на лошадь; оседлал грума и закричал: «Гоп, гоп!»

Грум не двигался с места. Миллионер прищипорил его узкими носками туфель, бил набалдашником палки по голове, но в результате грум, вместо того чтобы продвигаться к гостинице, корчась упал на землю. Делать было нечего, и Ван Эстерпэд отправился дальше пешком.

Вскоре он добрел до лачуги и услышал приятный запах пищи. Вспомнив, что за весь день он еще ни разу не ел, и не желая оставаться бездельником, миллионер вошел в хижину, которая легко могла бы оказаться туземным рестораном последнего разряда. На огне жарились куски мяса, а вокруг них прыгала старая женщина, также совершенно черная. Ван Эстерпэд заказал себе порцию отбивных котлет с горошком, но это не произвело на старуху должного впечатления.

Правда, забыв о мясе, она начала прыгать вокруг Ван Эстерпэда, но не делала при этом никаких приготовлений к тому, чтобы накрыть стол, кстати, вовсе отсутствовавший. Ван Эстерпэд готов был серьезно задуматься над правами местных жителей, но запах мяса напомнил ему о невыполненных обязанностях, и, пренебрегая всеми приличиями, пользуясь тем, что четыре миллионера и три кандидата в миллионеры, съеденные бегемотами, не могли увидеть его позора, он взял руками кусок мяса и скушал его, как сэндвич во время пикника. Старуха принялась визжать и даже царапаться. Ван Эстерпэд, оскорбленный тем, что она сомневается в его кредитоспособности, дал ей билет десятифранкового достоинства. Когда же старуха, неудовлетворенная, продолжала свое неприличное поведение, миллионер, вспомнив игру в футбол, которую он наблюдал неоднократно, ударил ее ногой в живот столь ловко, что жадная владелица туземного ресторана покатилась на землю.

Укрепленный сознанием исполненного долга, а также куском мяса, Ван Эстерпэд заглянул в соседнюю лачугу и увидел молоденькую девушку, опять-таки черную. Ему стало совершенно ясно, что большинство людей, населяющих эти места, отличаются черным цветом кожи и, по всей вероятности, являются неграми. В дальнейшем его поведении сказались результаты советов консилиума брюссельских профессоров и отсутствие на яхте «Бельжик» особ женского пола. Ван Эстерпэд, глядя на тело девушки, вспомнил о работах, давно им заброшенных, и решил вместо праздных ожиданий будуаров с пеньюарами снизойти до простой, черной и совершенно голой женщины. Осмотрев девушку, он убедился в том, что ее



устройство не отличается от устройства девушек белого цвета и что достаточно закрыть глаза для того, чтобы не заметить перемены страны, климата и населения. Девушка отчаянно отбивалась и преобильно кусала подбородок Ван Эстерпэда, но миллионер, вспомнив различные приемы опытных брюссельских актрис, не удивился этому и даже похвалил ее искусство. Что касается подбородка, то, вспухший, он вполне соответствовал лбу, хранившему следы обезьяньих игр. Когда Ван Эстерпэд, утомленный, собирался покинуть хижину, он заметил, что девушка злобно визжит, точно так, как это делала старуха. Такой способ выражать свои чувства удивил миллионера — голая девушка, прикрытая лишь одним поясом, да и то сделанным из ничего не стоящих листьев, не могла быть особенно дорогой куртизанкой, и посещение Ван Эстерпэда, радующее даже примадонн Брюссельского королевского театра, должно было только польстить ей. Вынув из кармана чековую книжку, он щедро выписал ей чек за № 406186:

«В Бельгийский королевский банк. Выплатите предъявительнице сего — черной голой девушке — пятьсот франков». Но листок не успокоил девушку, и Ван Эстерпэду снова пришлось прибегнуть к спортивным приемам. Выйдя из хижины, он присел под пальмой на мох, уже доказавший свое право заменять перины, которые столь искусно взбивал лакей Гастон, и задремал. Проснулся он от чудовищного шума. В шагах пятидесяти от него черные люди били палками в натянутые на шести звериные шкуры и издавали при этом рыканье, напоминавшее весь зоологический сад в целом.

Для уяснения дальнейших событий необходимо перейти от переживаний неунывающего миллионера к нравам и обычаям черных людей, которые, по совершенноправильной догадке Ван Эстерпэда, принадлежали к неграм, а более точно — к племени гобулу. Как это ни покажется странным, негры племени гобулу, живущие на огромном расстоянии от Брюсселя и других культурных центров, не имеющие ни гостиниц, ни скромного почтового отделения, являлись людьми крайне этическими. Все они, даже крохотный негритенок, погибший под туфлями и палкой Ван Эстерпэда, прекрасно знали, что на свете существует добро и зло. Но, не обладая ни трудами отцов церкви, ни сводами законов, они не знали, как отличить добро от зла и зло от добра. Для этого им служила священная трубка с изображением бога Кабалаша, умевшего различать все вещи,

в том числе неразличимое добро и зло. У Кабалаша, как у всех богов, были глаза, уши, нос, рот, но познавал он мир своим огромным разверстым пупом. Познание богом Кабалашем вещей непостижимых мало удовлетворяло людей племени гобулу. Гораздо сильнее радовало их то, что при помощи священной трубки бог Кабалаш передавал им крупицу своей мудрости и помогал определить, что в человеке зло и что добро. Делалось это следующим образом. В трубку, вырезанную из твердого кокосового дерева, вернее, в ту ее часть, которая представляла из себя разверстый пуп бога Кабалаша, вкладывалось несколько зерен конопли. Затем самый благочестивый человек племени гобулу, вождь и судья, подносил к своим толстым губам длинный ствол трубки. Зажигая угольком конопляные зерна, он плавно вдыхал и выдыхал душистый дым. К вождю приводили человека, подлежащего испытанию, и вождь, куря священную трубку, долго глядел на пуп испытуемого. Мало-помалу ясновозрожденность бога Кабалаша передавалась вождю. Зло и добро, которые пребывают в человеческой душе незримыми песчинками, вырастали в исполинские горы. Если человек сделал злое дело, вождь, глядя на его пуп, видел сначала копошащегося червяка, потом змейку и, наконец, огромного удава, — такого человека праведные люди племени гобулу убивали и мясо его кидали шакалам. Если человек был добр, вождь видел птицу, овцу и слона, — такому человеку давали барана и пальмовое вино. Так священная трубка помогала людям племени гобулу блюсти справедливость, карать виновных и награждать достойных. Заменяя теологические трактаты и уголовные уложения, она не требовала никаких умственных усилий, превращающих цветущих юношей юридического и богословского факультетов в преждевременных старцев, и вместе с тем не допускала столь частых, увы, судебных ошибок.

Следует отметить, что с точки зрения европейской и так называемой «научной», обычай племени Гобулу легко объяснимы, если вспомнить, что из семени индийской конопли, растущей и в Африке, готовится наркотическое средство, именуемое гашишем. Человек, курящий гашиш или принимающий его внутрь, воспринимает все зримые вещи, звуки, цветы, запахи, даже отвлеченные понятия в сильно увеличенном виде.

Последнее, впрочем, могло интересовать профессоров Брюссельского университета, но отнюдь не людей племени гобулу, вполне удовлетворенных божественной сущностью пупа Каба-

лаша. Ударяя палками в натянутые на шести звериные шкуры и потревожив этим послеобеденный отдых Ван Эстерпэда, они интересовались совершенно другим, а именно — вторжением в поселок белого человека, убившего мальчика, обокравшего и убившего почтенную мать вождя и изнасиловавшего его младшую дочь. Черные люди, ударяя в шкуры, созывали все племя гобулу на совет, как победить белого человека. Было решено, что десять самых искусных охотников на львов, леопардов и носорогов с копьями, дротиками и отравленными стрелами выйдут в лес, сопровождаемые всем племенем.

Охотники тотчас же взяли свои смертоносные орудия и выступили гуськом, причем впереди шел вождь племени гобулу, грозный Канджа, испуская отчаянный утробный гром. За ним рычали, мычали, цокали, блеяли, ржали, верещали, ревели и мяукали все люди племени гобулу. Не успели они исполнить первого куплета боевой песни, как навстречу им показался белый человек, щуривший глаза и сладко позевывавший. Грозный Канджа приготовился к страшному поединку и поднял копьё. Но Ван Эстерпэд, которому очень понравилась праздничная процессия туземцев, очевидно, членов какого-нибудь общества хорового пения, весело улыбаясь, вполне миролюбиво приближался к грозному вождю. Канджа стал выжидать прыжка этого белого зверя. Взглянув на браслет с часами, Ван Эстерпэд увидал, что уже пять часов, и понял, чем вызвано его легкое томление. Потрепав безумевшего от ужаса Канджу по щеке, он сказал страшному вождю:

— У вас здесь очень, очень мило. Но скажи мне, где бы я мог получить пятичасовой чай с легким нексом?

Оправившись, Канджа схватил белого человека. Подбежавшие смельчаки крепкими жилами лиан связали миллионера и потащили его к хижине вождя. Ван Эстерпэд понял, что происходит нечто неприятное, напоминающее вчерашний ужин бегемотов, и тихонько запищал:

— Полицию! Позовите полицию!

Конечно, если бегемоты съели электрические клизмы, люди племени гобулу могли бы сразу съесть пленного, но этому помешали их этические предрассудки. Они твердо верили, что всякая пища, входящая в человека, возвышает или унижает его душу. Съесть сердце льва или печень кондора — значит приобрести храбрость. Съесть уши зайца или хвост лисы — значит стать трусом. Поэтому люди племени гобулу никогда не ели

незнакомых людей, а тела злодеев кидали шакалам, дабы эти гнусные отродья стали еще гнусней.

Не съест белого человека намеревались идеалистические туземцы, а судить его, то есть с помощью бога Кабалаша узнать, что несет он племени гобулу — добро или зло? Канджа взял трубку и, вложив в пуп бога зерна конопля, закурил ее. Сразу на его лице обозначилась улыбка удовлетворения божественной мудростью. Другие люди племени гобулу принялись сдирать с Ван Эстерпада жилет, чтобы обнажить его пуп, ибо именно на пуп должен был смотреть мудрый Канджа. Миллионер, не понимая, почему туземцы так интересуются его животом, решил, что это, очевидно, доктора, и по старой привычке, пока негры, одолевая слишком сложные для них пуговицы, всячески толкали его, зажмурясь, шептал:

— Нет, не болит... и здесь не болит... Все в порядке...

Поглядев на обнаженный пуп белого человека, Канджа ничего не увидел. То есть он увидел то, что видели все: волосатый живот с кружочком, но под ним не было никаких признаков добра или зла. Обеспокоенный столь странным обстоятельством, мудрый Канджа спросил:

— Человек ли это?

Тотчас же люди племени гобулу начали проверять, человек ли Ван Эстерпад, дергать его за волосы, заглядывать в рот, щекотать под мышками и лизать его нос. Догадливый миллионер сообразил, что это, по всей вероятности, осмотр, и скромно предъявил свой паспорт, карточку избирателя, пароходный билет, даже именно приглашение на завтрак к бельгийскому королю. Но все эти бумажки не удовлетворили черных людей, продолжавших проверять достоверность существования Ван Эстерпада руками, ногами и языком. Наконец они ответили вождю:

— Да, это человек.

Канджа закурил вторую трубку и снова ничего не увидел, кроме волосатого живота с кружочком. Им овладел страх, он спросил:

— Правда ли, что я, Канджа, живу и курю священную трубку бога Кабалаша?

На этот раз, сразу, не проверяя очевидности ни руками, ни ногами, черные люди ответили:

— Да, ты, мудрый Канджа, живешь и куришь уже вторую трубку бога Кабалаша.

Тогда Канджа закурил третью трубку и впился глазами в пуп Ван Эстерпэда, тщась найти под ним хотя бы маленького червячка зла или крохотного птенчика добра. Но все его усилия были напрасны. В ужасе он отложил священную трубку и воскликнул:

— Бог Кабалаш видит все. Но не все видит бедный Канджа, даже когда он курит трубку бога. Белый человек — не простой человек. Я не знаю, добро ли в нем или зло. Но если в нем добро — оно больше земли, и мои слабые глаза в нем заблудились. А если в нем зло — оно больше воды, и мои слабые глаза утонули в нем.

Так говорил Канджа, ибо мудрый человек знает, что вечером не солнце умирает, а слезнут глаза; он равно славит бога Кабалаша днем, когда различает далекие облака на небесах, и ночью, когда не может различить даже блох на своей собственной груди.

Люди племени гобулу благоговейно выслушали слова Канджи и опустили на корточки, чтобы хорошенько подумать о них. Подумав, они сказали Кандже:

— Если Канджа не может увидеть белого человека, может быть, белый человек может увидеть Канджу.

Ван Эстерпэду подали священную трубку. Сначала он вежливо отказался, так как курил только легкие египетские сигареты. Но черные люди были упрямы, и, вспомнив о различных неприятных жестах, которыми они сопровождают свои слова, Ван Эстерпэд предпочел взять в зубы ствол трубки. Тотчас же он испытал сладость, неизвестную ему доселе, и нежно улыбнулся. Глаза его закрылись, потом снова раскрылись шире обычного, и миллионер стал глядеть на пупы людей и вещей. Прежде всего он увидел пальмы, более высокие, нежели все его дома в Брюсселе. Затем он поглядел на пуп озера и забыл о всех принятых им в жизни ваннах. Он взглянул на птицу, и в памяти замолкли все джазы, все теноры, все арфы, тысячи театров, кафе, гостиниц. Закончив этот предварительный осмотр, Ван Эстерпэд, безмерно потрясенный, стал рассматривать людей племени гобулу.

Через пуп черной женщины он познал необычайную любовь, о которой никогда не слышал в Брюсселе, — он увидел, как эта женщина теплыми руками схватила ядовитую змею, хотевшую укусить черного человека, которого она любила, чужого человека, чужого мужа; он увидел, как два мужа, свой

и чужой, били эту женщину крепкими лианами, но любовь не выходила из нее.

Глядя на пуп старика, он увидел великое мужество: этот дряхлый человек, спасая черного ребенка, прыгнул на разъяренного носорога и маленьким дротиком просверлил ему мозг.

Другие пупы на животах юных и старых, мужских и женских открыли ему все, чем жив человек: страсть, нежность, ненависть, благородство, предательство, ревность, сластолюбие, страх, скорбь. Миллионер понял, что теперь он воистину родился и увидел мир. От радости он стал плясать, прыгать, визжать и реветь. Вокруг него, упоенные прыжками и рывканьем белого человека, пели и плясали черные люди племени гобулу. Ван Эстерпэд чувствовал, что ему не хочется больше ни пятичасового чая с кексом, ни пеньюаров в будуарах, что он не станет искать почтового отделения, дабы выписать себе пароход, доктора и чемоданы. Он скинул с себя в детском веселье все свои сложные одежды: шляпу, пальто, пиджак, жилет, брюки, подтяжки, воротничок, галстук, рубашки верхнюю и нижнюю, кальсоны, туфли, носки, подвязки и многое иное, а скинув все, нежно-розовый, с гусиной кожей, но с высшей благодатью, катался в густой траве, фыркал и целовал все пупы, научившие его радости бытия.

Черные люди захотели, чтобы белый человек, закурив вторую трубку, взглянул на Канджу, и Ван Эстерпэд увидел целое стадо гадюк, кокетливо высовывающих свои язычки. Канджа был мудр и зол. Убив многих невинных, он стал вождем племени гобулу. Ван Эстерпэд закрыл лицо рукой, глубоко вздыхая. Черные люди поняли, что белый человек увидел в Кандже зло, и, будучи людьми праведными, они убили Канджу, а тело его бросили шакалам.

Шакалы ели мясо Канджи, люди же племени гобулу ничего не ели, и поэтому они были сильно голодны. Присев снова на корточки, они задумались, и тогда самому мудрому, а может быть и самому голодному, пришла счастливая идея:

— Белый человек — святой человек. Если мы съедем его мясо, его сердце и его печень, мы тоже станем святыми.

Будучи счастливой, эта идея была, разумеется, одобрена, и бедного Ван Эстерпэда, подобного розовому новорожденному младенцу, ибо он всего полчаса тому назад увидел мир, за сорок предшествующих лет не заметив ничего, кроме тарелок

и перин, нежного, весело кувыркавшегося в траве, черные люди племени гобулу съели, съели в надежде стать святыми, а также чувствуя сильный голод, съели, как съели бегемоты накануне его бедных товарищей.

Но черные люди были жестоко наказаны: человек должен быть острее бегемота. Они забыли, что белый человек, куря священную трубку бога Кабалаша, не мог взглянуть на свой собственный пуп. А если бы он мог взглянуть, то ничего бы под ним не увидел, как ничего не увидел съеденный шакалами мудрый Канджа. Они съели тощие ягодицы белого человека, и через эту пищу в их души вошло ничтожество. От них ушли навек и любовь и ненависть, храбрость и нежность. Черные люди племени гобулу стали ленивыми, сонными, подобными сытым бегемотам, дремлющим в речной тине.

Не удивительно, что военная экспедиция, посланная на розыски исчезнувших пяти миллионов и трех кандидатов в миллионеры, легко завладела селением людей племени гобулу, убила мужчин, обесчестила женщин, увезла с собой в Брюссель маленького негрятенка, молодого бегемота, который, все еще переваривая электрическую клизму, не мог сдвинуться с места, и священную трубку бога Кабалаша.

Маленький негр стал грумом в ночном кабаре «Фи-Фи»; бегемота отдали в зоологический сад, а священная трубка попала к антиквару на улице д'Ор. Там я отыскал ее среди дамских панталон эпохи Директории и ночных туфель бухарского эмира.

Я никогда не курю ее. Вокруг меня нет ни пальм, ни реки, ни певчих птиц, ни черных людей племени гобулу, ни других достойных вещей, и я боюсь очутиться в положении мудрого Канджи, потерять ощущение реальности бытия, столь необходимое каждому человеку.

Люди очень наивные и очень самоуверенные полагают, что человек является господином вещи, что он может купить ее, подарить, продать или выбросить. Это суждение, разумеется, давно опровергнуто ворохами фактов. Человек всецело подчинен различным вещам, начиная от своей рубашки, той самой, что ближе к телу, и кончая золотом Калифорнии или нефтью Ирака. История различных войн — это томление вещей, выбирающих себе резиденцию, придворных и слуг. То, что возле Салоник в 1916 году умерли многие индийцы, относится главным образом к свойствам характера лотарингской руды. Хроника уголовных преступлений отнюдь не приключения каких-либо особых людей, а просто биография беспокойных вещей, предпочтительно женского обихода. Этому господству вещей равно подчинены люди великие и малые. Шинель, спитая по особому заказу покойного Акакия Акакиевича, жила жизнью не менее патетической и бурной, нежели тога Цезаря.

Самое страшное в явном господстве вещей над людьми — это отсутствие точной науки, которая заранее указывала бы нам на потенциальные силы, скрытые в том или ином предмете. Может быть, моя книга с достоверными данными о жизни тринадцати трубок, владевших, не считая меня, тридцатью пятью людьми различных национальностей, наведет каково-нибудь молодого ученого на мысль о необходимости приступить к серьезным исследованиям психологии вещи. Для начала я предлагаю ему заняться небольшой кустарной трубкой, полученной мной при странных обстоятельствах, о которых речь будет впереди. Трубка эта сделана из простой сосны, не покрашена, хотя бы ради приличия, состоит из маленького бочонка, в который воткнута палка, и могла быть названа трубкой лишь в эпоху величайших иллюзий, когда люди принимали брусничный отвар за чай, капустные листья за табак, а мои книги за изящную словесность. Но вещь, состоявшая из бочоночка и палки, хотела быть трубкой, и трубкою стала. Я расскажу о некоторых происшествиях, тесно связанных с ее жизнью, но должен заранее предупредить и молодого ученого,



и любопытствующих обозревателей, что это лишь отдельные листочки летописи, разбросанной ветром.

В Киеве, на Марииинско-Благовещенской улице, в доме номер тридцать три, жил преподаватель истории Никита Галактионович Волячка. Жил отменно, тихо, и никаких примет за ним не числилось, кроме разве одной,— Никита Галактионович любил вечером, отнюдь не занимаясь письменными работами, неожиданно крикнуть своей жене Агафьи Ивановне:

— Гапка, душа моя, прошу клякс-папиру!

Но подобные казусы случаются со многими, и на них не стоит останавливаться. Настала революция. Ученики Никиты Галактионовича предпочли историю не изучать, а творить, и безработный преподаватель, после длительных неурядиц, весной 1919 года, когда в Киеве утвердилась советская власть, стал сотрудником губзема по части животноводства. Был он сотрудник как сотрудник, умел составлять проекты, и никакие «комиссии по чистке» его не трогали. Опять-таки было маленькое недоразумение — Никита Галактионович однажды отправил на племенной завод молодого элегантного вола, но и это не бог весть какой грех, особенно если вспомнить, что до 1919 года он занимался историей человечества, а не размножением скотов, лишенных чувства истории.

Настал дождливый день — 18 июня. Утром в отделе объявили, что прибыла партия «предметов широкого потребления» — кошельков, расчесок, подвязок и прочего, — всего девять названий и сорок две штуки на восемьдесят семь служащих. Одни предлагали вещи разломать, другие — протестовать письменно, третьи — пользоваться поочередно. Но мудрый секретарь, тов. Кравец, изобрел лотерею-аллегри, и десять минут спустя Волячка, икая от томления, запустил свою тощую гусиную руку в папаху курьера. Кругом раздались завистливые крики: Волячка выиграл — на кусочке бумаги явно значилось «11». Погладив свои жидкие волосики, он помечтал о расческе. Но под номером 11 лежала белая кустарная трубка. Это было несколько непонятным, так как Никита Галактионович отроду не курил, и товарищи тотчас предложили ему меняться, но Волячка обиделся, нежно пощелкал трубку, а завистникам крикнул в злоб:

— Прошу клякс-папиру... вот как!..

Лотерея давно закончилась, а два события все еще продолжали волновать сотрудников. Первое: секретарь, тов. Кравец,

одиноким холостяком, выиграл дамские подвязки. Как я говорил, это произошло 18 июля, а 21-го, то есть ровно через три дня, тов. Кравец отправился в отдел записи гражданских актов третьего комкома с молодой регистраторшей тов. Шель, и всех сотрудников секции по случаю торжества угостил простоквашей. Конечно, довольствующиеся общими местами могли бы сослаться на любовь и на прочие тривиальности, но сотрудники были людьми серьезными и вдумчивыми. Они хорошо знали, что такое «предмет широкого потребления», и, кушая простоквашу, благодарно вспоминали пару розовых подвязок, лежавших под номером 34. Вторым событием, занимавшим сотрудников, являлось чудодейственное перерождение Волячки. В течение трех дней Волячка совершил ровным счетом три злодеяния: во вторник стащил сахарный песок — целый фунт, паек за май месяц тов. Кравца, в среду, заявив, что ягням необходимо срочно размножаться, выпросил у зава тысячу рублей подотчетных, а в четверг вовсе не явился на работу. Тов. Кравец, ввиду своих семейных радостей, к тому же совершенно непредвиденных, простивший Волячке даже фунт сахарного песка, был потрясен, увидев в четверг животновода на Бессарабке, откровенно менявшего сахар Кравца на табак. Получив от солдат целый фунт махорки, Волячка не удовлетворился, вынул тысячу, принадлежавшую еще не размножившимся ягням, и стал торговать другой табак — легкий, высшего сорта. На Кравца он не обратил никакого внимания, а когда секретарь припугнул его соответствующими разоблачениями, взял трубку в рот и прорычал:

— Вы знаете, на кого я похож?

Кравец, махнув рукой, отправился к розовым подвязкам.

С тех пор Никиту Галактионовича не спрашивали ни: «Как ваше?», ни: «Как Агафья Ивановна?», но только: «Как она?» Он отвечал: «Благодарствую — соответствует». Кравец теперь жил для жены — добывал ей ботинки, рис, ввиду деликатности пищевода, пудру; старый агроном Власьев служил своей печурке, таскал проекты Волячки и даже табуреты на растопку: хотя было лето, Власьев предчувствовал холода и заранее обхаживал печку. А Никита Галактионович знал только трубку, и Агафья Ивановна, как бы овдовев, вечерами печалась:

— Ты хоть бы о кляксе попросил...

Но Волячка курил трубку и был непреклонен.

В августе Киев обложили белые. Агафья Ивановна сожгла проекты, размножавшие ягнят и волов, кульки от пашенного пшена и потребовала также казни трубки:

— Увидят сразу, что большевицкая... Хоть белая, а дух от нее такой идет...

Но Волячка, услышав это, взбесился и запел сначала «Интернационал», а потом уже вовсе необъяснимое, и лишь ночью, сжалившись, пояснил недоумевающей жене:

— Подобно курантам...

Агафья Ивановна была права — трубка накликала беду. Как-то под вечер пришел казак, пощекотал Волячкину супругу и рывкнул:

— Коммунисты!..

После чего он начал собирать вещи давнего, романовского периода, когда Волячка был еще преподавателем истории, как-то: будильник, наперсток, ночной чепчик. Агафья Ивановна громко причитала, но Никита Галактионович стоял безмолвно, скрестив руки на груди, подобный монументу. Уходя, казак заметил трубку и вытащил ее из зубов Волячки.

— Это вещь военная, тебе нечего баловаться... Можешь из папа дым пушать...

Казак ушел с трубкой. Но за ним рысью побежал Никита Галактионович. В ночной темноте казался он маленьким жеребенком, сопровождающим огромную кобылу. В одной из пустынных улочек Печерска Волячка взял кирпич, подпрыгнул высоко, ибо росту был неуважительно малого, и ударил казака по голове. Кирпич распался, но вместе с ним и голова похитителя, а Волячка с трубкой загрусил дальше. Домой идти он не решился и вышел на окраину города. Пошел полем. Шел долго, повинуясь, очевидно, трубке, шел дни и дни, дошел до лесов под Почепом, в Черниговской губернии, и там остановился. Крестьяне давали ему хлеба, курил же он сухие листья. Через месяц пришли красные. Волячку чествовали — продефилировал целый полк с оркестром. Он стоял величественно, с трубкой и пришептывал:

— Ранг блюсти. Раз-два!..

Засим, отнюдь не по своей воле, но ввиду отмеченной выше военной доблести, Волячка проследовал с полком на петлюровский фронт. По дороге какие-то жупаны обстреляли эшелон. Два армейца были легко ранены, а Волячка умер от непонятной контузии. Ветеринар и коновал, товарищ Сшиб, объяснил

это сотрясением воздуха. Волячка остался мертвый в овраге, а через три часа воскрес, достал из кармана трубку и, припрыгивая, побежал по дороге. Увидев большую лужу, Никита Галактионович лег на живот и загляделся. Перед ним было крохотное, с кулачок, личико, безбровое, вообще бесстыдно голое, глаза цвета снятого молока, бородавка, грязный воротничок и, наконец, трубка: Волячка осмотром остался доволен и подумал: «До чего похож!..»

Потом он зачерпнул штиблетом воду из лужи, глотнул, сплюнул, ибо вода была густая от рыжей глины, взглянул на запад, где должны были находиться низменные жупаны, убившие его, и торжественно возгласил:

— За шведов!

Я не знаю, что сделал Никита Галактионович после этого загадочного тоста, и вообще его дальнейшая жизнь мне известна лишь по отдельным патетическим эпизодам. Вскоре после перестрелки с петлюровцами Волячка прибыл в село Гвоздилово, Бобровского уезда, Воронежской губернии. Встретив на околице попа, он в ярости зачерпнул его библейскую бороду и начал вопить:

— Двухперстным, контр, орудуешь?

Поп, видавший виды, мигом осознал ситуацию.

— Ни двух, ни трех, но пятиконечной.

За что был пощажен. С короткой дубиной Волячка ходил из двора во двор. Дубинкой бил предпочтительно по голове и поучал, как надо на австралийский лад размножать волов. Председатель совета, он же бывший староста, лукавец Пантелей, попросил Волячку зайти в сельскую читальню и там, медово улыбаясь, заинтересовался его полномочиями. Никита Галактионович вынул большущий лист, на котором в порядке пребывания серп и молот, Пантелей прочел:

— «Мандат сей дан...»

Но чем дальше он читал, тем сильнее дрожала его хитрая рыжая бородка. Дочитав же до конца, он поклонился Волячке в пояс.

— Прости нас, батюшка!

Еще раз поклонился и еще раз попросил прощенья, а потом, ловко нацелившись, сшиб Никиту Галактионовича с ног и стал его дубасить кубом для кипяченой воды, стоявшим издавна в читальне и впервые нашедшим себе применение: Волячку выволокли в поле. Когда стемнело, он приподнялся,

случайно оказавшимся в кармане английским пластырем облепил себе голову и пошел неизвестно куда, бормоча:

— Когда всурьез умру, восплачут «сыны отечества». Никакой трудовой дисциплины! Размножение с помощью коров и трехпольная система...

Дальнейшие вести о Никите Галактионовиче были получены его супругой Агафьей Ивановной в виде официальной бумаги о разводе. Бедная женщина, ничего не соображая, побежала к швейцару Игнату, секретарю домкома, дома под номером тридцать три. Игнат прочел извещение и, будучи в канцелярских процедурах искусственным, заявил Агафье Ивановне:

— Совершеннейший развод, а от вас испрашивает бумагу о непротиводействии.

Агафья Ивановна расплакалась.

— Может, он клякс-папиру хочет?..

Когда происходил этот трагический диалог, сам Волячка находился далеко от родного дома, а именно в городе Пензе, у старой девы Эммы Мюллер. Эта особа родом из Митавы в течение двадцати семи лет была экономкой в доме предводителя дворянства. Когда же не стало ни дворянства, ни, следовательно, его предводителей, Эмма переселилась ко вдове Аглагантовой и жила продажей различных вещей, вплоть до золотой коронки своего собственного зуба. Как к ней попал Волячка, неизвестно, но, войдя в комнату, он вежливо попросил вдову Аглагантову удалиться и, став на колени, промолвил:

— Сваताюсь.

Эмма подумала было, что Волячка насмеяется над ней, и хотела позвать вдову Аглагантову. Но Никита Галактионович шепнул ей на ухо нечто совершенно непостижимое, от чего немка, пикнув, свалилась на взбитые подушки вдовы Аглагантовой. После пятидесяти лет бесплодных ожиданий, в течение которых не только на руку, но даже на безусловную невинность Эммы никто не покушался, найти такого жениха было воистину чудом.

— Смотри, роди сына, — деловито добавил Волячка.

Засохшая грудь Эммы вздрогнула от новых, неведомых чувств. Она была безмерно счастлива. Ее только несколько смущало, что жених не целует ее, хотя бы по-братски, и не говорит ей соответствующих положению нежных слов. Не пустив в комнату вдову Аглагантову, Эмма уложила Никиту Галактионовича на хозяйскую кровать. Он лег не раздеваясь,

с трубкой в зубах, с короткой дубинкой в руке и стал глядеть на потолок неморгающими глазами цвета снятого молока. Эмма не выдержала.

— Приласкай же меня!

Тогда Волячка, занятый высокими и ответственными мыслями, напряг все свои силы, чтобы вспомнить, как люди ласкают друг друга, а вспомнив, крикнул столь громко, что в соседней комнате вдова Аглагантова перекрестилась.

— Катька, душа моя, прошу клякс-папиру!..

Услышав эти несуразные слова, Эмма решила, что жених издевается над нею. Чужое имя и какой-то «клякс-папир» явно не соответствовали рангу гостя. Конечно, перед нею был самозванец. Эмме стало смертельно обидно, что она могла на час поверить проискам проходимца и отдать ему первый трепет своего девственного сердца. Со стоном она выбежала ко вдове Аглагантовой, которая в соседней комнате гладила накидки для смятых гостей подушек. Эмма выхватила из ее рук утюг, и, не помня себя от стыда и злобы, несколько раз раскаленным утюгом проутюжила лицо Волячки. Самозванец больше не дышал. Боясь ареста и казни, Эмма Мюллер со вдовой Аглагантовой убежали в летний сад, где и спрятались под киоском. Никита Галактионович все еще глядел на потолок глазами цвета снятого молока. Ему было очень больно, и лицо его горело. Он тяжело вздохнул:

— Горячее власти опалает любовь...

Приложив к пылавшему носу картошку, он вышел на улицу.

Это курьезное происшествие было в мае месяце 1920 года, а в июле Волячка объявился в городе Уфе. Впоследствии утверждали, что он прибыл туда в качестве инструктора по профессиональному образованию и в первый же день, увлекшись рубанком, отстругал непомерно большое, явно дегенеративное правое ухо мукомола Чукчина. Правда ли это или выдумка досужих сплетниц — не знаю. Как бы то ни было, до 17 июля никакие предержавшие Волячкой не интересовались. В указанный день назначена была вечеринка всех местных комячеек по случаю присоединения к Коминтерну отколовшейся группы PSP (Социалистической партии Парагвая). Вечеринка состоялась в помещении городского театра и протекла достаточно оживленно. Когда все ораторы произнесли

соответствующие речи, настала часть неофициальная, и как члены, так и гости предались веселью.

Оркестр исполнил похоронный марш и «Молитву Валентина». Было угощение: кофе и хлеб, по восьмушке на человека. Часов в одиннадцать, когда празднество близилось к концу, на сцену вышел некий субъект, сильно испачканный гримом, в сподниках и в мундире городничего. На голове его была маленькая самодельная лодочка. Полагая, что это один из артистов, соблазненный восьмушкой и решивший подхалтурить, все приготовились к восприятию монолога. Но актер, сойдя со сцены, воскликнул:

— Размножайтесь, ячейки, с помощью ягнят! — Потом схватил большой жестяной чайник, доверху полный рыжей бурдой, именуемой советским кофе, и закричал почтенному товарищу Рабе, хранителю архива:

— Веселись, буржуй боярский! Я тебя перетряхну, теремовая гидра!

От неожиданности товарищ Рабе присел на корточки. Тогда наглец, приставив носик чайника к губам товарища Рабе, стал с непомерной быстротой вливать бурду в рот хранителя архива, приговаривая:

— Еще штоф, и веселья преисполнись!..

Товарищ Рабе захлебнулся, а преступника увели чекисты. После тщательной проверки он оказался сотрудником киевского губзема Никитой Галактионовичем Волячкой. В Чека пахло селедкой, и Волячку мучила жажда. Часа в три утра он почувствовал ожог на груди под левым соском и сильный зуд. Он лежал у стенки, весь в крови. Потом труп свалили на телегу вместе с другими трупами и повезли в город. Кто поймет, какие страсти испытывал несчастный Никита Галактионович, покачиваясь на телеге, среди холодных трупов, предчувствуя яму и червей? Ведь он до сорока двух лет был отнюдь не героем, а типайшим человеком, преподавателем истории в третьей казенной гимназии, нежным супругом Агафьи Ивановны. Но в кармане его брюк лежала трубка, замаранная свежей кровью, и трубка не позволяла Волячке ни смириться, ни умереть.

По случаю жаркого утра солдаты трупов не зарыли, а кинули прямо в яму. Волячка оказался внизу. Он очень страдал и даже плакал, и его слезы текли на оконечившие трупы, уже

неспособные чувствовать жар человеческих слез. В полдень Никита Галактионович выкарабкался наверх и пополз в лес.

Исчезновение трупа, конечно, никого заинтересовать не могло. В Уфе об испорченной вечеринке все позабыли, а не прошло и месяца, как Агафья Ивановна, готовясь ко сну и расчесывая свои пегие волосы, вскрикнула и упала без чувств. Перед ней стоял на детских ходулях пропавший муж, который еще недавно требовал какой-то бумаги о непротиводействии. Опомнилась она от сильной боли: Никита Галактионович схватил маленькие кривые ножницы, употребляемые Агафьей Ивановной для маникюра, ибо с горя она занялась маникюром, точкой безопасных бритв и разведением кресс-салата, и, пошвыстывая ножницами, как опытный парикмахер, тщился обкорнать волосы супруги.

— Постригу! Интригуешь с меньшевиками, крыса монастырская!

Но, отрезав одну пегую прядь, Никита Галактионович, очевидно чем-то чрезмерно утомленный, потерял равновесие, соскользнул с ходулей и задремал. Величайшая нежность переполнила сердце Агафьи Ивановны. Она перенесла мужа на кровать, раздела его и принялась тихо плакать — все тело Волячки было покрыто синяками, рубцами ран и язвами. Никита Галактионович дрожал от холода — домой он пришел в рубищах. Агафья Ивановна облекла его в свое теплое зимнее платье, повязав лысую голову оренбургским платком. Волячка не сопротивлялся. Он нежно мурлыкал, пока жена одевала его и натирала грудь, напоминая решетку, гусиным салом. Даже у самых испытанных героев бывают минуты слабости. Мудрено ли, что Волячка, попав на супружеское ложе, где в течение многих лет знал золотое бездумное счастье, расчувствовался и покорился? Агафья Ивановна легла рядом, согревая его своей неубывающей, несмотря на продовольственный кризис и бумагу о разводе, шестипудовой добротностью. Засыпая, она слышала райский голос — это, как в давние дни романовского периода, Никита Галактионович, нежно прижимаясь к супруге, попискивал:

— Гапка, душа моя, прошу клякс-папиру...

Проснувшись под утро, Агафья Ивановна от ужаса упала с кровати. Рядом никого не было. Ее рука сжимала теплое платье, а на подушке хитро подмигивал ушками оренбургский платок, еще хранивший форму человеческой головы. Только



собственная плешь Агафьи Ивановны являлась признаком того, что не привидение явилось к ней вчера вечером, — привидения стрижкой волос не занимаются, — а сам Никита Галактионович во плоти, на ходулях, с проклятой трубкой.

Следующего появления Никиты Галактионовича удостоились члены академической комиссии по украшению Петербурга к октябрьским торжествам. Заседание комиссии происходило в большом зале дворца. Членов было восемь, они пили яблочный чай и спорили, так как четверо из них были «футуристами», а четверо «реалистами». Первые предлагали поставить в Летнем саду оранжевые кубы величиной с Нью-Йорк, вторые — нарисовать на стенах Адмиралтейства березу, поющих соловьев и грусть вдовы героя.

Споря, они все время голосовали резолюции, но голоса неизбежно делились пополам, и от этого, а также от яблочного чая, члены комиссии сильно потели.

Стоявший у стены Волячка, никем не замеченный, был удовлетворен и шептал:

— Рьяность и ревность! Прекрасный красный Санкт-Петербург!

Когда же, проголосовав в тридцатый раз одну и ту же резолюцию и, как в первый раз, расколовшись пополам, члены комиссии решили заседание закрыть, Волячка не вытерпел. Он выскочил на председательское место и заговорил. Увидев его, все члены обомлели — действительно, Волячка был страшен: в рваном белье, на детских ходулях, с явно приклеенными к дряблему личику грозными черными усищами, дымивший прожженной трубкой. Говорил он восторженно и безумно:

— За украшение города согласен на дыбу... Навек отрекаюсь от пайков... Опомнитесь, члены... Мое детище... попораны и шведы и Юденич... преуспеваая... А я все претерплю... Бит староверами, железом обожжен, пулей коварной прострелен — службу изо всех сил... Прибуду с женой Катькой... Молю вас об усердии!

И, показывая на один из старых портретов, висевших над столом, Волячка строго топнул ходулей. Опомнившись, все члены комиссии — и футуристы и реалисты — единогласно заверещали:

— Сумасшедший!

И самый молодой, футуристик Чик, поймал Волячку. Но Никита Галактионович лягнул футуриста и быстро улизнул.

В руке Чика остался пучок конских волос, служивший Волячке грозным усом.

А Волячка носился по любимому Санкт-Петербургу и разыскивал синдетикон, именно синдетикон, а не гуммиарабик.

Вечером я встретил Чика, и он рассказал мне о забавном заседании академической комиссии. Сам не зная почему, я сильно взволновался и ночью плохо спал. Рано проснувшись, я побрел по пустынным улицам. На площадях желтела трава. Заштатная столица была величественна и прекрасна. Я направился по проторенной всеми российскими пиитами дороге проверить, не случилось ли чего-нибудь особенного с нашим традиционным благодетелем. Надо признать, что я ужасно завидовал Александру Сергеевичу Пушкину, увидавшему, как всадник скакал по улицам, и не менее его Владимиру Владимировичу Маяковскому, подсмотревшему всех трех, то есть всадника, лошадку и змею за табльдотом в гостинице «Астория».

На этот раз я был вознагражден. Император Петр Первый курил трубку, а под ним валялся голый Волячка с одним приклеенным усом. Трубка достигла своей цели, и Волячка был действительно мертв.

Да, Волячка был мертв, но я, еще живой, недаром плохо спал, встал чуть свет и прилепился к памятнику. Этого хотела трубка. Не смея нарушить ее воли, я, понатужась, влез на статую Петра, взял трубку и, пренебрегая как державностью моего предшественника, так и мерзким вкусом синдетикона, закурил ее. С тех пор я ее курю не очень часто и не очень редко, в минуты, которые назову историческими. Думаю, что и меня она ведет к некоей таинственной цели. Но так же, как Никита Галактионович Волячка, выиграв на лотерее-аллегри под № 11 кустарную трубку, не знал, что он через полтора года умрет у подножья знаменитого монумента, так и я не знаю, что мне еще предстоит. Об этом сможет написать довольно забавный рассказ какой-нибудь из более или менее одаренных потомков.

Во всякой вещи должно быть нечто определенное; а вот эта пенковая трубка какой-то сплошной вопросительный знак. Не мудрено, что, вместо того чтобы улащать досуги отставного прусского фельдфебеля, она перекочевала в страну неопределенностей, именовавшуюся «Российской империей», и пошла мутить без того замутненные души. Судите сами: яйцо, известно даже какое — пасхальное или в другом роде. Яйцо вообще располагает к туманностям: из него может вылупиться петух, может вылупиться курица, а может и ничего не вылупиться. Яйцо пребывает в ручке, как будто дамской, но украшенной манжетой. Спрашивается — почему дама пользуется манжетами? Почему она носит с яйцом? Почему курильщик должен фаршировать яйцо не рубленным луком, а табаком, и прикладываться к сомнительной ручке? И вообще, кому все это понадобилось?

Ясно, что только Жоржик Кевале мог откопать подобную пакость. Странный был человек, — о нем говорили, что он певец, тенор, но никто никогда не то чтобы пеня, даже обыкновенного слова от Жоржика не слышал. Только изредка подымался из его живота мышинный писк, которому сам Жоржик дивился, чувствуя, что это не он пищит, а кто-то посторонний. Приходя в гости, Жоржик терял самые неожиданные предметы: дамский чулок, сырую котлетку, губную гармонику и прочее, за что был нежно любим детьми. Каждое лето Жоржик ездил в Германию на воды. Свойства этих целебных вод он не различал, но любил, чтоб они были потухлее на вкус. Иногда, после лечения, он невероятно толстел, так что лопался его вязаный жилет, обнажая девичью рубашку с розовым бантиком, иногда терял пуд, и тогда у него под мышками явно обозначались какие-то углы и пружины.

В 1901 году Жоржик случайно попал в специальный дамский курорт, соблазнившись особой тухлостью его источников. Не желая лодырничать, Жоржик стал лечиться от женских болезней. Его глаза быстро приобрели таинственный отсвет вечной женственности. Закончив лечение, Жоржик приступил к закупке различных подарков для своих друзей. Каждую осень

он привозил друзьям чихательный порошок, бронзовых собачек, проделывающих все, что полагается, резиновые конфеты и тому подобные сувениры. Увидав в окне аптекарского магазина пенковую трубку неопределенной формы, Жоржик сразу понял, что она предназначена именно для его друга Валентина Аполлоновича Кискина, мужа храброго, воли непреклонной, как бы взятая из античной мифологии.

Вскоре после своего возвращения в Россию Жоржик явился в имение Валентина Аполлоновича Лирово, преподнес трубку в футляре, обронил живую черепаху, разок пикнул и скрылся.

Валентина Аполлоновича равно смутили и яйцо и рука. Вероятно, он не закурил бы трубку и человечество было бы избавлено от многих бед, если бы не коварное вмешательство его мечтательной супруги Асеньки:

— Какая изящная! Это не то что твой корявый чубук! Ты только посмотри на ручку — прямо скульптура!..

Валентин Аполлонович хотел было возразить, — «А чья она, собственно говоря, рука эта, то есть какого пола?» — но промолчал и, соблазненный речами супруги, трубку закурил.

Через месяц яйцо посмуглело, а характер Валентина Аполлоновича резко изменился. Он совершенно забросил карты, верховую езду и агрономические трактаты. Приказав достать с чердака старые пяльцы, он целыми днями вышивал анютины глазки по палевому полю, а вечерами читал «Бедную Лизу» и так выразительно вздыхал при этом, что прислуга, проходившая мимо дверей, суеверно крестилась. Напрасно Асенька не гасила за полночь свечи, поджидая своего мужа. Валентин Аполлонович, при всем обширном телосложении, спал теперь в тесном мезонине, на узенькой девичьей кровати.

Как-то, сидя в сумерки у окошка и с томной негой' взирая на перистые облака, Валентин Аполлонович признался горничной Луше, накрывавшей стол к ужину:

— Хорошо бы теперь о женишке погадать.

Отчего Луша немедленно выронила на пол все тарелки.

Перемену, происшедшую в Валентине Аполлоновиче, замечали все. Приехавшая из города тетка Асеньки, госпожа Упрува, спиритка и возвышенная натура, сказала племяннице:

— Мне кажется, что в твоего мужа вселилась новая душа. Он стал похожим на тургеневскую девушку.

А ключница Настя, глядя, как барин кушает монпасье и вздыхает, говорила Луше:

— Добрый какой стал, все жует и стонет, будто мерин...

Через год монпасье окончательно заменило Валентину Аполлоновичу куренье, и трубка, успешно поработавши, на пятнадцать лет уснула в зеленом бархате футляра. Зато комнаты лировского дома оживились писком нового существа, как будто в них поселился Жоржик Кевале,— у Асеньки родилась дочь. Узнав о радостном событии, Валентин Аполлонович несколько удивился, но вскоре сообразил, что иные плоды созревают в диком лесу безо всяких человеческих усилий. Он только попросил супругу:

— Назовем ее Евгенией. Евгения — это Виргиния. Я верю, что когда-нибудь придет Поль... придет и к ней, и ко мне...

После этого, как я уже сказал, трубка пятнадцать лет находилась без работы, и люди как в Лирове, так и в других местах, ничего неопределенного не испытывали, за исключением, пожалуй, купчих, посещавших спектакли Метерлинка, и молодых снобов, выпивавших чересчур много дамского ликера крем-де-какао.

К началу следующего действия, разыгравшегося летом 1917 года, положение в Лирове было таково: Валентин Аполлонович вышивал бисером туфли, Асенька смотрела за именем, днем принимая управляющего с докладом и отдавая ему ночью, а пятнадцатилетняя Женя покорно трудилась над родами во французской грамматике, путая неизменно «а» и «е». Внешние события потревожили этот трогательный семейный уют. Люди низшего сословия потеряли всякое уважение к людям сословия высшего, и Настя, слушая, как трогательно вздыхает Валентин Аполлонович над «Бедной Лизой», теперь выражалась более определенно:

— И когда этот мерин сдохнет!..

В сентябрьский ясный день какие-то бандиты прискакали в Лирово. Валентину Аполлоновичу, жившему в романтической атмосфере начала прошлого столетия, пришла гениальная мысль. Он обратился к Жене, тщетно бившейся над выяснением рода слова «отец», ибо «ле пэр» и «ла пэр» для нее звучали одинаково веско, со следующим предложением:

— Женя, оденься мальчишкой, скажи им, что ты тоже бандит и что ты здесь все взял дочиста.

Девушке очень понравился неожиданный маскарад. Через пять минут она любовалась собой в штанах и гимнастерке внука Насти. Для вящей убедительности она взяла со стола трубку, закурила и бойко выскочила на крыльцо.

— Вы откуда, товариш, будете? — спросил ее рябой солдатик, державший закусочный сервиз, реквизированный в соседнем имении, и теперь резонно искавший закуску.

— Мы-то? Мы с севера, тульские, — ответила Женя.

Опасность была предотвращена, и девушка могла бы спокойно вернуться к своим грамматическим упражнениям, но, очевидно, ей это мало улыбалось, она предпочла, дымя трубкой, отправиться вместе с рябым «товарышем», верхом на беговых рысаках, в гости к сенатору Тишемышеву добывать закуску. Пригрозив Тишемышеву пулеметом, Женя приказала подать соответствующее, выпила рюмку тминной, крякнула и понюхала корку хлеба. Сын Тишемышева, правовед, все время, пока длился ужин, стоял у стены в позе летучей мыши, заслоняя рукавами портреты своего деда в орденах и бабки в кружевах, которые могли ввести гостей в излишний соблазн. Кроме того, спасая честь рода и желая смягчить сердца пришельцев, он исполнял на расческе различные революционные арии.

Основательно закусив, Женя икнула, щелкнула сенатора по носу, обругала его всякими мной из стыдливости не повторяемыми словами и грозно закончила:

— Ты у меня раком засигаешь, грыжа полосатая!

У правоведа же она потребовала наусники, как вещь ей совершенно необходимую, и выдала расписку:

«Одну пару наусников получил сполна Женя Кискина».

После чего, братски поцеловавшись с «товарышем» и дымя трубкой, она возвратилась в отчий дом.

Результаты визита Жени в имение Тишемышева были самые неожиданные. Если сенатор слег от гастрического заболевания, — это, конечно, в порядке вещей. Гораздо труднее понять поведение его сына. Правовед, прочитав несколько раз оставленную Женей расписку и выпив бутылку валерьяновых капель, сообразил наконец, что солдат, грозивший пулеметом, был не кто иной, как дочь соседа Кискина. А сообразив это, он почувствовал прилив незнакомых ему доселе чувств, надел парадный мундир и отправился в Лирово. Поцеловав по рассеянности пухлые пальчики Валентина Аполлоновича, он сразу приступил

к делу и попросил у Асеньки руку ее дочери Евгении Валентиновны. Асенька, сложив в уме нули различных капиталов и приняв во внимание общий упадок народного хозяйства, быстро дала свое родительское согласие. Растроганный Валентин Аполлонович всплакнул и заявил, что немедленно займется шитьем пеленок для своего будущего внука. Но когда родители хотели поделиться с Женей приятной новостью, они нашли ее сидящей на заборе и горлающей изо всех сил:

Девочки-бутоны  
Пьют одеколончики,  
А я, малец, сдуру  
Крою политику.

— Сын сенатора Тишемышева просит у нас твою руку,— пренебрегая местом и обстоятельствами, торжественно объявил Валентин Аполлонович.

— Когда я куплю себе в Харькове перчатки для бокса, сын сенатора сможет вполне оценить мою руку,— ответила Женя и выразительно сплюнула.

Валентин Аполлонович, вспомнив трубку с ее двусмысленной ручкой, свою неудавшуюся жизнь, трагедию «Бедной Лизы», а также неприбытие желанного Поля, тихо расплакался. Но нежная Асенька поступила разумно, а именно: голосом, не терпящим возражения, она приказала дочери Евгении слезть с забора и вспомнить, что она девица благородного происхождения (последнее в устах Асеньки звучало особенно убедительно). Женя, скромно сделав книксен, отправилась в свою комнату и над французской грамматикой начала гадать, какого рода слово «мать», «ла мэр» или «ле мэр», но, не разрешив этой проблемы, уснула.

Видя странные наклонности дочери и воспользовавшись общим затишьем, вызванным оккупацией германскими войсками губернии, где находились оба имения, Асенька решила свадьбы не откладывать. Валентин Аполлонович участвовал в шитье подвенечного платья и не раз кокетливо примерял его, украшая свою алую лысину снежным флердоранжем. Скромный по природе правовец усиленно штудировал сочинение доктора Штрауса «Советы молодому мужу». Совсем иначе готовилась к торжественному дню Женя. Последнее время она вела себя отменно и никогда не забывала покраснеть при встрече с женихом. Время от времени, куря тихонько на скотном дворе пен-

ковую трубку, к которой Женя, увы, пристрастилась, она перед свиданием с правоведем съела не менее полуфунта мятных конфет. За два дня до свадьбы под видом меланхоличной прогулки она отправилась в деревню Ломач, расположенную в трех верстах от Лирова, и легко разыскала там рябого «товарыша». Беседа носила задумчивый характер, но содержание ее осталось никому не известным.

Наступил прекрасный час венчания. На традиционные вопросы о согласии правоведа, вспомнив сочинение доктора Штрауса, восторженно ответил:

— О, еще бы!..

Женя ничего не ответила, только вытащила из кисейного корсажа огромный фуляровый платок табачного цвета и громко высморкалась. Все были растроганы, а с Валентином Аполлоновичем приключилась даже легкая истерика.

По настоянию родителей Жени молодые остались в Лирове. Вечером Валентин Аполлонович исполнил для них романс на слова Дельвига, дал Жене несколько материнских наставлений и с большой свечой отправился лично проводить молодых в спальню. После этого старики, вместо того чтобы спать, занялись в столовой — Валентин Аполлонович гаданьем: кого ему пошлет господь — внука или внучку, а Асенька подсчетом расходов по ремонту закуток для трех боровов.

Комната молодых выходила прямо на балкон. Подумав о докторе Штраусе, правоведа погасил большую свечу и прошептал:

— Кошечка!

Женя ласково отозвалась:

— Котик!

После чего кошечка сказала мужу, чтобы он ложился, она же придет к нему через несколько минут. Правоведа послушно разделся и закрыл глаза. Впрочем, глаз он мог и не закрывать, так как в комнате было совершенно темно. Четверть часа спустя он вздрогнул от нежного прикосновения, вскочил, страстно прижался и дико, нечеловечески закричал. В одной рубашке выскочил он на балкон и продолжал испускать отчаянные вопли. Вслед за ним проскользнул осторожно рябой «товарыш» и быстро скрылся среди деревьев парка. На крики прибежали перепуганные родители, не закончившие ни гаданья, ни подсчетов. Правоведа, забыв о своей природной скромности, кинулся на Асеньку и даже лягунул ее своей тощей ножкой.



— Вы меня обманули! Вы меня женили на мужчине! Я этого не допущу! Теперь вам не большевики! Я подам заявление в Центральную раду!

Валентин Аполлонович упал без слов на пол, а когда ему дали понюхать соли, пропищал:

— Проклятый Кеволе! Где его трубка?..

Но трубки уже не было в Лирове. Она дымилась в зубах молодого человека, пробравшегося лесом к советской границе.

Через неделю в Курске появился молодой комиссар наружности весьма боевой, Евгений Валентинович Кискин. На местных жителей он произвел сильное впечатление как двумя дюжинами пулеметных лент, которыми был обмотан с головы до ног, так и мандатом, напоминавшим простыню. Среди многих других пунктов в мандате значилось, что товарищ Кискин имеет право реквизировать свободные танки, брать на учет туалетные принадлежности, привлекать епархиалок к отбыванию воинской повинности по производственной программе и арестовывать японских шпионов, находящихся как в городе Курске, так и в Курском уезде.

Товарища Кискина неизменно сопровождала делопроизводительница музыкальной секции Наробраза Эмма Кацельпуп. Присутствие ее явно угнетало комиссара, но страсть оказалась сильнее страха перед двумя дюжинами пулеметных лент, которые товарищ Кискин грозил пустить в ход, и Эмма с каждым днем делалась все настойчивей. Обыватели серьезно спорили меж собой, кем она является — танком, епархиалкой, японским шпионом или туалетной принадлежностью, но Эмму Кацельпуп подобная классификация мало интересовала. Решившись, храбрая делопроизводительница проникла в седьмое советское общежитие, где товарищу Кискину была предоставлена комната, примерно около трех часов ночи, показав часовому вместо предписания об обыске тетрадку нот, скрепленную если не казенной печатью, то сотней рассыпных папирос. Товарищ Евгений мирно лежал на кровати, куря свою трубку. Эмма Кацельпуп вбежала в комнату, замкнула крючком дверь и упала на грудь комиссара, томно подывая:

— Не гони меня, о мой красный Нарцисс!

Через минуту все седьмое общежитие проснулось от звериного вопля. На лестнице Эмма Кацельпуп, вцепившись в коменданта, кричала:

— Вы понимаете, товарищ, что разбиты все мои идеалы! Как я могла предположить, — он же курил трубку! Я оскорблена! Трижды оскорблена: как сознательный работник, как женщина, как грядущая мать!..

Когда первая суматоха улеглась и рыдающую Эмму Кацельпуц отвезли, не понимая темного значения ее слов, в родильный приют, товарищ Кискин счел благоразумным покинуть седьмое общежитие. Крайне взволнованный происшедшим и даже уязвленный в своих целомудренных чувствах шестнадцатилетней девицы, товарищ Кискин забыл на кровати трубку.

Утром произошел ряд непредвиденных событий. Освобождающую комнату Кискина предоставили только что приехавшему в Курск скромному делегату народных учителей Попко. Надо отметить, что Попко был человеком чрезвычайно деликатным, сомневающимся абсолютно во всем: в погоде, в существующем режиме, в госпде бже, а пуще всего в самом себе. Попко вечерами донимал свою супругу совершенно исключительными вопросами. Начиная по-человечески: «Который час?» или «Какое сегодня число?» — он быстро доходил до мистики: «Скажи, Манечка, я твой муж или нет?», «Скажи, деточка, как потвоему, я факт или только твой сладкий сон?», и так далее, пока утомленная Манечка не принималась хлестать его вялые бабьи щеки сухой таранью, вызывая на них румянец младенца.

Вот этот Попко, приехав в Курск и растерявшись на вокзале до того, что отправился к коменданту станции проверить, действительно ли он — Попко, а этот город — Курск, по милости судьбы получил ордер на половину комнаты Кискина в седьмом общежитии. Усталый Попко тотчас вытащил инструкцию, гласившую о том, что он должен делать и чего делать не должен, прочел ее дважды, а прочитав, заметил на второй пустовавшей кровати пенковую трубку. Так как в инструкции трубку курить не запрещалось, Попко робко набил ее своей махорочкой и затянулся. Тогда Курск, комната, его собственные ноги потеряли всякие следы очевидности, и Попко, одурев, задремал, не выпуская из зубов трубки.

В это время Эмма Кацельпуц, освобожденная из родильного приюта, носилась по городу с дикой жаждой мести. Воистину это была роковая женщина. В различных учреждениях она

требовала, чтобы товарища Кискина арестовали как самозванца и субъекта, явно примазавшегося к революции. После долгих увещаний младший комиссар уголовной милиции Гогоченко, подумав, что человек, скрывающий свой пол, по теории вероятности скрывает и нечто иное, как-то: бриллианты или, на плохой конец, серебряный портсигар, отправился в седьмое общежитие, сопровождаемый двумя милиционерами. Увидев бабы вялые щeki Попко, не освеженные прикосновениями сухой тарани, Гогоченко в упор спросил:

— А вы кто такой, товарищ, будете?

Попко, сомневавшийся вообще, а после трубки, одурманившей его, тем паче, робко ответил:

— Кажется, командировочный Попко.

Гогоченко, почуяв правильность показаний Эммы Кацельпуп, грозно рявкнул:

— А ты, собственно говоря, товарищ или баба?

— Может, и баба, — вздохнул печально Попко. — Манечка меня часто зовет «бабой».

Гогоченко приказал немедленно двум милиционерам отвести Попко в губернскую тюрьму.

— Товарищ комиссар, а в какую, в женскую, что ли? — спросил особенно исполнительный милиционер.

Но Гогоченко, занятый приятной находкой — пенковой трубкой, не удостоил его ответом.

Комиссар решил закурить трубочку, но так как вместо спичек у него было зажигательное стекло, он прежде всего начал ловить солнце. День был пасмурный, и словить солнце оказалось гораздо труднее, чем арестовать самозванца-бабу. Гогоченко отправился за город, решив, что там он обязательно найдет солнце, так как каждый раз, когда он бывал за городом, солнце неизменно сияло. Пройдя заставу, комиссар вынул зажигательное стекло и, как опытный птицелов, затаив дыхание, начал ждать. Пять минут спустя, сбитый кем-то с ног, он лежал на земле, а по нему носились взад и вперед два странных существа. Гогоченко было очень больно, но, не теряя мужества, он узнал в одном из существ Эмму Кацельпуп. Она была в мужском костюме и вес ее сапог комиссар ощущал на своем животе. От нее убежала какая-то перепуганная девочка.

Оказывается, Эмма Кацельпуп, не доверяя способностям Гогоченко, решила сама словить коварного обманщика и для удобства нарядилась в костюм сторожа Наробраза, Михалыча.

Ее рьяность не осталась тщетной, и к полудню она отыскала товарища Кискина. Одетый в юбку, он скромно сидел на скамеечке городского сквера и изучал французскую грамматику. Эмма Кацельгуп кинулась к нему с возгласом:

— Держите мазурика!..

Женя, спасаясь, перепрыгнула через решетку, и началась неистовая погоня. По дороге они сшибли автомобиль губисполкома, три агитационных киоска, крестный ход и даже стадо волов, шедших мирно на бойню. Весь город был охвачен паникой. Вскоре на помощь контуженному Гогоченко, по которому продолжали бегать две женщины, прибыли отряд милиции, пожарная команда, артиллерийские курсы в полном составе и поезд для пропаганды. Общими усилиями были пойманы сначала Женя, которая вопила:

— Он меня хочет погубить, как правоведа!

А вслед за ней и Эмма Кацельгуп, рычавшая:

— Она меня навеки обесчестила!

Для расследования обе были Гогоченко отвезены в тюрьму. Отдышавшись, комиссар, который за весь день ничего не ел, закурил наконец найденную трубку. Сразу у него закружилась голова, и им овладел сон. Он, шатаясь, пошел домой, то есть в бывшие номера «Барселона». Было уже двенадцать часов ночи.

Возвращения Гогоченко с нетерпением ждала жена Ксюша. Не то чтобы она очень скучала по супругу, но комиссар возвращался обыкновенно в десять, а в четверть одиннадцатого уже храпел, и сегодняшнее опоздание путало все планы Ксюши. В соседнем номере ждал ее артист передвижной труппы Щупляков. Наконец раздалась шага, дверь скрипнула. Но никто не вошел, и, сообразив, откуда доходили шумы, Ксюша горько заплакала, — на свете не было верности, и Щупляков ее обманывал, как она обманывала мужа.

Войдя в комнату, Гогоченко положил трубку на стол и, не раздеваясь, сильно утомленный всеми событиями дня, лег на кровать. Он успел уже задремать, когда раздался шепот:

— Ксюша!

Гогоченко удивился, почему жена окликает сама себя, но нежно ответил:

— Ксюша!

Тотчас же к нему прижались теплые мягкие щеки. Умиленный Гогоченко ощутил сильный прилив супружеских чувств.

Но не прошло и минуты, как он, сидя на толстом животе актера передвижной труппы Щуплякова, бил его пашкой, милицейской бляхой, даже лавровым венком, висевшим над кроватью. Бил до тех пор, пока на крики актера не прибежали подчиненные Гогоченко. О событии дали знать высшему начальству, и высшее начальство, заботясь о поднятии нравственности среди начальства низшего, приказало Гогоченко арестовать.

Весь следующий день Щупляков, лежа с обвязанной мокрыми полотенцами распухшей физиономией, пил спирт и курил забытую комиссаром трубку.

К вечеру чувство профессионального долга все же победило, и Щупляков побрел в городской театр.

— Что сегодня?

— «Саломея».

Щупляков удивился и хотел вспомнить, какая у него роль, но не смог. Забравшись в уборную, он начал поспешно одеваться. Трубка придавала ему силу и бодрость.

Подняли занавес. Театр был полон. Престарелая женщина в виде пажа провыла что-то о красоте Саломеи. Наступила длительная пауза. Наконец на сцену вылетел кубарем, как во вводном цирковом номере, режиссер передвижной труппы, закудахтал и почесал затылок. За ним грузно вошла гигантская Саломея с невероятным брюхом, в рыжих мужских штиблетах; в зубах ее была пенковая трубка сомнительной формы. Саломея, сделав церемонный реверанс, начала исполнять традиционный танец, оказавшийся на этот раз казачком. Плясала она вприсядку, топотом оглушая зрительный зал, а кончив плясать, глухо пробасила:

— Дайте мне, что ли, его головку!..

Публика замерла. Но, расталкивая всех, прямо по креслам, на сцену пронесся благообразный лысый старичок и, томно упав перед Саломеей, завизжал:

— Бери ее! Она твоя! О Поль, наконец-то ты пришел!

Занавес хотели опустить, но не смогли, ввиду общего экстаза. Начался скандал. Вмешалась милиция и, арестовав старичка, нашла при нем паспорт на имя Валентина Аполлоновича Кискина. Кискина вместе с артистом Щупляковым препроводили в тюрьму.

Весь город был возмущен. События следовали одно за другим с кинематографической быстротой: нападение служащей Нар-

образа на седьмое общежитие, арест таинственного делегата, бегство и буйство двух особ, неподобающее поведение младшего комиссара, наконец, скандал в городском театре. Даже в глазах тупого обывателя эти факты являлись между собою связанными и явно напоминали заговор. Председатель губисполкома вызвал следователя по особо важным делам товарища Каплунчика и предложил ему выяснить обстоятельства, при которых ряд лиц, сомневаясь в самих себе и других, стали совершать поступки, опасные для государства.

Товарищ Каплунчик прочел предварительно несколько томов «Истории революции и контрреволюции во Франции», а затем стал часами разглядывать в лупу оттиски пальцев арестованных. Несмотря на такое трудолюбие, ему не удалось обнаружить никаких нитей заговора. Следователь готов был отчаяться, но на помощь ему пришла жизнь в лице молодого скульптора Дермозола и древнего римлянина Спартака.

Когда пьяного Щуплякова вели из театра в тюрьму, он запутался в длинном шлейфе костюма Саломей, упал, разбил, впрочем уже разбитый Гогоченко, нос и потерял трубку. Вздвоненный успехом, самолюбивый актер пропажи не заметил. Трубку подобрал скульптор Дермозол, но, будучи некурящим, отложил ее на черный день. День этот, то есть черный, настал быстро: Дермозол получил от Наробраза срочное предписание изготовить бюст Спартака для установки его во время празднеств в городском сквере. Казалось бы, что в этом не было еще ничего черного, но следует помнить, что Дермозол стал скульптором исключительно по мобилизации на трудовые работы и не умел даже свалить шарика из хлебного мякиша. Прочитав бумагу, Дермозол поплакал, а затем отправился в училище рисования посоветоваться по душам со сторожем. В училище он узрел два гипсовых бюста: Зевса и Палладу. Зевс не подходил, ибо был стар и потому контрреволюционер, а Паллада, несмотря на мужественный профиль и шлем, являлась все же женщиной. Но Дермозол, занимаясь мелкой спекуляцией, в душе был художником и поэтому недолго думая побежал разыскивать синтетикон.

Когда на следующий день под звуки военного оркестра, а также под раскаты надвигающейся грозы, с памятника сдернули покрывало, — перед всеми предстал юный герой, окаймленный патриархальной бородой, в шлеме, украшенном красной звездой, с пенковой трубкой в зубах. Председатель губиспол-

кома горячо жал руку Дермозолу. Церемония закончилась под проливным дождем, а когда дождь прошел и публика вновь наполнила сквер, вместо Спартака красовался бюст молодой особы, нагло курившей трубку. Милиционеры, привыкшие за последние недели к подобным происшествиям, уже не дожидаясь приказа, потащили гипсовую женщину в губернскую тюрьму.

Товарищу Каплунчику доложили о последнем акте заговорщиков, а также доставили трубку, найденную в зубах гипсовой преступницы. Исключительно по соображениям служебным, он закурил ее, и с этой минуты усомнился абсолютно во всем.

Трубка теперь украшала рабочий стол Каплунчика, и многие храбрые товарищи, соблазняясь ее странной славой, подносили сомнительную ручку в манжете к своим честным губам. В городе Курске началось стихийное неблагополучие. Сам Каплунчик, выступив на митинге, говорил о себе в среднем роде:

— Я опытное существо, я взяло это дело, я изучило его и доведу до конца.

Заведующий выдачей трудовых книжек Обов, выкуривший как-то трубку, не менее тысячи гражданам в графе «пол» вписал нечто невразумительное: одним — «сомнительный», другим — «не значится», третьим просто — «кукареку».

Заведующий губздравом доктор Фейт лег на скамью в сквере и со стоном потребовал, чтобы ему выдавали паек по категории беременных и кормящих грудью.

Жена Каплунчика записалась в Красный Флот. Даже его куры стали нести подозрительные яйца, очень большие и совершенно пустые, кроме того, не в курятнике, а в кабинете товарища Каплунчика, используя для этого его рабочий стол.

В городе начались волнения. Каждый день число заговорщиков увеличивалось. Правда, в тюрьме режим был хороший, но арестованных утомляли частыми переселениями. Начальник тюрьмы, не зная, в какое отделение их поместить — мужское или женское, каждый день, в зависимости от хода следствия, переводил всех скопом, включая и гипсовый бюст, из одной камеры в другую.

Население, подверженное этой ужасной эпидемии, роптало. Пошли слухи, что на могиле некоего артиста Георгия Кеволы,

похороненного в Курске лет десять тому назад, происходят чудодейственные явления и что погребен в ней вовсе не Кеволе, а благочестивая отроковица Аграфена. Говорили, будто из могилы раздается младенческий писк, а порой на ней появляются различные предметы широкого потребления, даже съедобные. Какой-то монах клялся, что он нашел на могиле сочный, спелый фрукт, похожий на айву, и съел его. На могиле служили молебствия. Товарищ Каплунчик распорядился сделать раскопки. При большом стечении народа могилу раскрыли, но в ней оказались лишь один охотничий сапог и дамский корсет. Духовенство продолжало служить молебствия. Каплунчик, между двумя допросами, написал статью «Религия — кокаин» и приобщил найденный корсет к делу.

Кто знает, что стало бы с хорошим губернским городом, если б в одно утро на товарища Каплунчика не снизошло бы божественное вдохновение. Закончив свое безрезультатное следствие, он диктовал машинистке бумагу о предании суду Революционного трибунала двухсот заговорщиков. Кончив часть вступительную, он отчеканил:

— На основании вышеизложенного подлежат суду... — И замолк. Взгляд его упал на лежащую мирно трубку.

— Как дальше? — робко спросила машинистка.

Каплунчик хладнокровно ответил:

— Исправьте: подлежит суду пенковая трубка сомнительной формы.

Оглянувшись, он увидел, что трубки больше не было. На том месте, где только что ручка сжимала пенковое яйцо, пицал живой цыпленок так, как некогда пицал Жоржик Кеволе. Все розыски были безрезультатны. Трубка исчезла и, судя по вопившемуся в Курске спокойствию, покинула город.

Я не знаю, где она находилась в течение двух лет и чьи души погубила. Но этой весной, на второй день пасхи, в скромную комнату, занимаемую мною в одном из пансионов Берлина, вошла незнакомая мне девушка привлекательной наружности.

— Я ваша почитательница, — сказала она, не смущаясь. — Я знаю ваши мысли о конструктивизме и вашу любовь к трубкам, поэтому, чтя, как и вы, святые обычаи старины, я принесла вам пасхальное яичко.

Она протянула мне пенковую трубку сомнительной формы, из-за которой однажды чуть не погиб хороший губернский



город, и, заметив мое смущение, стала уговаривать меня сейчас же ее закурить. Она даже поднесла мне спичку.

Но я, действительно горячо преданный обычаям старины, предложил ей предварительно обменяться традиционными пасхальными лобзаниями. Это занятие сильно затянулось, и таким образом моя находчивость спасла меня от судьбы бедных курия. Когда милая почитательница ушла, я спрятал трубку в ящик стола. Думаю, незачем добавлять, что я никогда не курю ее. Но бывают в жизни различные сложные обстоятельства, и я должен признаться, что одному из приятелей, обладавшему прелестной женой с золотыми кудрями и многими иными достоинствами, я дал однажды покурить пенковую трубку сомнительной формы, смягчив мою жестокость высоким качеством английского табака.

Всякий раз когда мой с детства блудливый язык готовится посягнуть на величественную пирамиду верований, я вовремя останавливаюсь, — передо мною большая, уродливая баварская трубка, ниспосланный мне ангел благого молчания. Я знаю ее историю. Я часто гляжу на нее, но никогда не подношу черного рогового мундштука к моим губам.

В южной Германии — в Баварии и Вюртемберге — крестьяне любят курить вот такие огромные и сложные трубки, трех- или четырехколенчатые, с фарфоровой чашечкой, на которой изображены незабудки, серна или молодая девушка между конфирмацией и свадебным ложем. Впрочем, на трубке, которой я обладаю, нет ни девушки, ни серны, но золотая пчела над розой и прекрасное изречение готическими иероглифами: «Дай мне сладкого меду».

Трубку эту курил в течение двенадцати лет лесничий Курт Шуллер, в маленьком домике на мохнатой макушке Вармефуссовского холма. Курил после обеда и вечером, важно ставя ее меж ног, как царственный жезл, и время от времени отхлебывавая струю холодного дыма. Двенадцать лет жена Курта, белесоватая Эльза, до чрезвычайности напоминавшая хорошо обструганную гладильную доску, помимо варки картофеля и штопки толстых зеленых носков глядела на пчелу, обещающую сладкий душистый мед, и вдыхала тяжелый табачный дух. Хотя лесничий курил хороший гамбургский канастер, Эльзе очень не нравился едкий запах, даже роза не была способна утешить ее. Двенадцать лет она терпеливо ожидала, когда же Курт разобьет трубку, после опыта с кофейным сервизом зная, что фарфор бьется без особого труда. Но ни разу Курт не выронил из своих рук жезла. О том же, чтобы самой разбить трубку, Эльза не смела подумать — даже легкое прикосновение к розе или к стволу трубки, покрытому рыжей оленьей шерсткой, мнилось ей святотатством.

Конечно, плохой запах — вещь не столь важная в обычной человеческой жизни. Но ведь Эльза жила на верхушке Вармефуссовского холма, куда не заходят даже самые предприимчивые туристы. Таким образом, у нее не было ни Марты, ни

Зельмы, чтобы поговорить хотя бы о зеленых носках, но других, то есть принадлежащих Францу или Карлу.

Внутренность дома лесничего также располагала к сосредоточенности и постоянству: олени рога без всякого практического применения, большое деревянное изображение святого Губерта в человеческий рост, двухспальная кровать с двенадцатью подушками и четырьмя перинами, стол, скамья. Так как Эльза не любила ни молиться, ни спать днем, то все часы, оставшиеся свободными после того, как Курт поедал котел с вареной картошкой, она посвящала ожиданию благословенного часа, когда трубка наконец разобьется и перестанет отравлять удушающим запахом тесный, с трудом проветриваемый домик.

Но трубка оказалась долговечнее мира, Германской империи и многих других вещей, скорее напоминавших гранит, нежели фарфор. 4 августа 1914 года Курт Шуллер, надев две пары двойных носков, вложив в сумку хлеб, маленькую дрянную трубочку и пакет канастера, начал спускаться вниз по крутой тропинке, бодро насвистывая военный марш. Жена побежала за ним и в последний раз приложила своей обструганной грудью к его дорожной сумке, обливая ее слезами, походившими на сплошную холодноватую воду горных дождей.

Затем Эльза Шуллер стала ждать часа — уж не того, когда разобьется трубка, — обезоруженная, на стенке, она теперь вызывала лишь нежность, — но иного, когда на тропинке покажется дорожная сумка Курта. После двенадцати лет прежних ожиданий, три года войны прошли довольно быстро. О Курте Эльза ничего не знала. Несколько раз она спускалась в Обердорф, наводила справки, писала прошения, но тщетно. Она окончательно свыклась с необычайной просторностью кровати, с бездыханностью трубки, варила значительно меньше картофеля и больше ничего не ожидала. Впрочем, иногда, ложась на окраину ложа, она потягивалась, глядела на розу и на пчелу, в томленьи сжимала колени и смутно, уже в полусне, шептала:

— Дай мне сладкий, душистый мед!

Этот мед ей был дарован в виде военнопленного, отправленного в Вармефуссовский лес для рубки дров, пензенского бобыля Фаддея Ходошлепова. Когда Фаддей зашел впервые в домик лесничего и мычаньем попросил позволения обогреться, Эльза сразу сообразила все: то есть, не думая об этике и о том, что она изучала перед светлым днем конфирмации, а также не вникая в оттенки национальной проблемы, она стала варить

большой котел картофеля, такой же, как готовила в былые годы для Курта Шуллера. Засим, аккуратно раздевшись, она начала ждать, думая, что этот чужеземец, не понимающий простой человеческой речи, все же поймет, что она одна на широкой кровати напрасно ждет мужа уже в течение трех лет. Так и случилось. Фаддей ждать себя не заставил, и, одухотворенный двойным содружным храпением, маленький домик на верхушке поросшего бумом холма вновь заговорил о любви и о мире.

Но утром Эльза почувствовала, что чего-то недостает ее новому господину. Тогда наступил торжественный миг коронации — кротко, с умиленной улыбкой поднесла она Фаддею четырехколенчатую трубку с пчелой и розой, а также одну из пачек доброго старого канастера, который в изрядном количестве хранился в сундуке Курта Шуллера. Фаддей не удивился, не смутился, уверенным жестом он поставил трубку меж ног и, будто он не Фаддей Ходошлепов, а чистокровный шваб, уже двадцатое поколение владеющий пером на зеленой шляпе, кегельбаном и трехлитровой пивной кружкой, начал выхлестывать сизый, остуженный дым. Эльзу слегка затошнило, но даже эта тошнота была ей приятна. Когда же она вновь подумала, скоро ли эта трубка наконец разобьется, как молочник и сахарница, — ее душу охватила знакомая истома благоденствия впервые после того вечера, когда Курт Шуллер ушел вниз по тропинке на войну.

За этим днем последовали другие, много других, и ничего до 5 мая 1918 года не тревожило ее мирных ночей и робкого упования на бренность трубки. Но в указанный день случилось нечто катастрофическое и выходящее за пределы ее тихого ангелоподобного характера. А именно, часов в шесть вечера, когда Фаддей, доколов во дворе воз дров, сосал священную трубку, Эльза подошла к окну, чтобы глотком свежего воздуха ослабить силу неиссякающего канастера, и вдруг отчаянно кудахтнула. По тропинке подымался Курт Шуллер с дорожной сумкой.

Фаддей, не понимавший ни одного слова, сокровенный смысл кудахтанья мгновенно уловил и, отложив свой желт, быстро выскочил в дверь, скрывшись среди тени вековых бучков. Но с ним не ушел, да и не мог уйти тяжелый табачный дым. Эльза сразу поняла, что этот запах — отчет о сладостных ночах на ложе, недаром обладающем двенадцатью подушками и четырьмя перинами. Чудесное озарение сошло на нее — она взяла еще дымящуюся трубку и приставила ее к деревянной

статуе так, что благоговейно улыбающиеся уста святого Губерта касались рогового мундштука.

Действительно, Курт Шуллер, войдя в домик, не глядя на жену и не слушая ее восторженных всхлипываний, прежде всего стал нюхать, — как мог он не узнать запаха своего старого доброго канастера? Не дожидаясь грозного вопроса, Эльза, богомольно сложив руки на груди, прошептала:

— Он курит...

Робко коснулся Курт еще теплой фарфоровой чашечки и перекрестился. Засим он сел за стол и принялся, степенно по-чавкивая, глотать картофель. Откушав, он не решился потревожить святого Губерта и выкурил безо всякой зависти свою дрянную походную трубочку. Час спустя под четырьмя перинами он смог убедиться в том, что ничего не переменялось в этом доме и что томная нега Эльзы, нерастраченная, ждала четыре года возвращения супруга. О, это не было игрой, ибо свято и невинно отдавалась Эльза Курту, и при виде его зеленых двойных носков гладко обструганная грудь вскипала неподдельной страстью.

Проснувшись рано, Эльза немного удивилась — вместо молчаливой льняной бородки ее щеку цекотали седые жесткие усы. Но еще более сильное изумление ожидало ее: взглянув на деревянную статую, в ужасе и в восторге она увидела, что святой, с удовлетворением улыбаясь, выплевывает изо рта клочья густой серой ваты, точь-в-точь как делали это Курт и Фаддей.

Не в силах скрыть потрясения, она соскочила с кровати и пала на колени, крича:

— Курт, он курит!

Лесничий, утомленный дневной дорогой и ночной негой, нехотя приоткрыл глаза.

— Но ведь ты мне уже раз сказала об этом, — проворчал он и вновь уснул. Потом, уже окончательно проснувшись, он никак не мог понять потрясения жены, которая должна была привыкнуть к подобным чудесам, и отнес его за счет волнения, причиненного супружескими ласками после столь длительного перерыва. Как же могла Эльза объяснить ему различие между вчерашним нежным обманом и сегодняшней достоверностью?

Никогда впоследствии ни Эльза, ни Курт не видели больше, как святой Губерт курит, хотя трубка и оставалась бессменно в его распоряжении. Они склонялись к мысли, что святой, не желая вводить в соблазн слабого человека, курил незримо,

вознося к небу легчайшие облака, лишённые цвета и запаха. Во всяком случае, ни они, ни приходившие из Обердорфа набожные люди не сомневались в том, что святой Губерт курит, и не пытались также выяснить, зачем святому понадобилось заниматься таким плотским и низменным делом, ибо подобные мысли были бы грешным стремлением проникнуть в тайны божественного промысла.

Супруги прожили мирно еще два с половиной года. Эльза отдавалась счастью, не отвлекаемая больше никакими побочными надеждами. Она теперь узнала, что гибель четырехколенчатой трубки не принесла бы ей никакого облегчения, ибо канастер в маленькой трубочке пах столь же сильно.

В декабре прошлого года лесничий, обходя свой участок, простудился, заболел воспалением легких и вскоре умер. Уже не дождь, а ливень холодноватых сплошных слез Эльзы оросил его скромную могилу. Самой Эльзе пришлось покинуть Вармефусс и перебраться в Обердорф, где она поступила в «Гастгауз цум левен» на должность судомойки. Тяжелые материальные обстоятельства, а также непосильность обременять свои вдовьи ночи на одной подушке и под одной периной двумя любовными и третьим божественным воспоминаниями принудили ее продать трубку старьевщику за пять марок.

Так как старьевщик был человеком набожным и в то же время деловым, он перепродал мне эту трубку за пятьдесят марок, приложив к ней патетическую историю, добросовестно мною изложенную. Получив деньги и дружески щелкнув пчелу, повисшую над розой, он с подлинным чувством сказал:

— А все же я не сомневаюсь в том, что святой Губерт курил ее!

От себя добавлю: я тоже не сомневаюсь в этом. Я храню эту трубку, как мудрое назидание и нерадивой пчеле, и ветреной розе, пуще всего — как источник святой веры. В минуту сомнения я гляжу на нее; да, да, конечно, святой Губерт курил из нее! Если же я не курю, то только потому, что, будучи фарфоровой, она покрывается нагаром, но никогда не обкуривается. Фарфор, лишенный пор, подобен безлюбим сердцам: встречи и года ложатся на них тяжелым густым налетом, но никогда ничье острое дыхание не пронизывает их холода.

История тринадцатой трубки, самой любимой из всех моих трубок, чрезвычайно сентиментальна, и она, безусловно, вызовет насмешки многих. Что же делать,— я сам сентиментален и ничуть не стыжусь этого. Я люблю мелодраму — кровь и незабудки на плакате кинематографа. Я знаю, что любовь не только в ледниковых очах полубога, но и в слезящихся глазах старой собаки, ожидающей очередного пинка.

В 1909 году, в Париже, по соседству со мной, на тихой улице Алезия, проживал крупный скотопромышленник господин Вэво с молодой женой Марго. Господин Вэво любил свое дело и каждое утро отправлялся на бойню близ улицы Вожирар. Он глядел, как животных резали, глядел деловито и любовно, расценивая шкуру и мясо, сало и кровь. Особенно нравился ему убой свиней, закальываемых медленно, чтобы успела вытечь вся кровь. Господин Вэво как бы взвешивал дымящуюся густую струю, взвешивал ее густоту и добротность,— сколько из нее может выйти кровяных колбас и сколько луидоров даст колбасник за каждое ведро. Иногда господин Вэво марал рукава своей рубахи свиной или бычьей кровью, и на голубом полотне кровь сохла, чернела. Проверив туши и получив луидоры, господин Вэво шел в ресторан на улице Вожирар, где заказывал себе жирное мясо. Хозяин знал вкусы своих посетителей, и господину Вэво подавали грудку жира. Он долго ел, после еды полоскал рот крепкой нормандской водкой и ехал домой. Марго должна была ожидать его, и, ложась рано, часто еще засветло, как ребенок, господин Вэво, пахший свиной кровью и бычьим салом, ласкал ее, стискивал шею, ударял бедра так, как если бы жена его была хорошей полновесной тушей. Вскоре он засыпал и спал долго, мыча, прихрапывая, а под утро, когда ему снились нехорошие сны, скрежетал зубами.

Марго была телосложения деликатного и темперамента флегматического. Ласки господина Вэво пугали ее, а от запаха крови ее тошнило. Она не могла говорить с мужем ни о весенних туалетах, выставленных в магазине «Самаритянка», ни об интригах домовладелицы госпожи Лекрюк, ни о хорошей

погоде, — господин Вэво все указанные вопросы рассматривал чисто профессионально, высчитывая, сколько килограммов вырезки стоит платье с ажурными прошивками. Лишенная духовного общения и скорее запуганная, нежели удовлетворенная общением телесным, Марго на третий год брака окончательно созрела для любовника. Как всякая женщина, она искала любви тихой и ровной, подобной матовому фонарю ее будуара, слишком темному, чтобы мужчина мог при нем работать, и достаточно яркому, чтобы не давать ему спать.

В это время с госпожой Вэво познакомились два приятеля, вернее, два земляка, недавно прибывшие из Лиона, — молодой поэт Жюль Алюет и студент Сорбонны, математического факультета, Жан Лиме. Поэт любил женские письма, сладкое вино и рецензии в толстых журналах. Студент всему предпочитал западный сырой ветер, скуку и блуждание ночью по пустынным предместьям города, когда он крупными и ровными шагами мерил длину улиц. При явном различии наклонностей и Жюль и Жан, увидев Марго, равно растерялись. Поэт вечером не просмотрел журналов, а студент забыл о том, что ему надлежит скучать. Далее все пошло естественным порядком. Два косолапых, долговязых человека начали проделывать тысячи несуразностей, ради одной маленькой расчетливой женщины, никогда не способной просчитать хотя бы одно су. Утром, когда господин Вэво марал свиной кровью свои голубые рубашки, Жюль Алюет и Жан Лиме, как два пса, сопровождали Марго в магазин «Самаритянка» или в парк Монсури, покорно следя за малейшим движением своей госпожи. И любовь, которая грозна и громка в ледниковых очах полубога, робко жалась в их кротких собачьих глазах.

Господин Вэво как-то столкнулся с обоими юношами и внимательно осмотрел их. Они показались ему двумя мелковесными барашками. Он понимал, что оба вместе они недостойны сравниться с ним, даже в часы его слабости, и поэтому не испытывал никакой ревности. Напротив, посещения двух молодых людей, из которых один писал в газетах, а другой был племянником мэра города Дижона, льстили самолюбию господина Вэво.

У Жюля бывали часто неприятности с хозяином ресторана, где он столовался, и с привратницей из-за неоплаченных счетов, так как деньги, получаемые от матери, он тратил на цветы Марго, на сладкое вино и на угощенья черствых критиков.



Почувствовав благорасположение господина Вэво, он как-то в трудную минуту взял у скотопромышленника взаймы тысячу франков, выдав взамен расписку на вексельной бумаге.

Прочитав как-то, что Верлен курил трубку, Жюль решил не пренебречь этой живописной потребностью. Он купил маленькую пенковую трубку с янтарным мундштуком и на кольце выгравировал свои инициалы. Трубка показала ему на редкость невкусной, и когда он признался в этом одному опытному курильщику, то узнал, что трубку надо обкурить. У Жюля не было терпения. Он хотел получить сразу обкуренную трубку, не понимая, что обкуренная трубка столь же мало похожа на выставленные в витринах магазинов, как прожитая жизнь на мечтания двадцатилетнего юноши. Жюлю пришлось, таким образом, примириться с неприятным привкусом ради приближения к незабываемому облику Верлена,— судьба готовила ему иные сладостные утешения.

Господин Вэво не был столь далек от истины, оставаясь равнодушным к отношениям между его женой и двумя поклонниками. Если Марго, как уже было сказано, созрела для любовника, молоденькие провинциалы, неопытные и наивные, познав на опыте, что такое любовь, еще не знали, как надлежит поступать с этой любовью. На помощь пришла весна, эта известная всему Парижу сводня, с ее притворными ливнями и кокетливым солнцем.

Как-то, угрюмо шагая по парку Монсури, Жан увидел среди листвы Марго и Жюля. Поэт храбро поцеловал щеку Марго. Женщина не только не ударила его, но сама поцеловала в губы и, доставши из сумочки ключ от двери, подала его с лукавой улыбкой Жюлю. Жан видел все это, и, вопреки утверждениям многих писателей, ему не захотелось убить ни Марго, ни Жюля. Он продолжал крупными шагами мерить аллею парка Монсури, думая о том, что Марго любит Жюля и что это хорошо, длительно и важно, как пустынные улицы предместья и как ветер с моря. Жан думал еще о том, что поезд в Лион отходит по вечерам в восемь тридцать и что ему, Жану, следует завтра уехать этим поездом.

Так думал Жан, потому что он был молод и наивен. Он не понимал, что Марго созрела для любовника и что, если бы Жан поцеловал ее среди листвы парка Монсури, она отдала бы Жану ключ от двери. Жан не знал, что женщине нужна любовь тихая и ровная, как матовый фонарь будуара, слишком

бледный для того, чтобы мужчина мог при нем работать, и достаточно яркий, чтобы мешать ему спать.

Вечером Жан встретил Жюля. Казалось, поэт должен был петь, смеяться и проказить, как это делают в книгах все счастливые влюбленные. Но Жюль был зол и мрачен. Он имел для этого достаточные основания и поделился ими с Жаном. Господин Вэво, очевидно почувствовав некоторую перемену в Марго, потребовал у Жюля немедленной уплаты давно просроченного векселя, грозя в противном случае публичным скандалом. Жана очень огорчили подобные неурядицы, как бы осквернявшие нежное видение среди листвы парка Монсури. Он посоветовал поэту успокоиться и обещал ему тотчас по приезде в Лион раздобыть тысячу франков. На этом они расстались.

Это было в субботу, 21 апреля, в семь часов вечера. В воскресенье, около четырех часов пополудни, Жан отправился на улицу Алезия, чтобы попрощаться с госпожой Вэво. Он не знал, что Марго еще накануне, то есть в субботу, уехала на два дня к своей тетушке в Медон. По словам привратницы, Жан пробыл в квартире Вэво не более десяти минут и вышел оттуда чем-то сильно взволнованный.

Госпожа Вэво вернулась в Париж в понедельник утром, а очередной номер газеты «Патрие», которая, как известно, выходит около часу дня, был заполнен подробностями о «сенсационном убийстве на улице Алезия». Скотопромышленник Вэво был найден зарезанным кухонным ножом в своей кровати. Хроникер сообщал, что «ввиду характера ранений и полнокровия убитого, тело буквально утопало в крови». Вечером посыльный вручил Марго венок из белых роз, на красной ленте значилось: «От служащих городских боен».

Первой мыслью Марго, когда она увидела грузную тушу господина Вэво, замаранную уже не свиной, но своей собственной кровью, была тревога за Жюля. Ей вспомнились слова поэта, увидевшего среди листвы парка Монсури на руке Марго, немного выше локтя, синее пятнышко — след супружеских ласк скотопромышленника:

— Если он еще раз посмеет тебя тронуть, я его зарежу, как свинью...

Она ясно представила себе ревность и гнев Жюля, короткий ночной разговор, нож, томленье возлюбленного, которого ждет теперь гильотина. Для маленькой Марго это было

слишком сильным испытанием, и не мудрено, если посыльный, принесший венок из белых роз, нашел ее заплаканной.

Сыскное отделение командировало на улицу Алезия Гастона Ферри, прозванного «Волчьим Нюхом», одного из лучших сыщиков Парижа. Волчий Нюх тщательно осмотрел все комнаты, запретил полицейским и Марго касаться вещей, находившихся в спальне убитого, веря, что на них сохранились отпечатки пальцев убийцы, подобрал пуговицу от брюк и апельсинную корку и потом, вспомнив романы Конан-Дойля, стал мрачно раздумывать, облокотившись, точь-в-точь как это делал великий Шерлок Холмс.

Выслушав сбивчивые объяснения жены убитого, Волчий Нюх приказал немедленно привести Жюля Алюета, на которого различные люди указали, как на предполагаемого любовника Марго. Поэт при допросе хранил редкое спокойствие. Искренностью и обстоятельностью своих ответов он расположил к себе всех сыщиков. Он разъяснил невинный характер своего флирта с госпожой Вэво, и только на один вопрос, а именно: где он провел вечер и ночь с субботы на воскресенье,— ответил не сразу, смущаясь и краснея. В конце концов Волчий Нюх все же узнал, что в субботу вечером Жюль Алюет направился к Люсьен Мерд, хористке театра Гэте, и оставался у нее до полудня следующего дня, когда пошел с ней позавтракать в ресторан Шартье. Допрошенная Люсьен Мерд подтвердила показания Жюля. Таким образом, отпало первое предположение, что убийцей является любовник госпожи Вэво, и в понедельник около шести часов вечера Жюль Алюет был отпущен на свободу.

Тогда, опираясь на слова привратницы, видевшей, как Жан Лиме в воскресенье, около четырех часов пополудни, поднялся в квартиру Вэво и вскоре вышел оттуда чем-то сильно взволнованный, Волчий Нюх отдал распоряжение привести второго заподозренного. В отличие от точных ответов Жюля, показавшего Жана сразу указывали на его виновность. Студент кратко заявил, что, придя в воскресенье после обеда в квартиру Вэво, он нашел хозяина уже мертвым. На вопрос, почему же он не позвал полицию и никому не сказал о своей страшной находке, студент ответить не смог. Столь же тяжелое впечатление оставили объяснения Жана о том, где он провел ночь с субботы на воскресенье.

— Ходил по улицам...

Наконец полицейский, который привел Жана, заявил, что застал его с запакованным чемоданом, готовящимся отбыть на Лионский вокзал. Это являлось также не малой уликой, так как объяснить причины своего предполагаемого, достаточно внезапного отъезда студент не захотел.

Волчий Нюх приказал обыскать Жана Лиме. В карманах его не нашли ничего подозрительного: ключ, кошелек, трубка, спички. Но левый карман, в котором находилась трубка, был замаран кровью. Через час экспертиза дала заключение, что это человеческая кровь. Жан Лиме был препровожден в тюрьму Санте.

Хотя все говорили о глупости и неопытности преступника, Волчий Нюх горделиво охорашивался, чувствуя себя Шерлоком Холмсом.

На следующий день после похорон господина Вэво, Марго пошла к Жюлю. Войдя в его комнату, она разразилась слезами, жалобами и укорами. Не понимая значения последних, Жюль нервно мял толстый журнал с очень милой рецензией. Наконец Марго объяснила, что она глубоко возмущена изменой Жюля, отправившегося после утра среди листвы парка Монсури к какой-то вульгарной хористке.

Жюль объяснил Марго, что это случилось исключительно вследствие ее отъезда к тетушке в Медон и что теперь, когда они смогут проводить вместе дни и ночи, он не будет больше ходить к вульгарным хористкам. Это успокоило Марго, она спешно напудрилась, повеселела и, отдавшись, стала его подругой вначале, супругой потом, напудренной и веселой, на долгие и долгие годы, ибо любовь для нее была тусклым фонарем в буддаре, который не дает мужчине работать и мешает ему спать.

Уходя, Марго спросила Жюля:

— А где же твоя трубка?..

Жюль впервые проклял праздное любопытство, присущее всем женщинам, и пробормотал:

— Доктор запретил мне курить трубку. Я перешел на сигареты.

Через несколько дней счастливые любовники заговорили о Жане.

— В его лице всегда было нечто криминальное. Пожалуйста, не думай, что я был его другом,— сказал Жюль.

— Ты прав, как всегда, мой гордый лев,— томно промолвила Марго.— Этот негодяй за мной ухаживал, но я знала, что он способен только на низость.

Газеты, продолжавшие интересоваться «сенсационным убийством на улице Алезия», напечатали интервью, в которых госпожа Вэво и господин Жюль Алует, делясь своими впечатлениями от убийцы, повторяли суждения, высказанные ими в интимной беседе.

Один из номеров газеты, содержавший эти интервью, случайно попал в тюрьму Санте, и Жан прочел его. Но да позволено мне будет умолчать о том, что он испытал при этом. Есть чувства, которых лучше не называть, как не называли древние иудеи бога, а суеверные кастильцы — змею.

Настал день суда. Ввиду того, что процесс был назван газетами «романтическим», пришло много публики, главным образом женщин. На суде Жан держал себя так же, как и во время следствия: не сознаваясь в совершенном преступлении, он не делал ничего для своей защиты, ограничиваясь краткими и малоубедительными ответами:

— Нет, не знаю... Сказать не могу...

Лишь во время речи защитника произошел небольшой инцидент, сильно взволновавший женскую аудиторию. Молодой адвокат вначале изложил гипотезу о том, что Вэво убили неизвестные грабители и, понимая всю ее неправдоподобность, стал напирать на то, что если даже Лиме является убийцей, то он убил мужа женщины, которую страстно любил, и поэтому заслуживает всяческого снисхождения. На этом месте речи подсудимый, все время сохранявший полное спокойствие, вскочил и раздраженно крикнул:

— Если я убил Вэво, то хотя бы ради денег. Прошу госпожи Вэво не касаться!

Это выступление не только разочаровало дам, пришедших взглянуть на романтического убийцу, но и ожесточило судей, размягченных речью адвоката. Все же, благодаря красноречию молодого защитника, Жану Лиме было дано снисхождение, и суд приговорил его к бессрочной каторге.

Так кончилась жизнь студента математического факультета Жана Лиме, и началась другая — арестанта номер 348 каторжной тюрьмы Нанта. От своего прежнего существования, кроме воспоминаний, которых люди еще не научились отнимать при различных осмотрах и обысках, арестант номер 348 сохранил маленькую пенковую трубку.

Арестант номер 348 был одет в полосатый дурацкий халат. На нем было восемнадцать черных полос и семнадцать белых.

Арестант номер 348 плел кули из рогожи. Когда он сплетал десять кулей — он начинал их расплетать,— так приказал ему надзиратель. Из одного вороха рогожи он сплел тысячи и тысячи кулей. Арестант номер 348 гулял, описывая круг по тюремному двору, загороженному стенами без окон. Впереди и позади шли другие номера, но номер 348 не знал их. Он делал восемнадцать больших кругов справа налево, потом повертывался и делал восемнадцать кругов слева направо. В году триста шестьдесят пять суток. В сутках двадцать четыре часа. Номер 348 пробыл в каторжной тюрьме Нанта одиннадцать лет и четыре месяца.

Тюремщики говорили, что номер 348 хорошо ведет себя. Но они не знали, что номер 348 был счастлив, так счастлив, как редко бывают счастливы люди не только в каторжных тюрьмах, но и в городе счастливых, в Париже. У номера 348 в тюрьме оставались скука, долгие шаги и долетавший в окошко ветер с моря. Номер 348 знал долготу и мощь времени. Но он знал еще иное — далекую радость, улыбку Марго среди листвы парка Монсури, чужую любовь, ради которой он мерил длину бесконечного круглого двора тюрьмы и плел кули из неубывающей рогожи. Жан Лиме, так звали когда-то номер 348, любил Марго. Марго любила Жюля. Может быть, полубог с ледниковыми очами сразил бы Марго или Жюля. Но номер 348 любил, как может любить собака, горячим шершавым языком лижущая руку наносящего ей побой; любя так, он был счастлив, и счастья его никто не мог понять.

Люди зовут время жестоким, но время милосерднее людей. Если кончается июньская ночь влюбленных, то приходит срок и тому, что люди именуют «бессрочной каторгой». Когда прошли одиннадцать лет и четыре месяца, номер 348 заболел и почувствовал, что скоро умрет. Он лежал на койке и держал в руках трубку, но закурить ее уже не мог. Трубка, когда-то нарядная и невкусная, стала черной, рабочей, родной. Глядя на нее, номер 348 вспомнил, где он ее нашел, и блаженно улыбнулся. Потом он попросил сторожа переслать после его смерти трубку господину Жюлю Алует в Париж и забылся. Очнувшись, чем-то сильно обеспокоенный, он снова взял трубку и уже неповоротливыми, костенеющими пальцами сорвал с нее кольцо, на котором под нагаром и пылью таились инициалы «Ж. А.»; после этого, успокоенный, он глухо прошептал: «Марго»,— и умер.

Супруги Алюет жили тихо и хорошо. Бросив стихи, Жюль стал писать рецензии в толстых журналах, и теперь его часто угощали ужинами молодые поэты. Марго потолстела, но не подурнела. Детей у них не было — сначала потому, что в квартире не было детской комнаты, а потом вследствие мировой войны. Из глаз Жюля исчезла собачья нежность, он теперь самодовольно щурился, как хорошо раскормленный кот. У Жюля были любовницы, у Марго любовники, но супруги любили друг друга нежно и ровно, как светит матовый фонарь будуара. Они давно позабыли о бурных днях «сенсационного убийства на улице Алезия». Получив от администрации нантской тюрьмы старую трубку, Жюль Алюет ничего не вспомнил. Впрочем, эта обкуренная трубка так же мало походила на другую, которую он пробовал когда-то курить, желая приблизиться к облику Верлена, как долгая жизнь арестанта номер 348 мало походила на легкий поцелуй среди листвы парка Монсури. Взглянув на трубку, Жюль ничего не вспомнил; брезгливо поморщась, он оставил пакет.

— Какая гадость! — сказала за него и за себя умная Марго.

Литературный критик Жюль Алюет, у которого я иногда бывал по пятницам на журфиксах, вместо рецензии в толстом журнале подарил мне, как чудаку, собирающему трубки, наследство арестанта номер 348, и эта трубка стала моей любимой. Я знаю, где нашел ее студент Жан Лиме, знаю также, как старался номер 348, умирая, снять с нее почерневшее колечко. В его глазах, в человеческих глазах, а не в ледниковых очах полубога, была преданность издыхающего пса. Я курю ее, чтобы научиться любить любовью верной-и бескорыстной, как любят только покинутые матери, кроткие роконосцы и уличные псы, как любил женщину по имени Марго, спавшую со многими, много плакавшую и после слез неизменно пудрившую нос, печальный каторжник номер 348.

*Июнь 1922 г.*

## **КОММЕНТАРИИ**





В первый том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга входят написанные им в 1920—1923 годах сатирические романы «Необычайные похождения Хулио Хурепито и его учеников», «Трест Д. Е. История гибели Европы» и сборник новелл «Тринадцать трубок».

Эти произведения открывают новый этап в творчестве писателя.

Литературная деятельность Эренбурга началась с поэтических сборников, созданных за границей, в Париже, куда он уехал в 1908 году из-за преследований полиции.

Уже в ранних стихах чувствуется острый конфликт поэта с буржуазной действительностью, его стремление обнажать «изъяны жизни», «язвы общества». Эту сторону мироощущения молодого писателя одним из первых отметил В. Я. Брюсов. «Всего более,— писал он,— привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности,— вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе молодой поэт. И он, с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих... стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что сокрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности»<sup>1</sup>.

Однако понадобились годы, наполненные бурными событиями эпохи, чтобы это, во многом поверхностное, неприятие действительности было подкреплено жизненным опытом и переросло в критику основ буржуазного миропорядка.

В период войны 1914 года Эренбург, будучи корреспондентом на франко-германском фронте, увидел всю жестокость и бессмыслицу империалистической бойни. Вернувшись летом 1917 года на родину, он столкнулся с такими сторонами жизни, о которых раньше и не подозревал. Со всей остротой встал перед ним вопрос об отношении к происходящему. Гражданская война, в самую гущу которой попал Эренбург на Украине, в Крыму и на Кавказе (1918—1919), обнажила всю ожесточенность классовых битв. И тут же — строительство новой жизни, в котором и сам он участвует, работая в различных советских учреж-

---

<sup>1</sup> «Русские ведомости», М. 1916, № 155.

дениях (отдел социального обеспечения в Киеве, ТЕО Наркомпроса в Москве и др.). Все это было огромной жизненной школой.

По признанию писателя, годы 1914—1919 были для него «самыми трудными»<sup>1</sup>. «Я замечал,— вспоминает Эренбург,— много уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах... Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года он пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники еще не понимали масштаба событий»<sup>2</sup>. По словам писателя, он в 1917 году «оказался наблюдателем» и ему «понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции»<sup>3</sup>.

Нелегко было Эренбургу разобраться в сложной путанице событий, освободиться от многих свойственных ему в то время иллюзий, сомнений и заблуждений. Не сразу понял он историческую правоту того, что нес с собой новый, рождающийся у него на глазах мир. Понадобилось время, чтобы подмеченное острым глазом художника в его скитаниях по дорогам Европы и России, пропущенное через призму его понимания жизни и художнического восприятия мира, могло объединиться вокруг одной темы и приобрести четкие очертания сатирического образа.

Чрезвычайно сложный и во многом противоречивый материал не укладывался в рамки стихотворной формы. «Мне хотелось,— вспоминает Эренбург,— многое описать: довоенный Париж, окопы Соммы, революцию, гражданскую войну, макеты, проекты, сугробы... Я понимал, что не сумею это сделать в стихах»<sup>4</sup>.

## необычайные похождения хулио хуренито и его учеников

Замысел романа, по свидетельству автора, возник под давлением событий первой мировой войны. «1916 год,— рассказывает Эренбург,— был, кажется, самым кровопролитным: Сомма, Верден. На каждом шагу в Париже можно было увидеть заплаканных женщин. Солдаты стояли

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 281.

<sup>2</sup> Там же, стр. 389—390.

<sup>3</sup> Там же, стр. 387.

<sup>4</sup> Там же, стр. 566.

на смерть... Людей становилось меньше, пушек и самолетов больше. Начались массированные танковые атаки. Депутат-социалист Брак рассказал мне, что парламентская комиссия рассматривает скандальное дело, связанное с поставками вооружения. Никогда люди не богатели так быстро, как в те дни. Война была большим предприятием. Я начал тогда думать о «Хулио Хуренито» — хорошо бы рассказать о грандиозном хозяйстве, занятом истреблением людей. В романе я его назвал «хозяйством мистера Куля»<sup>1</sup>.

Жизнь давала писателю все новый и новый материал, замысел приобретал все большую определенность, конкретность, «обрастал плотью»<sup>2</sup>. Писатель рассказывает, как во время своих странствий по Украине в 1919 году он фантазировал: «...что делал бы добрый французский буржуа или римский ладзарони, оказавшись в революционной России? Так рождались персонажи романа...»<sup>3</sup>

К зиме 1920—1921 года относятся первые попытки перенести «пережитый, продуманный» роман на бумагу, но, вспоминает Эренбург, дальше первых строк дело не пошло. Роман должен был вобрать в себя многое из того, что он увидел за годы странствий по России. Возникла потребность и «забежать вперед», — но эта «последняя глава» в то время была для него еще «закрыта туманом»<sup>4</sup>.

После всего пережитого Эренбургу было совершенно необходимо снова увидеть жизнь буржуазной Европы. «Как я ни старался, — вспоминает писатель, — я не мог себе представить, что делали люди на Западе, пока русские низвергали, жгли, проектировали, дрались на десяти фронтах, голодали, болели сыпняком и бредили будущим. Я говорил себе, что круг должен быть завершен и что необходимо взглянуть на послевоенный Париж»<sup>5</sup>.

Весной 1921 года Эренбург уезжает за границу. «На вопрос о цели моей поездки... я ответил: «Хочу написать роман»<sup>6</sup>.

После недолгого пребывания в Париже Эренбург был выслан французскими властями за пределы страны. В бельгийском местечке Ля-Панн Эренбург летом 1921 года в течение одного месяца (июнь — июль) написал свой первый роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников».

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 302—304.

<sup>2</sup> Там же, стр. 566.

<sup>3</sup> Там же, стр. 474.

<sup>4</sup> Там же, стр. 597.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же, стр. 599.

Впервые он был издан в Берлине в начале 1922 года издательством «Геликон». Роман привлек к себе внимание В. И. Ленина. (В личной библиотеке Владимира Ильича среди девяти книг Эренбурга было два издания «Хулио Хуренито».)<sup>1</sup> По свидетельству Н. К. Крупской, Ленин хорошо о нем отозвался. «Из современных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну: «Это, знаешь, Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжественно рассказывал он. — Хорошо у него вышло»<sup>2</sup>.

А. К. Воронский, в то время один из референтов В. И. Ленина по вопросам литературы, в статье «Из современных литературных настроений», говоря об изданиях русских писателей за границей, отметил: «Выходят из печати вещи, которые давно следовало бы переиздать нашему Госиздату. Такова, например, превосходная книга И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито»<sup>3</sup>.

В том же году роман был выпущен Государственным издательством в Москве, затем на протяжении 20-х годов трижды переиздавался — в 1923, 1927 и 1928 годах.

Рассказывая о «необычайных похождениях» Хуренито, Эренбург развешивает пеструю картину предвоенной и военной Европы, революции и гражданской войны в России. Сталкивая Хуренито с десятками людей, представляющими различные классовые и социальные типы, проведя своих персонажей через многочисленные испытания, создавая невероятные, порой явно фантастические ситуации, в которых в то же время проступают реальные исторические и бытовые приметы эпохи, Эренбург беспощадным скальпелем иронии вскрывает язвы и пороки старого мира, едко и зло издевается над тупоумием, жестокостью и пошлостью его представителей.

Роману, сильному своей критической устремленностью, резким и безоговорочным осуждением капиталистического мира, в то же время свойственна известная противоречивость, отражающая сомнения и колебания писателя.

Нисколько не сомневаясь в победе нового социального строя, зная, что «народ, победивший интервентов, победит и разруху», Эренбург, однако, «не раз... спрашивал себя, что станет в новом, более разумном и более справедливом обществе с разнообразием человеческих характеров,

---

<sup>1</sup> Библиотека В. И. Ленина в Кремле (каталог), М. 1961, изд-во Всесоюзной книжной палаты, стр. 508.

<sup>2</sup> В. И. Ленин о литературе и искусстве, Гослитиздат, М. 1960, стр. 630.

<sup>3</sup> «Правда», 1922, № 141.

не подменяет ли усовершенствованные машины... искусство, не подавит ли техника порой смутных, но дорогих людям чувств?»<sup>1</sup> Рассказывая о своих колебаниях, он признает, что «спорил не с эпохой, а с самим собой».

Идеи конструктивизма и вдохновляли и отталкивали Эренбурга, в котором теоретик, романтик и реалист спорили друг с другом; по его собственному признанию, он «не очень-то верил в провозглашаемую... смерть искусства»<sup>2</sup>, а потому, утверждая, что новое искусство, растворяясь в жизни, «перестает быть искусством»<sup>3</sup>, в то же время высмеивал эти мысли в романе: Хуренито доводит до абсурда как раз те идеи, которые в какой-то мере исповедовал в те годы сам автор.

Сомнения Эренбурга принимают в романе форму скептицизма. Это, безусловно, не «скепсис надвигающегося краха»<sup>4</sup>, как утверждалось в статьях того времени, не «всеуничтожающий смех, идущий из пустоты в пустоту»<sup>5</sup>.

Нельзя, однако, не видеть, что скептицизм Эренбурга, направленный преимущественно на основы и атрибуты буржуазного миропорядка, затрагивает и какие-то стороны новой действительности; причем скепсис писателя не только «намечает и штурмует», как сказано в одном из откликов на роман, «слабые пункты» революционного быта<sup>6</sup>, но и задевает некоторые реальные ценности эпохи.

В сложных условиях общественно-политической и литературной жизни тех лет, когда многочисленные группы и объединения, ревностно отстаивая свои позиции в искусстве, зачастую приносили объективность критических оценок в угоду своим групповым пристрастиям,— противоречивость романа была воспринята чрезвычайно упрощенно и крайне односторонне. Не говоря уже о «напостовцах», усмотревших в книге прямую «клевету на революцию», в критике 20-х годов преобладало мнение, что сатира Эренбурга направлена с одинаковой силой «на все сущее», что автор лишен «подлинной любви и веры в будущее», утверждалось, что философской основой романа является релятивизм.

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 609.

<sup>2</sup> Там же, стр. 423.

<sup>3</sup> И. Эренбург, А все-таки она вертится, изд. «Геликон», Москва — Берлин, 1922, стр. 98.

<sup>4</sup> «Печать и революция», кн. 3, М. 1924, стр. 261.

<sup>5</sup> «Сибирские огни», № 3, Новониколаевск, 1923, стр. 168.

<sup>6</sup> «Казанский библиофил», К. 1923, № 4, стр. 164.

Эти весьма далекие от объективности суждения ни в какой мере не раскрывают истинного содержания романа Эренбурга, в котором четко проведена граница, разделяющая два мира.

«Его скепсис,— пишет А. В. Луначарский,— направлен на ценности старого мира, и с этой точки зрения он... наш союзник»<sup>1</sup>.

Высокую оценку дал роману А. К. Воронский, по мнению которого, Эренбург сказал «большую правду». «Хулио Хуренито»,— подчеркнул критик,— очень интересная и художественно ценная сатира»<sup>2</sup>.

Показательно, что белоэмигрантская пресса отнеслась к «Необычайным похождениям Хулио Хуренито» крайне враждебно. Даже берлинский журнал «Новая русская книга», далеко не самый антисоветский, назвал «Необычайные похождения Хулио Хуренито» «безнадежной книгой». Выступивший с рецензией на роман редактор этого журнала вынужден был признать наличие у автора «Хулио Хуренито» «новой веры»<sup>3</sup>. Характерно, что еще раньше Эренбург в этом же журнале выступил со статьей «Новое искусство в России», в которой со всей определенностью высказал свою приверженность тем, кто «трудится над фундаментом» нового общества. Отвечая редактору «Новой русской книги», сокрушавшемуся, что «Россия в развалинах», Эренбург писал: «Нет, давайте протрем глаза: разор, развалины, половина «Мира искусства» за границей... Надо ли плакать? Корабль затонул — его обломки перед Вами. Недаром один пронизательный критик писал о «мирискусниках»: «Это остатки старой России». Воду режет другой пароход, без романтических мачт, дымя трубами. Если Вы не хотите быть плакальщиком — поймите его красоту. О, он далеко не совершенен, он с первого раза попал под обстрел и весь изрешечен. Но ему, и только ему суждено плавать!»

Верю — Россия отстроится, разбогатеет... Построят дома, и тогда лишь все поймут, в жилых комнатах, труд тех, что дробили и тесали первые камни»<sup>4</sup>.

Принципиально различное отношение писателя к Западной Европе и Советской России, несмотря на элементы шаржа и иронии в обрисовке революционного быта, в свое время отмечалось в критике. По мнению П. С. Когана, буржуазный Запад и революционная действительность изображаются автором «Необычайных пождений Хулио Хурени-

---

<sup>1</sup> А. В. Луначарский, История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах, ч. II, ГИЗ, М. 1924, стр. 145.

<sup>2</sup> «Красная новь», М.— Пг. 1923, № 5(15), стр. 370.

<sup>3</sup> «Новая русская книга», № 3, Берлин, 1922, стр. 5.

<sup>4</sup> Там же, № 1, стр. 13.

то». «в совершенно различных тонах»<sup>1</sup>. «Хохот Хуренито,— писал критик,— диктатуре пролетариата... не страшен... Дряхлеющее смех добьет. Сильное не боится его. И оттого, что Эренбург не видит практических путей, его сатира не перестает бить кого следует»<sup>2</sup>.

За сатирой Эренбурга не стоит, конечно, твердой убежденности в истинности и жизненности всего того, что входит в революционную повседневность и укрепляется в ней; однако он отдает себе отчет в исторической правоте того, что несет с собой новый социальный мир. При всех сомнениях и «раздумьях» в Эренбурге побеждает голос надежды и веры, признания и приветствия нового мира. За пронизывающей все повествование иронией живет романтическая мечта, угадывается, как писал один из критиков, «гимн грядущему прекрасному человеку, освобожденному для радости, творчества и великих побед над природой»<sup>3</sup>.

Острая полемика развернулась в критике первой половины 20-х годов и по вопросу о форме романа Эренбурга. Писателя обвиняли в фельетонной легковесности, газетной поверхностности изображения, в плакатности образов, в отсутствии развернутых психологических характеристик.

Стремление Эренбурга перенести в художественную литературу некоторые приемы газетного репортажа не было случайным. «Для меня,— вспоминает он в книге «Люди, годы, жизнь»,— вторжение газеты в роман было связано с поисками современной формы повествования»<sup>4</sup>. Интересно, что в книге «А все-таки она вертится», написанной в 1921 году, Эренбург называет газету, кино и детективную литературу «наставниками» современного писателя<sup>5</sup>. Элементы всего этого, несомненно, имеются в романе.

Критики, упрекавшие Эренбурга в отсутствии психологизма, не понимали, что своеобразие «Хулио Хуренито», в котором автор сознательно порывает с традициями старого психологического романа, как раз и заключается в полном отсутствии углубленных психологических характеристик.

---

<sup>1</sup> П. С. Коган, «Литература этих лет, 1917—1923», изд. «Основа», Иваново-Вознесенск, 1924, стр. 78.

<sup>2</sup> Там же, стр. 75—76.

<sup>3</sup> Там же, стр. 76.

<sup>4</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1962, стр. 632—633.

<sup>5</sup> И. Эренбург, А все-таки она вертится, изд. «Геликон», Москва — Берлин, 1922, стр. 100.



При всем этом в обрисовке учеников и Хуренито есть принципиальное различие. «Каждый, прочитавший книгу,— писал один из критиков,— на всю жизнь запомнит яркие портреты Куля, Шмидта, Бамбучи. А сам «великий провокатор» остается расплывчатым силуэтом»<sup>1</sup>. Если в образах «учеников» нашли отражение какие-то социальные и национальные черты, то Хуренито в основе своей чрезвычайно условный персонаж, он не столько представляет какую-либо социальную силу, сколько олицетворяет определенную идею — отрицания и разрушения. «Хуренито,— говорилось в одной из статей,— является как бы воплощением критической человеческой мысли, ...не удовлетворяющейся ничем из существующих установлений, но в то же время и бессильной дать что-либо положительное»<sup>2</sup>.

По замыслу автора, Хуренито, как никто другой, зорко видит пороки и недостатки общества; будучи «полон творческой ненавистью к существующему», считая, что это несовершенное, «большое... сегодня должно умереть», он «провоцирует», «ускоряет его кончину»<sup>3</sup>, стремится привести «к нелепости каждое положение», «довести до абсурда все отрицательные стороны... общества и взорвать таким образом его изнутри»<sup>4</sup>.

Хотя в критике 20-х годов Хуренито было уделено много внимания, его место в идейной концепции романа, соотношение взглядов автора и того, что говорит и совершает «великий провокатор», оказалось нераскрытым.

Совершенно необоснованно утверждение, что Эренбург разделяет философию своего героя: история необычайной жизни «великого провокатора» окутана налетом тончайшей иронии, несомненно отделяющей позицию автора от деклараций Хуренито.

Нельзя отождествлять автора романа и с одноименным персонажем книги. От этого предостерегал неоднократно сам Эренбург. Хотя «герой, именуемый Ильей Эренбургом,— подчеркнул он в своих воспоминаниях,— подчас высказывал мои подлинные мысли», «это вымышленный персонаж»<sup>5</sup>.

В критических высказываниях тех лет ставилась под сомнение и художественная объективность романа «Необычайные похождения Хулио

---

<sup>1</sup> Альманах «Город», сб. I, Пг. 1923, стр. 102.

<sup>2</sup> «Книга и революция», № 9—10 (21—22), Пг. 1922, стр. 19.

<sup>3</sup> М. Шагинян, Литературный дневник, изд. «Круг», М.— Пг. 1923, стр. 145.

<sup>4</sup> «Книга и революция», № 9—10 (21—22), Пг. 1922, стр. 19.

<sup>5</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 42.

Хуренито». По мнению авторов ряда статей, субъективное превалирует в образной структуре произведения, мешая «художественному воссозданию жизни»<sup>1</sup>.

В этой связи большой интерес представляет высказывание А. В. Луначарского об Эренбурге. В курсе лекций, прочитанных для слушателей университета им. Я. М. Свердлова и изданных в 1924 году отдельной книгой, А. В. Луначарский сравнивает Эренбурга с Гейне и, оговаривая различие масштабов их таланта, размаха и значения их творчества, приходит к выводу, что они во многом схожи по типу своего образного мышления<sup>2</sup>. Несколько лет спустя, выступая с юбилейной речью о Гейне в Академии наук СССР, А. В. Луначарский охарактеризовал особенность его таланта следующим образом: «Изображая объективную действительность, он с большим остроумием выискивает вещи необычайные, иногда даже парадоксальные, и характеризует ими предмет... он всякий раз старается найти оригинальные, неожиданные стороны предмета, который изображает, и таким образом представить этот предмет с совершенно новой стороны.

В произведениях Гейне мир отражается в высокой степени субъективно. Он придает изображаемым предметам эмоциональную характеристику, которую черпает из своего настроения и беспрестанно раскрывает в своих произведениях свое собственное «я», то есть прорецирует на свои художественные образы то, что происходит в нем самом. Субъективное преобладает во всем творчестве Гейне»<sup>3</sup>.

Сказанное А. В. Луначарским о классике немецкой поэзии в полной мере можно отнести к творчеству Эренбурга, в том числе и к его сатирическим произведениям.

Роман Эренбурга с интересом был встречен широкими кругами читателей. Дискуссия, развернувшаяся вокруг «Необычайных похождения Хулио Хуренито», несмотря на крайности критических оценок, показала, что успех книги был не случаен. Роман привлек к себе внимание злободневностью и значительностью содержания. Острый критический пафос книги Эренбурга, направленный против бессмысленности и жестокости империалистических войн, ханжества буржуазной морали, античеловеческой сущности колониализма, идеологии фашизма, ее протест

---

<sup>1</sup> «Новый мир», 1926, кн. 8—9, стр. 226.

<sup>2</sup> А. В. Луначарский, История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах, ч. II, ГИЗ, М. 1924, стр. 145.

<sup>3</sup> А. В. Луначарский, Статьи о литературе, Гослитиздат, М. 1957, стр. 592—593.

против насилия над человеческой личностью делает роман актуальным и в наши дни.

Роман переведен на многие иностранные языки. На немецком он был издан в 1923 и в 1930 годы, на французском — в 1924 (с предисловием Пьера Мак-Орлана) и тогда же на польском (предисловие К. Бондровского); на испанском — в 1923 (Барселона), в 1928 и 1931 (Маурин). В 1926 году роман вышел в Чехословакии, в 1928 — в Японии, в 1930 — в США, в 1932 и 1947 — в Бразилии (на португальском языке), в 1936 — в Болгарии, в 1937 — в Голландии, в 1945 — в Италии, в 1957 — снова в Польше (на древнееврейском), в 1958 — в Англии.

Трест Д. е.

история гибели европы

Роман «Трест Д. Е. История гибели Европы» написан в феврале — марте 1923 года в Берлине, в том же году вышел в издательстве «Геликон», затем — в Харькове (Госиздат Украины) и в Москве («Земля и фабрика»), где в 1928 году был переиздан.

«Трест Д. Е.» — это фантастический рассказ об уничтожении Европы, предпринятом американскими миллиардерами. В нем Эренбург стремится наглядно, зримо представить ту опасность, которую несет человечеству капитализм.

В начале 20-х годов на Западе назревает новый революционный подъем. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал об обстановке тех лет: «...в... Италии рабочие захватывали один завод за другим... газеты писали о восстании в Саксонии. На стенах Парижа можно было увидеть надписи — краской, углем, мелом: «Да здравствуют Советы!»...

В 1921 году во Франции не было улицы Ленина; но Ленин как будто жил в рабочих предместьях... Удивительная история о том ...как русские рабочие, голодные, раздетые, со старыми винтовками, отбили атаки интервентов, ходила по парижским предместьям и не давала спать победителям»<sup>1</sup>.

Особенно острые формы революционное движение приняло в Германии, где тяжелое экономическое положение, вызванное войной, при-

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 617—618.

вело к открытым вооруженным выступлениям рабочего класса. Приехав туда осенью 1921 года, Эренбург сразу же попадает в накаленную атмосферу назревающих классовых боев. До конца 1923 года он живет в Берлине, где в то время «решалась судьба Европы предстоящих десятилетий»<sup>1</sup>.

«В восточном и северном Берлине (рабочие кварталы.— А. У.),— вспоминает писатель,— можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция... То и дело вспыхивали забастовки... Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию»<sup>2</sup>. Это ощущение надвигающейся революционной грозы, которая Эренбургу «представлялась неминуемой»<sup>3</sup>, вошло и в «Трест Д. Е.».

Вспоминая о духовном кризисе, охватившем в начале 20-х годов значительную часть интеллигенции Запада, Эренбург отметил, что многим «Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем». «А я,— подчеркивает писатель,— Европу не отпевал... Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы»...<sup>4</sup> В этих словах — ключ к пониманию идейной сущности романа.

Через всю книгу проходит мысль о непримиримости двух противостоящих друг другу социальных миров. Характерно, что для империалистов США решающим мотивом уничтожения Европы явилась ее революционность. Склоняя заупрямившегося было мистера Твайвта, владельца крупнейших чикагских боев, к участию в тресте Д. Е., его организатор, авантюрист Енс Боот, пускает в ход основной довод: «Наконец, если мы не сделаем этого, Европа заразит Америку. Восемнадцать и одна треть процента (речь идет о революционерах.— А. У.) станут через пять лет восьмьюдесятью процентами. Вспомните Россию, Германию, Австрию. Представьте себе нечто вроде СССРА.

При этих словах мистер Твайвт вскочил и, вместо нягары слез, разразился гейзером бешеной слюны.

— Да, да! — кричал он.— Я согласен! Необходимо уничтожить! Завтра! Сейчас же!»

---

<sup>1</sup> «Новый мир», 1961, № 9, стр. 93.

<sup>2</sup> Там же, стр. 91, 93.

<sup>3</sup> Там же, стр. 115.

<sup>4</sup> Там же, стр. 99.

Для осуществления своих планов заокеанский трест использует Францию, которая одну за другой уничтожает европейские страны, пока наконец не гибнет сама.

Во многих критических статьях 20-х годов роман Эренбурга рассматривался как выражение шпенглеровской идеи заката европейской цивилизации<sup>1</sup>. Однако между «Трестом Д. Е.» и книгой Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes», которая пользовалась в те годы шумным успехом, нет никакой преемственности. В «Тресте Д. Е.» речь идет не о закате, а именно о гибели Европы. Источник всех драм и катастроф писатель видит не в многовековой эволюции европейского сознания, а в самой природе капиталистического строя. Книга Эренбурга раскрывает перед читателем гнилую сущность буржуазной Европы, не находящей в себе сил противостоять агрессии.

В «Тресте Д. Е.» постоянно переплетаются два плана — конкретно-исторический, с реальными приметами эпохи и быта, и условно-фантастический, который вбирает в себя и мифологические мотивы (пародийно использован известный мифологический сюжет похищения Европы). Гибель Европы носит скорее символический, чем реальный характер. Совершенно неоправданно поэтому распространенное в 20-х годах утверждение, что Эренбург недооценивает социальные силы, противодействующие уничтожению Европы. Ведь «Трест Д. Е.» — это сатирический памфлет; в памфлете, как известно, основная мысль может быть выражена в предельно заостренной форме, а главная тема — получить крайне одностороннее развитие.

Упрекая Эренбурга в том, что он «бродит как в потемках... в понимании судеб и роли СССР»<sup>2</sup>, критики не только игнорировали специфику романа, но и закрывали глаза на то, что надежды на возрождение погубленной цивилизации в «Тресте Д. Е.» связываются именно с Советской Россией.

Сложнее обстоит дело с замечаниями критики относительно того, что Эренбург в своем повествовании не учитывает революционных возможностей рабочего класса Западной Европы. Отношение писателя к силам революции на Западе было в те годы противоречивым.

Конечно, автор «Треста Д. Е.» не «глух», как это утверждалось в одной из статей, к «зреющим зовам революции»<sup>3</sup>, — он остро чувствует приближение революционной грозы. Но вместе с тем некоторые

---

<sup>1</sup> См., например, «Печать и революция», М. 1924, кн. 3, стр. 261.

<sup>2</sup> Илья Эренбург, Полн. собр. соч., т. II, ЗИФ, М.-Л. 1928, стр. 9.

<sup>3</sup> Там же, стр. 10.

стороны жизни западноевропейских стран вызывали у Эренбурга тревогу.

«Хотя я хорошо знал Запад,— вспоминает писатель,— все меня ошеломило... Люди казались сонными и равнодушными.

В Копенгагене мы были первого мая. По улицам прошла чинная демонстрация; пели и жевали бутерброды... Возле королевского дворца стояли часовые в высочайших шапках. В рабочих кварталах люди толпились у лавчонок и, видимо, были озабочены не ликвидацией капитализма, а покупкой маргарина, входившего в моду...»<sup>1</sup> В Берлине «жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать... Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки. Но демонстрация заканчивалась ровно в два — время обедать... Люди... ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть, слишком терпеливо...»<sup>2</sup>

Все это и породило у писателя несколько скептическое отношение к возможности скорой победы революции на Западе. Уже в процессе работы над романом Эренбург, по его признанию, стал склоняться к мысли, что быстро взять власть в свои руки пролетариат Запада не сможет. Отсюда — и общий итог развертывающихся в «Тресте Д. Е.» событий: несмотря на сопротивление рабочих разных стран, Европа погибает. Отсюда и та ирония, которая проскальзывает порой при изображении событий «по эту сторону баррикад». Характерен следующий эпизод книги.

Представитель немецкой революционной партии Гекель, высказав свое возмущение действиями буржуазии, погубившей Германию, и осудив нерешительность руководителей пролетариата, неожиданно заявляет:

«— Мы можем со спокойной уверенностью глядеть в грядущее. На международном конгрессе в Женеве наша резолюция получила одну шестую всех голосов. Мало-помалу пролетариат освобождается от иллюзий...

...Товарищ Лоранс, председатель Французской компартии, долго жал руку товарищу Гекелю, решительно говоря:

— Рано или поздно, но во Франции произойдет революция».

Эренбург с грустной иронией замечает: «Как читатели увидят впоследствии, он был вполне прав, и мы назвали бы его пророком, если бы не сознание, что рано или поздно все случается в жизни».

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 613.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1961, № 9, стр. 91—92.

И все-таки читателя не покидает уверенность, что будущее — за силами революции.

Таким образом, гибель Европы в книге Эренбурга символизирует закат не Европы вообще, а крах именно буржуазной Европы. На эту сторону романа в свое время обратил внимание И. Груздев, который в «Тресте Д. Е.» видел «сильный памфлет на современное состояние капиталистической Европы, самоистребляющейся в путях своей же собственной жадности и недалёковидности»<sup>1</sup>. О том, что сатира Эренбурга нацелена прежде всего на современную капиталистическую Европу, говорилось и в ряде других откликов на роман.

Хотя «Трест Д. Е.» роман о современности и его содержание тесно связано с конкретной исторической обстановкой, он в то же время не лишен черт социальной утопии в самом прямом и точном смысле этого слова. Автор стремится заглянуть в завтрашний день капитализма; показывая, какими бесчеловечными способами уничтожается Европа, он как бы предупреждает о той опасности для человечества, которая таится в недрах этого строя. Интересно, что роман, написанный в самом начале 20-х годов, предвосхитил некоторые конкретные исторические события. Так, изображенный в 21-й главе «Треста Д. Е.» кризис оказался довольно точным прообразом той реальной экономической катастрофы 1929—1933 гг., которая до основания потрясла капиталистический мир. В варварском уничтожении Европы нетрудно увидеть знакомые картины фашистского разгула в годы второй мировой войны. Правда, в роли агрессора в романе выступает Франция, направляемая заокеанским трестом; и это не случайно, — Эренбурга в то время настораживали ее захватнические устремления (оккупация Рура).

«Трест Д. Е.» звучит исключительно злободневно и в наши дни, когда агрессивные силы мира хотят ввергнуть человечество в пучину термоядерной войны. «Мой роман... — подчеркнул писатель в воспоминаниях, — это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком — «Эпизоды третьей мировой войны»<sup>2</sup>.

Любопытно, что в годы Великой Отечественной войны фашистская печать пыталась использовать роман в целях антисоветской пропаганды. Грубо фальсифицируя сущность сатиры Эренбурга, гитлеровские писаки пытались переадресовать варварское уничтожение Европы, предпринятое дельцами капиталистического мира... Советской России, «большевикам». Газета «Берлинер бервенцйтунг», например, утверждала, что роман Эренбурга «обнаруживает подлинные замыслы» Советского

---

<sup>1</sup> «Звезда», Пг. 1924, № 1, стр. 307.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1961, № 9, стр. 99.

Союза. Постепенно стараниями геббельсовской пропаганды «Трест Д. Е.» был превращен сначала в «докладную записку Кремлю», в которой Эренбург якобы выдвинул предложение уничтожить Европу, а затем — в «конкретный план» этого уничтожения.

В 1923 году, находясь в Берлине, Мейерхольд предложил Эренбургу переделать роман для сцены. После некоторых колебаний автор «Треста Д. Е.» отклонил это предложение: идея «циркового представления с агитационным апофеозом»<sup>1</sup> его мало увлекала. Тогда Мейерхольд на основе сценического варианта «Треста Д. Е.», написанного Подгорецким «по мотивам романов Эренбурга и Келлермана», несмотря на решительные возражения со стороны Эренбурга, в 1924 году на сцене своего театра осуществил постановку «Треста Д. Е.». Сценарий получился малоудачным. «Спектакль, однако, — вспоминает Эренбург, — имел успех, а табачная фабрика «Ява» выпустила папиросы «Д. Е.»<sup>2</sup>.

Роман переведен на немецкий язык (1923), чешский (1924), японский (1950, 1957). В Дании роман был опубликован в газете «Политика» (1926).

## тринадцать трубок

Новеллы, составившие сборник «Тринадцать трубок», написаны Эренбургом летом 1922 года в Берлине и там изданы в 1923 году издательством «Геликон». В 1924 году сборник вышел в СССР — в издательствах «Новые вехи» и «Новелла». В 1925 году книга была выпущена в Харькове Госиздатом Украины.

Свои размышления о жизни — о несовершенстве мира, о войнах, о добре и зле, о заблуждениях и познании истины, о превратностях судьбы, о любви, смерти — Эренбург облакает в форму коротких рассказов. Одни из них — с философской окраской, в других преобладают социальные мотивы, третьи строятся на острокомедийной основе. По своим художественным достоинствам новеллы неравноценны.

В отличие от сатирических романов, где широко использованы фантастика, гротеск, в новеллах, также не лишенных черт условности и заострения, показаны человеческие судьбы.

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь, «Советский писатель», М. 1961, стр. 536.

<sup>2</sup> Там же, стр. 538.



По свидетельству Эренбурга, в «Тринадцати трубках» сделана попытка создать на новом материале жанр короткой сюжетной новеллы.

Книга неоднократно издавалась, переведена на многие иностранные языки. В Чехословакии она вышла в 1924 году, затем в 1960, в Польше — в 1925, 1927 и в 1928 (на древнееврейском). В Швеции — в 1925, в Германии — в 1926, затем в 1930; в том же году — в Италии, в 1931 — в Югославии, в 1936 — в Болгарии и Венгрии, в 1944 — в Бразилии, в 1948 и 1957 — в Японии, в 1953 — в Румынии.

## содержание

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ХУЛИО ХУРЕНИТО и ЕГО УЧЕНИКОВ . . . . .	9
ТРЕСТ Д. Е. История гибели Европы . . . . .	235
ТРИНАДЦАТЬ ТРУБОК	
Первая . . . . .	387
Вторая . . . . .	402
Третья . . . . .	414
Четвертая . . . . .	423
Пятая . . . . .	429
Шестая . . . . .	435
Седьмая . . . . .	445
Восьмая . . . . .	453
Девятая . . . . .	466
Десятая . . . . .	477
Одиннадцатая . . . . .	488
Двенадцатая . . . . .	503
Тринадцатая . . . . .	508
Комментарии . . . . .	519

*Илья Григорьевич*

**Э Р Е Н Б У Р Г**

**Т о м 1**

**Редактор**

*И. Чеховская*

**Художественный редактор**

*Ю. Васильев*

**Технический редактор**

*Ж. Примак*

**Корректор**

*М. Доценко*

Сдано в набор 3/VIII 1962 г.  
Подписано в печать 29/X 1962 г. А06783.  
Бум. 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 33,5 = 30,5 усл.  
печ. л. 28,16 уч.-изд. + 1 вкл.=28, 21.  
Тираж 200 000. Зан. 3264.

Цена 1 р. 25 к.

**Гослитиздат**

**Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19**

**Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова**

**Московского городского совнархоза.  
Москва, Ж-54, Валовая, 28.**

